

Аион

ЛЕЙХТВАНГЕР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1966

Ф И О Н ЕЙХТ'ВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией
А. Дымишица, Б. Сучкова,
С. Тураева и А. Чаковского*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1966

Ф И О Н Е Й Х Т В А Н Г Е Р

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ДЕВЯТЫЙ

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

БРАТЬЯ
ЛАУТЕНЗАК

Переводы с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1966

И (Нем)

Ф36

LION FEUCHTWANGER
DER TAG WIRD KOMMEN
Roman
1942

DIE BRÜDER LAUTENSACK
Roman
1943

Примечания
С. МАРКИША
и Р. МИЛЛЕР-БУДНИЦКОЙ

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

РОМАН

Перевод

В. СТАНЕВИЧ и С. МАРКИША

Книга первая

ДОМИЦИАН

Глава первая

Нет, то, что Иосиф здесь написал, едва ли можно будет оставить. Снова перечитывает он строки, в которых повествует о Сауле, царе древней Иудеи, о том, как Саул, хотя его и предупреждали, что он умрет и погубит своих сторонников, все же решительно пошел в бой. «Саул это сделал,— писал Иосиф,— и тем показал, что стремящийся к вечной славе так и должен действовать». Но им так действовать нельзя. И именно сейчас ему этого писать не следует. Ведь его соотечественники, в первые же десятилетия после гибели их государства и разрушения храма, и без того склонны затеять новую нелепую военную авантюру. Тайный союз «Ревнителей грядущего дня» приобретает все больше единомышленников и все большее влияние. Иосиф не имеет права своей книгой еще подстегивать их тщетную храбрость. И, как ни влечет его мрачное мужество царя Саула, он обязан подчиняться голосу разума, а не чувств и не имеет права выставить этого царя в глазах своих евреев героем, достойным подражания.

Иосиф Флавий, римский всадник, великий писатель, чей бюст установлен в библиотеке храма Мира, вернее — доктор Иосиф бен Маттафий, иерусалимский священник первой череды, отшвыривает стиль, бегаёт по кабинету и, наконец, забивается в угол. И вот он сидит

в полумраке, масляная лампа освещает только письменный стол, несколько книг на нем и свитков да золотой письменный прибор, некогда подаренный ему покойным императором Титом. Вздрагивая от озноба, ибо огонь любого очага бессилен перед сырым холодом первых декабрьских ночей, смотрит Иосиф отсутствующим взглядом на матовый блеск прибора.

Как странно, что именно он написал эти пламенные строки о бессмысленной храбрости Саула. Или и у самого Иосифа сердце опять не выдержало? Или оно, это пятидесятилетнее сердце, все еще никак не хочет утомиться и ограничить себя той полной глубокого покоя созерцательностью, которая одна должна звучать в его будущей великой книге?

Как писатель он теперь все реже теряет власть над своим пером или своим стилем. Он все-таки добился того бесстрастия, без которого невозможно создать его великий труд, его «Всеобщую историю иудейского народа». Он отрекся от суеты, он уже не тоскует о былой бурной жизни. Сам он некогда пылко ринулся в великую войну своего народа, участвовал в ней и на стороне евреев, и на стороне римлян, в роли политика и в роли солдата. Глубже, чем почти все его современники, понимал он особенности этой войны. Пережил великие события, находясь среди приближенных первого и второго императоров из династии Флавиев, был лицом действующим и лицом страдающим, римлянином, евреем, гражданином вселенной. В конце концов он написал классическую историю этой Иудейской войны. Его прославляли, как очень немногих, поносили и унижали, тоже как очень немногих. Теперь он устал и от успехов и от поражений, пылкая деятельность кажется ему пустой, он понял, что его задача и его сила — в созерцании. Он предназначен богом и людьми не для того, чтобы творить историю, а чтобы внести ясность в историю его народа и сберечь ее, исследовать ее смысл, показать ее деятелей — как пример и предостережение. Вот для чего он предназначен, и он доволен.

Доволен ли? Возвышенные и безрассудные слова о царе Сауле доказывают, что нет. Ему почти пятьдесят, но желанного бесстрастия он все еще не обрел.

А ведь чего он не делал, стараясь достичь его! Никаким стремлениям к внешнему успеху не давал отвлечь себя от своего труда. Никакие сведения о нем самом за эти четыре года не проникали в публику. Веспасиан и Тит относились к нему дружелюбно, но теперь он пальцем не пошевелил, чтобы приблизиться к императору, к недоверчивому Домициану. Нет, в Иосифе последних лет, ведущем тихую, уединенную жизнь, ничего не осталось от прежнего Иосифа, пылкого, деятельного.

Написанные им строки об угрюмой отваге царя Саула захватывают, и «Ревнители грядущего дня» прочли бы их с восторгом. Но увы, именно этого им делать нельзя. Им следует растить в себе не восторженность, а благоразумие, лукавое долготерпение. Они должны покориться и во второй раз уже не поднимать столь безрассудно оружие против Рима.

Почему именно сегодня из-под его пера вылились эти возвышенные и проклятые строки о царе Сауле? Иосиф знал почему, еще когда писал их; не хотел знать, но сейчас уже не может скрывать свое знание от самого себя. И все потому, что вчера он встретил Павла, своего шестнадцатилетнего сына от разведенной жены. Иосиф не пожелал заметить этой встречи, не захотел себе признаться, что молодой человек, проехавший мимо него верхом,— это его Павел. Он приказал себе не оборачиваться, не смотреть мальчику вслед, но сердце его дрогнуло, и он понял: это Павел.

С уст сидящего в полумраке человека срывается тихий стон. Как он в свое время боролся за своего сына Павла, полуеврея, сына гречанки, какое тяжелое бремя вины взял на свои плечи ради него. А мальчик уничтожил в себе все, что Иосиф с такой благоговейной настойчивостью старался вложить в него, и теперь сын испытывает к нему, отцу-еврею, только презрение. Иосиф вспоминает о том страшном часе, когда ему пришлось пройти под игом победителей, под аркою Тита, он вспоминает, как перед ним тогда, на какую-то долю секунды, мелькнуло лицо его сына Павла. Среди многих тысяч злобно-насмешливых лиц, замеченных им в тот мрачный час, оно одно навсегда запомнилось ему, словно врезалось в сердце,— смугло-бледное,

худощавое, враждебное лицо его сына. И только воспоминание об этом лице, только потребность защитить себя от этого лица водила его пером, когда он писал те строки о еврейском царе Сауле.

Ведь как легко, увы, пойти в бой, даже на верную гибель, как это легко в сравнении с тем, что тогда взял на себя Иосиф. Разве не сгораешь со стыда, не разрывается сердце, если приходится выказывать восхищение перед дерзким победителем только потому, что подобное самоуничтожение — единственная услуга, какую ты еще в силах оказать своему народу?

Позднее, через сто, через тысячу лет, это поймут. Однако нынче, 9 кислева, в 3847 году от сотворения мира, для него слабое утешение, что когда-нибудь какие-то далекие потомки будут восхищаться им. Его слух не улавливает отзвука будущей славы, в его душе живо только воспоминание о вопле сотен тысяч глоток: «Негодяй, предатель, пес!» — и надо всем беззвучный и все же заглушающий их голос его сына Павла: «Мой отец, этот негодяй, мой отец, этот пес».

Именно потому, что Иосиф хотел защититься от этого голоса, он и написал о мрачной отваге Саула. Писать эти строки было сладостно и возвышало душу. И было сладостно, и возвышало душу бездумно отдаваться увлекающему тебя мужеству. Но адски трудно и тягостно оставаться глухим, противиться искушению, ничего не слышать, кроме спокойного, вовсе не увлекающего голоса разума.

Вот он сидит, еще не старый человек, в сумеречной комнате, где свет от масляной лампы озаряет только письменный стол, и этого человека переполняют несвершенные деяния, которых он жаждет. А столь перевозносимые им спокойствие и тишина здесь, среди шумного, блистательного Рима, буквально не вмещающего такого обилия деяний, это спокойствие и эта тишина — искусственные, судорожные, они — обман. Все в нем изболелось и истомилось от жадного честолюбия и потребности действовать. Вызвать подъем, страсть к действию — это уже немало. Так рассказать историю царя Саула, чтобы молодежь всего народа восторженно приветствовала Иосифа и вдохновенно пошла бы на смерть,

как тогда, когда он, еще молодой и неразумный, захватил ее своей книгой о Маккавеях, — это немало. Так написать историю Саула и Давида, и царей, и князей Маккавейских, чья кровь течет и в его жилах, так написать ее, чтобы его сын Павел почувствовал: мой отец мужчина и герой, — это уже немало. А одобрение собственного разума, восхищение потомков, грядущих поколений — все это пустой звук.

Он не смеет допускать этих мыслей. Он должен отогнать видения, которые подстерегают его здесь, в темноте. Иосиф хлопает в ладоши, вызывая слугу, приказывает: «Огня! Огня!» Пусть зажгут все лампы и свечи. С облегчением чувствует, как в освещенной комнате он снова становится самим собой. Теперь он может следовать голосу разума, своего истинного водителя.

Иосиф снова садится за письменный стол, заставляет себя сосредоточиться. «Чтобы не показалось, будто я намеренно восхваляю царя Саула больше, чем подобает, я продолжаю рассказ о его деяниях». И он продолжал, рассказывал точно, деловито, сдержанно.

Он проработал около часа, когда слуга доложил ему, что пришел какой-то незнакомец и настаивает, чтобы его впустили, — некий доктор Юст из Тивериады.

За последние годы Иосиф редко виделся со своим главным литературным противником и ни разу не оставался с ним с глазу на глаз. То, что Юст явился к нему в столь неурочный час, не предвещало ничего хорошего.

Когда Юст вошел в комнату, внося с собой сырость и холод ночи, оказалось, что его лицо стало еще более суровым, сухим и морщинистым, чем оно жило в памяти Иосифа. Старообразная, поблекшая голова словно едва держалась на невероятно тощей шее. Хотя Иосиф с глубоким волнением ждал, что ему скажет Юст, он машинально бросил взгляд на обрубок его левой руки, которую пришлось отнять еще в те времена, когда Иосиф снял его с креста. Тем самым он как бы снял с креста сурового критика, проникавшего беспощадно зорким взглядом в каждый подгнивший закоулок его души,

человека, которого Иосиф всегда боялся, но без которого не мог бы обойтись.

— Что вам угодно, мой Юст? — спросил он сразу после первых же приветствий.

— Мне хотелось бы дать вам очень важный совет, — ответил Юст. — Будьте в ближайшие недели внимательнее к тому, что вы говорите и кому говорите. Постарайтесь также припомнить, не наговорили ли вы за последнее время чего-нибудь такого, что люди неблагоприятные могут истолковать не в вашу пользу; и подумайте, как бы обезвредить подобные толки. Среди приближенных императора у вас есть недоброжелатели, а вы, говорят, иногда принимаете у себя людей сомнительной благонадежности.

— Разве нельзя видаться с людьми, — возразил Иосиф, — если они имеют римское гражданство и никогда не были на подозрении у начальства?

— Нет, почему же, можно, — отозвался Юст, скривив тонкие губы, — но в мирные времена. А сейчас нужно получше посмотреть, с кем говоришь, и думать не только о том, обвиняли его когда-нибудь или нет, но и о том, не обвинят ли впредь.

— Вы считаете, что мир на Востоке... — Иосиф не договорил.

— Я полагаю, что миру на Востоке еще раз наступил конец, — отозвался Юст. — Даки перешли Дунай и вторглись в пределы империи. Весть эта идет с Палатина.

Иосиф встал. Ему стоило большого труда скрыть от гостя, как сильно взволновала его эта весть. Новая война, угрожавшая Риму, могла иметь для него и для Иудеи непредвиденные последствия. Если восточные легионы будут втянуты в борьбу, если допустить возможность вторжения парфян, — разве тогда и «Ревнители грядущего дня» не нанесут удара? Не рискнут поднять восстание, заведомо обреченное на провал?

А он всего какой-нибудь час назад прославлял царя Саула, человека, который, предвидя верную гибель, все-таки пошел в бой? Он, Иосиф, в свои пятьдесят лет еще больший глупец и преступник, чем был в тридцать.

— Ну что мы можем сделать, мой Юст? — сказал он, уже не скрывая глубокой тревоги, хриплым от волнения голосом.

— Слушайте, Иосиф, вы это знаете лучше меня, — ответил Юст и насмешливо продолжал: — «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». Ваш голос должен быть услышан. Вы должны составить манифест и в нем совершенно ясно предостеречь от всяких необдуманных шагов. И чем проще, тем лучше. Это-то вы можете. Вы знаете, как надо говорить с простым человеком, вы умеете произносить звонкие и дешевые фразы.

Его резкий голос звучал особенно неприятно, тонкие губы кривились. Потом Иосиф опять услышал то язвительное хихикание, которое так его раздражало.

Все же он не отступил перед иронией Юста.

— По-вашему, можно словами укротить столь сильное чувство? — спросил он. — Да мне самому хотелось бы в Иудею, — невольно вырвалось у него, — хотелось бы участвовать в этом восстании, чем бы оно ни кончилось, быть убитым в этом восстании.

— Охотно верю, — насмешливо отозвался Юст, — ведь это на вас похоже. Когда тебя бьет сильнейший, ты просто отвечаешь на удары, пока его не разозлишь и он тебя не убьет. Но если у «Ревнителей» есть хоть какое-то оправдание — у вас нет никакого. Вы недостаточно глупы. — И так как Иосиф смотрел перед собой неподвижным, беспомощным, угрюмым взглядом, Юст добавил: — Напишите манифест! Вам многое надо испробовать.

Когда Юст ушел, Иосиф сел за стол, чтобы выполнить его совет. Нужно куда больше мужества, писал он, чтобы побороть себя и отказаться от восстания, чем поднять его. Пусть даже начнется война на Востоке — для нас, иудеев, пока важно одно: строить и дальше государство закона и обычаев и посвятить все наши силы лишь этой задаче. Мы должны положиться на бога и избрать своим вожатым разум, а они позаботятся о том, чтобы этому государству закона и обычаев — этому Иерусалиму в духе — стало возможным обрести зримые формы и фундамент, воплотиться в Иерусалим из

камня. Но день еще не настал. Начатые же не вовремя военные действия могут лишь отодвинуть этот день, которому мы все спешим навстречу.

Он писал. Он старался проникнуться восхищением перед разумом, старался до тех пор, пока вода разума не обрела вкус вина, а истины, которые он возвещал, не стали казаться не только заботами рассудка, но и заботами сердца. Дважды приходил слуга менять свечи и подливать масла в лампы, прежде чем Иосиф остался доволен черновым наброском.

На следующий вечер у Иосифа собралось четверо гостей: фабрикант мебели Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины, представитель римского еврейства — уравновешенный, благоразумный человек, чье имя пользовалось доброй славой и в Иудее. Затем Иоанн Гисхальский, некогда один из вождей Иудейской войны, человек хитрый и отважный. Теперь он обосновался в Риме, торговал земельными участками, вел дела по всей империи; но в Иудее еще и сейчас «Ревнители дня» живо помнили его деятельность во время войны. Третьим был Юст из Тивериады. И, наконец, Клавдий Регин, министр финансов, рожденный матерью-еврейкой, никогда не скрывавший своего сочувствия евреям, издатель Иосифа, не раз выручавший его в трудные минуты.

При теперешнем одержимом подозрительностью императоре Домициане люди вынуждены были придавать своим встречам самый безобидный характер, иначе их тут же обвинили бы в заговоре, ибо у министра полиции Норбана соглядатаи были почти в каждом доме. Поэтому за ужином велись самые случайные разговоры о событиях дня. Конечно, говорили о войне.

— В сущности, — заметил Иоанн Гисхальский, и на его смуглом благожелательном лице появилась довольная, немного двусмысленная ухмылка, — в сущности, для Флавиев наш император недостаточно воинствен.

Клавдий Регин повернулся к нему, он небрежно возлежал за столом, глаза с опухшими веками под выпуклым лбом смотрели сонно и насмешливо. Он знал,

что без него императору не обойтись, и мог поэтому время от времени позволить себе раздраженно-шутливую откровенность. Он и сегодня не пожелал считаться с присутствием слуг, подававших кушанья.

— Да, — ответил он Иоанну Гисхальскому, — воинственности у нашего DDD нет. — «DDD» называли императора по трем начальным буквам его имени и титула: Dominus ac Deus Domitianus — владыка и бог Домициан. — Но, к сожалению, он считает, что триумфальное одеяние Юпитера ему весьма к лицу, а такой костюм дороговат. Дешевле чем за двенадцать миллионов я не могу устроить триумф, и это, разумеется, не считая расходов на войну.

Наконец ужин был окончен, теперь Иосиф мог отпустить слуг и поговорить о деле. Первым высказался Гай Барцаарон. Едва ли, пояснил этот жизнерадостный господин с хитрыми глазами, им, римским евреям, предстоящая война угрожает непосредственно. Но, разумеется, в такое трудное время надо сидеть смирно и ничем не привлекать к себе внимания. Он уже отдал распоряжение, чтобы в его Агрипповой общине служили особые молебствия о здравии императора и о даровании победы его орлам, и, разумеется, остальные синагоги последуют этому примеру.

Его речь показалаась всем туманной и никого не удовлетворила. Барцаарон мог бы выступить так в союзе мебельщиков, где был председателем, или в крайнем случае перед членами совета общины; но когда он говорил здесь, перед ними, не было никакого смысла закрывать глаза на опасность.

Поэтому Иоанн Гисхальский покачал крупной смуглой головой. К сожалению, возразил он с добродушной иронией, не все еврейство так послушно и благоразумно, как дисциплинированные члены Агрипповой общины. Существуют, например, далеко не безызвестные уважаемому Гаю Барцаарону «Ревнители грядущего дня».

А эти «Ревнители», поддержал его в своей обычной сухой манере Юст, могли бы, увы, сослаться на многое, сказанное верховным богословом Гамалиилом, главой университета и коллегии в Ямнии, признанным вождем

всего еврейства. При всей своей умеренности, продолжал Юст, Гамалиил, чтобы «Ревнителю» не выбили у него оружие из рук, вынужден неустанно поддерживать надежду на скорое воссоздание Иудейского государства и храма и порой даже прибегать к весьма сильным выражениям.

— Сейчас фанатики вспомнят об этом. И верховному богослову будет нелегко,— заключил он.

— Не надо оболящаться, господа,— как бы подытожил все сказанное с присущей ему бесцеремонностью Иоанн Гисхальский.— Конечно, «Ревнителю» нанесут удар, можно не сомневаться.

В сущности, присутствующие ничего нового для себя не узнали; однако, услышав трезвые слова Иоанна, они слегка вздрогнули. Иосиф окинул внимательным взглядом этого самого Иоанна, его не крупное, но крепкое и сильное тело, смуглое добродушное лицо с короткой бородкой клином, приплюснутый нос, серые хитрые глаза. Да, Иоанн настоящий галилейский крестьянин, он знает свою Иудею изнутри, среди зачинщиков и вождей Иудейской войны он был самым популярным, и, как ни чужд Иосифу весь его образ действий, он не может отрицать, что у этого человека любовь к отчизне рождается из самых недр его существа.

— Нам здесь, в Риме,— пояснил Иоанн Гисхальский ту решительность, с какой он высказался,— даже трудно себе представить, как война на Востоке должна взбудоражить население Иудеи. Мы здесь, так сказать, на собственной шкуре чувствуем силу Римской империи, эта сила везде вокруг нас, ощущение этой силы вошло в нашу плоть и кровь и парализует всякую мысль о сопротивлении. Но если бы я,— продолжал он размышлять вслух, и на лице его появилось выражение задумчивости, сосредоточенности и какой-то тоскливой жажды,— если бы я сидел не здесь, в Риме, а в Иудее и там услышал бы о какой-то военной неудаче римлян, я бы за себя не поручился. Я, конечно, знаю с математической точностью, что такая неудача ничего бы не изменила в конечном исходе войны: я ведь на своей шкуре узнал, к чему приводит подобное восстание. Да

и годы не те. А все-таки и меня тянет нанести удар. Говорю вам: «Ревнители» не утерпят.

Слова Иоанна затронули других за живое.

— А что мы можем сделать, чтобы отрезвить их? — наконец прервал молчание Юст. Он говорил с холодной, почти недопустимой резкостью; но серьезность его побуждений и неподкупность оценок придавали вес его словам, а то, что он участвовал в Иудейской войне и ради Иерусалима висел на кресте, доказывало, что не трусость заставляет его столь презрительно отвергнуть новое военное выступление.

— Пожалуй, можно было бы, — осторожно предложил Гай Барцаарон, — поговорить с императором об отмене подушной подати. Ему надо бы объяснить, что в столь тревожное время следует щадить чувства еврейского населения. Может быть, тут за нас замолвит словечко наш Клавдий Регин.

Дело в том, что из всех антиеврейских мер особенное недовольство вызывала именно подушная подать: не только то, что двойную драхму, которую некогда каждый еврей вносил в пользу Иерусалимского храма, римляне теперь отбирали на храм Юпитера Капитолийского, воспринималось как издевательство и напоминало о поражении, — оскорбительным было и само составление списков облагаемых евреев, и опубликование этих списков, и взимание налога, которое всегда сопровождалось грубостями и унижениями.

— В наше время, господа, — ответил, помолчав, Клавдий Регин, — чтобы выказать вам свое сочувствие, требуется известное мужество. Однако я, может быть, все же набрался бы смелости и похлопотал бы у императора о деле, что предложил сейчас наш Гай Барцаарон. Но не думаете ли вы, что DDD, если он решится отказаться от двойной драхмы, потребует за это какое-нибудь чудовищное возмещение? В лучшем случае такое возмещение оказалось бы налогом, менее оскорбительным для ваших чувств, но тем более чувствительным для вашего кошелька. Я не знаю, Гай Барцаарон, что вы предпочтете: вашу мебельную фабрику или освобождение евреев от налога? Что до меня, то я предпочел бы стерпеть некоторые обиды, но сберечь свои

деньги. У богатого еврея, даже если он обижен, остается известная доля власти и влияния, а бедный еврей, если его и не обижают,— все-таки ничто.

И банальные назидания Клавдия Регина, и невыполнимые проекты Гая Барцаарона Юст словно отстранил легким движением руки.

— Мы можем сделать безнадежно мало,— сказал он.— Мы можем только произносить слова, и больше ничего. Это весьма убого, я знаю. Но если слова рассчитаны очень умно, они все-таки окажут некоторое действие. Я рекомендовал доктору Иосифу написать манифест.

Все посмотрели на Иосифа. Иосиф молчал, он не пошевелился: он ощутил таившуюся в речах Юста язвительную иронию.

— И вы составили такое послание? — наконец спросил Иоанн, обращаясь к Иосифу.

Иосиф извлек рукопись из своего рукава и стал читать.

— Что ж, манифест впечатляющий,— сказал Юст, когда Иосиф кончил, и, кроме Иосифа, никто не расслышал насмешки в замечании Юста.

— На «Ревнителее» оно впечатления не произведет,— сказал Иоанн.

— Да, их ничто не удержит,— согласился Юст,— а единомышленники верховного богослова в увещаниях не нуждаются. Но есть люди, стоящие между этими двумя лагерями, есть колеблющиеся, и те, может быть, поддадутся нашему влиянию, так как мы живем здесь, в Риме, и лучше способны оценить положение. Некоторое действие этот манифест все же произведет,— настойчиво заключил он. Юст говорил с каким-то раздражением, словно старался убедить не только других, но и самого себя. Затем точно увял и уныло добавил: — И потом, что-то мы должны сделать, хотя бы ради нас самих. Разве вы не изведетесь, если будете сидеть в сторонке и смотреть, как другие спешат навстречу своей гибели?

Юсту вспомнилось, как он тогда, перед войной и в самом ее начале, тщетно предостерегал своих соотечественников. И в этот раз предостережения будут

тицетны, он знал заранее. И если пройдет еще двадцать лет, и повторится то же самое, и он опять решится предостерегать, это будет только гласом вопиющего в пустыне, он был в этом глубоко убежден.

— Я считаю, — настаивал он, — что нам следует поставить свои подписи под этим обращением и подумать, кому еще предложить его для подписи.

Скорбная горячность этого обычно столь сдержанного человека захватила и других. Правда, мебельщик Гай Барцаарон смущенно промямлил:

— Мне кажется, дело не в количестве подписей, а в том, чтобы подписи были авторитетными для молодежи в Иудее. Какой, например, толк, если под манифестом будет стоять подпись старого мебельщика?

— Может быть, толк и небольшой, — отозвался Юст, и досада едва сквозила в его тоне. — Но для того, чтобы остальным подписавшимся ничто не угрожало, на документе должны быть подписи лиц, стоящих вне подозрений.

— Это верно, — согласился Клавдий Регин и совсем загнал в тупик испуганного Барцаарона. — Людям нашего министра полиции Норбана везде мерещатся подвохи, и если к ним в руки попадет манифест, они заявят, что подписавшие знали о какой-то подозрительной возне в Иудее; чем меньше сомнений будут вызывать подписи под манифестом, тем меньше будет опасность для каждого в отдельности.

— Перестаньте упираться, Барцаарон, — заметил Иоанн Гисхальский и погладил бородку. — Подписать вам все-таки придется.

Затем стали обсуждать, как доставить воззвание в Иудею. Сейчас, зимой, с нею не было регулярного сообщения по морю; существовали и другие опасности. Документ можно было доверить только очень надежному человеку.

— Право, не знаю, — возразил снова Гай Барцаарон, — стоит ли выгода, которую мы в лучшем случае получим от этого послания, того огромного риска, которому мы подвергнем себя и свою общину. Кто бы сейчас, зимою, когда так трудно путешествовать, ни поехал в Иудею, он должен будет привести важные при-

чины, иначе чиновники непременно в чем-нибудь заподозрят его.

— Вы всё об одном, мой Гай Барцаарон, — не отставал от него хитрец Иоанн Гисхальский. — А я вот знаю человека, у которого есть весьма важные причины, чтобы ехать сейчас в Иудею, причины эти будут понятны и римским чиновникам. Война, безусловно, вызовет в Иудее падение цен на землю. Значит, неплохо, что среди нас есть торговец землей, а именно я. У моей фирмы там большие участки. И она, уверенная в быстрой победе легионов, пожелает воспользоваться конъюнктурой и округлить свои владения. Разве это не основательная причина? Я пошлю в Иудею своего агента Гориона, он толковый малый. Доверьте мне послание. Оно будет в надежных руках.

Присутствующие начали подписываться. В конце концов и Гай Барцаарон неуверенно поставил свою подпись под Иосифовым манифестом.

А через три дня они с удивлением узнали, что не Горион отбыл в Иудею, а сам Иоанн Гисхальский.

Иосиф поднялся по лестнице в комнаты, в которых жила Мара с детьми. Лестница была тесная, неудобная, весь его дом был тесный, неудобный, полный закоулков. Еще тогда, когда Домициан выселил его из красивого здания, предоставленного ему для жилья прежним императором, все дивились, почему столь уважаемый писатель выбрал себе такой невзрачный, старомодный домишко в отнюдь не аристократическом квартале Общественных купален. С тех пор как Мара с маленькой Иалтой приехала к нему и родила ему двух сыновей, дом действительно стал тесен; однако Иосиф, упорствовавший в какой-то непомерной скромности, ограничился тем, что надстроил один этаж. Так и стоял этот дом, тесный, узкий, ветхий, перед ним — несколько лавчонок, где торговали всякой вонючей дрянью, — жилище, отнюдь не подобающее человеку его ранга и с его именем.

Мара, при всей своей скромности, с самого начала чувствовала себя в этом доме неугодно. Ей хотелось

видеть над собой широкое небо; уже одно то, что приходилось жить в большом городе, между каменных стен, было противно ее природе. А здесь, в душной каменной коробке, в низкой комнате под закопченным потолком, ей становилось особенно тоскливо. Будь ее воля — они давно вернулись бы в Иудею, в одно из поместий Иосифа.

Сегодня был пятый день, как пришло известие о вторжении даков. Теперь Иосиф много бывал с Марой, они часто садились вместе за стол, он подолгу с ней беседовал. Но о предстоящей войне на границе речь не заходила. Вероятно, Мара даже не подозревала, какое неожиданное влияние могли оказать на Иудею события на Дунае. Однако она, зная характер Иосифа до мельчайших черточек, не могла не чувствовать, что его гложет тайная тревога, скрываемая под маской невозмутимости.

Когда он теперь поднялся к ней, то сам удивился, ради чего так долго старался скрывать от нее эту тревогу. Ведь она — единственный человек, перед которым он может без стыда предстать в истинном своем виде. Когда другая женщина потребовала от него отослать Мару, Мара покорилась. Когда он ее опять позвал, она к нему вернулась. Если Мара нужна ему, она всегда тут, если мешает ему, она умеет стать незаметной. Ей он все может открыть — свои сомнения, свою гордыню, свою слабость.

Иосиф откинул занавес и вошел к ней. Низенькая комнатка была битком набита всевозможными вещами, даже с потолка, как принято в провинциальных городках Иудеи, свисали корзины с провизией и бельем. Мару окружали дети — девочка Иалта и оба мальчугана — Маттафий и Даниил.

Иосиф охотно предоставил воспитание дочери и сыновей Маре, он не умел обращаться с детьми. Но и сегодня, как обычно, он смотрел, растроганный и удивленный, на Маттафия, на своего третьего сына, — в сущности, старшего, ибо Симон был мертв, а Павел — для отца больше чем мертв. С этим сыном, Маттафием, Иосиф связывал новые надежды и желанья. В мальчике отчетливо были видны черты отца, отчетливо и черты матери, но их сочетание дало нечто совершенно новое,

многообещающее, и Иосиф надеялся, что в этом сыне Маттафии он завершит себя, сын достигнет того, чего сам Иосиф не смог достичь: он будет иудеем и вместе — греком, гражданином вселенной.

И вот Мара сидела перед ним. С помощью рабыни она шила какую-то одежду и что-то рассказывала детям. Иосиф сделал ей знак, чтобы она не прерывала своего рассказа. Она продолжала болтать, и Иосиф понял, что это — благочестивая, но глуповатая сказка. Мара говорила о реке, чью речь понимают только те, в ком живет страх божий; и река дает им советы, что они должны делать и чего не должны. Река эта — красивая, и течет она по красивой земле, по ее родной земле Израиля, и настанет время, когда она туда с детьми поедет, и если дети будут вести себя хорошо, река заговорит с ними тоже и будет давать им советы.

Пока Мара рассказывала, Иосиф рассматривал ее. В свои тридцать два года она несколько располнела и слегка увяла. От лунного сияния ее первой молодости не осталось и следа, и сейчас ей уже не грозит опасность, что какой-нибудь римлянин дерзко потребует, чтобы она пришла к нему на ложе, как некогда потребовал старик Веспасиан. Но для Иосифа она была все такой же, овал ее лица по-прежнему казался ему нежным и ясным, низкий лоб — блистательным.

Когда он вошел, Мара просияла. Все последние дни его что-то угнетало, она чуяла это и ждала, чтобы он открыл ей причину. Обычно он говорил с ней по-гречески, но когда чувствовал ее особенно близкой и дело было важное, он говорил по-арамейски, на языке их родины. Отослав детей, Мара с волнением ждала, на каком языке он сейчас обратится к ней.

Оказывается — по-арамейски. Он выглядит уже не так, как раньше. Лицо покрылось морщинами, борода не подвита тщательно и не уложена, — словом, это пятидесятилетний мужчина, видно, что он немало пережил. И ей он немало принес страданий, забыть этого окончательно она так и не смогла. Но, несмотря на все, от него и теперь исходит то же сияние, как в былые годы, и ее сердце переполнено гордостью оттого, что он говорит с ней.

А он говорит о встрече с Юстом и остальными, о своей тревоге, как бы не вспыхнуло восстание. Он раскрывается перед ней весь, и только во время этого разговора ему становится вполне ясно, сколь многое подняла со дна души новая опасность, угрожающая Иудее. Позади была бурная жизнь, вершины и пропасти, он надеялся, что наконец обрел покой, наконец сможет погрузиться в свои книги, что начинается тихий вечер его жизни. А вместо этого накатывают валы новых горестей и испытаний. Восстание в Иудее, хоть оно и бессмысленно, все-таки вспыхнет, Иосиф будет против него бороться, и ему опять придется принять позор и поношение, так как он подавит свои чувства во имя разума.

Эту песню Мара уже слышала от него и раньше. Но если раньше она целиком оправдывала его, ибо он был мудр, а она не мудра, то сейчас ее сердце восставало против него. Если он испытывает те же чувства, что и другие, — то почему же поступает иначе? И не лучше ли было бы для всех них, если бы он был менее мудр? Разумеется, он очень великий человек, доктор и господин Иосиф, ее муж, и она гордится им, но порой, вот и теперь опять, ей кажется, что стало намного бы лучше, не будь он так велик.

— Твое бремя гнетет меня, как мое собственное, — сказала она, ее спина как-то бессильно сгорбилась, и Мара добавила: — Земля Израиля, бедная моя земля Израиля.

«Земля Израиля», — произнесла она по-арамейски. Иосиф понял ее и позавидовал ей. Несмотря на свое всемирное гражданство, он расколот надвое. Она же цельна и едина. Она срослась с почвой Иудеи, она — часть Иудеи, ее место — под небом Иудеи, среди живущего там народа, и Иосиф почувствовал, что если она, пусть и кротко, по своему обыкновению, но не раз звала его вернуться туда, то она была права, и он не прав, отказывая ей в этом.

Он вспомнил многочисленные искусные аргументы, построенные им, чтобы оправдать свой отказ. В Иудее, заявил он, слишком большая близость событий будет затуманивать его зоркость, страсти других увлекут его,

он не сможет там работать над своим исследованием с той объективностью, в которой заключен основной залог успеха. И все-таки оба понимали, что это только отговорка. И все причины, якобы удерживающие его в Риме, тоже отговорки. В Иудее он, может быть, написал бы свою книгу лучше, чем здесь, она стала бы, в хорошем смысле слова, более иудейской. Может быть, Мара и в том права, что для детей было бы лучше расти в поместье, на вольном воздухе, а не в тесных улицах города Рима. Последнее, впрочем, весьма сомнительно: если его маленькому Маттафию предстоит сделаться таким, как Иосиф задумал, то мальчику следует оставаться в Риме.

Во всяком случае, Иосиф упорствовал и был глух к тихим просьбам Мары. Пусть он избрал уединенную жизнь, но он хочет, чтобы вокруг него кипел город Рим, от этого он не намерен отказываться. В провинции ему было бы тесно; в Риме, если он даже сидит запершись, его утешает мысль, что достаточно сделать сто шагов, и он окажется на Капитолии, там, где бьется сердце мира.

Но в самой глубине души он испытывал неловкость, даже какое-то чувство вины за то, что держит Мару здесь, в Риме.

— Бедная земля Израиля, — подхватил он вздох Мары и закончил: — Зима эта будет полна тревог.

За ужином, перед своей женой Дорион и пасынком Павлом, Анний Басс, военный министр Домициана, давал себе волю. При этих двух он может говорить откровенно, а присутствие учителя Павла, грека Финей, — это не помеха. Ведь Финей — вольноотпущенник и в счет не идет. Конечно, и отношения Анния с женой и пасынком, как ни велика его близость с ними, не оставались безоблачными. У него бывало такое ощущение, словно Дорион, несмотря на его головокружительную карьеру, считает его посредственностью и, несмотря на свою ненависть, все же мечтает вернуться к своему Иосифу Флавию, к этому мерзкому еврейскому интеллигенту. Совершенно ясно и то, что она не слишком

привязана к мальчику, которого родила от Анния, к маленькому Юнию, а вот Павлом, своим сыном от Иосифа, восхищается и балует его. Впрочем, Анний и сам невольно поддавался обаянию Павла.

Да, он любит Дорион и любит Павла. И хотя они, наверное, менее привязаны к нему, чем он к ним, все же это единственные люди, перед кем он может выложить все свои заботы, рассказать о подтачивающих его неприятностях, неизбежных на службе у скрытного человека-ненавистника Домициана. Вместе с тем Анний искренне привязался к Домициану, он почитал его, и DDD, хоть и не был прирожденным солдатом, все же кое-что смыслил в делах армии. Но недоверчивость императора не имела границ, и его советникам приходилось нередко отзывать полезных людей с должности, где они были на месте, и замещать их менее полезными, которые отличились только тем, что не внушали императору недоверия.

Вот и сейчас, говорил Анний, Дакийский поход с самого начала осложнился мрачными подозрениями Домициана. Кажется — естественнее всего было доверить верховное командование Фронтину, который так искусно заложил и возвел линии укреплений на нижнем Дунае. Однако император опасался, что Фронтин вообразит, будто он незаменим, и возгордится. Поэтому ему пришла в голову несчастная мысль поручить командование противнику Фронтина, генералу Фуску, этому сорвиголове.

Дорион, как видно, не слишком интересовали эти детали, ее светло-зеленые глаза смотрели с отсутствующим выражением то на Анния, то прямо перед собой. Да и Финей, фанатичный грек, которому все трудности, возникавшие перед римским государственным управлением, должны были бы доставлять тайное удовольствие, казался равнодушным. Но тем более был заинтересован Павел. Ему исполнилось шестнадцать лет, и еще не прошло года с тех пор, как он впервые торжественно надел тогу взрослого гражданина. Матери очень хотелось, чтобы он в сопровождении учителя начал посещать один из греческих университетов. Однако сам Павел старался подавить в себе те греческие влияния,

которые были ему привиты обоими; он жаждал быть римлянином, и только римлянином. Поэтому он сблизился с одним из друзей Анния, полковником Юлианом, превосходным солдатом, проводившим в Риме свой отпуск. Юлиан занялся мальчиком и познакомил его с военной наукой; все же осенью ему пришлось возвратиться в Иудею, в свой легион, в Десятый. Павел все бы отдал, только бы сопровождать его, да и отчиму, который сам был солдатом по призванию, доставило бы большую радость, если бы Павел стал настоящим офицером. Но тут воспротивилась Дорион. И Финей, по своему обыкновению, тихо и благородно и потому особенно убедительно, разъяснял Павлу, каким грубым сделает его солдатская жизнь в глухой провинции, если он до того не проникнется греческим духом; и Павлу пришлось в конце концов покориться. Теперь, однако, благодаря дакийской смуте его надежды возродились. Возможность научиться ремеслу офицера во время войны представляется слишком редко, и упускать такой случай никак нельзя.

Поэтому он с увлечением слушал рассказ Анния о трудностях предстоящего похода. На Дунае, разумеется, нужен полководец крупного масштаба, именно Фронтин, а никак не Фуск, этот тупица и сорвиголова. Теперь дакийцы уже не варвары, их царь Диурпан настоящий стратег, тут он себя еще покажет, а все наши силы там — какие-то три легиона, их не хватит, чтобы удерживать границу протяженностью почти в тысячу километров, а суровая зима в этом году еще затрудняет оборону, ибо она дает нападающему врагу возможность перебрасывать по льду Дуная все новые подкрепления. Кроме того, дакийский царь Диурпан — ловкий политик, нити его интриг протянулись по всему Востоку, он имеет все шансы добиться даже интервенции парфян. При всех обстоятельствах надо быть готовыми к тому, что отдельные восточные провинции, которые едва терпят господство Рима, зашевелиятся, например, Сирия и особенно Иудея, так до конца и не замирившаяся.

Едва Анний все это разъяснил, как равнодушное Дорион исчезло. Она давно ничего не слышала об Иосифе, человеке, который больше всех определил ее

судьбу. Ведь восстание в Иудее — такое событие, которое заставит и его снова выйти на свет из безвестности.

Вихрем пронесли воспоминания о пережитом вместе с ним. Как он принял бичевание ради того, чтобы развестись со своей первой женой, этой нелепой еврейкой, и жениться на Дорион, как они погрузились в свою любовь, утонули в ней там, в скромном домике, подаренном им Титом, как вспыхнула между ними вражда, как Дорион боролась с ним за своего сына, вот этого самого Павла, каким был Иосиф в пору его торжества, когда ему поставили бюст в храме Мира и Рим, ликуя, приветствовал его, — все пережитое, вместе с ее неистовой ненавистью и неистовой любовью, стало неотъемлемой частью ее самой.

Едва Анний заговорил об Иудее, перестал прикидываться равнодушным и Финей, его крупный бледный лоб покраснел. Будет великолепно, если в Иудее начнутся волнения и ее наконец усмирят, эту варварскую страну. Пусть сусверные евреи еще разок почувствуют, что такое римский кулак. Пусть прежде всего один почувствует — этот Иосиф Флавий, его бывший господин. Финей презирает этого Иосифа Флавия, он все в нем презирает — его дурацкую борьбу за Павла, его великодушие и его смирение, его дешевые успехи, его убогий греческий язык, все, все. Как было бы чудесно, если бы этому Иосифу Флавию, — он мысленно называл его римским именем, — еще разок показали, как ничтожна его Иудея, дали бы почувствовать, каково быть рабом.

Лихорадочные мысли Финея и Дорион были прерваны голосом Павла:

— Тогда кое для кого возникнут кое-какие трудности.

Простые слова, но голос, который их произнес, был настолько переполнен ненавистью и торжеством, что Дорион испугалась и даже Анний Басс удивленно посмотрел на пасынка. Он тоже терпеть не мог Иосифа Флавия; простодушному, шумливому солдату этот еврей казался тихоней и пронырой. Если он, римский офицер, сражавшийся с евреями в открытом бою, принимался порой ругать Иосифа и смеяться над ним —

ему это было дозволено. И даже Финею, вольноотпущеннику Иосифа. Но он не мог позволить этого двум другим — ни женщине, которая была когда-то женой этого еврея, ни его сыну. Анний восставал против этого не только из солдатской порядочности, он догадывался, что слишком пылкая ненависть Дорион к Иосифу основана на смятенности ее чувств. Она, правда, не раз говорила о нем несправедливые, порой даже непристойные слова, но иногда ее глаза подозрительно затуманивались. Аннию хотелось бы, чтобы его жена и пасынок внутренние совсем освободились от власти этого сомнительного человека, не испытывали бы к нему ни любви, ни ненависти.

А Павел тем временем продолжал изливать свою ненависть: если бы Иудея взбунтовалась, это было бы превосходно, наконец-то ее утомили бы. А как было бы замечательно поехать туда, принять участие в карательной экспедиции, под руководством Юлиана, столь опытного наставника. Какой это был бы удар для отца, для еврея.

— Вы должны меня отпустить в Иудею! — вырвалось наконец у Павла.

Дорион повернула к нему длинную узкую голову, и ее глаза цвета морской воды, блестящие над тупым носом, задумчиво остановились на нем.

— В Иудею? Тебя в Иудею? — спросила она.

В ее голосе звучало неодобрение, но Павел чувствовал, что она тоже ненавидит еврея, его отца.

— Да, — продолжал он, и взгляд его светлых глаз выдержал испытующий взгляд матери, — я должен поехать в Иудею, раз там началось. Я должен очиститься. — Как загадочно прозвучали они, эти страстные, отрывистые слова «я должен очиститься»; однако даже простодушный солдат Анний понял их скрытый смысл. Павел стыдился своего отца, у него была потребность как-то искупить свое рождение от этого отца.

Хватит! Анний больше не желал слышать их ужасные разговоры, он вмешался:

— Мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи, — упрекнул он Павла.

Павел почувствовал, что зашел слишком далеко, но продолжал, хотя и в более умеренных выражениях:

— Полковнику Юлиану просто будет непонятно,— сказал он,— если я, при теперешних обстоятельствах, не поеду в Иудею. Мне не хотелось бы потерять дружбу полковника Юлиана.

Дорион сидела, тонкая и хрупкая, в небрежной и все же строгой позе, ее несколько крупный рот, дерзко выступавший на высокомерном лице, чуть улыбался загадочной улыбкой. Несмотря на то что Анния раздражала ее улыбка, он чувствовал, как сильно любит эту женщину, любит навсегда. Дорион же посмотрела на учителя своего сына и спросила:

— А что думаете вы, Финей?

Этот обычно столь спокойный, элегантный человек с трудом скрывал свое волнение. Он нервно сгибал и разгибал длинные пальцы тонких болезненно-бледных рук, даже ноги его в греческих башмаках беспокойно дергались. Его терзали противоречивые чувства. С одной стороны, ему было больно при мысли, что он окончательно потеряет Павла. Он так любил красивого, одаренного мальчика, так горячо старался привить ему свой эллинизм. Правда, Финей видел, что Павел понемногу ускользает от него, но ему, Финею, будет очень тяжело, если тот окончательно и навсегда станет римлянином, а когда он вступит в римский гарнизон, этого не избежать. С другой стороны, для него было большим утешением представлять себе, как больно ранен будет Иосиф, узнав, что его родной сын, его Павел принимает участие в борьбе против его народа на стороне римлян. Своим глубоким, благозвучным голосом Финей сказал:

— Мне было бы очень тяжело, если бы наш Павел отправился в Иудею, но, должен признаться, в этом случае я бы понял его.

— И я понимаю его,— заявила госпожа Дорион и добавила: — Боюсь, сын мой Павел, что не смогу долго отказывать тебе в этом.

Путешествие в Иудею, в такое время года, было делом нешуточным, даже опасным. Павел готовился усердно и обстоятельно. Он был по-юношески счастлив; в нем не осталось и следа резкости, страстности, столь

часто пугавших его близких. Совершенно стерлись и те еврейские взгляды и черты, которые старался ему привить отец. Исчез и эллинский дух, которым так жаждали пропитать его душу мать и учитель. Победила среда, где он жил, время, в котором он жил: сын сврея и гречанки окончательно стал римлянином.

Деревянной, неуклюжей походкой прогуливался император мимо клеток зверинца в своем Альбанском имении. Дворец должен был служить только летней резиденцией, но Домициан нередко приезжал сюда и в холодное время года. Он любил это поместье больше всех своих владений, и если, еще принцем, начал строить здесь обширный и роскошный дворец, не имея на то достаточно средств, то теперь, завершая строительство, старался сделать все как можно роскошнее. Без конца тянулся искусно спланированный парк, всюду вырастали беседки и павильоны.

Нескладный, в войлочном плаще с капюшоном и меховых туфлях, вышагивал, словно журавль, долговязый император вдоль клеток, а позади него — карлик Силен, весь волосатый, толстый, недоросток. День был сырой и холодный, с озера поднимался туман, обычно столь красочный пейзаж казался бесцветным, даже листья на оливах утратили свой блеск. Время от времени император останавливался перед одной из клеток и смотрел на зверя отсутствующим взглядом.

Он был рад, что решился оставить Палатин и уехать сюда. Ему нравился этот по-зимнему мгlistый ландшафт. Вчера были получены подробные депеши с дунайской границы, вторжение даков имело худшие последствия, чем он предполагал, — теперь уже нельзя было называть это пограничными инцидентами, разгоралась настоящая война.

Он прижал вздернутую верхнюю губу к нижней. Видимо, ему теперь самому придется участвовать в походе. Приятного мало. Он не любит торопливых путешествий без удобств, не любит долго сидеть на коне, а сейчас, зимой, все это будет особенно утомительно. Нет, по натуре он не солдат, он не такой, как его брат Тит

и отец Веспасиан. Они были только солдатами, фельдфебелями, выросшими до гигантских размеров. В ушах его все еще гремит металлический голос Тита, и по лицу Домициана пробегает гримаса отвращения. Нет, он не жаждет блистательных побед, которые потом ни к чему не ведут. Он стремится к прочным и надежным результатам. Кое-где он и достиг надежных результатов — в Германии, в Британии. Он — венец рода Флавиев. И он согласился принять от сената титул «владыка и бог Домициан» лишь потому, что титул этот заслужен.

Он остановился перед клеткой волчицы. На редкость красивое, сильное животное! Император любил эту волчицу, любил в ней постоянное беспокойство, причуды хищника, силу и хитрость, он любил эту волчицу как символ города Рима и империи. Вытянувшись, угловато отставив назад локти, выпятив живот, стоял он перед клеткой.

— Владыка и бог, император Флавий Домициан Германик, — произнес он вполголоса свое имя и титул, а за его спиной карлик, стоя в той же позе, повторял его слова перед клеткой волчицы.

Пусть его отец и брат одерживали более блистательные победы. Дело не в блистательных победах, а только в конечных результатах любой войны. Есть полководцы, которые умеют выигрывать лишь сражения, а не войны. То, что он, вместе со своим осмотрительным строителем крепостей Фронтинном, сделал в Германии — возвел вал для защиты от германских варваров, — в этом нет блеска, но это стоит десяти блестящих и бесперспективных побед. Фельдфебели Веспасиан и Тит никогда бы не смогли оценить идеи этого Фронтинна и, уж конечно, не осуществили бы их.

Жаль, что нельзя взять с собой Фронтинна на Дунай и сделать его верховным главнокомандующим. Это противоречило бы его, Домициана, принципам. Нельзя никого слишком возвышать, нельзя давать повод к высокомерию. Боги не любят высокомерия. Бог Домициан не любит высокомерия.

Конечно, очень жаль, что пятнадцатый армейский корпус уничтожен, но это имеет и свою хорошую сторону. Если вдуматься, это даже счастье, что история с

даками приняла такой оборот и вызвала настоящую войну. Ибо эта война начинается как раз вовремя, она кое-кому заткнет рот, без этого так скоро болтунов бы не унять. Эта война наконец даст ему, императору, желанный повод принять и во внутренней политике некоторые непопулярные меры, а без войны их пришлось бы отложить еще на годы. Теперь, под предлогом войны он может заставить своих строптивых сенаторов пойти на уступки, на которые они ни за что не согласились бы в мирное время.

Он решительно отворачивается от клетки, перед которой все еще стоит. Нет, он не поддастся соблазну, не будет мечтать, фантазия слишком легко увлекает его. В вопросах управления он методичен до педантизма. Его потянуло к письменному столу. Надо кое-что записать, привести в порядок.

— Носилки! — бросает он через плечо, и карлик визгливо подхватывает его распоряжение и передает дальше:

— Носилки!

Император возвращается во дворец. Расстояние небольшое. Сначала дорога идет между олив, посаженных террасами, затем через платановую аллею, затем — мимо теплиц, клумб, крытых галерей, павильонов, беседок, гротов, водоемов и водометов всякого рода. Парк велик и красив. Император его очень любит, но сегодня ему не до парка.

— Быстрее! — властно подгоняет он носильщиков, Домициану не терпится поскорее сесть за письменный стол.

Наконец он добирается до своего кабинета, приказывает его не беспокоить, запирает дверь, и вот он один. Он злобно усмехается, вспоминает все дурацкие сплетни по поводу того, что он якобы вытворяет, когда проводит в уединении целые дни. Он будто бы насаживает мух на булавки, отрезает лапки лягушкам и тому подобное.

Император принимается за работу, аккуратно, пункт за пунктом записывает он все, что намерен выжать из сената под предлогом войны. Прежде всего он наконец-то осуществит свой давно лелеемый план, — заставит

облечь его пожизненно властью цензора: ведь цензура — это и верховный надзор над государственными расходами, правом и нравами, и контроль над сенатом, а также полномочия исключать из этой корпорации неугодных ему лиц. До сих пор он брал на себя эти обязанности только каждый второй год. Сейчас, в начале войны, которая неизвестно сколько продлится, сенаторы едва ли откажут ему в упрочении его власти. Он уважает обычаи, он, конечно, и не думает изменять конституцию, предусматривающую разделение власти между императором и сенатом. Он не намерен упразднить это мудрое деление: он только хочет сам контролировать корпорацию-соправительницу.

Война дает и желанную возможность внести больше строгости в законы о добрых нравах. Нелепые, высокомерные, строптивые аристократы из его сената опять будут издеваться над тем, что он запрещает другим малейший проступок, себе же разрешает любой каприз, любой «порок». Болваны! На него возложена судьбою миссия защищать железной рукой римскую дисциплину и римские нравы; но откуда ему, богу, знать людские пороки, чтобы за них карать, если сам он время от времени не будет сходить к людям, подобно Юпитеру?

Тщательно формулирует он намеченные предписания и законы, нумерует, уточняет, добросовестно подыскивает обоснования для каждой статьи.

Затем переходит к самой приятной части своей работы — к составлению списка; список этот невелик, но чреват последствиями.

В сенате сидят примерно девяносто господ, которые не скрывают, что они его враги. Они смотрят на него свысока, эти господа, возводящие свой род к временам основания Рима и еще дальше — к разрушению Трои. Они обзывают его выскочкой. Если его прадед держал откупную контору, дед тоже еще не был ничем знаменит, они воображают, что и он, Домициан, не способен понять, в чем истинная сущность римлянина. Но он им покажет, кто истинный римлянин, — правнук мелкого банкира или потомки троянских героев.

Имена этих девяти десятков ему известны. Девяносто — большое число, столько он не сможет внести в

свой список, к сожалению, — лишь немногих из этих неприятных господ удастся устранить за время его отсутствия. Нет, он будет осторожен, он враг всякой поспешности. Но кое-кого — семерых, шестерых, ну, скажем, хотя бы пятерых все же можно будет внести, а мысль о том, что, когда он вернется, они уже не будут больше мозолить ему глаза, согреет ему сердце вдали от Рима.

И все-таки он записал — пока, предварительно — целый ряд имен. Потом принялся вычеркивать. Эта задача оказалась не из легких, и порой, выбрасывая чье-нибудь ненавистное имя, он горестно вздыхал. Но он — добросовестный правитель, он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатия и антипатия, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье устранение привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия.

Так он обдумывает одно имя за другим. С огорчением вычеркивает из списка Гельвидия. Жаль, но нельзя, пока что приходится его щадить, этого Гельвидия Младшего. Гельвидия Старшего убрал еще старик Веспасиан. Но придет час, — нужно надеяться, он не за горами, — когда следом за папашей можно будет отправить и сына. Жаль также, что император не может сохранить в своем списке Элия, у которого он некогда отнял супругу, Луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Элий имел обыкновение называть его не иначе, как «Фузан», из-за того, что у него, Домициана, начинает расти живот, и еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву «П». Ладно, пусть Элий еще некоторое время зовет его «Фузаном», но и для него настанет час, когда ему будет уже не до остро-
т.

В конце концов в списке остаются пять имен. Но теперь императору кажется, что и этих пяти слишком много. Он удовольствуется и четырьмя, да еще посоветуется с Норбаном, своим министром полиции, когда будет решать, кого все-таки отправить в Аид.

Так, он выполнил свой урок, он свободен. Домициан

встал, потянулся, направился к двери, отпер ее. Он про-работал все обеденное время, его не осмелились побес-покоить. Теперь он голоден. Он вызвал сюда, в Альбан-ское имение, чуть не весь двор и половину сенаторов, почти всех, кому был другом или врагом; прежде чем покинуть столицу, он хотел здесь, в Альбане, привести в порядок дела империи. Устроить себе развлечение? Пригласить кого-нибудь из них к столу? Он вспомнил о множестве людей, которые прибывают сюда непрерыв-ным потоком, представил себе, как их терзает мучи-тельная неизвестность,— что же решит на их счет бог Домициан. Он улыбнулся многозначительной злой улыбкой. Нет, пусть остаются в своей компании, лучше предоставить их самим себе. Пусть подождут весь день, ночь, потом, может быть, еще день и даже еще ночь,— ведь бог Домициан будет медленно обдумывать свои решения и отнюдь не намерен спешить.

Может быть, в Альбанскую резиденцию уже при-была и Луция, Луция Домиция, императрица. Мысль о Луции согнала улыбку с лица Домициана. Долго был он для нее всего лишь мужчиной Домицианом, затем пришлось и перед ней показать себя владыкой и богом Домицианом,— он устранил ее любимца Париса и за на-рушение супружеской верности заставил сенат сослать ее на остров Пандатария. Три недели назад он очень кстати дал указание своему сенату и народу, чтобы они осаждали его просьбами вернуть их обожаемую импера-трицу. И он позволил им смягчить его сердце, вернул Луцию. Иначе ему пришлось бы отправиться в поход, не повидав ее. Интересно, здесь ли она? Если путеше-ствие прошло без помех — она уже должна быть здесь. Он не хотел показать, как ему важно знать о ее прибы-тии, и отдал приказ его не беспокоить, ни о чем приезде не докладывать. Но сердце подсказывает, что она при-ехала. Спросить? Пригласить ее отобедать с ним? Нет, он останется владыкой, останется богом Домицианом, и он делает над собой усилие, не спрашивает о ней.

Он обедает один, торопливо, рассеянно, глотает на-спех куски, запивает вином. Быстро заканчивает оди-ночную трапезу. А чем заняться теперь? Что ему сде-лать, чтобы изгнать мысли о Луции?

Домициан вызывает скульптора Василия, которому сенат поручил сделать гигантскую статую императора. Скульптор давно просил посмотреть его работу.

Молча разглядывал он модель. Он был изображен на коне, со знаками императорской власти. Скульптор Василий сделал добротного, героического, царственного всадника. Императору нечего было возразить против этой вещи, но и удовольствия она ему не доставила.

У всадника были, правда, его, Домициановы, черты, но это император вообще, не император Домициан в частности.

— Занятно, — проговорил он наконец, но таким тоном, который не скрывал его разочарования.

Маленький, подвижной скульптор Василий, все время внимательно следивший за лицом императора, отозвался:

— Значит, вы недовольны, ваше величество? Я тоже. Конь и корпус всадника поглощают слишком много пространства, остается мало места для головы, для лица, для духа. — И так как император безмолвствовал, продолжал: — Очень жаль, что сенат поручил мне изобразить ваше величество именно верхом. Если ваше величество разрешит, я предложу господам сенаторам другое. У меня есть замысел, который мне кажется крайне привлекательным. Мне рисуется колоссальная статуя бога Марса, но у него черты лица вашего величества. Конечно, я имею в виду не обычное изображение Марса в шлеме — шлем отнял бы у меня слишком большую часть вашего львиного лба. Мне же рисуется отдыхающий Марс. Ваше величество разрешит показать модель? — И так как император кивнул, он приказал принести другую модель.

На ней скульптор изобразил человека мощного телосложения, но сидящего в спокойной позе. Оружие отложено в сторону, правая нога небрежно выдвинута вперед, колено левой приподнято, он небрежно обхватил его руками. У ног его вытянулся волк, дятел дерзко уселся на лежащий сбоку щит. Модель явно представляла собой только первую попытку, но голова была уже вылеплена, и эта голова, это чело — оно Домициану понравилось. В очертании лба было в самом деле что-то

львиное, как и сказал скульптор, напоминавшее лоб великого Александра. А прическа — короткие кудри — придавала лицу сходство с некоторыми, широко известными, изображениями Геркулеса, мнимого предка Флавиев. Это сходство непременно разозлит некоторых господ сенаторов. Резко выступает нос с горбинкой. Раздувающиеся ноздри, приоткрытый рот так и дышат отвагой, властью и страстью.

— Представьте себе, ваше величество, — объясняет художник, ободренный тем, что его замысел явно понравился императору, — какое впечатление должна производить статуя, когда она будет завершена. Если вы разрешите мне выполнить мой проект, ваше величество, эта статуя будет даже больше богом Домицианом, чем богом Марсом. Здесь главное внимание зрителя привлечет не традиционный шлем и не мощное тело, здесь каждая деталь рассчитана так, чтобы направить все внимание на лицо, ведь именно выражение лица и возносит бога над человеческой мерой. Это лицо должно показать всей земле, что означает титул — владыка и бог.

Император молчал, но своими выпуклыми близорукими глазами рассматривал модель с явно возрастающим благоволением. Да, удачная будет статуя. Марс и Домициан как бы сливаются в один образ. Даже волосы, которые он слегка отпустил на щеках, даже этот намек на бакенбарды, вполне подходят для бога Марса. А грозно сдвинутые брови, гордый и вызывающий взгляд, мощный затылок — все это обычные черты Марса, и вместе с тем по этим чертам каждый легко узнает Домициана. Да еще решительный подбородок, единственное, что у Веспасиана было хорошего, и единственное, что, к счастью, Домициан от него унаследовал. Он прав, скульптор Василий. В этом Марсе каждый увидит смысл титула, который Домициан позволил дать себе, титула владыки и бога. Он, Домициан, хочет быть подобен спокойному Марсу, он такой и есть: именно в своем спокойствии он угрюм, богоподобен, опасен. Таким его ненавидят римские аристократы, таким его любит народ, любят солдаты, и то, чего не мог добиться Веспасиан, несмотря на всю свою общительность, и не

мог добиться Тит, несмотря на металлический звон в голосе, — а именно, популярности, ее Домициан добился своим угрюмым величием.

— Интересно, очень интересно, — заметил он на этот раз уже одобрительным тоном и добавил: — Вот это вы сделали неплохо, мой Василий.

Теперь у него впереди долгий вечер, и император не знает, чем ему заняться до того, как он ляжет спать. Когда он представляет себе лица людей, приглашенных им сюда, в Альбанское имение, то, хотя их очень много, он не находит никого, чье общество было бы ему желанно. Одной-единственной жаждет он; но позвать ее мешает гордость. Поэтому лучше уж он проведет вечер один, — более приятного общества, чем свое собственное, Домициан не находит.

Император приказывает зажечь все светильники в большом зале для празднеств. Вызывает и механиков, обслуживающих хитроумные машины, благодаря которым стены зала могут быть, по желанию, раздвинуты, а потолок убран вовсе, так что над головой открывается небо. В свое время все это было задумано им как сюрприз для Луции. Она не оценила его по достоинству. Многие его подарки она не ценила по достоинству.

В сопровождении одного лишь карлика Силена входит император в просторный, сияющий огнями зал. В своем воображении Домициан рисует себе толпы гостей. Он садится, принимает небрежную позу, невольно подражая статуе Марса, и представляет себе, как его гости в многочисленных покоях дворца сидят, лежат, ждут, полные страха и тревоги. Для забавы он заставляет уменьшать и увеличивать зал, убирать и опускать потолок. Затем некоторое время ходит взад и вперед, приказывает погасить большую часть светильников, так что видны только отдельные, слабо освещенные части зала. И снова шагает по огромному покою, за ним скользит его гигантская тень и крошечная фигурка карлика.

Приехала Луция или нет?

И тут же — ведь он еще бодр и готов работать дальше — Домициан вызывает к себе своего министра полиции Норбана.

Норбан уже лежал в постели. Когда Домициан вызывал к себе министров в неурочное время, большинство из них, в смущении, не знало, в каком виде им следует являться. С одной стороны, император не желал ждать, с другой — считал оскорбительным для своего сана, если явившийся по его зову не был одет с величайшей тщательностью. Однако Норбан знал, насколько он необходим своему владыке и насколько благосклонность императора неизменна, поэтому он просто набросил поверх сорочки парадную одежду и этим ограничился. Норбан был невысок, но статен; от его крепко сбитого тела еще веяло теплом постели, когда он явился к императору. Мощная квадратная голова, сидевшая на еще более мощных, угловатых плечах, была непричесана, энергичный подбородок небрит и казался от этого еще грубее, а локоны очень густых черных как смоль волос, хотя и жирно смазанные, все же не лежали на лбу, как того требовала мода, а беспорядочно и нелепо свисали на топорное лицо. Однако император простил своему министру полиции эту небрежность, может быть, он ее даже не заметил. Напротив, сразу же доверительно обратился к нему. Рослый человек обхватил рукою плечи низенького, стал с ним ходить по сумеречному залу, заговорил вполголоса, намеками.

Заговорил о том, что войной и отсутствием императора можно воспользоваться и слегка прочесать сенат. Еще раз, теперь уже вместе с Норбаном, просмотрел имена своих врагов. О каждом он был хорошо осведомлен, и память у него была отличная, но в крупной голове Норбана хранилось гораздо больше фактов, предположений, доказательств и доводов «за» и «против». Император продолжал ходить с ним взад и вперед деревянной походкой, тяжело опираясь на него, все так же обнимая его за плечи. Выслушивал, вставлял вопросы, высказывал сомнения. Он, не задумываясь, раскрывал перед Норбаном свои мысли и чувства, ибо питал к нему глубокое доверие, доверие, возникшее из тайников души.

Норбан, конечно, тоже упомянул Элия, первого мужа императрицы Луции, он-то и прозвал Домициана «Фузан», — Домициану так хотелось оставить его в списке. Этот Элий был жизнерадостным человеком. Он любил Луцию, вероятно, любит и теперь, любил также и многие другие приятные дары судьбы: свои титулы и почести, свои деньги, свою привлекательность и веселый нрав, благодаря которым у него всюду появлялись друзья. Но превыше всего любил он свое остроумие и охотно выставлял его напоказ. Уже при первых Флавиях у Элия из-за его острот бывали неприятности. При Домициане, отнявшем у него Луцию, ему тем более угрожала опасность и надо было бы вести себя с особой осторожностью и держать язык за зубами. Он же развязно объявлял, что знает в точности болезнь, от которой ему суждено умереть, и болезнь эта — меткая острова. Вот и сегодня Норбан рассказал императору о некоторых новых непочтительных островах Элия. Передавая последнюю, он, однако, вдруг осекся.

— Ну, продолжай! — сказал император; Норбан колебался. — Продолжай же! — потребовал император.

Домициан побагровел, стал осыпать бранью своего министра, кричал, грозил. В конце концов Норбан сдался. Это была тонкая и вместе с тем непристойная острова насчет той части тела Луции, которая, так сказать, породнила Элия с императором. Домициан побелел.

— У вас слишком длинный язык, министр полиции Норбан, — наконец проговорил он с трудом. — Жаль, но ваш язык вас погубит.

— Вы же сами мне приказали говорить, ваше величество, — отозвался Норбан.

— Все равно, — возразил император и вдруг визгливо закричал: — Ты таких слов и повторять-то не смел, собака!

Однако Норбан был не слишком напуган. Император тоже скоро успокоился, и они продолжали деловито обсуждать кандидатов из списка. Как опасался и сам Домициан, за его отсутствие едва ли можно будет ликвидировать больше четырех врагов государства; увеличить их число — дело рискованное. Да и вообще Норбан

был не вполне согласен со списком императора и упрямо настаивал на том, что надо отложить ликвидацию еще одного сенатора, внесенного в этот список. В конце концов императору пришлось вычеркнуть два имени из пяти, зато Норбан согласился включить еще одно, так что все-таки осталось четыре. К этим четырем именам Домициан мог наконец добавить букву М.

Это многозначительное «М» было первой буквой имени некоего Мессалина, а Мессалин слыл самой темной личностью в городе Риме. Так как он состоял в родстве с поэтом Катуллом и принадлежал к одному из древнейших родов, все ожидали, что он примкнет к сенатской оппозиции. Вместо этого он стал на сторону императора. Мессалин был богат, и, обвиняя кого-либо в оскорблении величества — даже своих друзей и родственников, он делал это не ради выгоды: у него была страсть губить людей. И хотя Мессалин был слеп, никто лучше его не мог выследить тайные слабости людей, превратить простодушную болтовню в зловердные речи и безобидные поступки в преступные действия.

Если слепой Мессалин пускался по чьему-нибудь следу — человек этот считался погибшим; обвиненный им был заранее обречен. Шестьсот членов входило в состав сената, и в этом Риме императора Домициана они стали толстокожими, ибо знали, что тот, кто хочет отстоять себя, должен иметь весьма выносливую совесть. Но когда произносилось имя Мессалина, даже эти прожженные господа кривили губы. Коварный слепец требовал, чтобы ему не напоминали о его слепоте, он научился находить дорогу в сенат без проводника, один пробирался между скамьями на свое место, словно видел его. Каждый мог предъявить счет опасному и злобному слепцу; у одного он погубил родственника, у второго — друга, и всем хотелось, чтобы он на что-нибудь наткнулся и вспомнил о своей слепоте. Но никто не решался дать волю этому желанию, все уступали ему дорогу и убирали препятствия с его пути.

Итак, император наконец поставил после четырех имен букву «М».

С этим делом было покончено, и Норбан считал, что DDD мог бы, собственно говоря, спокойно отпустить

его спать. Но император продолжал его удерживать, и Норбан догадывался почему: DDD очень хотелось услышать что-нибудь относительно Луции, уж очень хотелось узнать, что подделывала Луция на острове Пандатарии, куда ее сослали. Но тут император сам все испортил. Не надо было вначале так кричать на Норбана. А теперь Норбан будет настороже, он больше не даст обвинить себя в оскорблении величества. Он в достойной форме научит своего императора владеть собой.

Домициан же действительно сторал от желания расспросить Норбана. Но как ни мало было у него тайн от этого человека, раз дело касалось Луции, он испытывал стыд и был не в силах задать ему вопрос о жене. Норбан, со своей стороны, продолжал назло ему упорно молчать.

И так как император не отпускал его, то вместо разговора о Луции Норбан принялся пересказывать ему всякие светские сплетни и мелкие политические новости. Упомянул и о подозрительном оживлении в доме писателя Иосифа Флавия, замеченном после того, как начались беспорядки на Востоке, он даже может показать копию составленного Иосифом манифеста.

— Интересно,— отозвался Домициан,— очень интересно. Наш Иосиф! Знаменитый историк! Человек, описавший и сохранивший для потомства нашу Иудейскую войну, человек, обладающий правом раздавать славу и позор. Чтобы прославить деяния моего божественного отца и моего божественного брата, он нашел очень много выразительных слов, обо мне же он упомянул весьма скупо. Значит, он теперь стал писать двусмысленные манифесты? Так-так!

И он приказал Норбану продолжать слезку за этим человеком, но пока его не трогать. Вероятно, Домициан до отъезда еще сам займется этим евреем Иосифом; ему давно уже хочется еще разок с ним побеседовать.

Луция, императрица, действительно прибыла под вечер в Альбанское имение. Она ожидала, что Домициан выйдет ей навстречу, чтобы приветствовать ее. Но

она ошиблась, и это не столько рассердило ее, сколько показалось забавным.

Сейчас, пока шло совещание между Домицианом и Норбаном и ее имя все время вертелось у них на языке, хоть и не было названо, Луция ужинала в интимном кругу. Не все приглашенные рискнули явиться. Хотя Домициан и вернул Луцию, но еще неизвестно, как он отнесется к тем, кто сядет за ее стол. От грозных сюрпризов никто не застрахован; сколько раз бывало, что император, решив кого-нибудь окончательно погубить, перед тем выказывал обреченному особенную благосклонность.

Но те, кто ужинал у императрицы, притворялись веселыми, да и сама Луция была в отличном настроении. Невзгоды изгнания как будто не оставили на ней никаких следов. Молодая, статная, пышущая здоровьем, сидела она за столом, широко расставленные глаза под детски чистым лбом смеялись, все ее смелое, ясное лицо сияло. Ничуть не смущаясь, говорила она о Пандатарии, острове изгнания. Домициан, вероятно, потому назначил ей этот остров, чтобы ее пугали тени высокопоставленных изгнанниц, которых туда ссылали до нее, — тени Агриппины, Нероновой Октавии, Августовой Юлии. Но тут он просчитался. Когда она думала об этой Юлии, она думала не о ее смерти, а о ее дружбе с Силаном и Овидием и о тех наслаждениях, из-за которых она, в сущности, и погибла.

Она во всех подробностях рассказала о своем пребывании на острове. Там было семнадцать ссыльных, а местных уроженцев около пятисот. Конечно, приходилось во многом себе отказывать, и потом, очень надоедало видеть все тех же людей. Скоро они знали друг друга до последних черточек. Совместная жизнь на голой скале, когда кругом только бескрайнее море, повергла некоторых в меланхолию, они становились раздражительными, возникали трения; временами между ссыльными разгоралась такая ненависть, что они, как пауки в банке, готовы были сожрать друг друга. Но в этой жизни была и хорошая сторона, — по крайней мере, не мелькают вокруг, как в Риме, бесчисленные лица, не надо

быть все время на людях, живешь предоставленная самой себе. Она лично в этих беседах с самой собой сделала немало интересных наблюдений. Кроме того, бывали и сильные переживания, о которых в Риме и понятия не имеют, например, волнение, когда каждые шесть недель приходит корабль с почтой и газетами из Рима и со всякой всячиной, заказанной оттуда. В общем, закончила она, неплохое было время, а так как сама Луция была весела и полна жизни, то ей охотно поверили.

Оставался вопрос, как пойдет теперь ее жизнь в Риме и как сложатся ее отношения с императором. Об этом говорили без стеснения; особенно откровенно высказывались Клавдий Регин, сенатор Юний Марулл и бывший муж Луции Элий, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. Завтра же, заявил Элий, Луции станет совершенно ясно, чего ей в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак, значит, он намерен объясняться. Но вероятнее всего Фузан так же боится объяснений, как боялся их в свое время он, Элий, и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Элий, готов держать пари, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луцией на людях.

Что касается Луции, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором. Без робости называла она Домициана его прозвищами и в присутствии всех заявила Клавдию Регину:

— Вы должны потом уделить мне пять минут наедине, мой Регин, и посоветовать, что мне следует потребовать от Фузана, прежде чем с ним помириться. Если он, как мне говорили, действительно потолстел, пусть платит больше.

Как и большинство его гостей, Домициан плохо спал в эту ночь. Он все еще не осведомился, здесь ли Луция, но внутренний голос уверенно подсказывал ему, что она здесь и они опять спят под одной крышей.

Он раскаивался в том, что обидел Норбана. Если бы не это, он уже наверняка знал бы, чем Луция занима-

лась на острове Пандатарии, куда была сослана. Она видела там немногих мужчин, и трудно себе представить, чтобы хоть один из них заслужил ее благосклонность. Правда, поручиться за нее никак нельзя, она способна на все. Может быть, она все-таки спала с кем-нибудь из этих мужчин, даже с рыбаком или просто с кем-нибудь из того сброда, который жил на острове. Но узнать правду он мог только от Норбана и сам же так глупо зажал ему рот.

И если бы даже он знал все, что происходило на Пандатарии, знал бы каждую минуту ее жизни, это едва ли повлияло бы на него. Волнуясь и ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоявшего завтра объяснения с Луцией, оттачивал фразы, которыми хотел сразить ее, — он, великодушный Домициан, бог, — ее, грешницу, милостиво им прощенную. Но он знает заранее, что, какие бы фразы для нее ни приготовить, она только улыбнется, а в конце концов расхохочется своим звонким загадочным смехом и ответит что-нибудь вроде: «Ну, иди сюда, иди, Фузан, будет тебе!» — и что бы он ни говорил, что бы ни делал, ему никак не удастся внушить ей страх. Уж такая у нее натура. И если другие — его дерзкие аристократы, — может быть, именно из-за своей принадлежности к древнейшим родам, стали как-то уж слишком слабонервными и хилыми, в ней, в Луции, действительно еще живут здоровье и сила старых патрициев. Он ненавидел эту ее гордую силу, но Луция была ему нужна, он скучал по ней в ее отсутствие. Напрасно он уверял себя, что Луция — воплощение богини Рима и только поэтому нужна ему, только поэтому он и любит ее. Домициану была необходима просто Луция, женщина Луция, и только. И он чувствовал, что не сможет отправиться в поход, пока не поцелует маленький шрам под ее левой грудью; если она ему разрешит — это будет для него подарком. Ах, ей ничего нельзя приказать, она только смеется; среди всех известных ему живых людей она одна не боится смерти. Она любит жизнь, берет от каждого мгновенья все, что оно может дать, но именно потому ей и незнаком страх смерти.

На следующее утро, чуть свет, Домициан созвал своих министров на тайное совещание кабинета. Пять человек собралось в Гермесовом зале, они не выпалились и предпочли бы еще полежать в постели, но если и случилось, что император заставлял ждать себя бесконечно долго — горе тому министру, кто осмеливался быть неточным.

Анний Басс, с присущей ему шумной откровенностью, выложил Клавдию Регину свои опасения по поводу предстоящего похода; он, видимо, хотел, чтобы Регин поддерживал его перед императором. С одной стороны, говорил Анний, DDD считает, что скаредность недостойна бога, так что содержание двора и особенно постройки обходятся даже в его отсутствие очень дорого, с другой, — и это перешло к нему от отца, — он требует, чтобы при любых обстоятельствах избегали ненужных расходов. А такое урезывание скажется прежде всего на ведении войны. И Анний боится, что генералам, командующим на Дунайском фронте, не будет предоставлено достаточно войск и военных материалов, и верховный главнокомандующий Фуск будет стараться — здесь-то и кроется главная опасность — восполнить нехватку вооруженных сил и боевых средств храбростью сражающихся.

— Да, вести государственное хозяйство не простое дело, — вздыхая, ответил Регин, — уж мне-то, Анний, не зачем это объяснять. Вот я вчера получил стихи, посвященные мне придворным поэтом Стадием... — Ухмыляясь всем своим мясистым, кое-как выбритым лицом и иронически щурясь сонными глазами с набухшими веками, он извлек рукопись из рукава парадного платья; держа драгоценное стихотворение в толстых пальцах, Регин громким жирным голосом прочел: «Тебе одному доверены управление священными сокровищами императора, богатства, созданные всеми народами, доходы, поступающие со всех концов земли. Все, что таится, сверкая, в недрах Далматинских кряжей, все, что неизменно приносит жатва ливийских пажитей, все, что растет на землях, удобренных нильским илом, все жемчуга, что извлекают на свет ныряльщики Восточного моря, и слоновая кость, добытая охотниками Индии, —

все это доверено лишь твоему попечению. Бдителен ты и зорок и с уверенной быстротой исчисляешь то, в чем ежедневно нуждаются под нашим небом армии государства, пропитание города, храмы, водопроводы, поддержание гигантской сети улиц. Ты знаешь цену и вес до последней унции, тебе ведомы сплавы металлов, которые превращаются в огне в образы богов, в образы императора, в римские монеты». Это обо мне здесь говорится, — усмехаясь, пояснил Клавдий Регин, и действительно было немного смешно, что этому небрежному, скептическому и не жадному до почестей господину посвящены такие пышные стихи.

Гофмаршал Криспин нервно шагал по маленькой комнате. Молодой элегантный египтянин был, несмотря на ранний час, одет очень тщательно, он, видимо, тратил уйму времени на свой туалет, и от него, как всегда, несло благовониями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи. Министр полиции Норбан с явным неодобрением следил за ним спокойным зорким взглядом. Норбан терпеть не мог молодого щеголя, он чувствовал, что тот наверняка издевается над его неуклюжестью, и все-таки Криспин — один из тех немногих, кто для Норбана недосыгаем. Правда, министру полиции известны кое-какие неблагоприятные проделки, с помощью которых этот мот Криспин добывает деньги. Однако император питает необъяснимое пристрастие к молодому египтянину. Он видит в этом человеке, издавшем все утонченные пороки своей Александрии, зеркало элегантности и хорошего тона. Домициан, в роли стража строго римских традиций, презирал подобные ухищрения, но Домициан-мужчина весьма интересовался ими.

Криспин, все еще продолжая ходить по комнате, заметил:

— Вероятно, опять будем обсуждать новые, более строгие законы в защиту нравственности. DDD изо всех сил старается превратить наш Рим в Спарту.

Никто не ответил. Зачем в тысячный раз пережевывать одно и то же?

— А может быть, — заметил, неудержимо зевая, Ма-

рулл, который сегодня не выпался,— он собрал нас опять из-за какой-нибудь камбалы или омара?

Это был намек на злобную шутку, которую недавно позволил себе император, когда он, подняв среди ночи своих министров, вызвал их в Альбан, чтобы опросить, каким способом приготовить необычайно большую камбалу, которую ему поднесли.

Глаза всеведущего Норбана, в досье у которого были точно отмечены поступки и высказывания каждого из них, продолжали следить за бегающим по комнате Криспином; глаза эти были карие, коричневатými были и белки, и своей спокойной пристальностью они напоминали глаза сторожевого пса, готового к прыжку.

— Вы опять что-то вывели о моих делах? — наконец спросил египтянин, которого этот упорный взгляд выводил из равновесия.

— Да,— скромно ответил Норбан.— Ваш друг Меттий умер.

Криспин сразу остановился и обратил к Норбану длинное, худое лицо, тонкое и порочное. Оно выражало и ожидание, и радость, и озабоченность. Старик Меттий был весьма богат, и Криспин преследовал его, хитроумно сочетая изъявления дружбы с угрозами, пока старец наконец не завещал ему весьма значительные суммы.

— Ваша дружба пошла ему не впрок, мой Криспин,— продолжал министр полиции; теперь к его словам прислушивались и остальные.— Меттий вскрыл себе вены. Впрочем, непосредственно перед этим он завещал все свое состояние,— Норбан чуть подчеркнул слово «все»,— нашему возлюбленному владыке и богу Домициану.

Криспину удалось сохранить на лице спокойствие.

— Вы всегда приносите радостные вести, мой Норбан,— вежливо отозвался он.

Если уж не ему достался жирный кусок, то лучше пусть этот кусок получит император, чем кто-нибудь другой. Хотя Домициан и позволял себе с ними злые шутки, пятеро мужчин, собравшихся в маленьком зале, все же искренне были преданы ему. DDD, несмотря на

свои мрачные причуды; умел производить впечатление не только на массы, но и на тех, с кем допускал известную близость.

Клавдий Регин сначала слушал с легкой гримасой. Затем он снова обмяк и сидел в кресле, развалившись, раскисший, сонный.

— Им-то легко,— сказал он вполголоса Юнию Марулле, кивая на трех остальных министров,— они молоды. Зато, Марулл, только у нас с вами есть преимущество, которого ~~не~~ было пока что ни у кого из друзей императора,— наш возраст: ведь и вам и мне уже за пятьдесят.

Тем временем Норбан остановил Криспина в каком-то углу. Спокойно, слегка угрожающим тоном, понизив грубый голос, чтобы другие не слышали его слов, он сказал:

— У меня есть для вас еще одна приятная новость: на Палатинских играх будут присутствовать весталки, так что вы сможете увидеть вашу Корнелию.

Смугловатое лицо Криспина стало почти глупым, настолько он растерялся. Он несколько раз говорил о весталке Корнелии нагло и похотливо, но только в кругу ближайших друзей, ибо император требовал самого строгого уважения к его сану верховного жреца и не терпел ни малейшей непочтительности к своим весталкам. Сейчас Криспин точно вспомнил те слова: «Будь эта Корнелия хоть с головы до пят зашита в свое белое одеяние, я все равно буду с ней спать»,— хвастливо заявлял он. Но какими дьявольскими путями дошло это опять до проклятущего Норбана?

Наконец министров попросили в рабочий кабинет императора. Домициан сидел у письменного стола на высоком кресле, облаченный в подобающий только ему наряд императора, и даже обут он был в неудобные башмаки на высокой подошве, хотя его ноги заслонял стол. Он желал быть богом во всем и с почти жреческой величавостью ответил гордым кивком на подобающий богу церемониал смиренных приветствий.

Тем резче противоречила этой манере держаться та деловитость, с какой он повел совещание. Хоть и проникнутый сознанием своей божественности, он трезво

проверял своим человеческим рассудком аргументы и возражения, приводимые его министрами.

Обсуждался в первую очередь проект закона, по которому верховный надзор за нравами и сенатом навсегда передавался в ведение императора, а права корпорации-соправительницы сводились к пустым формальностям, и, следовательно, единодержавие становилось реальностью. Каждый аргумент, обосновывающий это предложение, разработали до мельчайших стилистических тонкостей. Потом занялись вопросом о том, как сочетать основные требования войны и мирной жизни. Тут надо было, с одной стороны, предоставить в распоряжение военного инженера Фронтину большие суммы, чтобы он мог продолжать возведение вала для защиты от германских варваров, с другой — найти деньги для раздачи наград и повышения жалованья частям армии, отправляющимся на фронт. Вместе с тем нельзя было просто-напросто приостановить крупное строительство, начатое в Риме и в провинциях. Это могло повредить престижу императора. На чем же можно было сберечь деньги? Где и на что еще повысить налоги, не слишком обременяя подданных? Затем было решено, какие меры следует принять против беспокойных провинций, какие привилегии нужно им предоставить и какие отнять. Подробно обсудили, допустимо ли несколько смягчить предписания, ограничивающие разбивку новых виноградников за счет пашен. Нельзя, чтобы эта необходимая реформа стала уж слишком непопулярной. В заключение особенно долго остановились на давно задуманных законах в защиту нравственности: распоряжениях, сдерживающих все возраставшее стремление женщин к эмансипации, установлениях, ограничивающих роскошь в одежде, предписаниях, допускавших более строгий контроль над зрелищами. И опять советникам Домициана пришлось признать, что, когда он говорил о своей миссии верховного жреца — самыми суровыми мерами восстановить староримскую дисциплину и традиции, — это не было с его стороны лицемерием. И если он безрассудно отдавался собственным страстям и желаниям, то вместе с тем был глубоко проникнут верой в свою миссию — вернуть народ на путь

добродетели и к религиозным истокам древних традиций. Римская дисциплина и римская мощь едины, одна не может существовать без другой, строгая добродетель — основа империи. Неподвижно и царственно сидел он за своим столом, вершил дела — и казался говорящей статуей. От него как бы исходила глубокая убежденность в своей миссии, и хотя министры слышали эти откровения бога Домициана уже не раз, им становилось жутко от его одержимости.

Но, впрочем, они деловито обсудили все вопросы под деловитым руководством императора и без всяких обид друг на друга. Домициан сумел слить себя и своих советников в единый организм, думавший единым мозгом. Собрание затянулось, все мечтали об отдыхе, но император не разрешал ни себе, ни своим советникам никакого перерыва.

И даже когда он наконец отпустил выбившихся из сил министров, Норбана он все-таки задержал. Правда, он поступил бы разумнее, дав себе немного передохнуть. Ведь впереди предстоял еще нелегкий семейный ужин. Знаток людей, Элий оказался прав: император решил сначала увидеться с Луцией в кругу семьи, а уже потом должно было последовать то объяснение с глазу на глаз, которого он так желал и так боялся. Именно из-за этого объяснения Домициан и решил предварительно побеседовать со своим министром полиции. Ведь только Норбан мог дать материал против Луции, такой материал, который пригодился бы императору для решительного разговора. Однако Норбан был молчалив и сегодня, а у Домициана и сегодня вопрос не шел с языка. Он ждал, чтобы Норбан заговорил сам. Это нелегко, что тот не дает по собственному почину сведений своему государю. И все-таки Норбан упрямылся и молчал.

Император со вздохом отказался от надежды что-либо узнать о Луции. Но поскольку Норбан был здесь, начал выспрашивать его о Юлии. Его отношение к племяннице было двойственным и изменчивым. В свое время Тит, его брат, предложил ему в жены свою дочь Юлию, но Домициан, стремившийся тогда стать соправителем брата, решил, что от него хотят слишком

дешево откупиться. Потом, отчасти из ненависти к брату, отчасти потому, что его привлекало полное ленивой прелести пышное тело Юлии, он уговорами и силой добился ее покорности. После того как Тит выдал Юлию за их двоюродного брата Сабина, даже именно поэтому, Домициан продолжал скандальную связь с ней. Теперь Тит мертв, Домициану незачем больше его бесить, но он успел привыкнуть к светловолосой, белокожей, медлительной Юлии. Она, видимо, полюбила его, а он искал в этой любви прибежища, когда его особенно терзал гнев на неприступную гордость Луции. И в зависимости от того, как с ним обращалась Луция, менялось и его отношение к Юлии.

И вот Юлия забеременела. Несколько времени тому назад он запретил ей спать с ее мужем Сабином, его двоюродным братом, и она клялась, что ребенок — от Домициана, не от Сабина; Домициан-мужчина очень хотел бы этому верить, но император Домициан недоверчив. Или, может быть, император Домициан тоже верит, ведь его, бога, не надуешь, но недоверчив Домициан-человек? Говорить об этих своих сомнениях с Норбаном он не стеснялся. Луция родила ему ребенка, но тот умер в двухлетнем возрасте, и лейб-медик Валент считает, что на потомство от Луции надеяться нечего. Вот если бы Юлия родила ему ребенка — это было бы замечательно. Но кто скажет, действительно ли плод, который она носит, — его дитя? Никогда он не будет вполне в этом уверен; ведь если даже у ребенка обнаружится фамильное сходство с Флавиями, оно может быть унаследовано и от нее самой, и от него, и от Сабина. Кто рассеет его сомнения?

Норбан не только был глубоко предан своему государю, он был ему искренним другом. И как он обрадовался бы, если бы у Домициана родился сын, которому тот завещал бы престол.

— У меня надежные люди в доме принца Сабина, — заявил Норбан, — люди зоркие. Они следят не за принцессой Юлией, а за принцем Сабином. И мои люди решительно утверждают, что между принцем и принцессой отношения чисто родственные, а не супружеские.

Император устремил взгляд слегка выкаченных глаз, мутных и неподвижных, на министра полиции.

— Тебе хочется утешить владыку и бога Домициана, Норбан,— ответил он,— оттого что ты друг Домициану-мужчине.

Норбан многозначительно пожал широкими плечами:

— Я только передаю то, что мне сообщают верные люди.

— Во всяком случае, досадно, что Сабин, этот заносчивый дуралей, существует,— размышлял вслух Домициан.— Дурак он по натуре, а вот в том, что он так занесся, виноват Тит. Уверяю тебя, Норбан, мой брат Тит был в глубине души сентиментален, несмотря на металлический звон в голосе. Он этого Сабина набаловал из семейной чувствительности. То, что он выдал за него Юлию,— просто идиотизм.

— Мне не подобает критиковать бога Тита,— ответил Норбан.

— А я тебе говорю,— нетерпеливо возразил император,— что он частенько вел себя как идиот, этот самый бог Тит. Высокомерие Сабина действительно невыносимо. Оно уже почти граничит с государственной изменой.

— Он упорно держится в стороне от политики,— вставил министр полиции почти с сожалением.

— В том-то и дело,— сказал Домициан.— Зато он строит из себя Мецената всяких снобов-интеллигентов, которые, конечно, настроены оппозиционно.

— Можно ли считать это государственной изменой? — задумчиво спросил Норбан.— Боюсь, этого недостаточно.

— Он нарядил своих слуг в белые ливреи, а это — привилегия императорского дома,— продолжал Домициан.

— Также недостаточно,— настаивал Норбан.— Потом он белую ливрею отменил, как вы ему приказали. Нет, всего этого недостаточно,— заключил он.— Но положитесь же на вашего Норбана, мой владыка и бог,— уговаривал он Домициана.— Против принца Сабина непременно возникнет какое-нибудь обвинение, уж такой

он человек. А как только дойдет до этого, может быть, уже к вашему возвращению из похода, мой владыка и бог,— я вам сейчас же доложу.

Вечером император сначала поужинал один, он ел торопливо и много, ибо хотел быть сытым, чтобы за семейным ужином еда не отвлекала его от наблюдений за остальными. А остальные тем временем собрались в малом парадном зале Минервы. Здесь были: Луция, оба кузена императора — Сабин и Клемент с женами — Юлией и Домитиллой, а также два мальчика-близнеца — сыновья Клемента.

Карaulьные звякнули копытами об пол, Домициан вошел. Увидел Луцию, ее обращенное к нему смелое, ясное, смеющееся лицо, веселое, слегка насмешливое. О нет, пребывание на пустынном острове не укротило ее, не изменило. Он был рад, что они не вдвоем.

Своим деревянным тяжелым шагом подошел он к ней и поцеловал,— как должен был, следуя церемониалу, поцеловать каждого из присутствующих. Поцелуй был коротким и формальным, его губы едва коснулись ее щеки. Однако она почувствовала, как под его парадной одеждой забилося сердце. А он отдал бы целую провинцию, только бы узнать, спала она с кем-нибудь там, на своем острове, или нет. Почему он не спросил Норбана? Неужели он боится его ответа?

Его охватило неистовое, едва укротимое желание увидеть прамя под ее левой грудью, нежно провести по нему пальцем. Да, он поистине великий властитель, истинный римлянин, если может, испытывая столь яростное желание, все же обуздать себя и явить окружающим лик, полный спокойствия.

Итак, он обнимает своего двоюродного брата Сабина и целует его, как предписывает обычай. Препротивный мужчина этот Сабин, и глуп, и мнит о себе. Но на своего министра полиции Домициана может положиться. Настанет день, когда он уже не будет вынужден касаться своей щекой щеки Сабина.

Он повернулся к Юлии. Ее беременность еще не была заметна, но все присутствующие о ней уже знали.

Наверное, слышала и Луция и тоже начнет теперь гадать, от кого ребенок: от Фузана или от дуралея Сабина? Когда император направился к Юлии, угловато отставив назад локти, слегка втянув живот, все лицо его пылало; но это еще ничего не доказывало, он краснел часто от всякого пустяка. Большие, широко раскрытые серо-голубые глаза Юлии были вопрошающе устремлены на него. За последние месяцы ей меньше пришлось страдать от его капризов, но ее ясный и трезвый ум подсказывал, что, как только он снова сойдется с Луцией, все будет по-прежнему. И вот Юлия стоит перед ним, эта истинная дочь Флавиев, крупная, земная. Но не кажется ли она несколько вульгарной рядом с Луцией? Домициан поцеловал ее, ее тонкая белая кожа, которая еще на днях так нравилась ему, потеряла для него всякую прелесть.

Затем он обнял и приветствовал поцелуем своего младшего двоюродного брата Клемента, ленивого тихоню, как он называл его, издеваясь. Ибо Клемент не интересовался политикой, в нем не было ни капли честолюбия, его сквозившая во всем ласковая небрежность раздражала императора, считавшего себя блюстителем истинно римских нравов. Большую часть времени Клемент проводил в деревне, с женой Домитиллой и близнецами. Там он изучал ханжеские догматы одной еврейской секты, а именно — нелепое учение минеев, или христиан, которые ожидали всяческого блаженства в загробной жизни, ибо считали, что жизнь земная не стоит трудов. Домициан находил эти догматы отвратительными, расслабляющими, бабьими, глупыми и совершенно недостойными римлянина. Нет, свидетель Геркулес, он и Клемента терпеть не может. Но кое в чем Клемент имеет перед ним преимущество, а в одном Домициан просто завидует ему: у него два сына-близнеца, четырехлетние принцы Констант и Петрон, львята, как Домициан любил называть этих послушных, ласковых и крепких мальчуганов. Династия должна быть продолжена, — он этого горячо желает, — ни Сабин, ни Клемент для престола не годятся, кого произведет на свет Юлия — еще неизвестно, поэтому близнецы пока все, на что Домициан может рассчитывать, и в душе он

лелеет мысль усыновить их. Только из-за них мирится он с присутствием кузена Клементя. Впрочем, Клемент на неприязнь отвечал неприязнью и с явным усилием перенес объятие и поцелуй Домициана.

Особенно злила и забавляла императора жена кузена, Домитилла; она была последней, кого он приветствовал поцелуем. Домитилла была дочерью его покойной сестры и унаследовала некоторые характерные черты Флавиев — белокурые волосы, крутой подбородок. Но она была щуплая, во всех смыслах щуплая, и вдобавок скупая на слова. Правда, светлые глаза Домитиллы выдавали ее пылкие, даже фанатические чувства. К Домициану она относилась с презрением, называла его не иначе, как «этот», считая даже прозвище «Фузан» слишком для него лестным; он казался ей воплощенным принципом зла, и чтобы об этом догадаться, императору не нужен был его Норбан. Конечно, это она и поддерживала в своем слабовольном супруге пассивную враждебность и упорство его тихого и кроткого сопротивления. Конечно, это она вовлекла его в подозрительную еврейскую секту. Целуя сейчас Домитиллу, император обнял ее крепче, чем остальных. Она была ему совершенно не нужна, но именно для того, чтобы поцеловать ее, он не ограничился обычным официальным поцелуем, а долго и сердечно сжимал ее в объятиях.

За столом он был разговорчив и явно пребывал в отличном настроении. Правда, не отказал себе в удовольствии, как обычно, подразнить кузенов Сабина и Клементя, а также Домитиллу. Но не обиделся, когда Луция стала насмешливо хвалить его за умеренность и с одобрением признала, что живот у него вырос не намного. Юлии он с притворной озабоченностью посоветовал, чтобы она в своем положении соблюдала осторожность, — такое-то блюдо ела, а такое-то нет. Но больше всего шутил он с близнецами. Ласково гладил их по светлым мягким волосам, называл «мой лъвята». Принцы охотно принимали эти знаки внимания, видимо, они тоже любили дядю.

— Народ, солдаты и дети любят меня, — с удовольствием отметил император. — Все, у кого здоровые инстинкты, меня любят.

— Разве у меня нездоровые инстинкты? — спросила Луция.

А Юлия ласково и непринужденно осведомилась:

— Значит ли это, что вы нашего бога Домициана не любите, моя Луция, или любите, несмотря на нездоровые инстинкты?

Но вот ужин окончен, все разошлись; Домициан почувствовал себя лучше вооруженным для объяснения с Луцией. Однако, когда они остались одни, он никак не мог начать. Луция это поняла, и на лице ее появилась широкая улыбка. Она сама начала разговор и благодаря этому все время направляла его.

— Я, собственно, должна была бы поблагодарить вас за ссылку, — сказала Луция. — Когда я узнала, что местом изгнания вы предназначили мне даже не Сицилию, а пустынный остров Пандатария, я, признаюсь, рассердилась и боялась, что там будет очень скучно. Но эта ссылка была таким переживанием, что жаль было бы не изведать его. Общась с десятком таких же ссыльных, как и я, и с местным пролетарским населением, я убедилась, что для внутренней жизни гораздо полезнее находиться на таком вот пустынном острове, чем в Альбанском поместье или на Палатине.

«А я все-таки спрошу Норбана, — злобно подумал Домициан, — спала ли она там с кем-нибудь и с кем именно».

— Когда вы сообразовали вернуть меня, — продолжала Луция, — я почти жалела об этом. Но я вовсе не отрицаю, что теперь, когда я вернулась, мне после пустынной Пандатарии очень нравится здесь, в Альбанском имении.

— Мне следовало применить закон о прелюбодеянии во всей строгости, — заметил, побагровев, Домициан. — Я должен был бы уничтожить вас, Луция.

— Вы капризны, мой владыка и бог, — ответила Луция, все так же улыбаясь. — Сначала вы зовете меня обратно, а потом говорите грубости. А не считаете ли вы, что несколько примитивно в любом случае прибегать к таким кровавым решениям? — Луция подошла к нему вплотную: — она была выше Домициана — и слегка погладила его редющие волосы. — Это дурной вкус,

Фузан, — сказала она, — и не свидетельствует о благородстве крови. Впрочем, я ведь смерти не боюсь. Полагаю, вам это известно. И если бы мне теперь пришлось умереть — смерть не слишком высокая плата за то, что я получила от жизни.

Да, от жизни она умела взять все, что можно, Домициан должен это признать. И смерти она действительно не боится, он в этом удостоверился. И в том, что она извлекла нечто ценное даже из своего изгнания, он тоже не сомневался. Нет, ее нельзя укротить, невозможно стать ее господином. Он возмущался все вновь и вновь той дерзостью, с какой она отстаивала свою правоту, и всякий раз эта дерзость сызнова покоряла его.

Он пытался найти в себе силы, чтобы устоять против нее. Ведь в отсутствие Луции он убедился, что ее можно заменить. Разве Юлия не стала ему больше чем паломницей? Разве он не ждет от Юлии ребенка? Разве и в его жизни не было всяких событий, пока Луция отсутствовала?

— Я тоже кое-чего достиг, когда тебя не было, Луция, — сказал он злобно. — Рим стал более римским, Рим стал более могущественным, сильным, и теперь в Риме больше дисциплины.

Но Луция просто рассмеялась в ответ.

— Не смейся, Луция! — остановил он ее, это были и просьба и приказ. — Это правда. — И добавил мягче, почти умоляюще: — Я ведь и ради тебя это делал, я для тебя старался, Луция.

Луция сидела молча и смотрела на него. Она замечала в нем все мелочное и смешное, но видела также его силу и способность властвовать. Одно она понимала: если у кого-нибудь в руках сосредоточена такая чудовищная полнота власти, как у ее Домициана, нужно быть очень большим человеком, чтобы не злоупотреблять ею. Будничной трезвости рассудка она от него не могла требовать, да и не требовала. Временами даже любила его за то, что он так одержим уверенностью, будто его рукою действует и его устами говорит бог. Ей казалось достойным презрения то, что он не может себя пересилить и убить ее, вместе с тем в изгнании Луция не раз тосковала по нем. Сейчас она смотрела на него

задумчиво, затуманенным взглядом: она радовалась, что будет спать с ним. И все же Луция сознавала ясно: нужно не медля потребовать от него все, что она задумала, и заранее добиться согласия. Потом, после, будет уже поздно, и ей придется вести с ним борьбу целые годы. Она четко определила для себя то, что должна от него потребовать, и благоразумный Клавдий Регин ее одобрил.

— Вам следовало бы наконец передать мне монополию на производство кирпича,— сказала она вместо ответа.

Домициан был разочарован.

— Я говорю вам о Риме и о любви, а вы отвечаете мне словом «деньги»,— жалобно отозвался он.

— А я в изгнании поняла,— продолжала она,— какая важная вещь деньги. Даже на моем пустынном острове я могла бы деньгами многое облегчить и себе и другим. Нехорошо было с вашей стороны накладывать арест на мои доходы. Ну как, Фузан, получу я монополию на кирпич? — спросила она.

А он думал о шраме под ее грудью и был полон гнева и желания.

— Молчи! — властно приказал он.

— И не подумаю! Я говорю о монополии на производство кирпича,— продолжала она настаивать.— И ты ничего не добьешься, пока не скажешь «да». И не воображай, что сломил меня своей Пандатарией. Ты, наверно, думал, что я буду все время вспоминать судьбу Октавии или Юлии, жепы Августа...

Тут он покраснел, так как добивался именно этого.

— Но ты ошибся. И если ты меня опять туда сошлешь, я все равно другой не стану, и так же, как я с весельем вспоминала о той Юлии, так и другая изгнанница на этом острове будет вспоминать обо мне скорее с завистью, чем со страхом.

Слушая эти намеки, Домициан убедился в полной мере, как бессилен он перед этой женщиной. Он искал слов, желая возразить ей. Но не успел их найти, ибо она возобновила свой бурный натиск и опять стала требовать:

— Думаешь, тебе одному нужен блеск? Если уж ты хочешь строить больше, чем твои предшественники, то и я хочу что-то от этого получать. Ну как, отдашь ты мне монополию на кирпич?

Пришлось все-таки уступить, и в ту ночь он даже ни разу не пожалел об этом.

Решения, одобренные императорским кабинетом министров, чтобы стать законами, подлежали еще утверждению сената. А потому — все эти решения были изложены в виде четырех законопроектов, и всего через несколько дней после заседания кабинета был созван сенат, чтобы их обсудить.

И вот, не выспавшись, избранные отцы собрались в белом величественном, огромном зале храма Мира, где они должны были совещаться. Одни сидели, другие стояли; было еще очень рано, заседание полагалось открыть точно с восходом солнца, ибо сенат имел право заседать только между восходом и закатом, а для того, чтобы обсудить четыре законопроекта и принять решения, следовало не терять времени.

День был очень холодный, жаровни с углем не могли нагреть просторного зала. Сенаторы ждали, переминаясь с ноги на ногу, в своих пурпурных плащах и отороченных пурпуром туниках, озаренные мерцающим светом множества светильников и жаровен с углем, болтали, откашливались, поеживались, разминали ноги, обутые в неудобные парадные башмаки на высокой подошве, пытались отогреть руки грелками с горячей водой, которые они прятали в широких рукавах парадной одежды.

Большинство чувствовало себя дьявольски униженными тем, что им приходится теперь испытывать еще и все эти мелкие неудобства только ради того, чтобы на торжественном заседании утвердить законы, которые навсегда лишали их власти и подчиняли произволу этого Домициана, этого беспредельно наглого правнука мелкого конторского служащего. Но даже самые храбрые не решились уклониться.

То там, то здесь недовольные разговаривали вполголоса.

— Нет, все это стыд и позор,— вдруг не выдержал сенатор Гельвидий — тощий, долговязый, морщинистый старик; и хотел было покинуть зал.

Публию Корнелию с трудом удалось удержать его.

— Я вполне понимаю, мой Гельвидий,— сказал он, все еще держа его за рукав,— что вы не хотите иметь никакого дела с подобным сенатом. При таком императоре нам всем хотелось бы сорвать с туники пурпурную кайму. Но чего вы достигнете, если сделаете красивый жест и уйдете отсюда? Император сочтет это за дерзкое упрямство, и рано или поздно вас ждет расплата. Та робкая, приниженная жизнь, которую мы вынуждены вести, это не жизнь, и сколь многие из нас предпочли бы ослепительную и величественную смерть. Но демонстративное мученичество бессмысленно. Сохраните благоразумие, мой Гельвидий. Важно, чтобы те, кто любит свободу, уцелели в такое время. Важно, чтобы они остались жить, даже если их жизнь и убога.— Корнелий был гораздо моложе Гельвидия, он был одним из самых молодых сенаторов, но, несмотря на молодость, на лице его залегли глубокие, угрюмые морщины. «Это он должен бы уговаривать меня,— думал Корнелий, мягко оттесняя Гельвидия на его место,— а не я его. Правда, мне легче, чем ему. Я живу для того, чтобы записывать все происходящее при нынешнем тиране. Если бы я постоянно не повторял себе этого, то, вероятно, тоже не имел бы сил выносить такую жизнь».

Наконец, за несколько минут до восхода солнца, прибыл Домициан. Двери здания распахнули настежь, чтобы заседание могло считаться публичным; и весь народ увидел императора, блистающего на своем возвышении. Облаченный в пурпур и золото, торжественно восседал он; готовый сохранять до конца ту же величественную позу. Он желал, чтобы те четыре закона, которые подлежали сегодня рассмотрению, его законы, были обсуждены и утверждены со всей возможной помпой.

Самый важный из этих законопроектов, дававший императору пожизненную цензуру и право исключать сенаторов из состава сената, стоял в повестке дня третьим. Необходимость такого закона была обоснована

сенатором Юнием Маруллом, чье имя он и должен был носить. У этого элегантного старика выдался сегодня удачный денек, он чувствовал себя помолодевшим. Марулл, который с такой страстью задолго подготавливал себе всякие острые ощущения, теперь наслаждался предстоящей местью своим пуритански настроенным коллегам за враждебную иронию, с какой они нередко нападали на него, на этого «легкомысленного, утонченного сластолюбца». Сидя в торжественных позах и снедаемые гневом, эти республиканцы-консерваторы вынуждены были выслушивать, как их коллега Марулл, прославленный адвокат, с напускной деловитостью разъясняет им, что в целях устойчивости государственного управления сенату просто необходимо передать императору пожизненную цензуру и что если право верховного контроля не будет признано за владыкой и богом Домицианом — это грозит подорвать самое существование империи.

Сенатор Приск слушал, засунув руки в длинные рукава одежды. Своими глубоко сидящими маленькими глазками глядел он на разглагольствующего Марулла, прищурившись, закинув круглую, совершенно лысую голову. О, он говорил убедительно, этот Марулл, очень убедительно, защищая в высшей степени постыдное дело. Как охотно Приск, и сам обладавший даром слова, возразил бы Маруллу, а возразить можно было очень многое и очень метко, он сделал бы это с блеском. И все-таки сенатор Приск вынужден молчать, при императоре Домициане он обречен молчать. Ему оставалось единственное жалкое утешение: после заседания он вернется домой и все, что хотел бы высказать, запишет. А потом, когда-нибудь позднее, при удобном случае, он осторожно прочтет это шепотом в кругу надежных друзей, и если чтение пройдет удачно, как будто случайно подсунет свою рукопись Маруллу. Жалкое возмездие!

Сенатор Гельвидий, сын того Гельвидия, которого казнил отец нынешнего императора, скрипел зубами и кусал губы, вынужденный слушать позорные, но элегантные фразы Марулла. Наконец он был уже не в силах сдерживаться. Он забыл предостережения Корне-

лия, поднялся — высокий, тощий, морщинистый старик, и зычным голосом крикнул Маруллу:

— Это наглость! Это наглая ложь!

Марулл остановился на полуслове, устремил светлые серо-голубые глаза на прервавшего его Гельвидия, даже поднес к глазу увеличительный смарагд. Сам император, багровея, медленно повернул голову к подавшему реплику. Однако Корнелий уже успел одернуть Гельвидия, тот снова сел и больше не говорил ничего.

Когда Марулл кончил, перешли к прениям. Председательствующий консул выкликал имя каждого сенатора в порядке старшинства и спрашивал:

— Ваше мнение?

И не один охотно ответил бы: «Этот закон погубит империю и весь мир», — но ни один не дал такого ответа. Наоборот, каждый послушно заявлял: «Я согласен с Юнием Маруллом», — и разве только тон, каким это говорилось, выдавал стыд, горечь, негодование.

Во время перерыва, после голосования третьего законопроекта, Гельвидий сказал Корнелию:

— Если нашим пращурам было дано время от времени наслаждаться свободой в самой полной мере, то теперь мы терпим рабство в самой полной мере.

При обсуждении четвертого, последнего, вопроса — проекта более строгих законов о нравах, император сам взял слово. Когда дело касалось дисциплины и традиций, он просто не мог не выступать. И на этот раз он нашел достойные, решительные, очень римские выражения, чтобы еще раз сказать о своей убежденности в глубочайшей связи между дисциплиной и мощью. Нравственность, утверждал он, — это основа государства, поведение гражданина определяет его образ мыслей, и, принуждая человека вести себя достойно и нравственно, влияешь и на его душу, на его взгляды. Дисциплина и нравственность — условия существования всякого государственного строя, повиновение граждан — основа империи. Даже оппозиционно настроенные сенаторы вынуждены были признать, что потомок мелкого чиновника говорит с достоинством, как истинный император.

Вдоль стен овального зала строгой шеренгой стояли

изображения великих писателей и мыслителей, среди них — и бюст Иосифа Флавия, еврея, — этот бюст приказал поставить здесь император Тит. Слегка повернутая к плечу, высоко поднятая и надменная, худая и странно поблескивающая, безглазая и полная мудрой любознательности, присутствовала голова Иосифа на этом собрании сенаторов.

Десять дней спустя четыре медных таблицы, которые должны были навеки сберечь точный текст новых законов, были, как требовал обычай, сданы на хранение в государственный архив, и, таким образом, эти четыре закона вступили в силу. Начиная с этого дня император цезарь Домициан Август Германик получил пожизненное право по своему усмотрению исключать из сената его членов.

В невзрачный дом Иосифа, к великому удивлению соседей, явился императорский курьер. Он вручил Иосифу приглашение быть на следующий день на Палатине.

Сам Иосиф скорее удивился, чем испугался. За последние годы император лишь изредка удосуживался мимоходом бросить ему несколько слов. Не странно ли, что сейчас, перед своим отъездом, среди множества неотложных дел, Домициан все же пригласил его к себе. Быть может, это приглашение, или, вернее, приказ связан с событиями в Иудее? Все же Иосиф старался, на пути к Палатину, подавить в себе всякий страх. Бог не допустит, чтобы с ним случилась беда до того, как он закончит свой великий труд, свою «Всеобщую историю иудейского народа».

Когда Иосифа проводили к Домициану, он увидел, что на императоре поверх доспехов надет пурпурный плащ: сейчас же после разговора со своим евреем он намеревался принять депутацию сенаторов и генералов. И вот он стоял, прислонившись к колонне; жезл, знак императорской власти, лежал рядом, на столике. Комната была небольшой; тем величественнее казалась фигура императора. Иосиф отлично знал Домициана еще в те времена, когда тот был ничтожеством и лодырем

и брат называл его не иначе, как «этот фрукт». Однако сейчас в сознании Иосифа против его воли образ этого человека слился с многочисленными скульптурными портретами, стоявшими вокруг; и теперь перед Иосифом был уже не «этот фрукт», но сам державный Рим.

Император был очень благосклонен.

— Подойдите поближе, мой Иосиф,— сказал он.— Нет, еще ближе, подойдите совсем близко! — Потом стал разглядывать его своими большими близорукими глазами.— О вас давно уже ничего не слышно, Иосиф,— начал он.— Вы что-то совсем притихли. Вы все время живете в Риме? Занимаетесь только вашей литературой? А над чем вы сейчас трудитесь? Продолжаете писать историю нашего времени? — И, не дав Иосифу ответить, добавил с легкой злорадной усмешкой: — А вы опишете, какое действие оказали на вашу Иудею мои меры?

Император сказал все, что хотел, но рот его остался приоткрытым, как у большинства его статуй. Спокойно и задумчиво смотрел Иосиф ему прямо в глаза. Он знал, с каким презрением относились к этому человеку отец и брат, и Домициан знал, что Иосиф это знает. У него, у Домициана, круто выступающий вперед подбородок, как у отца. Юношей он производил гораздо более внушительное впечатление, чем отец и брат, но сейчас достаточно приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть, как мало в нем сохранилось сходства с его статуями. Если отнять у него атрибуты власти, если представить его себе не облеченным властью, а просто голым мужчиной, что тогда останется? Если за ним не будет стоять Рим, гигантский, мощный, то Домициан окажется обыкновенным человеком средних лет, толстогубым, с тощими ногами, преждевременным брюшком и преждевременной лысиной. Просто Фузаном. И все же он был императором Домицианом Германиком, и доспехи, пурпур и жезл оживали только благодаря ему.

— Я работаю над подробной историей моего народа,— с бесстрастной вежливостью ответил Иосиф.

Когда бы он с императором ни встретился, тот обращался к нему все с тем же вопросом и Иосиф давал тот же ответ.

— Иудейского народа? — мягко и с затаенным коварством спросил Домициан и этим задел Иосифа глубже, чем мог ожидать. И продолжал, снова не дав Иосифу ответить: — Возможно, что последние события окажут влияние и на вашу Иудею. Как вы думаете?

— Император Домициан презревает суть событий глубже, чем я, — отозвался Иосиф.

— Событий — может быть, но людей — едва ли, — ответил император, играя жезлом. — Вы — трудный народ, и вряд ли хоть один римлянин может похвастаться, что знает вас. Мой губернатор Помпей Лонгин толковый человек и неплохой психолог, он сообщает мне обо всем регулярно, добросовестно и обстоятельно. И все-таки, — согласись, что это так, еврей, — ты понимаешь больше, чем он, и знаешь лучше, как обстоят дела в Иудее.

Легкий страх закрался в душу Иосифа несмотря на то, что он напряг всю свою волю.

— Да, Иудею трудно разгадать, — ограничился он осторожным ответом. Тогда Домициан улыбнулся медленной, многозначительной и злой улыбкой, которую собеседник должен был заметить непременно.

— Почему вы так скрытничаете перед вашим императором, Иосиф? — спросил он. — Вам, очевидно, известны некоторые события, происходящие в моей провинции Иудее, о которых мой губернатор ничего не знает. Иначе вы едва ли написали бы некое послание. Сказать вам, что это за послание? Прочитировать из него отдельные места?

— Раз вы знаете это послание, ваше величество, — ответил Иосиф, — значит, вам известно и то, что в нем содержатся лишь призывы к осторожности. А призывать к осторожности людей, которые могут быть неосторожны, это, по-моему, в интересах империи и императора.

— Может быть, так, — задумчиво сказал император, все еще играя жезлом, — а может быть, и не так. Во всяком случае, ты, — и его пухлые губы насмешливо скривились, — как видно, считаешь нужным, чтобы среди этих мятежников в Иудее опять восстал какой-нибудь пророк и объявил полководца из дома Флавиев мессией.

Разве вам, евреям, кажется, что Флавии все еще сидят на престоле недостаточно прочно?

Крупное багровое лицо императора стало теперь явно враждебным. Покраснел и Иосиф. Значит, Домициан считал, что в тот давний решительный час, когда Иосиф приветствовал Веспасиана как мессию, это был заранее подстроенный обман? Значит, он считал Иосифа продажным, предателем? Но сейчас нельзя об этом думать, ведь речь идет о более важном и неотложном.

— Мы полагали, что действуем в интересах империи и императора, — повторил он настойчиво, уклончиво.

— И немножко в интересах ваших евреев, мой еврей, и в ваших собственных? — спросил Домициан. — Разве нет? Иначе вы прямо обратились бы к моим чиновникам и генералам, предупредили бы их, предостерегли. Ведь в подобных случаях вы очень легко находите этих господ. Но я вполне представляю себе, что за этим кроется. Вам хотелось все это сгладить, смягчить, спасти виновных от наказания. — Он слегка ударял жезлом по столу. — Вы ловкие заговорщики и интриганы, это известно. — Голос у него сорвался. Лицо налилось кровью. Но он взял себя в руки и закончил начатую мысль. — Та быстрота, — сказал он вкрадчиво и злобно, — с какой ты тогда включился в игру моего отца, свидетельствует о большом искусстве.

Иосиф был потрясен тем, что Домициан опять вернулся к тому моменту, когда он приветствовал Веспасиана как мессию. Тот эпизод он замуровал в своей памяти и неохотно о нем вспоминал. Насколько он тогда действительно верил? Насколько приказал себе верить? Иосиф отчетливо увидел, как он стоит перед Веспасианом, захваченный в плен, закованный в цепи, вероятно, обреченный на распятие. Словно заклинанием вызвал он в душе свое тогдашнее смятение и память о том, как что-то поднялось внутри и у него вырвались пророческие слова, в которых он приветствовал Веспасиана как мессию. Все увидел он вновь до малейших подробностей, увидел императора, разглядывавшего его светло-голубыми, пытливыми мужицкими глазами, видел наследного принца Тита, стенографировавшего их раз-

говор, Кениду, подругу Веспасиана, подозрительную, враждебную. Нет, он как будто верил тогда в свои слова. А может быть — все-таки разыграл комедию, чтобы спасти свою жизнь?

Как бы глубоко он ни заглядывал в себя, он и сейчас не смог бы сказать, где в том, что он тогда возвестил, кончалась правда и начинался вымысел. И разве вымысел это не та же правда, только более высокая? Взять хотя бы рассказ минеев о мессии, умершем на кресте. Он, историк Иосиф Флавий, видит все нити этой легенды, он может всю ее распутать, показать, из каких разрозненных черт минеи создали образ своего мессии. Но чего он этим достигнет? Что останется у него в руках? Только крохи мертвого знания! И не является ли этот выдуманный, пригрезившийся мессия правдой более высокой, чем его фактическая, всего лишь историческая правда? По той же причине никто никогда не сможет сказать с уверенностью, в какой мере образ мессии, возникший в тот миг у него в душе, образ мессии Веспасиана, ставший впоследствии реальностью, в какой степени этот пригрезившийся ему мессия был для него с самого начала реальностью. Он и сам не смог бы этого сказать, а уж тем менее император Домициан, который сейчас сидит перед ним и с издевкой смотрит на него.

— Что ты в конце концов имеешь против меня, мой еврей? — продолжал свои вопросы император Домициан тем же высоким, кротким голосом. — Моему отцу и моему брату ты служил хорошо, что же ты думаешь, я плачу хуже? Считаешь меня скрягой? Этого я еще ни от кого не слыхал. Я в самом деле плачу щедро, Иосиф Флавий, и за доброе и за худое, учтите это при своем историческом исследовании.

Иосиф слегка побледнел, но продолжал спокойно смотреть императору в лицо. Одетый в золото и пурпур, тот деревянным шагом подошел к Иосифу вплотную. Казалось, к Иосифу приближается пышная движущаяся статуя. Затем этот золотой и пурпурный человек дружелюбно, доверчиво обхватил рукой плечи Иосифа и вкрадчиво стал уговаривать его:

— Если б ты действительно хотел оказать мне

услугу, мой Иосиф, сейчас тебе представляется удобный случай. Поезжай в Иудею! Возьмись руководить восстанием, как ты руководил им двадцать лет назад. Риму суждено властвовать над миром, ты знаешь это не хуже меня. Противиться предопределению бесполезно. Помоги же судьбе! Помоги нам, чтобы мы могли ударить в нужное время, как ты помог нам тогда. Помоги в нужную минуту, как ты тогда в нужную минуту узнал своего мессию.— Во вкрадчивом тоне, каким это было сказано, слышалась дьявольская издевка.

Иосиф, безмерно униженный, почти автоматически ответил вопросом:

— Вы желаете, чтобы Иудея восстала?

— Да, желаю,— вполголоса отозвался император, очень деловито, все еще обнимая Иосифа за плечи.— Желаю этого и в интересах твоих евреев. Ты ведь знаешь, они глупцы и в конце концов все-таки восстанут, как бы настойчиво их ни отговаривали благоразумные. Поэтому для всех будет лучше, если они восстанут поскорее. Лучше, если мы прикончим сейчас пятьсот вожаков, чем позднее не только пятьсот вожаков, но и сто тысяч их последователей. Я хочу, чтобы в Иудее наступило спокойствие,— заключил он жестко и резко.

— Разве спокойствие можно купить только такой большой кровью? — спросил Иосиф вполголоса, с тоской.

Но тут Домициан отстранился от него.

— Я вижу, ты меня не любишь,— заявил он.— Вижу, что ты не хочешь оказать мне услугу. Ты хочешь записывать всякие старые истории, чтобы умножить славу твоего народа, но ради моей славы не хочешь и пальцем пошевелинуть.— Домициан опять сидел перед ним, взмахивая жезлом.— А ведь ты очень дерзок, еврей, знаешь ты это? Воображаешь, что, если тебе дано право распределять славу и позор, ты можешь многое себе позволить? Но кто тебе сказал, что мне так уж важно мнение потомков? Берегись, мой еврей! Не загордись от того, что я так часто был к тебе великодушен. Рим могуществен и может позволить себе большое великодушие. Но помни, мы следим за тобой.

Иосиф был не из пугливых, и все же, когда его несли в носилках домой, он дрожал всем телом и во рту у него

пересохло. Не только в предвидении беды, на которую его мог обречь Домициан, но еще и потому, что император пробудил в нем воспоминание о двусмысленном приветствии, с которым он некогда обратился к Веспасиану. Тогда, в страшную минуту, грозившую ему смертью, было ли то, что он возвестил, искренне или это был дерзкий и рискованный обман? Он этого не знал и никогда не узнает, а то, что пророчество его исполнилось, ведь еще ничего не доказывает. С другой стороны, ничего не доказывает и то, что Домициан нагло и без обиняков назвал его обманщиком. И все же уверенность его исчезла, и если страх, что полицейские Норбана вот-вот придут и заберут его, скоро рассеялся, — теперь, после разговора с императором, ему понадобятся недели и месяцы, чтобы снова подавить воспоминания о той первой встрече с Веспасианом. Лишь очень медленно пришло успокоение, и он нескоро смог возвратиться к своей работе.

На другой день после встречи с Иосифом Домициан приказал отпереть храм Януса — в знак того, что империя снова ведет войну. Со скрежетом распахнулись тяжелые двери, открыв изображение двуликого бога, бога войны, бога сомнений: начало известно, но исхода не знает никто.

Впрочем, римляне пока отнеслись к этой войне не слишком серьезно. С искренним воодушевлением стояли они шеренгами вдоль улиц, по которым гарцевал император, уезжая из города на войну. Он знал, что римляне ждут от него зрелища, смутно жил в нем образ всадника, модель которого показывал скульптор Василий, и он хорошо сидел на коне.

Но в душе Домициан был рад, что скоро скроется с их глаз и сможет пересечь в свои носилки.

Глава вторая

Во время войны было трудно получать точные сведения с дакийского театра военных действий. Только в начале весны сообщения стали поступать чаще, хотя и были противоречивыми. В начале апреля в Риме была

получена денеша: император подробно излагал своему сенату, как до сих пор протекал поход. Ему удалось, говорилось в этом сообщении, вместе со своим полководцем Фуском окончательно изгнать дакийских варваров с римской территории. Их государь Диурпан запросил перемирия. Но император не дал согласия на перемирие, напротив, чтобы отомстить за дерзкое вторжение во владения римлян, он поручил Фуску продвинуться на территорию врага. Поэтому Фуск с четырьмя легионами переправился через Дунай и вторгся в землю даков. Сам же император, после того как римляне достигли таких успехов, возвращается в Рим.

Еще более непонятными были вести, приходившие в эту зиму из Иудеи. Власти уверяли, что там началась «смута», но губернатор Помпей Лонгин быстро положил ей конец своей столь испытанной властной рукой. У евреев, а также у Клавдия Регина сложилось впечатление, будто в Кесарии, столице провинции Иудеи, стараются сделать вид, что все это пустяки.

Тем с большим волнением ждали вестей римские евреи, когда торговец земельными участками Иоанн Гисхальский вернулся из Иудеи. И вот они опять, как раньше, в тот тревожный вечер, сидят в доме у Иосифа, и Иоанн рассказывает. В Иудее все произошло именно так, как они опасались. Никакие предостережения не помогли, «Ревнителю дня» нельзя было удержаться. Они увлекли за собой и значительную часть населения, и многие, прежде всего в Галилее, надели повязку с боевым лозунгом «Настанет день!». Но очень быстро выяснилось, что день еще отнюдь не настал, и за несколькими победами, одержанными в самом начале, последовал жестокий ответный удар; губернатор наконец получил повод, которого давно искал, чтобы принять решительные меры, и напустил своих легионеров даже на ту часть населения, которая ни в чем не участвовала.

— Вот как, господа! Дошли до того, что стручками питались, — мрачно заключил он словами, которыми в Иудее обычно определяют крайнюю нужду.

Потом перешел к подробностям. Рассказал о бойне и грабежах, сожженных синагогах, о тысячах распятых на кресте, о десятках тысяч проданных в рабство.

— Та задача, господа,— закончил он,— которую мы себе поставили, была все равно заранее обречена на провал. Вы не представляете, господа, как мучительно все время совать другому под нос трезвые возражения, когда на самом деле ты ему всем сердцем сочувствуешь и тебе хочется его обнять. Эти «Ревнители» — замечательные парни, вернее — были замечательными парнями.

Состоятельные, сытые, тщательно одетые господа, сидевшие в кабинете Иосифа, молча слушали взволнованного рассказчика и его горькие сетования. Они смотрели в пространство, но их взгляд был устремлен внутрь, и они видели, что все, о чем он говорил, ими однажды уже было пережито. Самым тяжелым в этом новом поражении было то, что из первого восстания, которое было подавлено, Иудея не извлекла, видимо, никаких уроков, что молодое поколение с тем же отважным, благородным и преступным безрассудством ринулось навстречу гибели, как и пятнадцать лет назад.

Наконец мебельщик Гай Барцаарон с присущей ему осторожностью выразил те опасения, которые испытывал каждый.

— В Иудее,— сказал он,— все кончено. Я спрашиваю себя, что ждет нас здесь.

Иоанн подергал узловатой мужицкой рукой свою бородку клином.

— Я всю дорогу дивился,— как это мне удалось вернуться домой целым и невредимым. Впрочем,— мрачно добавил он,— меня прямо-таки вынуждали зарабатывать деньги. Чтобы не привлекать к себе внимания, приходилось время от времени заниматься делами, а земли так сами и плыли в руки. Вы бы видели, что творилось на аукционах, на которых продавались конфискованные или выморочные участки. Как это было смешно и страшно! Когда я об этом вспоминаю, вспоминаю о происходившем в Иудее, мне кажется непостижимым, что я теперь спокойно сижу в своей конторе и занимаюсь делами.

— И я,— подхватил Гай Барцаарон,— просыпаюсь каждый день с одним и тем же ощущением: так дальше не может продолжаться. Сегодня они накинута на нас.

Но факт остается фактом: мы живы, мы крутимся и суедемся, как раньше.

— При этом на Палатине известно, — хмуро проговорил Иосиф, — что автор того манифеста — я, и император туманно и коварно угрожал мне. Почему меня не допрашивают? Почему не допрашивают никого из нас?

Все посмотрели на Клавдия Регина, словно именно от него ждали разъяснения. Министр пожал плечами.

— Император приказал, — отозвался он, — дожидаться его возвращения. Хорошо это или плохо — никто не знает, — вероятно, и сам DDD тоже.

Они усталились перед собой. Надо было ждать все унылое утро и весь унылый день, всю унылую неделю и весь унылый месяц.

Вскоре после этой встречи Иоанн снова явился к Иосифу. Иосиф удивился такому гостю. Было время, когда они двое свирепо боролись друг с другом; потом их отношения постепенно смягчились, хотя дружескими так и не стали.

— Я хотел бы дать вам один совет, доктор Иосиф, — сказал Иоанн. — Как вы знаете, я интересуюсь земельными участками и, когда был в Иудее, воспользовался случаем, чтобы слегка сунуть нос и в ваше хозяйство. Доход с ваших владений под Газарой очень отстаёт от среднего дохода с таких же поместий. Это происходит потому, что ваши земли находятся в чисто иудейском районе и иудеи бойкотируют вашу продукцию, так как не могут простить вам вашего поведения во время Великой войны. Я говорю все, как есть, это известно каждому, кто этим делом занимается. Ваш управляющий — неплохой хозяин, но уж если он, бедняга, начнет ныть и причитать, что все так зануто, то и не кончит никогда. Он мне подсчитал, сколько мог бы получать дохода с ваших земель, если бы они находились в местности, где живут разумные люди.

— Но ведь они находятся не там, — хмуро отозвался Иосиф.

— Разве нельзя помочь делу? — возразил Иоанн, и на его смуглом, хитром лице появилась широкая на-

смешливая улыбка, даже приплюснутый нос наморщился. — К сожалению, как я уже говорил вам, в Иудее после восстания осталось много свободной земли. Взять хотя бы имение Беэр Симлай. Оно расположено поблизости от Кесарии, недалеко от самаритянской границы, стало быть, в районе со смешанным населением. Скот не так хорош, как в ваших имениях под Газарой, зато земля превосходная. Она дает масло и вино, финики, пшеницу, гранаты, орехи, миндаль, смокву. Второй раз такой товар нелегко найти даже по теперешним временам, и ваш управляющий затянул бы великий галлель, если бы ему дали в руки имение Беэр Симлай. Я закрепил за собой право преимущественной покупки. И я предлагаю вам это имение, мой Иосиф. Не упускайте его. До следующего еврейского восстания такого случая не представится.

Это была правда. Когда в свое время Веспасиан, а потом Тит предлагали ему земли в Иудее, он сделал неудачный выбор. Он действительно обосновался в осином гнезде, и то, что ему предлагал Иоанн — отказаться от земли под Газарой и переселиться в места со смешанным населением, — было всего правильнее. Но почему Иоанн предлагает имение Беэр Симлай именно ему? Спекулянты земельными участками в Риме сейчас, когда смута прекратилась, с особым рвением занялись Иудеей, и, разумеется, нашлись бы тысячи желающих приобрести поместья в этом районе со смешанным населением. По какой же причине Иоанн, который так часто враждовал с Иосифом, хочет оказать ему эту дружескую услугу?

— Почему вы предлагаете именно мне это предходное имение? — спросил Иосиф напрямик, и в его вопросе чувствовалась прежняя неприязнь.

Иоанн посмотрел ему в глаза с притворным простодушием.

— Для евреев, которые не пользуются особым покровительством, кесарийские власти делают приобретение недвижимости в местностях со смешанным населением почти невозможным. Если тамошние земли попадут в руки язычников, то за какой-нибудь год из многих округов еврейское население совершенно исчезнет.

И каждый, кто сохранил в себе хоть частицу от духа иудейства, должен с этим бороться. Вы, мой Иосиф, римский всадник, вы связаны с Палатином, вам власти в Кесарии едва ли будут чинить препятствия. Поэтому лучше уж я раздобуду поместье Безр Симлай для вас, чем, например, для полковника Севёра.

— И другой причины нет? — спросил с тем же недоверием Иосиф.

Иоанн добродушно рассмеялся.

— Есть, — откровенно признался он. — Больше я не буду играть с вами в прятки. Я намерен честно заключить с вами мир и хочу это доказать дружеской услугой. Иной раз вы бывали несправедливы ко мне, иной раз — я к вам. Но головы наши седеют, мы становимся ближе друг другу, а времена теперь такие, что людям, между которыми столько общего, лучше протянуть друг другу руку. — И так как Иосиф молчал, Иоанн попытался ему объяснить свою мысль: — Мы сидим в одном челноке, прошли через одни испытания. У меня единственная мечта — вернуться в Иудею, стать там крестьянином и выращивать маслины. И я мог бы это сделать. Но я удерживаю себя, я торчу здесь, в Риме, зарабатываю до ужаса много денег и не знаю, куда их девать, а сердце мое разрывается от тоски по Иудее. Я только потому туда не уезжаю, что там не смог бы совладать с собой и снова принялся бы возмущать народ против римлян, а это безнадежно и преступно. И с вами происходит в точности то же самое, мой Иосиф. Мы оба понимаем, что действовать уже слишком поздно или еще слишком рано. Мы оба испытываем ту же несчастную любовь к Иудее и к разуму, и разум нам обоим доставляет страдание. Многого в вас не нравится мне, и многое во мне, вероятно, не нравится вам, и все-таки я считаю, что между нами большое сходство.

Писатель Иосиф задумчиво разглядывал лицо крестьянина Иоанна. Когда-то они яростно боролись друг с другом. Иоанн видел в нем предателя, а он в Иоанне — дурака. Позднее, когда война давным-давно кончилась, Иосиф презирал Иоанна и считал идиотом за то, что тот объяснял войну ценами на масло и на вино, а Иоанн считал Иосифа идиотом за то, что Иосиф видит ее при-

чину лишь во вражде Ягве с Юпитером. Теперь и глупец-писатель и умница-крестьянин понимали, что правы и неправы были оба и что причиной войны между иудеями и римлянами послужили как цены на масло и вино, так и вражда между Ягве и Юпитером.

— Вы правы, — согласился Иосиф.

— Конечно, прав, — горячо подтвердил Иоанн и, уверенный в своей правоте, добавил: — Впрочем, и на этот раз дело не дошло бы до восстания, если бы привилегированные сирийские и римские землевладельцы так гнусно не сбивали цены на продукты местного иудейского населения. Без этого «Ревнителям» не удалось бы поднять в стране восстание. Но мы не хотим разжигать этот давний спор, — прервал он себя. — Лучше пожмите мне руку и поблагодарите меня. Если я предлагаю вам имение Беэр Симлай, то действительно оказываю вам дружескую услугу.

Иосиф улыбнулся той грубоватой манере, с какой Иоанн предлагал ему свою дружбу.

— Вот увидите, — продолжал Иоанн, — сколько вопросов разрешатся сами собой, когда вы станете владельцем Беэр Симлая. Конечно, невелика радость ехать в Газару, чтобы евреи там косились на вас. А когда вы обоснуетесь в Беэр Симлае, у вас перед самим собой будет оправдание, чтобы время от времени ездить в Иудею. Только не оставайтесь в Иудее, не давайте соблазнить себя! Не делайте этого, ради господа бога! Ведь искушение пуститься в опасные предприятия для нас слишком велико. Но ездить туда каждые два года, особенно когда есть внутреннее оправдание, и там отдохнуть от двух лет вынужденного благоразумия, — уверяю вас, Иосиф, это хорошо.

Иосиф схватил узловатую руку Иоанна.

— Благодарю вас, Иоанн, — сказал он, и в его голосе было то сияние, которое некогда привлекало к молодому Иосифу людские сердца. — Дайте мне два дня на размышления, — попросил он.

— Ладно, — согласился Иоанн. — А потом я пришлю к вам моего честного Гориона, он обсудит с вами все подробности. И напишите сейчас же вашему управляющему Феодору. Горион, конечно, попытается что-ни-

будь выговорить и в нашу пользу: это справедливо, и вам обойдется недорого. Но я позабочусь о том, чтобы неподходящей цены он вам не назначал. А если бы даже и так, все равно деньги останутся у нас, евреев.

Иосиф отправился к Маре.

— Послушай, Мара, жена моя,— сказал он,— я должен кое-что сообщить тебе.— И добавил: — Я продаю свое имение в Иудее.

Мара стала мертвенно-бледной.

— Пожалуйста, не пугайся, милая,— попросил он.— Вместо него я куплю другое, недалеко от Кесарии.

— Ты отказываешься от нашего имения, которое находится среди евреев,— спросила она,— и покупаешь другое, среди язычников?

— Выслушай меня внимательно,— продолжал Иосиф.— Я никогда не хотел возвращаться в Иудею и никогда не кривил душой, приводя этому причины. Но была еще одна, более глубокая причина. Я не хотел жить между Лиддой и Газарой. Жить в Риме, жить на чужбине, конечно, плохо. Но еще хуже жить чужаком на родине. Жить под Газарой, где евреи смотрят на тебя как на римлянина,— я бы этого не вынес.

— Значит, мы все-таки вернемся в Иудею? — спросила Мара, просияв.

— Не сейчас и не через год,— ответил Иосиф.— Но когда я закончу свой труд — мы вернемся.

Иоани привез Иосифу книгу, которая этой зимой, во время восстания, была анонимно выпущена в Иудее.

— Может быть, книга вам покажется несколько примитивной, мой Иосиф,— заметил он,— но мне она нравится, вероятно, оттого, что я и сам — человек примитивный. Все в Иудее были страшно увлечены этим героическим романом. С тех пор как вышла ваша книга о Маккавеях, доктор Иосиф, ни одно сочинение не пользовалось в Иудее таким успехом.

Иосиф прочел книгу. Фабула казалась невероятной, почти ребяческой, и к искусству эта вещь имела мало отношения. Однако и его она взволновала, и его воспламенил фанатизм «Книги Юдифь». Ах, как он завидовал

анонимному поэту! Ведь он писал не ради славы, вернее всего и не ради самого произведения, он просто дал излиться своей ненависти к угнетателям. «Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились», — возвещал он. «Поступайте, как поступила Юдифь. Хитрость, отвага, коварство, жестокость — хороши все средства! Отрубите ему голову, мордастому язычнику: этим вы послужите богу. Следуйте законам богословов и обрутьтесь на врагов. Кто служит богу, с тем и справедливость. Вы победите».

Вероятно, он был очень молод, этот человек, написавший «Книгу Юдифь», должно быть, он был религиозен и наивен, его жизни и смерти можно только позавидовать, — погиб-то он наверняка. Наверняка он не остался сидеть дома, а вместе с другими бил врагов и умер с верой на устах и в сердце. Если бы смотреть на жизнь так же просто и доверчиво, как он! Нет ничего выше, чем народ Израиля. Его мужи храбры, его женщины прекрасны, Юдифь — прекраснейшая из женщин на этой земле, она ни на миг не ведает сомнений, — так же, как и сам автор, — и даже маршал Великого царя забывает о войне, увидев эту женщину. Вообще автор этой книги никогда не грызли сомнения. Все для него нерушимо, как утес, и он твердо знает, что хорошо и что плохо. В чем состоит благочестие? Надо соблюдать законы богословов. А героизм? Идешь и сносишь врагу голову. Любой шаг в любом положении предписан заранее.

И все-таки — какая захватывающая книга! Когда эта женщина, эта Юдифь возвращается, торжествующая, неся отрубленную голову и полог, снятый с постели, — никто этого не сможет забыть. О, благословенная уверенность поэта: «Горе народам, восстающим против рода моего. Вседержитель отмстит им в день суда, он пошлет в плоть их пламя и червей, и они будут выть от боли веки вечные».

Да, только такому и писать книги. А Иосифу это не так просто. В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль, которая загнала спящему врагу кол в висок. Эта Иаиль и древние бурные и величественные песнопения поэтессы Деборы и навеяли, без сомнения,

образ Юдифи. Он, Иосиф, тоже рассказывал в своем историческом труде об этой Иаили. Как он старался сохранять благоразумие и душевную трезвость, как укрощал себя, чтобы подавить воодушевление! А хоть бы раз дать себе волю, как этот молодой поэт! Все вновь и вновь перечитывает он небольшую книжечку, и она зажигает пожар в его крови. Восстание провалилось, но эта книжечка останется жить.

Через несколько дней он встретил Юста. Юст тоже прочел книгу о Юдифи. Какая примитивная стряпня! Народ, которого может увлечь эта нелепая сказка, заслуживает своих «Ревнителей грядущего дня», заслуживает своих римлян, и такого губернатора Лонгина, и такого Домициана. До чего же добропорядочный автор! Как стыдлива его Юдифь, даже переспать не может с этим ужасным Олоферном. Автор уберет ее от этого, она достигает цели раньше. С какой справедливой последовательностью Ягве у этого автора вознаграждает добро и карает зло. Вы только представьте себе, мой Иосиф, как бы повел себя на месте Олоферна реальный римский губернатор или даже реальный римский фельдфебель! Является к нему такая Юдифь в сопровождении прислужницы, которая несет за ней кушанья, приготовленные, разумеется, в строгом согласии с предписаниями наших богословов, чтобы она и в лагере врагов, боже упаси, не съела чего-нибудь запретного. Ее сейчас же пропускают к фельдмаршалу, — а как же иначе, ведь она такая красавица. А других красивых женщин фельдмаршалу предложить не могут — он вынужден ждать прихода красивой еврейки. И едва она появляется, он не только сразу же забывает начисто про войну, он напивается, в точности как было предусмотрено, и не прикасается к столь же благочестивой, сколь и прекрасной еврейке. Он просто-напросто ложится и дает ей отрубить ему голову. После чего все легионы тут же удирают. Увы, такими наши «Ревнители» представляют себе римлян, такой они представляют себе жизнь.

Этими словами, полными высокомерия и горечи, отзывался Юст о «Книге Юдифь». Иосиф не мог не признать, что его критика точно обнаружила все слабые

места в книге. Но именно в этих слабостях крылась ее сила, они не портят книгу, по-прежнему вставал перед Иосифом образ Юдифи во всем ее величии и благородстве, когда она приносит своим голову Олоферна: «Вот голова Олоферна, вождя ассирийского войска, и вот полог его, под которым он лежал в опьянении!»

И Иосиф чувствовал, что он должен как бы смыть с книги и с мертвого автора насмешку Юста, и он взял книгу и отнес ее Маре, жене своей.

Мара принялась читать. Глаза ее засверкали, она выпрямилась, вдруг стала совсем молодой. И она произнесла вслух слова из песни Юдифи: «Не от юношей пал сильный их, не сыны великанов сразили его, погубила его Юдифь, дочь Мерарии, красотой лица своего погубила его». Ах, как жалела Мара, что она в Риме, а не в Иудее!

Упростив сюжет книги, она рассказала детям историю Юдифи. Потом дети затеяли игру. Иалта была Юдифью, Маттафий Олоферном, Иалта вытащила из какой-то корзины капустный кочан и торжествующе проицичала: «Смотрите, вот голова Олоферна, ассирийского военачальника!»

Иосиф видел, как они играют, и спрашивал себя, прав ли он, ибо сам раздул кощунственное пламя, хотя и самым невинным способом. Потом он улыбнулся: воодушевление Мары согрело и его.

А евреи города Рима переживали мрачные дни и мрачные недели. Ибо император путешествовал медленно, император не давал больше никаких указаний, император заставлял евреев ждать.

Никаких новых чрезвычайных мер против евреев города Рима пока не предпринималось. Только изданные до сих пор законы, ограничивающие их права, стали применяться с большей строгостью. Например, подушная подать, которой облагались только иудеи, стала взиматься с придирчивым педантизмом. Каждый еврей должен был самолично являться к квестору и вносить две драхмы, предназначавшиеся раньше для Иерусалимского храма, — теперь же правительство, ради издевки,

определило эти деньги на содержание храма Юпитера Капитолийского.

Но в остальном будничная жизнь евреев не изменилась: по-прежнему следовали они своим обычаям и совершали богослужения. По слухам, кое-где в провинции население пыталось, воспользовавшись неблагоприятным для евреев настроением, учинить погромы. Но власти тут же вмешались.

И вот наконец император прибыл в Рим. Стоял ясный, не слишком знойный июньский день, и вместе с гвардейцами, любившими своего щедрого полководца, сенат и народ приветствовали возвратившегося владыку, которого в этом походе его войска провозгласили императором в четырнадцатый раз. Для Рима лето начиналось ясно и празднично. Повсюду ликование, яркий солнечный свет, огромный город, казавшийся столь часто мрачным, ожесточенным, злобным, теперь был светел, добродушен, весел.

Но над иудеями как бы нависла туча. Несмотря на угнетавшую их память о разрушении храма, они могли, вот уже несколько десятилетий, жить в относительной безопасности, если бы не эти ужасные «Ревнители грядущего дня», которые своим нелепым фанатизмом вновь и вновь навлекали на все еврейство беду. Самим «Ревнителям» пришлось жестоко поплатиться. А что ждет их, ни в чем не повинных евреев города Рима?

Однако с римскими евреями ничего не случилось, все по-прежнему было спокойно.

— Император никогда слова не скажет ни за, ни против вас, — сообщил Клавдий Регин своим еврейским друзьям.

— Да, император никогда против вас слова не скажет, — успокаивал их Юний Марулл.

Но Иоанн Гисхальский заявил:

— А я чувствую, я носом чую — что-то назревает. В душе Домициана что-то назревает. Конечно, мой Регин, конечно, мой Марулл, Домициан не говорит о евреях; может быть, он и сам еще не знает, какие именно планы в нем зреют. Но я, Иоханан бен Леви, крестьянин из Гисхалы, который чувствует заранее, что в этом году зима придет раньше, чем обычно, — я знаю.

Тот же корабль, прибывший из Иудеи, привез и письма Павла Финей и Дорион. Многословно, с наивным восторгом расписывал юный офицер, как губернатор Лонгин, не жалея сил, очищает страну. С увлечением рассказывал он о множестве мелких карательных экспедиций, предпринимавшихся против разрозненных групп «Ревнителрей».

Финей и Дорион дали прочесть друг другу его письма. Оба искренне радовались тому, что наконец-то евреи наказаны за свою дерзость, но оба были встревожены: они не понимали, как может утопченный, стройный, элегантней Павел — их Павел — с явным удовольствием описывать во всех подробностях эти неизбежные на войне мерзости и почему он так легко приспособился к солдатской жизни.

— Он не считает евреев за людей, — жаловалась Дорион, — он видит в них каких-то зловредных животных, которые годятся только как мишени на охотничьих состязаниях. Он находит жизнь в Иудее «забавной», вы заметили это слово, Финей? Он даже написал его по-гречески.

— Значит, мои уроки хоть на что-то пригодились, — мрачно отозвался Финей. — Нет, его письма меня не радуют.

Крупная болезненно-бледная голова Финей поникла, словно была слишком тяжела для тощего тела; горестно сидел он, не двигаясь, бессильно опустив тонкие, чересчур длинные руки.

— Надолго удержать его здесь мы все равно не смогли бы, — сказала Дорион, стараясь говорить спокойно. — Он и так ускользнул бы от нас. Все-таки лучше, если он станет настоящим римлянином, а не настоящим евреем. И утешительно, что для Иосифа это будет еще большим ударом, чем для нас. — Ее певучий голос стал твердым, ведь она заговорила о муже, ненавистном и любимом. — Его Иудея погибла окончательно, и его сын помог ее растоптать.

Дорион вдруг оживилась, она торжествовала. Финей поднял голову.

— Разве Иудея погибла? И вы считаете, Дорион, что для Иосифа было неожиданностью, когда «Ревнителрей

грядущего дня» так скоро разбили? Неужели вы считаете, что «Ревнители» и Иудея — одно и то же в его глазах?

— Письмо Павла причинило мне боль, признаюсь, — сказала Дорион. — Не отнимайте же у меня утешения, что Иосиф ранен еще сильнее. Судьба Иудеи должна ранить его мучительнее, чем нас — письма Павла.

Она почти боязливо взглянула на него своими глазами цвета морской воды.

— Вы слишком умны, госпожа Дорион, — ответил Финей низким звучным голосом, — чтобы тешить себя иллюзиями. И вы отлично знаете, что Иудея Иосифа не имеет ничего общего с реальной провинцией Иудея. До того, как хозяйничают сейчас в этой реальной Иудее наш Павел и его товарищи, Иосифу едва ли есть дело. Поверьте мне, его Иудея — это нечто абстрактное, недостижимое для огня и меча. Он безумец, как и все евреи. Только вчера я опять беседовал с капитаном Бэбнем, который участвовал в сражении под Себастой. Он подтвердил то же, что рассказывали уже многие до него: Бэбний видел собственными глазами, как евреи в разгаре сражения бросали оружие. Это кажется невероятным, и сами очевидцы долго не могли этому поверить: дело складывалось для евреев совсем не плохо, напротив, у них было преимущество, еще немного — и победа была бы за ними. Но они бросили оружие — потому, что их богословы запретили им сражаться в субботу, а суббота как раз наступила. Они просто-напросто дали себя перебить. Это сумасшедшие. И вы еще хотите, чтобы нынешние события в Иудее их задесали! А ведь Иосиф Флавий — их глашатай, их писатель.

— То, о чем вы говорите, Финей, — ответила Дорион, — вся эта битва при Себасте — единственный случай. Сам Иосиф рассказывал мне об этом, он побледнел от гнева при одном воспоминании. Но ничего подобного больше не происходило, это история, это изжито.

— Может быть, — согласился Финей, — теперь они сражаются и в субботний день. Но остались они все такими же сумасшедшими, только проявляется это по-иному. Взгляните на евреев хотя бы здесь, в Риме. Многие из них преуспели, они богаты, они причислены к

знати, среди них найдется тысяч десять честолюбцев, которые жаждут признания римского общества. Но они не могут продвинуться дальше, не могут подняться по общественной лестнице, потому что они евреи, потому что, несмотря на всю терпимость наших законов, они в глазах общества покрыты бесчестьем. Почему, Зевс свидетель, эти богатые евреи не могут пойти и отречься от своего еврейства? Ведь достаточно принести жертву статуе какого-нибудь императора из рода Флавиев или другого божества, — и самое тяжкое препятствие устранено с их пути. А известно ли вам, сколько из восьмидесяти тысяч римских евреев это сделали? Мне это было любопытно, и я постарался установить точную цифру. Хотите знать, Дорион, число отрекшихся от своего пудейства? Их семнадцать. Семнадцать человек из восьмидесяти тысяч! — Финей поднялся; длинный, тощий, в светло-голубой одежде, стоял он перед ней, закинув крупную бледную голову и многозначительно подняв длинную тонкую руку. — И вы полагаете, госпожа Дорион, что людей такого склада удастся поколебать, если убить несколько тысяч из их числа? Вы полагаете, что можно ранить сердце и подорвать жизненную силу нашего Иосифа, если напустить Павла и его легион на «Ревнителей грядущего дня»?

— Вы сказали «нашего Иосифа», — подхватила Дорион, — и вы правы. Он наш Иосиф. Он связан с нами той ненавистью, которой мы ненавидим его. И жизнь казалась бы беднее, не будь у нас этой ненависти. — Дорион наконец овладела собой. — Только зачем вы все это мне говорите? — продолжала она. — Почему так ясно и беспощадно даете понять, что мы никакими средствами не можем его задеть?

Тощая спина Финей выпрямилась еще больше, он привстал на носки серебряных башмаков, снова опустился, в его голосе прозвенела едва сдерживаемая ликующая ненависть.

— Теперь я нашел настоящее средство, единственное, — сказал он.

— Средство взять верх над Иосифом и его евреями? — спросила Дорион; ее узкое, хрупкое тело подалось навстречу Финею, высокий, тонкий голос от вол-

пения звучал пронзительно.— И какое же это средство?

Финей сначала наслаждался ее нетерпением. Затем, с притворной сухостью, возвестил:

— Надо вырвать с корнем их бога. Надо уничтожить Ягве.

Дорион глубоко задумалась, разочарованная, сказала:

— Все это слова.

А Финей, будто не слыша ее замечания, продолжал:

— И существует верный путь, чтобы этого достичь. Послушайте меня, госпожа Дорион. Римляне разрушили государство евреев, их армию, их полицию, храм, правосудие, их суверенитет; но на религию покоренных, на их «культурную жизнь» они в своей высокомерной терпимости не посягнули. Важнее всего то, что евреям оставили маленький университет, это гнездо называется Ямния, и, по просьбе евреев, римляне даровали этому университету кое-какие невинные привилегии. В религиозных делах Ямнийской коллегии принадлежит верховная власть, а стало быть — и призрачное право вершить правосудие. Теперь слушайте дальше, моя Дорион. Будь наши римляне истинными государственными деятелями, какими они себя воображают, они с самого начала раскусили бы, в чем тут дело с этой коллегией в Ямнии, и сейчас же растоптали бы этот невинный университетик. Если бы не было никакой Ямнии, то и никакого Ягве не было бы и никаких еврейских мятежников, тогда пришел бы конец и нашему Иосифу с его иудейским духом, его книгами и его невыносимой гордыней.

Дорион ответила задумчиво, насмешливо, но ее пашемка звучала так, словно она готова была согласиться с любым опровержением:

— Вы так рассуждаете, мой Финей, словно души евреев вам известны не хуже, чем улицы города Рима. Не объясните ли вы подробнее, почему именно эта Ямния имеет для них такое значение?

— Охотно.— И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью: — Я никогда не стал бы говорить так уверенно о моем плане сломить Иосифа и

его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой Ямнией. Я расспрашивал сведущих лиц, чиновников и офицеров из администрации и из оккупационных войск в Иудее, прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнения этих людей. Дело обстоит так: этот нелепый университет не обладает никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами, на этот университет, и ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание — все это добровольно. Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости, а вот власти своей Ямнии они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами — не только религиозными, но и гражданскими — не в императорские суды, а к богословам Ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывали случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти, мне со всей очевидностью доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы, они носили чисто академический характер и являлись заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий, а Невий, верховный судья, подтвердил, и капитан Опитер тоже. Как эти евреи умерли — сами ли они себя прикончили или их прикончили, — этого я установить не смог. Но ясно одно: достаточно им было отдаться под защиту римлян, и они могли бы преотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть.

Дорион молчала. Словно застыв, сидела она, неподвижная, смуглая, узкая, как фигуры на древних суровых и угловатых египетских портретах.

— Уверяю вас, Дорион, — продолжал Финей, — университет в Ямнии — это крепость евреев, надежная крепость, она неприступнее, чем был Иерусалим и храм; наверное, это самая неприступная твердыня на свете,

и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим Фронтипом. Господа римляне этого не знают, губернатор Лонгин не знает, император не знает. А я, Финей, знаю,— оттого что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии, семьдесят один богослов — вот центр провинции Иудеи! Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев и если перебыют сто тысяч «Ревнителей грядущего дня», все будет бесполезно. Иудея остается жить, она живет в этом университете!

Дорион слушала с волнением. Ее дерзко выступавший на нежном надменном лице большой рот был полукруглым, придавая ей почти глупое выражение, мелкие зубы белели, глаза не отрывались от губ Финея.

— Значит, вы уверены,— медленно заговорила она, подводя итог, обдумывая каждое слово,— что центром еврейского сопротивления, так сказать, душой еврейства, является университет в Ямнии? — Госпожа Дорион была на вид очень хрупкой; но сейчас она взвешивала его слова, ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с выступающими надбровными дугами, тупым, слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами — все в ней казалось жестким, недобрый, даже опасным. — И сразить и обезвредить еврейство и Иосифа можно только тогда, когда будет разрушен университет в Ямнии,— закончила она свою мысль.

Глубоким, звучным голосом Финей согласился с нею и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим, бесстрастным тоном:

— Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землей.

— Благодарю вас,— сказала Дорион.

Университет в Ямнии, который в Риме до тех пор по названию-то знали немногие, вдруг стал излюбленной темой разговоров, и люди яростно спорили, действительно ли центром непокорной провинции Иудеи является Ямния.

И побежали среди евреев смутные слухи о невыразимой, надвигавшейся на них беде. То, что, видимо, задумал Рим, было страшнее всего, что могли себе вообразить самые боязливые, из всех мыслимых ужасов это было самое ужасное. До сих пор враги нападали на тела евреев, на их землю, их добро и имущество, на их государство. Они разрушили царство Израиля, они разрушили царство Иуды и храм Соломона. Веспасиан разрушил второе царство, а Тит — храм Маккавеев и Ирода. Планы, которые вынашивает третий Флавий, идут глубже, они направлены против самой души иудейства, против Книги, против Учения. Ибо носителями и хранителями Учения были богословы. Только коллегия в Ямнии не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность, и если угроза была направлена против коллегии в Ямнии, — тем самым ставилась под угрозу душа и смысл иудаизма.

Однако до сих пор всегда находились великие и разумные мужи, которым удавалось спасти учение. Поэтому и сейчас все взоры устремились на человека, возглавлявшего колледию и университет в Ямнии, на Гамалиила, верховного богослова. Верховный богослов был посланцем Ягве на земле, главою евреев не только в провинции Иудее, но и во всем мире. Стоявшие перед ним задачи были трудны и многообразны. Он должен был представлять перед римлянами свой народ и учение, сводить к единству разноречивые мнения богословов, должен был, не обладая внешними признаками власти, оберегать еврейские законы перед лицом масс. Его положение требовало элергии, такта, быстрых решений.

Гамалиил, рожденный и воспитанный для роли властителя, в очень молодых годах принял на себя наследственный сан и достоинство некоронованного царя Израильского; теперь ему как раз минуло сорок. Он оправдал возложенные на него надежды в борьбе с губернаторами Сильвой, Сальвидием, Лонгином. Мудро лавируя, он уберег корабль учения и от тех, кто старался ввести его в гавань космополитического мессиянизма. Уверенно и четко отсек он Закон от идеологии эллинизма — с одной стороны и от верований минеев — с дру-

гой. Гамалиил достиг цели, только рисовавшейся Иоханану бен Заккаи, основателю коллегии в Ямнии: он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний. Власть погибшего государства он заменил властью обычаев и учения. Верховного богослова Гамалиила многие ненавидели, иные любили, и все уважали.

Он сразу понял, что судьба Ямнии, а тем самым и всего еврейства, будет решена не губернатором в Кесарии, но самим императором в Риме. Уже много лет лелеял Гамалиил план поехать в Рим и выступить перед императором в защиту своего народа. Но обрядовые законы запрещали путешествовать в субботу, и он, страж этого закона, не мог пуститься в путешествие, которое принудило бы его плыть по морю в субботний день. Он подумывал о том, чтобы поставить перед своей коллегией вопрос — не будет ли ему разрешено теперь, когда учению и всему еврейству угрожает опасность, все же преступить закон о субботе, как это допускается во время сражения. Однако богословы примутся, как обычно, спорить на этот счет, и спор затянется на несколько лет. А дело было срочное, и верховный богослов, не боясь вызвать их ропот, все решил единовластно, приказал некоторым из этих господ сопровождать его, и вот всемером — число священное — они отплыли в Рим.

Торжественным и пышным было его прибытие в Рим. Иоанн Гисхальский отыскал для него дворец. Здесь когда-то иудейский царь Агриппа и принцесса Береника принимали приветствия римской знати. И здесь теперь остановился верховный богослов.

Из этого дома в Риме он правил теперь всеми евреями земного круга. Гамалиил не выставял напоказ ни себя, ни своих целей. Он не давал блестящих празднеств, был приветлив без высокомерия. И все же он выглядел величественно, даже царственно, и сейчас, когда он находился в Риме, вдруг стало ясно, что еврейство, хоть и лишенное политической силы, все-таки оказывает воздействие на жизнь всего мира. Министры, сенаторы, художники, писатели искали встреч с Гамалиилом.

Но Домициан молчал. Верховный богослов доложил о себе, как полагалось на Палатине, и просил гофмаршала Криспина дать ему возможность выразить императору верноподданныческие чувства евреев и их сокрушение по поводу безумия тех, кто дерзнул восстать против его гарнизона.

— Вот как? Он действительно этого хочет? — спросил император и усмехнулся.

Однако ответа не дал, не вспоминал и потом о верховном богослове и ни со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлией, ни с кем-либо еще не обмолвился больше ни словом ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямнии.

Тем более интересовались присутствием верховного богослова принц Флавий Клемент и его жена Домицилла.

Дело в том, что среди минеев города Рима, все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. Где бы этот человек ни появился, пояснил Иаков из Секании, вождь минеев, своему покровителю принцу, где бы Гамалиил ни появился, христианам и их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя, и хотя они очень хотели остаться евреями, изгнал их из общины и таким образом расколол еврейство на последователей старого и нового учения.

Принц Клемент внимательно слушал. Он был на два года старше императора, но казался моложе; волевого подбородка Флавиев у него не было, а приветливое лицо, бледно-голубые глаза и белокурые волосы придавали ему юношеский вид. Домициан любил высмеивать его и уверял, что он ленив духом. А на самом деле Клемент просто соображал медленнее других. Вот и сегодня он хотел, чтобы ему снова объяснили, в чем же, собственно, разница между старым иудейским учением и учением христиан, и хотя он спрашивал уже в третий или четвертый раз, Иаков из Секании терпеливо принялся ему объяснять.

— Гамалиил будет утверждать, — сказал он, — что мы не евреи, если верим, будто мессия уже явился, ибо такая вера есть «отречение от принципа». Но главная

причина не в этом. Главная причина кроется в его желании сузить учение, сделать убогим и скудным, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Он желает, чтобы верующие были как единое большое стадо, которое ему легко обозреть. Поэтому-то он и хочет запретить учение в стойло, в свой закон об обрядах. — Глядя на этого скромного бритого человека, скорее похожего на банкира или юриста, трудно было поверить, что его занимали почти исключительно вопросы религии. — Мы и сами вовсе не отрицаем этого закона, — продолжал он. — Мы протестуем только против утверждений верховного богослова, будто вся истина содержится в этом законе. А ведь там лишь половина истины, если же половина выдает себя за всю истину, то она хуже лжи. Каждый подлинный слуга Ягве считает своим священным долгом проповедовать дух Ягве среди всех народов, а не среди одних евреев. Но об этом Гамалпил умалчивает; и не только умалчивает, он борется против этого. Когда несколько лет назад ваш двоюродный брат Тит запретил производить обрезание над неевреями, мы были поставлены перед вопросом: от чего нам следует отказаться — от внешнего признака принадлежности к еврейству, от обрезания, или же от мировой миссии еврейства, от распространения его вероучения? Верховный богослов высказался за обрезание, за свой закон об обрядах, за национализм. Мы же, христиане, предпочитаем отказаться от обрезания, но хотим, чтобы весь мир приобщился к Ягве. Верховный богослов отлично знает, что, по сути дела, мы — лучшие из евреев, ибо бог вдохнул в него острый ум и силу познания. Но так как он встал на сторону зла, он ненавидит нас и натравливает на нас римлян. Гамалпил уверяет, что причиной постоянных раздоров между Римом и евреями — наша страсть обращать людей в свою веру.

— Но ведь вы действительно стараетесь проповедовать ваше учение на всех углах и перекрестках, — задумчиво возразил принц Клемент.

— Да, верно, — согласился Иаков. — Так как верховный богослов из духовной скупости хочет, чтобы Ягве принадлежал только ему и его евреям, мы не можем допустить, чтобы изнемогли от духовной жажды те, кто

ищет истины. Разве смею я сказать, например, вам, иршиц Клемент: нет, вы не можете приобщиться к Ягве, мессия умер не за вас? Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон запрещает вам обрезание?

Иаков из Секании говорил хорошо, убежденность придавала жар его словам, хоть он их произносил очень спокойно, и Домитилла не отрывала взгляда своих сероголубых, жестковатых и все же фанатичных глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива.

— Почему же, — спросила она, — если вы владеете истинным Ягве, евреи идут за верховным богословом, а не за вами?

— Нет, и среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда, — возразил Иаков, — они замечают, что богословы стремятся недозволенным образом перазрывно соединить Ягве с государством. А Ягве разрушил государство, допустил поражение евреев и во время последнего восстания, и это свидетельствует, что государство ему негодно, и среди евреев все растет число тех, кто не закрывает глаза на это свидетельство, растет число евреев, присоединяющихся к нам. Они больше не хотят государства, они хотят иметь только побольше бога. И они отвергают хитроумные и лицемерные рассуждения богословов, которыми те пытаются воскресить государство в законе об обрядах. Ибо этот закон — всего-навсего искусное прикрытие, а за ним стоит все то же старое государство, подчиненное священникам.

Домитилла, хотя и не противилась захватившей ее силе убеждения, с какой говорил Иаков, однако тотчас поспешила из мира абстракций перейти к близкой действительности, к сегодняшнему Риму. Она раскрыла тонкие губы и деловито подытожила:

— Значит, вы считаете верховного богослова своим злейшим врагом?

— Да, — ответил Иаков. — Так же точно враждуют между собой истина и ложь. Наш Ягве — Ягве пророков, он бог всего мира. Его Ягве — бог судей и царей, битв и завоеваний, это тень Ваала, которая всегда про-

должала жить в Иудее. Гамалиил — человек умный, и он ловко спрятал своего Ваала. Но он служит Ваалу и ненавидит нас, ведь слуги Ваала неизменно преследовали слуг Ягве.

— И вы полагаете, — педантично настаивала Домитилла, упорно не желая покидать область конкретных фактов, — что верховный богослов воспользуется своим пребыванием здесь, в Риме, и постарается вам навредить?

— Конечно, постарается, — ответил Иаков. — Он будет спасать свой университет в Ямнии и свой закон об обрядах и приложит все усилия, чтобы император перенес свои подозрения на нас, христиан. Таким способом он действовал всегда. Изображал себя и своих евреев невинными агнцами; а бунтовщики — это мы. Мы проповедуем свою веру, мы хотим отвлечь римлян от Юпитера, пусть его заменит Ягве. В Кесарии он не раз добивался своего у губернатора, прибегая к такого рода доводам; почему бы ему не испробовать тот же способ и с самим императором?

— Я знаю его, — отозвалась Домитилла, — знаю «этого». — Даже теперь она тоже назвала дядю, императора, «этог». — Я знаю «этого», — сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина. — Конечно, он будет защищать Юпитера, своего Юпитера, Юпитера, как он его понимает. И, конечно, он таит злые замыслы против Ягве. Перед тем, как нанести удар, он привык медлить, вероятно, он не делает различия между вами и евреями, и ему все равно, поразит ли удар верховного богослова и его Ямнию или вас. Но руку он уже занес и наверняка ударит. Все дело в том, на кого сейчас направлено его внимание.

Клемент внимательно слушал свою жену, как добросовестный, но медленно соображающий ученик.

— Если я тебя правильно понял, — сказал он, словно размышляя вслух, — то нам следовало бы, раз мы хотим спасти нашего Иакова и его учение, привлечь внимание DDD к университету в Ямнии. Надо, чтобы он нанес удар по верховному богослову и по университету.

Бледно-голубые глаза принца потемнели от волнения. Домитилла также ожидала, что ответит Иаков.

Но тот не хотел, чтобы его упрекнули, будто он за-
таил в душе жажду мщения. Если он идет против Гама-
ллила, то не из ревности, а лишь потому, что не видит
никого способа спасти свою собственную веру.

— Я не питаю ненависти к верховному богослову,—
произнес он спокойно и задумчиво.— Мы ни к кому не
питаем ненависти. И если к нам относятся враждебно,
то не потому, что мы враждебны. Мы вызываем вражду
уже тем, что существуем.

— Так согласны вы или нет, что лучшее средство
спасти вас — это запрещение университета в Ямнии и
его деятельности? — настаивала Домитилла.

— К сожалению, это, вероятно, лучшее средство,—
все так же задумчиво ответил Иаков.

Единственный доступный для Домитиллы путь
к тому, чтобы заставить «этого» наложить запрет, вел че-
рез Юлию.

А в отношениях между Юлией и Домицианом про-
изошли перемены. Сначала все сложилось так, как
Юлия и опасалась: после возвращения Луции DDD стал
с племянницей очень холоден. Он был весь полон Лу-
цией, а на Юлию бросал иронические, даже ненавидя-
щие взгляды. Когда она перед его отъездом на войну
пришла к нему попрощаться, он, несмотря на спокой-
ный характер Юлии, своими язвительными замечаниями
довел ее до бешенства. Женщина с таким умом, как у
нее, издевался Домициан, не способна постигнуть по-
длинное величие, и, наверное, она, несмотря на его за-
прещение, все-таки спала с этой хромой задницей, с Са-
бином, она носит под сердцем ребенка от Сабина и пусть
не воображает, что Домициан когда-нибудь усыновит
ее балбеса. Но Юлия действительно не спала с Сабиним,
не могло быть сомнения и в том, что ребенка она ждет
от Домициана, и его злобное недоверие оскорбляло ее
тем сильнее, что ей бывало отнюдь не легко, когда муж
терзался возле нее, беспомощный и униженный. Для
этой обычно столь спокойной дамы было крайне тяго-
стно все время, пока отсутствовал император, жить ря-
дом с укоризненно молчавшим Сабиним, она день и ночь

мучилась тем, что не в силах рассеять нелепые подозрения DDD, и, когда незадолго до возвращения Домициана наконец родила мертвого ребенка, она приписала это тем волнениям, которым ее подвергал император своей низкой подозрительностью и человеконенавистничеством.

И вот, по возвращении из дакийского похода, Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой, ее белое, спокойно-надменное лицо казалось менее вялым, более одухотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овечьного славой победителя, и он никак не мог ей внушить, что дакийская война, которая все еще тянулась, оказалась для римлян успешной. Его раздражала ее манера весело и снисходительно посмеиваться над ним; раздражало, что она догадывается почти обо всех его маленьких слабостях; что она столь многое, чем он гордится, ничуть в нем не ценит; что благодаря привилегиям, которые она так хитро у него выманила, ее кирпичные заводы приносят большие деньги, в то время как его казна опустошена войной. Поэтому Домициан иначе, более приветливо стал поглядывать на Юлию. Теперь он верил, что ребенка она родила от него, верил, что его несправедливые упреки послужили причиной смерти ребенка, и он снова желал ее; и оттого, что опечаленная и ожесточившаяся женщина не шла ему навстречу с былой ленивой ласковостью, еще более разгорались его желания.

Домитилла знала, что ее невестка и кузина Юлия снова пользуется благосклонностью императора. Иаков не раз внушал Домитилле, что если хочешь добиться победы правого дела, то нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змий. Она решила представить Юлию это дело с университетом в Ямнии так, чтобы Юлия приняла его близко к сердцу.

И ей удалось осторожно связать создание университета с завистью Домициана к Титу. Отец Юлии, Тит, захватил и разрушил Иерусалим, он был победителем Иудей. Но с его славой «этот» не мог примириться. Он непременно желал доказать себе, Риму и миру, что Тит все же не справился со своей задачей, не победил

Иудею, и ему, Домициану, осталось еще сделать немало — до конца подавить мятежную провинцию. И если Домициан, например, допускает, чтобы этот дурацкий верховный богослов Гамалиил здесь, в Риме, так важничал и задавался, то лишь из желания еще раз доказать всему городу, что евреи по-прежнему остаются определенной политической силой, что Тит не сломил их и покончить с ними — задача, предназначенная богами ему, Домициану.

Вот какие мысли мудрая Домитилла внушала Юлии, и когда Юлия оставалась потом одна, то продолжала разматывать их нить в том направлении, в каком хотелось Домитилле. Совершенно ясно, что DDD только по злобе, только чтобы умалить память ее отца Тита, разрешает главному еврейскому попу столь дерзко разгуливать по улицам Рима. И то, что Домитилла подняла вопрос о запрещении университета в Ямнии, совсем неплохо. После всех обид, нанесенных ей DDD, она, Юлия, имела право на ощутимую милость. Она потребует, чтобы впредь он оставил те ловкие интриги, которые плел, желая опозорить память ее отца Тита. Пусть наложит запрет на Ямнию. И Домитилле удалось то, чего она добивалась, — сама того не ведая, Юлия стала защитницей минеев.

Когда Домициан в следующий раз пригласил ее к себе, она особенно тщательно занялась своей наружностью. Над белым лицом рядом рядами локонов, перевитых драгоценными камнями, вздымались, подобно башне, ее чудесные пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный чувственный рот — рот Флавиев, — чтобы он стал еще алее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками, какие из бесчисленных духов ей выбрать.

В пышном наряде явилась Юлия к Домициану. Он был хорошо настроен, приветлив. Она избегала, как обычно за последнее время, всяких фамильярностей; взамен она принялась рассказывать ему светские сплетни, как бы между прочим упомянула и о еврейском верховном жреце. Она находит его поведение здесь, в Риме, просто скаandalным, он держится точно

пезависимый государь. Считает свой дурацкий университет,— наверное, что-нибудь вроде сельской школы, где учат всяким суевериям,— центром земли, а так как среди римских снобов любое мнение тем скорее находит приверженцев, чем оно сумасброднее, то если никто этого еврейского попа не остановит, дело кончится тем, что молодые римляне еще будут ездить в Ямнию учиться.

Все это Юлия выложила со скрытой иронией. Но недоверчивый Домициан сейчас же заподозрил, что за ее спиной стоят его ненавистные кузены. И он ответил с кривой усмешкой:

— Итак, вы хотели бы, кузина Юлия, чтобы я показал этому еврейскому жрецу, кто здесь хозяин?

— Ну да,— ответила Юлия как можно равнодушно,— мне кажется, это было бы полезно, а меня позабавило бы.

— Рад слышать, племянница Юлия,— ответил с подчеркнутой вежливостью Домициан,— что вы так заботитесь о престиже дома Флавиев,— вы и, вероятно, ваши родственники.— Потом сухо закончил: — Благодарю вас.

Однако Юлия не отступилась от своего намерения. Когда он принялся расстегивать ей платье и распускать с таким искусством воздвигнутую прическу, она снова завела разговор об университете в Ямнии и потребовала заверений и обещаний. Домициан стал ее вышучивать. Она же, хоть и называла его «Фузаном», продолжала настаивать, окаменела в его объятиях и не спешила уступить, но полушутя-полусерьезно настаивала, чтобы он сначала обещал исполнить ее просьбу. Однако он пустил в ход силу, и она, покоренная именно этой грубостью, уступила и подчинилась его властным рукам.

Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле Домитиллы и минеев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии.

Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император верховного богослова и примет ли вообще, отно-

сился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу верховного богослова об аудиенции, это была его обязанность. Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания DDD положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким.

В конце концов друзья евреев попытались поставить дело Гамалиила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марулл заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. Разве вообще поднят вопрос об университете в Ямнии? — удивился он. А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд? Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается, и это может быть истолковано только как проявление терпимости, даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немислимо, оно было бы возможно, только если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания — один из столпов, на которых покоится Римская империя; посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза для всех центров их культа. Закрытие университета в Ямнии явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения.

Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану, как к хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми близорукими глазами молча, задумчиво и рассеянно, потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что

его слова произвели на DDD некоторое впечатление. Так оно и было. Домициан подумал про себя, что в доводах Регина есть смысл. Но они пришлось совсем некстати. Ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок, хотел сохранить свободу действий,— пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря, ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину.

Нет, он лично не может согласиться, начал Криспин, суюкая и пришепечывая (так говорили по-гречески снобы в университетах Коринфа и Александрии, и этот выговор считался аристократическим),— он никак не может согласиться с тем, будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил. И раньше случилось, что не только посланцев, даже царей варварских народов заставляли месяцами ждать аудиенции. Когда египтянин, дав волю своей ненависти, назвал евреев варварами, все подняли головы и украдкой взглянули на императора. Но тот был неподвижен.

Министр полиции Норбан поспешил на помощь Криспину.

— Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал,— это навязчивость и дерзость,— заявил Норбан.— Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба — пусть сообразовался обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим прибыл из Ямнии верховный жрец, евреи очень обнаглели. Закрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость.

Норбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными нелепыми завитками свисающих на лоб жестких иссиня-черных волос оставалось бесстрастным, а интонации — деловито-сдержанными. Но шитые белыми нитками возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы доводы Регина. Домициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать,— Анний Басс. Гос-

пожа Дорион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана; она повторяла их до тех пор, пока Анний не стал считать их своими собственными. Конечно, обстоятельно разъяснял он, согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует шадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели, они отняли у великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики, ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой. Даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами,— те поймут это и не будут делать ложных выводов. Ведь евреи исконн стремились быть избранным народом и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягве тоже не такой, как боги других народов, он не настоящий бог, у него нет изображений, нельзя поставить его статую в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа, это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима — действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо шадить их бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве — это просто-напросто синоним государственной измены.

Столь глубокомысленные речи от простого солдата Анния Басса советники императора не привыкли слышать. Марулл и Регин улыбались; они догадывались, в чем тут дело,— за этими рассуждениями явно стояла госпожа Дорион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений.

Хватит разговоров про верховного богослова и университет. Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом.

На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы. Манекен, облаченный в одежды Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанья; они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями.

Домициан решил посоветоваться с ними, как ему быть в трудном споре с чужим богом Ягве. Ибо разделились не только голоса его советников, но и голоса, звучавшие в его собственной душе. Ему хотелось и разрушить высшую школу в Ямнии, и властной рукой защитить ее. Он никак не мог принять решение.

С Митрой или Изидой можно поладить; им можно воздвигнуть статуи, известно немало способов их умиловить, если оскорбишь их почитателей; но как быть с этим богом Ягве, когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности, подобен несущим лихорадку болотным испарениям и их блуждающим огонькам: их нельзя схватить, их можешь познать только по вредоносному действию.

Анний Басс как-то рассказывал ему, что дом этого Ягве, белый с золотом храм, «то самое», как называли его римские солдаты, одним своим видом угнетал души осаждающих, вызывал в них болезнь. Он тогда их чуть с ума не свел. Тит всю жизнь боялся мести бога Ягве, ибо оскорбил его, разрушил его дом. И последнее, что он сделал, он попросил прощения за эту обиду у еврея Иосифа.

Он, Домициан, не ведает страха, но он верховный жрец, он представляет на земле Юпитера Капитолийского, он почитает всех богов, и он избегает затевать ссору с чужим богом и его верховным жрецом. Он будет обращаться осторожно с этим богословом. Ведь евреи хитры. Подобно тому как отряды римлян идут на штурм «черепахой», спрятавшись под кровлей из щитов, так же прячутся и евреи под покровом своего невидимого бога.

Но, может быть, это все обман? Может быть, его совсем не существует, их невидимого бога?

Собственные боги должны ему помочь, дать совет. Поэтому-то он и облекся в торжественные одежды и пригласил их в гости, поэтому вкушает с ними пищу, поэтому на золотых тарелках перед ними лежат окутанные паром куски свинины, баранины и телятины.

Он старается быть достойным таких гостей, тянется вверх, силится придать своему лицу такое же выражение, как на его статуях: голова с львиным лбом чуть откипута назад, брови угрожающе сдвинуты, ноздри слегка раздуваются, рот полуоткрыт — и вот он погружает взгляд в глаза божественных сотрапезников, ожидая, что они просветят его, дадут совет.

Так как Юпитер молчит и Юнона тоже не подает голоса, он обращается к Минерве, своей любимой богине. Вот она перед ним. Он избавил ее от дешевой идеализации, от миловидности, которую скульпторы придавали ее изображению, и вернул ей совиные очи, которые были у нее искони; их вставил Критий, великий мастер. Да, для него, Домициана, она — совоокая Минерва. Он чувствует в ней зверя, как чувствует зверя в себе, — мощную первобытную силу. Своими большими, близорукими глазами навывкате смотрит он не отрываясь в большие, круглые совиные глаза богини. Он ощущает глубокую связь с ней. И он обращается к ней; вслух, не смущаясь растерянных слуг, которые стараются не слышать и все же вынуждены слышать, он заговаривает с ней. Он пытается придать своему резкому голосу мягкость, называет богиню всякими хвалебными и ласкательными именами — греческими, латинскими, всеми, какие ему только приходят на ум.

Покровительница града сего, говорит он ей, Хранительница ключей, Защитница, маленькая любимая Воительница, что всегда в первом ряду, моя Непокорная, Побеждающая, Захватчица добычи, Изобретательница звучных флейт, Помощница, Премудрая, Прозорливица, Искусница.

И — удивительное дело! — она наконец снисходит и отвечает ему. Этот Ягве, говорит она, лукавый бог, восточный бог, он ужасный хитрец. Он желает обмануть

тебя, римлянина, со своим университетом в Ямнии. Он хочет вовлечь тебя в кощунство, чтобы получить повод покарать и погубить тебя. Ибо он мстителен, и так как твой брат уже у подземных богов, он примется за тебя и задаст тебе. Держись спокойно, не поддавайся соблазну, наберись терпения.

Домициан усмехается своей долгой, мрачной усмешкой. Нет, богу Ягве не провести бога Домициана. Он и не подумает упразднить этот дурацкий университет в Ямнии. Но открывать свои планы верховному богослову он тоже не будет. Если бог Ягве требует от него, Домициана, терпения, то он, император Домициан, потребует терпения от его верховного жреца. Пусть этот Гамалиил покорчится от страха. Пусть растает, раскиснет от одного ожидания.

Весело, полный благодарности, прощается Домициан со своими богами.

И верховный богослов ждал.

Скоро ясной погоде конец, скоро наступит зима, и путешествие по морю станет невозможным. Если верховный богослов хочет вернуться в свою Иудею, пора собираться в дорогу.

Он не собирается в дорогу. Ему все равно, что его продолжительное пребывание в Риме производит уже странное, даже неприятное впечатление. Ни одним словом не обмолвился он о том, как его мучит молчание императора, дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гамалиил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно.

Обычай требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн Гисхальский старался уговорить его; но Иосиф все не шел. В Иудее он был свидетелем тех жестокостей, к которым иногда вынуждал Гамалиила его сан верховного жреца всего еврейства, и какие бы оправдания для этой суровости ни находил раскусод Иосифа, его сердце не принимало се.

Невзирая на обиду, Гамалиил пригласил его к себе. За те шесть лет, что Иосиф его не видел, верховный

богослов очень постарел. В его коротко подстриженной квадратной рыжеватой бороде, скорее подчеркивавшей, чем скрывавшей рот и подбородок, уже блестели серебряные нити, и когда этот статный и крепкий господин полагал, что за ним не наблюдают, его плечи опускались, карие глаза в глубоких глазницах теряли свой блеск, а выступающий вперед подбородок — свою решительность.

Как будто за это время ничего не произошло, Гамалиил начал разговор с того, на чем он закончился шесть лет назад.

— Какая жалость, — сказал он, — что вы тогда отказались от моего предложения представлять нашу внешнюю политику в Кесарии и в Риме. Среди нас есть много людей, обладающих недюжинным умом, но мало таких, которые могли бы помочь человеку, обреченному руководить политикой евреев. Я очень одинок, Иосиф.

— А я считаю, что поступил тогда правильно, — ответил Иосиф. — Дело, которое вы хотели поручить мне, требовало и жесткости и гибкости. У меня нет ни того, ни другого.

Гамалиил и на этот раз держался с ним вполне доверительно. Ни словом не дал он Иосифу понять, что за это время тот во многом утратил уважение соплеменников. Наоборот, он говорил с ним, как с равноправным вождем еврейства. Он обхаживал Иосифа, казалось даже, будто он считает своим долгом отчитаться перед ним в своей политике.

Верховный богослов пытался доказать, что тот жестокий удар, которым он тогда отсекал минеев от иудеев, был оправдан всем дальнейшим ходом событий.

— В чем мы нуждались, — пояснил он, — так это в ясности. И теперь она у нас есть. Теперь установлен единственный, помимо веры в Ягве, конечно, критерий, по которому мы решаем — наш этот человек или нет, еврей он или нет. И этот критерий — вера в то, что мессия явится только в будущем. Тот, кто верит, что он уже явился, кто, таким образом, отказывается от надежды на возрождение Израиля, кто отказывается от восстановления Иерусалима и храма, — такой человек нам совершенно чужд. Откровенно признаюсь вам,

Иосиф, я уверен, что страдания, которыми нас поразили господь, пошли на благо. Испытания помогают нам отличать тех, кто достаточно силен, чтобы сохранить надежду, от мягкотелых, от тех, кто готов отречься от себя, потому что их распятый мессия якобы принес себя в жертву. Пусть минеи с их сладостным и соблазнительным Евангелием вербуют новых сторонников. Я не жалею о примыкающих к ним, они никогда не были настоящими евреями! Ягве минеев, этого так называемого всемирного Ягве, теперь спасать незачем, мы должны от него отказаться, нам не нужен бог, который ускользает, как только хочешь его ухватить, за него удержаться. А с помощью закона и обычаев мы спасем хотя бы Ягве Израиля.

Ах, Иосиф уже слышал эту песню. Он уже сотни раз убеждался на опыте, что если человек хочет заниматься политикой, ему приходится подмешивать к своей истине немало лжи.

— Тому, кто идею не только возвещает, — сказал верховный богослов, — тому, кто за нее идет в бой, приходится кое-чем в ней и поступаться. Человеку, который пишет, нужны лишь голова да пальцы; а тот, кто послан в мир действия, нуждается и в крепких кулаках.

Нет, сказал себе Иосиф, я был прав, удалившись от мирской суеты и предпочтя ей созерцание.

— А нашу Ямнию мы должны спасти! — решительно перешел к делу верховный богослов. — Пусть о моей политике думают что угодно: Ямнию мы спасти должны! Если бы не семьдесят один богослов, которые сидят там, в Ямнии, еврейству пришел бы конец, Ягве исчез бы из мира. Не кощунство ли это? — обратился он к самому себе, испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом. — Но я верю, что каждый еврей в сердце своем думает так же, — успокоил он себя.

Иосиф смотрел в открытое, смуглое энергичное лицо этого человека. Успех служил Гамалиилу оправданием. Благодаря несокрушимой воле к действию ему удалось, с помощью смехотворно маленького университета, удержать Ягве в Иудее. Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямнией, храм — школой, синедрион — кол-

легией. Теперь существовало новое убежище, и, только уничтожив Ямнию, можно было уничтожить еврейство.

Гамалиил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор:

— Перед вами, Иосиф, я спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университет и коллегия в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которое у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория и начинается практика судопроизводства, где богословие переходит в политику! Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии — разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснения, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти ни принудить его, ни запретить ему. Может быть, даже вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно, его побуждений мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями римского сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства — богословия, учения, ритуала.

Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрой улыбке и обнажили крупные редкие зубы.

Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали:

— Ну скажите сами, доктор Иосиф,— воскликнул он, и голос его ожил,— скажите сами, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ, целый народ так небывало дисциплинирован? Что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца? Что, кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его бог? Разве такая самодисциплина не единственное в своем роде, великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ, его неудержимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить — это самое возвышенное и удивительное, что мы видим на нашей оскудевшей и померкшей земле.

Иосиф почувствовал все воодушевление этого человека, оно захватывало, но то, что Иосиф мог возразить ему, не теряло своей силы. Да, там было сделано великое дело, с удивительной проницательностью и преодолимой энергией был создан сосуд, чтобы удерживать растекающийся дух. Но именно поэтому дух оказался теперь запертым в этом сосуде, его стеснили, сузили, чем-то в нем пожертвовали, а то, чем жертвовали, было Иосифу слишком дорого.

— Итак, римляне,— снова продолжал Гамалиил легким и веселым тоном,— конечно, чувствуют, какое опасное и мятежное начало таит в себе этот наш университет в Ямнии. Однако,— и теперь лицо Гамалиила выражало лишь веселое лукавство,— им никак не удастся нащупать, где именно кроется опасность. Римляне способны постигать мир лишь постольку, поскольку его удастся втиснуть в юридические формулы; иного рода духовность им недоступна, по сути своей — они варвары. Но достигнутое нами совершенно невозможно втиснуть в какую-либо юридическую формулу. Мы во всем покорны, мы услужливы, мы себя не компрометируем, сами подавили свое восстание. Словом, если не извращать римское право и римскую традицию, то наш универси-

тет неуязвим. А разве сам император Домициан не считает, что боги предназначили его быть хранителем римского права и римской традиции?

Однако нельзя забывать о наших врагах, их много, и они могущественны. Это принцы Сабин и Клемент и все их приверженцы, это военный министр Анний Басс и ваша бывшая супруга Дорион, это весь минейский сброд. Все эти враги настоятельно просят императора наложить на нас запрет, и он охотнее всего уступил бы их просьбам. Значит, единственное, что оберегает нас от гибели,— это благоговение императора перед традицией, перед римскими принципами. И он колеблется между своим... правосознанием, что ли, и неприязнью к нам, раздутой нашими врагами, он не решается, ждет, просто не желает нас выслушать, не допускает нас к себе. С его точки зрения, это лучшее, что он может делать. Таким способом он избегает решения, ему ненавистного, то есть закрытия университета в Ямнии, а вместе с тем, заставляя меня ждать здесь аудиенции, ослабляет наш престиж, делает Ягве и еврейство посмешищем, разрушает нашу Ямнию изподволь.

Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал верховный богослов.

А тот задумчиво продолжал:

— Я бы уж знал, как взяться за этого императора. Я бы постарался ухватиться за его поклонение традициям, за его религиозность. Ибо, как ни странно, для этого человека религия существует; иначе многого, что он делает или чего не делает, не объяснишь; пусть это религия очень темная, очень языческая, он наверняка верит во всяких Ваалов, но это все же религия, и с этой религии надо и начинать. Следовало бы пойти на хитрость, следовало бы для него сделать Ягве Ваалом, неуклюжим, опасным кумиром, божеством, как он его понимает,— страшным и угрожающим. А может быть, это тоже кощунство? Не звучат ли такие слова богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягве? Но в наше время он больше чем когда-либо должен быть политиком. Любое средство годится, если благодаря ему народ Израиля вынесет третий переход через

пустыню и не погибнет. А народ этот должен жить! Ибо идея, ибо Ягве не может жить без своего народа!

Тут Иосиф испугался в сердце своем, последняя фраза Гамалиила была действительно кощунством и богохульством, именно потому, что ее произнес верховный богослов. Вот на какие опасные вершины политика заносила человека, не желавшего ничего, кроме бога и служения богу.

— Да, уж я бы знал, как взяться за императора,— продолжал Гамалиил.— Но вся беда в том, что он не допускает меня к себе. Признаюсь вам,— вдруг гневно воскликнул он,— порой я горю от нетерпения и ожидания! И не ради себя — я не тщеславен и умею переносить обиды. Но дело ведь идет не обо мне, а об Израиле. Наша встреча должна состояться. Однако наши друзья, несмотря на всю их ловкость и добрую волю, на этот раз бессильны. Регину это не удастся, Маруилу не удастся. Иоанну Гисхальскому не удастся. Есть только один человек, которому, может быть, это удалось бы, и этот человек — вы, Иосиф. Помогите нам!

После такого призыва Иосиф молчал, обуреваемый противоречивыми чувствами. Трудно было уклониться от настойчивой просьбы верховного богослова. Решительная политика этого человека, отрекшегося от бога всей земли, чтобы послужить богу Израиля, столь же сильно отталкивала Иосифа, сколь и привлекала. Гамалиил требовал от него действий, требовал активности, предприимчивости, то есть как раз всего, чего Иосиф за последние годы так тщательно избегал. Тот, кто хочет действовать, должен идти на компромисс; кто хочет действовать, должен заставить свою совесть молчать. Верховный богослов для того и предназначен, чтобы совершать деяния, в этом его задача, у него есть на то и ум и власть. Его же, Иосифа, сила только в созерцании, его дело — представить себе историю своего народа и осмыслить ее; а когда он начинал действовать сам, он оказывался обманщиком и пустозвоном.

То, что он, Иосиф, думает, говорит, пишет, даст возможность людям в далекие грядущие времена увидеть теперешние события такими, какими он, Иосиф, хотел их видеть, и это, быть может, определит деяния потом-

ков. А то, что говорит и думает Гамалиил, тут же становится историей, становится сегодня и завтра судьбою людей. Иосифа разрывали противоположные стремления. Стены, в которых он так искусно замкнулся, чтобы сберечь свой покой, рухнули. И он обещал верховному богослову исполнить его просьбу.

Когда Иосиф попросил аудиенции у Луции, она приняла его на следующий же день.

Луция разглядывала его с нескрываемым интересом.

— Должно быть, мы около двух лет не виделись с вами, — сказала она. — Но когда я сейчас смотрю на вас, мне кажется, прошло целых пять. Я ли так изменилась за время ссылки, или вы стали другим? И я разочарована, мой Иосиф, — продолжала она непринужденно. — Вы постарели. И на нечестивца вы больше не похожи.

Улыбка пробежала по лицу Иосифа, изборожденному морщинами; значит, она еще помнит возглас, вырвавшийся у нее при виде его незавершенного бюста: «Вы же нечестивец».

— Ну, чем вы заняты? — снова заговорила Луция. — О вас уже давно ничего не слышно. Мне кажется, вас что-то печалит. — И она с явным сочувствием продолжала его разглядывать. — Но то, что делают с вами, евреями, действительно низость. Это отвратительное мелкое мучительство. Когда моя родственница Фаустина не выспится, она колет иголкой в руку или в спину служанку, которая завивает ее. Так может поступать Фаустина, но не Римская империя в отношении целого народа. Как всегда, мне жаль, что вы угнетены. За последние годы мне тоже пришлось пережить немало тяжелого. Но я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Жизнь была бы слишком однообразна без смены добра и зла.

Иосифа несколько обидело, что Луция нашла его столь изменившимся. Ему вспомнился первый разговор, который он вел когда-то со знатной римской дамой, разговор с Поппеей, женой Нерона. Каким собранным был он тогда, как жаждал победы, как уверен был в ней.

И сейчас в нем пробудилось что-то от прежнего Иосифа, его душевные силы напряглись.

— Охотно верю, императрица Луция, что вы примете и злое и доброе,— ответил он живо и, не смущаясь, пристально посмотрел ей в глаза с тем же дерзким восхищением, с каким смотрел тогда в глаза Поппее.

Луция рассмеялась своим щедрым, полнозвучным смехом.

— Скажите мне, пожалуйста,— откровенно спросила она,— почему, собственно, вы захотели меня повидать? Ведь не для того же вы пришли, чтобы нанести мне визит вежливости? Правда, вы сейчас на меня так смотрели — ну просто бесстыдно, в вашем взгляде было что-то от бюста нечестивца Иосифа, и можно было подумать, будто вы в самом деле явились только из любопытства, чтобы посмотреть, похорошела я в изгнании или нет. Впрочем, я недавно в храме Мира опять рассматривала ваш бюст,— замечательная вещь; но все-таки это не портрет, ведь глаза отсутствуют. Когда Критий хотел их вставить, не надо было возражать. А теперь скажите поскорее, как вы находите мою новую прическу? Вот все крик поднимают!

Ее волосы были уложены рядами локонов, она отказалась от обычного сооружения в виде башни, которое предписывала мода.

Подвижность и живость этой женщины влили бодрость в Иосифа. Да, она стояла выше рока, ни доброе, ни злое не могло повлиять на нее, она пышет жизнью, изгнание придало ей еще больше жизненных сил.

— Вы правы, императрица Луция,— сказал он.— Меня действительно угнетает горе моих евреев, и я пришел просить для них вашего благоволения. За последнее десятилетие нам со многим пришлось примириться; но мы считаем милостью нашего бога, что он так нас испытывает. У нас есть мудрая и поэтическая легенда о некоем человеке по имени Иов, которого бог наказует, ибо хочет выделить среди прочих, навести на мысль, что живет в нем тайный грех, которого сам человек иначе бы не познал, а среди остальных лишь немногие сочли бы за грех.

— Какой же это грех? — спросила Луция.

— Высокомерие духа, — ответил Иосиф.

— Грех, гм, — задумчиво произнесла Луция. — Я тоже не раз подвергалась испытаниям, но из-за этого не начинала размышлять о своих грехах. Есть ли во мне высокомерие духа — не знаю. Говоря по правде, едва ли. Но поменяться характером я бы ни с кем не хотела, я довольна тем, какой есть. А вообще-то мне кажется, мой Иосиф, что вы гораздо вышекомернее меня.

— Писатель Иосиф Флавий, — ответил Иосиф, — надеюсь, не слишком вышекомерен. Еврей Иосиф Бен Маттафий — да. Но одно дело — высокомерие отдельного человека, а другое — духовная гордость целого народа. Это не грех, если мы, евреи, гордимся своим Ягве и своей духовной жизнью. Я полагаю, что мир не может без нас обойтись. Мы миру необходимы. Мы соль земли.

Спокойная убежденность Иосифа развеселила Луцию.

— А какой народ не считает себя избранным? — возразила она, смеясь. — Так считают греки, египтяне, свреп. Только мы, римляне, ничего о себе не воображаем. Быть солью земли мы спокойно предоставляем другим, мы довольствуемся тем, что захватываем эту соль и господствуем над другими.

Однако Иосиф не улыбнулся, как она ожидала, он стал серьезен.

— Если бы это было так! — горячо ответил он. — Если бы вы удовольствовались этим! Дело обстоит иначе. Вы хотите большего, чем господствовать над нами. Против вашей власти восстают только глупцы. Так накажите их с какой хотите суровостью, мы жаловаться не будем. Но вы посягаете на нашу душу. Ради этого я и пришел к вам, императрица Луция. Попросите императора, чтобы он этого не делал! Оставьте нам нашу душу! Оставьте нам нашего бога! Оставьте нам нашу Книгу, наше Учение! Каждому народу Рим до сих пор оставлял его бога. Почему же он хочет отнять нашего?

Брови Луции над широко расставленными глазами удивленно поднялись.

— Кто хочет отнять у вас вашего бога и ваше учение? — спросила она недоверчиво.

— Очень многие хотят,— ответил Иосиф.— И прежде всего ваша кузина, принцесса Юлия. Наш университет в Ямнии, которому Веспасиан даровал привилегии, хотят закрыть. Это маленькая богословская школа, религиозный центр, и больше ничего. Помогите нам, Луция! — закончил он настойчиво, сердечно, не называя ее титула.— Мы, право же, не ищем ничего другого, кроме свободы в духе, свободы, которая Риму ничего не стоит и не направлена против Римского государства. Но как раз ее-то некоторые люди и не желают нам оставить. Из ненависти. Они мешают нам проникнуть к императору, ибо опасаются, что мы императора убедим. Вот уже несколько месяцев, как императора удерживают от встречи с нашим верховным жрецом.

— Ах, это тот верховный жрец, о котором так много говорят,— заметила Луция с легким презрением.

— Мы все предпочли бы, чтобы о нем говорили поменьше,— отозвался Иосиф.

— И, значит, вам очень важно, чтобы император его принял? — спросила Луция.

— Если бы вам удалось этого добиться,— ответил Иосиф,— вы бы оказали моему народу огромную услугу, и он сохранил бы ее в своей памяти с горячей благодарностью, как и любое оказанное ему благодеяние.

— Выразили вы все это элегантно и учтиво, мой Иосиф,— рассмеялась Луция,— но на меня такие доводы не действуют. Мне в высшей степени наплевать, какого мнения будут обо мне после моей смерти. Я не очень-то верю в жизнь под землей, в Аиде или еще там где-нибудь. Боюсь, что, когда меня сожгут, я уже едва ли буду ощущать вашу благодарность.— Она задумалась.— Впрочем, не знаю, смогу ли я вам помочь, даже если бы и захотела. Император сейчас несговорчив,— призналась она,— и не очень ко мне благоволит. Мы часто ссоримся. Я стою ему много денег.— И с дружеской откровенностью принялась рассказывать: — Знаете ли вы, что я становлюсь все жаднее до денег? Помоему, жизнь — великолепная вещь, но именно из-за этого, чем ближе подходит старость, тем больше мне хочется иметь. Мне нужны картины, статуи, все новые и

новые драгоценности, толпы рабов, я желаю наслаждаться зрелищами, празднествами, не считаясь с расходами. За последнее время я адски много трачу. Впрочем, в деньгах вы, евреи, знаете толк, этого у вас не отнимешь. Например, Регин (он, правда, только наполовину ваш) или этот мебельщик, Гай Барцаарон, или еще один, с которым мне иногда приходится иметь дело, Иоанн Гисхальский, занятный, хитрый и отчаянный человек, — все они делают деньги, много денег и притом — без труда. Иоанну даже удалось сбить цены, которые я установила. Вот видите, я способна отдавать должное вашим заслугам, вы мне во многом симпатичны. — Лицо ее стало серьезным. — Значит, вы говорите, Юлия хочет закрыть ваш университет?

— Да, Юлия, — подтвердил Иосиф; он назвал Юлию, ибо считал это полезным.

— Она в последнее время в большой чести у Фузана, — задумчиво сказала Луция. — Меня он будто вовсе не замечает. Что за человек ваш верховный жрец? — осведомилась она. — Он святой или он правитель?

— И то и другое, — ответил Иосиф.

— Гм, тогда он человек выдающийся, — отозвалась Луция. — Но как мне уломать Фузана?

— Может быть, вам самой захочется повидать нашего верховного богослова? — решил подсказать Иосиф. — Тогда его сначала должен был бы принять император. Ведь не может же верховный богослов засвидетельствовать свое почтение вам, императрица Луция, если до того не выразит свое глубокое уважение богу Домициану.

— Вам следовало бы, в самом деле, быть при дворе, — улыбнулась Луция. — И вы считаете действительно важным, чтобы я открыла вашему верховному богослову доступ на Палатин?

— Я был уверен, что вы поможете нам, моя Луция, — ответил Иосиф.

За те дни, что Домициан не виделся с Луцией, он вновь и вновь повторял себе все, в чем ее можно было обвинить. Она унижала его, издевалась над ним. И от-

нюдь не исключено, что она опять спит с кем-нибудь другим. Он не раз лелеял мысль о том, чтобы, согласно только что введенному им более строгому закону о прелюбодеяниях, вторично осудить ее или даже просто без суда и следствия сослать либо казнить. Но потом перед ним опять возникало ее смелое, гордое лицо, с чистым детским лбом и крупным носом, он слышал ее смех. Ах, Луцию не запугать, как сенаторов! Убить ее можно, запугать — нет. И если он отдаст приказ ее убить, то большее накажет себя, чем ее; ведь она потом уже не будет страдать, а он будет.

Домициан был рад, что хоть Юлия, после некоторого сопротивления, снова допустила его к себе. Видимо, он все же оказался неправ, она любила его, и плод, который она перед тем носила под сердцем, был его ребенком. Но его злило, что, несмотря на обвинения, собранные Норбаном и Мессалином против мужа Юлии Сабина, этого, по мнению обоих, все еще было недостаточно, чтобы убрать Сабина; могли возникнуть нежелательные для императора кривотолки. А может быть, он и примирился бы с такими толками. Юлия этого стоит. Он, бесспорно, недооценивал ее. Она вовсе не глупа; например, недавно по поводу напыщенной и скучной поэмы придворного стихотворца Стация она сделала весьма милое и насмешливое замечание, — лучше и сам Домициан не смог бы сказать. И наружность ее нравилась ему все больше — теперь, когда она была не так полна. Пусть Василий вылепит ее, в третий раз. Юлия красивая женщина, настоящая римлянка, из рода Флавиев, она заслуживает любви. Она может заменить ему Луцию.

Никогда она не заменит ему Луции. Он понял это в ту же минуту, когда Луция к нему вошла. Весь его гнев против Луции как рукой сняло. Его поразило, какая она рослая и статная, несмотря на простую, невысокую прическу. А Юлия вдруг показалась ему нелепой. Неужели ему могло прийти в голову ради нее устранить Сабина, пренебречь своими обязанностями властителя и своей популярностью! Неужели он мог так долго выносить близость Юлии, ее по-детски надутые губы, ее чувствительность к малейшей мнимой обиде, ее вялое

безразличие, ее нытье! А вот его Луция, отважная, гордая, все понимающая,— вот это римлянка, эта женщина ему под стать.

Луция же с обычной беззаботностью прежде всего заявила, что лысина у него увеличилась чуть-чуть, а живот совсем не вырос. Потом сразу устремилась к цели.

— Я пришла,— заявила она,— чтобы дать вам один совет. Здесь с некоторых пор находится главный жрец евреев, верховный богослов Гамалиил, утвержденный вами в этом звании. Вы держитесь с этим человеком не так, как следовало бы. Если вы хотите закрыть его университет, то я считаю, что вы, император Домициан Германик, должны набраться мужества и сказать об этом ему в глаза. Но вы и не допускаете его к себе, и не отсылаете из Рима, не говорите ни «да», ни «нет» и действуете методами, напоминающими времена, когда вас еще называли «Малыш» и «Фрукт». Я думала, что эти времена прошли. Я думала, что вы стали мужчиной, с тех пор как умер Тит и вы сделали императором. И я жалею об этом рецидиве.

Домициан усмехнулся.

— Вы что — не выспались, Луция? — спросил он. — Или огорчены невыгодной сделкой? Может быть, просчитались при поставках кирпича?

— Скажите, вы повидаетесь с верховным богословом? — продолжала настаивать Луция.

— Вас что-то очень интересует этот человек,— заметил Домициан, и его усмешка стала злой и угрюмой.

— Тогда я повидаюсь с ним сама,— решительно заявила Луция, подчеркнув слово «сама». — Конечно, если я приму его, это всем бросится в глаза. Да и верховный богослов, вероятно, найдет неподобающим явиться ко мне до того, как он будет принят вами.

— Это дело гофмаршала Криспина,— отозвался Домициан.

— Берегитесь, Фузан,— сказала Луция. — Не вяляйте! И не делайте попыток покончить с этим неприятным делом так, как вы покончили с некоторыми другими! Не отправляйте этого человека из Рима, пока вы

не выслушаете его! Не избегайте встречи с ним. То, что вы меня сослали, не пошло мне во вред. Но если вы будете вести себя с верховным богословом недостойно — смотрите, как бы я сама себя не сослала.

Когда Луция ушла, император сказал себе, что ведь она со всеми своими грубостями ломилась в открытую дверь. Если он и хотел немножко проучить этот строптивый еврейский сброд, продержав его в страхе и неизвестности, то все же он, призванный быть защитником богов всех подвластных народов, на самом деле никогда серьезно не помышлял о том, чтобы лишить верховного богослова и его соплеменников религиозного центра. Однако и сейчас, после посещения Луции, Домициан никак не мог заставить себя принять Гамалнила и успокоить евреев, он продолжал хранить молчание, вынуждая их ждать, ничего не предпринимал.

Единственный, на ком сказались последствия этого вмешательства Луции, был гофмаршал Криспин. Когда он на другое утро после посещения Луции, как всегда надушенный и расфранченный, явился на Палатин, император спросил его:

— Скажи-ка, любезный, кого ты, собственно, разумеешь под словом «варвары»?

— Варвары? — переспросил, опешив, Криспин, и нерешительно закончил: — Ну, это люди, которым чужда римская и греческая цивилизация.

— Гм... — пробурчал Домициан, — а разве евреи в моем городе Риме не говорят по-гречески? А разве евреи в Александрии не говорят по-гречески? Как же так? — вдруг взорвался он, побагровев. — Значит, евреи больше варвары, чем, скажем, твои египтяне? И почему этот верховный богослов должен ждать аудиенции дольше, чем твой жрец Изиды Манефон? И ты воображаешь, негодяй этакий, что если ты тратишь пять талантов в год на духи, так ты цивилизованнее моего историографа Иосифа?

Криспин отпрянул; его стройное тело под белой парадной одеждой затряслось в ознобе, смазливое, наглос, порочное лицо, бронзовое от притираний, позеленело.

— Итак, я должен назначить верховному богослову время для аудиенции?

— Ничего ты не должен, — заорал на него Домициан срывающимся голосом. — Ты должен убраться отсюда! Подумать должен!

Ошарашенный гофмаршал поспешно удалился, не зная, чем объяснить внезапный гнев императора, не зная, что же ему делать.

А верховный богослов все ждал, а Домициан все медлил, и положение оставалось прежним.

И вот на восьмой день после того, как Луция потребовала у императора объяснений, на Палатин прибыл курьер с пером, возвещающим несчастье; он привез депеши с дакийского театра военных действий.

Запершись в своем кабинете, Домициан изучал полученные сообщения. Его маршал Фуск потерпел жестокое поражение. Он дал дакийскому царю Диурпану заманить себя в глубь дакийской территории и там с подавляющей частью своей армии погиб. Двадцать первый легион, «Рапакс», был почти весь уничтожен.

Домициан машинально взял футляр, в который была вложена депеша, извещавшая о несчастье, поднял его, снова положил перед собой. Часть доставленных в нем бумаг была разбросана по столу, часть разлетелась по полу. Домициан с отсутствующим видом сгреб некоторые из них, скомкал, потом снова расправил и аккуратно положил на место. За этого Фуска, который дал себя разбить, ответственность несет только он, Домициан. Ведь это он доверил ему верховное командование, вопреки советам Фронтинана и Анния Басса, предупреждавших его, что Фуск безрассудный смельчак и сорвиголова. Но он, Домициан, настоял на своем. Он считал, что отвага Фуска стоит осмотрительности Басса и Фронтинана. Поражение в Дакии — это его, Домициана, вина.

И все-таки его расчет был правильным. Постоянным выжиданием тоже не достигнешь цели. Легионы были испытанные, хорошо вооруженные, риск мог бы привести к победе. Это низость со стороны судьбы, допустившей, чтобы война закончилась так неудачно.

Виноват ли тут случай? Или это злая каверза, под-

строенная именно ему? Вдруг лицо Домициана словно окаменело, стало почти глупым. Нет, неудача там, на Востоке, — не случайность, это акт мести, это месть бога, месть Ягве. Нельзя было заставлять верховного жреца этого бога ждать так долго. На Востоке он могуществен, бог Ягве, и он, назло римскому императору, подсказал Диурпану его подлую и хитрую стратегию.

Сейчас остается одно: отступление, поспешное отступление. Он, Домициан, не так глуп, чтобы продолжать борьбу с богом Ягве. И спор с этим богом, который он затеял без всякой охоты, нужно как можно скорее и решительнее раз и навсегда прекратить! Он примет верховного богослова. Он скажет ему: пусть берет себе свой дурацкий университет в Ямнии и радуется!

Когда на другое утро явился Криспин, император спросил его с коварной любезностью:

— Ну что ж, вызвал ты ко мне верховного богослова и его приближенных?

— Я же не знал... — растерянно проговорил Криспин, — я не хотел... ваше решение...

— Как это ты не знал? Не хотел? — резко прервал его император. — Хочу я, этого тебе недостаточно? Клянусь Геркулесом, ну и болвана же я взял себе в министры!

— Итак, я вызову верховного богослова на завтра, — осторожно предложил Криспин.

— На завтра?! — воскликнул император в бешенстве. — Разве я успею придумать до завтра, как мне загладить ту обиду, которую ты из-за своей глупости нанес верховному жрецу и его богу? Вызывай верховного богослова на пятый день, — грубо приказал он гофмаршалу. — И в Альбан!

— В Альбан? — удивленно переспросил Криспин.

Официальные приемы иностранных послов происходили обычно на Палатине; то, что император приглашает еврейских господ в Альбанское поместье, противоречило всем обычаям.

— В Альбан? — еще раз осведомился Криспин, думая, что ослышался.

— Да, в Альбан, — подтвердил император. — Куда же еще?

Сам он выехал в Альбанское поместье на другой же день. Как унижительно, что он все-таки вынужден принять верховного богослова и его евреев, и они, конечно, усмотрят в этом признание его поражения! Он должен найти способ сбить с них спесь и отравить им радость по случаю спасения университета. Но действовать надо осторожно: ведь выяснилось, что этот их непонятный пезримый бог Ягве адски мстителен.

Со своими министрами Домициан, к сожалению, на этот счет не может посоветоваться. Для немудрящего солдата Анния Басса, для пустозвона Криспина, для Норбана, привыкшего переть напролом, дело это слишком тонкое и сложное. Марулл и Регин скорее бы поняли, о чем речь, но они на стороне евреев. Нет, советовать он может только с самим собой.

Деревянным шагом спускается он в альбанские сады. Долго стоит перед клеткой пантеры, красавец зверь, сощурившись, смотрит на него желтыми, сонными, коварными глазами. Однако воображение императора останется бесплодным. Его презрение к людям, порой подсазывающее ему в подобных случаях отличные идеи, на этот раз бессильно. Он не находит ничего, чем мог бы ранить евреев, не подвергая при этом себя заслуженному мщению их бога.

И тогда Домициан вызвал в Альбан Мессалина. Вместе с ним прогуливался по обширному, искусно распланированному парку. Он притворялся, будто крайне озабочен, как бы слепец не оступился, но наблюдал не без удовольствия, как тот порой спотыкается и как старательно это скрывает. Карлик Силен, шествуя сзади, передразнивал исполненные достоинства движения Мессалина, которым тот силился придать естественность.

Домициан повел своего гостя в подземное помещение, нечто вроде подвала; обширный дворец, над строительством которого работали вот уже десять лет, все еще не был закончен, и император не знал, для чего предназначили архитекторы этот недостроенный заброшенный подвал. В него вело несколько неотесанных ступеней, земляной пол был неровный, в углу белела куча песка. В подвале царил сырой полумрак, казавшийся

отвратительным после парка, где воздух был полон особой прозрачной свежести, которая ощущается только поздней осенью.

Домициан прогнал карлика, подвел Мессалина к подобию ступеньки и предложил ему сесть. Сам он опустился на корточки на земляном полу. И вот оба сидели в этой затхлой, темной дыре, император и его слепой советник, и император просил помочь ему в трудной борьбе против Ягве. Да, перед этим слепцом, еще более мрачным человекопенавистником, чем он сам, Домициан может выложить все. И он без обиняков рассказывает о пожирающем его бешенстве. Он вынужден оставить евреям их университет, вынужден принять верховного богослова, от этого, к сожалению, нельзя уклониться. Но что можно сделать, чтобы испортить верховному богослову радость по поводу сохранения его университета и вместе с тем не навлечь на себя месть еврейского бога?

Мессалин сидит на ступеньке, как обычно, подставив ухо говорящему. В сумраке можно уловить лишь смутные очертания предметов, и его статная фигура кажется еще крупнее. Император наконец замолчал, но Мессалин по-прежнему сидит неподвижно, не размыкая губ. Домициан встает. Неслышными шагами, чтобы даже легким порохом не спугнуть раздумье своего советника, принимается он ходить по неровному земляному полу подвала. Здесь бегают всякие твари — мокрицы, саламандры.

Спустя некоторое время Мессалин начинает излагать свои мысли вслух.

— Нам не так легко, — начинает он, и голос этого тяжелого, мрачного человека кажется неожиданно звонким, дружелюбным и вкрадчивым, — понять суеверные представления евреев и их раздоры между собой. Насколько мне известно, наиболее яростных противников университета в Ямнии нужно искать не среди нас, римлян, а среди самих евреев. Это последователи одной еврейской секты, люди, которые видят своего бога в некоем распятом рабе, Иисусе; их называют минеями, или христианами, об этих людях вы, наверное, слышали, мой владыка и бог. Различие между суевением так

называемых христиан и суеверием остальных евреев, насколько я мог понять из их путаных рассуждений, состоит в следующем: одни — христиане — считают, что их спаситель, — они называют его на своем языке мес-сийей, — уже пришел в образе того самого распятого раба, почитаемого ими за бога. Другие утверждают, что обещанный их богом спаситель еще только должен прийти. Нас эти споры мало интересуют, но, без сомнения, они и являются причиной враждебного отношения христиан к университету в Ямнии. Из всего этого можно заключить, что надежда на грядущее пришествие мессии является основой вероучения богословов в Ямнии. Утверждают, будто Ямния обладает и политическим влиянием. Если это верно, то и ее политика окажется связанной с учением о спасителе, который еще только должен прийти.

Вскоре после того, как слепец заговорил, Домициан остановился, он слушал очень внимательно, потом снова сел.

— Если я тебя правильно понял, мой Мессалин, — сказал он задумчиво, — то именно этот спаситель, этот мессия и дерзнет оспаривать у меня мою провинцию Иудею?

— Именно это я и имел в виду, мой владыка и бог Домициан, — раздался в ответ звонкий и вежливый голос слепца. — И никакой бог не сможет тебя упрекнуть, если ты будешь сопротивляться и защищать свою провинцию от этого мессии.

— Интересно, очень интересно, — согласился император. — И если бы можно было нанести удар такому мессии, — размышлял он вслух, — тем самым был бы нанесен удар и верховному богослову, и притом — безнаказанно. По-моему, ты попал на удачную мысль, мой догадливый Мессалин. — И так как Мессалину больше нечего было прибавить, Домициан продолжал: — Спаситель, мессия... Может быть, тут нам помог бы кое-что узнать еврей Иосиф, он когда-то провозгласил моего отца мессией, хотя я не знаю, не было ли все это подстроено заранее. Конечно, будет нелегко выжать что-нибудь из этого еврея насчет их тайного учения, — они ведь упрямы. И все-таки я чувю в твоем совете кое-что

очень ценное, мой Мессалин! Будешь и дальше помогать мне на этом пути?

— Если в этом мессии должно быть и незримое начало, — отозвался Мессалин, — такое же, как в самом боге Ягве, тогда, боюсь, я не смогу тебе помочь, император Домициан. Тогда мы идем по неверному пути, ибо это был бы уже не земной претендент и Ягве имел бы право защищать его, а с тобой бороться. Если же мессия окажется существом из плоти и крови, вполне уловимым, тогда у нас есть права над ним, тогда мы его отыщем, обезвредим и университет в Ямнии, и того, кто стоит за ним.

— Тише, тише, — испуганно остановил его Домициан, — не так громко, Мессалин! Думай, но не производи вслух, — именно оттого, что ты, может быть, прав! Во всяком случае, я тебе благодарен, — продолжал он обрадованно. — И, пожалуйста, подумай, сможем ли мы как-нибудь выследить этого мессию. Пусть тебя поскорее осенит удачная мысль, мой Мессалин! Не забудь, что эта история не дает мне покоя, я спать не могу, пока с ней не будет покончено!

Мессалин вернулся в Рим, но уже на третий день появился снова.

— Что-нибудь выяснил? — спросил Домициан.

— Я бы не осмелился предстать перед лицом владыки и бога Домициана, — отвечал Мессалин, — с пустой головой и пустыми речами. Я все разузнал. В том мессии, который должен восстановить Иерусалимский храм и еврейское государство и отнять у римского императора Иудею, нет ничего призрачного, он — из плоти и крови и полицией вполне можно его выследить. Кроме того, у него есть определенная примета. По воззрениям евреев, мессия, имеющий право притязать на еврейский престол, должен происходить из рода некоего Давида, древнего иудейского царя. Только такой человек может, согласно мнению богословов в Ямнии, да и всех евреев, стать их царем и мессией. Распятый еврейский раб, которому минеи поклоняются как богу, тоже, как утверждают, потомок этого древнего иудейского царя. И мне сообщили, что существуют еще потомки. Правда, точного числа назвать не могли. Их очень немного, и они

принадлежат к самым разным сословиям, говорят, среди них может быть и рыбак, и плотник, и священник, и знатный господин. Во всяком случае, всех их нужно выследить и задержать, тем самым мы подорвем и теперешнее политическое влияние университета в Ямнии.

— Все это очень ценно, мой Мессалин,— одобрил его Домициан,— это важные сведения. Значит, ты считаешь, что достаточно было бы заполучить в руки потомков того еврейского царя, зажать им рот, и с университетом в Ямнии будет покончено, а может быть,— добавил он боязливо и жадно,— и с Невидимым, стоящим за ним?

— Я считал бы очень своевременным,— отозвался слепец своим вкрадчивым ясным голосом,— обезвредить этих людей. Тогда политическая напряженность в провинции Иудее наверняка ослабела бы.

— И вы полагаете, Мессалин мой, что было бы нетрудно нащупать тех людей, которые, согласно упомянутому вами неписаному закону, могут притязать на еврейский престол?

— Ну, не так уж легко,— задумчиво ответил Мессалин.— Ведь это тайная часть учения, она нигде не записана. И списков Давидовых потомков не существует,— усмехнулся он.— К тому же евреи сами не очень-то интересуются этими потомками, и сами они не то что скрывают свое предназначение, но не выставляют его напоказ. Ведь в них, в этих людях, есть и немало смешного. Да, все они, так сказать, призваны, но избранник в конце-то концов только один, да и то он лишь отец или далекий предок очень позднего потомка.

— Благодарю вас, мой Мессалин,— сказал император.— Я поручу Норбану и губернатору Помпею Лонгину заняться розысками. Но так как, по вашим словам, дело это нелегкое, было бы хорошо, если бы вы, Мессалин, сами приняли в нем участие и постарались выяснить, кто же входит в эту категорию мессий.

— Я всегда в распоряжении моего императора,— ответил слепец.

Члены еврейской депутации отправились в Альбанское поместье в двух экипажах; с ними был также Иосиф, которого император пригласил в Альбан вместе с верховным богословом и его свитой.

В первом экипаже сидели Гамалиил и Иосиф, а также богословы бен Измаил и Хелкия, представители более умеренного и терпимого направления в Ямнии. На Гамалииле была римская праздничная одежда. Хотя обычно он, невзирая на бороду, очень походил на римлянина, сегодня его римская внешность выглядела маскарадной. Он уже не казался тем многоопытным политическим деятелем, каким его знали Рим и Иудея, а скорее одним из тех погруженных в себя евреев-фанатиков, которые не видят окружающей действительности и заняты только Ягве, богом, живущим в их сердце. И верховный богослов во время этой поездки тоже искал бога внутри себя, заклинал его, был весь полон одной горячей молитвой: «Господи! Пошли мне в разговоре с этим римлянином нужные слова! Господи, дай мне успешно защитить дело твоего народа! Господи, не ради себя молю и не ради нас, а ради будущих поколений — даруй силу мне и моим словам!»

Но если ехавшие в первом экипаже хранили молчание, тем оживленнее шла беседа во втором. Здесь ораторствовали представители самого крайнего направления в учении Ямнии — богословы Хелбо и Симон, по прозвищу Ткач. В гневных словах давали они выход угрызениям, терзавшим их из-за того, что, несмотря на их протесты, поездка к императору состоялась именно сегодня, в канун субботы. Очень легко могло случиться, что обратный путь затянется до глубокой ночи, то есть уже начнется суббота, а путешествовать в субботу запрещено законом. Стало быть, с самого начала успех предприятия поставлен где под угрозу, так как есть опасность, что закон Моисея будет нарушен. Следовало сообщить императору, что депутация может явиться к нему лишь через два дня, таково их мнение. Но Гамалиил действовал самовластно, он злоупотребил своей властью и принудил их сесть в повозку, да еще приказал заменить привычную еврейскую одежду римской, парадной, предписанной в таких случаях. И вот

они вели горячий теологический спор о том, который из трехсот шестидесяти пяти запретов был этой поездкой нарушен и каким из двухсот сорока восьми повелений они были вынуждены пренебречь. Кроме того, верховный богослов Гамалиил взял с собой к императору этого еретика Иосифа бен Маттафия, предавшего Израиль Эдому. Поэтому им, богословам строгого направления, при данных обстоятельствах особенно необходимо сохранять твердость и не допустить, чтобы во время аудиенции Гамалиил поддался своей опасной склонности к компромиссам и опопшил принципы Ямнии.

Верховный богослов, удивленный уже тем, что его пригласили не на Палатин, а в Альбан, был еще больше изумлен приемом, который им оказали. Ему немало рассказывали о сложном и пышном церемониале императорских аудиенций. Однако здесь, в Альбане, его и его свиту не проводили ни в прихожую, ни в приемную, их повели через обширный парк, по изогнутым мостам и мостикам, мимо декоративных прудов, изящно подстриженных деревьев, цветочных клумб.

Стояла поздняя осень, погода была неустойчивая, по густо-синему небу плыли тяжелые белые облака. От долгого сидения в повозках у господ богословов затекли ноги. Одна дорожка сменялась другой, а они все брели, тяжело ступая, поднимались на террасы и спускались с них, взбирались по длинным извилистым лестницам.

Наконец они увидели императора. Его окружали несколько приближенных. Иосиф узнал министра полиции Норбана, военного министра Анния Басса и друга императора сенатора Мессалина. На Домициане был легкий серый плащ, от свежего воздуха лицо стало краснее обычного, он, видимо, был в хорошем настроении.

— А-а... вот и ученые из Ямнии,— оживленно сказал он своим высоким голосом.— Я не хотел, господин богослов, дольше откладывать наше знакомство,— обратился он к Гамалиилу.— Я не хотел ждать еще два часа, пока будет закончен осмотр моего нового строительства. Правда, вы должны мне разрешить во время нашей беседы заниматься моими собственными делами. Вот мои архитекторы Гровий и Ларина,— он жестом представил их,— имена эти вам, вероятно, известны.

А теперь, пока мы будем болтать, я продолжу осмотр. Сначала взглянем на малый летний театр, который я строю для императрицы.

Пришлось опять пуститься в путь. Иудейские господа, ошеломленные таким странным приемом, неловко заковыляли дальше. Они совершенно не вписывались в такую обстановку и чувствовали это. А император, ступая тяжелым деревянным шагом, беседовал через плечо с верховным богословом:

— Сейчас много толкуют о вашем университете в Ямнии. Жалуются, что это очаг мятежа. Я был бы вам признателен, господин богослов, если бы вы меня на этот счет просветили.

Верховный богослов был человек гибкий, он умел найтись в любом положении. И вот, стараясь держаться на полшага позади императора, он ответил:

— Не могу понять, как тихая научная работа в Ямнии могла вызвать такие толки. Единственная наша задача — разъяснять древние наставления нашего бога, приводить их в согласие с условиями новой жизни общины, чисто религиозной, стоящей вне политики, и устанавливать правила для такой жизни, где люди отдавали бы кесарю — кесарево, а нашему богу Ягве — божье. Наша руководящая идея такова: законы, по которым мы управляем, — это законы религии. Это основное положение раз и навсегда устраняет все споры о юридической компетенции и любой конфликт с совестью.

Император и его спутники дошли до строительной площадки. Фундамент домашнего театра уже был заложен; император остановился и принялся рассматривать его; неизвестно, слышал ли он слова верховного богослова и понял ли их. Пока он, во всяком случае, на них не ответил и обратился к своим архитекторам:

— Вид на озеро, который открывается позади сцены, еще красивее, чем я ожидал, — заметил он, — и все-таки, может быть, следовало, как я предлагал вначале, сделать сцену чуть пошире, хотя бы метра на два. — И вдруг сразу, без перехода, обернулся к верховному богослову: — А не остаются ли все эти красивые речи чистой теорией? Разве ваше учение по самой сути своей

не враждебно государству? Разве ваш бог вместе с тем и не ваш царь? А если так, его законы сразу же упраздняют законы римского сената и народа. Разве вожаки нашего презренного мятежа не ссылались на вас и ваше учение?

— Если бы мы сделали сцену шире, — возразил архитектор Ларина, — то здание потеряло бы вид ларца для драгоценностей, какой владыка и бог Домициан повелел придать этому театру императрицы.

А верховный богослов сказал:

— Мы приговорили к отлучению тех, кто участвовал в мятеже.

Император же заявил:

— Я хочу взглянуть на здание сбоку. Мне все еще кажется, что вы ошибаетесь, Ларина.

Пока переходили на ту сторону площадки, Анний Басс со своей обычной шумной игривостью поддразнивал гостей:

— Да, уважаемые господа, вы отлучили мятежников, верно, но лишь после того, как мятеж был подавлен, а мятежники убиты.

Император продолжал разглядывать стройку.

— Вы правы, мой Ларина, — решил он, — а я ошибался. Театр потерял бы свой смысл, будь сцена пошире.

Доктор Хелкия вежливо возразил Аннию Бассу:

— Пришлось приговорить мятежников к отлучению уже после того, как они были убиты, иначе нельзя было поступить. Ведь оглашение и все прочие формальности, как их ни ускорять, отнимают по меньшей мере шесть педель.

— Так, — сказал император, — а теперь покажите мне беседку.

Все снова не торопясь двинулись дальше и вскоре очутились перед небольшим, со всех сторон открытым павильоном.

— Вы представляете себе, господин богослов, — любезно обратился император к Гамалиилу, указывая на стройно вздымавшиеся колонны, — как это будет красиво, когда мы все закончим? Разве павильон не кажется кружевным — такой он легкий и тонкий? Вы представляете себе, как он будет выделяться на жарком

синем летнем небе? Клянусь Геркулесом, мой Гровий, вы это отлично сделали. Да, так как же обстоит дело с вашим мессией? — вдруг, словно вспомнив, решительно обратился он к Гамалиилу. — Мне рассказывали, будто вы возвещаете какое-то двусмысленное учение насчет вашего мессии, который должен прийти, он будто бы станет вашим царем и восстановит ваше государство. Если слова еще не потеряли своего смысла, то понять это можно только так: назначение вашего мессии — отнять у меня мою провинцию Иудею.

Когда император неожиданно заговорил о мессии, богословы вздрогнули. Домициан говорил по-гречески из вежливости к восточным гостям, и все же некоторые из них с трудом понимали его. Однако последние фразы и их коварный смысл дошли до всех. И вот богословы стояли перед ним, бородатые, беспомощные, растерянные, и вид у них был довольно несчастный в этой непривычной обстановке. А рядом с их нескладными фигурами легкая беседка особенно изящно возносилась к небу.

Однако верховный богослов не терял самообладания. Приход мессии, заявил он, — пророчество, имеющее всеобщее значение и с политикой никак не связанное. Мессия есть раскрытие божества по ту сторону всяких реальных представлений, он относится к миру чистой духовности. Императору будет всего понятнее, если он его представит себе наподобие Платоновых идей. Есть, правда, люди, которые связывают с мессией вполне конкретные представления. Эти люди называют себя минеями, или христианами, последнее наименование идет от греческого перевода слова «мессия». Из этого пророчества они делают практические выводы и чтят воплощенного в некоей личности мессию.

— Мы же, — заявил он твердо и с достоинством, — мы, университет и коллегия в Ямнии, извергли из нашей среды этих людей, ибо они еретики. С верующими в такого мессию у нас нет ничего общего.

— А жаль, — заметил Домициан, — что мне редко придется пользоваться этой беседкой. Именно летом у меня отнимает очень много времени дурацкое представление и приходится чуть не каждый день давать

парадные обеды. Но беседа в своем роде чудо.— Затем обратился к верховному богослову и очень мягко сказал: — Ну, тут вы немножко приврали, господин богослов. Я осведомлен лучше, чем вы думаете. Ведь верующие в мессию, о которых вы упоминали, то есть ваши христиане, утверждают, что мессия уже умер; их распятый бог едва ли сможет отнять у меня провинцию Иудею, и в этом отношении христиане совершенно неопасны. А ваш мессия, поскольку вы его только ожидаете, остается на подозрении.

Богословы явно растерялись. Но ведь пророчество о мессии, попытался возразить Гамалиил, относится к очень далекому будущему. В том царстве, которое он должен основать, все оружие перекуют на орудия мирного труда, и лев, волк и медведь будут пастись вместе с ягненком.

— Видите, ваше величество,— закончил он,— здесь речь идет о религиозной утопии, не имеющей ничего общего с реальной политикой.

Доктор Хелкия поддержал Гамалиила.

— Твердо установлено только одно,— сказал он,— мессия придет. Но когда он явится и какова будет его деятельность — каждому предоставляется воображать на свой лад.

Когда еще говорил Гамалиил, кое-кто из богословов начал перешептываться. Они, видимо, считали греховным и недопустимым, чтобы из уст призванного исходило столь двусмысленное толкование важнейшей части их вероучения, почти отрицание ее. Едва доктор Хелкия кончил, как доктор Хелбо стал поправлять и его, и, главным образом, верховного богослова. Своим низким, прерывистым голосом, беспомощно, на плохом греческом языке, он заявил:

— Может быть, в будущем, может быть, скоро, может, так, а может, иначе — но настанет день. Настанет день,— повторил он резко, угрожающе и устремил старые, пылающие гневом глаза сначала на верховного богослова, потом снова на императора.

Наступило неловкое молчание.

— Занятно,— произнес Домициан,— очень занятно.— Он уселся на ступеньках беседки, неуклюже за-

кинул ногу за ногу, стал покачивать носком: было приятно ходить здесь не в парадной обуви на высокой подошве, а в удобной, похожей на сандалии. — На этот счет мне хотелось бы узнать побольше, — продолжал он. И, обернувшись к верховному богослову и погрозив ему пальцем, все еще очень мягко сказал: — Вот видите, а вы утверждаете, будто ваш мессия — это утопия, Платонова идея! — Затем, снова обратившись к резкому старику Хелбо, продолжал: — Вы говорите — настанет день. Какой же это день? Объясните, пожалуйста. «Будет некогда день, и погибнет священная Троя», — процитировал он Гомера. — Что вы понимаете под Троей, господин богослов? Рим? — спросил он наконец в упор.

Богословы стояли теперь уже не кучкой, а врозь. Римляне смотрели на них, ждали ответа. Император же, не воспользовавшись их смятением, прервал тягостное молчание и с необычной для него игривостью заговорил снова:

— Вероятно, многие из вас представляют себе этого мессию не чисто духовной сущностью, а существом из плоти и крови. Вот, например, Иосиф Флавий в свое время объявил мессией моего отца, бога Веспасиана. Но вы, Иосиф Флавий, — он посмотрел на Иосифа в упор, мягко, насмешливо и угрожающе, — едва ли могли приписать моему отцу намерение настолько укротить волков и львов, чтобы они паслись вместе с ягнятами. Ну, да ладно, — обратился он опять к богословам, — римский всадник Иосиф прежде всего солдат, писатель, государственный деятель и только потом богослов и пророк; оставим его толкование. Вы же, господа ученые, вы — призванные истолкователи еврейской веры, вы — доверенные Ягве. И я прошу вас дать мне ясный и недвусмысленный ответ: кто или что такое ваш мессия? Я прошу у вас объяснений, таких же ясных и четких, каких требую от моих чиновников в их докладах.

— В Писании сказано, — начал доктор Хелбо, — а именно, у нашего пророка Исаи: «От Сиона выйдет закон и слово господне из Иерусалима. И будет он судить народы и обличит многие племена».

Гневно и угрожающе вырвались эти слова из его широкого рта. Однако его торопливо прервал доктор Хелкия:

— Да нет же! Нет же, мой брат и господин,— это лишь половина правды, ее истинный смысл открывается только из дальнейших слов, ибо у того же Исаяи сказано: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых. Но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли».

— Не извращайте Писания,— упорствовал доктор Хелбо,— не подчеркивайте второстепенного! Разве не сказано у пророка Михея: «И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в дальних странах»?

Но тут заупрявился и доктор Хелкия:

— Это вы искажаете Писание, и притом уже вторично, ибо опускаете то, что Михей говорит дальше: «И каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею без страха».

Теперь, однако, на помощь доктору Хелбо ринулся его единомышленник, доктор Симон, по прозвищу Ткач.

— А как же понять слова о Гоге и Магоге, которых мессия сначала должен сразить? — вызывающе спросил он.

И все они пустились в спор. Они забыли, что находятся в Альбане, в присутствии императора,— они были в Ямнии, в университетском зале, с греческого они перешли на арамейский, их голоса сливались, гневные, распаленные. Император и его свита слушали молча, не показывая вида, как их это забавляет.

— Должен признаться, ума я не набрался,— заявил наконец император.

Мессалин же сказал своим вкрадчивым голосом:

— Осмелюсь попытаться разъяснить этим господам, чего, собственно, хочет от них наш владыка и бог. Его величество желает, господа богословы, узнать от вас, как от самых сведущих лиц, следующее: существуют ли сейчас люди из плоти и крови, люди, носящие определенное имя, рожденные в таком-то году и проживающие в таком-то месте, которые притязали бы на то, что-

бы их признали мессией? Мне как-то говорили, что существует одно основное условие для того, чтобы вы признали эти притязания: ожидаемый вами мессия должен быть отпрыском от корня вашего царя Давида. Скажите, меня верно осведомили или нет?

— Да, — живо подхватил император, — это занятно. Значит, круг лиц, из среды которых должен появиться мессия, строго ограничен? Следует ли их искать только среди потомков вашего царя Давида? Прошу ответить мне точно, — обратился он к верховному богослову.

Гамалиил ответил:

— Это и так и не так. Наше Священное писание нередко пользуется поэтическими оборотами. Если тот или другой из наших пророков заявляет, что к нам придет мессия из рода Давидова, то они преднамеренно выражаются туманно и их следует понимать иносказательно. Весь мир представлений, окружающих мессию, поэтичен. Этот мир, — закончил он, улыбаясь, по-светски любезно, — имеет очень мало общего с той реальностью, которую можно было бы уловить с помощью документов и списков.

Доктор бен Исмаил обратил благородное, цвета слоновой кости, морщинистое лицо к императору, его старые, усталые, запавшие глаза устремились прямо на Домициана, и он заявил:

— Да, речь идет о реальности более высокого порядка. Если кто говорит лишь об одном каком-нибудь качестве мессии, это в лучшем случае часть истины, а тем самым нечто ложное. Ибо учение о мессии есть истина многообразная, ее нельзя постигнуть одним рассудком, ее можно только почувствовать, узреть. И только пророку она зрима. Достоверно одно: мессия, который должен прийти, будет связью между богом и миром. Он будет послан не только к народу Израиля, но ко всему миру, ко всем его народам.

Тут доктор Хелбо, неистовый ревнитель, грубо заявил:

— Нет, это неверно, и вы, доктор бен Исмаил, знаете, что это не так. Откровение о мессии касалось и частных, — обратился он к Мессалину, — указаны столь ясные признаки, что их замалчивать нельзя, и даже вам,

римлянам, они понятны. Мессия будет из дома и рода Давидова. Это истина, и вас осведомили правильно, господин мой.

— Благодарю вас, — отозвался Мессалин.

— Однако то, что вы, Иосиф Флавий, возвестили моему отцу, с этим не совпадает, — любезно заметил император. — Ибо, насколько я осведомлен о нашей родословной, она восходит к Гераклу, а не к этому Давиду.

Среди римлян пробежал смешок, совсем безобидный, и верховный богослов вздохнул с облегчением. Несмотря на унижение, облегченно вздохнул и сам Иосиф, радуясь, что опасность, угрожавшая Ямнии и учению, как будто миновала.

— Слыша эти разноречивые мнения уважаемых господ богословов, — сказал он в свою защиту, — владыка и бог Домициан может убедиться, что свидетельства о мессии темны, и главную роль здесь играет чувство. То чувство, что я испытывал, вознося хвалу владыке и богу Веспасиану, было искренним, события это подтвердили, и я горжусь своим провозвестием.

У доктора Хелбо вырвалось глухое гневное ворчание. Разве не богохульство уже одно то, что этот Иосиф бен Маттафий, все же еврей, величает императора язычников владыкой и богом? А теперь он вдвойне кощунствует, называя умершего императора Веспасиана — врага Ягве — мессией в присутствии богословов из Ямнии. Доктор Хелбо искал слова уничтожающие и в то же время способные вместить его усердие в вере. Однако ни Аннию Бассу, ни Норбану, ни Мессалину не понравилось, что разговор коснулся столь давних, забытых событий. Им было важно принудить богословов к таким уточнениям, которые можно было бы использовать для практических мер.

— Во всяком случае, следует считать установленным одно, — подвел итог Анний Басс, — любой среди евреев считает, что все происходящие из рода Давидова входят в число людей, из среды которых должен явиться истинный мессия.

— Так оно и есть, — согласился угрюмый доктор Хелбо.

— Что ж, — заявил явно довольный министр полиции Норбан, — теперь у нас есть, по крайней мере, нечто определенное, осязаемое, уловимое.

— А такие потомки Давида существуют? — сейчас же подхватил своим вкрадчивым голосом слепой Мессалин. — Известны они? Много их? И где их найти?

Кроме Иосифа и Гамалиила, никто из присутствующих евреев, должно быть, не знал о тайной деятельности сенатора Мессалина. И все-таки богословы вздрогнули. Они почувствовали опасную подоплеку его кроткого вопроса, поняли, что сейчас наступила самая опасная минута этого чреватого роковыми последствиями разговора, опаснейшая минута этой сомнительной поездки в Рим. Что отвечать? Выдать ли тайну имен этих потомков Давида и их головы злонамеренным язычникам и их императору? Нельзя сказать, чтобы их особенно почитали, тех, на которых ныне перст народа указывает, да и то без полной уверенности, как на потомков Давида; но уже много поколений прошло и многие были призваны. И все-таки потомки Давида были священны, ибо среди них находился избранник или праотец избранника. И надежда на этого избранника была самой светлой стороной учения. Да, великий свет погас бы навеки, если бы богословы легкомысленно пожертвовали потомками Давидовыми, а тем самым возможностью появления мессии, надежда на появление мессии была как бы овевана тайною, окутана влекущей изначальной святостью; если вместе с родом Давидовым эта святость, эта таинственность исчезнет из жизни, то учение утратит свои глубочайшие чары.

Так что же делать? Уклониться от ответа на коварный кроткий вопрос слепца, скрыть имена, но тогда император наверняка обрушит свой гнев на университет в Ямнии. Значит, выдать потомков Давида?

Ветер усилился. Он проносился порывами и раздувал парадные одежды. Блестели темно-зеленые листья самшита и тисовых деревьев, серебрились оливы, снизу посверкивало в лучах солнца, слегка волнуясь, озеро. Но никто на все это не обращал внимания. Император сидел на ступеньках беседки, остальные стояли вокруг. Все смотрели на верховного богослова, ответ был теперь

за ним, а что он ответит? Даже архитекторы Гровий и Ларина забыли свою досаду на то, что показ их достижений испорчен присутствием этого варварского посольства. Что же ответит главный жрец евреев?

Однако он не успел ответить, как раздался надтреснутый и грубый голос доктора Хелбо. Разве этот Иосиф бен Маттафий не совершил только что новый грех кощунства и поэтому не обрек сам себя на гибель?

— Происходящие из рода Давидова призваны, — сказал доктор Хелбо, — но лишь немногие избраны. Вот вам, например, Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды, ныне же отлученный еретик. Разве может такой человек быть избранником? И все-таки он из рода Давидова, правда, только со стороны бабки. Во всяком случае, его отец при мне хвалился этим.

— Интересно, — произнес император, — интересно.

Все взгляды устремились на Иосифа. Вокруг него образовалась пустота; в точности так же было и тогда, когда его приговорили к отлучению и каждый держался от него не ближе чем на семь шагов. А он стоял, охваченный странным безучастием, словно речь вовсе не о нем, парадная одежда с узкой полосой пурпура, прижатая ветром, облегала худое тело, отсутствующим взором смотрел он на свою руку с золотым перстнем — знаком принадлежности к знати второго разряда. Его душа была охвачена паническим страхом. «Из рода Давидова, — думал он про себя. — Так оно, вероятно, и есть. Царского рода и по отцу и по матери, из рода Давидова и из рода Хасмонеев. И это обрушилось на меня сейчас в наказание за то, что я тогда провозгласил римлянина мессией».

Тем временем верховный богослов все же нашелся, что ответить. С присущей ему высокомерной светскостью он заявил:

— Когда народ указывает на того или другого человека как на потомка Давида, это всего лишь суеверие толпы и не имеет под собой никакой почвы. Очень часто суеверие выдвигает весьма ничтожных людей, какого-нибудь рыбака, плотника. Разве отпрыск Давида мог бы пасть так низко?

Но его поправил человек, от которого никто этого не мог ожидать.

— Иногда от ничтожных людей исходит великое сияние,— раздался кроткий голос старика богослова бен Исмаила.

— Ну-ка, дай посмотреть на тебя, Иосиф мой,— улыбнулся Домициан,— исходит от тебя сияние или нет! — Он встал, подошел к еврею вплотную.— Во всяком случае, эта история с вашим мессией остается загадочной и подозрительной,— решил он, и его слова прозвучали как завершающий вывод.

Тут верховный богослов вспомнил все свои предположения о религиозности и богобоязненности императора и решил, что пора перейти в наступление.

— Я прошу ваше величество,— начал он,— не считать этот вопрос подозрительным. Учение о мессии таинственно, но разве боги многих народов не окутаны таинственностью? — Он стоял теперь лицом к лицу с императором, его голос звучал ясно, мужественно, громко, грозно.— Не годится человеку,— продолжал он,— проникать слишком глубоко в тайны божества. Может быть, именно за это наш бог так тяжело наказал нас.

Лицо императора чуть передернулось, почти неприметно, но Гамалиил заметил это. На большее он и не рассчитывал; если бы он продолжал угрожать императору, он только бы ослабил впечатление. И он ограничился смутным намеком, он даже сделал вид, будто вовсе и не предостерегал императора, а только оправдывался, и продолжал уже не так громко:

— Наш бог Ягве — не легкий, веселый бог, трудно служить ему, он очень обидчив.

Угроза верховного богослова вызвала в душе императора смятение именно своей неопределенностью и многозначительностью, металлические ноты в голосе Гамалиила мучительно напомнили голос брата Тита, а последний намек на обидчивость Ягве чрезвычайно встревожил. Чего ему нужно, думал он, этому еврейскому попу? Я и не собираюсь закрывать его университет. Их Ягве было бы только на руку, если бы я что-нибудь против него предпринял и дал бы ему повод причинить мне вред. Нет, я буду осторожен.

— Я слышал,— начал он, словно с разбега,— что вы опасались, как бы не закрыли ваш университет. Откуда вам пришла на ум такая чепуха? Как вы можете верить столь нелепой болтовне? — Домициан резко выпрямился, величественный и блистательный стоял он под резкими порывами ветра.— Рим защищает богов тех народов, которые отдаются под его защиту,— торжественно заявил он. И продолжал дружелюбно: — Не бойтесь, я дам вам письменное распоряжение моему губернатору Лонгину, оно успокоит все ваши тревоги.— Легким, плавным движением он положил руку на плечо верховного богослова.— Нельзя, господин богослов, сразу же падать духом и отчаиваться,— сказал он с любезной проницательностью,— в то время как вами правит Домициан, которого сенат и народ римский называют своим владыкой и богом. И, пожалуй, надо больше доверять своим собственным богам.— Затем, обратившись к Иосифу с небрежным и величественным жестом, он добавил: — Вы довольны мной, Иосиф Флавий, историограф моего дома?

На следующей неделе, невзирая на опасное для мореплавателей время года, верховный богослов и его свита отплыли в Иудею. Иосиф и Клавдий Регин провожали их на корабль.

Гамалиил и тут в очень сердечных и почтительных словах выразил Иосифу свою благодарность за то, что тот устроил ему аудиенцию у императора.

— Вы опять оказали великую услугу делу Израиля,— заявил он.— Боюсь только, как бы в конце концов за наши привилегии расплачиваться не пришлось вам. Но так как до сих пор Домициан не сделал никаких выводов из необдуманых слов нашего доктора Хелбо, то будем надеяться, что он не сделает их и впредь.

Иосиф не ответил. Клавдий Регин озабоченно покачал головой и заметил:

— Домициан — медлительный бог.

Затем богословы взойшли на корабль, радуясь, что у них в руках столь милостивое письмо императора. Все

сердца были переполнены благодарностью к Иосифу. Только богословы Хелбо и Симон Ткач продолжали гневаться на него.

Вскоре сенатор Мессалин пригласил Иосифа к себе. Император оказал сенатору честь откусать у него и желал, чтобы Иосиф прочитал ему из рукописи своего исторического труда главу о еврейском царе Давиде.

Тогда Иосиф понял, что прав был Клавдий Регин, и медлительный бог Домициан не отказался от мысли принять меры против него, а только отсрочил их. И в сердце своем испугался. Вместе с тем он решил, что если господь действительно избрал его и он должен пожертвовать собой за Ямнию, то нужно не роптать, а, напротив,— пойти на эту жертву со смиренном и гордостью.

Домициан лениво развалился на диване, а Мессалин открыл Иосифу, что императора интересуют некоторые стороны иудаизма, но так как богословы из Ямнии уже уехали, то он хотел бы получить разъяснения от Иосифа, лучшего знатока в этой области.

— Да,— лениво и благосклонно кивнул император,— с вашей стороны было бы очень любезно, мой Иосиф, если бы вы просветили нас.

Иосиф, обращаясь к одному Мессалину, спросил:

— Прикажете считать этот разговор допросом?

— Что за выражения, мой Иосиф,— улыбаясь, прернул его со своей кушетки император.

А слепец еще раз любезно подчеркнул:

— Это только разговор на исторические темы. Владыку и бога Домициана, например, интересует, что вы, человек с Востока, думаете о судьбе Цезариона, сына Юлия Цезаря и Клеопатры.

— Да,— поспешил согласиться император,— интересуется. Цезарь его, как видно, любил, этого своего сына,— пояснил он,— если предназначил для роли властителя и посредника между Востоком и Западом. И, должно быть, Цезарион, когда вырос, оказался очень одаренным молодым человеком.

— О чем же вы хотите знать мое мнение? — смущенно спросил Иосиф.

Мессалин наклонился вперед, устремил на лицо Иосифа слепые глаза, словно видел ими, и спросил с расстановкой, очень четко:

— Считаете ли вы, что Август был прав, устранив Цезариона?

Иосиф наконец понял, чего от него добиваются. Перед тем как уничтожить потомков Давида, Домициан решил заставить одну из жертв еще и подтвердить, что он прав. И он осторожно ответил:

— Юлий Цезарь, наверное, представил бы суду истории веские и убедительные доводы для того, чтобы поступок Августа был осужден. И Август, со своей стороны, наверное, мог бы привести не менее основательные доводы, оправдывающие его поступок.

Домициан коротко рассмеялся. На лице слепца тоже мелькнула улыбка, и он сказал:

— Хороший ответ. Но сейчас нас интересует не мнение Цезаря и не мнение Августа, а только ваше собственное, Иосиф Флавий. — И медленно повторил, подчеркивая каждое слово: — Как вы считаете — прав был Август, устранив претендента на престол — Цезариона?

И он с нетерпением наклонил ухо к Иосифу.

Иосиф кусал себе губы. Бесстыдно и открыто говорил этот человек о самой сути их замысла — о том, чтобы устранить нежелательных претендентов, устранить его, Иосифа. Иосиф был человек находчивый, он мог бы и дальше уклоняться от ответов, избегая дешевых ловушек; но его гордость восставала против этого.

— Август поступил правильно, — заявил он смело и прямо, — устранив Цезариона. Дальнейшие его успехи подтвердили это.

— Благодарю вас, — ответил Мессалин, как он отвечал в суде, когда противник вынужден был признать, что слепец прав. — А теперь расскажите нам о своем царе Давиде, — весело продолжал он, — чьим потомкам предназначено стать некогда властителями.

— Да, — поддержал его Домициан. — Почитайте нам, что вы там написали об этом вашем предке! Для этого наш Мессалин и пригласил вас сюда!

В сердце своем Иосиф больше любил загадочного, буйного Саула, чем Давида, в судьбе которого столь многое так легко и счастливо складывалось, и он знал, что главы о Давиде — не самые удачные в его труде. Но сегодня, когда он читал, тема захватила его, и он читал хорошо. Он испытывал удовлетворение, повествуя римскому императору о великом иудейском царе, который был мощным владыкой и победителем народов. Иосиф читал хорошо, а Домициан хорошо слушал. Он понимал кое-что в истории, знал толк в литературе, его интересовал Иосиф, его интересовал Давид, он увлекся, и все это отражалось на его лице.

Один раз он прервал Иосифа:

— Наверное, он царствовал довольно давно, этот Давид? — спросил Домициан.

— Примерно в эпоху Троянской войны, — пояснил Иосиф и с гордостью добавил: — Наша история уходит в глубокую древность.

— А наша, римская, начинается только с бегства Энея из горящей Трои, — миролюбиво согласился император. — Значит, уже тогда у вас на престоле сидел этот великий царь. Но читайте дальше, мой Иосиф!

Иосиф продолжал читать, и когда он так читал римскому императору, ему начало казаться, что он и сам немножко похож на того Давида, который играл на арфе царю Саулу с разбитой душой. Читал он долго, но когда хотел остановиться, император потребовал, чтобы он продолжал.

Наконец Иосиф смолк, и Домициан сделал несколько очень здравых замечаний:

— Он, видимо, владел техникой государственного управления, ваш Давид, — хоть я и никак не одобряю его приступы великодушия. Например, он явно вел себя безрассудно, когда пощадил, и даже дважды, Саула, хотя тот был у него в руках. Это послужило для него уроком, и потом он уже действовал умнее. Но прежде всего в одном, кажется мне, он поступил правильно и по-царски: он покарал убийцу государя, хотя тот и убил его противника и, следовательно, действовал в его интересах.

Да, рассказ об этой мере Давида, казнившего человека, который убил Саула, казалось, оплодотворил воображение императора, и Иосиф с невольным содроганием почувствовал, как хитроумно и ловко Домициан сумел извлечь из столь давних событий пользу для себя.

— Император Нерон, — обратился он к Мессалину, — был, конечно, врагом нашего рода, хорошо, что он умер. И все-таки я не понимаю, как мог сенат оставить его убийцу Эпафродита безнаказанным. Тот, кто поднял руку на цезаря, не может остаться в живых. А ведь он и сейчас еще ходит по земле, этот Эпафродит? И живет в Риме? И разгуливает среди людей, как воплощенный призыв к цареубийству? Не понимаю, как может сенат терпеть это так долго!

Мессалин своим приветливым голосом стал извиняться за своих коллег:

— Многое из того, что делают и чего не делают избранные отцы, для меня непостижимо, мой владыка и бог. Однако в случае с Эпафродитом я укажу моим коллегам на пример древнего иудейского царя, и, надеюсь, не безуспешно.

На Иосифа повеяло чем-то угрюмым и скорбным. Он относился к Эпафродиту доброжелательно; это был хороший человек, он любил искусства и науку, покровительствовал им, Иосиф не раз приятно проводил с ним время. И вот сейчас он невольно навлек на него гибель.

Вскоре Мессалин под каким-то предлогом оставил Иосифа наедине с императором. Домициан приподнялся на своей кушетке и, улыбаясь Иосифу, доверительно, словно приглашая и его быть откровенным, сказал:

— А теперь, мой Иосиф, признайтесь чистосердечно: этот неуклюжий человек, один из ваших богословов, правильно утверждал, что вы — из рода и дома Давидова? Ведь это, как говорят и ваши ученые, скорее вопрос чувства, интуиции, чем документальных доказательств. Такой ход мыслей и я могу понять. Если я, например, сам верю в то, что я потомок Геркулеса, значит, я и есть потомок Геркулеса. Вы, наверное, уже поняли, мой Иосиф Флавий, к чему я веду. Дело вот в чем: хотите ли вы, чтобы вас считали отпрыском царя Давида, или не хотите? Все зависит от вас, отдаю решение в ваши

руки. Мы ведь сейчас составляем списки. Мы вносим в них тех, кого следует считать потомками великого царя, чью деятельность вы так превосходно описали. По некоторым техническим причинам, относящимся к управлению империей, мое правительство считает подобный список желательным. Так как же насчет вас, мой Иосиф? Вы пылко преданны своему народу. Вы гордитесь им, его древностью, великими достижениями его цивилизации. Вы исповедуете свою веру. Я верю Иосифу, исповедующему свою веру. Что бы вы ни сказали, я поверю вам и приму как правду. Если вы скажете мне: «Я отпрыск дома Давидова», — значит, так оно и есть. Вы скажете — «нет», и ваше имя не появится в списке. — Домициан встал, подошел к Иосифу вплотную. Улыбаясь, почти оскалась, с жуткой доверительностью спросил его: — Ну, как, мой еврей? Ведь все государи состоят в родстве между собой. Что ж, ты мой родственник? Ты потомок Давида?

Чувства и мысли Иосифа были словно подхвачены бурей. Когда простонародье уверяло, что тот или другой человек происходит из рода Давидова, это была пустая болтовня, ее не стоило и проверять. Да и сам он никогда не поднимал шума вокруг своего предполагаемого происхождения. Поэтому сейчас было бы бессмысленно выставлять напоказ свою храбрость и признаваться: да, я из рода Давидова. Никому такое признание не принесло бы пользы, и единственное, чего бы он добился, — это собственной гибели. Почему же тогда какая-то мощная сила побуждает его сказать «да»? Потому, что этот император язычников, как ни странно, все же прав? Он, Иосиф, знает чувством, то есть глубоким внутренним знанием, что он действительно принадлежит к избранныкам, к потомкам рода Давидова. Император язычников хочет его унижить, склонить к отречению от лучшего, что в нем есть. И если он поддастся соблазну, если отречется от великого своего предка Давида, император будет презирать не только его, он будет презирать целый народ, и по праву. То, что происходит сейчас между ним и Домицианом, — это одна из многих битв в войне, которую его народ ведет против Рима за своего Ягве. Но где же правильный путь? Чего ждет

от него божество? Если он отречется от своей «призванности», это будет трусостью. Но не будет ли духовным высокомерием, если он, вопреки разуму, последует в своем признании смутному голосу чувства?

Он стоял перед императором безмолвный, тощий. Худое лицо ничем не выдавало его растерянности; жгучие глаза под высоким, смелым и выпуклым лбом были устремлены на императора, задумчивые, зоркие и словно незрячие, и Домициан лишь с трудом выдерживал их взгляд.

— Я уж вижу, — сказал император, — ты не хочешь отвечать ни «да», ни «нет». Это мне понятно. Но если так, милый мой, есть и третий ход. Ты провозгласил моего отца, бога Веспасиана, мессией. Если ты был прав, что-то от мессии должно быть и во мне самом? Поэтому я спрашиваю тебя: являюсь я сыном и наследником мессии? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Если я наследник мессии, то все, что народ болтает о потомках Давида, — пустые разговоры, только и всего, тогда никакая опасность от этих потомков нам не грозит и не стоит моим чиновникам заводить всякие списки. Итак, не уклоняйся от ответа, мой еврей. Спаси своих потомков Давида и себя самого. Скажи эти слова. Скажи мне: «Ты мессия», — и пади ниц, и преклонись перед мною, как ты преклонился перед моим отцом.

Иосиф смертельно побледнел. Ведь он все это уже пережил. Только вот когда? Когда и как? Пережил в духе. Так рассказано об этом в преданиях о чистом и о павшем ангеле и еще в писаниях минесв, где искушитель, клеветник диавол, призывает мессию отречься от своей сущности и преклониться перед ним, обещая за это все великолепие мира. Странно, как отражаются в его собственной судьбе легенды и предания его народа. Он настолько проникся прошлым своего народа, что сам перевоплощается в образы этого прошлого. И если он сейчас подчинится римскому императору, этому искушителю, и почитит его, как тот требует, он отречется от самого себя, своего дома, своего народа, своего бога.

Он все еще пристально смотрел на императора; его взгляд не изменился, в жгучих глазах осталась та же глубокая задумчивость, та же зоркая слепота. Но лицо

императора изменилось. Домициан улыбался, усмехался с отвратительным, вызывающим ужас дружелюбием. Лицо его побагровело, близорукие глаза подмигивали Иосифу с притворной, лживой, привлекающей приветливостью; рука нелепо раскачивалась в воздухе взад-вперед, словно он куда-то зазывал Иосифа. Без сомнения, император, владыка и диавол Домициан, Dominus ac Diabolus Domitianus, хотел установить с ним взаимопонимание, такое взаимопонимание, какое, по его мнению, существовало между Иосифом и покойным отцом императора Веспасианом.

Несмотря на все его внешнее спокойствие, мысли Иосифа затуманились. Он не смог бы даже сказать с уверенностью, действительно ли Домициан произнес вслух последние слова о том, что Иосиф должен пасть ниц и поклониться перед ним или это было только воспоминанием о ладшем ангеле из древних преданий и о диаволе минеев. Как бы то ни было, искушение, которому его подверг Домициан, продолжалось очень недолго. И вот уже император снова стал всего только императором, угловато отставив назад локти, властно стоял он перед Иосифом и официальным тоном заявил:

— Благодарю вас за интересное чтение, всадник Иосиф Флавий. Что касается вопроса, который я вам задал—являетесь ли вы потомком описанного вами царя Давида,—то можете спокойно обдумать свой ответ. Жду вас в ближайшие дни на моем утреннем приеме. Тогда я спрошу вас еще раз. Но где же наш любезный хозяин? — Он хлопнул в ладоши и повторил вбежавшим слугам: — Где же наш Мессалин? Позовите сюда Мессалина. Мы хотим видеть его, я и мой еврей Иосиф Флавий.

В эти дни Иосиф написал «Псалом мужеству».

Славно того, кто в битве бесстрашен и тверд.
Коней ураган,
Звон железа, свист стрел,
Взмахи топоров и мечей все ближе,
Они уже над ним.
Но он не отступит.
Видит смерть и, как богатырь,— тверд.

Это мужество. Но оно не больше,
Чем у того, кто по праву зовет себя мужем.
Быть храбрым в бою не так уж трудно,
От войны к войне переходит храбрость.
Разве ждешь,
Что именно в тебя метит смерть!
Никогда ты крепче не верил,
Что проживешь еще долгие годы,
Чем верил в бою.

Выше должна быть храбрость того,
Кто уходит к варварам, в глухие края,
Чтоб их исследовать,
Или же кто ведет корабль в пустынное море
Все дальше, дальше,
Чтоб разведать, нет ли новых земель
И новой суши.

Но как меркнет месяц на восходе солнца,
Так тускнеет слава и этих людей
Перед славой того,
Кто сражается за незримое.
Его хотят принудить:
Скажи одно слово, оно же бесплотное, невесомое,
Прозвучав, оно улетучится,
Уже не слышно его, его уже нет;
Но оп того слова не скажет.

Или, напротив, он жаждет
Произнести другое, ясное,
Хоть знает — за него ждет смерть.
Наград оно не сулит,
Только гибель,
Он это знает, и все же
Произносит его.

Когда ты жизнью рискуешь
Ради золота, ради власти,
Тебе известна расплата,
Ты видишь ее, осязаяшь,
И можешь взвесить.
А тут одно слово?

И я говорю:
Слава мужу, идущему на смерть,
Ради слова, что уста ему жжет.
И я говорю:
Слава говорящему то, что есть.
И я говорю:
Слава тому, кого не принудишь
Сказать то, чего нет.

Избирает он тягчайшую участь.
В свете трезвого дня видит он
Смерть — и манит ее и зовет: «Иди!»
Ради бесплотного слова
Готов он на смерть,
Уклоняясь от слова, если оно ложь,
Исповедуя его, если оно — правда.

Слава тому
Кто ради слова на гибель идет.
Ибо мужеству этому бог
Говорит — да будет!¹

В один из ближайших дней Иосиф, выполняя приказ императора, велел отнести себя по Священной улице на Палатин в часы утреннего приема.

При входе во дворец его, как и всех посетителей, обыскали — нет ли при нем оружия, затем впустили в первый вестибюль: там находилось уже несколько сот человек, стража выкликала имена, чиновники гофмаршала Криспина записывали их, одних отправляли ни с чем, других допускали в приемную. В приемной толпились посетители. От одного к другому спешили церемониймейстеры и, по указанию Криспина, уточняли списки.

На Иосифа все обратили внимание. Он видел, что и Криспин встревожен его приходом, и с легкой улыбкой отметил про себя, что тот после некоторого колебания внес его не в список привилегированных посетителей — приближенных первого допуска, а лишь в общий список знати второго разряда. По пути сюда Иосиф был полон мужества и твердил себе, что чем скорее пройдут мучительные минуты встречи с Домицианом, тем лучше; а теперь был рад, что попал только во второй список, и ему, может быть, так и удастся уйти незамеченным, ничего не сказав.

Наконец раздался возглас: «Владыка и бог Домициан пробудился!» — и двери, ведущие в спальню императора, раскрылись. Все видели Домициана, он полулежал на своем широком ложе, гвардейские офицеры в полном вооружении стояли справа и слева. Глашатаи

¹ Перевод В. Станевич.

стали вызывать посетителей по первому списку, и те один за другим проследовали в опочивальню. Находившиеся в приемной жадно следили, как император приветствует каждого из них. Большинству он только протягивал руку для поцелуя, лишь немногих обнимал, согласно обычаю. Было ясно, что не может он изо дня в день целовать всех подряд: ведь уже не говоря об опасности заражения, многие были ему просто противны. Все же ни один император до него не показывал так откровенно, сколь тягостна эта обязанность; то, что именно Домициан, ревностный страж обычаев, все чаще уклонялся от этого доброго обычая, вызывало раздражение многих и обижало.

Очень скоро император сделал перерыв. Не считаясь с толпой ожидавших приема, он бесцеремонно зевал, потягивался, нетерпеливо рассматривал собравшихся, потом кивнул Криспину, пробежал глазами списки. Потом вдруг оживился. Хлопнув в ладоши, подозвал к себе карлика Силена, что-то шепнул ему. Карлик, переваливаясь, отправился в приемную, все взгляды последовали за ним; тот шел прямо к Иосифу. Среди полной тишины карлик глубоко склонился перед ним, сказал:

— Владыка и бог Домициан приказывает вам подойти к его ложу, всадник Иосиф Флавий.

Иосиф, на глазах у всего сборища, проследовал в опочивальню. Император заставил его сесть на край ложа, что считалось высоким отличием, сегодня никто, кроме него, не был им удостоен. Домициан обнял Иосифа и поцеловал его, но не с отвращением, а неторопливо и серьезно, как того требовал обычай.

Однако в ту минуту, когда он прижался щекой к щеке Иосифа, он прошептал:

— А ты потомок Давида, мой Иосиф?

Иосиф же ответил:

— Ты сказал это сам, император Домициан.

Император разжал объятия.

— Вы смелый человек, Иосиф Флавий, — заявил он.

Потом карлик Силен, который все слышал, проводил Иосифа обратно в приемную, еще ниже склонился перед ним и сказал:

— Прощайте, Иосиф Флавий, потомок Давида!
Император же велел закрыть двери опочивальни,
прием был окончен.

Еще несколько дней спустя в официальных ведомостях появилось следующее сообщение: император ознакомился с историческим трудом, над которым сейчас работает писатель Иосиф Флавий. Оказалось, что книга не способствует благу Римской империи. Таким образом, упомянутый Иосиф Флавий не оправдал надежд, которые возлагались на него в связи с его первым трудом «Иудейская война». Поэтому владыка и бог Домициан повелел изъять из почетного зала храма Мира бюст писателя Иосифа Флавия.

И этот бюст, где Иосиф, слегка повернув голову, смотрит через плечо и лицо у него худое и смелое,— был удален из храма Мира. Его передали скульптору Василию, чтобы тот употребил драгоценный металл — это была коринфская бронза, уникальный сплав, возникший при сожжении города Коринфа, когда слились воедино металлы многих статуй,— чтобы тот употребил его для бюста сенатора Мессалина, выполнить который ему поручил император.

Глава третья

— Вы оговорились или я ослышался? — спросил Регин Марулл и так резко повернул мясистую голову, что, несмотря на все свое мастерство, парикмахер-раб чуть не порезал его.

— Ни то, ни другое,— ответил Марулл.— Обвинение против весталки Корнелии будет возбуждено, это решено твердо. Курьер из Пола доставил вчера предписание. Видимо, DDD придает этому делу большое значение. Иначе он не стал бы посылать приказ с дороги, а дождался бы, пока доедет до Рима.

Регин что-то пробурчал, тяжелый взгляд его сонных глаз под нависшим лбом казался еще задумчивее, чем обычно, и не успел парикмахер закончить свое дело, как он нетерпеливо кивнул ему, чтобы тот ушел.

Однако, оставшись с другом наедине, он ничего не сказал. Он только медленно покачал головой и пожал плечами. Да и незачем было говорить, Марулл и так понимал его, и ему весь этот случай казался невероятным. Разве с DDD недостаточно той бури, которая поднялась, когда он из шести весталок отдал под суд тех двух, сестер Окулат? Ведь настроение сейчас и так весьма неважное после отнюдь не блестящего Сарматского похода. И зачем, клянусь Геркулесом, DDD понадобилось вытаскивать на свет обветшалые жестокие законы и обвинять весталку Корнелию в нарушении целомудрия?

Юний Марулл, посасывая ноющие зубы, внимательно и спокойно оглядел зоркими серо-голубыми глазами пыхтящего друга. Он в точности угадал его мысли.

— Да, — отозвался он, — настроение неважное, тут вы правы. Для толпы результаты Сарматского похода выглядят не блестяще, хотя успех все же достигнут, и вполне солидный. Но, может быть, именно поэтому. Ведь наши дорогие сенаторы непременно все вывернут наизнанку и обратят победу в поражение. Весталка Корнелия в родстве и свойстве с доброй половиною знати. Может быть, Фузан воображает, что эти господа будут осторожнее, если он не побоится обвинить даже самое Корнелию?

— Бедная Корнелия! — произнес вместо ответа Регин.

Оба они представили себе эту Корнелию — нежное и веселое лицо двадцативосьмилетней весталки под копной почти черных волос, представили себе, как она улыбается, сидя в своей почетной ложе в цирке, или как она, с пятью другими весталками, поднимается во главе процессии к храму Юпитера, — высокая, стройная, девственная, приветливая и бесстрастная, жрица, девушка, знатная дама.

— Надо признаться, — заметил наконец Марулл, — что после мятежа Сатурнина он считает себя вправе бороться против своих врагов любыми средствами, лишь бы они вели к цели.

— Во-первых, они не ведут к цели, — возразил Регин, — во-вторых, я не думаю, чтобы этот процесс был направлен против сената. DDD знает не хуже нас, что

для этого существуют менее опасные пути. Нет, дорогой мой, его побуждения и проще и глубже. Он просто-напросто недоволен исходом войны и хочет иным способом доказать свое божественное предназначение. Я уже слышу, как он изрекает пышные фразы: «Благодаря таким образцам строгих нравов и благочестия сияние Домицианова века достигнет далее грядущего». Боюсь,— заключил Регин со вздохом,— что иногда он сам верит своей болтовне.

Некоторое время оба сидели молча. Затем Регин спросил:

— А известно, кто должен оказаться сообщником несчастной Корнелии?

— Вообще-то неизвестно, однако Норбану известно. Я полагаю — Криспин, он как-то замешан в эту историю.

— Наш Криспин? — недоверчиво спросил Регин.

— Ну, это всего лишь предположение,— поспешно отозвался Марулл.— Норбан, конечно, никому не обмолвился ни словом, у меня нет никаких оснований, кроме перехваченных мною взглядов и случайных жестов.

— Ваши предположения,— заметил Регин, задумчиво проводя языком по губам,— имеют ту особенность, что они осуществляются, а Норбан весьма изобретателен, когда кого-нибудь возненавидит. Было бы ужасно жаль, если бы Корнелия, это прелестное создание, погибла только потому, что Норбан приревновал ее к египтянину.

Марулл, отчасти потому, что не разрешал себе никакой сентиментальности, отчасти по старой привычке, заговорил с напускной фривольностью.

— Жаль,— сказал он.— Как это мы сами не догадались, что Корнелия не только весталка, но и женщина. Все же, клянусь Геркулесом, когда она всходила на Капитолий, в тяжелой старомодной белой одежде и со старомодною прической, то даже такой прожженный материалист, как я, не думал о том, что у нее под платьем. А ведь я как раз охотник до таких вот запретных святынь. Однажды, в самую бурную пору моей жизни, я спал с дельфийской Пифией. Она была не

очень красива и уже не так молода, удовольствие ни в какой мере не стоило той опасности, которой я себя подвергал; но разожгла меня именно святость. Такую девушку, как эта Корнелия, не следовало упускать, чтобы она досталась пакостнику вроде Криспина.

Но Клавдий Регин, обычно в подобных вопросах отнюдь не щепетильный, сегодня не отвечал ему в этом тоне. Кряхтя, он наклонился, чтобы затянуть ослабевший ремешок на башмаке, и сказал:

— Да, трудно оставаться другом такого человека, как DDD.

— Надо быть с ним терпеливее, — отозвался Марулл. — У него много врагов. Сейчас ему сорок два, — прикидывая что-то, продолжал он, стараясь встретиться своими зоркими глазами с сонными глазами друга. — Но боюсь, что мы, пожалуй, переживем его.

Регин испугался. То, что сейчас сказал Марулл, было так верно и полно такой отчаянной смелости, что даже среди самых близких друзей этого не следовало произносить вслух. Но раз уж Марулл зашел так далеко, не захотел себя сдерживать и Регин.

— Неограниченная власть, — сказал он, стараясь приглушить свой жирный высокий голос, — уже сама по себе болезнь, болезнь, которая быстро может подточить жизнь даже здорового и сильного человека.

— Да, — согласился Марулл, тоже переходя на шепот, — дух человека должен иметь очень крепкие опоры, иначе они треснут под бременем такой неограниченной власти. И DDD еще удивительно долго держался. Только после заговора Сатурнина он стал таким... — Марулл искал слово, — таким странным.

— При этом, — отозвался Регин, — как раз в этой истории он очень счастливо отделался.

— Вспомните Цезаря и его счастье, — назидательно заметил Марулл. — Столько счастья никто не выдержит.

— Цезарю минуло пятьдесят шесть, — задумчиво проговорил Регин, — когда счастье изменило ему.

— Жаль DDD, — довольно загадочно изрек Марулл. А Регин добавил:

— И жаль Корнелию.

— Он не посмеет,— вдруг вырвалось у сенатора Гельвидия. Говорили о предполагаемом усилении северо-восточных гарнизонов после заключения мира, и неожиданный возглас вспыльчивого Гельвидия не имел к этому решительно никакого отношения. Однако все отлично поняли, на что он намекал. Ведь даже когда разговор шел о совсем другом, их мысли возвращались все вновь и вновь к тому позору, которому император намеревался подвергнуть весталку Корнелию, а тем самым и всю старинную знать.

Сколько насилий уже совершал над ними Домициан, над этими четырьмя мужчинами и двумя женщинами, собравшимися у Гельвидия. Тут были Гратилла, сестра, и Фанния, жена Цепиона, которого он казнил. И все они были друзьями и близкими принца Сабина, Элия и остальных девяти сенаторов, которых умертвили вместе с Цепионом за участие в неудавшемся государственном перевороте, задуманном Сатурнином. Но если император казнил этих людей, если бы даже предпринял что-нибудь против собравшихся здесь — такие насильственные действия, с его точки зрения, имели бы смысл и цель. Преследование же Корнелии — это только свирепая, лишенная всякого смысла прихоть. Если император, если похотливый козел Домициан посягает на нашу Корнелию, нашу чистую, сладостную Корнелию, подобное бесстыдство немыслимо даже себе представить. Где бы она ни появилась — возникало чувство, что мир еще не погиб, раз существует она, Корнелия. И ее, ее-то и выхватил среди остальных весталок этот изверг!

Именно символичность этого дела глубоко потрясла находившихся в доме Гельвидия четырех мужчин и двух женщин. Слова тут были не нужны. Если Домициан, это двуногое воплощение порока, с помощью лже-свидетелей обвинит поистине благородную девушку Корнелию в нарушении целомудрия и позорно казнит ее — это будет наглядный образ всей нагло усмехающейся испорченности Рима. Ничто на свете не могло отпугнуть императора. Под его властью само благородство извращалось, становясь низостью.

— Он не посмеет,— утешали они себя с первого же дня, когда слухи дошли до них. Но сколько было таких

же случаев, когда они утешали себя теми же словами. Как только заходила речь о новом постыдном намерении императора, они уверяли, скрежеща зубами: у него не хватит наглости, сенат и народ не допустят. Однако,— и в особенности после неудавшегося восстания Сатурнина,— у него, оказывается, на все хватало наглости, а сенат и народ все допускали. Смутно жили в них воспоминания обо всех их поражениях, но они не позволяли этим воспоминаниям всплывать на поверхность. «Он не посмеет». В этих словах, которые вырвались у сенатора Гельвидия с такой яростью и такой уверенностью, была выражена единственная надежда этих людей.

Но тут заговорил самый младший из них, сенатор Публий Корнелий:

— Он посмеет,— сказал Корнелий,— а мы промолчим. Стершим и промолчим. И будем правы, ибо в такие времена это единственное, что нам остается.

— А я не хочу молчать и нельзя молчать,— возразила Фанния.

Она сидела среди них, старая-престарая, с темным, как земля, отважным и угрюмым лицом и бросала гневные взгляды на Публия Корнелия. Он был близким родственником весталки, находившейся под угрозой, ее судьба касалась его ближе, чем остальных, и он уже почти жалел о своих словах. Перед единомышленниками он мог себе позволить такие речи, но не перед этой старухой Фаннией. Она была дочерью того самого Пета, который при Нероне поплатился жизнью за то, что мужественно признал себя республиканцем, она была вдовой Цепиона, которого, после поражения Сатурнина, Домициан приказал казнить. И всякий раз, когда говорила Фанния, Корнелием овладевали сомнения,— быть может, в молчании, к которому он призывал, усиленно ссылаясь на доводы разума, нет ничего героического, быть может, в демонстративном мученичестве Фаннии куда больше доблести.

Медленно повертывал он свое молодое, но уже изборожденное морщинами лицо от одного к другому. Только уравновешенный Дециан ответил ему быстрым взглядом, втайне соглашаясь с ним. Итак, Корнелий без особых надежд на успех попытался объяснить, почему он

считает любую демонстрацию в деле весталки Корнелии вредной. Народ любит и почитает Корнелию. В суде над нею, а тем более в ее казни народ не увидит, как того, наверное, хотелось бы Домициану, строгого служения богам, а просто бесчеловечность и кощунство. Если же мы будем возражать от имени сенатской партии, мы только низведем все дело из сферы общечеловеческой в сферу политики.

Дециан поддержал его.

— Боюсь,— сказал он,— что наш Корнелий прав. Мы бессильны, нам остается только одно — молчать.— Однако он произнес эти слова не как обычно, деловито и сдержанно, но с такой болью и безнадежностью, что остальные в смятение подняли головы.

Дело в том, что первым весть о Корнелии получил Дециан. Эту весть принесла вольноотпущенная Корнелии, некая Мелитта. Девушка сбивчиво сообщила ему, что на празднике Доброй Богини в доме Волузии, жены консула, случилась страшная беда, но что именно произошло, Дециан так и не мог уловить из путаного рассказа Мелитты; ясно было одно: Мелитта тут замешана, а Корнелии угрожает серьезная опасность. А ведь этот сдержанный, уже немолодой сенатор Дециан любил весталку Корнелию и как будто убедился в том, что и ее улыбка становится ярче и ласковее, когда она видит его. Любовь эта была тихая, ненавязчивая, почти безнадежная. Приблизиться к Корнелии было очень трудно, почти невозможно, а когда ей разрешат покинуть храм Весты, он будет уже стариком. То, что она обратилась за помощью к нему, его глубоко взволновало. Мелитта, именем своей госпожи и подруги, заклинала его увести ее, Мелитту, из Рима, спрятать так, чтобы ее нельзя было найти. Он сделал все, что было в его силах, поручил надежным людям в потайности переправить вольноотпущенницу в его сицилийское поместье, и она жила теперь там, скрываясь, и, вероятно, в ее лице исчезла главная свидетельница, на которую могли бы сослаться враги Корнелии. Однако если Домициан действительно решил погубить Корнелию, то одним свидетелем больше или меньше — это дела не изменит, тут едва ли будет решать правосудие, а только ненависть

и произвол. И в то время, как говорил Корнелий, Дециан испытывал это чувство беспомощности и бессилия с удвоенной остротой, и в его словах ясно прозвучало горе.

На Фаннию не действовало ни горе Дециана, ни благоразумие Публия Корнелия. На ее темном, как земля, лице застыло выражение суровости и боли.

— Мы не имеем права молчать, — настаивала она, и голос ее был полновучным, несмотря на дряхлость ее облика. — Это было бы позором и преступлением!

«Ну, это все еще изречения для хрестоматии, — подумал, раздражаясь, Публий Корнелий, — старуха непременно желает продолжить героические традиции их рода. А в моем сочинении она будет самое большее эпизодической фигурой, истории она не делает». Все же, несмотря на свою трезвую оценку, он не мог не восхищаться этой женщиной, которая так выделялась среди современников своим безрассудным героизмом, и жалел о собственном благоразумии.

Гратилла, сестра убитого Цепиона, спокойная, несколько располневшая аристократическая дама, поддерживала невестку.

— Благоразумие, — иронизировала она, — осторожность, политика, все это очень хорошо. Но как может человек, если у него в груди бьется сердце, без конца терпеть все мерзости этого Домициана — и не противиться? Я просто женщина, я ничего в политике не смыслю, я не знаю, что такое честолюбие. Но у меня прямо желчь разливается, когда я подумаю о том, кем нас будут считать наши потомки, наши сыновья и внуки, если мы безропотно миримся с этим господством лжи и насилия?

— Когда будет готова ваша биография Пета, мой Приск? — снова заговорила Фанния. — Когда она выйдет в свет? Мне доставляет глубокое удовлетворение мысль о том, что хоть один заговорил, хоть один не прячет своего гнева.

Когда она обратилась к Приску, он высоко поднял совершенно лысую голову, обвел взглядом всех присутствующих, увидел, что все на него смотрят и с нетерпением ждут от него ответа. Приск считался крупней-

шим юристом империи, он прославился тем, что тщательно взвешивал все «за» и «против». Поэтому он не мог не признавать заслуг Домициана в управлении государством, но не менее отчетливо видел произвол и безответственность этого режима единоличной власти, а также многочисленные и явные правонарушения. Однако о своих наблюдениях он мог говорить только в кругу тех, кому доверял, от всех остальных он вынужден был их таить, если не хотел навлечь на свою голову обвинение в оскорблении величества. Для себя лично он теперь нашел выход. Он молчал и все же не молчал. Он изливал свой гнев в историческом исследовании, в котором описывал жизнь славного Тразея Пета, отца Фаннии. Его пленяла возможность рассказать о жизни этого республиканца, которого Нерон казнил за свободомыслие, а легенда сказочно преобразила, — с особой конкретностью, стерева все легендарные черты, и так показать эту жизнь, чтобы Тразей Пет и без мистического ореола предстал перед людьми великим человеком, достойным высочайшего почитания. Фанния могла для этого исследования дать ему очень много материала, множество точных, до сих пор неизвестных деталей.

Однако этот почти заверченный труд предназначался только для самого автора и для людей, которым он доверял, прежде всего — для Фаннии. Опубликовать его при домициановском режиме — значило рисковать не только своим положением и состоянием, но и самой жизнью. И если сейчас Фанния заявила, что он, Приск, будто бы не молчит, что он не таит свой гнев, то она, мягко выражаясь, пересолила, это было явное недоразумение. Ибо на самом деле он, в известном смысле, добивался как раз обратного — затаить свой гнев, запечатать книгу в ларь; его единственным желанием и целью было облегчить себе душу. От обнародования книги он не ждал ничего хорошего. Это был бы только демонстративный жест, и прав, трижды прав Публий Корнелий — такими вызывающими жестами ничего не достигнешь, они не в силах изменить положение вещей, да и как вообще литературе бороться с властью?

Вот каково было мнение Приска. Но тут он увидел, что взоры всех с ожиданием устремлены на него, он

увидел строгое, требовательное лицо Фаннии и понял, что все будут считать его трусом, если он уклонится, а у него не хватало храбрости прослыть трусом. И хотя рассудок твердил ему: «Что ты делаешь, глупец?» — его уста произнесли решительно и резко:

— Нет, я не буду таить своего гнева. — И не успел он произнести эти слова, как уже пожалел о них.

«Зачем он хочет подражать Пету?» — с тревогой спросил себя Дециан; а Публий Корнелий подумал: «Он тоже глупец и герой!» — а вслух сказал:

— Мужчина должен уметь пересилить себя, мужчина должен перетерпеть эти времена молча, чтобы их пережить.

Древнее, темное, как земля, изборожденное морщинами лицо Фаннии казалось маской, выражающей ironию и негодование.

— Бедная Корнелия, — заявила она и вызывающим тоном обратилась к Публию Корнелию: — У вас хватит смелости хоть на то, чтобы присоединиться к нам, когда мы посетим вашего дядю Лентула?

Старик отец Корнелии уже давно удалился от света и тихо жил в своем сабинском имении; такой общий визит был бы демонстрацией против императора.

— Боюсь, — спокойно ответил Публий Корнелий, не обращая внимания на оскорбительный тон Фаннии, — что мы будем для дяди не слишком желанными гостями. Он в горе, и видеть людей для него — не большая радость.

— Значит, вы не поедете? — спросила Фанния.

— Я поеду, — ответил с деловитой вежливостью Публий Корнелий.

«Бедняга Приск вынужден опубликовать жизнеописание, — подумал он, — а я вынужден участвовать в нелепом посещении только потому, что так требует эта героическая дура. У нас — собственное достоинство, а у Домициана — армия и чернь. Какое мрачное бессилие!»

Когда Домициан вернулся, еще стояла зима. Он удовольствовался тем, что принес лавровую ветвь в дар Юпитеру Капитолийскому, от пышных публичных

почестей он отказался. В сенате на этот счет ходили злые остроты. Марулл и Регин считали, что сейчас Домициану приходится нелегко. Если бы он справил триумф, смеялись бы над тем, как ловко он умеет поражениям придать вид победы; если он от триумфа отказывается, начнут смеяться над тем, что поражение, видно, велико, раз даже он сам признает его.

Будучи хорошим знатоком народа, Домициан вместо триумфа для себя назначил щедрую раздачу подарков, с тем чтобы покрыть их стоимость из своей доли сарматской добычи. Каждый постоянный житель Рима считал себя вправе получить подарок. В таких случаях император выказывал большую щедрость, его не смущало, если раздача поглощала не один миллион. А в данном случае он еще мог этим подчеркнуть, какой огромной была сарматская добыча.

И вот он восседал на престоле в колонном зале Мпунция, в головах — его любимая богиня Минерва, вокруг — высшие чиновники, писцы, офицеры. Гигантскими толпами валил народ; каждый по очереди получал жетон из глины, жести, бронзы, а если его номер оказывался счастливым, — то даже из серебра или золота. Этими номерами обозначались весьма ценные подарки. И какое начиналось ликование, когда кому-нибудь доставался такой жетон! Как искренне воздавал такой счастливец хвалу владыке и богу Домициану за то, что он дарит счастье Риму и своему народу. Не только счастливец перевозносил императора, но и его друзья и родственники, — все были счастливы, ибо каждый надеялся, что если не сегодня, то в следующий раз и ему, быть может, сверкнет золотой жетон. Так раздача подарков стала для Домициана еще более блистательным триумфом, чем самое пышное шествие.

А сам он, император, восседал на престоле у ног своей мудрой советчицы Минервы. За эти семь лет он очень потолстел, лицо у него стало красное и отекавшее. Он сидел — неподвижный, богоподобный, наслаждался ликованием своего народа. Те, кому достались золотые жетоны, получали право облобызывать ему руку. Он протягивал ее, не глядя; но никто не усматривал в этом

обидной гордыни, люди и так были в полном восторге. Скрежеща зубами, сенаторы поневоле признавали: народ, или, как они его называли, чернь, любит своего владыку и бога Домициана.

На следующий день праздник раздачи подарков завершился представлением на арене Флавиев — в Колоссеуме, в самом большом цирке мира, построенном еще братом Домициана. В публику швыряли монеты; с помощью искусных механизмов над ареною пролетали всеслы крылатые гении и разбрасывали над толпой подарочные жетоны, под конец появилась сама богиня щедрости, Либералитас, и стала сыпать из рога изобилия дары — это были подписанные императором дарственные грамоты на имения, привилегии, доходные должности. Беспредельным было ликование, и его несколько не омрачило то, что в толчее задавили и растоптали немало женщин и детей.

Вечером того же дня Домициан устроил праздничный пир для сенаторов и своих друзей. Он удостоил многих ласковою беседой, однако его приветливые слова были для многих отравлены человеконенавистническими остротами. Так, верховному судье Апериу, двоюродному брату неудачливого мятежника, поверженного генерала Сатурнина, Домициан сообщил высоким, резким голосом о той радости, с какой массы встретили его щедрые подарки. Это стечение народа, сказал он, явилось, пожалуй, еще более достойным внимания зрелищем, чем в тот раз, когда на форуме по его приказу была выставлена голова казненного бунтовщика Сатурнина. Потом снова заговорил о своей баснословной удаче, которая, после поражения Сатурнина, даже начала входить в поговорку. Ведь тогда столь тщательно подготовленный государственный переворот сорвался в конце концов из-за погоды: внезапная оттепель помешала войскам варваров, которых Сатурнин сумел привлечь на свою сторону, перейти реку по льду и оказать мятежному генералу обещанную помощь. Да, констатировал Домициан, он может сравнивать свое счастье со счастьем великого Юлия Цезаря. Правда, и этот счаст-

ливец Цезарь в конце концов пал от кинжалов своих врагов.

— Нам, государям,— небрежно бросил он кучке словно окаменевших друзей,— нелегко. А если мы успеваем отправить на тот свет наших врагов своевременно, пока они еще не нанесли удар, нас обвиняют, будто их преступные намерения — только предлог, чтобы их устранить. И в заговоры против нас люди начинают верить только тогда, когда нас уже благополучно прикончат. Как ваше мнение на этот счет, мой Приск? А ваше, мой Гельвидий?

Ни одним словом не обмолвился он пока о своих намерениях в отношении весталки Корнелии. Еще трудно было сделать какие-либо выводы из того факта, что по возвращении одной из первых его мер было наказание некоего маленького человека именно за преступление против религии.

Один вольноотпущенник, по имени Лид, в пьяном виде справил нужду в одну из тех небольших, похожих на колодцы шахт, какие обычно выкапывались, чтобы зарыть в них молнию. Каждую молнию, ударившую в какое-либо общественное место и в нем умершую, следовало предать погребению, как умершего человека, чтобы избежать еще более грозных последствий. Поэтому там, куда она ударила, выкапывали яму, жрец приносил в жертву — от трех живых царств природы — человеческие волосы, живых рыбешек и лук, затем на дне ямы складывали подобие гробницы, а над гробницей оставляли нечто вроде квадратной открытой шахты и делали надпись: «Здесь погребена молния». Такая старая могила молнии, еще со времен императора Тиберия, находилась у Латинских ворот, на этом священном месте Лид и справил нужду. Император, бывший по своему сану и верховным жрецом, отдал его под суд. Лид был приговорен к бичеванию и конфискации имущества; вода и огонь Италии были ему запрещены.

Спустя несколько дней Домициан созвал в своей Альбанской резиденции совет высших жрецов — Коллегию пятнадцати. Приглашения, как всегда, рассылались

в величайшей тайне. Однако об этом узнали решительно все, — вероятно, такова была воля императора, и когда пятнадцать жрецов отправились в Альбан, весь Рим выстроился вдоль дороги.

Ибо эти высшие жрецы показывались нечасто, и люди взирали на них с робостью и любопытством. А жрец Юпитера был для римлян самой удивительной, самой старомодной фигурой, видеть его удавалось крайне редко. В тех особых случаях, когда он покидал свое обиталище, впереди шел ликтор и возвещал, чтобы каждый отложил свою работу, ибо приближается жрец Юпитера; всюду, где он появлялся, его обязаны были встречать праздничным бездельем и священным благоговением, он не должен был видеть ни одного работающего человека. А также ни одного вооруженного и ни одного закованного в цепи. Трудной и святой была вся его жизнь. Едва проснувшись, он облачался в полный жреческий наряд и снимать его имел право, лишь укладываясь спать. А состоял этот наряд из плотной шерстяной тоги, которую должна была соткать жрецу его жена, на голову надевалась островерхая валяная шляпа с кистью на верхушке и обвитая оливковой ветвью и шерстяной ниткой. Никогда, даже в собственном доме, не имел он права снимать этот знак своего высокого сана; полагалось, чтобы на жреце не было ни одного узла, ни одной завязки, одежда держалась на пряжках, и даже кольцо с печатью он должен был носить расстегнутое. Он постоянно держал в руке маленький жезл, чтобы отстранять людей, ибо был выше всех человеческих прикосновений.

И вот народ теснился, чтобы поглядеть на него и на других членов Коллегии пятнадцати. Люди волновались и переговаривались. Все знали, о чем пойдет речь на Коллегии, — будет решаться судьба Корнелии, весталки, любимицы римлян.

Когда собиралась Коллегия пятнадцати, всем становилось не по себе: во всех случаях преступлений против религии только от членов Коллегии зависело признать обвиняемого виновным или невиновным. Им не надо было допрашивать ни его самого, ни свидетелей, жрецы отвечали только перед богами. Обвиняемый, по-

пав к ним в руки, был совершенно беззащитен. Правда, им надлежало решить вопрос лишь о виновности; меру наказания устанавливал сенат. Но так как опротестовать решение Коллегии сенат не мог, а законы совершенно ясно предписывали и формы наказания, на долю сената оставалась неблагоприятная задача отдавать приказ о выполнении вынесенного Коллегией приговора.

Вечером римляне, перепуганные и взбудораженные, передавали друг другу на ухо решение Коллегии пятнадцати: весталка Корнелия признана виновной в нарушении целомудрия.

За это преступление — нарушение целомудрия весталкой — варварский обычай предков установил варварскую кару. Виновную должны были приволоочь на ивовой плетенке к Коллинским воротам и там бичевать, затем ее живой замуровывали в темнице и, оставив немного пищи и светильник, покидали, обрекая на медленную смерть.

До правления Домициана вот уже сто тридцать лет ни одной весталке не предъявлялось обвинение в нарушении целомудрия. Домициан первый вновь поднял такого рода дело против сестер Окулат; однако даже он не допустил, чтобы исполнили приговор, он смягчил его, предоставив сестрам самим избрать себе смерть.

Что он сделает теперь? Что будет со всеми любимой и почитаемой Корнелией? Неужели он осмелится?

Вечером, после того как господа жрецы из Судебной коллегии удалились, в обширном Альбанском дворце остались только император и гофмаршал Криспин.

Криспин сидел, ссутулившись, в своем кабинете, праздный, терзаемый нестерпимой тревогой. DDD весь этот день не допускал его к себе, и теперь Криспин в страхе ждал, когда же император его вызовет. Обычно столь элегантный Криспин имел весьма жалкий вид. Куда делось его аристократическое надменное бесстрашие, та пресыщенность, которая придавала его тонкому лицу, худому и удлинённому, подчеркнутое высокомерие? Теперь это лицо было расстроенным и нервным, на нем был написан только страх.

Снова и снова возвращался он к случившемуся, не понимал его, не понимал самого себя. Какой злой дух внушил ему мысль пробраться переодетым на мистерии Доброй Богини? Ведь даже малый ребенок мог бы сказать, что при Домициане, несмотря на всю их дружбу, такая штука не пройдет. Любой порок простил бы ему император, но только не кощунство. При этом Криспин даже не помышлял об оскорблении богов, он только потому пробрался на праздник Доброй Богини, что не видел иного способа приблизиться к Корнелии. Так же поступил некогда и Клодий, знаменитый щеголь времен Юлия Цезаря, чтобы приблизиться к жене Цезаря, доступ к которой был очень затруднен. Клодию все сошло с рук. Но тогда была либеральная эпоха. К сожалению, наш DDD не понимает шуток, когда речь идет о религии.

Однако какие же можно найти против него, Криспина, улики? Никто его не видел, когда он в женском платье крался на праздник Доброй Богини, на котором не имеет права присутствовать ни один мужчина. Только Мелитта могла бы дать показания, эта вольноотпущенница, которая была с ним в стоворе. Но она исчезла, а сама Корнелия имеет все основания молчать. Нет, против него нет никаких улик. Или все-таки есть? У Норбана сотни глаз, а если дело касается его, Криспина, то их зоркость еще обостряется ненавистью.

Криспин надеялся, что возврат императора как-то прояснит его положение. Но ничто не прояснилось, DDD обошелся с ним ласково и непринужденно, как обычно. Однако он знал своего DDD, понимал, что это еще ничего не доказывает, ужасная тяжесть угнетала его по-прежнему. Ему все время чудилось, что земля вот-вот разверзнется и поглотит его. Красивое лицо Криспина осунулось, он должен был держать себя в руках, чтобы вдруг не замолчать среди разговора, не уйти в себя. Самое вкусное кушанье, самая модная женщина, самый хорошенький мальчик — все потеряло для него свою прелесть. Он не смотрел на одежды, которые ему приготавлил камердинер; парикмахер мог перепутать духи — он бы и этого не заметил. Друзья уже не были друзьями, и когда он по ночам лежал без сна, ему пред-

ставало ужасное виденье — всегда одно и то же: он видел себя, его тащат на Бычий рынок в присутствии десятка тысяч зрителей, забивают в колоду и секут кнутами до смерти, как того требует закон. И, удивительное дело, у каждого из десяти тысяч зрителей было его лицо, — даже у чиновника, распорядившегося казнью, даже у палача было его лицо, — и все они говорили его голосом. Он слышал самого себя — это больше всего пугало его, — слышал, как он сам на своем элегантном греческом языке, пришепетывая, отпускает колючие шуточки по поводу невыносимых, смертельных мук, причиняемых этой жестокой пыткой медленного умирания.

Сегодня в Альбане весь долгий день, пока совещалась Коллегия пятнадцати, ощущение предстоящей гибели становилось все более гнетущим, словно надвигалась гора и медленно на него оседала, чтобы в конце концов раздавить его; это ощущение было настолько реальным, что он временами начинал задыхаться. Он бродил по бесконечным коридорам и переходам дворца, по громадному парку, по цветникам и теплицам, между клетками зверей, но ничего не видел; если бы его спросили, где он побывал, он не смог бы ответить.

Затем наступила ночь, и он тайком следил, как уезжали члены Коллегии. Прежний Криспин, какие-то остатки его, с озорной иронией отметил, как эти господа, садясь в экипажи, старались, чтобы их нелепые белые войлочные шляпы не слетели с головы. Но одновременно новый Криспин, которому угрожала смерть, думал: «К какому же они пришли решению?»

И вот он сидел, ссутулившись, в своем кабинете, охваченный бессильным гневом, сознавая, что от пустого произвола этих по-дурацки наряженных типов зависит приговорить его к позорной, мученической смерти, — его, прославленного Криспина, всемогущего министра императора. Сделали они это? Осмелились ли? Руки у него стали как у мертвеца, в голове вертелась одна мысль: «Приговорил он меня? Осмелился ли? Приговорил он меня? Осмелился ли?»

Наконец его позвали к Домициану. Камердинеру, прислуживавшему ему, он велел подать парадную одежду и башмаки на высокой подошве, он отдавал прика-

зания резким и нетерпеливым тоном, но голос его не слушался, и когда он, следуя за слугами со светильниками, зашагал по длинным коридорам, колени у него дрожали. Он старался смотреть на свою угловато двигающуюся тень, желая отвлечься, позабыть свой страх и предстать перед императором со спокойным лицом. Даже в мыслях Криспин больше не называл его DDD, а только «император».

Император лежал на широком диване, мясистый, вялый, утомленный. Он протянул вошедшему руку, и Криспин поцеловал эту руку осторожно, чтобы не запачкать ее губной помадой.

— Утомительный день был сегодня,— сказал Домициан, позевывая.— Да,— продолжал он,— нам пришлось признать ее виновной. Для меня это удар. Столица и империя были в запущенном состоянии, когда я принял власть. Это одичавший сад, выпалываешь, выпалываешь и видишь, как растут все новые сорняки. Отчего ты так молчалив, мой Криспин? Скажи мне что-нибудь утешительное! Владыка и бог Домициан жаждет сегодня услышать слова утешения от своих друзей.

Криспин не знал, как понять эти речи. Если Корнелию осудили, то лишь из-за того, что произошло на празднике Доброй Богини, а тогда, значит, он, Криспин,— соучастник преступления. Чего же хочет император? Может быть, это одна из его жестоких шуток?

— Я вижу,— продолжал Домициан,— у тебя язык отнялся. Это мне понятно. Со времен Цицерона ни одну весталку больше не казнили. А при мне,— подумай, сначала сестер Окулат, а теперь эту. Нет, боги не помогают мне в моем трудном деле.

Криспин спросил с усилием, и собственный голос показался ему чужим:

— Что ж, есть доказательства?

Император улыбнулся; это была долгая, многозначительная улыбка, и, увидев ее, Криспин понял, что погиб.

— Доказательства? — переспросил Домициан, пожал плечами и слегка протянул к Криспину руки, ладонями вверх.— Что ты хочешь, мой Криспин? Наш Норбан собрал ряд фактов,— косвенные улики, как они

называются у юристов, решающие косвенные улики. Но что такое доказательства? Если бы допросили Корнелию и тех мужчину и женщину, которых Норбан обвиняет в соучастии, то эти трое обвиняемых, наверно, привели бы столько же контрдоводов и не менее решающих. Что такое доказательства? — Он выпрямился, наклонился к Криспину, который сидел неподвижно, словно оледенев, и доверительно сказал прямо в лицо: — Существует одно-единственное доказательство. Оно перевешивает все, что Норбан мог бы сказать о Корнелии, и все, что Корнелия и ее соучастники могли бы привести в свое оправдание. И господа жрецы из моей Коллегии сочли эту улику достаточной. Дело в том, что я — тебе-то я могу сказать прямо, мой Криспин, — я недоволен результатами Сарматского похода. Боги не благословили моего оружия. А почему? Именно поэтому! — Он вскочил. — Потому, что город Рим погряз в грехах и распутстве. Когда Норбан сообщил мне о том, что произошло на празднике Доброй Богини, у меня открылись глаза. Я понял, почему Сарматский поход не принес той жатвы, на которую я надеялся. А что ты думаешь на этот счет, мой Криспин? Скажи честно, выложи все до конца: разве это не решающая улика?

— Да, — пробормотал Криспин; когда поднялся император, он тоже вскочил, и стоял теперь, слегка покачиваясь, его колени дрожали, худое, красивое, смуглое лицо позеленело под слоем румян. — Да, да, — бормотал он запинаясь, уже не в силах держать себя в руках, — но кто же, смею спросить, кто эти соучастники?

— А это уже другой вопрос, — ответил император хитро, но все тем же тоном дружеской искренности. — Речь, конечно, идет о том, что произошло на празднике Доброй Богини. Да это ты сам, наверно, знаешь, — заметил он словно мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, и Криспин опять почувствовал дрожь ужаса, когда император бросил ему: «Да это ты сам, наверно, знаешь». — То, что натворил этот негодяй, опозоривший праздник, — продолжал император, — в сущности, только невероятно глупое подражание подделке Клодия во времена Юлия Цезаря. И потому я до сих пор не могу поверить рассказу Норбана, как бы ни были серьезны

имеющиеся у него основания. Мне просто не верится, что в нашем Риме, в моем Риме, кому-нибудь могла взбрести в голову такая дурацкая затея. Не понимаю. Мужчины той эпохи могли простить Клодию, но моя Коллегия жрецов, мой сенат,— это должен был сказать себе каждый, у кого есть хоть капля ума,— я и мои судьи, мы такие преступления не прощаем.

Однако тут Криспин лишился сил, ноги у него подкосились, и он опустился на пол перед императором.

— Я не виноват, мой владыка и бог Домициан,— заскулил он, стоя на коленях; и повторял без конца, воя, поя: — Я не виноват.

— Так, так, так,— отозвался император.— Значит, Норбан ошибся. Или он клеветник. Так, так, так. Запятно. Это занято.— И вдруг, заметив, что Криспин, лобызая полу его халата, измазал ее краской с губ и щек, Домициан побагровел и разразился бранью: — И еще загадил мне платье своими подлыми губами, ты, проказа, ты, сын суки и пьяного ломового! — Он перевел дух, отошел от Криспина, продолжавшего лежать на полу, забежал по комнате, злобно забормотал себе под нос: — Вот благодарность тех, кого я вытащил из грязи. Моя Корнелия! Они готовы испакостить самое лучшее, что у нас есть. Они оскверняют наших дочерей. А ты, верно, не знал,— боги тебе дали пустое яйцо вместо головы,— что весталки — это мои дочери, дочери верховного жреца. Ты даже не понимаешь, египетский выродок, что ты натворил. Ты порвал мою связь с богами, ты, падаль, ты, трижды проклятый. Уже не раз ты восстанавливал против меня богов.— И тут этот медлительный мститель излил все, что в течение семи лет таил в своем сердце.— И это ты, зараза, отброс, жалкий шут, втянул меня в спор с богом Ягве тогда, семь лет назад! Только ты виноват в том, что я заставил верховного богослова так долго ждать! Разве не твое дело было указать мне, что следует его принять? А теперь ты испохабил мою весталку, ты, шакал, ты, египтянин!

Криспин забился в угол. Император, покряхтывая, двинулся на него, мясистый, грузный. Криспин прижался к стене, император пнул его ногой. Но эта босая нога в сандалии не была сильна, пинок не причинил

боли. Все же Криспин вскрикнул, и страх его был не-притворным. Вздернутая верхняя губа императора изогнулась еще презрительнее.

— Ни капельки мужества нет у этого шакала,— бросил он и отошел от Криспина.

Потом неожиданно опять вернулся, наклонился к скулившему министру и совсем тихо, шепотом, приблизив губы к самому его уху, спросил:

— Ну и как? Хоть получил удовольствие? Какая она была, эта девственница Корнелия? Очень было сладко? Вкусно? В самом деле у этих святых девственниц другой вкус, чем у остальных? Говори! Говори! — И так как Криспин лепетал: «Я же не знаю, я же...» — император снова выпрямился. — Ну ладно, конечно,— сказал он свысока, надменно,— Норбань тебя оклеветал, ты ни в чем не повинен, бедняга, ничего не знаешь. Ты мне уже все сказал. Ладно.— И вдруг, отвернувшись, бросил ему через плечо: — Можешь идти. Останешься в своей комнате. И советую принять ванну. Ты весь обмарался, трус.

— Подари мне жизнь, мой владыка и бог Домициан! — вдруг снова завыл египтянин. — Подари мне жизнь, и я отблагодарю тебя, как еще никто и никогда не благодарил.

— Такая куча навоза! — сказал Домициан, не глядя на него, с отвращением, с беспредельным высокомерием. — Смотри не вздумай сам себя прикончить, слышишь? — приказал он еще. — Да ты все равно на это не способен.

Криспин был уже в дверях, Домициан, снова обретя все свое величие, заявил:

— Что касается твоей жизни, это зависит не от меня. После того как выскажется Коллегия, будет решать сенат.

Но в то время, как император тоном судьи произносил эти бездонно иронические слова, вдруг появился карлик Силен, вероятно прятавшийся до сих пор в углу, и, встав позади императора, начал повторять его жесты. И когда Криспин в те немногие дни, которые ему еще осталось жить, представлял себе Домициана, то в мыслях своих уже не мог отделить карлика Силена от

императора. Ибо это был последний раз, когда министру Криспину было дано лицезреть Домициана, и те торжественно-насмешливые слова оказались последними, которые он услышал из его уст.

Келья Корнелии была вторая налево от входа. Как и во всех шести кельях, обстановка в ней была очень простая: только занавес отделял ее от большого зала, в конце которого находилась трапезная. Уже несколько недель тому назад замещавший императора жрец Юпитера сообщил ей, что она отрешена от обязанностей и не имеет права выходить из кельи. Из-за плотно задернутого занавеса она слышала, что обычная жизнь продолжается. Правила служения Весте были определены вплоть до ничтожнейших мелочей: как принести воду в кувшинах, которые никогда не должны были касаться земли и поэтому дно у них делали заостренным, как выливать эту священную воду, как поддерживать девственный огонь,—каждый шаг и жест в этом простом старинном святилище был предписан заранее. Поэтому Корнелия знала любой миг протекавшего мимо нее дня, ей было известно, кто из ее подруг сейчас несет стражу, кто совершит жертвоприношение, кто испечет священный хлеб. Она знала, что после ее исключения всех трех весталок, вступивших в святилище позже нее, повысили в ранге. Скоро, как только император вернется, двадцать девочек,—все моложе десяти лет, и у всех родители из древнейших родов,—будут представлены в качестве кандидаток, и одну изберут на место шестой весталки, взамен выбывшей Корнелии. Вступление в святилище Весты было одной из высочайших почестей, которыми могли награждать боги и империя. Девушки из самых древних родов добивались этой чести, вокруг той, на кого падет жребий, шла ревнивая борьба. Придется ли еще Корнелии узнать, кто заменил ее?

Но кто бы ни была эта новая, Корнелия заранее завидовала той жизни, которую будет вести она и которую раньше вела сама Корнелия,—эта жизнь была прекрасна. Ровно двадцать лет провела Корнелия в святилище;

это были однообразные, строго размеренные годы, где были расписаны каждый день, час, минута. И все же — какими чудесно-волнующими были дни этой жизни; они текли тихо, равномерно и все же были непохожи друг на друга. Она чувствовала себя подобной реке — так плавно все шло, так все было направлено, налажено, подчинено высшему закону.

Тихое, благочестивое веселье, которое народ читал на лице Корнелии, когда по большим праздникам весталки шли вместе с процессией, это тихое, благочестивое веселье, за которое ее предпочитали остальным пяти весталкам и она стала любимицей всего города, отнюдь не было маской. С первого же дня, когда ее восьмилетней девочкой привели в храм Весты, она почувствовала себя здесь как дома. Подавленности, порой как будто угнетавшей других девочек в сумраке святого храма, она не испытала ни разу. И не ощутила никакого страха во время пышной торжественной церемонии, когда ее отец Лентул передал ее верховному жрецу — им был тогда Веспасиан — и она с детским усердием повторяла за хитро и приветливо улыбавшимся стариком формулу обета, который давала богине и империи, — сохранить душу чистой и тело непорочным. Затем в течение десяти лет ее наставницей была ласковая и серьезная Юния, старшая весталка. Обязанности, возложенные на нее, были нетрудны, но их оказалось очень много, ибо если государство хотело избежать гнева богини, то не следовало упускать даже самой ничтожной мелочи. Все же десять лет — долгий срок, и можно было настолько все изучить, что каждое движение становилось естественным, как вдох и выдох. К тому же Корнелия училась усердно; ей нравился нехитрый смысл, скрывавшийся в нехитрых обрядах. Девушки учились наполнять кувшины с заостренным дном, следить за пламенем в очаге и, следуя строгим правилам, поддерживать его, учились плести венки, чтобы на празднике Весты украшать ими ослов светло-серой масти, которых приводили мельники, учились готовить освященное тесто, охранявшее женщин от беды и болезней. Все эти обязанности были легки, но их следовало исполнять с достоинством и с грацией, ибо многие обряды соверша-

лись на глазах у всего народа. Когда девственницы, посвятившие себя Весте, поднимались на Капитолий, когда они занимали свои почетные места в театре или в цирке, всегда десятки тысяч людей смотрели сперва на императора, а потом сразу же на них.

Корнелия любила обряды, и ей было приятно показываться на людях. Она умела, как никто, служить богине с благоговейным и веселым видом, словно и не ведая, что на нее устремлены сотни тысяч глаз. В душе же испытывала глубокую радость оттого, что глаза эти устремлены на нее и что она, Корнелия, никого не разочарует. Сознание того, что она — центральная фигура прекрасного, священного и веселого зрелища, наполняло ее радостью, а мысль о том, что она совершает обряды собранно и строго, как того требует благо государства, согревала ей душу.

Они, эти шесть девственниц, посвященных Бесте, как бы воплощали в себе простую торжественность и непорочное достоинство древнего римского дома, они были хранительницами очага, их защите был доверен палатий и важнейшие документы государства. Непорочность и бдительность стали для Корнелии естественными свойствами ее существа.

Весталки носили многие почетные титулы. Ей, Корнелии, дороже всего был титул *Amata*, Любимица, и она считала, что носит его по праву. Она чувствовала себя любимой не одним каким-нибудь человеком, но богами, сенатом и народом Рима. Конечно, между шестью девушками, постоянно жившими вместе, не обходилось без вспышек ревности; но даже в кругу сестер весталок она была самой любимой.

Разве что одна Тертуллия будет чуть-чуть злорадствовать из-за случившейся с Корнелией беды. Тертуллия ее всегда терпеть не могла. Как она злилась, например, когда на Капитолийских играх ей, Корнелии, выпал жребий об руку с императором подняться по ступеням, ведущим к статуе Юпитера. И как раз эта церемония не доставила ей особой радости. Конечно, Домициан выглядел необычайно величественно и она почувствовала, что рядом с императором она особенно выделяется своей строгой и веселой грацией. И все-таки у нее не было

радостно на сердце, и этот день оказался одним из немногих, когда она почувствовала, что ей не по себе; смятением, «омраченностью» назвала она в душе такое состояние. Рука человека, рядом с которым она восходила по ступеням, рука императора, верховного жреца, ее «отца», была холодной и влажной, и когда она вложила в нее свою, она ощутила страх и отвращение, — как на празднике Доброй Богини.

Да, это было предчувствием, предостережением, а не случайностью; всегда у нее вызывало эту «омраченность» все, что связано с праздником Доброй Богини. Для других весталок праздник Доброй Богини был вершиной года, Корнелия же всякий раз, когда приближался этот праздник, скорей боялась его, чем радовалась.

Праздник справляли ежегодно, зимой. Хозяйкой, принимающей гостей, бывала обычно супруга высшего должностного лица в государстве — консула: ему приходилось на два дня отдавать в распоряжение жены весь дом, сам же он не имел права переступить его порог, ибо консулу, как и любому мужчине, вход в этот дом был воспрещен под страхом смертной казни. На празднике произносились древние изречения, совершались странные жертвоприношения, исполнялись загадочные, волнующие обряды, и все — под руководством весталок. К концу ее ученичества, незадолго до того, как ей должно было исполниться восемнадцать лет, наставница Корнелии Юния открыла ей смысл и значение этих обрядов и обычаев. Оказалось, что Добрая Богиня — близкая родственница Вакха, она была богиней семейной плодovitости, и подобно тому как атрибутом Вакха служило вино, ей подобала виноградная лоза; однако ее напиток, хоть это и было вино, все же назывался иначе, а именно — «Молоко Доброй Богини». Это молоко Доброй Богини было символом домашней плодovitости и чистых, но оттого не менее сладостных любовных утех. Все это открывалось посвящаемой, и ей становились понятными таинственные, волнующие обычаи мистерий Доброй Богини. Дом первой матроны империи, в котором она принимала гостей, украшался виноградными лозами; и несмотря на то, что это проис-

ходило в середине зимы, виноград был в изобилии, он выращивался в теплицах; старинными кувшинами с заостренным дном черпали весталки молоко Доброй Богини — вино, и все женщины украшали себя виноградными листьями. Они обнимали друг друга и целовались, сперва строго и чопорно, как того требовал церемониал, они исполняли священные танцы, где каждое движение было предписано заранее. Но постепенно, когда наступал второй час празднества, женщины сплетались все более страстно, поцелуи и объятия волновали все сильнее, молоко богини лилось все более щедро. И по мере того, как шло время, праздник становился все необузданнее. Однако зимняя ночь была долгой, и когда перед рассветом весталки покидали этот дом, он был полон женщин, которые лежали по всем углам и закоулкам по две, а иногда и по три и уже не узнавали тех, кто с ними заговаривал.

Теперь, в своей одинокой келье, Корнелия пыталась восстановить в точности порядок событий, которые произошли во время последнего праздника богини и первернули всю ее жизнь.

Мелитта, ее вольноотпущенная, доложила ей, что какая-то женщина ожидает ее в будуаре хозяйки дома, Волузии. «Какая женщина?» — спросила тогда Корнелия. «Необычная женщина, — ответила Мелитта, — она хочет поговорить о необычном деле и попросить необычной помощи». При этом Мелитта улыбалась особенной многозначительной улыбкой. Говоря по правде, именно из-за этой улыбки она теперь сидит одна в своей келье, отрешенная от служения богине. Итак, она направилась в будуар Волузии, ступая не со всегдашней своей невесомостью, ибо вкусила молока Доброй Богини, но все же легко. Ее белая одежда во время пляски разорвалась, видны были ноги, и она помнила, как старалась на ходу свести упорно расходившиеся края ткани.

Почему-то, идя в будуар Волузии, она вспомнила о сенаторе Дециане, об этом сдержанном, спокойном человеке, который всегда приветствовал ее так почтительно и даже больше чем почтительно. А между тем, что было общего у этого человека с празднеством и с мистериями Доброй Богини?

Женщина, ожидавшая ее в будуаре Волузни, понравилась ей. Она была высока и стройна, смугло-оливковая, с многоопытным взглядом и многоопытными губами; Корнелия это поняла, когда та приветствовала ее поцелуем Доброй Богини, и тотчас сознание у нее «омрачилось» сильнее, и опять возникло то особое ощущение страха, с которым для нее всегда был связан праздник Доброй Богини.

— Это большая дерзость с моей стороны, — сказала женщина, — но я вынуждена просить вас, именно вас, госпожа моя и Любимица Корнелия, посвятить меня подробнее в мистерии Доброй Богини. Я просто не смогу больше спать, если не узнаю об этих мистериях побольше.

— Знакомы ли мы, госпожа моя? — обратилась к ней, в свою очередь, с вопросом Корнелия.

— И да и нет, — ответила незнакомка, схватила Корнелию за руку, обняла и стала гладить, как было принято на празднестве Доброй Богини. И, очутившись в объятиях, Корнелия вдруг заметила, что грудь у незнакомки совсем плоская.

Весталка была наивна, в ее воображении жили образы древних времен, когда земной круг еще населяли боги и легендарные существа, и она сначала решила, что это уцелевшая амазонка. Поздно, слишком поздно поняла она весь ужас происшедшего в действительности. Все они, конечно, слышали про Клодия, который когда-то, во времена великого Юлия Цезаря, переодевшись арфисткой, пробрался на праздник Доброй Богини. Но это случилось в стародавние времена, столь же неправдоподобные, как век богов и полубогов. И чтобы такая же история могла повториться сегодня, в реальном и осязаемом современном Риме, невозможно было себе представить.

И когда это все же произошло, она словно оцепенела. И не могла стряхнуть оцепенения. До сих пор она не знала точно, что именно случилось, это было и реально и вместе с тем нереально, она все еще не могла понять происшедшее, но она ощущала, продолжала ощущать его каждый день, каждый час. Это не были образы или картины, накопившиеся в пей в результате

совершившегося, а скорее чувства, волнения, смутная, мучительная, пугающая неразбериха — отталкивание, отвращение и крошечная капля любопытства, смешанные и перепутавшиеся.

Ее изнасиловали, в этом сомневаться не приходилось. Может быть, ей следовало закричать. Но если бы она закричала — все бы узнали, что праздник Доброй Богини осквернен, а столь зловещее предзнаменование могло стать источником великой беды для похода и империи. И лучше, что она защищалась молча, упорно, задыхаясь. Она защищалась изо всех сил, а она была сильная. Но все время чувствовала себя словно оглушенной этим чудовищным, невыносимым кошмаром. Мешала ей также тяжелая старинная одежда. Когда все уже кончилось, ее сейчас же и больше всего испугало то, что священное одеяние на ней было осквернено следами преступления, осквернено в самом буквальном смысле слова, так же, как и ее кожа.

Ей казалось, что злодеяние продолжалось целую вечность, а на самом деле все произошло очень быстро. О внешних последствиях она в ту ночь еще совсем не думала. Заметили остальные ее отсутствие и потом ее смятение или нет — это ее не заботило. Лишь на другой день, когда явилась Мелитта и закликала Корнелию ради собственного блага спасти ее, Корнелия поняла опасность, ей угрожавшую. Она послала с Мелиттой письмо Дециану. Результатов она не знала. Осталось только воспоминание о кратком и вечном объятии той «женщины» и несколько беспорядочных фраз Мелитты. Больше никто не говорил с ней о событиях той ночи и об их последствиях. И верховный жрец Юпитера также не объяснил ей, почему заточает ее за занавесом кельи.

Что с ней теперь будет? Как и все весталки, она всегда думала о далеком будущем только так: после кончины воздвигнут каменную статую с надписью: «Чистейшей, стыдливейшей, целомудреннейшей, неунынно бодрствовавшей девственнице Пульхре Корнелии Коссе». А теперь ей придется спуститься в подземелье возле Ворот у холма; ибо когда она во время процессии вложила руку в руку владыки и бога Домитиана,

она почувствовала, что он ее не любит, и он, конечно, не допустит, чтобы она, как те милые и любимые сестры Окулаты, сама выбрала себе смерть. Ее, скорее всего, замуруют, оставят кувшин воды и немного пищи, над ее темницей, в которой она будет подыхать жалкой смертью, расстелют ивовую плетенку, и случайные прохожие будут со страхом и отвращением обходить ее могилу.

И все же она не нарушила своих обетов. Ведь того, что случилось, она не хотела, ее принудили, она не повинна. А может быть, ничего и не произошло, Корнелия не знает, может быть, все это она вообразила в своем «омрачении». Быть может, если она предложит суду жрецов подвергнуть ее испытанию, оно ей удастся, как некогда удалось весталке Тукции, и она сможет зачерпнуть решетом воду в Тибре и принести ее жрецам.

Нет, все это фантазии. Беда произошла в действительности, ее не допустят до испытания, сама Судьба ополчилась против нее, Судьба захотела этой беды, никто не спросит о ее намерениях, и ее замуруют в темнице.

Вдруг кто-то приподнял занавес, чья-то рука просунула в келью поднос с кушаньями и кувшин молока. Корнелия узнала заботливую руку, это была рука Постумии. Кушанья были приготовлены с любовью, ее любимые кушанья, их заботливо прикрыли крышками, чтобы они не остыли. Другие весталки любили ее, жалели. «Amata», «Любимица» — она носила этот титул по праву.

Нет, не воздадут ей жреческих почестей на Аттической улице, не поставят почетного памятника, ее имя будет стерто со всех камней и со всех бумаг. И все же остальные будут о ней вспоминать, часто, с любовью, даже ненависть Тертуллии окажется бессильной. Они будут вспоминать о ней, замешивая священное тесто, и первого марта, обновляя огонь богини; как бы ей хотелось дожить до этого первого марта! И, перешептываясь, они назовут ее имя, робко, тайком, с нежностью, когда будут черпать воду и потом освящать ее и когда будет сменяться стража у очага Весты.

Эта мысль немножко успокоила Корнелию, и она с удовольствием ела вкусные кушанья. Потом она заснула, и на ее молодое лицо легло то выражение серьезного и радостного покоя, которое снискало ей любовное почитание народа.

В первое время после Сарматского похода император мало бывал в Риме, он почти постоянно находился в своем Альбанском поместье. И если раньше он охотнее всего простаивал перед клетками зверей, то теперь предпочитал бродить по тому огромному участку парка, из которого его главный садовник-топиарий Феликс совершенно изгнал первобытную природу, превратив его в своего рода гигантский ковер. Клумбам, живым изгородям, аллеям были приданы очертания геометрических фигур. Изящные и чопорные, стояли самшиты и тисы, подстриженные в виде конусов и пирамид, высились сухощавые и прямые кипарисы, из всевозможных цветов и растений были составлены имена, фигуры, даже целые маленькие картины. Дорожки были тщательно посыпаны гравием, а оставшуюся незасаженной большую часть парка замостили. Тут были водоемы и фонтаны, всевозможные уютные уголки для отдыха, круглые скамьи, искусственные гроты и руины, беседки, сложенные из камней пни, был даже лабиринт. Голубели пруды с лебедями и цаплями, на широких белых мраморных лестницах распускали хвосты павлины. Галереи с фресками там и сям пересекали сад. Террасы и лестницы связывали между собой отдельные части этого гигантского парка, раскинувшегося на холмах, деревянные и каменные мосты, изгибаясь, перекидывались через ручьи, и весь парк полого спускался к озеру. Все здесь было изящно, манерно, чопорно, торжественно, декоративно, пышно.

Когда Домициан прогуливался по своему саду, его восхищала мысль о том, что можно до такой степени изменить и укротить все живое, ввести его в предначертанные человеком границы. И если его топиарию Феликсу удалось совершать такие чудесные превращения с живыми цветущими растениями, то неужели ему, римскому императору, не удастся изменить людей

согласно своей воле, ему, новому Прометею, вылепить их в соответствии с его волей и опытом?

Вот каким размышлениям предавался император, бродя по своим садам в Альбане. С ним был его карлик, в некотором отдалении следовал главный садовник, а еще подальше — рабы с носилками, на случай, если император устанет. Прогулка продолжалась долгие часы. Довольный, рассматривал он беседки, гроты, всю эту измельченную, вымуштрованную природу. Время от времени он ощупывал вьющиеся растения: плющ, лианы, вьющиеся розы, вынужденные расти так, как им приказывал человек. Потом подзывал главного садовника, требовал объяснить ему то-то и то-то, радовался, слушая описания того, как можно принудить даже высокие, мощные деревья принимать облик, который предписывает упорядочивающий человеческий разум.

Но охотнее всего он задерживался в оранжереях. Все там правилось ему: искусственная зрелость, искусственная жара, хитроумное стекло, улавливающее солнечные лучи. С задумчивым удовлетворением узнавал он, что можно таким образом заставить деревья и кусты зимою приносить те плоды, которые обычно созревают только летом. В этом был некий успокоительный для него символ. В одной теплице он приказал поставить ложе, и однажды он лежал на нем и подремывал, когда к нему пришла Луция.

Отношение к ней императора снова стало угрожающим, в нем таились такие бездны, что она бы не удивилась, если бы Фузан вдруг решился нанести ей второй, смертельный удар.

Началась эта перемена с того времени, когда он приказал казнить принца Сабина. Так как Домициан чувствовал себя виноватым перед Юлией, он долго щадил Сабина, хотя Норбан за много лет успел собрать против принца достаточно улик, чтобы провести через сенат смертный приговор. Но лишь после того, как участие Сабина в путче Сатурнина было неопровержимо доказано — в руки Норбановых агентов попало письмо, где этот безрассудный и высокомерный принц соглашался на предложение генерала стать императором вместо Домициана, — Домициан решил прикончить его. И

тут Луция допустила грубую ошибку. Она не могла поверить, что Сабин сделал такую глупость, она все объяснила чистым произволом Домициана и упрекнула его в том, что он устранил кузена, ревнуя к нему Юлию. Это было с ее стороны явной несправедливостью, и потому он надолго получил преимущество перед ней.

Но по-настоящему опасными стали их отношения только после роковой кончины Юлии. А случилось это так: после смерти Сабина Юлия снова забеременела, причем, судя по срокам, всякое сомнение в отцовстве Домициана исключалось. Домициан намеревался ребенка усыновить и поэтому не хотел, чтобы тот родился на свет незаконным. Он предложил Юлии вступить в новый брак. Юлия же, которой и в первом браке немало пришлось вытерпеть от ревности Домициана, отказалась. Домициан хотел навязать ей мужа по своему выбору. Она воспротивилась. Императором овладел приступ ярости. До сих пор он терпел возражения только от одного-единственного человека — Луции. Он не собирался мириться с тем, чтобы и Юлия, пользуясь своей беременностью, стала зазнаваться, словно вторая Луция. Скорее он откажется от сына. После двух бешеных объяснений он заставил Юлию вытравить плод. От этой операции Юлия и умерла.

Домициана мучила эта смерть, так как он был в ней повинен. Но он ни за что не хотел, чтобы это заметили, особенно Луция, и однажды спросил ее с иронией:

— Ну как, моя Луция, вы довольны, что отделались от Юлии?

Императрица всегда терпеть не могла Юлию и держалась с ней, хоть и непринужденно, но слегка насмешливо и высокомерно. Однако смерть Юлии возмутила ее, женщина в ней восстала против мужского произвола Домициана, а его дурацкий вопрос окончательно вывел ее из себя. Она не пыталась скрыть свои чувства, ее ясное, крупное лицо выразило негодование, и она сказала:

— Твоя любовь, Фузан, как видно, не идет на пользу тем, кого она постигает.

Если в деле Сабина он простил Луции ее обвинения, оттого что они были нелепы и несправедливы, то заме-

чание насчет Юлии ранило его тем глубже, что это была правда. Враждебность, таившаяся с самого начала в его отношении к Луции, обострилась, и с тех пор в его объятиях было столько же гнева, сколько желания. А Луции это нравилось. Домициана же грызло сознание, что он не в силах от нее оторваться; когда он бывал с нею, то казался самому себе ничтожеством; стараясь обуздать себя, брал ее в объятия все реже и в конце концов все-таки свел свои встречи с ней к тем случаям, когда им приходилось показываться вместе публично. Свидания становились все более формальными, настороженными, оба постоянно были начеку. И вот прошло уже немало времени, больше месяца, как Луция совсем не видела императора.

Поэтому было большой смелостью проникнуть к нему без доклада, и не очень-то легко она миновала многочисленных караульных и камергеров, а теперь с тревожным напряжением ждала, как он будет держаться с ней.

— Вы здесь, моя Луция? — приветствовал он ее, и она уже по его голосу заметила, что он удивлен скорее приятно, чем неприятно.

Так оно и было. Если Домициан за последние месяцы избегал объяснений с нею, то лишь из боязни, что она будет выкладывать ему истины, которые он не был склонен выслушивать. На этот раз он догадался, что она явилась из-за Корнелии, — они состояли в родстве, и Луция очень любила девушку, как и все римляне, — а в деле Корнелии он чувствовал себя уверенно; возможность объясниться с Луцией по этому поводу даже радовала его.

И действительно, после первых же фраз она заговорила о Корнелии. Не обращая внимания на сидевшего в углу Силена, она заговорила с Домицианом об этой истории с весталкой и даже слегка польстила ему: но ей надо было спасти Корнелию.

— Я допускаю, — начала она, — что вы хотите припугнуть сенат, показать, что как бы в империи кого-нибудь ни любили и ни почитали, вас это не остановит. Кроме того, ваша цель, вероятно, показать сенату, что вы, кто бы перед вами ни был, остаетесь строгим блю-

стителем римских традиций. Но вы слишком умны и, конечно, понимаете сами, что в этом деле ставка и выигрыш несоизмеримы. Даже в лучшем случае вы выиграете меньше, чем потеряете в любом случае. Пощадите Корнелию!

Домициан осклабился.

— Занятно вы себе это представляете, — сказал он, — занятно. Но вы разгорячены, моя Луция, боюсь, что пребывание в теплице вам вредно. Разрешите предложить вам прогуляться по саду?

Они вошли в платановую аллею и были теперь совершенно одни, император резким движением разогнал всех окружающих.

— Я знаю, что в Риме именно так и толкуют о моих намерениях, — бросил он мимоходом, — но уж вам, моя Луция, не следовало бы повторять этот вздор. Ведь дело яснее ясного. Речь идет о религии, о нравственности — и только. Я отношусь к своему сану верховного жреца очень серьезно. Святыня Весты, ее очаг вверены моей охране. Я могу простить, когда дело касается моего собственного очага, — он взглянул на Луцию с вежливой и злобной улыбкой, — но я никак не могу этого сделать, если встает вопрос о чистоте очага, воплощающего в себе непорочность целого.

Домициан хотел было свернуть на боковую дорожку, но Луция предпочла пойти обратно по платановой аллее, и он послушно за ней последовал.

— А вы не замечаете, — спросила она, — что ваши поступки... ну, скажем... противоречивы? Человек, ведущий такой образ жизни, — говорят, что совсем недавно вы забавлялись с несколькими женщинами сразу, да еще в присутствии слепого Мессалина, и что вы дразнили и изводили слепца, требуя от него, чтобы он угадывал, с какой и как... Так вот, человек, который ведет такую жизнь, производит довольно странное впечатление, если берет на себя роль судьи над весталкой Корнелией.

— А я еще раз советую вам, дорогая Луция, — мягко отозвался Домициан, — не прислушивайтесь к гнусным сплетням моих сенаторов. Уж вам-то лучше всех известно, что следует различать между Домициа-

ном — частным лицом, который в редкие свободные часы предается удовольствиям, и владыкой и богом Домицианом, цензором, поставленным богами, чтобы судить нравы, образ жизни и традиции империи. Не я преследую Корнелию, у меня нет к ней ни любви, ни ненависти, я к ней совершенно равнодушен. Ее преследует государственная религия, империя, Рим, чистый огонь которых она должна была охранять. Вы обязаны это понять, моя Луция, и вы, я уверен, понимаете. Судьбою и богами установлены определенные различия. Не все, у кого не растет борода и есть женское лоно, одинаковы: женщина, пользующаяся правом римского гражданства, *mater familias*, и тем более весталка, — это нечто совсем другое, чем все прочие женщины на свете. Прочие могут делать все, что им угодно, могут блудить, как мухи на солнце, могут уступать кому и когда угодно. Они живут только нижней половиною тела. Но римская гражданка и в особенности весталка живут только верхней своей половиной. Не следует стирать различия, путать меры и мешать веса. Пусть Домициана как частное лицо меряют хоть тою же мерой, что и любого каппадокийского носильщика; но я запрещаю, я протестую против того, чтобы мое времяпрепровождение в свободные часы бросали на одну чашу весов с деяниями бога Домициана.

Они все же углубились в боковую дорожку.

— Благодарю вас, — ответила Луция, — за то, что вы просветили меня и наставили. Удивляет меня только одно: почему вы не разрешаете римским гражданам того, что разрешаете себе? Почему бы и римской гражданке не делать различия между ее времяпрепровождением в свободные часы и деяниями, совершаемыми в качестве римской гражданки? Почему бы и ей не разрешить себе раздвоения, как раздваиваетесь вы, и жить то как римская гражданка — одной верхней половиною тела, то как самка — одной нижней?

Но Домициан не уступал.

— Пойми же меня, моя Луция, — продолжал он молящим тоном. — Ведь только сознание своего долга, живущее в государстве, в верховном жреце, выносит Корнелии приговор, только оно. В этом обществе, в этой

аристократии, растленной множеством дурных правителей, я хочу снова пробудить дух строгости, простоты, чувство долга, которые были у наших предков. Вернуть народ в лоно религии, семьи, к добродетелям, скрепляющим настоящее и будущее. И с большим правом, чем об эпохе Августа, скажут об эпохе Домициана:

Не бесчестит семья любодеение.

Добрый нрав и закон — цепь для распутников.

Матери родовым сходством детей горды.

За виной кара следует.

Своим резким, высоким голосом он с некоторым пафосом цитировал Горация.

Но тут Луция уже не выдержала и разразилась своим грудным, звучным смехом.

— Извини, — проговорила она. — Я верю, что у тебя самые добрые намерения. Но право же, эти стихи звучат смешно в устах человека, который был любовником Юлии и поныне остается мужем Луции. — И так как Домициан густо покраснел, она продолжала: — Я не хочу тебя обижать, клянусь Геркулесом, я пришла сюда не для того. Но неужели ты воображаешь, что можно всякими административными мерами повысить нравственность римлян? И что наш нынешний Рим, нашу современность, эпоху Домициана — все это можно вернуть вспять и превратить в другую эпоху, по твоему желанию? Тогда тебе пришлось бы перерыть весь Рим и запретить три четверти того, что в нем принято. Ты что же — хочешь убрать проститутку, закрыть театры, запретить комедии о супругах-рогачах? Хочешь, чтобы соскребли с фресок в домах любовные похождения богов? Ты воображаешь, что, замуравов Корнелию, действительно чего-то достигнешь? Я не знаю, в чем ты можешь ее обвинить; но знаю твердо — в одном мизинце моей кузины Корнелии больше непорочности, чем в тебе и во мне, вместе взятых. Когда Корнелии не станет, народ почувствует, что такое истинная непорочность. А когда он видит тебя, какие бы строгие законы ты ни издавал, боюсь, он этого не чувствует.

— Не думаю, чтобы ты была права, — отозвался он, стараясь подавить злобу и говорить сдержанно. — Но

будь что будет, а я хочу проучить твоих сенаторов и показать им, что их знатность дает не только привилегии, но и накладывает определенные обязанности. Допустим, я разрешаю себе те или иные удовольствия; но человек, настолько мне близкий, как ты, должен бы знать, что император Домициан отказывает себе в тысяче наслаждений, разжигающих кровь, и берет на себя вместо того тысячекратное бремя. Ты думаешь — шутка этот Сарматский поход? Тебя даже здесь знобит, под римским солнцем; а побывала бы ты у сарматов, тогда узнала бы, что такое стужа. И ты бы поглядела на варваров, с которыми нам пришлось воевать. Бывало, увидишь трупы этих негодяев на поле боя или посмотришь на пленных, так мороз по коже подирает, и тогда понимаешь, какой ты подвергался опасности. Нужно иметь поистине мужественное сердце, чтобы смотреть, как на тебя мчится десять тысяч этих полулюдей со своими дьявольскими стрелами. Неужели ты думаешь, любовь моя, что я охотнее не оставался бы с тобой в постели, вместо того чтобы ехать на оскальзывающейся лошади по сарматским обледенелым полям сражений? И если я требователен к себе, то буду требователен и к своим сенаторам. — Домициан остановился, — под изящно подстриженными деревьями он казался очень рослым, — и произнес целую речь: — Эти господа распустились. Вся их служба государству состоит в том, что они по жребию распределяют между собой провинции и дочиста их обирают. Но долго я с этим мириться не буду. Тот, кто принадлежит к знати первого ранга, не имеет права растрачивать свои силы на любовные похождения или на бабьи мечты и раздумья о суевериях минеев и им подобных, он должен беречь свои силы для государства. Человеку доступно лишь одно: или служить государству, или предаваться своим страстям. Только бог вроде меня может сочетать и то и другое. В обществе, которое будет вести себя так, как наша знать, в конце концов не останется ни чиновников, ни солдат, а одни только сластолюбцы. Империя погибнет, если ее знать будет разлагаться и дальше.

На смелом, ясном лице Луции появилось то выражение насмешки, против которого он был бессилен.

— И, значит, ради этого ты погубишь Корнелию? — спросила она.

— И ради этого тоже, — ответил он, но уже более миролюбиво.

Мягко и властно увлек он ее прочь из освещенной части сада в один из гротов, в его тень, подальше от яркого света весеннего дня.

— Я хочу кое-что сказать тебе, Луция, — заговорил он доверительно, почти шепотом. — Эти восточные боги, этот Ягве и бог минеев, ненавидят меня. Они опасны, и если я вовремя не приму мер, они меня погубят. Но чтобы устоять против них, мне нужна поддержка всех наших богов. Я не могу допустить, чтобы Веста сделалась мне врагом. Не имею права оставить безнаказанным ни одно преступление против нее. И если я хочу в нынешнем году отпраздновать Юбилейные игры, это может совершиться только в чистом Риме. И я не остановлюсь на полпути. Господа сенаторы, чьи мнения ты так охотно передаешь мне, в первые годы моего царствования говорили, что я — строгий император. После того как я покарал участников заговора Сатурнина, они стали говорить, что я жесток. А если они доживут до поздних лет моего царствования, им долго придется искать подходящее слово, чтобы выразить свое мнение обо мне. Но это не заставит меня свернуть с моего пути. Я обдумал каждый шаг. Худую траву из поля вон. Сенаторы будут тщательно проверены. Я вытопчу восточное распутство. Кое-кто жестоко поплатится за свое заигрывание с восточными суевериями. В моем лице Юпитер обрел верного слугу.

Все это он говорил вполголоса, но от него исходила такая сила решимости, такая загадочная и властная вера в свое предназначение, что он нисколько не казался Луции смешным. Она поспешила выйти из грота на свет, и ему поневоле пришлось за ней последовать.

— Ну ладно, Фузан, ладно! — сказала она, слегка проводя крупной рукой по его все более редющим волосам, и тоном, в котором звучали и уважение и ирония, добавила: — Во многом ты, может быть, даже и прав. Но все-таки в том, что ты задумал сделать с Корнелией, ты определенно не прав. Корнелия — первая любимица

всей империи. Народ, который тебя любит, будет любить тебя гораздо меньше, если ты действительно прикажешь исполнить приговор над ней. Не делай этого! Ты за это заплатишься.

Она машинально попыталась разрыхлить башмаком еще по-зимнему твердую землю, это ей не удалось. По ее телу пробежала легкая дрожь. Лечь живой в эту землю, а сверху тебя накроют ивовой плетенкой!

Домициан улыбался своей угрюмой, надменной улыбкой.

— Не бойтесь, моя Луция,— сказал он.— Мой народ меня не разлюбит. Давайте биться об заклад? Разрешите мне вам напомнить о нашем разговоре, если я окажусь прав?

Сенаторы с большой неохотой собрались на заседание, где им предстояло вынести приговор Корнелии и ее сообщнику Криспину, ибо Коллегия пятнадцати признала обоих виновными. Им претила необходимость подтвердить своим авторитетом это сомнительное решение и ту варварскую кару, на которой, видимо, настаивал император. Однако Домициан довел до их сведения, что будет присутствовать на заседании, и это недвусмысленное предупреждение заставило сенаторов явиться почти в полном составе.

Весьма недовольным казался и народ. Возле курии, где должно было происходить заседание, собралась большая толпа, и даже императора не встречали, как обычно, почтительными приветственными возгласами, вокруг него слышался лишь взволнованный шепот или воцарялась враждебная тишина.

С самого начала заседания сенат вел себя слишком вольно. Первым взял слово Гельвидий. Он должен сделать избранным отцам некое сообщение, сказал Гельвидий, оно в корне изменит весь подход к тому делу, ради обсуждения которого они здесь собрались. Нет больше нужды выносить приговор гофмаршалу Криспину, министру императора. Получены точные сведения о том, что он не стал дожидаться приговора сената и умер, вскрыв себе вены.

Председательствующему консулу не удалось соблюсти порядок в ведении заседания. Сенаторы повскакали с мест, все что-то говорили, кричали, перебивали друг друга. Лучшего повода, чтобы уклониться от поставленной перед ними тягостной задачи, нельзя было придумать. Единственный свидетель, который мог бы показать против Корнелии, исчез, вердикт жреческого суда терял смысл, как же тут вынести приговор? Лишь с большим трудом удалось консулу восстановить порядок.

Мессалин попытался найти выход. Он был опытный оратор, он стал доказывать, что более ясное признание своей вины, чем это самоубийство, трудно себе представить, и именно после того, как один из виновных уклонился от кары, необходимо, чтобы смягчить гнев богини, еще строже наказать соответчицу перед лицом Рима и мира. Однако его речь не подействовала. Тревога только усилилась. С улицы,— двери были, согласно закону, раскрыты, чтобы народ мог следить за обсуждением,— с улицы доносились голоса спорящих и взволнованные крики толпы; и в стенах сената, и на улице люди горячо доказывали, что если кто и оскорбил богиню, так это Криспин, который сейчас таким сравнительно благополучным и угодным императору способом покончил с жизнью.

А в курии тем временем Мессалину отвечал Гельвидий. Совершенно непонятно, заявил он, каким образом Коллегия пятнадцати, арестовав Криспина, не установила более строгого надзора за ним, чтобы помешать самоубийству. Испуганные столь смелыми словами, сенаторы смотрели на императора. А тот сидел, побагровев, и в ярости сосал нижнюю губу; он злился на своих дерзких сенаторов и на самого себя, он хотел пощадить Криспина и облегчить ему самоубийство, но, как с ним бывало нередко в подобных случаях, он, скрытничая даже с самим собой, давал недостаточно ясные указания. А Гельвидий сделал вывод: «Теперь,— заявил он,— после столь загадочной смерти Криспина, сенату остается только возвратить дело весталки Корнелии в Коллегию пятнадцати для пересмотра».

Затем слово взял Приск, и после горькой и гневной речи Гельвидия деловитость и конкретность знамени-

того юриста показалась вдвое убедительнее. Этот случай, рассуждал он своим высоким, резким и четким голосом, не имеет прецедентов. Дело было передано на рассмотрение сенату, поскольку обвинялся гофмаршал Криспин и его сотоварищи, и совершенно неправильно было бы теперь вдруг отрывать от целого вопрос о весталке Корнелии. Для этого понадобилось бы новое следствие и новые предписания от жреческого суда. А вообще он вынужден признаться, что, несмотря на свое уважение к приговору жрецов, он явился на это заседание с глубокими сомнениями. Его, человека, благоговейно взирающего на деяния божества и видящего высокий смысл и взаимосвязь во всем, что происходит, с самого начала смущало одно тягостное противоречие. Если бы какая-либо из весталок действительно совершила грех и тем самым навлекла гнев богов на сенат, народ и на императора, то как же тогда объяснить, рассуждал он с коварной последовательностью, что владыка и бог Домициан смог одержать столь блистательные победы в Сарматской кампании?

Этот ход как будто опирался на неуязвимую достоверность фактов, и вместе с тем трудно было представить себе более злобную и жестокую издевку над Домицианом,— каждый римлянин это понимал и радовался ей, и сам Приск с величайшим удовлетворением сообщил зычным, трубным голосом свои соображения сенаторам, а потом выкрикнул их на весь мир. Домициан услышал их, понял все, его сердце на миг перестало биться, но теперь самому Приску предстояла горькая расплата за его сладостную месть; ибо с этой минуты императору стало ясно, что скоро, очень скоро он отправит и Приска следом за Сабинном, Элием и другими, осмелившимися над ним посмеяться.

Выступил Мессалин, он пытался опровергать Приска и вернуть в обычную колею разбушевавшийся сенат. Неужели, начал Мессалин, он вынужден напоминать высокому собранию, которое так ревностно защищает свои права, что оно стоит перед созданием опасного прецедента, намереваясь вмешаться в компетенцию не менее высокой и вполне самостоятельной корпорации? Конституция не дает сенату права рассмат-

ривать основания, по которым господа жрецы могут выносить свои приговоры. Сената эти основания ни в какой мере не касаются, хитроумные, формально юридические возражения, подобные тем, которые только что привел уважаемый сенатор Приск, может быть, и имели бы вес по отношению к светским судьям, но они пусты и лишены содержания, если дело касается Коллегии пятнадцати, ибо она выносит свои решения, следуя воле богов и под их водительством. Решение Коллегии пятнадцати принимается навечно, оно не подлежит кассации, а сенаторам остается только на его основе вынести приговор.

С величайшей неохотой приступил сенат к рассмотрению этого ненавистного ему дела. Было заслушано несколько предложений, имевших целью снять с сената ответственность. В результате приговор был сформулирован так искусно, что вся ответственность действительно легла на императора. Приговор гласил, что весталка Корнелия подлежит такому же наказанию, как в свое время сестры Окулаты. Они же, хоть и были приговорены к предписываемой законом казни — к замурованию, однако императору сразу же была подана просьба о смягчении их участи, и фактически именно Домициан назначил им род смерти. Итак, сенат благодаря своему двусмысленному решению не сам приговорил Корнелию к жестокой каре, — он свалил ответственность за способ казни на императора.

Напуганные собственной смелостью, смотрели сенаторы на Домициана. Как того требовал закон, председательствующий консул спросил, одобряет ли император, в качестве верховного судьи и жреца, этот приговор и велит ли привести его в исполнение. Все с тревожным ожиданием глядели на крупное багровое лицо императора. Норбан, сидевший позади него и несколько ниже, повернулся к нему, готовый на лету поймать его ответ; но ему и не пришлось этот ответ сообщать сенату. Все увидели, как тяжелая багрововицая голова кивнула в знак согласия, еще до того, как Норбан обратился к нему с вопросом.

Итак, консул объявил приговор, государь его утвердил, писцы записали, палач приготовился к казни.

До сих пор народные массы любили императора. Даже кровавая суровость, с какой он наказал участников заговора Сатурнина, встретила понимание. Но казнь Корнелии понимания не встретила. Римляне роптали. Норбан попытался вмешаться, однако римляне не давали заткнуть себе рот, они бранились и роптали все громче.

Рассказывали трогательные подробности казни Корнелии. Когда она спускалась по ступенькам в свою могилу, ее платье за что-то зацепилось. Один из палачей, приводивший приговор в исполнение, хотел было ей помочь отцепить его; но она оттолкнула его руку с таким омерзением, что каждому должно было стать ясно, до какой степени ее чистое существо страшилось любого прикосновения мужчины. Этот рассказ настолько запечатлелся в сердцах людей, что две недели спустя, когда во время постановки «Гекубы» Еврипида прозвучал стих: «Она старалась умереть достойно», — публика разразилась бурными демонстративными аплодисментами. Впрочем, прошел слух, что друзья — называли даже имя самой Луции — успели сунуть Корнелии пузырек с ядом, и ее чистота и достоинство произвели на стражу такое впечатление, что они не решились этот яд у нее отобрать. Кроме того, оказалось, что Криспин перед смертью отправил многим друзьям письма, в которых утверждал, что умирает невиновным. Копии этих писем читались по всей стране. Уже ни один человек не верил в вину Корнелии, а императора считали бесноватым и безрассудным тираном.

День ото дня становилось все яснее, что Луция была права и за казнь Корнелии императору придется заплатить своей популярностью. До сих пор народные массы относились к оппозиционным сенаторам вполне равнодушно и даже враждебно. Теперь народ сочувственно приветствовал госпожу Фаннию и госпожу Гратиллу, где бы они ни появлялись. Была поставлена пьеса «Парис и Энона», полная намеков на отношения императора с Луцией и Юлией, и спектакль имел неслыханный успех. На улице с сенатором Приском заговаривали совершенно незнакомые люди и высказывали пожелание,

чтобы он опубликовал свою речь, произнесенную в сенате в защиту Корнелии.

Правда, пойти так далеко Приск не решался. Однако он выполнил то, что обещал старой Фаннии, — больше не таить своего гнева и распространить «Жизнеописание Пета». Он вручил свой труд Фаннии, для которой и писал его, и согласился, чтобы она ознакомила с этой книжечкой других. Вскоре копии с нее ходили по рукам во всем государстве.

А в этой книжечке была описана красиво и ясно жизнь республиканца Пета. Как этот человек, воспитанный в строгом староримском духе, когда тирания Нерона стала уже нестерпимой, отказался посещать заседания сената, чтобы выразить свое отношение к ней. И хотя он молчал, молчал, молчал, но все его существо вместе с тем выражало глубокое недовольство порядками в государстве. Как Нерон в конце концов обвинил его и приказал казнить. И как он хладнокровно, даже радуясь, что ему уже не придется больше жить в этом опустившемся Риме, вскрыл себе вены и умер, сохраняя мужество стойка. С тех пор прошло двадцать семь лет. В своей биографии Пета Приск не сказал худого слова про Домициана, он ограничился обстоятельным и точным изображением жизни своего героя, используя данные, которые получил от Фаннии, дочери Пета. И все же именно благодаря этой деловитости его труд стал единственным в своем роде чудовищным обвинением против Домициана, и так именно его и поныли, с таким ощущением и читали.

Если до сих пор такие дерзкие выпады совершались лишь отдельными лицами, то затем весь сенат в целом поднялся на открытую борьбу против императора. Толчком послужил случай с губернатором Лигарием.

Этому Лигарию, одному из своих любимцев, Домициан поручил управление провинцией Испанией, и тот употребил власть на то, чтобы беззастенчиво грабить страну. И вот в Рим прибыли представители этой провинции с жалобой сенату на бесчестного губернатора. Раньше, когда уважение к Домициану еще не было подорвано казнью Корнелии, сенат едва ли допустил бы такой процесс против любимца императора. Но теперь,

когда сенат чувствовал, что с каждым днем его сила растет, он не только вынудил у императора согласие на этот процесс, но предал его самой широкой гласности.

Выступить в защиту провинции Испании сенат поручил Гельвидию. Тот пустил в ход свое неистовое красноречие, сенат выслушал его и согласился почти со всеми приведенными им доказательствами. До мельчайших подробностей были вскрыты все вымогательства, которыми занимался в несчастной Испании Лигарий, друг и любимец императора. С тайным торжеством слушал сенат, как Лигария уличают и позорят. Когда расследование было закончено, то стало совершенно ясно, что сенат, собравшись через две недели на очередное заседание, приговорит любимца императора не только к возмещению награбленных денег и земель, но, помимо того, к конфискации имущества и к изгнанию.

Этот выпад был направлен уже прямо против Домициана, — а ведь всего несколько месяцев тому назад никто бы и помыслить об этом не смел. Правда, в государственном архиве лежали таблицы с текстом закона, предоставлявшим императору такие права, которые до сих пор, с самого основания города Рима, еще не были сосредоточены в руках одного человека, но Домициан понимал, что этой полнотою власти воспользоваться не смеет. Наоборот, уже два поколения сенаторов не решались оказывать такое сопротивление государю, как нынешний состав сената.

Император находился в Альбане, он лежал, вытянувшись, на ложе, которое приказал поставить себе в теплице. Он обдумывал все, что произошло, и спрашивал себя, как могло это произойти. Уж не слишком ли он занесся? И Луция права? Нет, она не права. Нужно только найти силы, чтобы сдержать себя и не обрушить удар преждевременно, нужно набраться сил и выждать. А это он умеет. Он ждать научился. От убогой юности до высоты престола пришлось пройти долгий путь!

Многого можно добиться выдержкой. Многие растения можно заставить принять ту форму, которую им навязывают. А то, что не подчиняется, отсекают прочь, вырывают с корнем. В данный момент приходится себя

сдержать, но настанет день, когда он сможет вырвать сорную траву с корнем. Он знает, что действует в согласии с божеством! И в конце концов Лудия окажется неправой.

Почему в Риме не хотят признать, что у него не было иного выхода, как приговорить Корнелию к смерти? Он понимает, что вина многих казненных им не была установлена вполне бесспорно. Но Корнелия-то действительно виновна! Почему именно в ее вину люди не хотят поверить? Нужно найти способ сделать вину Корнелии доказанной, очевидной и для его подданных недоверчивых подданных.

Домициан вызвал к себе Норбана. Разве тот не упоминал о некоей Мелитте, вольноотпущеннице, будто бы знавшей о событиях на празднике Доброй Богини? Где она, эта Мелитта? На что он годен, его министр полиции, если он дал этой Мелитте ускользнуть и не задержал ее,—ведь она же могла понадобиться. Император то осыпал Норбана неистовой грязной бранью, то лестили ему и умолял добыть исчезнувшую Мелитту, чтобы подвергнуть пытке и заставить во всем сознаться.

Однако Норбан так же невозмутимо слушал мольбы императора, как и его брань. Министр стоял перед ним, кряжистый, спокойный, мощная голова покоилась на угловатых плечах, нелепо свисал на низкий лоб завиток черных волос, глаза Норбана, коричневатые глаза верного, но не совсем прирученного пса, смотрели на императора пронизательно, услужливо, чуть высокомерно.

— Владыке и богу Домициану известно, что он может положиться на своего Норбана. Совершившая кощунство Корнелия, в наказание за вполне доказанную вину, лежит, обреченная забвению, под плетенкой из ивовых прутьев. Я дам вам в руки средство, мой владыка и бог, чтобы убедить в этой вине и глупую чернь.

Вскоре после этого Дециану, жившему очень уединенно в своем имении близ города Байи, доложили о неожиданном посетителе — сенаторе Мессалине. Дециан растерянно спрашивал себя, что нужно от него этому зловещему человеку, хотя в глубине души уже

догадался, едва слуга назвал имя Мессалина: человек этот искал Мелитту.

И слепец действительно вскоре заговорил о весталке Корнелии.

— Какая жалость,— сказал Дециан,— что эту женщину погубили!

Весьма неосторожные слова, но он не мог молчать, он чувствовал потребность высказать свою скорбь об утраченной Корнелии.

— А разве не было бы еще горше, если бы она умерла без вины?

Вот оно! Вот ради чего и приехал сюда этот негодяй! Дециан решил ни за что не выдавать мертвую Корнелию; но в ту же самую минуту, когда он давал про себя этот обет, он уже чувствовал, что его нарушит.

Мессалин заговорил о том, что DDD стоило больших усилий согласиться на исполнение столь сурового приговора. А теперь некоторые упрямые республиканцы коварно уверяют, что давшаяся императору с таким трудом суровость напрасна и смерть Корнелии лишена смысла. Они распространяют слухи, будто Корнелия погибла безвинно, и, таким образом, подрывают значение этого поучительно-сурового приговора, цель которого — способствовать укреплению нравственности и религии. Каждый искренний друг империи не может не испытывать скорби, слыша столь безбожные и безрассудные разговоры.

Дециан знал, что рискует жизнью. И все-таки он на мгновение забыл о своем страхе и стал рассматривать слепца с любопытством и ужасом. Вот, значит, как подобные люди ухитряются с помощью изворотливой, лживой, дьявольской логики превращать собственные преступления в дела благочестия. Может быть, даже, они обманывают самих себя; по крайней мере, тот человек, от чьего имени явился Мессалин, считал все, что тут было насочинено, чистой правдой.

— Когда-то,— храбро ответил Дециан,— от Корнелии исходило то сияние, каким боги одаряют очень немногих, и поэтому,— заключил он с вежливой многозначительностью,— трудно будет оправдать ее смерть.

— Есть один человек,— отозвался Мессалин,— кото-

рый в этом деле мог бы оказать помощь богу Домициану. И этот человек — вы, мой Дециан. — Словно видя притворное удивление и негодование собеседника и считая излишними все его возражения, Мессалин остановил его легким движением руки и продолжал: — Нам известно, где именно находится вольноотпущенница Мелитта. Однако мы не желаем, чтобы вокруг дела Корнелии поднимали лишний шум, и только поэтому не хотим захватить ее силой. Самое разумное с вашей стороны было бы выдать нам Мелитту. Тогда вы уберегли бы себя от больших огорчений, Мелитту от допроса под пыткой, а нас от ненужного шума. Мне кажется, это было бы также в духе нашей умершей Корнелии.

Дециан резко побледнел, он был рад, что хоть этой бедности слепец не мог увидеть.

— Не понимаю, что вам угодно, — сдержанно ответил он.

Мессалин сделал легкий вежливый, отрицающий жест.

— Вы же не такой твердолобый глупец, как некоторые ваши друзья, — возразил он. — DDD ценит вас, как человека мудрого и многоопытного. Мы понимаем, вам хотелось бы защитить Корнелию. Но что вам даст дальнейшее сопротивление? Вы думаете, что сможете заставить DDD посмертно восстановить ее честь? Вы столько раз доказывали свою мудрость, покажите ее еще раз! Выдайте нам Мелитту, убедите ее быть благоразумной, вы на этом выиграете довольно много. Я не хочу обманывать вас: обвинение в том, что вы участвовали в сокрытии преступления Корнелии, все равно будет выдвинуто, даже если вы и выдадите нам Мелитту. Но каким бы ни было решение сената, я могу обещать вам, что вы отделаетесь просто недолгой ссылкой. Не давайте мне сейчас окончательного ответа, мой Дециан! Обдумайте хорошенько то, что я сказал вам! И вы придете к выводу, я в этом уверен, что другого разумного выхода не существует. Постарайтесь спасти Мелитту от пытки, а себя — от смерти и сегодня же отправьте всю свою движимость за пределы Италии на те два-три года, которые вам придется про-

быть в изгнании! Могу вам обещать, что Норбан будет смотреть на это сквозь пальцы. Поверьте мне, я советую вам по-дружески!

Когда Мессалин удалился, Дециан сказал себе, что, вероятно, и императору, и его советникам нет никакого дела до погибшей Корнелии,— для них важно вернуть Домициану утраченную популярность. Ясно было и то, что сенат уже не сможет рассчитывать на поддержку широких масс, если ему придется снова отказаться от позиций, которые он за последнее время отвоевал в своей борьбе с императором. Это Дециан знал точно. Имеет ли он право помочь императору и снова обессилить сенат только ради того, чтобы спасти свою жизнь?

Он не имеет на это права. Но если он пожертвует собой, какая от этого будет польза? Он может сделать так, что Мелитта исчезнет окончательно. А какие меры примут тогда Мессалин и Норбан? Они его схватят, они пытками вырвут у него признание, как и почему он спрятал Мелитту. Нет, это ничего не даст. Победу над сенатом, которую император в конечном счете все-таки одержит, жертва Дециана лишь отсрочит на две-три недели, но отворотить не сможет.

Дециан сообщил Мессалину, где находится Мелитта.

Дециану приказали молчать, он не имел права выезжать из своего поместья, за ним следили. Мелитта была сейчас же арестована.

Домициан многозначительно улыбался, довольный.

«У меня надежные друзья»,— сказал он Мессалину. «У меня надежные друзья»,— сказал он Норбану, а в тесном кругу своих министров, куда входили теперь только Регин, Марулл, Анний Басс и Норбан, он заявил:

— Пусть это пока остается между нами. Мы еще не возбуждаем дела против Дециана. Пусть господа сенаторы спокойно продолжают действовать. Сначала посмотрим, в чем еще они будут обвинять Лигария и нас.— Его улыбка стала шире.— Пусть враги империи

идут все решительнее навстречу своей гибели! Мы можем подождать!

Итак, господа из сенатской оппозиции и понятия не имели о происшедшем — о том, что император обладал теперь возможностью положить конец упорным толкам о невинности весталки, когда ему заблагорассудится. Наоборот, все они — Гельвидий, Приск и прочие участники сенатской оппозиции воображали, будто им удалось уже восстановить республику и действительно оттеснить императора на указанное ему конституцией место, будто он всего только первый среди равных, а они и в самом деле первейшие из его подданных. Старик Гельвидий расхаживал с сияющим видом, его морщинистое лицо помолодело от гордости, рожденной этой победой. Он чувствовал себя великим республиканцем, защитником правого дела, он отомстил Лигарию и императору за угнетение испанцев, он сиял от самодовольства, а с ним и другие вожди сенатской партии, Приск и его единомышленники, семья казненного Пета — Фанния, Гратилла. Послезавтра сенат должен вынести приговор Лигарию, кровопийце Испанской провинции. Некоторым сенаторам хотелось бы, чтобы, наказывая Лигария, ограничились конфискацией имущества и ссылкой; но они, вожди оппозиции, не будут столь скромны и умеренны. Для преступного любимца тирана они требуют смертного приговора, и они своего добьются.

Министры Марулл и Регин, конечно, знали обо всех этих разговорах. Это были пожилые люди, они много кое-чего повидали, у них на глазах неожиданная смерть постигала друзей и знакомых, и порой, когда этого никак не удавалось избежать, такая внезапная смерть приходила не без их содействия. И они устали, по характеру они были скорее добродушны, чем злы, они были миролюбивы, и им становилось немного жаль старика Гельвидия, когда он теперь так слепо и безрассудно стремился навстречу своей смерти. В конце концов спасти этого человека было невозможно, но почему бы ему еще не пожить на свете несколько лишних лет или хотя бы месяцев? Они были человечны, им хотелось удержать его — пусть не спешит так навстречу гибели.

Ничего удивительного, что эти два господина, чей либерализм был известен и противникам, считавшим его просто ленью,— иногда вели с этими противниками более или менее откровенные разговоры, правда — чисто отвлеченного характера. Марулл и Регин стали и сейчас искать случая для такой откровенной беседы. Накануне того дня, когда сенат должен был вынести приговор по делу Лигария, вышло так, что им все же удалось объясниться с Гельвидием, Приском и Корнелием.

— Вы помогли вашей Испании прийти к победе, мой Гельвидий,— заметил Марулл,— и свалить Лигария. Это очень много, и вас можно поздравить. Но чего вы хотите еще? Если бы человек, подобный нашему Корнелию, действовал столь по-юношески пылко, это было бы понятно. Но когда кто-нибудь так ведет себя в вашем возрасте, это противоестественно.

А Регин с присущим ему добродушием добавил:

— Зачем вы так кровожадны? Вы же знаете не хуже нас, что DDD может, самое большее, утвердить решение о конфискации имущества и ссылке, но не смертный приговор. Такое требование было бы просто комедией. Зачем вам это нужно? Вы только скомпрометируете вашу победу.

— Я хочу показать римскому сенату и народу, что нынешний режим без зазрения совести поручает важнейшие должности в государстве преступникам,— мрачно ответил Гельвидий.

— Милый Гельвидий,— отозвался Регин,— а не слишком ли это сомнительное обобщение? Ведь и при безраздельной власти сената время от времени какого-нибудь губернатора да судили за денежные махинации. Мы еще в школе кое-что на этот счет учили. У меня сохранилось в памяти несколько речей по такому же поводу, и без этих образцов вы не смогли бы даже произнести вашу превосходную обвинительную речь против Лигария.

— А если вы хотите быть честным,— подхватил Марулл,— то должны допустить, что как раз при нашем владыке и боже Домициане управление провинциями значительно улучшилось. Согласен, Испании достался

плохой правитель. Но ведь у империи в конце концов тридцать девять провинций, и с незапамятных времен ни при одном государе оттуда не поступало так мало жалоб, как при DDD. Нет, мой Гельвидий, то, что вы намерены сделать, это требование смертной казни,— не имеет никакого отношения к реальной политике, ваша цель уже не борьба со злоупотреблениями, а просто демонстрация против режима как такового.

Затем снова вмешался Регин:

— Отговорите вашего друга, мой Приск, и вы, мой Корнелий. Он никому не окажет услуги, внеся такое предложение,— ни вам, ни нам, ни самому себе. Оно может привести только к беде.

Он говорил особенно спокойно, почти добродушно. Все же и Приск и Корнелий уловили в его тоне предостережение.

Но Гельвидий этого не расслышал; опьяненный своим успехом, он разглагольствовал еще более высокомерно.

— Конечно,— сердито ответил он,— я борюсь не с Лигарием как таковым; мне все равно, будет ли он сослан или казнен. Я борюсь,— и вы это отлично знаете,— против того, чтобы один-единственный человек воплощал в себе Рим, я борюсь за суверенитет сенатского правосудия. Борюсь за свободу Рима.— Это были опасные слова, даже теперь, и Корнелий попытался перевести разговор на другое.

— Вы уже произносите речь, мой Гельвидий,— заметил он,— вы отклонились от нашей темы.

Однако Регин успокоил его легким движением руки.

— Ничего,— сказал он, улыбаясь. Он не хотел, чтобы его самого лишили возможности тоже добавить несколько слов к разговору о свободе, о которой сенаторы с таким удовольствием несли всякую чушь.— «Свобода»,— повторил он сказанное Гельвидием слово и своим высоким жирным голосом заключил: — Свобода — сенаторский предрассудок. Сенаторы хотят, чтобы воплощением Рима был не один-единственный человек, а двести семейств, представленных в сенате, вот это сенаторы и называют свободой. Предположим, они достигнут своей цели на все сто процентов. И добьются

для сената бoльшей власти, чем ее имел император. Но что, клянусь. Геркулесом, они при этом выиграют? В чем будет она состоять, их свобода? В диком хаосе, в беспорядочных действиях враждующих между собой семейств, которые будут спорить, договариваться и падывать друг друга, борясь за провинции, привилегии и монополии еще упорнее, чем сейчас. Если вы прислушаетесь к голосу разума, а не чувства, вы должны будете признать, что такая свобода для всего государства вреднее, чем прозорливое правление одного человека, которое вы стремитесь опорочить с помощью весьма удобного слова «деспотия».

Гельвидий хотел возразить, но Приск удержал его, у него самого было слишком много возражений.

— Вот вы пренебрежительно отзываетесь о «чувстве»,— начал он, и его резкий, ясный голос сейчас особенно отличался от высокого жирного голоса Регина. — Но вы забываете, вы не хотите понять, как может угнетать людей ощущение произвола одного-единственного человека. Сознание, что мои поступки подлежат суду и совести тщательно и по заслугам избранной корпорации,— это как свежий воздух, а чувство, что ты зависишь от произвола одного человека,— это как удушье.

Не мог уже себя сдерживать и Корнелий и своим низким, угрожающим голосом многозначительно добавил:

— Свобода — не предрассудок, Регин. Свобода есть нечто очень определенное, осязаемое. Если я вынужден сначала обдумать, могу ли я сказать то, что должен сказать,— то жизнь моя сужается, я становлюсь беднее, я в конце концов уже не могу размышлять независимо, я невольно заставляю себя все чаще думать лишь так, как «дозволено», я погибаю, я ограничиваю себя тысячей убогих оговорок и опасений, и вместо того, чтобы беспрепятственно смотреть вперед, вдаль и ввысь, мой мозг заплывает жиром. В рабстве человек только дышит: жить можно лишь в свободе.

Теперь и Гельвидий уже не хотел больше ждать.

— Император,— начал он,— старается изо всех сил снова внедрить в жизнь римлян дисциплину и добродетель.

тель. Он неистовствует, назначая наказания, которые не применялись уже в течение полутора веков. А чего он достиг? Когда правил сенат, в Риме было больше добродетели, нравственности, дисциплины, чем теперь.

Приск добавил:

— И больше справедливости.

Корнелий же уточнил, как бы подведя итог:

— И больше счастья.

— Все это, господа, одни слова,— добродушно отозвался Регин,— только красивые слова. Счастье? Вы требуете от правительства, чтобы оно сделало людей счастливыми? Этим вы только доказываете, что сами править страной не способны. Вы требуете от правительства морали? Добродетели? Справедливости? Согласен, однако наши пожелания гораздо скромнее. Мы, Марулл и я, считаем правительство хорошим, если ему удастся устранить из жизни как можно больше причин, способных вызвать несчастья: голод, чуму, войны, слишком неравное распределение благ. И если мне надо выбрать между тем или иным режимом, оценить, какой лучше, то плевал я на его название, мне в высшей степени безразлично, называют ли его свободой или деспотизмом, я задаю единственный вопрос: какой режим гарантирует лучшее планирование, лучший порядок, лучшее управление, лучшее хозяйствование. Требовать от правительства большего, требовать от него справедливости и счастья — это все равно что требовать от козла молока. Дайте населению любой страны хлеба и зрелищ, дайте немного мяса и вина, дайте судей и сборщиков налогов, которые не брали бы слишком больших взяток, и не допускайте, чтобы привилегированные сословия слишком жирели, и все остальное: справедливость, дисциплина и счастье — придет само собой. Будьте искренни: ведь вы знаете не хуже меня, что при Домициане на душу населения приходится больше хлеба, больше часов сна и больше удовольствий, чем это было бы возможно при правлении сената. Неужели вы думаете, что сто миллионов жителей империи согласятся отдать этот хлеб, сон и эти удовольствия ради вашей «свободы»? Среди

этой сотни миллионов даже и полумиллиона не наберется, которые желали бы другой формы правления.

Все жаждали возразить ему. Однако Марулли надоели бесплодные рассуждения, и он заявил, как бы подытоживая сказанное:

— Во всяком случае, я советую вам одно, мой Гельвидий: радуйтесь своей победе над Лигарием, но не бросайте вызова богам.

— Мне кажется, это мудрый совет, — добавил сдержанно и добродушно, но все же очень настойчиво Клавдий Регин.

Все три сенатора были искренне возмущены цинизмом обоих министров, но, хорошо зная их, понимали, что предостережение сделано от души. Поэтому Приск и Корнелий все же стали уговаривать старика Гельвидия — пусть умерит свой пыл и удовольствуется ссылкой Лигария. Это и так неизмеримо больше того, на что можно было надеяться еще полгода назад. Настроение масс изменилось, императора не следует слишком раздражать, ведь в конце концов за ним стоит армия, а сенат продвинулся вперед в своей борьбе быстро, смело и чрезвычайно успешно, теперь следует перевести дух. Однако Гельвидий просто помешался на своих планах. Он рассказывал о них стольким людям, что теперь уже никак нельзя было удовольствоваться только ссылкой Лигария; он будет требовать для него смертной казни — его гордость не позволяет ему отступить. Он твердо решил осуществить свое намерение.

Так он и поступил. Предостережение советников Домициана только усилило его упорство, и он выступал горячее, резче, увлеченнее, чем когда-либо. Даже Корнелий и Приск забыли свои возражения, слушая его. Это была великая речь. Старые республиканцы затаили дыхание, их глаза блестели, голова кружилась от счастья, когда Гельвидий, все наращивая мощь своих обвинений, требовал для Лигария самой суровой меры наказания, предусмотренной законом, — смерти, смерти и еще раз смерти.

Уже много лет назад, с тех пор как на престол вступил Домициан, голос сенатской оппозиции совершенно умолк. И вот в последние месяцы он вдруг про-

звучал снова, оппозиция одерживала победу за победой, и теперь один из ее участников дерзнул потребовать смертного приговора для друга и любимца императора. Неужели вернулись дни свободы? Речь Гельвидия и это требование были самой большой победой оппозиции.

Но и последней победой.

Это выяснилось тотчас, как только обвиняемый стал отвечать обвинителю. До сих пор Лигарий вел себя тихо и смирно, как и подобает человеку, которого с полным основанием обвинили в столь тяжелом проступке. Ожидали, что после этой речи и этого требования он будет раздавлен окончательно и примется униженно умолять сенат о смягчении его участи. Но требование Гельвидия, казалось, ничуть его не сокрушило, напротив, когда Гельвидий заявил, что настаивает на смертной казни, Лигарий просиял, как будто только того и ждал. Из первых же его слов стала ясна его полная уверенность в том, что никогда ему не придется подвергнуться этой каре — присоединится ли сенат к мнению Гельвидия или нет. С первого же слова его речь звучала не как защита, а как обвинение.

Его вина, заявил Лигарий, известна Риму и миру; он в ней сознался, он выразил готовность раскаяться и понести то наказание, которое на него наложит сенат. Но он всеми силами возражает и протестует против таких требований, какие высказал сенатор Гельвидий. Он, Лигарий, все еще сенатор, имеет ранг консула. И, как сенатор и консул, должен защитить достоинство сената, ибо этому достоинству наносится ущерб, когда выступают с совершенно безрассудным требованием крайних мер, как только что выступил Гельвидий. В этом сказывается уже не справедливое возмущение виновным, а единственно и исключительно личная ненависть и преступная враждебность, неистовая, бессмысленная. Однако никаких оснований для вражды между ним и Гельвидием нет. Но кто же тогда тот человек, тот единственный человек, против которого только и может быть направлена подобная наглость? Вне всякого сомнения, — против той высокой особы, которой такая низменная враждебность не должна бы коснуться

ся даже отдаленно, — против владыки и бога Домициана. В императора и только в императора хотел попасть Гельвидий, метя в него, Лигария. Требование смертной казни — это дерзкий вызов, это преступление против императора, поэтому он, Лигарий, обращается к избранным отцам, которые все еще являются его коллегами, с просьбой не оставлять безнаказанной наглость Гельвидия, но защитить достоинство сената и уважение к империи и обвинить Гельвидия в оскорблении величества.

Было совершенно ясно, что Лигарий не осмелился бы все это сказать, не будь он уверен, что советники императора не выдадут его. И было ясно, что Домициан нашел средство, чтобы с новой силой выступить против сената. Во всяком случае, Домициан решил не допускать больше никаких вызовов со стороны сенаторов; должно быть, он отыскал и способ повлиять на настроение народных масс. Как обычно, было сочтено неразумным заходить в своей дерзости еще дальше, — лучше поостеречься. Поэтому требование Гельвидия было почти единогласно отклонено. Сенаторы не поддержали даже предложения о конфискации имущества и ссылке. В конце концов Лигария, друга и любимца государя, приговорили только к возмещению тех убытков, которые он противозаконно нанес Испании.

А вскоре выяснилось, что сенаторы правильно поняли речь Лигария и император располагает доказательствами, с помощью которых он может вернуть себе любовь народных масс и вновь повергнуть сенат в прежнее бессилие.

Всего несколько дней спустя после приговора Лигарию в сенат поступила жалоба на Дециана. Его обвиняли в том, что он пытался скрыть преступление казненной весталки Корнелии.

На разборе дела в сенате присутствовал сам император. Дециан не явился. Вместо него его защитник заявил:

— Сенатор Дециан отказывается от защиты. Я здесь присутствую скорее в качестве курьера, чем адвоката. Сенатор Дециан просил сообщить избранным отцам, что он признает себя виновным в том преступлении, в котором его обвиняют.

Было внесено одно-единственное предложение: преступника казнить, а память его предать позору. Никто не возразил. Тогда вмешался сам Домициан. Он попросил избранных отцов выказать мягкость к сознавшемуся и раскаявшемуся преступнику. Поэтому сенат ограничился изгнанием Дециана и конфискацией его поместий в Италии.

Удаляясь, император погрозил пальцем группе сенаторов, собравшихся вокруг Гельвидия и Приска, улыбнулся и сказал снисходительным тоном:

— Видите, господа, вот ваш друг Дециан и снял с меня некоторые обвинения.

Народ был ошеломлен, узнав, что Дециан, столь почитаемый за свою справедливость, дал показания в поддержку императора и против Корнелии. Свидетельствовала против нее и Мелитта, ее подруга и вольноотпущенница. Отсюда следовало, что люди были несправедливы к Домициану. И негодование против него быстро сменилось прежним энтузиазмом. Римляне укоряли друг друга за легкоеверие и кляли вслух весталку Корнелию, которая из-за своей похотливости чуть было не лишила империю и доброго, великого императора поддержки богов. Хвалили Домициана за то, что он, не считаясь с происхождением виновной, так решительно ее покарал и отомстил за богиню. Как трудно, наверное, было доброму императору пересилить себя и отдать под суд самое Корнелию и этим приговором навлечь на себя общую ненависть! Какой у нас великий император! В результате на казни Корнелии Домициан сэкономил новую раздачу подарков.

Домициан долго сдерживал себя, зато теперь в полной мере наслаждался своей местью. Быстро последовали один за другим несколько процессов, и в конце концов были снесены головы тем представителям аристократической партии, покуситься на которых не дерзали прежде ни его отец и брат, ни он сам.

Первыми, кому он приказал предъявить обвинение, были сенаторы Гельвидий и Приск и госпожи Фанния и Гратилла. Их обвинили в оскорблении величества.

Это обвинение было бесстыдной и лживой стряпней. Прощупали всю жизнь обвиняемых, и все, что они делали и чего не делали, было изображено как оскорбление императора. Каждую безобидную остроту, которую кто-нибудь из них себе позволил, до тех пор вертели и выворачивали наизнанку, пока она не превращалась в акт государственной измены. Осторожному Приску, из страха перед такой опасностью прожившему долгие годы в сельском уединении, как раз эту осторожность вменили в преступление: для императора-де оскорбительно, что человек столь деятельный и одаренный именно при Домициане уклоняется от государственной службы. И, разумеется, его биография Пета была признана гимном мятежу и славословием мятежнику, а тем самым — и замаскированным оскорблением императора. Обвинители хладнокровно и безнаказанно осыпали обвиняемых подлыми поношениями. А сенат не осмеливался протестовать. Курия, в которой он заседал, была оцеплена императорской гвардией. Впервые с основания города Рима правящая корпорация была вынуждена принимать решения под угрозой оружия.

Два эпизода из этого процесса особенно крепко закрепились в памяти римлян. Допрашивали Фаннию. Обвинитель заявил, что, согласно слухам, Приск написал свою подстрекательскую биографию Пета по ее, Фаннии, желанию и что она первая распространяла это сочинение; он спросил ее, правда ли это. Все знали, что, сказав «да», она лишится всего своего состояния. Но она ответила «да». А давала ли она, продолжал допрос обвинитель, также и материалы для его книги? Все знали, что, если она вторично ответит «да», ее в лучшем случае выплут из Рима, может быть, даже убьют. «Да», — ответила Фанния. А ее золовка Гратилла знала об этом? — последовал вопрос. «Нет», — ответила Фанния. Этими тремя простыми, бесстрашными и презрительными словами, этими двумя «да» и одним «нет» и ограничивались показания Фаннии, но они запомнились сенату и жителям Рима крепче, чем превосходная речь обвинителя.

Второй эпизод был такой: Гельвидий, знавший, что он погиб, воспользовался последней представившейся

ему возможностью обратиться к римлянам и произнес мрачную, сильную и грозную речь, направленную против императора, обещая ему, что он не уйдет от мести Рима и богов. Его слушали в безмолвии. Однако слепой Мессалин поднялся с места и уверенным шагом, словно зрячий, направился между скамьями к Гельвидию, чтобы собственноручно расправиться с хулителем. Но тут (со слепцом это случилось впервые) остальные стали тащить его за одежду, кричать: «Этот человек во сто раз лучше тебя!» — и осыпать бранью, так что он в конце концов упал.

Все же эти взрывы негодования не помешали избранным отцам приговорить Гельвидия и Приска к смерти, Фаннию и Гратиллу к ссылке, а книгу Приска — к сожжению.

Два дня спустя был воздвигнут костер для сожжения книги, в которой ожидавший казни Приск описывал жизнь казненного Пета. Сожжение состоялось поздним вечером. Вспыхнувшее пламя сначала казалось бледным — было еще светло, но потом, по мере того как наступала ночь, оно становилось все ярче, и все громче звучали крики черни, толпившейся вокруг костра. Приску была предоставлена возможность увидеть сожжение своей книги. И он ею воспользовался. Совершенно неподвижна была его круглая лысая голова, глубоко посаженные маленькие глазки усталились на огонь, пожиравший его труд. Для сожжения были отобраны экземпляры, написанные на пергаменте, — старухе Фаннии самый драгоценный материал не казался слишком дорогим для этой книги, а пергамент горел медленно и неохотно, он противился уничтожению. Приск был человек хладнокровный и деловой, он нередко посмеивался над метафорами и сравнениями своего друга Гельвидия, но сейчас эта груда пепла вызывала и в нем самом множество патетических мыслей и образов. Огонь просветляет, огонь очищает, огонь вечен, огонь соединяет богов и людей и, в известном смысле, делает человека могущественнее божества. Может быть, именно благодаря этому огню написанная им биография Пета переживет правление Домициана и тех деспотов, которые,

возможно, придут после него; а может быть, больше не будет уже ни одного деспота...

Это был последний огонь, который видел Приск, это был его последний вечер и последняя ночь. В эту же ночь морщинистый, пылкий Гельвидий поплатился за то удовлетворение, которое он испытал, когда требовал смертной казни для Лигария и швырнул императору в лицо всю свою ненависть и презрение. В Аид он последует за своим отцом, и его, как и отца, толкнут туда насильно. А Домициан мог сказать себе, что теперь старик Веспасиан будет им доволен.

Неделю спустя отправились в ссылку и осужденные женщины. Назначенный им край оказался варварским и диким. Располневшей, по-дамски ленивой Гратилле, привыкшей, чтобы только за туалетом ей помогали три служанки, будет очень нелегко, когда она поселится теперь одна со старухой Фаннией в маленьком, неблагоустроенном домике на холодном, неприятном побережье Северо-Восточного моря. Правда, Фанния взяла с собой в ссылку прославляющее ее покойного отца сочинение Приска, которое и послужило причиной изгнания. Правда, когда обе женщины, покидая город, направились к Латинским воротам, вдоль их пути стояло много народу, но от этого их мертвые мужья не ожили, и Понт не стал от этого Тибром.

На их пути стоял и сенатор Корнелий, писатель. Он не желал участвовать в вынесении смертного приговора своим друзьям и не явился на заседание сената. Это было большой смелостью. Впрочем, не такой уж большой, ибо, конечно, он все предусмотрел и вызвал к своему ложу трех врачей, а те подтвердили, что у него воспаление легких. И сейчас этот рассудительный муж долго сомневался, следует ли ему замешаться в толпу, которая будет приветствовать изгнанниц, когда они в последний раз пройдут мимо. Но он поборол свой страх, отважился пойти, и вот он стоял на обочине дороги, упрекая себя за излишнюю смелость, и ждал, а когда показались женщины, вытянул правую руку, прощаясь с ними надолго, может быть, навсегда. В сердце же своем он думал: «Как все это нелепо и бесцельно! Бедные, неразумные друзья! Зачем вы не хотели до-

ждать, пока наступит более благоприятная минута, чтобы свалить императора? Тогда после его смерти вы могли бы сказать гораздо резче и яснее, чем сейчас, обо всем, в чем он виновен. Бедные, неразумные, мертвые друзья, не захотевшие понять, что эти времена требуют от нас одного: выжить! Неразумные героические изгнанники, бедняги! Вам остается одна надежда — что я, менее неразумный, когда-нибудь смогу воздвигнуть вам памятник!»

После того как Домициан очистил город от людей, которые были врагами его и божества, он приступил к устройству Юбилейных игр. С основания города Рима прошло восемьсот сорок девять лет, и нужно было очень дерзко обойтись с хронологическими вычислениями, чтобы доказать, будто завершилось еще одно столетие. Однако Домициан был человек дерзкий, и он это вычислил.

Глашатаи созвали народ. Коллегия пятнадцати повелела раздать средства, с помощью которых каждый мог очиститься, — факелы, смолу и серу. А народ, в свою очередь, приносил Коллегии жрецов первенцев от своего скота и начатки урожая со своих полей для жертвоприношений богам. Император сам совершил на Марсовом поле жертвоприношение Юпитеру и Минерве, в его присутствии женщины из старинных семейств молились Юноне; Земле принесли в жертву живую форель, хоры юношей и девушек распевали гимны, а император посвятил Вулкану земельный участок, чтобы тот в дальнейшем охранял город от огня.

В эту ночь император спал с Луцией.

— Ты помнишь, — спросил он, — что ты предсказывала мне, когда казнили весталку? Ну, моя Луция, кто же оказался прав?

Домициан был переполнен торжеством после своей победы над сенатом; она подтвердила, что он правильно понимает свои задачи жреца и государя и действует в согласии с богами. Это вдохновляло его, окрыляло, он был счастлив.

Он и раньше работал с удовольствием, а теперь стал относиться к своей работе и своим обязанностям еще серьезнее. Раньше этот порывистый, неутомимый чело-

век, несмотря на все трудности пути, любил каждый год пересекать из конца в конец свое гигантское государство: то он посещал Британию, то отправлялся на Нижний Дунай. Теперь он проводил почти все время, советуясь с министрами или за письменным столом.

Он выбрал себе для кабинета маленькую комнатку; чтобы собраться, ему необходимо было чувствовать себя среди тесных, обступающих его стен. В уединении своей замкнутой комнаты ему удавалось совершенно погрузиться в себя. Иногда в минуты такой собранности он ощущал прямо-таки физически, что является сердцем и мозгом того мощного и в высшей степени живого организма, который так неопределенно и отвлеченно называют Римской империей. В нем, только в нем одном, оживала эта Римская империя. Реки этой империи — Эбро, По, Рейн, Дунай, Нил, Евфрат, Тигр — были его, императора, артериями, горные хребты — Альпы, Пиренеи, Атлас, Гем — его костями, миллионы отдельных людей — порами, через которые дышала его собственная жизнь. Эта в миллионы раз приумноженная жизнь поистине делала его богом, поднимала превыше всякой человеческой меры.

Но для того, чтобы мощное чувство жизни не растекалось, он должен был еще строже и педантичнее вводить все и вся в русло. Он с жестоким упорством осуществлял свою программу. Победа, одержанная над непокорным сенатом, была только первым этапом пути, который он себе четко наметил. Теперь, когда он убедился в поддержке своих богов, он мог приступить к труднейшей части этого пути. Теперь он мог поставить себе задачу — покончить с теми подспудными происками, которыми чуждый, злобный и грозный бог Ягве ему постоянно угрожал.

Не то чтобы он самолично намеревался напасть на Ягве. Отнюдь нет, — ему, защитнику религии, это совсем не подобало. Пусть доктрины Ягве продолжают жить, но только для народа Ягве. Если же эти доктрины переступают положенные им границы, если они начинают отравлять своим ядом его, Домициановых, римлян, то его прямая обязанность — защищаться, выжечь эти доктрины из сердца римлян.

Он совещался со своими министрами. Совместно с Регином, Маруллом, Аннием Бассом и Норбаном он выработал план, как вытеснить Восток из Рима, заставить его убраться в свои пределы.

В первую очередь шла речь об устранении Иакова из Секаньи, чудотворца. Иаков считался главою римских христиан. Весь город ему сочувствовал. Ему был открыт свободный доступ в дом принца Клемента. Многие сенаторы интересовались им и его идеями, и это был один из видов пока что безопасного протеста против императора. Народ смотрел на чудотворца с робким почтением. Семнадцать человек собственными глазами видели, как парализованная Паулина, вольноотпущеница, после того как он возложил ей на голову руку, пробормотав при этом несколько слов по-арамейски, встала и пошла. Правда, Паулина в тот же день скончалась; но исцеление это не перестало быть чудом, и человек, совершивший такое чудо, заслуживал великого почитания. Во всяком случае, и император, и его министр полиции почли за лучшее, чтобы Иаков из Секаньи в их городе Рима больше чудес не творил.

Но как можно помешать человеку творить чудеса?

Существует, весьма недвусмысленно заявил Норбан, одно вполне радикальное средство.

Молча принялись все обдумывать это радикальное средство. Наконец Регин заявил, что, наверное, в случае с чудотворцем применять это радикальное средство не очень уместно. Если им воспользоваться, то могут подумать, что сторонники государственной религии боятся бога, которому поклоняется чудотворец. А это не только не отрезвит его сторонников, но укрепит их суеверие.

Быть может, следует, предложил Марулл, вызвать чудотворца ко двору, пусть совершит свои чудеса перед императором. Тогда можно было бы его проконтролировать и разоблачить.

— А откуда вы знаете, — возразил Басс, — что чудо ему не удастся?

Однако император решительно заявил:

— Я бы не хотел брать под сомнение силу бога Ягве. Мне бы только не хотелось, чтобы чудотворец возвращал римлян в свою веру.

Марулл, несколько не обиженный этим замечанием императора, сказал, что сначала следовало бы уточнить, в каких пределах проповедь иудейского вероисповедания разрешена и где уже начинается вербовка сторонников, а тем самым и преступление.

— Если бы владыка и бог поведал нам свое мнение на этот счет,— сказал он,— для всех нас это было бы милостью!

Император любил всякие формально-юридические разграничения, и Марулл рассчитывал на то, что DDD приятно будет изложить свои взгляды на это дело.

Домициан действительно воспользовался случаем.

— Иудаизм,— начал он свои разъяснения,— был и остается религией разрешенной. Правда, я не забываю, что эта религия отрицает некий основной принцип, связывающий между собой все остальные народности империи, а именно — принцип проявления божества в императоре. Остальные народы, например, приверженцы Изиды и Митры, а равно и поклоняющиеся варварским богам германцы и бритты, согласны в том, что изображению римского императора и знакам его достоинства подобают божеские почести, одни только евреи не желают признавать это совершенно ясное учение. Конечно, Рим, со своей терпимостью, отнюдь не намерен насильно заставить признать правоту этого взгляда какой-то жалкий, упрямый народ, чье убожество подтвердилось его бесславными поражениями.— После такого предисловия Домициан не мог удержаться и не провозгласить еще раз свои любимые теории; словно выступая в сенате, он заговорил приподнятым тоном: — Рим не запрещает ничьих взглядов. Рим оставляет каждому его веру, даже если это не вера, а суеверие. Каждый может молиться своему богу, как бы облик этого бога ни был странен. И пусть у каждого народа остаются свои обычаи, лишь бы только они не мешали ему быть нам послушным,— декламировал Домициан; а Регин, так же как и Марулл, посмеиваясь про себя, заметил, что он даже заговорил стихами! — Но здесь,— продолжал Домициан,— именно здесь и проходит граница. Этого Рим не может разрешить, чтобы бог чужого народа вмешивался в дела римской государст-

венной религии. И римский верховный жрец не может допустить, чтобы люди Востока осмеливались пропагандировать свои суеверия, склонять к ним римлян. Вы спросили, мой Марулл, в какой мере допускается иудейская религия. Я отвечаю: исповедовать эту веру и выполнять ее обряды разрешается совершенно беспрепятственно всем тем, кто имел несчастье родиться в этом народе и в этой вере. Но не дозволено распространять это суеверие ни словом, ни тем более делом. Тот, кто намерен обратить другого в иудаизм с помощью слов или обрезания, оскорбляет величие Рима и императора.

— Сформулировано совершенно ясно, — сказал Марулл.

Однако Клавдий Регин осторожно заметил:

— Если мы официально встанем на такую точку зрения, не упрекнут ли нас тогда опять в том, что мы боимся этого Ягве и убедительности его учения?

— Осторожность не есть страх, — сердито сказал Норбан. — Если я запираю дверь моего дома — это не страх, а разумная осторожность.

Однако простодушный солдат Басс храбро заявил:

— А я лично боюсь этой религии, она заразительна. Я побывал в Иудее. Испытал, какой страх распространяет вокруг себя бог Ягве и его учение. Мои солдаты очень боялись «того самого» — Иерусалимского храма, он сковывал их. Нехорошо для армии, если допустят до нее проповедников этого учения.

Столь откровенное признание подействовало угнетающе.

— Не нравятся мне такие слова, мой Анний, — заявил Домициан. — Но как бы то ни было, я не желаю, чтобы учение Ягве распространялось, я хочу от него защитить моих римлян и проповедовать его запрещаю. Я сказал все.

— Так как же мы поступим с нашим чудодесем? — решительно и деловито вернулся Норбан к исходной точке разговора.

— Если я правильно понял владыку и бога Домициана, — отозвался Марулл с легкой улыбкой, — то пусть этот чудотворец и дальше совершает свои чудеса, но только среди евреев — в Иудее, а не в Риме.

— Благодарю вас, мой Марулл,— ответил император.— Мне кажется, это правильный путь.

Однако прямодушный Анний заворчал:

— Провинция эта недалеко, у многих римлян там дела, много судов ходят в Иудею. Я был бы спокойнее, если бы этого человека отправили подальше. Почему бы не выслать его за пределы империи? Пусть вытворяет свои чудеса перед скифами или парфянами, только не перед римскими подданными.

Все одобрили слова скромного солдата. Однако Домициан не хотел ограничивать дебаты судьбой Иакова из Секаньи. Господа советники должны знать, что акции против чудотворца — только первый шаг на пути к гораздо более важным действиям. И он заявил:

— Во избежание недоразумений, я уточню еще раз: есть три сорта евреев. Во-первых, те, кто, будучи евреями по рождению, ограничиваются тем, что выполняют требования своей религии. Они могут спокойно делать это, их преследовать не будут. Во-вторых, такие, которые занимаются пропагандой своего учения и совращают иноплеменников в свою веру. Им запрещается пребывание и в Италии, и в любой провинции империи, они имеют право жить только в Иудее, но и там они должны находиться под надзором полиции. И есть еще третья категория евреев,— продолжал он медленно, смакуя каждое слово,— и они, по-моему, хуже всех.— Он смолк, наслаждаясь ожиданием своих советников и наконец пояснил: — Я имею в виду тех, кто по рождению принадлежит к государственной религии, но потом от нее отрекается, предается богу евреев и ставит под сомнение божественность императора.

— Такое деление вносит необходимую ясность,— сухо заметил Марулл.

А практичный Норбан сейчас же сделал свои выводы:

— Итак, нам, вероятно, придется прежде всего выслать Иакова-чудотворца,— сказал он,— во-вторых, предъявить обвинение сенатору Глабриону.

Остальные удивленно подняли головы. Сенатор Глабрион был миролюбивый человек, которого никак

нельзя было упрекнуть во враждебном отношении к режиму; то, что он увлекался экзотической философией, и прежде всего именно христианским учением, большинство его коллег считало просто милым чудачеством. Басс попытался смягчить удар:

— Может быть, следует сначала отдать под суд несколько маленьких людей из народа, предавшихся еврейской ложной вере, — предложил он, — это послужило бы предостережением остальным.

— А я простых людей не стал бы преследовать, — задумчиво возразил Марулл. — Это только повредит престижу императора в глазах народных масс.

Домициан же с обычной злобной улыбкой решил:

— Глабрион достаточно мал.

— Итак, я буду собирать материал против сенатора Глабриона, ввиду его отречения от государственной религии, — сказал Норбан.

— Хорошо! — согласился Домициан и добавил почти скучающим тоном: — Собирайте сначала материал против Глабриона!

Всем было ясно, что означает это «сначала»: Оно имело очень дальний прицел; мишенью был кузен императора, принц Клемент.

Если Сабин не мог устоять перед искушением и принял участие в заговоре Сатурнина, то принц Клемент был лишен всякого политического честолюбия. Он жил большую часть года вдали от Рима в своем этруском поместье, неподалеку от городка Коссы, в старомодном деревенском доме, старейшем владении Флавиев.

Даже Норбан, отнюдь не считавшийся другом Клемента, мог доложить императору только о том, что принц по целым дням занимается восточной философией. Однако учение евреев и минеев рассчитано на внутренний мир маленьких людей; оно проповедует непротивление злу, лепечет о каком-то царстве, которое не от мира сего, почему со стороны Клемента и не приходится ожидать никаких опасных политических действий.

Домициан нашел, что такого рода заключение вполне естественно для его министра полиции; сам же он, цензор Домициан, должен оценить сущность и поведение этого Клемента совсем по-иному. Даже если кто-нибудь из знати второго ранга или какой-нибудь незаметный сенатор начинал сочувствовать христианскому мировоззрению, это уже было предосудительно, ибо христиане призывали отвести свой взор от мира сего, бездействие же не подобает мужу из старинного римского рода. А уж если принц Клемент, кузен императора и после него первый человек в империи, мудрой политической или военной деятельности предпочитал это суеверие и уклонялся от своих гражданских обязанностей—столь преступная лень служила пагубным примером для других. Как может он, властитель, воспитать своих сенаторов полезными слугами государства, если его собственный кузен от такого служения уклоняется?

Враждебность императора к Клементу вызывалась не только общими соображениями религиозного и национального характера. Гораздо сильнее было чувство личной обиды: этот ленивый, ни к чему не пригодный негодяй Клемент не желает признавать его, Домициана, божественность и гениальность. Не то чтобы Клемент начисто отрицал эту божественность,—он даже был готов приносить жертвы перед изображением императора, как того требовал закон; но Домициан постоянно ощущал сквозь замкнутую и небрежную вежливость принца все его неуважение. Домициану было все равно, когда, например, Домитилла, жена Клемента, смотрела на него буйным и сухим взглядом своих сверкающих глаз, это скорее забавляло его, чем сердило. Но пренебрежение Клемента его оскорбляло. Вероятно, прежде всего потому, что ведь этот Клемент был отцом «львят» — принцев Константа и Петрона. Близнецам минуло теперь по одиннадцать лет, и чем взрослее они становились, тем больше нравились Домициану. После смерти Юлии в нем крепло решение их усыновить. Мешал только Клемент. Все в этом увальне раздражало Домициана, он не устал попрекать кузена за его ленивый, вялый характер, находил для него все новые обидные выражения, обзывал неженкой, лежебокой, лодырем, тряпкой,

рохлей, негодным, глупым, косным, небрежным, беспечным, слабым, дряблым, пустым, нерадивым, бездарным. Но именно от его равнодушия отскакивала любая брань императора. Когда император приглашал его к себе, Клемент являлся, вежливо выслушивал упреки, обещал исправиться, уезжал в свое поместье, и все оставалось по-прежнему. Домициан скорее простил бы отцу своих «львят» заговор против его жизни, но этого пассивного сопротивления он вынести не мог.

Клемент же гораздо меньше интересовался императором, чем тот — Клементом. Принц не был выдающимся мыслителем. В свои сорок лет он казался очень молодым, нежная кожа и бледно-голубые глаза под пепельными волосами еще усиливали впечатление чего-то мальчишеского, недоразвитого. Но хотя принц и был медлителен в своих умозаключениях, поверхностным его нельзя было назвать. Если уж он что-нибудь понял, то до тех пор вертел, перевертывал и рассматривал со всех сторон эту мысль, пока она не проникала в глубины его души и не срасталась с его существом.

В учении христиан его сильнее всего поразили загадочные прорицания Сивилл. Боги, говорилось в этих глубокомысленных стихах, почитаемые ныне за богов, на самом деле только духи усопших древних царей и героев. Однако господству давно умерших приходит конец. Рим тоже поклоняется таким мертвецам, поэтому и Рим падет. На смену его царствованию придет царство мессии. Еще рука Рима сильна, сильно каждое сухожилие и каждая кость, но сердце этого мощного тела отмирает, каменеет и уже не может вдохнуть в его члены дыхание жизни. Хотя это и мощное существо, но от него веет глубокой скорбью. От его дыхания цепенеет весь мир, в этом мире больше нет ни покоя, ни радости, утоление желаний уже не утоляет, глубокая тоска о чем-то ином наполняет все живое.

Вот какого рода мысли и чувства занимали простую душу принца. По натуре он был приветлив, даже весел. Но то, что происходило на Палатине и в сенате, он видел глазами Сивиллы, оно казалось ему бессмысленным и мертвым; мертвое лежало грузом на всем мире, подавляло жизнь и счастье. А сознание того, что сам

он составляет часть этого мертвого груза, настраивало его меланхолически. Все больше проникался он идеями чудотворца Иакова и Сивиллиных пророчеств, все труднее было ему нести бремя представительства и выполнять свои обязанности при дворе и в Риме, все сильнее жаждал он навсегда покончить с Палатином и жить тихо и незаметно в деревенском поместье с Домитиллой и детьми, со своими книгами и восточной верой.

Вот как обстояло дело с внутренней жизнью принца Клемента, когда Домициан, осмелев после своей победы над сенатом, наконец решил положить конец широкому проникновению бога Ягве в его царство.

Прежде всего от Клемента оторвали его друга и учителя Иакова из Секаны. Принц Клемент был свидетелем того, как многие его друзья и знакомые отправлялись в ссылку, но он никогда не видел, чтобы человек с таким спокойным упованием принял приговор о ссылке; а ведь жизнь в глухом местечке в провинции Иудее, которое он отныне не имел права покинуть, будет нелегкой. Иаков окажется там единственным христианином среди язычников и иудеев, ненавидимый и теми и другими; его ждет крайняя бедность, так как у него отнимут все имущество и запретят друзьям посещать его и делать подарки. Но он все переносил без протеста, пошел навстречу нужде и изгнанию, точно его ждало радостное будущее.

Затем последовали процесс и казнь сенатора Глабриона, и хотя Клемент и Домитилла мало интересовались римскими делами, они не могли не признать, что теперь опасность угрожает непосредственно им самим. Домитилла говорила об этом Клементу с присущей ей сухой ясностью. Сама она до сих пор считала себя сильной в вере, однако сейчас, когда ей недоставало присутствия и поучений Иакова, она не желала мириться с судьбой без возражений и решила всеми силами бороться против надвигающихся грозных событий. Тем более удивилась она, когда натолкнулась на решительное сопротивление Клемента. В нем ссылка Иакова и казнь Глабриона вызвали какую-то упрямую готовность к мученичеству. Не то чтобы он стал высокомерен — он не считал себя призванным собственной рукой стяжать ве-

нец мученика и демонстративным поведением навлечь на себя месть императора. Он охотнее жил бы, как прежде, императору не перечая, добровольно покоряясь ему, но вместе с тем твердо решил не пытаться спастись теми путями, которые ему предлагала Домитилла. Что бы ни случилось — он не будет уклоняться от судьбы, предназначенной ему божеством.

Поэтому он стал ждать. Он знал, что решения DDD созревают весьма медленно и что ему, быть может, предстоит ждать очень долго. Но случилось так, что не божество послало ему мученический венок, как он хотел, но сам он накликнул на себя беду в разговоре с писателем Квинтилианом.

Произошло это так. Домициан хотел, чтобы его будущие приемные сыновья получили римское воспитание, и для этого назначил их учителем Квинтилиана, прославленного оратора и первого стилиста эпохи. Квинтилиан получил указание оберегать мальчиков от всего, что не подобает будущим владыкам Римской империи, но, с другой стороны, избегать столкновений с родителями. И как ни противоречивы были эти указания, Квинтилиану, представительному, вежливому, очень достойному, гибкому и все же решительному человеку, удавалось их выполнить. Между родителями мальчиков и их воспитателем происходила очень вежливая, очень благородная и молчаливая борьба, и хотя Квинтилиан в прямом смысле слова не встал между родителями и детьми, ему все же удавалось осторожно и незаметно внести некоторую отчужденность в отношения мальчиков к отцу и матери.

Клемент не раз пытался поговорить откровенно с воспитателем своих детей. Однако он никак не мог состязаться с этим многоопытным оратором и стилистом, и во время одного из их объяснений случилось так, что он невольно дал себя увлечь и произнес неосторожные слова, которые дали наконец императору повод для обвинения.

Квинтилиан заявил, что его задача — преподавать детям не столько истинное, сколько полезное. Хороший наставник, утверждал он, имеет бесспорное право питать своих учеников ложными утверждениями, если

это ведет к благородной, то есть к латинской или римской, цели.

— Выступая перед судом,— сказал он,— я никогда не испытывал колебаний, допуская сомнительные утверждения, если не видел иного способа склонить судью к доброму делу.

— А вы всегда знаете точно,— не удержался от вопроса Клемент,— что такое доброе дело?

— В нашем случае я знаю это очень точно,— ответил Квинтилиан.— Я считаю добрым и правильным всякое утверждение, помогающее воспитать в принцах Константе и Петроне властителей из рода Флавиев. Доброе дело, которому я служу,— это укрепление и владычество династии Флавиев.

— Вашей уверенности можно только позавидовать,— отозвался Клемент.— Доброе дело,— задумчиво продолжал он,— как много людей вкладывают в это понятие совершенно разное содержание. Я, например, знаю твердо: царство Флавиев наверняка погибнет, и так же твердо знаю я, что есть другое царство, которое пребудет вовек.

Услышав эту в высшей степени не римскую мысль, да еще высказанную на неряшливой латыни, Квинтилиан ничего не ответил. Клемент же тотчас спросил себя, зачем он ее высказал,— это было совершенно излишнее признание, одна из тех бесполезных демонстраций, которые Иаков-чудотворец и Домитилла строго осуждали. Ибо говорить о божестве и об истине имеет смысл только перед теми, кто может воспринять эту истину.

С чувством раскаяния поведал он Домитилле о происшедшем. Она испугалась. Как настойчиво внушал им Иаков, уходя в ссылку, чтобы они не добивались мученичества, пусть только будут мудры, как змеи, и стараются пережить господство «этого», антихриста. Но о наставлениях Иакова она ничего не сказала, не услышал он от нее и жалоб; тем сильнее потрясли Клемента немногие, полные покорности слова, которые пропнулись узкие губы любимой жены.

Он искренне раскаивался в своем необдуманном признании. Но если из-за его неосторожных высказываний

его судьба свершится скорее, — а так оно, вероятно, и будет, — в глубине души он этому рад. Клемент все больше уставал от неистовой и мерзкой суеты вокруг него и без сожалений ушел бы из этого пустого и пошлого мира. Он был скромнен по природе и не считал себя призванным, но если бы его все же избрало божество для свидетельства о себе, то «ленивая, праздная жизнь» Клемента все же обрела бы больше смысла и сильнее светила бы в будущее, чем неумолимая, деятельная жизнь DDD. Эта мысль вызывала у него улыбку. Ожидание будущего решения DDD все больше сменялось в нем радостью и надеждой, и если сердце Домитиллы сжималось от страха, Клемент ждал с возвышенным бесстрашием.

Примерно через две недели после того разговора с Квинтилианом в имение под Коссой явился курьер и привез письмо, в котором Домициан с подчеркнутым дружелюбием просил Клемента поскорее прибыть на Палатин для доверительного разговора. Домитилла побелела, она растерянно уставилась перед собой светлыми глазами, узкий рот не был, как обычно, решительно сжат, губы пересохли и приоткрылись. Клемент знал совершенно точно, о чем она думает. Подобные интимные разговоры с императором редко кончались добром, и с Сабином DDD имел особенно продолжительную и лубезную беседу, перед тем как убить его.

Клемент очень жалел, что Домитилла ничуть не разделяет переполняющей его спокойной радости. Ясное, нежное лицо этого сорокалетнего человека казалось еще моложе; когда он прощался с женою, в нем была почти веселая собранность. Он поцеловал близнецов в чистые лбы, погладил их мягкие волосы. «Мои львята», — подумал он, — значит, даже Домициан его чему-то научил.

Домициан принял кузена в халате. Он поджидал его с нетерпением, предвкушая много приятных минут от этой беседы. Он любил подобные разговоры. Предположения Клемента и Домитиллы оправдались: после преступных высказываний кузена Домициан почувствовал, что и перед собой, и перед бстами, и перед целым Римом он теперь вправе очистить атмосферу вокруг маль-

чиков, его будущих наследников, и потому решился умертвить Клемент, а Домитиллу отправить в ссылку. Но раньше он желал объясниться с кузеном. И так как часы, когда он объяснялся с теми, кого обрек на смерть, бывали для него самыми приятными часами его жизни, он позволил себе вполне насладиться встречей и принял Клемент, очень тепло.

Прежде всего он стал расспрашивать гостя, как у него дела в поместье, как приспособились к переменам, связанным с его новым законом об ограничении виноградарства. Затем вернулся к своим обычным жалобам на то, что Клемент проводит так много времени у себя в имении и таким образом уклоняется от обязанностей, лежащих на римском принце. Еще раз напомнил о его «лености» и перечислил свои собственные занятия. Пять дней назад он присутствовал на открытии новой дороги, широкой проезжей дороги между Синуессой и Путеолами. В нее было вложено немало труда и пота, в эту Виа Домициана, зато теперь она наконец готова и будет облегчать жизнь многим миллионам людей отныне и вовеки.

— Поздравляю вас, — ответил Клемент. — Но, — продолжал он без всякой иронии, — не думаете ли вы, что было бы лучше проложить миллионам более легкий и быстрый путь к богу, чем в Путеолы?

Постепенно багровея, Домициан злыми глазами рассматривал кузена. Он уже готов был сразить его криком и молнией гнева, однако вспомнил, что остался в халате, именно желая не походить на Юпитера, а выглядеть по-человечески. Да и у Клемента, наверное, и в уме не было посмеяться над ним, эти слова ему подсказали его обычная тупость и глупость. Поэтому Домициан пересилил себя. Ведь он вовсе не ставил себе целью сломить сопротивление кузена; ему хотелось одного: пусть Клемент признает, что Домициан прав. Ибо если император раньше гордился тем, что ему одному дано познание некоторых вещей, и считал эту исключительность особым отличием и милостью богов, теперь его угнетало всеобщее непонимание, которое он видел вокруг себя. Неужели невозможно приобщить и других к этому свету? Неужели невозможно переубедить хотя

бы Клемента? Итак, Домициан пересилил себя и на дерзкий вопрос кузена ответил только:

— Бросьте ваши глупые шутки, Клемент! — и заговорил о другом. Удобно расположившись на диване — не то полулежа, не то полусидя, он начал: — Мне докладывали, что эти восточные философы, которыми вы в последнее время увлекаетесь, эти еврейские, вернее, христианские учителя мудрости, обращаются, главным образом, к черни; они стараются помочь униженному и обездоленному, их учение предназначено для широких масс, для нищих духом, для миллионов. Это верно?

— В известном смысле — да, — ответил Клемент. — Может быть, именно потому меня и привлекает их учение.

Император подавил свой гнев, вызванный столь неуместным замечанием, и, не поднимаясь, продолжал:

— Да, я устранил кое-кого из моих сенаторов, публика любит перечислять их имена. Но их, по существу, немного, всего около тридцати, больше тридцати не наберется, и если меня винят в гибели очень многих, то дело тут не в числе имен, а в древности рода, это она придает списку моих «жертв» такую значительность. С другой стороны, никто не станет отрицать, что огромную часть из состояния этих «жертв» я употребил на то, чтобы сотням тысяч, даже миллионам жилось гораздо лучше. С помощью этих денег я смягчил или даже совсем уничтожил голод, заразные болезни, нужду и лишения. — Он продолжал, пристально рассматривая свои руки: — Если бы не мой режим — сотни тысяч людей, а может быть, и миллионы уже умерли бы, а другие сотни тысяч просто не появились бы на свет без моих мер, которые оказались возможными лишь после ликвидации тех тридцати.

— Ну и?.. — спросил Клемент.

— Ну и запомните это хорошенько, мой Клемент! — ответил император. — Вам, ставящим себе целью счастье низших сословий, счастье масс, вам следовало бы понимать и мою деятельность, следовало бы почитать меня и любить. А вы что делаете?

— Может быть, — приветливо, почти смиренно отозвался Клемент, — может быть, мы понимаем жизнь и

счастье несколько иначе, чем вы, мой Домициан. Мы понимаем их как стремление к божеству, как полную надежды подготовку к переходу в иной мир.

Тут, однако, спокойствию Домициана пришел конец.

— Иной мир! — язвительно отозвался он. — Аид.

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать
мертвый,—

процитировал он слова Ахилла у Гомера. — Аид, иной мир, — горячился он все больше. — Вот за это я вас и порицаю. Вы не имеете мужества посмотреть жизни в лицо, идти вместе с жизнью, вы болтаете об ином мире, вы жметесь и мнетесь, вы удираете. Вы не верите ни в себя, ни в кого другого, не верите в прочность созданного людьми. Какая трусость, какое убожество, когда отпрыск дома Флавиев сомневается в прочности династии Флавиев! А она не погибнет, говорю тебе! — И тут он принял царственную позу, несмотря на халат, угловато отставил назад локти и своим высоким, резким голосом проверещал Клементу в лицо стихи:

Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя
Избежит похорон.

Если уж поэт имел право это сказать про себя, насколько же больше права на такие слова имеет император из династии Флавиев! Нет, то, что не избежит похорон, что обречено гибели, ибо никогда не существовало по-настоящему, — так это царство твоего невидимого мессии. Вы поселяетесь в обителях снов, вы еще при жизни становитесь тенями. Рим — это жизнь, а ваше христианство — это смерть!

Неожиданно, с тем же мягким, шутивным дружелюбием, с каким он держался во все время беседы, Клемент вдруг заметил:

— Значит, ты хочешь отправить меня в христианство?

Этот спокойный, веселый и, как Домициану показалось, издевательский вопрос окончательно вывел его из себя. Он стоял перед Клементом, густо побагровев, яростно посасывая верхнюю губу. Но он еще раз сделал над собой усилие и, почти добродушно увещевая его, сказал:

— Мне хочется, чтобы ты понял: я обрекаю тебя на смерть по заслугам.

— Если твои боги существуют,— отозвался с тем же несокрушимым, неприступным и шутливым спокойствием Клемент,— то ты по справедливости обрекаешь меня на смерть.— И после очень короткой паузы, теперь уже с тихим покоряющим самообладанием, добавил: — А в общем, ты оказываешь мне услугу.

Уже когда Клемента давно не было на свете, Домициан нередко задумывался над этими словами, действительно ли Клемент верил в то, что говорил, или это была только поза?

Книга вторая

ИОСИФ

Глава первая

Повозок было три. В первой сидела Мара, пятнадцатилетняя Иалта, тринадцатилетний Даниил и один из рабов, во второй — четырнадцатилетний Маттафий с двумя рабами и большою частью багажа, в третьей — остальной багаж и отпущенница Мары Ярматия. Иосиф ехал верхом подле Мариной повозки, а замыкал поезд конюх Иосифа. Время от времени Маттафий брал лошадь конюха, уступая ему свое место в повозке.

Был славный осенний день, очень свежий, с моря тянул ветерок, несколько облаков ослепительно белели на яркой, светлой синеве неба. Иосиф был весел и оживлен. Тогда, девять лет назад, купив поместье Беэр Симлай, он обещал Маре вернуться в Иудею, как только завершит свой труд. Теперь как будто срок пришел, «Всеобщая история» завершена. Но хорошо, что он нашел «компромиссное решение» и сможет остаться в Риме на зиму. Мара, Иалта и Даниил пусть едут вперед, а он с Маттафием присоединится к ним весною. Радостно ждет он этой зимы — зимы наедине с сыном, с Маттафием.

Он любит Мару, искренне любит ее, но они вместе уже двадцать пять лет (не считая коротких перерывов), и за эти годы нрав у нее сделался тяжелее, хотя он без возражений признает, что и сам не раз взваливал ей на плечи невыносимую тяжесть. Очень долгий

понадобился срок, чтобы рассеялось слепое поклонение, привязывавшее ее к мужу, и в прежние времена Иосиф часто желал, чтобы она научилась судить самостоятельно — обо всем, и о нем тоже. Но теперь, когда его желание сбылось, когда она с материнскою снисходительностью принимает и терпит его слабости, не скрывая, однако, что знает их все наперечет, — теперь он порою предпочел бы, чтобы все было, как раньше. Ибо порой ее осуждение, каким бы осторожным оно ни было, больно его задевает. Настойчивость этого осуждения — вот что ему неприятно; в глубине души он убежден, что она права, хотя его изощренная диалектика без труда опровергает ее правоту.

И прежде всего она была права, когда все эти последние годы мягко, но неотступно настаивала на том, что в конце концов надо расстаться с Римом. С тех пор как император распорядился убрать его бюст из храма Мира, друзья снова и снова заклинали его бежать из этого страшного Рима, прочь с глаз императора, Мессалина, Норбана. Иоанн Гисхальский приводил ему сотни разумных доводов, перед которыми аргументы Иосифа уже не могли устоять, — не то что перед словами Мары, а когда затем последовали новые репрессии, даже Юст ему заявил, что оставаться теперь — это скорее позерство, чем мужество. Один раз Иосиф и правда съездил в Иудею; он внимательно осмотрел свое новое поместье Безр Симлай, убедился, что под безупречным надзором его старого Феодора бар Феодора дело подвигается, во всяком случае, не хуже, чем оно могло бы подвигаться под присмотром самого хозяина, и с этим убеждением вернулся в Рим.

Теперь он доволен тем, как все сложилось, доволен, что эти тяжелые годы он прожил в Риме, в стороне от событий и вместе с тем в самой их гуще. Теперь его труд завершен, и предлог, которым он оправдывал перед самим собою и перед Марой свое пребывание в Риме, предлог, что вдали от Иудеи работа удастся лучше, отпал, приспел срок выполнить обещание. Но он просто не решался сразу же сесть на корабль, чтобы похоронить себя в Иудее. И вот найдено «компромиссное решение», новый предлог, чтобы остаться в Риме

хотя бы еще ненадолго. Если он хочет, чтобы «Всеобщая история» оказала свое действие, лицемерно убеждал он себя и Мару, его присутствие при выходе книги в свет важно, почти необходимо: это его долг хотя бы перед Клавдием Регином, который положил столько любви, терпения и денег на то, чтобы он смог выполнить свою работу. Шаткий довод. Мара усмехнулась разочарованно и чуть-чуть горько, и Иосиф пережил несколько неприятных минут, когда предлагал, чтобы она ехала вперед, а они с Маттафием приедут позже, весной. Но теперь эти неприятные минуты позади. Уже шестой день они в дороге, завтра, самое позднее послезавтра будут в Брундизии, корабль выйдет в море и повезет Мару с детьми в Иудею, а потом настанет зима, и вплоть до весны ему не придется думать о переезде в Беэр Симлай.

Ветер румянит щеки Иосифа и разглаживает морщины на лбу. Сегодня никто бы не поверил, что ему далеко за пятьдесят. Он не выдерживает медлительной поступи упряжных коней и скачет вперед.

Звонко бьют копыта о мощенную плитняком дорогу. Да, в этом ему не откажешь, императору Домициану, — никто из его предшественников не содержал в таком порядке Анпиеву дорогу. Бесконечной вереницей тянутся в обе стороны повозки, носилки и всадники. Одних он обгоняет, другие движутся ему навстречу. Он протискивается между повозкой и носилками, и какой-то возница кричит:

— Эй, ты, потише! Или, может, за тобой полиция гонится?

И Иосиф весело откликается:

— Нет, просто я тороплюсь к своей девчонке!

И все смеются.

Он останавливает коня на пригорке, повозки далеко позади, он ждет. Появляется его мальчик, Маттафий, он снова не мог усидеть в повозке, он мчится галопом, весело погоняя смиренного и невидного конька. Иосиф радуется, глядя на своего мальчика. Вот он уже совсем близко — крупный, высокий, в свои четырнадцать лет он почти догнал самого Иосифа. У его Маттафия такое же худое, костистое лицо, длинный, с легкой горбинкою

нос, густые, иссиня-черные волосы. Щеки разрумянились, короткие волосы перебирает ветер, в горячих глазах светится наслаждение стремительной скачкой. Как он похож на него и как не похож в одно и то же время! В нем нет и следа той необузданности чувств, которая приносила Иосифу столько радостей и столько мук; зато он многое унаследовал от благодушной, приветливой натуры матери, от ее детскости, которую она сохраняет и по сей день. И приветливая открытость у него тоже от матери — он легко сходится с людьми, без малейшей, однако, назойливости. Нет, красивым его не назовешь, думает Иосиф, пока Маттафий скачет к нему, обдуваемый ветром, без шапки; по правде сказать, ни одну черту его лица не назовешь красивой, и все же как он обаятелен, как ясно отражается во всем его облике открытая, мальчишеская откровенность чувств, как в каждом движении сквозит безыскусственное и полное жизни изящество! Он уже юноша и тем не менее еще совсем ребенок, ничего удивительного, что дружжелюбные взгляды тянутся к нему отовсюду. Иосиф завидует детской натуре сына и любит ее в нем. Сам он не знал детства, в десять лет он был рассудительным и взрослым.

Маттафий останавливается рядом с отцом на пригорке.

— Знаешь, — говорит он, и его голос звучит неожиданно низко и по-мужски на этих пунцовых губах, — просто невыносимо, повозка ползет, как черепаха. Вот будет замечательно, когда мы поедем назад, ты и я, вдвоем!

— Хотелось бы мне знать, — отвечает Иосиф, — что ты скажешь, когда увидишь корабль: наверно, пожалеешь, что не плывешь вместе с матерью.

— Нет, что ты! — пылко протестует мальчик. — Мне не хочется проходить обучение в Иудее — ни военное, ни гражданское.

Видя оживленное лицо сына, Иосиф радовался, что решил оставить его в Риме. Молодость, ожидание, тысячи надежд светились в горячих глазах мальчика.

— Не говоря уже, разумеется, о придворном? — добавил Иосиф.

Необдуманное слово; он увидел это по силе впечатления, которое они произвели на мальчика. Обучение в армии, при гражданских властях или при дворе,— этот путь должен был пройти каждый мальчик из аристократической семьи. Однако обучение при дворе было доступно далеко не каждому, оно расценивалось как знак высокого отличия, и требовались крепкие связи на Палатине, чтобы прошение о приеме не встретило отказа.

— А это в самом деле возможно, ты не шутишь? — в свою очередь спросил Маттафий, и все лицо его просияло жадным блеском. — И ты мне позволишь? Ты сделаешь так, что меня примут?

— Не увлекайся,— поспешил Иосиф взять обратно свое необдуманное слово. — Я еще не решил окончательно и пока ничего не могу тебе сказать. Будь доволен, мой мальчик, что остаешься еще на одну зиму в Риме. Или, может, ты недоволен? Тебе этого мало?

— Конечно, нет! — торопливо и чистосердечно возразил Маттафий. «Но только,— подумал он, и глаза его широко раскрылись при этой радостной мысли,— какое это было бы торжество и что сказала бы Цецилия, если бы меня взяли ко двору!»

Иосифу недолго пришлось допытываться у сына, при чем тут эта Цецилия. Она была сестрой одного из школьных товарищей его Маттафия и однажды, в пылу спора, предсказала ему, что он окончит свои дни мелочным торговцем на правом берегу Тибра — там, где ютится еврейская беднота. Это был первый случай, когда его еврейство причинило Маттафию боль. Иосиф отдал мальчика в школу, где других евреев не было, и случалось, что товарищи потешались над ним и его еврейством. Сам Иосиф мальчишкой вряд ли смог бы проглотить и забыть такие обиды. Он бы раздумывал над ними месяцы, годы, он бы возненавидел тех, кто над ним издевался. Маттафия глумление школьников скорее, видимо, изумляло, чем ранило, он не принимал его близко к сердцу, он дрался с ними и с ними веселился, а в общем, недурно ладил с товарищами. Только фраза, сказанная этой маленькой Цецилией, засела у него в памяти. Но, по сути дела, Иосиф очень доволен. По сути дела, он доволен, что его мальчик честолюбив.

Повозка поравнялась с всадниками. Некоторое время Иосиф едет рядом с Марой. Он полон нежности к жене, он любит и остальных своих детей — Иалту и Даниила. Как же это вышло, что он ощущает теперь такую глубокую привязанность к сыну Маттафию, более сильную, чем ко всем остальным? Еще год назад он почти не вмешивался в воспитание подростка. Теперь он сам не понимает, как это было возможно. Теперь в нем шевелится ревность, когда он вспоминает, что так надолго отдал мальчика матери, сердце переполняется при мысли, что эту зиму он проведет с ним наедине. Как это выходит, что один из детей вдруг становится тебе настолько дороже остальных? В былые дни господь благословил его Симоном, Мариным первенцем, но он упустил это благословение, безрассудно расточил милость господню. Тогда господь покарал его и проклял Павлом. Ныне он снова благословляет его — Маттафием, и на этот раз он не расточит господней милости. Этот мальчик, Маттафий, станет его свершением, его Цезарионом, безупречным сочетанием эллинства и еврейства. Ему не повезло с Павлом, но на этот раз ему повезет.

Они прибыли в Брундизий через два дня. Корабль «Феликс» был готов к отплытию — завтра рано утром он выйдет в море. Еще раз, в двадцатый раз, Иосиф говорит с Марою обо всем, что надо помнить и решить. Рекомендательные письма к губернатору в Цезарею он ей уже передал, свиток с ценными наставлениями Иоанна Гисхальского, над которыми ей предстоит еще раз поразмыслить вместе с управителем Феодором, — тоже. Главное — чтобы она помогла Феодору сделать из Даниила хорошего хозяина. Даниил был спокойным мальчиком, не слишком глупым и не слишком умным, он с нетерпением ждал переезда в Иудею, в поместье Бэзр Симлай; когда Иосиф сам приедет в Бэзр Симлай весною, он найдет там хорошего помощника. Но ни единого слова не было сказано в этот последний день о том, что касалось лишь их двоих, что привязывало Иосифа к Маре. Они так много пережили вместе — и хорошего и дурного; Мара не владела тем глубоким знанием

людей, которым был одарен Иосиф, и не могла следовать его философии, но она знала его лучше, чем кто-либо другой в целом свете, и он это понимал, понимал, что она любит его женской и материнской любовью, которая видит все его слабости, исподволь с ним борется и мирится с ними.

Мальчик Маттафий сразу же облазил весь корабль. Славное судно, надежное и вместительное, но, по его мнению, слишком тихоходное. Он горячо объясняет это отцу и брату Даниилу; он очень надеется, что, когда весною они с отцом тоже отправятся в путь, у них будет корабль побыстрее, чем этот «Феликс». Мчатся вперед под ветром на всех парусах на стройном, узком, невероятно быстром судне — он думает об этом с восторгом, его глаза сияют.

На другой день «Феликс» уходил. Иосиф и Маттафий стояли на набережной, а Мара с детьми стояла у борта. По-прежнему дул приятный бодрящий ветерок, по-прежнему в небе хлопотливо бежали маленькие белые облака. Вокруг, на судне и на набережной, было шумно и оживленно. Потом бортовые перила стали медленно поворачиваться, удаляясь от берега, и с ними — лица Мары и детей. Иосиф стоял на набережной, он смотрел, пристально всматривался в эти три лица у борта, его взгляд впитывал их черты, и он думал обо всем хорошем, что пережил за многие годы своего союза с Марой. С корабля донесся ее голос.

— Присажай весною с первым же судном! — кричит она по-арамейски, и слова ее уносит ветер, они тонут в гомоне толпы.

Но вот корабль уже далеко от набережной и, вопреки неблагоприятному суждению о нем Маттафия, быстро уходит с попутным ветром.

Иосиф смотрел ему вслед до тех пор, пока лица у борта не слились и глаз уже не улавливал ничего, кроме скользящего по воде контура, и все его мысли в это время были с Марою и полны нежности к ней. Но затем, едва только он отвернулся, как вместе с очертаниями судна словно бы исчезла и она сама; в мыслях у Иосифа была лишь радостная зима в Риме, которая ждала его, — зима вдвоем с сыном Маттафием.

Весел и приятен был их обратный путь. Иосиф и его сын ехали быстро, конюх на дрянной наемной кляче остался далеко позади. Иосифу было легко и покойно, он не ощущал своих лет. Он болтал с мальчиком, и быстро, светло прилетали и улетали думы.

Как он любит его, этого Маттафия, теперь и в самом деле своего старшего! Да, ведь Симон мертв, а Павел еще более недосыгаем, чем мертвый. Иосифа пробирает дрожь при мысли, что Мара едет в ту землю, где живет Павел, теперь враг, злейший враг — злее не придумаешь.

Но у него есть его Маттафий, всю зиму Маттафий будет рядом с ним. Как сильно отличается открытая натура его Маттафия от его собственной, если говорить честно! Откровенность Маттафия словно отмыкает людей, завоевывает сердца; напротив, он, Иосиф, никогда не умел соблюсти меру и, изливая душу перед посторонним, иной раз убеждался, что этот посторонний отшатывается от него, неприятно задетый такою недержанностью.

Как же все-таки вышло, что вся любовь Иосифа разом обратилась на него — на Маттафия? Все эти годы мальчик прожил бок о бок с ним, а он, Иосиф, собственнo, его и не видел! Теперь он видит его, и он понимает, что Маттафий далеко не так одарен, как Павел или даже как Симон. Почему теперь, когда его план вырастить Павла продолжателем и свершителем своего дела позорно и жестоко провалился, почему он верит, что ему должно повезти с этим мальчиком, с Маттафием, и все свои надежды, всю любовь отдает ему?

Почему? Вот и Маттафий тоже все время задает этот вопрос, и очень часто ни один смертный не в силах на него ответить. Иосифу приходится тогда отделяться неопределенными, уклончивыми словами или же прямо признаваться: «Не знаю», — и, слыша этот ответ, Маттафий испытывает то же чувство, что когда-то так часто испытывал сам Иосиф в высшей школе в Иерусалиме. Там, если поднималась проблема, вызывавшая между учеными споры в течение десятков, а то и сотен лет, как часто тогда — и именно в тот миг, когда острота и сложность дискуссии достигали предела, —

Иосиф должен был довольствоваться ответом: «*Кашия*». А это означало: проблема, нерешенная проблема, окончательных выводов нет, разъяснению не подлежит.

Они добрались до Рима быстрее, чем ожидали. Когда Иосиф принял ванну, перевалило далеко за полдень, но до заката оставалось еще два часа, ужинать было рано. Его отсутствие длилось совсем немного, и все же Иосифу казалось, будто он вернулся из далекого путешествия, и он решил до вечерней трапезы прогуляться по городу.

Довольный, брел он по оживленным улицам светлого, сверкающего под ярким солнцем города. После многих часов в седле приятно было как следует размять ноги. На душе было легко и привольно, уже много лет не знал он этого чувства. Его труд завершен, ни один долг больше не тяготеет над ним, и женщина с тихим, невысказанным упреком на устах больше его не ждет. Он был другим человеком, годы не ложились бременем на его плечи, ему чудилось, будто он оброс новой кожей и в груди у него новое сердце. Иными путями, чем все последние годы, шли его мысли. Иными глазами глядел он на этот в конечном счете столь близкий ему Рим.

Много лет прожил он в Риме, всякий день, всякий час его окружали эти дома, улицы, храмы, а он ни разу прежде не замечал, как поразительно все изменилось здесь с той поры, когда он увидел город впервые. Это было при Нероне, вскоре после пожара. Рим не мог тогда похвастаться ни такой четкой планировкой, ни такой чистотой, он был неряшливее, но зато свободнее, многообразнее, веселее. Он стал теперь более римским, чем в ту пору, Флавии, и в особенности этот Домициан, сделали его более римским. Теперь в нем было больше дисциплины. Ларьки торговцев уже не загромождали добрую половину улицы, носильщики и разносчики приставали к прохожим не так назойливо, меньше стала опасность споткнуться о лохань с помоями или попасть под душ из нечистот, льющийся откуда-нибудь с верхнего этажа. Дух Норбана, дух министра полиции, владычествовал над городом. Большой и сильный высился Рим, дерзко и ослепительно сверкали его здания, могу-

чая рука сочетала воедино старину и модерн, город представлял напоказ свое богатство и власть над целым миром. Но представлял напоказ не с обаятельной хвастливостью неряшливого, вольнодумного нероновского Рима, а холодно и угрожающе. Рим — это значило: порядок и власть, но порядок только ради порядка, власть только ради власти, власть неодоумовленная, бессмысленная власть.

Иосиф в точности помнил те мысли и чувства, с которыми он глядел впервые на этот город Рим. Он хотел его завоевать, одолеть его хитростью. И в каком-то отношении это ему удалось; правда, потом обнаружилось, что победа его с самого начала была скрытым поражением. Теперь позиции стали яснее. Этот домициановский Рим был жестче, обнаженнее Рима Веспасиана и Тита, в нем не осталось ничего от жизнерадостных повадок того Рима, который некогда завоевал молодой Иосиф. Теперь его труднее завоевать, тому, кто пожелает одолеть его, потребуется больше сил, но зато теперь он так откровенно представляет напоказ свою мощь, что труднее и обмануться в размерах стоящей перед тобою задачи.

И вдруг Иосиф понял, что, как прежде, как в дни молодости, он полон безмерного честолюбия, жгучего желания покорить этот город. Быть может, поэтому он так упорно противился мысли оставить Рим. Кто знает: быть может, это щекочущая охота к борьбе удерживала его в Риме. Ибо только здесь можно довести борьбу до конца. То была борьба с владыкой города Рима — с Домицианом.

Нет, он еще далеко не исчерпан, их спор. И если император так долго безмолвствует, то вовсе не потому, что он забыл об Иосифе, он просто отодвинул срок великого состязания. Но теперь оно близилось, надвигалось, и если не император, то он, Иосиф, сам назначит день. Он чувствовал, что выбрал время удачно: он завершил свой труд, «Всеобщая история» написана, и это его камень в праще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана. И он чувствует в себе новые силы, они приливают к нему от сына, он обретает новую юность в юности своего Маттафия.

Он так погружен в свои думы, что уже ничего не слышит и не видит вокруг. Смех и веселая болтовня, доносящиеся из небольшого мраморного строения, возвращают его к действительности, и вот он уже больше не распаленный честолюбием воин, но обыкновенный прохожий: закончив многолетний труд, радуясь, что сброшено с плеч тяжелое бремя, он бредет по городу, который любит и который, несмотря ни на что, стал его родиной. Он тоже усмехается, прислушиваясь к смеху и веселому говору, вырывающимся из-за стен небольшого мраморного строения. В Риме четыреста таких общественных уборных. Каждое сиденье снабжено великолепной спинкой и подлокотниками из дерева или мрамора, и римляне сидят друг подле друга и непринужденно болтают, облегчаясь. В комфорте они знают толк, ничего не скажешь. Устроились весьма удобно. Иосиф слушает благодушную болтовню испражняющихся в этом красивом белом строении, и насмешливая, горькая улыбка у него на губах обозначается резче. Комфорт у них есть, изобилие тоже, власть тоже. Все внешнее есть у них, все, что не затрагивает сути вещей.

Да, Рим — это порядок и бездушная власть, Иудея — это бог, это раскрытие божества, это осмысление власти. Одно не может существовать без другого, одно дополняет другое. Но в нем, в Иосифе, они сливаются воедино — Рим и Иудея, власть и дух. Он избран для того, чтобы их примирить.

Ну, а пока хватит об этом. Сейчас он не хочет об этом думать. Долгий, тяжкий труд остался позади; он хочет отдохнуть.

Прогулка по городу его утомила. Какой он большой, этот город! Если идти пешком, до дому еще добрый час. Иосиф взял носилки. Опустил занавески, отгородился от пестрой толчеи улицы, которая так настойчиво на него паседала. Развалился в полумраке носилок, приятно утомленный, — не борец, но просто утомленный, проголодавшийся человек, который завершил большую и хорошо удавшуюся работу и теперь, в отличном настроении, нагуляв волчий аппетит, примется за ужин вместе с любимым своим сыном.

— Поздравляю вас, доктор Иосиф,— сказал Клавдий Регин и пожал ему руку. Это случалось нечасто: обычно он только вяло касался толстыми пальцами руки собеседника.— Это действительно всеобщая история,— продолжал он.— Я многое из нее узнал, хотя и прежде не был полным профаном в вашей истории. Вы написали превосходную книгу, и мы сделаем все возможное, чтобы мир ее узнал.

В устах Регина, всегда такого сдержанного и насмешливого, эта похвала звучала необычайно сердечно и решительно.

С живостью говорил он о том, что нужно предпринять, чтобы успешно выпустить книгу в свет. Техническая сторона дела — производство и сбыт — это в конечном счете вопрос денег, а Клавдий Регин не был скрягой. Но там, где техническая сторона кончалась, все сразу становилось сомнительным и неясным. Например, как быть с портретом автора, который, по заведенному обычаю, должен быть предпослан кните.

— Я не хочу делать вам комплименты, мой дорогой Иосиф,— заметил Клавдий Регин,— но сейчас вы с виду совсем как я, а я — самый настоящий старый еврей. Мне ваш нынешний вид нравится, но боюсь, что публика будет иного мнения. Что, если мы немного прикрасим портрет? Если мы попросту изобразим элегантного, безбородого Иосифа прежних дней, чуть-чуть постаревшего, разумеется? Мой портретист Дакон делает такие вещи бесподобно. Кстати сказать, было бы совсем недурно, если бы вы и в жизни больше разыгрывали роль светского человека и меньше — кабинетного ученого, повернувшегося к миру спиной. Если бы вы, например, снова предоставили цирюльнику соскоблить с ваших щек щетину, вреда от этого не было бы никакого.

Иосиф слушал бесцеремонные, пошловатые речи Регина без всякого неудовольствия, потому что различал за ними искреннее уважение, да и Регин знал, что говорит. Последнее время удача снова во всем сопутствовала Иосифу. Заинтересованность Регина почти наверняка обеспечивала «Всеобщей истории» внешний успех, а Иосиф жаждал такого успеха. Время, когда он

равнодушно встретил весть о том, что его бюст выброшен из храма Мира,— это время миновало.

Иосиф воспользовался благодушием Регина, чтобы завести речь еще об одном деле, которое его теперь занимало,— об учении Маттафия. Было очень опрометчиво с его стороны подать мальчику надежду на обучение при дворе, но так уж случилось, и помочь ему не мог никто, кроме Клавдия Регина.

Иосиф объяснил Регину ситуацию. Уже больше года назад Маттафий отпраздновал *бар-мицва* — свое вступление в еврейское общество, теперь наконец ему пришло время облачиться в мужскую тогу и стать римлянином и римским гражданином. При этом принято было объявлять, какую карьеру избирает молодой человек. Иосиф хотел, чтобы его мальчику была открыта возможность пройти курс обучения не только в армии или при гражданских чиновниках, но и при дворе, он хотел этого и ради сына, и ради себя самого. И это желание побудило Иосифа рассказать Регину, в чьей дружбе он не сомневался, больше того, что требовалось обстоятельствами.

— Я чувствую,— объяснял он,— что привязан к моему Маттафию сильнее, чем к остальным детям. Он должен стать моим свершением, моим Цезарионом, идеальным сочетанием эллинства и еврейства. С Павлом у меня ничего не вышло.— Впервые он сознался в этом вслух и так откровенно.— Он слишком многое унаследовал от язычества, мой грек Павел, он восстал против моего плана. Маттафий же — мой сын с головы до пят, он еврей, и он послушен.

Регин сидел, понутив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками, так что его сонные глаза под выпуклым лбом не были видны. Но слушал он внимательно.

— Вашим свершением? — подхватил он и с дружеской иронией продолжал: — Но какой именно Иосиф должен и намерен достигнуть своего свершения в этом мальчике Маттафии — кабинетный ученый или же солдат и политик? Он честолюбив, ваш Маттафий? — И, не дожидаясь ответа, заключил: — Приведите мальчика ко мне на этих днях. Я хочу на него поглядеть. Тогда и решим, смогу ли я дать вам добрый совет.

Несколько дней спустя Иосиф с Маттафием стояли у ворот виллы Регина, куда их пригласил министр. Гостей встретил секретарь. Регина неожиданно вызвали к императору, но он рассчитывал, что не заставит Иосифа ждать слишком долго.

— Кстати, вот это, видимо, вас заинтересует, — говорит с подчеркнутой вежливостью секретарь и показывает Иосифу портрет, только что выполненный художником Даконом для «Всеобщей истории».

Сияющими глазами, немного испуганно и вместе с тем зачарованно, смотрит Иосиф на портрет. Но с еще большим любопытством глядит на портрет мальчик. Смуглая, продолговатая голова, горящие глаза, густые брови, высокий, изрезанный частыми морщинами лоб, длинный, с легкой горбинкой нос, густые, иссиня-черные волосы, тонкие, со вздернутыми уголками губы, — неужели это нагое, гордое, аристократическое лицо — лицо его отца?

— Если бы я не знал заранее, — говорит он, и голос, стекающий с его пунцовых губ, так глубок и по-мужски низок, так взволнован, что секретарь отрывает взгляд от портрета, — если бы я не знал заранее, я бы не мог сказать, ты ли это, отец. Так вот каким ты можешь быть, если хочешь.

— Мы все должны, пожалуй, представлять перед миром не совсем такими, какие мы на самом деле, — отвечает Иосиф, пытаясь отделаться шуткой, но чувствует себя неловко. Честолюбивая страстность, с которой мальчик идеализировал отца, почти пугала его. Тем не менее он решил теперь действительно последовать совету Регина и сбрить бороду.

Секретарь предложил им погулять в парке, пока не вернется Регин. Это был широко раскинувшийся сад, еще держалась теплая, ясная осенняя погода, прогулка была приятной. Свежий воздух бодрил; в обществе сына Иосиф оживлялся и молодел: он мог говорить с Маттафием, как со взрослым и в то же время — как с ребенком. Что за глаза у мальчика! Как жизнерадостно сияют они под широким, прекрасно вылепленным лбом! Счастливые, юные глаза, они не видели ничего из тех ужасов, которыми полны его глаза, они не видели, как

горел храм. Доля еврейских страданий, доставшаяся Маттафию, ограничивается безобидной насмешкой одной маленькой девочки.

Они подошли к павлиньему садку. С детским восторгом рассматривал Маттафий великолепных птиц. Появился сторож и, видя интерес, с которым мальчик глядит на его павлинов, стал обстоятельно рассказывать гостям хозяина о своих питомцах. В первый год их было семь, пять происходили от знаменитого выводка Дидима, двух доставили прямо из Индии. Сейчас неудачное время — птицы потеряли шлейф. Только в конце февраля, когда они затокуют, можно будет полюбоваться на них в полном блеске.

Сторож рассказывал, а Маттафий слушал и не мог наслушаться. Он оживленно беседовал со сторожем, спросил, как его зовут. Оказалось, что родом он с Крита и зовется Амфионом; мальчик нетерпеливо задавал все новые и новые вопросы. Маттафий погладил одного павлина по лазоревой, сверкающей грудке; павлин смиренно стерпел ласку; видя это, стал доверчивее и сторож и рассказал, как трудно ходить за этими тварями. Они надменные, властные и ненасытные. И все-таки он без памяти любит своих птиц. Ему удалось заставить нескольких птиц разом распушить хвост. Маттафий восхищенно следил за игрою красок. «Словно цветы на лужайке!» — воскликнул он, тысячи глаз напомнили ему звездное небо, он захлопал в ладоши. Но тут павлины перепугались, дружно, все, как один, свернули свое пышное великолепие и с противным, скрипучим криком бросились врассыпную.

Иосиф сидел на скамье и рассеянно прислушивался, погруженный в тихие, недобрые размышления. «Павлин, — думал он, — вот уж истинно римская птица — великолепная, крикливая, властная, нетерпимая, тщеславная, глупая и ненасытная. Внешность, видимость — в этом все для них, для римлян».

Что его Маттафий так живо заинтересовался павлиньим садком, Иосифа не тревожило. Ведь он еще мальчик, полный любопытства ко всему новому, что попадаете ему на глаза, и насколько мало занимают его отвлеченные проблемы, настолько же остро волнует все

предметное, живое. С удовлетворением и гордостью видел отец, как хорошо понимают друг друга его сын и павлиний сторож. Он чуть посмеивался над горячностью мальчика. Поглядеть на него со стороны — кажется, уже взрослый, но это только кажется, на самом деле он еще совсем мальчишка.

И еще: чуть усмехнувшись, Иосифф отмечает про себя, с каким невинным рвением старается Маттафий расположить к себе столь далекого от него человека, как этот сторож. Всерьез тщеславным он не был, но знал о впечатлении, какое производит на людей, и бессознательно старался всякий раз убедиться в этом снова.

Наконец вразвалку подошел Клавдий Регин, дела на Палатине задержали его ненадолго, и теперь, перед обедом, он хотел размять затекшие в носилках ноги. Он был хорошо настроен, и скоро стало ясно, что мальчик ему нравится. Он снова заговорил о труде Иосиффа, о «Всеобщей истории», и спросил Маттафия, что он может сказать об этой великой книге отца. Своим низким мужским голосом, скромно и чистосердечно Маттафий объяснил, что читатель он довольно скверный: он очень долго просидел над «Всеобщей историей», но за живое его затронули лишь изображенные Иосиффом события последнего времени. Вероятно, он еще слишком невежествен, чтобы постигнуть разумом дела, давно минувшие. Эти слова, произнесенные с милой, располагающей улыбкой, прозвучали как извинение, но в то же время мальчик и не пытался скрыть, что не принимает близко к сердцу этот свой недостаток. И так всегда: то, что говорил Маттафий, было вполне заурядным — ни особенно блестящим, ни особенно тупым, — но неизменно воспринималось как что-то незаурядное благодаря естественности и обаянию, с которыми он выражал свою мысль.

Иосифф пришел к Регину, чтобы исхлопотать мальчику место при дворе, он одобрял планы своего сына, его честолюбие. К тому, чем были предки Иосиффа — ученые, жрецы, писатели, интеллигенты, — к тому, чем был он сам, мальчик не способен, и это Иосифф понимает. И пусть он принял решение не стесняться ни в чем лишь созерцательное начало своей натуры,

пусть беспощадно подавлял в себе волю к действию, так часто в нем пробуждавшуюся, — почему бы теперь не предоставить мальчику все средства и возможности беспрепятственно утолить эту жажду деятельности? Так говорил он себе, и это было справедливо и разумно. И все-таки теперь, когда он услышал, как плоско и бойко судит мальчик о «Всеобщей истории», как он признается, что не в состоянии оценить труд отца, ему стало грустно. Впрочем, он быстро утешился, заметив, как понравился мальчик Клавдию Регину. И тут же со своего рода наивной расчетливостью сказал себе, что пменно естественность, свежесть и неиспорченность его сына произведут впечатление на Палатине.

Они пошли к столу. У Регина был знаменитый повар-александриец, Маттафий ел с завидным аппетитом, сам Регин ворчал, что вынужден сидеть на строгой диете. За столом много говорили, беседа была веселая, благодушная, и Иосиф радовался, видя, как быстро покорила его сын даже старого, колючего и чудаковатого Регина.

После еды Регин начал без обиняков:

— Совершенно ясно, мой милый Иосиф, что ваш Маттафий должен пройти обучение на Палатине. Нужно только подумать, кому мы отдадим его в пажки.

Смуглое, разгоряченное лицо мальчика вспыхнуло от радости. Но радость Иосифа, хотя его желание исполнилось, была омрачена мыслью, что теперь, когда Маттафий, на правах молодого друга, войдет в дом и в свиту какого-нибудь знатного господина, он, Иосиф, сразу же снова его потеряет — после столь немногих дней, проведенных вдвоем.

Регин в своей обычной деловой манере уже продолжал:

— Я бы, пожалуй, взял его к себе, ему было бы здесь совсем не так плохо, а выучиться всякой всячине он бы мог и в моем доме. Император поручает мне много тонких и примечательных дел, и ваш Маттафий быстро убедился бы, что на Палатине нередко самый короткий путь — это окольный. Но, по совести говоря, я уже ни на что не годный старый хрыч. Или, может, ты другого мнения, мой мальчик? Что скажешь?

— Не знаю,— отвечал Маттафий, широко улыбаясь.— Все это так неожиданно... если вы разрешите мне говорить откровенно. Я уверен, мы бы с вами отлично поладили, а дом и парк у вас просто замечательные... особенно павлины.

— Что ж,— заметил Клавдий Регин,— это, конечно, немаловажно, но решающего значения не имеет. Вторая кандидатура — Марулл,— продолжал он задумчиво.— У него ваш сын мог бы выучиться кое-каким полезным вещам, в которых я и сам слаб, например — хорошим манерам. Но вообще-то Марулл такой же точно старый хрыч, как и я, и такой же плохой римлянин. Наш кандидат должен быть Приближенным первого доступа,— размышлял он вслух,— не очень старым и не антисемитом. Три качества, которые не так легко совмещаются в одном человеке.

Маттафий спокойно слушал, как обсуждают его будущее, живой взгляд мальчика доверчиво перебегал с одного из собеседников на другого.

— Когда он у вас должен надеть мужскую тогу? — неожиданно спросил Регин.

— Мы могли бы подождать месяца два-три,— ответил Иосиф,— ему еще нет пятнадцати.

— Он выглядит старше своих лет,— сказал Регин одобрительно.— Видите ли,— пояснил он,— есть у меня одна мысль, но тут нужно время, нужно прощупать почву, кое-что подготовить, не гнать сломя голову.

— Что вы имеете в виду? — нетерпеливо спросил Иосиф, и Маттафий, хранивший благовоспитанное молчание, тоже напряженно впилился глазами в губы Регина.

— Пожалуй, можно было бы уговорить императрицу принять его в свой штат,— равнодушно проговорил Регин своим высоким, жирным голосом.

— Это невозможно! — ужаснулся Иосиф.

— Невозможного не бывает,— наставительно возразил Регин и погрузился в угрюмое молчание. Но ненадолго; потом оживился снова.— У Луции он бы выучился всему на свете,— продолжал он.— Не только манерам и придворному этикету, но и науке разбираться в людях, в политике и еще одному, чего теперь не сыщешь нигде, кроме как у Луции,— искусству быть

настоящим римлянином. Не говоря уже об умении вести дела. Поверьте, мой дорогой Иосиф, эта женщина со своими кирпичными заводами заткнула за пояс меня, старика.

— Императрица! — восторженно воскликнул Маттафий. — Вы правда думаете, что это возможно, господин мой Клавдий Регин?

— Не хочу тебя обнадеживать, — ответил Регин, — но ничего невозможного в этом не вижу.

Иосиф смотрел на сияющее лицо Маттафия. Так, верно, сиял и он сам, давным-давно, почти целое поколение назад, когда ему объявили, что императрица Поппея его ждет. Его охватило что-то похожее на страх, но он тут же встряхнулся, прогнал это чувство. «Эта девочка, Цецилия, — подумал он, — как бы там ни было, а она ошиблась. Мой Маттафий не кончит правым берегом Тибра».

Вопреки всем усилиям Регина, «Всеобщая история» настоящего успеха не имела. Большинство еврейских читателей находило книгу слишком холодной. Они ожидали восторженного, вдохновенного рассказа о своем великом прошлом; вместо этого перед ними лежало сочинение, целью своею ставившее убедить греков и римлян, чтобы они сообразовали принять евреев в круг цивилизованных народов с великим прошлым. К чему это? Разве они, евреи, не обладают историей, куда более древней и гордой, чем эти язычники? Им ли, избранному народу божию, смиренно просить о том, чтобы их не причисляли к варварам?

Однако римляне и греки тоже встретили труд Иосифа без всякого энтузиазма. Многие, правда, находили книгу интересной, но высказать свое мнение вслух не решались. Император приказал убрать бюст писателя Иосифа из храма Мира, и, стало быть, увлекаться этим писателем было неблагоприятно.

Лишь одна категория читателей осмеливалась громко и открыто хвалить книгу, — люди, на чье одобрение Иосиф рассчитывал всего меньше: это были минеи, или христиане. Они привыкли, что если какой-нибудь автор

о них и упоминает, то либо с насмешкою, либо с бранью. Тем сильнее были они изумлены, убедившись, что этот Иосиф не только их не хулит, но даже с уважением излагает жизнь и суждения некоторых предшественников их мессии. Они увидели в книге Иосифа мирское дополнение к священной истории их спасителя.

Человек, чьего приговора Иосиф ждал с величайшим страхом и нетерпением, молчал. Юст молчал. Наконец Иосиф позвал его в гости. Юст не пришел. И тогда Иосиф отправился к нему сам.

— За тридцать лет, что мы знаем друг друга, — сказал Юст, — вы не изменились, и я не изменился. Зачем же вы меня беспокоите? Ведь вы знаете заранее все, что я скажу о вашей книге.

Но Иосиф не уступал. Он почти желал этой боли, которую причинит ему собеседник, он настаивал до тех пор, пока Юст не высказался.

— Ваша книга равнодушна и нерешительна, она тепла, как и все, что вы делали и делаете, — объявил в заключение Юст, и Иосиф услышал тот неприятный первический смешок, который всегда так его раздражал. — Скажите, пожалуйста, чего, собственно, вы добивались вашей книгой?

— Я хотел, — ответил Иосиф, — чтобы евреи наконец выучились глядеть на свою историю беспристрастными глазами.

— В таком случае, — обрушился на него Юст, — вы должны были писать гораздо холоднее. Но для этого у вас не хватило мужества. Вы боялись суждения еврейской массы.

— Я хотел далее, — озлобленно защищался Иосиф, — впустить грекам и римлянам восхищение перед великой историей нашего народа.

— В таком случае, — не замедлил безжалостно объявить Юст, — вам бы следовало писать горячее, гораздо более воодушевленно. Но на это вы не отважились, вы боялись суждения знатоков. Да, я сказал верно, — заключил он, — ваша книга не горяча и не холодна, это теплая книга, это плохая книга. — Мрачное упорство, написанное на лице Иосифа, подхлестнуло его, и он без обиняков и недомолвок выложил все свои возраже-

ния и упреки. — Никто лучше вас не знает, что нравственной или безнравственной может быть цель той или иной политики, но никоим образом не средства. Средства могут быть только полезными или вредными для достижения цели. Но вы произвольно смешиваете меры и веса, вы прикладываете мерку нравственности к политическим событиям, хотя совершенно ясно представляете себе, что это пустая, дешевая, банальная увертка, и ничего больше! Вы совершенно ясно себе представляете, что лишь отдельная личность подлежит моральной оценке, но группа, масса, народ — никогда! Армия не может быть храброй — она состоит из храбрецов и из трусов, вы это пережили, вы знаете это, но признать не хотите. Народ не может быть тупым или святым, он состоит из тупых и смывленных, святых и подонков, вы знаете это, вы это пережили, но признать не хотите. Вы все время смешиваете веса — ради дешевого эффекта, из мелочной осмотрительности. Вы написали не историческое сочинение, а книгу назиданий для дураков. Да только и это вам не удалось: вы захотели угодить и нашим и вашим и потому не отважились даже на демагогию, в которой вы так искушены.

Иосиф слушал и больше не защищался. Как бы безудержно ни преувеличивал Юст, этот друг-враг, в его нападках была доля истины. Одно, во всяком случае, неоспоримо: книга, в которую он вложил столько лет жизни, не удалась. Он заставил себя остаться холодным пред историей своего народа, смотреть в ее лик разумно и здраво, и тем самым изгнал жизнь из этих событий. Все полуправда и, стало быть, полная ложь. Перечитывая теперь свою книгу, он убеждается, что все в ней изуродовано, искажено. Скованные чувства мстят за себя, они восстают вновь, с удвоенной силой, читатель Иосиф не верит ни единому слову Иосифа-писателя. Он допустил коренную ошибку. Он писал, подчиняясь только велениям разума, часто вопреки чувству, — и вот обширные части книги безжизненны, начисто обесцелены; ибо живое слово рождается к жизни лишь там, где чувство и разум едины.

Все это Иосиф видел с жестокою ясностью, все это говорил себе сам — прямо и без обиняков. Но потом он

расстался со своей книгой «Всеобщая история иудейского народа» — раз и навсегда. Удачно или неудачно, он дал то, что смог, он выполнил свой долг, он боролся, работал, во многом отказывал себе, теперь он отложил законченный труд в сторону и, освободившись от него, будет жить дальше для себя. Портрет, помещенный Регином в начале книги, показал ему, до чего он состарился. У него не так уж много времени впереди. Он не желает растратить остаток сил на пустые мечтания. Пусть философствует Юст — Иосиф хочет жить.

И тысячи желаний и порывов поднялись в нем, а он-то думал, что они давно мертвы. И он радовался, что они не мертвы. Он радовался тому, что еще испытывает вождение, снова испытывает вождение к действию, к женщинам, к успеху.

Он радовался тому, что он в Риме, а не в Иудее. Он снял бороду, и миру открылось нагое лицо прежнего Иосифа. Черты стали тверже, резче, но лицо казалось моложе, чем во все эти последние годы.

Теперь, хотя Мара с детьми уехала, старый дом в квартале Общественных купален вдруг сделался для него слишком убог и тесен. Он навестил Иоанна Гисхальского и попросил присмотреть для него элегантный, в современном вкусе дом, который он мог бы нанять. Завязалась долгая беседа. Иоанн внимательно прочел «Всеобщую историю» и говорил о книге с интересом и пониманием. Иосиф знал, конечно, что Иоанн — судья отнюдь не беспристрастный. За плечами у него была бурная жизнь, так же как у самого Иосифа, по сути дела, он потерпел безнадежное крушение и потому склонен видеть историю еврейского народа в том же свете, что Иосиф, и так же не доверять любому энтузиазму. И все-таки похвала Иоанна была приятна и даже утешительна после непримиримых слов Юста.

Иосиф заговорил живее, охотнее: теперь, когда они остались в Риме вдвоем с Маттафием, он раскрывался гораздо легче, чем прежде. Рассказал Иоанну, какое будущее готовит своему Маттафию. Иоанн отнесся к его надеждам скептически.

— Не стану спорить, — сказал он, — времена пока такие, что еврей еще может потешить свое честолюбие.

Вы достигли очень многого, Иосиф, можете без стеснения в этом признаться, Гай Барцаарон многого достиг, я достиг кое-чего. Но мне кажется более разумным не выставлять наших достижений напоказ, не мозолить другим глаза нашими деньгами, властью, влиянием. Это вызывает только зависть, а для зависти мы недостаточно сильны, мы слишком разобщены для зависти.

Когда Иосиф делился с Иоанном своими сомнениями и надеждами, его лицо светилось радостью, теперь оно помрачнело. Иоанн заметил это и, не настаивая на своем, добавил только:

— Так или иначе, но если вы хотите чего-то достигнуть для вашего Маттафия, вам надо отказаться от мысли уехать весной в Иудею. Я, разумеется, — закончил он любезно, — был бы рад узнать, что вы остаетесь в Риме еще на какой-то срок.

Иосиф подумал, что Иоанн хороший друг и что оба его соображения справедливы. Если он найдет Маттафию друга и покровителя на Палатине, тогда, конечно, придется прожить в Риме подольше; да и переезжать в новый дом нет никакого смысла, если он думает остаться только до весны. А в душе он был рад отложить свою поездку в Иудею, свое возвращение в Иудею, и тут годился любой предлог; ибо, как ни странно, ему казалось, будто, возвращаясь в Иудею окончательно, он отрывается от всего, для чего еще потребна хоть капля молодости, будто этим возвращением он сам, и уже навсегда, объявит себя стариком. Да и другое предостережение его друга Иоанна — что, дескать, неразумно домогаться внешнего блеска и почестей, — тоже, вероятно, справедливо; но Иосиф помнил, как сияло лицо мальчика, и теперь уже просто не мог предложить Маттафию отказаться от прежнего плана — ни Маттафию, ни самому себе.

Новый дом нашелся быстро, и Иосиф принялся его обставлять. Маттафий с увлечением помогал отцу, у него были тысячи разных предложений. Теперь Иосифа часто можно было встретить в городе, он искал общения с людьми. Раньше, бывало, он целыми месяцами сидел взаперти, один-одинешенек, а теперь чуть ли не ежедневно показывался в кружке Марулла или Регина.

Благожелательно, чуть насмешливо и чуть-чуть озабоченно следили друзья Иосифа за его превращением. А Маттафий любил его и восхищался им еще больше прежнего.

Иосиф пересказал Клавдию Регину опасения Иоанна. Иоанн человек умный, ответил Рegin, но он уже не в состоянии толком судить ни о новых временах, ни о еврейской молодежи, которая не видела, как горел храм, для которой храм и государство — не более чем историческое воспоминание, легенда. Он сам, Рegin, в известном смысле пример тому, что даже предельно зримая власть не всегда доводит еврея до беды. Пример Иосифу не понравился, ни при каких условиях не хотел бы он, чтобы его Маттафий ушел от еврейства так далеко, как Клавдий Рegin. Тем не менее он охотно позволил утвердить себя в прежнем намерении и жадно выслушал Регина, который сообщил, что советовался с несколькими доброжелателями на Палатине, и хотя сперва все были не на шутку озадачены дерзостью их затей — сделать еврейского мальчика пажом императрицы, но в конце концов приходили к мысли, что необычность этой затеи сама по себе не может служить препятствием к ее осуществлению. Поэтому, продолжал Рegin, пора приступать к делу. Рegin посоветовал Иосифу отпраздновать совершеннолетие Маттафия публично, на римский лад, хоть это и не принято среди евреев, и, — чтобы заранее заткнуть рот всем остроумцам, — пригласить императрицу, которая по-прежнему к нему расположена. Со стороны Иосифа — преступное легкомыслие так мало использовать расположение Луции, которое она неоднократно и неизменно подтверждала. Но теперь ему представляется прекрасная возможность наверстать упущенное, пусть преподнесет императрице свою новую книгу и, словно бы заодно, пригласит ее на праздник к Маттафию. На худой конец, он получит отказ, но, право же, ему случалось проглатывать обиды и погорше.

Это звучало убедительно, более того, предложение Регина соблазняло Иосифа. Ему было под шестьдесят, давно минуло то далекое время, когда он, весь словно туго натянутая струна, шел на прием к императрице

Поппее, и, однако, входя теперь со своею книгою в руке в покои Луции, он ощущал такое волнение, какого не знал уже много лет.

Клавдий Регин искусно подготовил почву, он сообщил Луции о преображении Иосифа. И все же она была изумлена, увидев его выбритое, помолодевшее лицо.

— Смотрите-ка,— сказала она,— бюст исчез, зато сам оригинал превратился в бюст. Рада видеть это, мой Иосиф.— Радость явственно отражалась на ее лице, безмятежном, свежем, хотя первая молодость была уже позади.— Рада, что книга появилась в свет и что снова появился прежний Иосиф. Я освободила для вас целое утро. Пора нам хоть раз наговориться всласть.

Иосифа восхитил этот теплый прием. В глубине души он, правда, чуть посмеивался над самим собой, говорил себе, что и старея остается тем же дураком, каким был в молодые годы, но все-таки сердце переполнилось восторгом, почти как тогда, перед императрицей Поппеей.

— Что мне в вас нравится,— начала Луция одобрительно,— так это то, что при всей вашей философии, при всем артистизме вы по самой сути своей авантюрист.

Нельзя сказать, чтобы похвала пришлась Иосифу по душе. Но Луция сразу же истолковала свои слова в таком смысле, который не мог ему не польстить. Одно дело, объяснила она, если авантюристом становится человек, который вышел из ничтожества и, стало быть, мало что теряет. Но если человек, смолоду богатый и надежно защищенный от любых превратностей, избирает для себя жизнь, полную приключений, это свидетельствует о живой и беспокойной душе. Такими авантюристами по зову души, а не в силу внешних обстоятельств были Александр и Цезарь. Что-то от авантюризма такого рода она ощущает и в себе самой, и существует тайное родство между этими аристократическими авантюристами всех времен.

Потом она попросила Иосифа почитать ей что-нибудь из его книги, и он согласился без церемоний. Он прочел ей историю Иаили, Иезавели, Гофолли. Еще он прочел

сей истории о необузданных, гордых и честолюбивых женщинах, которые окружали Ирода и от одной из которых происходил он, Иосиф.

Замечания Луции изумили Иосифа. Для него люди, которых он изображал, не были реальными фигурами, они действовали на сцене, возведенной его руками, они были приукрашены и приподняты, были неосязаемыми фантомами. А Луция воспринимает его героев так, словно они расхаживают среди нас, созданные из плоти и крови, и это было для Иосифа совершенно неожиданным и встревожило его. Но в то же время он был восхищен, — будто некий бог в миниатюре, он сотворил, оказывается, целый мир. Они с Луцией отлично понимали друг друга.

Ему не пришлось преодолевать робость, чтобы перейти к делу. Он рассказал о своем сыне Маттафии, о том, что в ближайшее время ему предстоит облачиться в мужскую тогу.

— Я слыхала, что он славный мальчик, — сказала Луция.

— Он замечательный мальчик! — с жаром заявил Иосиф.

— Что за гордый отец! — отозвалась Луция с улыбкой.

Он пригласил ее на праздник, который собирается дать по этому случаю. Лицо императрицы, живо отражавшее все ее чувства, слегка затуманилось.

— Право же, я не антисемитка, — сказала она, — но не покажется ли несколько странным, что именно вы справляете этот праздник так демонстративно? Я не то, что Фузан, и не так уж хорошо разбираюсь в происхождении наших обычаев, но разве праздник совершеннолетия — не религиозная церемония прежде всего? Мне не кажется, что римский дух и служение римским богам — всегда одно и то же. Но я почти уверена, что к этой церемонии все же причастны и наши боги. Я никак не хочу вмешиваться в ваши отношения с единоплеменниками и все же боюсь, что евреи не слишком обрадуются, если вы поднимете вокруг этого столько шума. Я не отказываюсь от приглашения, — поспешно добавила она, заметив, что Иосиф, слушая ее, помрач-

нел,— но по-дружески прошу вас все как следует взвесить, прежде чем решать окончательно.

Опасения Луции были совершенно того же свойства, какие высказывал Иоанн, и это поразило Иосифа. Однако решимость его осталась непоколебленной. Справив *бар-мицва*, он ввел сына в еврейскую общину, так почему теперь подобным же образом не ввести его в римскую, к которой он в конце-то концов уже принадлежит? С блеском справить обе церемонии представлялось ему символически многозначительным, а если это дает повод к превратным толкованиям — что ж, ему давно пора убедиться, что всякое его действие или бездействие толкуется превратно. Вдобавок он уже дал слово Маттафию, с наивным упоением ждет мальчик этого дня, Иосиф просто не в силах так жестоко его разочаровать.

Он отвечал уклончиво, поблагодарил Луцию за совет, обещал еще раз все обдумать, но в душе уже решил, твердо и бесповоротно. Дома, то ли шутя, то ли всерьез, он сказал Маттафию:

— Если бы тебя спросили, римлянин ты или еврей, что бы ты ответил?

Маттафий засмеялся своим низким, грудным смехом:

— Я бы сказал: «Не задавай таких глупых вопросов. Я Маттафий Флавий, сын Иосифа Флавия».

Ответ по душе Иосифу. Сомнения друзей бледнеют, исчезают из его памяти. Почему он, Иосиф, должен выказывать меньше мужества, чем старик Клавдий Регин, который не видит никакой опасности в том, чтобы послать мальчика на Палатин?

День праздника был назначен. Маттафий не чуял под собою земли, он словно витал в облаках. Он пригласил девочку Цецилию. Она ответила одною из своих обычных колкостей. Он сообщил ей, что на его празднике будет императрица. Цецилия побелела.

Иосифу приходилось остерегаться всего, что могло быть истолковано как поклонение римскому божеству, как идолопоклонство, и потому он оказался вынужден во многом отойти от обычного церемониала. В его доме не было алтаря домашних богов, а Маттафий, в отличие от римских мальчиков, не носил на шее золотого амулета, который он мог бы возложить на этот алтарь,

и праздничный обряд в самом доме ограничился лишь тем, что Маттафий сменил детскую тогу с каймой на мужскую, сплошь белую. Новый строгий наряд замечательно к нему шел, его юное и вместе с тем уже мужественное лицо над этой простою, чистой одеждой было разом и серьезно, и безоглядно счастливо.

Потом Иосиф в сопровождении огромной толпы друзей, с императрицею во главе, повел юношу на Форум, к южному склону Капитолийского холма, в Архив, чтобы торжественно внести его имя в списки полноправных граждан. Отныне и впредь он будет зваться Маттафий Иосиф Флавий. Императрица надела ему на палец золотое кольцо — знак его принадлежности к знати второго ранга.

Потом, меж тем как нееврейские гости Иосифа отправились к нему домой, где была приготовлена праздничная трапеза, сам Иосиф, Маттафий и еврейские гости исполнили действие, которое не одну неделю было предметом разговоров не только в Риме, но и во всей империи. Обычай требовал, чтобы новый гражданин посетил храм Юности, принес в дар богине монету и совершил жертвоприношение. Вместо этого еврей Маттафий явился с отцом и друзьями в надлежащую канцелярию казначейства, попросил включить себя в постыдный еврейский список и уплатил двойную драхму, которую евреи прежде вносили в сокровищницу Ягве, а теперь, после разрушения храма, обязаны были платить Юпитеру Капитолийскому. Так позорный, по мысли победителей, взнос налога был превращен Иосифом в праздничный обряд, и это заставило многих евреев простить ему вызывающую демонстративность, с какою он объявил своего мальчика римлянином.

Императрице понравилась отвага Иосифа. Сын Иосифа ей тоже понравился. Она видела, с каким княжеским достоинством держался он в тот гордый час, когда она надела ему на палец кольцо знати второго ранга; теперь, за пиршественным столом, она услышала, что с тою же простотой и тем же достоинством он прошел через унижительную процедуру занесения в еврейские списки. Мальчик сидел с нею рядом. Его глаза были устремлены на нее с мальчишеским обожа-

нием, однако обычная непринужденность не изменила ему и тут. Луция говорила с ним. Он знал, конечно, как идет к нему белая тога, он чувствовал на себе взоры всех собравшихся и все же оставался оживленным и непосредственным — как всегда.

Клавдий Регин предупредил Луцию, что Иосифъ будет просить ее принять сына к себе на службу. Каждый видел, что мальчик нравится императрице, и, следовательно, Иосифъ мог быть спокоен, что не встретит отказа. Однако он изложил свою просьбу без той уверенности, какая была ему свойственна в иных случаях, да и Луция выразила свое согласие удивительно сдержанным тоном, и какое-то непривычное замешательство было и в душе ее и в лице.

Сердце Иосифа таяло от счастья. Он возвысил любимого сына до того положения, о каком мечтал для него. Но у него был чуткий слух, и даже в самый разгар ликования в ушах его продолжали звучать предостерегающие голоса друзей.

С этих пор Маттафий был причислен к свите императрицы и большую часть времени проводил на Палатине. Все сложилось так, как и предвидел Иосиф: юный еврейский адъютант Луции, обаятельный в своей безмятежной серьезности и юной мужественности, именно на Палатине производил впечатление чего-то небывалого. О нем много говорили, многие искали его дружбы, женщины старались его ободрить. А он сохранял непринужденность и простоту, все происходящее казалось ему лишь естественным и, пожалуй, не так уж много для него значило; но окажись он меньше на виду, будь окружен меньшим вниманием — он ощутил бы это, и ощутил болезненно.

То, что Маттафий принадлежал теперь к свите императрицы, приблизило к ней и самого Иосифа. Их пути скрещивались уже не раз, но никогда еще не видел он Луцию так отчетливо, ясно и полно. Щедрое изобилие всего ее существа, ее безмятежная и смелая открытость, римская ясность и жизнерадостность, от нее исходившие, ее зрелая женская красота производили теперь на Иосифа впечатление несравненно более

глубокое, чем когда-либо прежде. Ведь не за горами и старость, но, изумленно признается он себе, с тех далеких дней, когда он томился страстью к Дорион, ни разу близость женщины не волновала его так, как эти нынешние встречи с Луцией. Иосиф не скрывал своего волнения, и Луция принимала это без неудовольствия. Многие из того, что говорилось между ними, было теперь многозначно, они перебрасывались недомолвками, и многозначны были их взгляды и их прикосновения. Он вкладывал глубокий и скрытый смысл в эту дружбу. Если Луция влечет его с такою силой, если и он, в свою очередь, ей небезразличен, — разве это не символ? Разве это не образ тайной дружбы меж победителем и побежденным? Однажды, не сдержавшись, он осторожно поделился с Луцией своими мыслями. Но она расхохоталась ему прямо в лицо и ответила:

— Вы просто хотите спать со мною, мой милый, а всякие мудреные объяснения придумываете только потому, что сами понимаете, какая это, в сущности, наглость.

Легко и радостно текла в ту пору жизнь Иосифа. Он наслаждался своей судьбой — великими (так думал он) ее дарами. Он виделся с Луцией ежедневно, все лучше понимали они друг друга, прощали друг другу слабости и радовались достоинствам друг друга. Что же касается сияющего, обожаемого сына Иосифа, то все желания его исполнялись. Ясный и чистый проходил он по утопающему в грехах и бесчинствах Палатину, все любили его, ни зависть, ни вражда не смели его коснуться. Да, божество возлюбило Иосифа. И доказало свою любовь, даровав ему столько радостей именно теперь, пока он не переступил еще порога старости и сохраняет еще силу, чтобы от них вкусить.

В Риме много говорили об Иосифе и его сыне, слишком много, по мнению евреев. И вот они прислали к Иосифу депутацию — господ Иоанна Гисхальского и Гая Барцаарона. С тревогой просили они Иосифа подумать о том, что его счастье, блеск его успеха, столь открыто выставляемые напоказ, вызовут еще большую зависть и вражду к еврейству в целом. А ведь ненависть и притеснения и без того растут по всей империи.

— Если еврей счастлив, — предупреждал Иоанн Гисхальский снова; — пусть прячет свое счастье в четырех стенах и не выносит его на улицу.

Но Иосиф замкнулся в своем упорстве. Просто-напросто сын его Маттафий сияет изнутри, а свет, как известно, светит во тьме, и мгла не обымет его. Прятать любимого сына? Это ему и в голову не приходило! Он был без ума от своего прекрасного, обаятельного сына и его успеха.

И он пропустил мимо ушей слова посланцев общины и продолжал наслаждаться выпавшей ему судьбой. Он ловил счастье, где хотел и сколько хотел. И лишь одно омрачало эту радость: его книгу, «Всеобщую историю», по-прежнему окружало молчание.

А тут вдобавок появилась в свет книга под названием «Иудейская война». Как и его труд, она была выпущена Клавдием Регином, а написана Юстом из Тивериады, проработавшим над нею не один десяток лет.

Книга Иосифа об Иудейской войне стяжала самый громкий успех среди прозаических сочинений своей эпохи. Вся читающая публика империи прочла эту «Иудейскую войну» — и даже не столько ради изображенных в ней событий, сколько ради мастерства самого изображения, Веспасиан и Тит одобрили книгу и высоко оценили труд ее автора, и теперь, не прожив и человеческого века, она уже отмечена печатью образцового творенья. И было неслыханной дерзостью со стороны Юста опубликовать книгу на ту же самую тему.

Много лет назад Иосиф прочел часть этого сочинения: и он сам, и собственная работа показались ему ничтожными и убогими в сравнении с Юстом и его книгой. Со страхом, да, именно со страхом читал он теперь заверченный труд друга-врага. Юст педантично избегал высоких слов и любого внешнего эффекта. Его изложение отличалось строжайшей, кристальной объективностью. Ни о какой полемике с книгой Иосифа он и не помышлял. Однако он упоминал о деятельности Иосифа во время войны, о его поступках и распоряжениях на посту комиссара в Галилее, одним словом, — о деятель-

пости Иосифа-политика и солдата. Он только излагал факты, он воздерживался от каких бы то ни было оценок. Но в этом нагом изложении, и как раз вследствие его наготы, Иосиф представлял стопроцентным оппортунистом, жалким, тщеславным мальчишкой, губителем того дела, которое взялся защищать.

Иосиф читал. В свое время он построил радужно-пеструю легенду о собственной деятельности в Галилее, он искусно рассказал эту легенду в своей книге и в конце концов сам в нее поверил; и вместе с книгой легенда о его личности была постепенно признана исторической истиной. Теперь в книге Юста стареющий Иосиф увидел войну, какою она была доподлинно, увидел себя самого, каким он был; и еще увидел он книгу, которую когда-то так хотел написать,— но только Юст написал эту книгу, не он.

Он увидел все это. Но он не желает этого видеть, не смеет видеть, если только хочет продолжать жить.

В напряженной тревоге ждал он, что будет дальше, что станут говорить люди о труде Юста. Громкого шума вокруг книги Юста люди не подняли. Правда, некоторые сумели оценить ее по достоинству, и это были те, чье суждение Иосиф искренне уважал, но их было очень немного. И все же Иосифу приходилось признавать, что в глазах этих немногих работа Юста затмила его собственное сочинение. Ему пришлось признать, что для тех немногих этот Юст, опорочивший его деятельность, был судьей праведным, неподкупным и неопровержимым.

Иосиф старался забыть горький вкус этого признания. Он говорил себе, что избалован успехом, как, вероятно, ни один из современных ему писателей, что мнение немногих ничего не значит в сравнении с его славой, такой прочной, несмотря ни на что. Но все было тщетно, горький привкус не исчезал. Наоборот, он стал еще горше. Иосиф был другом и любимцем императрицы, он доставил возлюбленному своему сыну положение, о котором мечтал и мальчик, и он сам, стоило ему пожелать — и он снова вышел в первые ряды, снова оказался в центре внимания. Но горький привкус отравлял ему всю радость этих удач.

Он твердил себе, что сделался старым ворчуном, что не способен больше замечать ничего, кроме неприятностей. Потом сказал себе, что всему причиной разнузданная, завистливая критика Юста, он не смог ей противостоять, и она разрушила его веру в себя и в свою работу. Он снова положил перед собой «Всеобщую историю», прочитал несколько глав — лучшие главы — и угрюмо, упрямо сказал себе, что обвинения Юста — вздор.

Но факт оставался фактом: «Всеобщая история», на которую он положил столько труда, настоящего успеха не имела, вопреки всем усилиям Регина. Иосиф хорошо знает всю случайность внешнего успеха и неуспеха, но именно теперь ему нужно подтверждение извне, именно теперь ему нужен литературный успех. Все его прочие достижения сейчас не имеют цены. Единственно, что могло бы ему помочь, — это отклик на «Всеобщую историю», громкий отклик, который заглушит голос Юста. Он должен получить подтверждение, и не когда-нибудь, а теперь — хотя бы ради любимого сына, чтобы помочь ему двинуться дальше.

Тоном озлобленного упрека спрашивал он у Регина, чем объяснить, что успех «Всеобщей истории» остается таким тихим, незаметным. Регин без особой охоты отвечал, что главная помеха здесь — отношение императора к его книге. Люди сведущие и компетентные не решаются выразить какое бы то ни было мнение о работе Иосифа, покуда неизвестно, как судит о ней император. Даже если бы DDD обнаружил свое неудовольствие — даже это было бы удачей: тогда, по крайней мере, на их стороне оказалась бы оппозиция. А DDD, коварный, как всегда, молчит, он не высказывается отрицательно, он вообще не высказывается. Регин попытался нарушить это враждебное молчание. Он спросил Фузана, может ли Иосиф преподнести ему свою работу. Но Фузан пропустил вопрос мимо ушей, как только он один и умеет, и не ответил ни «да», ни «нет».

Мрачно и раздраженно слушал Иосиф Регина. Снова всплыли мысли, с которыми он вернулся в Рим, отправив Мару в Иудею. Тогда он радовался предстоящей

борьбе с Домицианом, борьбе с Римом. Он ощущал в себе новые, молодые силы, и в завершенной книге он надеялся обрести новое оружие. Но император уклонился от борьбы. Он просто не принял вызова.

Регин продолжал, и, слушая его, Иосиф лишь убеждался в правоте своей догадки. DDD, рассказывал Регин, словно забыл, как произносится имя «Иосиф». И это неспроста. Он, без сомнения, слышал о новой дружбе Иосифа с Луцией, о дерзком вызове, с каким Иосиф внес сына в еврейский список, и о новом еврейском паже императрицы. И если за всем тем DDD не склонен применить силу и попросту уничтожить Иосифа, стало быть, с его точки зрения, эта тактика наиболее умна. Ибо его молчание, молчание DDD, ширит молчание вокруг книги, которое в конце концов должно ее задушить.

Иосиф раздумывал, что можно сделать, чтобы нарушить это коварное молчание, чтобы выманить императора, выманить врага из засады, заставить его принять вызов. Обыкновенно при появлении в свет новой книги автор выступал перед широкой публикой с чтениями. Иосиф не хотел следовать обычаю: внутренняя атмосфера, в которой создавалась «Всеобщая история», еще не развеялась, а Иосиф, писавший «Всеобщую историю», презирал публику. Этому Иосифу было абсолютно безразлично, что думает или говорит о его книге Домициан. Но перед Клавдием Регином сидел совсем другой Иосиф.

— А что, если устроить чтение... если мне прочитать что-нибудь из «Всеобщей истории»?

Регин удивленно поднял брови. Если Иосиф после столь долгого молчания снова появится перед публикой, это вызовет настоящую сенсацию. Пожалуй, такое чтение — единственное средство расшевелить императора, если только это вообще возможно. Но хотя план Иосифа и соблазнял Регина, он не скрыл от собеседника, что его затея чревата опасностью, и немалой. Заставлять императора высказаться — дело рискованное. Однако Иосиф, видя, что Регин не отказывает ему в поддержке, уже загорелся своим планом. Как актер, жаждущий роли, он приводил Регину и самому себе все

мыслимые доводы в пользу нового предприятия. Читает он совсем не дурно, легкий восточный акцент в его греческом выговоре скорее правится слушателям, чем раздражает их, а теперь, когда он так давно не появлялся перед аудиторией, его выступление привлечет интерес всего Рима. И, наконец, преодолевая неловкость, он признался Регину, старинному другу, в тайном желании, которое родилось в нем вместе с первой мыслью об этом чтении:

— И потом, какою радостью было бы для меня блеснуть перед мальчиком, перед Маттафием.

Наивное тщеславие влюбленного отца покорило Регина.

— Все равно это адеки опасная затея, — сказал он. — Но уж если вы, старый вы мальчишка, решили рискнуть, я не покину вас.

Иосиф с чрезвычайною тщательностью готовился к чтению. Долго обдумывал он с друзьями, где лучше выступить. Регин, Марулл и горячее всех Луция обсуждали этот вопрос так, словно речь шла о деле государственной важности. Выступить в доме самого Иосифа, перед узким кружком избранных? Или перед более широкой публикой, в доме Марулла или Регина? Или, может быть, даже на Палатине, в большом зале дома Луции?

Нет, подождите, у Луции есть одна идея. Что, если Иосиф будет читать в храме Мира?

В храме Мира? В том самом здании, откуда император приказал выбросить его бюст? Но это же чудовищный вызов! Огромный зал останется пуст — никто не дерзнет принять участие в столь опасной затее! И не исключена возможность, что император прикажет арестовать Иосифа еще до выступления.

Но Луция говорит:

— Так мы далеко не уйдем. Куда ни повернись, каждый раз на пути одна и та же преграда — DDD. Я не намерена дольше это терпеть. Он надеется измучить нас своей тактикой. Он надеется убить нашего Иосифа своим молчанием. Но это ему не удастся! Я хочу выяснить положение. Я пойду к нему.

Когда Луция велела доложить о своем приходе, Домициан сразу почувствовал, что предстоит разговор о еврее или о его сыне.

В последние месяцы он редко виделся с Луцией. Почти всегда он бывал скверно настроен; тело его стало все более грузным и дряблым; он спал со многими женщинами, не получая ни с одной настоящего удовольствия. Ему регулярно доносили обо всем, что происходило у Луции. Подозрительно, злобно он размышлял: теперь, стало быть, она приняла ко двору молодого еврея, сына этого опасного субъекта, этого Иосифа. Иосиф стареет, он, видно, хочет, чтобы его заменил сын.

Император принимает Луцию учтиво, с холодной, проницательной любезностью. Довольно долго беседа идет о незначущих предметах. Луция глядит на толстого, лысого, стареющего мужчину; ему не намного больше, чем ей, но он стар, а она молода. И вдруг ей кажется, что он совсем чужой, что прежняя власть ее над ним потеряна, и она спрашивает себя, не лучше ли отказаться от своего плана и ни словом не упоминать об Иосифе. Но потом врожденная отвага берет верх над осторожностью.

В последнее время, начинает она, устремляясь к намеченной цели, ей часто приходится слышать о гонениях на евреев в провинциях и о каверзах, которые им строят в самом Риме. У нее, как ему известно, есть друзья-евреи, и потому вопрос этот ей небезразличен. Да и самому императору, по ее мнению, тоже следовало бы заняться этими делами.

— Однажды вы объяснили мне, господин мой Домициан, — напоминает она ему, — что между вами и восточным богом идет борьба. На вашем месте я бы десять раз подумала и примерилась, прежде чем решиться на какой бы то ни было шаг в этой борьбе. Сама я, как вам известно, — усмехнулась она, — довольно равнодушна к религиозным обязанностям, но я добрая римлянка и верю в богов. Я не слишком стараюсь выразить им свое почитание, это верно, зато решительно избегаю всего, что может их разгневать. Ныне, вместе с ростом империи, выросло и число ее богов. Мне кажется, господин

мой Домициан, мы с вами совершенно единодушны в том отношении, что вы, как цензор, призваны охранять всех богов империи. Я не знаю, насколько полно вы осведомлены об этом трудном боге Ягве, которого считаете своим врагом. Он трудный бог, и для вас было бы, видимо, полезно получить возможно более точные сведения о его природе и нраве.

— Вы хотите напомнить нам о нашем еврее Иосифе, моя Луция? — спросил Домициан с подчеркнуто учтивой улыбкой, и его близорукие, чуть выпученные глаза впились в ясное, крупное лицо императрицы.

— Да, — ответила она без околличностей. — Иосиф выпустил новую книгу, он писал ее много лет, и, на мой взгляд, это книга, которую нам, римлянам, следует прочитать с величайшим вниманием. Если вы прочтете эту книгу, господин мой Домициан, вы будете гораздо лучше осведомлены о нраве вашего врага, бога Ягве.

— А помните ли вы, моя Луция, — возразил все с тою же подчеркнутой учтивостью император, — что я уже читал часть этой книги и сразу вслед за тем распорядился убрать бюст нашего Иосифа из храма Мира?

— Отлично помню, — отвечала Луция. — Я еще тогда спрашивала себя, не слишком ли опрометчиво и поспешно нанесена эта тяжелая обида большому писателю, имеющему заслуги перед Римом. Теперь, прочтя его книгу, я в этом твердо убеждена. Советую вам, владыка и бог Домициан, прочтите эту книгу. Все дальнейшие шаги будут зависеть от вашего благосклонного суждения.

— Ну, смелей, Луция, договаривай до конца, — сказал император. Его улыбка сменилась ядовитой усмешкой, но говорил он тихо и еще более учтивым тоном, чем прежде. — Чего бы ты хотела? Что я должен сделать?

Да, сегодня ее власть над ним невелика, Луция это чувствует. И снова, на какой-то очень краткий миг, появляется мысль: не отступить ли? Но в конце концов она делает еще одну попытку, обращаясь к иному средству, испытанному своему средству. Она подходит к нему вплотную и ерошит остатки волос, которые все редеют и редеют.

— По меньшей мере двадцать семь волосков вылезло с тех пор, как я в последний раз считала, — замечает Луция. — Есть очень простой способ, — продолжает она без всякого перехода, — загладить обиду, которую ты причинил этому писателю, а может быть, и его богу, и вместе с тем получить из надежного источника верные сведения об этом боге, о Ягве. Почему бы тебе, например, не посетить чтение, которое, если ты разрешишь, собирается устроить наш Иосиф?

— Занятно, — сказал Домициан, — очень занятно. Значит, мой Иосиф, наш Иосиф, твой Иосиф хочет читать отрывки из новой книги? И она тебе очень нравится, эта новая книга? Ты находишь, что она в самом деле очень хороша?

— Если бы не твое молчание, — отвечала она с уверенностью, — весь свет кричал бы, что она написана вторым Ливием. Его так называли еще при Веспасиане и Тите, когда вышла первая книга. И только теперь, когда ты велел пустить в переплавку его бюст, люди стали осторожнее.

Император поморщился.

— Да, — сказал он, — отец охотно с ним беседовал, и Тит любил его и ценил. Быть может, в этом есть и твоя заслуга — в том, что Тит любил и ценил его. А теперь ты хочешь наставить на путь истины и меня — чтобы я оказал честь новой книге твоего любимца. Так позволь сообщить тебе, если ты не знаешь, что с некоторыми частями этой книги я уже знаком. Они не скучны, но и не любопытны. И остальные части несколько растянуты, ни горячи, ни холодны — это мне говорили люди, не питающие, поверь, никакой злобы к твоему Иосифу.

Но Луция не уступала:

— А все-таки хорошо бы, если бы вы сами послушали и составили собственное мнение. Честное слово, вам ничуть не повредит узнать побольше про этого Ягве.

Это звучит предостережением, и еле заметная тревога вкрадывается в душу Домициана. Он внимательно смотрит в открытое, смелое лицо императрицы — она не даст себе труда скрывать свою досаду или симпатию.

— Вы действительно принимаете горячее участие в своем любимце, моя Луция, — сказал он. — Более преданной защитницы ему не пайти.

В язвительности его слов звучали недоверие и ревность, и Луция это уловила. Ах, вот оно что, Фузан думает, будто она спит с Иосифом. Она представила себе, как бы это выглядело. Потом улыбнулась. Потом посмотрела на Домициана и, уже не таясь, рассмеялась.

И тут он почувствовал облегчение. При всей своей подозрительности он никогда по-настоящему не верил в связь между Луцией и этим евреем. Она была истой римлянкой, хотя и на свой, особый лад, и этот бог Ягве и его народ ни при каких условиях не могли не казаться ей чуждыми и в чем-то смешными.

— Не угодно ли вам остаться отобедать со мною, моя Луция? — спросил он. — И тогда мы подумаем еще, как нам быть с вашим Иосифом.

В Риме любили публичные чтения. Считалось бесспорным, что живое слово проникает глубже и остается в памяти дольше, чем писаное, что оно полнее выражает личность автора. Но в последние годы такие чтения захлестнули Рим, в какой-то степени приелись слушателям, и автору обычно бывало нелегко собрать полный зал: в ход пускались все мыслимые предлоги и отговорки, чтобы уклониться от участия в подобного рода затеях. Однако выступление Иосифа было событием, которое привлекло весь город. В «Государственных ведомостях» было объявлено, что чтение почтит своим присутствием император. Издалека собирались люди, чтобы послушать Иосифа. Их манила не только сенсация: теперь, когда император обещанием прийти дал понять, что все претензии к этому автору впредь утрачивают силу, многие — римляне, греки и евреи — были рады открыто засвидетельствовать свою любовь к писателю и его книге.

Иосиф готовился к чтению с такою тщательностью, с какою не готовился еще ни к одному событию в своей жизни. Десять раз отбирал он главы — отбирал и отбрасывал, снова отбирал и снова отбрасывал. Нельзя

было упустить из виду ни литературные, ни чисто политические соображения. Дерзость и робость сменяли друг друга. Он советовался с друзьями, читал им выбранные места — для пробы, как новичок.

И своей внешности уделял он немалое внимание. Словно актер или молодой хлыщ, он обдумывал наряд и прическу, решал, украсить ли перстнем или оставить без украшений руку, которая будет держать манускрипт. Он принимал лекарства и укрепляющие отвары, чтобы голос стал сильнее и гибче. Он и сам не знал, перед кем он больше хочет блеснуть — перед императором, перед Луцией, перед римлянами и греками, перед писателями, своими друзьями и соперниками, перед евреями, перед Юстом или перед Маттафием.

Зато потом, когда срок пришел, он почувствовал себя в форме, ощутил уверенность в своих силах. Его парикмахер и косметист Луции долго хлопотали над его головой. Иосиф выглядел мужественно и внушительно, взор его, обращенный к слушателям, был горяч и вместе с тем спокоен. Здесь собрались все, кто пользовался в Риме влиянием и авторитетом, — друзья императора, ибо, разумеется, они не посмели не явиться туда, где присутствовал их государь, его враги, ибо в их глазах согласие императора посетить выступление писателя, назначенное в том самом храме, откуда он приказал выбросить бюст этого писателя, было равносильно признанию своего поражения. Иосиф видел их всех, видел и узнавал: Луцию, к которой испытывал глубочайшую признательность, императора, могущественного своего врага, юного, сияющего Маттафия, которого он любил, писателей, с нетерпением ждавших любой оплошности, которую он может допустить. Он видел перед собой это море светлых и мрачных лиц, он чувствовал себя уверенно, он радовался, предвкушая, как все они склонятся перед ним, перед его работой, перед его верой.

Сперва он прочел несколько глав из ранней истории своего народа — самые горячие и гордые главы, какие смог отыскать. Читал он хорошо, а то, что он читал, должно было увлечь непредубежденную публику. Едва ли его слушателей можно назвать предубежденными, но отозваться на прочитанное они не решаются. Все дога-

дываются, что любой отклик — одобрительный или осуждающий — может обернуться бедою, они знают, что люди Норбана и Мессалина не дремлют, их слух и зрение прикованы к рукам и губам слушателей. Даже клакеры Регина получили приказ молчать и не шевелиться, пока не подаст знака сам император.

А Домициан не подавал никакого знака. Он сидел, выпрямившись, в императорском облачении, хотя и не в полном параде, угловато отставив назад локти, сидел, источая гнетущую важность. Своими выпуклыми, чуть близорукими глазами смотрел он то на Иосифа, то прямо перед собой; время от времени он жмурился или покашливал, он слушал вежливо, но вполне могло быть и так, что за вежливостью скрывается скука.

Поведение Домициана возмущало императрицу. Выступление Иосифа для нее все равно, что собственное дело, и DDD это знает. Она напряженно ждала, останется ли реакция императора неизменной и во второй половине чтения. Иосиф хотел закончить несколькими главами из шестнадцатой книги своего труда, — в возвышенной и глубоко драматической манере там излагалась история семьи Ирода. Жаль только, что он сможет прочитать лишь завязку и начало этой истории — о странных, запутанных отношениях иудейского царя и его сыновей, о том, как их очернили перед отцом, этих сыновей, и как он приказал заключить их под стражу и предать суду. А чем кончилось дело — как Ирод без всякой пощады казнил этих своих сыновей, — он, к сожалению, прочитать не сможет: прочти это Иосиф, и слушатели с болью вспомнили бы, как DDD велел казнить принцев Сабина и Клементы. Луция было жаль, что Иосифу приходится опустить самое лучшее — конец рассказа и особенно удавшуюся ему оценку царя Ирода.

Однако и события, предшествовавшие казни, изложены с подлинной силой, Иосиф читает замечательно, видно, что минувшее, о котором он читает, вновь волнует его самого, и Луция радуется, замечая, с каким сочувствием его слушают. Но поведение императора и выражение его лица неизменны. И тут Луция не выдерживает, она не желает дольше хранить придворно-льстивое,

благовоспитанное молчание. Когда Иосиф заканчивает особенно патетическим и вместе с тем чрезвычайно сдержанным абзацем, она рукоплещет и своим громким, звонким голосом кричит слова одобрения. Некоторые к ней присоединяются, не жалеют ладоней и клакеры Регина. Однако большая часть зала оглядывается на императора, и так как он нем и неподвижен, они тоже немы и неподвижны.

Иосиф слышал рукоплескания, он видел лицо императрицы и любимое, восхищенное, счастливое лицо своего сына Маттафия. Но он видел и холодное, застывшее, неприязненное лицо Домициана, врага. Он знал: главная и единственная его задача — заставить эту неподвижную маску шевельнуться. Он понимал: этот человек, враг, решил продолжить свою тактику молчания, он не даст шевельнуться ни единому мускулу на своем лице и тем навеки похоронит его, Иосифа, работу. И тут безмерная ярость охватила его, он молча поклялся: «А все же я расшевелю ее, эту маску!»

И он не остановился там, где хотел прежде, — он читает дальше. Сперва в замешательстве, а потом с нарастающим возбуждением, слагавшимся из испуга перед таким безумием, восхищения перед такой отвагой и отчаянной тревоги в предчувствии грозной развязки, слушали Луция, Марулл, Регин — все, кто знали книгу Иосифа, слушали, как он читает дальше. Выразительно, в изящно отточенных фразах, со спокойствием, полным ожесточения и вызова, повествовал он о том, как иудейский царь Ирод предал своих сыновей суду и без всякой пощады казнил.

Читая, он отчетливо сознавал, какая безумная дерзость — в присутствии нескольких тысяч слушателей бросить в лицо императору этот рассказ. За намеки, куда менее рискованные, философ Дион был предан суду, а сенатор Приск казнен. Но, напоминая себе об этом, Иосиф сохранял полную сосредоточенность, тон его оставался внушительным и сдержанным. С глубоким удовлетворением он увидел, как застывшие черты накопец дрогнули. Да, он добился своего: лицо императора покраснело, он с силою втянул верхнюю губу, глаза мрачно заблестели. Иосиф воодушевился, блаженное,

упоительное чувство вознесло его к самому небу, и сознание, что, быть может, еще миг, один только миг — и он стремительно и страшно низвергнется в бездну, делало это чувство тем более сладостным. И он все читал, читал великолепную психологическую характеристику Ирода, мораль, которую он присовокупил к своему повествованию. Быть может, он заплатит жизнью за то, что сейчас читает. Но высказать эти слова, эту свою веру в глаза римскому императору, в глаза врагу — это стоит жизни.

Все отчетливее сознавал он, читая, что параллель между его Иродом и Домицианом ясна и безошибочна. Да, среди нескольких тысяч затаивших дыхание слушателей не было решительно никого, кто бы в этот миг не думал о принцах Сабине и Кlemente. Но именно потому и читал Иосиф дальше: «Если он чувствовал угрозу с их стороны, вполне достаточной мерой предосторожности было бы заключить их под стражу или изгнать из страны, чтобы не страшиться внезапного нападения или прямого насилия. Но убить их из ненависти, уступая единственно лишь чувству, — это ли не тираническое свирепство? Правда, царь долго откладывал исполнение своего плана, то есть самое казнь, но это скорее отягощает его вину, нежели оправдывает его. Ведь если кто совершит жестокий поступок в первом приступе гнева — нет спору, это ужасно, но хотя бы объяснимо. Когда же человек решается на такое зверство лишь по зрелом размышлении, после долгих колебаний, это не свидетельствует ни о чем ином, кроме дикости и кровожадности».

Иосиф закончил, он умолк, от собственной смелости у него перехватило дыхание. В огромном зале стояла такая тишина, что слышно было шуршание свитка, который он машинально принялся свертывать. А потом в гулкой тишине прозвучал резкий, дребезжащий смех. Он даже не был злым, этот смех, и, однако, все испугались, точно в зал вошла смерть. Да, Домициан смеялся, он смеялся едко, не слишком громко и не слишком долго, и своим высоким голосом, тоже не слишком громко, вымолвил в широкую, глубокую тишину:

— Занятно, очень занятно.

Но этот смех отнял у Иосифа последние остатки благоразумия. Все равно ведь теперь ничего не поправишь, это чтение последнее в его жизни, так почему бы не показать собравшемуся здесь Риму, как встречаются гибель на величественный, еврейский лад?

— А в заключение, — крикнул он в мертвое молчанье зала, — я прочту вам, мой владыка и бог Домициан, и вам, мои высокочтимые гости, оду, передающую смысл этой книги, настроение духа, в котором она создавалась, и то мироощущение, которым пронизана вся история сврейского народа. Стихи отнюдь не совершенные, они звучат коряво на языке, который для автора не родной, но я надеюсь, что ясность их содержания от этого не пострадала.

И он произнес стихи из «Псалма мужеству», он возгласил:

И я говорю:
Слава мужу, идущему на смерть
Ради слова, что уста ему жжет...
И я говорю:
Слава тому, кого не принудишь
Сказать то, чего нет.

Оцепснев, слушали тысячи этого еврея, который осмелился объявить в лицо Риму и его императору, что он их не признает. Оцепснев, глядели они на своего императора — неподвижного, внимательно слушавшего. Неподвижно сидели они, когда Иосиф произнес последние слова, с полминуты все собрание оставалось недвижимым, недвижим был бледный как полотно Иосиф, недвижим был император на своем возвышении.

Потом, все в той же беспредельной тишине, раздался голос Домициана:

— Ну, что скажешь ты, Силен, мой дурак? Мне кажется, ты можешь со знанием дела судить об этой оде.

И Силен, как всегда, подражая манере императора, угловато отставив назад локти, ответил:

— Занятно то, что здесь сказал этот человек, очень занятная точка зрения.

Потом, все еще среди глубочайшей тишины, Домициан повернулся к императрице:

— Вы говорили мне, что если я побываю на чтении нашего еврея Иосифа, то услышу много поучительного. Вы были правы.— И заключил: — Вы уходите, моя Луция?

Но Луция голосом, в котором не было обычной принужденности, сказала:

— Нет, мой владыка и бог Домициан, я еще остаюсь.

Тогда император церемонно попрощался и, сопровождаемый своим шутком, пошел к выходу сквозь ряды безмолвных, склонившихся до земли слушателей.

Зал быстро опустел. Остались лишь близкие друзья. Но вскоре ушли и они. Сперва Гай Барцаарон, потом Марулл, потом Иоанн Гисхальский. Подле Иосифа были теперь только Луция, Клавдий Регин и Маттафий.

Полнота и напряжение воли, которые потребовались Иосифу, чтобы выстоять в этот час, еще не иссякли; он нашел в себе силу спокойно, даже с легкой усмешкой сказать друзьям:

— А все-таки хорошо, что мы устроили чтение.

Регин бросил взгляд на пустой цоколь, где прежде стоял бюст Иосифа.

— Едва ли вам поставят здесь новый бюст,— заметил он,— но читать книгу теперь будут, это уж верно.

— Какой был великий час! — наивно воскликнул Маттафий. — А что люди тебя толком не поняли, так это ничего не значит. Мне кажется, на таких чтениях,— произнес он не по годам наставительно,— может иметь успех только что-нибудь сенсационное, дешевое...

— Ну, сенсации было вполне достаточно,— отзывался Клавдий Регин.

— Я умею ценить храбрость,— не выдержала Луция,— но я все-таки не понимаю, что это на вас нашло, мой милый Иосиф? Как это вы вдруг решились один-одинешенек броситься в атаку на всю Римскую империю?

— И сам не знаю, что за муха меня укусила,— сказал Иосиф. Искусственное напряжение исчезло, он устал опустился на скамью, он сразу постарел — труды

косметиста пропали даром.— Я сошел с ума,— сказал он, пытаясь объяснить случившееся.— Когда я увидел, что он и теперь намерен промолчать, увидел, как все они трусят и никто, госпожа моя Луция, не смеет поддержать вас, но все только смотрят на него, когда увидел на его лице насмешку и враждебность — я просто потерял голову. С самого начала это была безумная дерзость — еще когда я впервые подумал об этом выступлении, еще когда я просил вас его пригласить, госпожа моя Луция. Вы могли не знать, друзья мои, какое это безумие, но я-то обязан был знать. У меня были с ним столкновения, и я должен был знать, что ничем другим дело кончиться не может. Я не имел права устраивать это чтение. Но все-таки устроил. И бессильная ярость свела меня с ума.

— Чего вы все хотите, не понимаю! — недовольно сказал Маттафий своим юным, глубоким, невинным голосом.— Римский император пришел к Иосифу Флавию — да это поразительная, навеки памятная победа, по-моему! Ты говоришь, отец, что он твой противник. Тем грандиознее эта победа! Подумать только, император со своими ста миллионами римлян считает одного — одного! — человека, Иосифа бен Маттафия, врагом и, чтобы одолеть его, должен подняться сам, собственной особой. Но Иосиф бен Маттафий не страшится императора и говорит ему правду. По-моему, это великая победа.

Трое взрослых, почти растроганные, усмехнулись про себя над неловкою попыткой мальчика утешить отца. Клавдий Регин и Луция обсуждали, на этот раз не без тревоги, какое решение примет теперь Домциан. Но заранее предвидеть никто ничего не мог, можно было только ждать. Бесполезны были бы и любые меры предосторожности. Вздумай Иосиф, например, уехать из Рима, это только увеличило бы опасность.

В глубине души Иосиф отлично сознавал, что корень его поступка — такое же точно безрассудство, какое десять лет назад толкнуло «Ревнителей дня» на их бессмысленный мятеж. Но что разрешено им, мальчишкам, двадцатилетним, ему, пятидесятивосьмилетнему, никак не разрешено. И все-таки это было славное пора-

жение, поражение, наполняющее сердце побежденного гордою, высокою болью, стократ более прекрасное, нежели та пошлая победа разума, которая в последние годы сделала таким холодным и нищим его сердце. Он не был сломлен, напротив, он был горд своим поражением, и само ожидание грядущих событий дарило ему счастье.

К тому же первые плоды его безрассудства оказались сплошь радостными. Маттафий смотрел на него с безграничным восхищением и любовью, какие только и мог внушить ему столь громкий успех отца. Луция, правда, бранила его, но к словам осуждения примешивалось почти что нежное сочувствие его пятидесяти-восьмилетнему и все еще так молодому горевшему сердцу. А евреи — и теперь уже евреи всей империи — превозносили его до небес. Опасения немногих осторожных утонули в волне неслыханной популярности. Иосиф, который посреди многотысячной толпы бросил в лицо императору, ненавистнику евреев, правду Ягве, стал теперь самым дерзким бунтарем своего времени. Клавдий Регий был прав: вскорости у «Всеобщей истории» было еще больше читателей, чем когда-то у «Иудейской войны».

Первым, для кого обернулось бедою это достопамятное чтение, был не сам Иосиф, а Маттафий. Не считая лишь очень немногих близких друзей Иосифа, знать города Рима закрыла перед ним свои двери, и Маттафий ощутил это гораздо большее, чем отец.

Как быстро померкло его сияние в домах большого света, Маттафию пришлось убедиться при ближайшей же встрече с девочкой Цецилией. В последние месяцы Цецилия смотрела на него с уважением, которое раз от разу заметно возрастало; о правом берегу Тибра и о будущем участии Маттафия в мелочной торговле уже не было и речи. Тем тяжелее оказалась теперь внезапная перемена. Цецилия читала Гомера, и учитель литературы рассказал ей про Апиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера. Разговор коснулся тогда и знаменитых книг Апиона против евреев, и

некоторые из самых гнусных и злобных нападок Апиона Цецилия усвоила и запомнила. Краснея, с усердием выкладывала она свои новые познания перед Маттафием, она издевалась над его принадлежностью к дикому, грязному, чудовищно суеверному племени.

Маттафий рассказал Иосифу об их разговоре, и эта глупая история задела его неожиданно глубоко. Он не только огорчился, лишний раз убеждаясь, что его отчаянная выходка нанесла вред карьере сына, — гораздо больше растревожило его то, что он снова сталкивается с Апионом. С яростью вспоминал он о споре с Финеем, учителем Павла, когда без всякого толка и смысла осыпал его грубейшею бранью из-за этого Апиона. Теперь, когда Маттафий повторил ему слова девочки Цецилии, ненависть внезапно воскресила в его памяти этого мертвого Апиона. Много, много лет прошло с тех пор, как он видел его воочию, он был тогда еще совсем молод, а Апион был ректором университета в Александрии. Отчетливо, словно все происходило только сегодня утром, вспоминал Иосиф этого человека, — как он стоял чванный, надутый, важный, в белых башмаках — отличительный признак александрийских антисемитов. Снова и снова на протяжении своей пестрой жизни сталкивался Иосиф с Апионом, все враги евреев черпали яд из этого отравленного колодца. Образ фатоватого, подлого, самовлюбленного и в высшей степени удачливого противника, который наполнил целый мир своей дурацкой и злобной бранью, стал для Иосифа символом всего антисемитизма, более того — символом всей торжествующей глупости в мире, а для него, как и для Сократа, глупость была синонимом зла.

В своем новом, красивом, светлом доме он ходил взад-вперед по кабинету и спорил с Апионом, противником, чей язык был так гибок, а череп так пуст. Как несхож этот Иосиф, который ныне, одержимый богом своим, готовится к новой работе, как несхож он с тем, другим, автором «Всеобщей истории». Быть может, тогда цель его была выше, но то была цель, достигаемая лишь через веру в разум, какую владел Юст и подобные Юсту. Иосиф дерзко переоценил свои возможности, преследуя эту цель. Он взялся за чужое дело, и потому

все вышло неверно, фальшиво. Но теперь он узнал самого себя, теперь он мудр, теперь он выведенного яйца не даст за эту возвышенную цель. Он возвращается на путь, с которого свернул когда-то. Многие годы потерял он даром, но еще не все потеряно. Он снова молод вместе со своим Маттафием.

С облегчением ощущал он, как спадает с плеч тяжелое бремя ответственности, бремя критической недоверчивости, гнетущая обязанность пропускать всякое чувство сквозь фильтр разума. Он думал о Юсте, и — удивительно! — в нем не осталось теперь и следа от грызущего сознания собственной неполноценности, от любовной ненависти к тому, кто выше тебя. Отныне он не станет оглядываться ни на каких судей, ни на какие грядущие поколения. Он даст себе волю. Он будет писать так, как требует душа, необъективно, с пристрастием и с гневом, со всею яростью, какой заслуживают его противники, их высокомерие, их пошлость, их глупость. Он рассчитается с ним, с этим мертвым Апионом, с его предшественниками и последователями, изливавшими свое дешевое остроумие на высокое, святое и для них непостижимое, — на Ягве и его народ.

И он сел за стол и написал книгу «Против Апиона, или О древней культуре евреев». И какая это была радость — свободным сердцем, сбросив тесную броню научности, петь хвалу своему народу! Ни разу в жизни не испытывал Иосиф большего наслаждения, чем в эти две недели, когда он, единым дыханием, написал пять тысяч строк новой своей книги. Он видел их перед собою — белобашмачников, антисемитов, этих огречившихся египтян, Манефонов и Апионов. Важные и надутые, стояли они перед ним, а он крушил их и громил, — их самих и их доводы, — расточал их в прах, и они исчезли без следа! Слова захлестывали его, он едва мог сладить с их потоком, и, записывая, одну за другой, эти блестящие главы, он думал о египетской гречанке Дорион и ее сыне Павле — их обоих похитили у него Апион и Манефон. Он ядовито высмеивал этих гречишек, пигмеев, которые не имеют власти ни над чем иным, кроме милых, легких, зыбких, элегантных, изысканных слов. И он противопоставлял им истинных

греков, великих греков, таких, как Платон и Пифагор, которые знали евреев и ценили их, а в противном случае разве включили бы они в свою философию элементы еврейского вероучения?

Сокрушив, таким образом, своих противников, Иосиф поверх всех этих «нет» водрузил огромное, страстное, сияющее «да». Ни малейших следов не осталось от его всемирного гражданства. Всему, что он с таким трудом подавлял во время работы над «Всеобщей историей», всей безмерно гордой любовью своей к своему народу, он дал теперь излиться в этой книге. В пылких словах превозносил он благородство своего народа. Задолго до того, как греки еще только появились на свет, у него уже была своя мудрость, своя литература, свои законы, своя история. За тысячу лет до Гомера и Троянской войны у него уже был свой великий законодатель. Ни один народ не чтит божество чище, чем еврейский народ, ни один народ не питает столь глубокой любви к нравственности, ни один не владеет столь богатой литературой. Из десятков тысяч наших книг мы составили канон, только двадцать две отобрали мы из этих тысяч, тысяч и тысяч, и эти двадцать две книги мы соединили в *одну*. Но зато в *какую* книгу! В Книгу книг! И мы — народ этой Книги. О, как мы любим ее, как читаем, как толкуем! Эта Книга — все содержание нашей жизни, это наша душа и наше государство. Наш бог являет себя не в зримом облиции — он открывается в духе, в этой Книге.

Он закончил «Апиона» меньше чем за две недели. А затем, после порыва воодушевления, после буйного хмеля работы, вдруг отрезвел. Его охватил страх: удалось ли ему облечь свой энтузиазм в такую форму, чтобы он передался другим, увлек читателя. Снова всплыла мысль о Юсте, ведя за собою холодящее предчувствие: как-то будет выглядеть его «Апион» рядом с Юстовой «Иудейской войной»?

Нерешительно и настороженно понес Иосиф свою книгу Клавдию Регину. Регин и не пытался скрыть своего скептического отношения к труду, завершённому с такою быстротой. Не поднимаясь с дивана, он лениво попросил Иосифа почитать ему вслух. Он лежал, полу-

закрыв глаза, недоверчивый, и скоро прервал чтение насмешливым замечанием:

— Нашему Юсту эта книга едва ли понравится.

Иосиф и сам думал так же, и ему стоило немало труда продолжать чтение. Но постепенно снова накатила хмель, круживший ему голову во время работы над книгой, и вот уже Регин открыл глаза, вот он уже сел, выпрямился и, наконец, послушав с полчаса, выхватил свиток из рук Иосифа.

— Вы читаете слишком медленно, дайте-ка я сам, — сказал он, и Иосиф сидел молча, а Регин молча, жадно читал, а потом проговорил: — Мои писцы завтра же сядут за работу. — И с необычным для него оживлением добавил: — Будь у евреев свои Олимпийские игры, вот бы вам где прочесть эту книгу, как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою «Историю».

Таких восторженных слов Клавдий Регин не произносил уже много лет.

И то чувство, которое испытал Регин, испытывали все. Луция, увлеченная жаром и страстностью книги, объявила:

— Я не знаю, все ли у вас соответствует истине, мой Иосиф, но звучит это истиной.

Маттафий был в восторге. Теперь у него было в руках оружие, в котором он так нуждался, чтобы выстоять против девочки Цецилии и ее Апиона. Теперь он знал, почему так гордится своим народом, своей семьей, своим отцом. Весь свет, друзья и враги, были захвачены этой книгой, такого успеха Иосиф еще не знал никогда. Теперь уже никаких сомнений не оставалось, что Иосиф Флавий — первый писатель эпохи.

Выпадали, правда, часы, когда этот успех казался Иосифу пошлым, плоским. Он избегал встреч с Юстом, но временами, когда оставался один, особенно ночью, он вступал в спор с Юстом. Он слышал его насмешки, он пробовал защищаться, он ссылался на восторги других. Что проку? Он изменил своему предназначению. Он знал: прав Юст и не правы те, что превозносят его, Иосифа. И он ощущал усталость — усталость от успехов и усталость от поражений.

Но такие часы выпадали нечасто. Он жаждал успеха так долго, и теперь он наслаждался своим успехом. Он ликовал оттого, что евреи, так долго не признававшие и поносившие его, теперь должны увидеть его в подлинном свете, убедиться, что он самый действенный их защитник. Он ликовал оттого, что заставил своих врагов среди греков и римлян почувствовать силу этой книги. Наконец, долгожданная слава была для него еще одним, и очень отрадным, средством утвердить себя в глазах Луции и — прежде всего — в глазах Маттафия.

Мара тоже прочла «Апиона». В простых, наивных словах писала она об этом Иосифу, полная восхищения. Эта книга, которую она понимает от начала до конца, эта книга ей по сердцу. Потом, без всякого перехода, она сообщала о поместье Беэр Симлай. Управитель Феодор бар Феодор — человек разумный и преданный, обучение Даниила идет успешно: у него и способности, и тяга к работе на земле. Все чувствуют себя хорошо, хотя здесь, в Самарии, неподалеку от Кесарии, они живут среди язычников, и соседство нескольких евреев несколько дела не облегчает: на все, что принадлежит Иосифу, евреи смотрят косо, главным образом — из-за льгот, которыми он пользуется по милости язычников. Но, может, теперь, после «Апиона», все изменится к лучшему. К их дочери Иалте сватается один молодой человек; Маре он очень нравится. Он получил в Ямнии докторскую степень, но ничуть не возгордился, а просто и усердно продолжает заниматься своим ремеслом — он серебряных дел мастер. Правда, работает он все больше на язычников, и она опасается, не помеха ли это к браку. Впрочем, на дворе уже весна, скоро Иосиф отправится в путь, а приедет — все решит сам. И для Даниила будет полезен отцовский глаз, да и для Маттафия, конечно, лучше не оставаться в Риме слишком долго. Кстати, на «Феликсе» кормили обильно, но пища была нездоровая. Иосифу надо быть осторожным, чтобы не испортить желудок.

Иосиф читал и видел перед собой Мару, и грудь его наполнялась теплым, нежным чувством. Но об отъезде

в Иудею он и не думал. Теперь больше, чем когда-либо, его место было здесь, в Риме. Именно теперь, после «Апиона». Он чувствовал себя счастливым, и счастье пришло как раз вовремя — в то время, когда он еще может радоваться ему, когда у него есть еще силы радоваться. А Рим — подобающее обрамление, единственно достойное обрамление для этого счастья. Он чувствует себя призванным отныне писать только так, как велит сердце, он избран стать великим хвалителем и заступником своего народа. Но заступником и хвалителем он может быть только здесь — во вражеской столице.

И потом — оставить Маттафия одного? Увезти его из Рима, оторвать от службы у Луции он не может — это разбило бы все радужные мечты мальчика, разбило бы сердце мальчика. Нет, об этом и думать нечего! И о том, чтобы самому расстаться с сыном, тоже нечего думать. Самое дорогое, что есть у него, — это сияние, исходящее от Маттафия, любовь и восхищение сына. О, как он любит его, этого сына! Как праотец Иаков любил своего сына Иосифа — кощунственно, преступно, — так любит он Маттафия. И если Иаков подарил своему сыну пышное облачение, навлекшее на него ненависть и беду, — он, Иосиф, его понимает. Он бы поступил точно так же, чтобы украсить своего Маттафия всей красою земли. И в конце концов он был совершенно прав, окружив своего Маттафия блеском Палатина, — тут нечего и сомневаться. Чье сердце не откроется навстречу этому мальчику? Палатин еще слишком ничтожен для него. Одевание все еще недостаточно пышно. Впрочем, после «Апиона» даже Иоанн Гисхальский умолк, сомнения его отпали.

Правда, опасность отнюдь не миновала — опасность, которую он накликал сам своею дерзостью перед Домицианом. Но Иосиф об этом не тревожится. Даже если Домициан вздумает расправиться с автором «Иудейской войны», «Всеобщей истории», «Апиона», даже если покусятся на его жизнь — что из того? Такою смертью Иосиф лишь принесет новое свидетельство в пользу Ягве и его народа, скрепит нерушимую печатью свой труд и утвердит бессмертие за собою самим и своими книгами.

Иосиф ходил по Риму счастливый, сияющий — будто старший брат своего Маттафия. Каждый день он бывал на Палатине, у Луции. Все более необходимой становилась для него эта женщина. Дружеская привязанность, которую он к ней испытывал, была смешана с желанием, и потому временами он, красноречивый, сбивался и умолкал. Они не говорили о своих отношениях: ясная, открытая Луция была так же мало расположена облекать в слова то, что их связывало, как и красноречивый Иосиф. Именно это отягощенное многими и смутными чувствами молчание было самым дорогим и самым чарующим в их дружбе.

Да, давно позабытые чувства и мысли пробуждались в нем, когда он бывал подле нее, мысли и чувства тех далеких лет, когда еще совсем молодым он удалился в пустыню, чтобы жить только для бога и для истины. И ему чудилось, будто бог вменит ему в заслугу, если он воздержится от Луции, будто ему прибудет сил, если он воздержится от Луции.

Однажды, когда они так сидели вместе, Луция с улыбкою, странно дрожавшею на губах, сказала:

— А что, если бы он узнал, мой милый Иосиф?

— Он взбесился бы, — отвечал Иосиф, — взбесился, и промолчал, и предал бы меня мучительной смерти. Но разве это мука — принять смерть из-за вас?

— Ах, — рассмеялась Луция, — вы думаете про Фузана. А я думала не о нем. Я думала о Маттафии. — И, внезапно посерьезнев, задумчиво глядя на него своими широко расставленными глазами, она сказала: — А вы знаете, Иосиф, что мы обманываем его, вашего сына Маттафия?

Да, случилось так, что мальчик Маттафий, подобно неисчислимому множеству других мальчиков и мужчин, влюбился в Луцию. Ее открытость, ее веселость, щедрость жизненных сил, ненасытность, с какою она давала и брала, ослепляли его. Быть таким, как она, — вот высшее, чего может достигнуть смертный! Она часто подшучивала над ним, безобидно и ласково, и это привязывало мальчика еще сильнее. Но она говорила с ним и всерьез, она прислушивалась к его словам. Он был горячо благодарен ей за то, что по его совету она за-

вела павлиньи садки на своей вилле у Аппиевой дороги и в поместье близ Бай и поставила сторожами тех, кого указал ему его приятель Амфион, павлиний сторож у Регина. Он не знал, как назвать ту слепую нежность, что привязывала его к Луции. Назвать ее любовью, хотя бы даже только в мыслях, — но ведь это кощунство! И он испугался, ощутив, как в нем вздымается нечто, чему не было иного имени, кроме желания. Желать ее было такой же безумной дерзостью, как если бы римский юноша возжелал богиню Венеру.

Но все это не мешало ему временами почти завидовать отцу, замечая, как глядит на него Луция и как дозволено Иосифу глядеть на императрицу. Ни тот, ни другая, правда, не выставляли свою дружбу напоказ, но и не особенно заботились о том, чтобы ее скрыть. Маттафий запрещал себе всякую непочтительную мысль об отце или об императрице, но дерзкие сомнения не исчезали. Он старался их обуздать, пуще прежнего любясь и восхищаясь отцом. Где в целом свете сыщется другой такой человек, который единственно лишь словом своим зажигает сердца людей всех стран, всех состояний, всех вкусов, простых галилейских крестьян зажигает точно так же, как утонченных, порочных греков и эту великую, гордую женщину — императрицу?

А ей, Луции, он служил с удвоенным усердием — именно из-за своих недоверчивых мыслей о ней и об отце, которые, впрочем, посещали его нечасто и которые он тут же гнал прочь.

Глава вторая

Итак, он уехал, и она даже не очень об этом жалела. Разумеется, в душе осталась какая-то пустота, но, придиричиво проверяя свои чувства, она не жалела, что он уехал.

Надежды, которые она возлагала на своего Павла, не оправдались. Он вырос пошлым и заурядным. Все труды Финей и ее собственные пошли прахом. Он высокомерен, ее Павел, но это не эстетствующее высоко-

мерие ее отца, великого художника Фабуллы, и не яростное, нервное высокомерие Иосифа, и не колючее, властное высокомерие, присущее ей самой. Нет, спесь ее сына Павла — не что иное, как тупая, безмозглая, грубая национальная спесь римлян, спесивое сознание своей принадлежности к тем, кто кровью и железом поработили мир.

Размеренно и плавно покачиваются носилки на плечах вышколенных носильщиков-каппадокийцев. Дорион возвращается от второго мыльного камня на Аппиевой дороге — до этого места проводила она своего сына. Да, носилки движутся почти без толчков: ей даны привилегии, и перед носилками бежит раб, высоко поднимая красновато-коричневый щит с золотым венком, и на коричневых занавесках носилок тоже золотой венок — знак того, что они принадлежат императорскому министру и все обязаны уступать им дорогу. Но мысли госпожи Дорион не становятся приятнее от мягкого хода носилок.

Итак, Павел возвращается в Иудею. Он уже кое-чего достиг, показал себя хорошим солдатом, служит адъютантом у губернатора Фалькона, к его мнению прислушиваются; отчим Павла, Анний, ее супруг, остался особенно доволен пасынком в этот его приезд. Он делает карьеру. Он отличится в ближайшей кампании, а со временем — раз он так этого хочет и раз у него есть энергия — будет губернатором Иудеи и покажет евреям, что такое настоящий римлянин. И совсем не исключено, что исполнится его заветная мечта и что в один прекрасный день он будет командовать войсками империи, как теперь Анний. Он очень римский, и время очень римское, и император очень римский, и Анний любит отличного офицера Павла; почему бы в конце концов ему и не стать преемником Анния?

А что будет, когда он достигнет всего этого? Он возмнит себя взошедшим на вершину жизни. И будет верить, что и она, Дорион, тоже безоговорочно удовлетворена тем, чего он достиг. Ах, как мало он ее знает, ее сын Павел!

Она с гневом вспоминает о злобных и вульгарных антисемитских выходках, от которых ее когда-то цар-

ственно невозмутимый Павел не мог удержаться даже за столом. Его сбивчивые и глупые речи были ей вдвойне противны потому, что незадолго до приезда сына она прочла «Апиона». Сперва она колебалась, читать ли ей эту книгу, но о ней говорил весь свет, и она прочла. И она испытала то же, что весь свет, ибо, читая, услышала голос Иосифа, этот голос, не умолкая, звучал в ее ушах, и нередко ей чудилось, будто книга обращена только к ней одной. Она читала, и жгучая злоба переполняла ее, и жгучий стыд, и — почему бы не признаться самой себе? — что-то от прежних чувств пробуждалось в ней, от прежних и властных чувств к человеку, который говорил с нею из этой книги так пылко и так буйно.

Она много раз думала дать книгу Павлу. Снова и снова будет она укорять себя за то, что так этого и не сделала. Но сейчас она рада, что не сделала. Ибо вполне вероятно, что и на «Апиона» он не сумел бы отозваться ничем иным, кроме пошлой, злобной болтовни, а ей было бы больно и тяжело его слушать.

Жизнь полна неожиданностей. Быть может, теперь, после того как она так жестоко разочаровалась в Павле, тем больше радости принесет ей Юний, второй ее сын. Впрочем, пока на то не похоже. Пока похоже на то, что он будет весь в отца, в Анния, будет честным, шумливым, самоуверенным, очень римским молодым господином и хорошо поладит со своим временем. Нередко она отказывается это признать, находит самые разнообразные качества в своем Юнии. Но теперь, возвращаясь в носилках от второго мильного камня на Аппиевой дороге, она и здесь видит лишь мрак и безнадежность.

Снаружи сквозь опущенные занавески носилок врывается шум города Рима. Они расступаются перед ее носилками, граждане великого города, они дают ей дорогу и оказывают должные почести. Конечно, ей завидуют. Ведь она тоже взошла на вершину, она, дочь художника, которого снесло неуголимое и неуголенное честолюбие. Он был бы доволен, если бы узнал, чего ей удалось достигнуть. У нее есть муж, надежный, любящий, — Анний Басс, военный министр, вот уже много лет пользующийся неизменным благоволением импера-

тора. У нее двое... как это говорят?.. Ах да, двое цветущих сыновей, оба удались на славу. Она принадлежит к знати первого ранга, и ее сыновья — по всем доступным человеку расчетам — со временем займут высшие посты в империи. Чего же еще она хочет?

Она хочет многого, и если днем ей удастся отогнать дурные мысли, то ночи ее полны горечи. Где она, где тоненькая Дорнион минувших дней, с легким, чистым профилем, с нежным и надменным лицом? Теперь, когда она смотрится в зеркало, на нее глядит сухое, брюзгливое, безрадостное лицо стареющей женщины, и не велико утешение, что ее бравый Анний не желает этого замечать и привязан к ней точно так же, как прежде. Пятый десяток ей идет, старость не за горами, но что взяла она от жизни? А ведь могла бы взять так много! Она испоганила свою жизнь, легкомысленно пропустила ее сквозь пальцы. Сама, со злым умыслом, оторвала себя от единственного на земле мужчины, которому она принадлежала. И если жизнь ее сына пуста, пошла и низменна, виновата она и, главным образом, — из-за этого разрыва. Да, останься она с тем мужчиной — и Павел, верно, оправдал бы надежды, которые подавал вначале.

За последнее время — хотелось ей этого или не хотелось — она много слышала о своем бывшем муже. Где бы она ни появилась, в ушах ее звучало его имя. Она услышала об отъезде Мары и детей Иосифа и пожала плечами. Она слышала о «Всеобщей истории» и прочла ее, и пожала плечами, и отложила книгу, и она слышала, что другие поступали точно так же. Это доставило ей какое-то удовлетворение. Он был хорошим писателем, пока был полон страсти, пока был вместе с нею и хотел ее, но когда она бросила его, он исписался. Потом она услышала, что он доставил сыну место на Палатине, в свите Луции, и она пожала плечами. Он всегда был карьеристом, этот Иосиф, а так как на литературном поприще ему больше не везет, он думает пробиться с помощью интриг. Пусть его! Она была рада, что может задержать его образ пеленой легкого презрения и равнодушия. И снова она услышала о нем. Она услышала, что он намерен устроить чтение; и —

как это ни странно — в храме Мира, и что на чтении будет присутствовать император. Она уже совсем было решилась пойти, но потом рассудила, что в зале станут шушукаться и перешептываться и Аннию будет неприятно, а она теперь, право, не так уж интересуется Иосифом, чтобы огорчать мужа ради удовольствия полюбоваться, как будет пыжиться и важничать этот человек. И она пожала плечами и не пошла в храм Мира.

Но потом она услышала совсем другое и горько раскаивалась, что не была на чтении. Нет, он и не помышлял о карьере, читая перед публикой в храме Мира, — этого уж никто не может отрицать; величественное, верно, было зрелище, когда в присутствии трех тысяч слушателей он бросил в лицо императору свою правду и свои обвинения. Нет, он не трус, совсем не трус. Конечно, ее Анний тоже не трус, и Павел тоже. Ни тот, ни другой в битве не дрогнут. Но храбрость Иосифа совсем другого рода, куда более заманчивая и привлекательная. Чуть-чуть показная, пожалуй, но тем не менее величественная. Если бы не это странное, показное, бесстыдное и величественное мужество, он бы, наверное, в свое время не принял и бичевания — ради нее, Дорион. Едва заметный румянец проступает на ее смуглых щеках, когда она думает об этом.

Она не хочет больше об этом думать, она не хочет больше быть одна, она хочет отвлечься, хочет видеть людей. Дорион останавливает носилки и велит поднять занавеси. И сразу пестрая толчая города обступает ее со всех сторон: масса лиц, многие приветствуют ее, время от времени она останавливает носилки и заговаривает с одним, с другим... Ей удастся заглушить дурные мысли.

Но, вернувшись домой, она застает гостя, который вынуждает ее опять, еще пытливее, чем раньше, обратиться к прошлому, к Иосифу. Ее ждет Финей, грек Финей, учитель ее Павла, враг Иосифа.

Он стоял совсем спокойно, когда вошла Дорион: большая, неестественно бледная голова неподвижна на тощих плечах, тонкие, длинные руки совершенно спокойны. Но Дорион знала, ценою какого самопреодоле-

ния куплено это спокойствие. Финей был привязан к Павлу. Хотя он без толку растратил много лучших лет жизни на то, чтобы сделать из своего любимого, царственного Павла настоящего грека, хотя юноша выскользнул у него из рук и стал тем, к чему грек Финей питал глубокое отвращение, стал настоящим римлянином,— все же Финей по-прежнему был к нему привязан. Когда два года тому назад Павел был в Риме, Финей горячо старался снова завоевать его, восстановить добрые отношения со своим любимым учеником. Но Павел не поддавался, он держал себя сухо, чопорно, с равнодушной приветливостью, и у Дорион щемило сердце, когда она видела, как достойно, без дешевой иронии, как истинно по-гречески принимает это Финей. С каким же боязливым нетерпением должен был Финей ждать Павла в этот его приезд, ждать, когда Павел позовет его или придет к нему сам. Но Павел еще с прошлого раза был сыт неприятными беседами, он приехал и уехал, так и не показавшись своему учителю.

И вот Финей стоял, ожидая с жгучим нетерпением, что она расскажет ему о Павле. Однако нетерпения своего ни в чем не проявлял — непринужденно беседовал, вежливо говорил о разных пустяках.

Дорион понимала и разделяла его горечь. При всей внешней сдержанности их отношений они были очень близки, он знал о ее запутанных, противоречивых чувствах к Иосифу, их объединяло разочарование в Павле, отдалившемся, огрубевшем, отчужденном, и Финей был, вероятно, единственным, кто ясно сознавал, как мало удовлетворена Дорион и своею собственной блестящей жизнью, и своим блестящим сыном.

Она заговорила о Павле сама, не дожидаясь вопроса. Рассказала о своих беседах с ним, объективно, без всяких оценок, не жаловалась, никого не упрекала. Но, закончив, прибавила:

— А виноват во всем Иосиф,— и хотя выражение ее лица и голос оставались спокойны, в глазах цвета морской воды вспыхнула неукротимая ярость.

— Может быть, так,— отвечал Финей,— а может быть, и нет. Я не понимаю Иосифа Флавия — ни его самого, ни его поступков, он мне чужд, непонятен и не-

постижим, как дикий зверь. Иногда я как будто улавливаю его побуждения, но потом всякий раз оказывается, что все следует объяснять и понимать совсем по-иному. Вот, например, недавно мы восхищались мужеством, с каким этот человек бросил в лицо императору свои дерзкие и бунтовщические убеждения. Конечно, то, что он сказал и сделал и как он это сделал, представлялось нам смехотворным и противным разуму, но мужества, звучавшего в его нелепом поведении, мы не могли не признать. А теперь выясняется, что нашему Иосифу для его геройской выходки вовсе и не требовалось той храбрости, которую мы записали ему в заслугу.

Глаза цвета морской воды впились в лицо Финей.

— Пожалуйста, продолжайте,— попросила Дорион.

— Ему не требовалось особого мужества,— объяснил своим глубоким, отлично поставленным голосом Финей,— по той причине, что он был уверен в очень сильной поддержке с тыла, в поддержке самой могущественной заступницы на всем Палатине.

— Вы разочаровываете меня, мой Финей,— заметила Дорион.— Сперва вы держите себя так, словно собираетесь рассказать какую-то совершенно неожиданную новость, а потом многозначительно сообщаете мне, что Луция питает слабость к евреям и в особенности к Иосифу. Кого это может удивить? И каким образом это обесценивает мужество нашего Иосифа? Дружеское слово нашей императрицы — слабый заслон против известных опасностей.

— Дружеское слово, пожалуй, и не заслон,— сказал Финей,— но сознание, что первая дама империи, женщина, без которой император жить не может, отдаст всю себя, чтобы защитить его, героя, от любой опасности...

Теперь Дорион побледнела.

— Вы не из тех болтунов, мой Финей, которые безответственно разносят сплетни Палатина. Вы, конечно, располагаете неоспоримыми доказательствами, если даете ход столь опасным слухам.

— Я не даю хода слухам,— мягко поправил ее Финей,— я просто вам рассказываю, госпожа Дорион.

А что до неоспоримых доказательств...— Он усмехнулся и начал пространное объяснение.— Как вам известно, госпожа Дорион, я не согласен с очень многим из того, что изволит говорить и делать наш владыка и бог Домициан. Более того — ведь я всегда говорил с вами без всяких недомолвок,— по понятиям Норбана, я враг государства, я хочу гораздо более широкой автономии для Греции, я подрываю основы империи, вы и Анний Басс не должны бы, собственно, терпеть меня в своем доме, и в один прекрасный день я получу по заслугам, это уж верно. Удивительно, почему император еще не казнил меня или, по крайней мере, не сослал к самой границе, как моего большого друга Диона из Прусы...

— Вы слишком многословны,— нетерпеливо проговорила Дорион,— и отступаете от темы.

— Да, я слишком многословен,— подтвердил Финей, нисколько не обидевшись,— все мы, греки, такпе, мы радуемся удачному слову. Но от темы я не отступаю. Некоторым из недовольных сенаторов мой образ мыслей известен достаточно хорошо, они знают, что я враг нынешнего режима, а потому высказываются вполне откровенно в моем присутствии и не стараются выставить меня за дверь, когда ведут слишком вольные речи о делах на Палатине. И вот о чем рассказывал сенатор Прокул в кругу близких друзей. Ему трижды довелось наблюдать беседу еврея Иосифа с императрицей, когда госпожа Луция и еврей были уверены, что их никто не видит. Он заметил лишь особого рода взгляды, наклоны головы, легкие движения — и только, но он убежден (и убежден неопровержимо, чем если бы собственными глазами видел их рядом в постели), что госпожу Луцию с этим человеком связывает не просто расположение к талантливому писателю. Разумеется, для нас с вами не тайна, чего стоит сам сенатор Прокул, он твердолобый республиканец и по-римски ограничен, но в одном ему не откажешь: в житейских делах он отличный психолог — дар, присущий многим римлянам. Вот и все, госпожа Дорион, а теперь скажите еще раз, что я говорил не на тему.

Дорион бледнела все сильнее. Она никогда не ревновала к Маре, не ревновала ни к одной из многих жен-

щин, с которыми спал Иосиф. Но связь между Луцией и Иосифом, которую, как видно, обнаружил сенатор Прокул... эта вестъ встревожила ее до глубины души. Ее собственная жизненная сила всегда была чем-то искусственным, Дорион приходилось собирать ее по крохам из всех уголков своего существа. Теперь она уже до конца истратила отмеренную ей долю этой силы, она была старой женщиной, но Анний все еще видел в ней прежнюю Дорион, и потому она до сих пор могла убедить себя, что и Иосиф, думая о ней, думает о прежней Дорион. Но Луция была тем, чем хотелось быть Дорион,— самую жизнью, буйною, бьющею ключом. Луция, хотя она и создана совсем на другой лад,— это совершенная Дорион, лучшая, более юная. И потом, Луция красивее, Луция живее, Луция императрица. Если то, что обнаружил сенатор Прокул, правда, тогда Луция вытеснит последнюю тень Дорион из сердца Иосифа. Тогда в Иосифе не останется ничего от Дорион.

Но это неправда! Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца, ненависть заставляет его делать из мухи слона, и ненависть Финея тоже добавляет свое.

Ну, а если бы даже и правда, что из того? Разве она все еще любит Иосифа?

Конечно, любит. И всегда любила. И была дурой, что ушла от него. А теперь вместо Иосифа у нее Анний. А Иосиф, хитроумный, сын удачи, променял ее на Луцию. Нет, он даже и не хитроумен, он и не хотел этого, он хотел только ее, Дорион, а она сама вынудила его искать замену, сама загнала его в объятия Луции.

Но нет. Она этого не потерпит. Этому не бывать. Она и не подумает смиренно отступить в сторону. Она ему испортит всю игру.

— А Домициан? — спрашивает она вдруг.

Финей взглянул на Дорион в упор, злобный, хитрый, ненавидящий, доверительный огонек сверкнул в его глазах. Он хотел, чтобы она задала этот вопрос. Ни на йоту не отступил он от темы и вел свою речь с большим искусством: надо было подвести ее к этому вопросу, план должен был возникнуть в ее голове. Как тогда, с университетом в Ямнии, он снова отыскал у против-

ника слабое, уязвимое место; приходится, правда, идти окольными путями, зато место очень уязвимое, и есть все основания надеяться, что на этот раз он наконец нанесет Иосифу, ненавистному, смертельную рану.

И он отвечает:

— Да, Домициан... В том-то все и дело: как допускает это Домициан?

Так же медленно, как Финей, Дорион проговорила своим тонким, ровным голосом:

— Он очень подозрителен. Он часто видит даже то, чего на самом деле нет. Как же он мог не раскрыть то, что есть?

Но Финей возразил:

— Кто способен заглянуть в душу императора? Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф.

— Удивительно,— задумчиво продолжала Дорион,— что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения. Может быть, тут существует какая-то связь. Может быть, DDD что-то знает и просто не хочет принимать к сведению.

И Финей осторожно предложил:

— Вероятно, можно было бы заставить императора принять к сведению, что его супруга находится в скандально близких отношениях с евреем Иосифом.

Но Дорион,— и теперь в ее глазах цвета морской воды сверкали такие же едва заметные злые огоньки, как у Финей,— ответила:

— Как бы там ни было, благодарю вас, мой Финей. В вашем многословном сообщении вы не так далеко уклонились от темы, как мне показалось вначале.

С этого времени ходившие по Риму слухи о связи императрицы с евреем зазвучали громче, и вскоре их можно было уже услышать на каждом перекрестке.

Норбан, помня, как разгневался император, когда он пересказал ему остроуту Элия, спросил у Мессалина совета, докладывать ли DDD об этих толках.

— Лудия в Байях,— вслух рассуждал Мессалин,— еврей Иосиф провел в Байях несколько недель. Я не вижу никаких оснований скрывать это от DDD.

— DDD удивится, зачем ему об этом докладывают. И в самом деле, что странного, если еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына, в Байях? DDD сочтет нелепым, что у кого-то по этому поводу могут возникнуть предосудительные мысли.

— Да, это нелепо, — подтвердил своим мягким голосом слепой. — И все-таки, пожалуй, было бы уместно осведомить DDD, что императрица покровительствует еврею и его сыну и что это вызывает всеобщее недовольство.

— Вполне уместно, — согласился Норбан, — но только дело уж очень щекотливое. Может быть, вы возьмете его на себя, Мессалин? Вы бы оказали услугу всей Римской империи.

— Пусть DDD обо всем узнает сам, — предложил Мессалин. — И мне кажется, друг мой Норбан, это входит в круг ваших обязанностей устроить дело так, чтобы DDD обо всем узнал сам.

— Если даже он и придет сам к такой мысли, — не сдавался Норбан, — Луции стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет, но зато останется в высшей степени опасное озлобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль.

— Нехорошо, — поучительным тоном заметил Мессалин, — что владыка и бог Домициан так сильно и глубоко привязан к женщине. И все-таки, друг мой Норбан, вам придется, пожалуй, рискнуть и внушить ему помянутую нами мысль. Как-никак, а это входит в круг ваших обязанностей, и вы окажете важную услугу государству.

Норбан долго раздумывал над этим разговором. Он любил императора, он был ему предан, он считал его величайшим из римлян, и он ненавидел Луцию — по многим причинам. Он чувствовал безошибочно, что она из другого теста, чем он, что она выше, благороднее, и приветливое равнодушие, с которым она при случае над ним подтрунивала, жестоко его озлобляло. Насколько было бы лучше, если бы она ненавидела его и старалась восстановить против него DDD! И потом, его задевало, что женщина, которую владыка и бог Домициан удостоил своей любви, по всей видимости, недо-

статочно ценит эту любовь. Он был искренне убежден, что ее влияние приносит вред императору и империи. То, что она возится с евреем, унижает DDD, подрывает его авторитет, и вдобавок, уж не спит ли она в самом деле с этим евреем? От Луции вполне можно этого ожидать.

Но как тут поступить ему, Норбану? Мессалину легко советовать: «Внушите императору, натолкните императора...» Как прикажете это сделать? Как поставить императора перед необходимостью предпринять наконец решительные действия против еврея и собственной супруги?

Однажды, меж тем как он терзался этими думами, он обнаружил, разбирая корреспонденцию, секретное донесение губернатора Иудеи Фалькона с отчетом о положении в провинции. В донесении, между прочим, сообщалось, что губернатор нашел в своем архиве список так называемых «отпрысков царя Давида». В свое время его предшественники получали в Риме строгий наказ держать этих людей под особым надзором, но в последние годы, по-видимому, дело это предано забвению. Все же он вновь произвел розыски и установил, что в Иудее из потомков древнего царя ныне остались в живых только двое — некий Иаков и некий Михаил. В последнее время вокруг обоих (к слову говоря, оба называют себя не иудеями, а христианами, или миссиями) опять поднялась подозрительная возня. Поэтому он распорядился арестовать обоих и, считая полезным, чтобы они хоть какой-то срок побыли за пределами страны, доставить морем в Италию: пусть на Палатине займутся ими повнимательнее и решат их судьбу.

Так называемые «отпрыски Давида» Иаков и Михаил находились, стало быть, на пути в Рим.

Читая донесение губернатора Фалькона, Норбан все время отчетливо видел изящный летний павильон в альбанском парке и перед ним неуклюжие фигуры богословов из Ямнии; и вдруг он сообразил, что ведь еврей Иосиф — тоже так называемый отпрыск Давида, и, следовательно, по верованиям иудеев, и он сам, и его сын Маттафий могут притязать на господство над миром. И сразу же в совершенно ином, гораздо более опасном

свете открылся министру полиции «Псалом мужеству», который Иосиф с небывалою дерзостью прочитал, обращаясь прямо к императору; равным образом и дружба Иосифа и его сына с Луцией сразу приобрела совсем иное, гораздо более угрожающее значение. Это было объявлением войны императору и империи. Широкое, квадратное лицо Норбана расплылось в улыбке, открывшей его крупные, здоровые, желтые зубы. Он нашел средство, как, не подвергая опасности себя самого, указать своему владыке на опасность, которою чреваты отношения Иосифа и Луции. Если напомнить ему о еврейских предрассудках, связанных с потомками Давида и мессией, мысли императора, бесспорно, примут то же направление, что и его собственные. Стоит лишь назвать или, лучше, показать ему обоих «отпрысков», Иакова и Михаила, и DDD непременно вспомнит, что то же звание носят Иосиф и его сын, а потом, осторожный, подозрительный, он непременно задумается, и глубоко задумается, о евреях Иосифе, о его сыне и об отношениях их обоих к Луции.

Он послал в Альбан гонца с запросом, соизволит ли владыка и бог Домициан допустить его в ближайшие дни пред свое лицо.

Владыка и бог Домициан снова проводил большую часть времени в Альбане, в полном одиночестве. Стояло раннее лето, погода была прекрасная, но императора ничто не радовало. Он праздно лежал в своих оранжереях, стоял перед клетками своего зверинца, но не замечал ни плодов, поспевших раньше срока благодаря искусству садовника, ни пантеры, которая сонно щурилась на него из угла клетки. Он пытался заставить себя работать, но мысли разбегались. Он звал своих советников и прислушивался к их речам краем уха, а потом и вовсе переставал слушать. Он звал женщин и отпускал их, даже не притронувшись к ним.

Он не забыл дерзости еврея Иосифа и, разумеется, вовсе не собирался простить ему его преступление. Но наказание нужно как следует обдумать. Ибо то, что еврей открыто и громогласно объявил войну ему, его миру и его богам,— этот чудовищный поступок он совершил, не только следуя порыву собственного сердца,

по и как посланец своего бога. И то, что Луция уговорила его прийти на чтение, случилось не просто по злой ее воле, нет, за плечами императрицы, вероятно, неведомо для нее самой, стоял его заклятый враг — бог Ягве. Императора удивляет и озадачивает, — даже вне всякого личного интереса к Луции, — как удалось Ягве привлечь эту женщину на свою сторону и отвратить ее от Юпитера, которому она принадлежит в силу самого своего рождения. Он необыкновенно хитрый бог, этот Ягве, и Домициан должен с величайшею осмотрительностью рассчитать каждый свой шаг.

Он заранее отмечает всякое подозрение, что Луцию и еврея может связывать постель. Если бы тут была замешана плотская похоть, оба старались бы скрыть свои отношения. А вместо этого еврей, — несомненно, ослепленный своим богом, — перед всем Римом и с одобрения императрицы бросил ему вызов.

Проще всего, разумеется, было бы стереть в порошок всех: еврея Иосифа, его приплод — мальчишку Маттафия и Луцию вместе с ними. Но Домициан, к сожалению, слишком хорошо знает, что это простое средство действует совсем не так радикально, как можно было бы надеяться. Слишком многие отравлены ядом еврейского сумасбродства, и смерть нескольких отравленных остальных не пугает, напротив, делает их еще более жадными к яду. Суеверие, если за него умирают, приобретает не горечь, но сладость.

Как ему искоренить восточное безумие? Всякое средство сгодилось бы — лукавство, любовь, угрозы. Но где найти хоть какое-нибудь средство? Он не находит никакого!

Он собирается с мыслями, идет в домашнее святилище, он просит совета у своей богини, богини ясности, у Минервы. Он льстит ей, угрожает ей, снова льстит. Погружается в нее. Большими, выпуклыми, близорукими глазами он впивается в большие, круглые, совиные очи богини. Она не поддается, она не отвечает, безмолвно и мрачно смотрит она на него своими глазами хищной птицы. Но он молит снова, собирает все силы, закликает ее. И наконец добивается своего, она отвергает уста, она говорит.

— О мой Домициан,— произносит она,— мой брат, мой самый любимый, моя забота, зачем ты заставляешь меня говорить? Ведь я должна сказать то, чего не хотела бы сказать ни за что, и сердце в груди у меня разрывается от боли. Но Юпитер и Судьба запрещают мне молчать. Итак, внемли и мужайся. Я должна покинуть тебя, я не могу больше давать тебе советы, мое подобие здесь, в твоём домашнем святилище, будет впредь пустою и мертвою оболочкой. О, как мне тяжко, Домициан, мой любимый. Но я должна быть вдали от тебя отныне, мне не дозволено больше заботиться о тебе.

У Домициана ослабели ноги, перехватило дыханье, все тело покрылось холодным потом, он прислонился к стене, чтобы не упасть. Он твердил себе, что это не был голос его Минервы; его враг, бог Ягве, вещал из ее статуи — коварно, вероломно, чтобы запугать его. Это был сон наяву, наваждение вроде тех, что так часты в земле Ягве,— ему рассказывал о них его солдат Анний Басс. Но утешения не помогали, бледный, холодный страх не проходил.

Его ненависть к людям и подозрительность усилились. Он приказал своему гофмаршалу и своему префекту гвардии обставить доступ к нему всеми возможными препятствиями и еще строже обыскивать любого, кто входит во дворец. Он поручил своим архитекторам облицевать жилые покои и приемные залы на Палатине и в Альбанском имении металлическими зеркалами, чтобы отовсюду, где бы он ни стоял, прогуливался или лежал, видеть всякого, кто приближается к нему.

Так проводил император свои дни в Альбانه, когда его навестил министр полиции. Он был рад увидеть Норбана. Он был рад вырваться из мира своих спов в мир фактов. С любопытством и благосклонностью, даже с некоторой нежностью глядел он в верное, грубое и хитрое лицо своего Норбана и, по обыкновению, испытывал удовольствие, увидев, как модные завитки иссиня-черных, густых волос небрежно и нелепо падают на лоб, венчающий это топорное лицо.

— Ну, а теперь,— усаживаясь поудобнее, обратился он к министру,— я хочу услышать во всех подробностях, что нового в Риме.

И Норбан исполнил желание своего господина, он сделал обстоятельный доклад о последних событиях в городе и в империи, и его твердый, сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой реальности.

— А какие вести из Бай? — спросил император, помолчал.

Норбан заранее решил как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Маттафии, — пусть император нащупает связи сам.

— Из Бай? — переспросил он осторожно. — Императрица, насколько мне известно, чувствует себя хорошо. Охотно занимается спортом, плавает, хотя лето еще только началось, устраивает гребные состязания в заливе. Вокруг нее много людей, самых разнообразных людей, она интересуется книгами. — Он сделал коротенькую паузу, потом все-таки не смог удержаться и добавил: — Вот, например, еврей Иосиф читал ей вслух из своей новой книги. Мои люди доносят, что это пылкая защита еврейских суеверий, — впрочем, без малейшего нарушения дозволенных границ.

— Да, — откликнулся император. — Это сильная и очень патриотическая книга. Когда мой еврей Иосиф выступает так открыто, он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско-греко-иудейскую премудрую мешанину. А вообще, — размышлял он, точь-в-точь как раньше сам Норбан, — нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в Байях, — ведь императрица взяла его сына к себе в свиту. — И так как Норбан молчал, он добавил: — Я слышал, что она очень довольна этим юным сыном Иосифа.

Норбан охотно высказал бы все, что думает об Иосифе и его юном сыне, но он решил не делать этого и остался верен прежнему решению. Он промолчал.

— А что еще? — спросил Домициан.

— Да, собственно, все, — отвечал Норбан. — Разве что вот... Я бы мог предложить владыке и богу Домициану маленькое развлечение. Ваше величество, вероятно, помнит, как во время одной забавной встречи

с еврейскими богословами мы выяснили, что евреи видят в потомках некоего царя Давида кандидатов на вселенский престол. В ту пору мы составили список таких претендентов.

— Помню, — кивнул император.

— Ну, так вот, — продолжал Норбан, — губернатор Фалькон сообщает мне, что в его провинции Иудее осталось только двое этих «отпрысков Давида». В последние месяцы вокруг обоих началась подозрительная возня. Тогда Фалькон отправил их в Рим, чтобы мы здесь решили их судьбу. Вот я и хотел спросить владыку и бога Домициана, может быть, он пожелает позабавиться и взглянуть на обоих претендентов. Речь идет о некоем Иакове и некоем Михаиле.

Предложение Норбана, — именно так, как он рассчитывал и предвидел, — пробудило в душе Домициана бесчисленные думы, надежды и страхи, которые только того и ждали, чтобы их кто-нибудь пробудил. Домициан и в самом деле забыл, что страшный и презренный еврей Иосиф и его сын были в глазах известной группы людей потомством царя и, следовательно, ровнею ему, императору. Но теперь, когда Норбан освежил в его памяти ту примечательную беседу с богословами и выводы, которые были из нее сделаны, мысль, что этот Иосиф и его сын действительно претенденты, соперники, всплыла вновь с необыкновенною живостью. Как ни смешны притязания этих людей, они все же существуют и все же опасны. И совершенно очевидно, что потомки Давида именно теперь считают наиболее своевременным снова заявить свои притязания. Этими притязаниями, смысл которых ему открылся во время доклада Норбана, этим мнимым своим происхождением от древнего восточного царя — вот чем пленил Иосиф воображение Луции, вот как он добился того, что она взяла к себе на службу его юного и нелепого сынка. И по той же причине, кичась правами царского отпрыска, он осмелился бросить ему в лицо свои стихи о мужестве. Значит, он, Домициан, был прав, чувствуя за всем этим своего великого врага — бога Ягве.

Раздумья императора не продолжались, впрочем, и пяти секунд. Правда, лицо его краснеет, как всегда,

когда он бывает встревожен и растерян, но ничто в его поведении не выдает этой тревоги.

— Дельное предложение, — объявляет он весело. — Хорошо, покажите мне этих людей. И поскорее.

На следующей же неделе потомки Давида Иаков и Михаил были доставлены в Альбан.

Фельдфебель императорской гвардии ввел их в небольшой, роскошно убранный зал. Там они и остались ждать — коренастые, крепко сбитые, неуклюжие, посреди всего этого великолепия. То были люди крестьянской наружности, в длинной галилейской одежде из грубой ткани, большие бороды обрамляли их спокойные лица, Михаилу было с виду лет сорок восемь, Иакову — сорок четыре. Они говорили мало; непривычная обстановка внушала им, по-видимому, чувство неловкости, но не страха.

Деревянною походкой вошел император в сопровождении Норбана и еще нескольких господ, а также переводчика: оба «отпрыска» говорили только по-арамейски. Когда появился император, они что-то произнесли на своем тарабарском наречии. Домициан спросил, что они сказали; переводчик объяснил, что это приветствие. «Почтительное приветствие?» — осведомился Домициан. Переводчик чуть смущенно ответил, что это приветствие, с каким обыкновенно обращается равный к равному.

— Гм, гм, — пробормотал император.

Он обошел их кругом. Обыкновенные люди, крестьяне, грубого сложения, с крестьянскими лицами; и запах от них шел мужицкий, хотя, уж конечно, их вымыли, прежде чем допустить к нему.

Своим высоким, резким голосом Домициан спросил:

— Так, значит, вы из рода Давида, вашего царя?

— Да, — отвечал Михаил бесхитростно, а Иаков пояснил:

— Мы в родстве с мессией, мы его правнучатные племянники.

Выслушав переводчика, Домициан непонимающе уставился на них выпуклыми близорукими глазами.

— Что они имеют в виду, эти люди? — повернулся он к Норбану. — Если они в родстве с мессией по нисходящей линии, то, очевидно, принимают за истину, что мессия уже давно пришел. Спросите их! — приказал он переводчику.

— Что это значит, что вы правнучатные племянники мессии? — спросил переводчик.

Михаил терпеливо пояснил:

— Мессия звался Иошуа бен Иосиф, он умер на кресте ради спасения человеческого рода. Он был Сыном человеческий. У него был брат по имени Иуда. От этого брата мы и происходим.

— Вы всё понимаете, господа? — обратился Домициан к своей свите. — Мне это не вполне ясно. Спросите их, — приказал он, — наступило ли уже в таком случае царство мессии.

— И да и нет, — ответил Иаков. — Иошуа бен Иосиф умер на кресте, но воскрес, и это начало царства мессии. Но он воскреснет еще раз и только тогда явится во всей своей славе судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его.

— Занятно, — сказал император, — очень занятно. А когда это будет?

— Это будет в конце времен, в день Страшного суда, — объяснил Михаил.

— Дата не слишком точная, — заметил император, — но, мне кажется, он хочет сказать, что это дело еще не завтрашнего дня. А кто будет править в царстве мессии? — продолжал он свои расспросы.

— Мессия, конечно, — ответил Иаков.

— Какой мессия, — спросил император, — мертвый?

— Воскресший, разумеется, — откликнулся Михаил.

— И он будет назначать губернаторов? — спрашивал Домициан. — Наместников? А кого он пригласит на эти должности? Без сомнения, своих родственников, в первую очередь. Скажите мне, что же это все-таки будет за царство?

— Насчет губернаторов мы ничего не знаем, — отклонил Иаков вопрос императора, но Михаил продолжал упорно:

— Это будет не земное, а небесное царство.

— Дурацкие фантазеры,— сказал император.— С ними невозможно разговаривать. Так, стало быть, вы из рода Давида? — пожелал он удостовериться еще раз.

— Да, из рода Давида,— подтвердил Иаков.

— Сколько вы платите налога? — спросил император.

— У нас маленький хутор, всего тридцать девять плетров,— дал точную справку Михаил.— На доходы с этой земли мы и живем. Мы возделываем ее с помощью двух рабов и одной батрачки. Твой мытарь оценил все имение в девять тысяч денариев.

— Невелики прибитки для потомков великого царя и претендентов на царства и провинции,— рассуждал Домициан.— Покажите-ка мне ваши руки,— приказал он вдруг. Они показали, Домициан внимательно их осмотрел — заскорузлые, мозолистые мужицкие руки.— Накормить их досыта,— объявил император свое решение,— и отправить обратно, но только на самом обыкновенном судне: смотрите — не избалуйте мне их.

Когда они ушли, он сказал Норбану:

— Что за нелепый народ эти евреи — видеть претендентов на престол в таких вот людюшках! Не правда ли, оба были ужасно смешны в своей простодушной гордыне...

— Да, эти были смешны,— ответил Норбан, делая ударение на слове «эти».

Домициан густо покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел. Ибо Норбан был прав: эти двое были смешны, но другие потомки Давида, Иосиф и его сын, отнюдь не смешны, и страх перед Иосифом и его богом Ягве вновь проснулся в душе императора.

До этих пор свидание с потомками Давида оказывало именно такое воздействие, какое предвидел Норбан. Но тут мысли императора приняли направление, отнюдь не желательное для министра полиции. Как всегда подозрительный, Домициан вдруг сказал себе, что Норбан, быть может — и скорее всего так оно и есть! — умышленно вызвал в нем эти опасения. Поэтому-то, видимо, Норбан с самого начала придавал столько значения этим потомкам Давида из Иудеи; хотя,

конечно; так же точно, как он сам, с первого взгляда убедился, до чего они безвредны.

С другой стороны, Норбан, очевидно, с самого начала распознал, насколько опасен Иосиф, и, обратив внимание императора на опасность, он лишь выполнил свой долг преданного слуги, и, кстати говоря, выполнил с таким тактом, какого он, Домициан, не ожидал от этого неуклюжего человека. И все-таки трудно смириться с тем, что Норбан так безошибочно угадал его думы; подданный дерзнул предписать думам бегу Домициана их ход и движение — да это граничит с мятежом! Он чересчур близко подпустил к себе этого Норбана. Теперь на свете есть человек, который знает его слишком хорошо. Вот какого рода чувства волнуют императора; это еще не мысли, — он не дает своему замешательству зайти столь далеко и принять отчетливую форму, — но он не в силах сдержаться, и его взгляд, испытующе останавливаясь на лице министра полиции, выражает недоверие, чуть ли не страх. Впрочем, это длится лишь какую-то долю секунды; ибо лицо, на которое он смотрит, — энергичное, надежное, жестокое, — морда верного пса, — как раз такое, какое должно быть у его министра полиции.

Норбан доставил ему приятную забаву, привезя сюда потомков Давида, дал ему случай сделать утешительные наблюдения. Он признателен своему министру полиции и даже высказывает ему свою признательность, но отпускает его быстро, почти внезапно.

Он размышляет наедине с самим собой. Что делает его борьбу против Ягве такой невероятно трудной, так это полное одиночество в этой борьбе, — по сути дела, он никому не может довериться до конца. Норбан предан ему, но он слишком груб душой, чтобы до конца постигнуть нечто столь сложное и бездонное, как вражда этого невидимого, неосязаемого Ягве; да к тому же император и не позволит Норбану заглянуть в свое сердце еще глубже. Марулл и Регий, пожалуй, смогли бы понять, за что идет борьба. Но даже если бы он — ценою немалых усилий — сумел объяснить им все, что толку? Оба — старики, вялые, терпимые, снисходительные, совсем не борцы, каких требует эта борьба, борьба не на

жизнь, а на смерть. Хорошим борцом был бы Анний Басс, но он, разумеется, слишком простодушен для столь хитрого и увертливого врага. Остается Мессалин. Этот достаточно умен, чтобы понять, кто враг и где он скрывается, достаточно мужествен и силен; и верен. Но память о той неприятной минуте, когда ему пришлось признать, что Норбан видит его насквозь, не покидает Домициана. Он обратится к Мессалину, однако лишь тогда, когда надежда найти выход без чужой помощи изменит ему окончательно.

Нет, он все-таки найдет выход. Он сидит за письменным столом, он достал навощенные таблички. Он мрачно раздумывает. Он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия. Мысли разбегаются. Правда, острие стила что-то чертит на воске таблички, но это не буквы и не слова — только круги да круги механически выводит его рука. И он со страхом замечает, что это глаза Минервы; вот что выводит его рука — большие, круглые, совиные глаза, теперь пустые, потухшие, безучастные.

И вдруг он чувствует: угроза, так часто над ним сгушавшаяся, угроза гибели от рук заговорщиков, которую так часто предрекают ему его противники, — уже более не бесплотная абстракция, какую для цветущего человека его лет бывает смерть, ожидаемая в отдаленном будущем, но нечто осязаемое, конкретное, близкое. Страх он не испытывает. Однако его покинуло ощущение совершенной безопасности, наполнявшее его до сих пор, пока он знал, что находится под покровом и охраною своей богини. Смерть, столь далекая прежде, стала близкой, она требует внимания и раздумий.

Когда ему придется вознестись к богам, когда он исчезнет с лица этой земли, — он, эта плоть и эти кости человека по имени Домициан, — что станет тогда с его идеей, что станет с идеей Рима, которую он постиг глубже и отчетливее, чем его предшественники? Кому предназначено, когда его уже не будет, оберегать и нести дальше эту идею?

Идея Рима, как понимает ее он, Домициан, неотделима от господства Флавиев. В самой глубине души, втайне даже от самого себя, он все еще надеялся на потомство от Луции. Но цепляться за эту призрачную

надежду и впредь, когда гроза уже собралась над его головой, было бы безумием. Долой надежду, прочь ее! Жалко, что он испугался дерзкого злословия своих недоброжелателей и не дал появиться на свет своему ребенку, которого носила Юлия. Как это было бы замечательно, если бы он мог назначить своим преемником сына, зачатого от его семени.

Но это невозможно. Судьба династии Флавиев зависит теперь от двух мальчиков, близнецов Константа и Петрона. По крайней мере, мальчики — чистокровные Флавии и по отцовской и по материнской линии. И хорошо, что он пресек вредные влияния, которые могли бы испортить их обоих, что он казнил Клементя и сослал Домитиллу на Балеарские острова. Теперь его «львята» в надежных руках, они растут под присмотром истинного римлянина Квинтилиана и отторгнуты от бога Ягве.

Впрочем, совсем отторгнуть их от Ягве ему не удалось. На эти жаркие месяцы Луция взяла мальчиков к себе, в Байи, она не хотела, чтобы близнецы, потрясенные участью родителей, оставались в опустевшем доме, в доме убитого отца и сосланной матери, и он, Домициан, согласился с нею. Как мог он согласиться? Разумеется, это снова коварная уловка бога Ягве, это он внушил Луции желание принять участие в сыновьях казненного Клементя. Как знать, не замешан ли тут и наш Иосиф, посланец Ягве. Уму непостижимо, как он не разгадал всего этого с самого начала! Правда, он двоюродный дядя этих мальчиков, он испытывает к ним родственную привязанность, он не хотел быть с ними чересчур строг — для него была важна, для него важна и теперь любовь близнецов. Но прежде всего — надо быть откровенным с самим собой! — он не хотел выглядеть слишком черствым и жестоким в глазах Луции.

Теперь он положит этому конец. И он уже знает как. Он осуществит свое давнее намерение усыновить близнецов. Он призовет их к своему двору, и тем самым они будут спасены от мглы, разливаемой Иосифом и его сыном Маттафием. Тогда он сделает все от него зависящее, чтобы оставить идее Рима новых защитников, если

сам, покинутый Минервой, будет вынужден уйти из этого мира.

Нахмуренное лицо светлеет, он улыбается. Удачная паходка. Когда он усыновит мальчиков, у него появится совершенно естественный повод призвать к себе и Луцию. А когда Луция будет здесь, рядом, многое станет яснее. Несмотря ни на что, несмотря на ослепление, которым поразила ее Ягве, она всегда его понимала, потому что она римлянка. Он, римлянин, будет говорить с римлянкой, он ощущает в себе силы отвоевать Луцию у врага.

Он улыбается. И, оставшись без защиты Минервы, он не признает себя побежденным. Нет худа без добра. Если бы опасность, которой грозит ему Ягве, не встала вновь с такой очевидностью, он откладывал бы усыновление еще и еще. А так, этим скорым усыновлением он достигает двух целей разом. Он не только опять оградит щитом будущее своей идеи Рима, но и, по всей вероятности, отобьет у этого Ягве его недавно приобретенную союзницу — Луцию. Луция римлянка с головы до ног, Луция любит его — это бесспорно, — хотя и на свой гордый, строптивый лад. Бог Ягве затмил ее рассудок. Но ему, богу Домициану, удастся рассеять зловеющий туман, которым окутал ее восточный бог, и она снова будет видеть так же ясно, как он сам.

Не откладывая, Домициан берется за работу, делает необходимые приготовления. И в тот же день пишет подробное письмо Луции. Он не диктует, он пишет собственной рукой, старается придать каждой фразе как можно более теплое, личное звучание. Ради продолжения династии, писал он, и поскольку теперь уже едва ли он может ждать потомства от нее, Луции, он счел своим долгом усыновить детей Флавия Клемента, отца которых, к сожалению, вынужден был казнить. Ближе к сердцу, и он с удовольствием отмечает, что, по-видимому, и ей они небезразличны. Поэтому он надеется, что она одобрит это решение. Он медлил с ним непозволительно долго, зато тем скорее намерен теперь его исполнить. Одновременно с этим письмом он посылает указание Квинтилиану прибыть вместе с мальчиками к нему в Альбан. Он полагает целесообразным

сразу же после усыновления облачить мальчиков в мужскую тогу, невзирая на их слишком юный возраст. Обе церемонии — усыновление и совершеннолетие — он желает справить с подобающей торжественностью. Пусть римляне твердо усвоят, что он прививает династии новые, свежие побег. И для него было бы большою радостью, если бы она согласилась поднять значение памечаемого акта своим присутствием.

Когда близнецы со своим наставником Квинтилианом приехали к Луции в Байи, они были в смятении и растерянности. Смерть отца, ссылка матери замкнули их открытые от природы лица, и Квинтилиану потребовалось немало бережной осмотрительности, чтобы провести их через это трудное время без тяжелых душевных травм. Теперь, у Луции, они стали понемногу успокаиваться, их робость исчезала. Перед отъездом на Балеарские острова Домитилла взяла с Луции слово, что она позаботится о ее сыновьях и постарается ослабить латинское влияние Квинтилиана. Луция обращалась с обоими мальчиками так, словно они были совсем взрослые, она была с ними деликатна, предупредительна, но не выказывала свое сочувствие слишком явно. Мало-помалу корка льда растаяла, и они снова сделались доверчивы и юны, как раньше, как всегда.

Главным образом, в этом была заслуга Маттафия. Между ним и обоими принцами быстро завязалась славная мальчишеская дружба. Близнецы были приятного, легкого нрава, сияние юной мужественности, исходившее от Маттафия, производило на них особенно сильное впечатление, они без всякой зависти признавали его превосходство. Рядом с ним они могли быть беззаботны и даже счастливы, как в прежние времена, вопреки страшным событиям, которые им пришлось пережить, могли забыть об интригах и борьбе, кипевших вокруг. С мальчишеским задором играли они в разные игры, боролись, дурачились.

Насмешки, которые вызывало еврейское происхождение их друга Маттафия, на мальчиков не производили никакого впечатления. Через родителей они познакоми-

лись с образом мыслей минеев и были неуязвимы для антисемитских напештываний. Их отец принял смерть за свои симпатии к иудаизму, и защищать Маттафия было для них делом чести; они привязались к нему искренне и пылко.

Маттафию не просто нравились его новые товарищи — то, что оба принца, ближайшие родственники императора, так горячо ему преданны, возвышало его в собственных глазах. Однажды он услышал, как Цецилия спрашивала о нем у недавно купленного раба-египтянина и тот ответил:

— Все три принца ушли ловить рыбу.

И от гордости у него словно крылья выросли за спиною.

Квинтилиана раздражала эта дружба. Он с самого начала сомневался, разумно ли отпускать принцев в Байи к императрице. Нет слов, характер у нее в высокой степени римский, и, однако, почти все, что бы она ни делала, читала или говорила, его беспокоило, ему было не по себе при мысли, что его воспитанники так долго дышат воздухом ее двора. А теперь они еще связались с этим молодым евреем. Квинтилиан, всегда стремившийся судить беспристрастно, отдавал Маттафию должное: в его поведении не было ничего, что грешило бы против римского духа. Поэтому он не ставил императора в известность о дружеской связи его воспитанников с сыном Иосифа и ограничивался лишь сдержанными предостережениями, которые, не оскорбляя Маттафия, в то же самое время не могли не быть поняты его, Квинтилиана, воспитанниками.

Так между ним, с одной стороны, и Луцией и Маттафием — с другой шла упорная борьба за души близнецов. Она была бесшумной, незримой, глубинной, эта борьба. И лишь однажды вырвалась на поверхность, обнаружилась, стала явной.

Детское увлечение павлиньим садком, который Луция позволила Маттафию устроить у себя в поместье, передалось и его друзьям. Ежедневно навещали они втроем загон с павлинами, знали каждую птицу, часто приносили какую-нибудь из них к подъезду главного дома и любовались, как она, стоя на красивых, ши-

рогих ступенях сияющего белизной здания, распускала хвост, словно веер, несущий прохладу залитому солнцем дворцу.

Как-то раз, когда у Луции гостил сенатор Осторий, знаменитый гурман, ему подали паштет из павлиньего мяса, — в отсутствие императрицы и мальчиков дворецких с поваром заставили несчастного сторожа выдать им шесть драгоценных, обожаемых птиц. Мальчики были вне себя от гнева. Квинтилиан пытался умерить их раздражение, свести его к разумным пределам. Наслаждение для вкуса, утверждал он, ничуть не ниже наслаждения для взора, а так громко выражать свою скорбь из-за каких-то зарезанных птиц, как это делают Маттафий и мальчики, — не по-римски, это восточная сентиментальность. Мальчики примолкли, но потом, в присутствии Луции и Иосифа, снова завели разговор о случившемся. Иосиф выразил изумление, как может римлянин без опаски употреблять в пищу мясо павлина, — ведь это священная птица богини Юноны. Нельзя путать внутреннее содержание вещи, идею вещи с самою вещью, объявил Квинтилиан, это свидетельствует о слабости чувства реального. Все равно как если бы мы стали почитать святыней бумагу — ради высоких мыслей, которые на ней записаны. Подобное отождествление совершенно чуждо римскому здравому смыслу. Великий оратор и превосходный стилист, Квинтилиан взял в споре верх над Иосифом прежде всего потому, что его противник был лишен возможности изъясняться на родном языке: он должен был отстаивать свои доводы на языке выученном, усвоенном искусственно.

После этого происшествия Квинтилиан задумался не на шутку: быть может, в конце концов он просто обязан просить императора изъять его воспитанников из-под опасного для них влияния молодого еврейского господина; и он вздохнул облегченно, получив письмо императора с приказом прибыть на Палатин вместе с принцами, которых он, император, намерен усыновить.

И Луции решение Домициана усыновить близнецов доставило больше радости, чем огорчения. Разумеется, ей было грустно думать, что отныне мальчикам придется

жить в жестокой и холодной атмосфере Палатина, постоянно разделяя общество изломанного и по-римски непреклонного Домициана. Но в то же время она была искренне рада за мальчиков, что DDD пожелал наконец осуществить свое намерение и решил вознести их так высоко.

А потом, совершенно разлучить близнецов с нею и Маттафием едва ли удастся даже на Палатине,— она и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить близнецов от деревянной латинщины Квинтилиана. К тому же, надо надеяться, у нее будет хорошая помощница. Ибо, коль скоро Домициан назначает детей Домитиллы своими преемниками, он, вероятно, согласится вернуть из ссылки их мать. Луция отнюдь не любила Домитиллу, наоборот, холодный жар, озлобленность Домитиллы были ей неприятны. Но Луция чужд присущий Риму Флавиев дух формального правосудия, ей не по душе запреты, ограничивающие свободу мнений, и она была возмущена учиненным над Домитиллою насилием. В чем, собственно, состоит ее преступление? Она увлекалась философией христиан — вот и все. Следовательно, она была изгнана единственно лишь по прихоти императора, одной из его самовластных, внезапных прихотей. DDD должен вернуть Домитиллу, просто должен, она, Луция, склонит его к этому.

Она ощущала в себе силу уговорить, убедить его. Луция была на редкость честна по натуре и не умела притворяться. Ей ничего не удавалось добиться от DDD, когда она испытывала к нему неприязнь. Если же, напротив, ее тянуло к Фузану и она могла, не кривя душою, обнаружить перед ним свое чувство, тогда власть ее над ним была безгранична. В последнее время она враждебно замкнулась, его долгое молчание мало-помалу внушило ей страх, что, со своей обычной медлительностью и коварством, он готовит удар по Иосифу и Маттафию. Его письмо успокоило ее. Сказать по правде, характер Домициана всегда ей импонировал, его свирепая непреклонность, его невероятная гордыня, его извращенная, безрассудная, безудержная энергия — все это влекло ее с самого начала. К тому же она твердо знала, что он любит ее, по сути дела — только ее. Вот

почему письмо согрело ей сердце, она радостно ждала встречи.

Оживленно готовилась она к поездке в Альбан. Полная радости предстоящего боя рисовала себе объяснение с Фузаном. Она непременно доведет до конца то, что задумала. Она хочет, чтобы путь к ней и к Маттафию и впредь оставался открытым для близнецов, она хочет, чтобы Домитилла вернулась из ссылки.

Первые три дня их новой совместной жизни с DDD прошли в торжественных церемониях усыновления. Это были, в первую очередь, религиозные торжества, и всякий мог видеть, как растроган и захвачен ими император. Семья была для него священным понятием, алтарь его домашних богов, очаг с неугасимым огнем в атрии были для него не пустыми символами, но чем-то живым, и теперь, готовясь привести пред лицо богов своей семьи два юных существа, которые будут чтить их и в грядущие годы, он испытывал глубочайшее волнение, — ведь боги живы лишь почитанием своих верных. И сам он в некий день станет одним из богов своего дома, и, лишь утверждая почитание своего домашнего алтаря, утверждает он собственную долговечность. Да, это празднество было для него жизненно важным, чрез него он вступал в новое, живое соприкосновение со своими божественными предками. Древние слова священного обряда были для него полны глубокого смысла, и не пустую юридическую формальность, а нечто существенное, осязаемое исполнял он, принимая мальчиков под отцовскую опеку и нарекая их новыми именами — Веснасиан и Домициан. Этим актом он изменял их природу, наново преображал их сущность. Он и они несут теперь ответственность и обязательства друг перед другом, они скованы неразрывными узами.

С первого взгляда он понял, что Луция приехала к нему с открытым сердцем. Но, педантичный, как всегда, он отложил разговор, который должен был выяснить их отношения. Теперь, в эти дни торжеств, его мысли и чувства были поглощены важными, исполненными величайшего, символического значения действиями, не оставлявшими времени ни на что иное. То были счастливые, возвышенные дни, обретенные сыновья —

«львята» — радовали его душу, и лишь одно в них внушало ему тревогу: слишком горячая привязанность к самому юному из адъютантов императрицы, к Маттафию Флавию.

Потом, когда официальные празднества окончились и бесчисленные гости разъехались, Домициан устроил обед в семейном кругу. Кроме близнецов и их наставника, за столом были только Луция и Маттафий.

Император полагал, разумеется, что самым правильным было бы расторгнуть связь между его новыми сыновьями и молодым евреем немедленно и бесповоротно. Почему он так не поступил, почему, напротив, включил Маттафия в этот тесный, избранный круг — он не мог бы точно объяснить. Самому себе он говорил, что хочет основательно прощупать сына Иосифа; ибо с первого же взгляда он убедился, что мальчик источает яркий свет и неотразимые чары и что, стало быть, изгладить его образ в сердцах близнецов не так-то просто. Тому, кто поставил себе целью этого достигнуть, нужно сперва как следует изучить молодого еврея. И затем — по своим дальнейшим соображениям он не позволил вылиться в отчетливую форму — он позвал Маттафия еще и потому, что не хотел с самого начала озлоблять Луцию и мальчиков. Однако прежде всего то была военная хитрость. Он хотел усыпить бдительность Маттафия и скрывающегося за его спиной бога Ягве. Ибо одно совершенно ясно. Кто поставил именно этого, наделенного таким неотразимым обаянием юношу на пути тех двоих, которых он, верховный жрец Рима, назначил будущими властителями империи? Конечно, коварный бог Ягве!

Маттафия трапеза за столом Домициана исполнила величайшим счастьем. Он твердо помнил слова матери, которые она часто повторяла, восхваляя Иосифа: «Твой отец — сотрапезник трех императоров». А теперь сотрапезник трех императоров — он, Маттафий, он, которому девочка Цецилия сказала, что его место на правом берегу Тибра и что он кончит лотком мелочного торговца.

От счастья Маттафий сиял еще ослепительнее, чем всегда. Он внушал симпатию самым существом своим, своим оживленным лицом, каждым своим движением; его юный и вместе с тем такой мужественный голос

пленил всех, стоило ему только раскрыть рот. Император обращался к нему чаще, чем к остальным. Но противоречивы были мысли и чувства Домициана, когда он беседовал с юным любимцем Луции. Обаятельная непринужденность мальчика нравилась ему, он смотрел на Маттафия с таким же удовольствием, с каким разглядывал бы неуклюжего и потешного дикого зверька у себя в зверинце. И так как он был чутким наблюдателем, от него не укрылась горячая привязанность Маттафия к Луции, и он испытывал чрезвычайно острое — несмотря на всю его очевидную смехотворность — чувство торжества оттого, что именно он, Домициан, спит с этой Луцией, а не юный и прекрасный посланец бога Ягве.

Квинтилиан постарался продемонстрировать перед императором латинскую образованность своих воспитанников. Молодые принцы держались неплохо, но особых способностей не обнаружили. В ответах Маттафия тоже не было ничего замечательного, зато манера его речи была скромна и приятна, и он убедительно показал, что насквозь проникнут римскою образованностью.

— Умный сын умного отца, — признал Домициан, меж тем как близнецы даже за столом не скрывали, что видят в Маттафии высшую, щедро одаренную натуру, и это только подтвердило мрачную догадку императора. Итак, страх его оправдан: чуждый бог Ягве с тонким коварством воспользовался этим Маттафием, чтобы, подобно червю, угнездиться в душах мальчиков.

Наконец обед кончился, и Луция осталась с императором наедине. Они были в его кабинете, который Домициан приказал облицевать металлическими зеркалами. Она видела это новшество в первый раз.

— Что у тебя за чудовищные зеркала? — спросила она.

— Это для того, чтобы у меня были глаза и на затылке, — ответил император. — У меня много врагов. — Он помолчал, потом заговорил снова: — Но теперь мне больше нечего опасаться. Что бы со мною ни приключилось — все равно останутся «львята». Я рад, что усыновил мальчиков. Нужна была решимость, чтобы расстаться с надеждой иметь от тебя детей. Но мне легче

на душе с тех пор, как я знаю, что мой очаг не погаснет.

— Ты прав,— понимающе сказала Луция.— Но,— устремилась она прямо к цели,— что меня смущает, так это мысль о Домитилле. Я не люблю эту сухую, напыщенную особу, но в конце-то концов обеих твоих «львят» родила она. Мне неприятно вспоминать, что она прозябает на бесплодном островке посреди Балеарского моря, а ты между тем собираешься вырастить ее сыновей властителями Рима.

Недоверчивость Домициана мигом пробудилась. Ага, она хочет приобрести союзницу, чтобы легче перетянуть близнецов на свою сторону! Он с удовольствием ответил бы ей резкостью, но она была так хороша и желанна, и он сдержался.

— Я попытаюсь, моя Луция,— начал он,— объяснить вам причины, по которым должен был удалить Домитиллу. Я не питаю к ней никакой вражды. Клемент и Сабин были мне ненавистны, я находил их лень, их косность, все их поведение неримским, омерзительным. Другое дело Домитилла. Она женщина, никто не требует от нее, чтобы она служила государству, и, кроме того, в ней есть какая-то жесткость, крепость, и это мне скорее по вкусу. К несчастью, в ее упрямой голове засели минейские суеверия. Само по себе совершенно безразлично, во что верит или во что не верит Флавия Домитилла, и я мог бы смотреть на это сквозь пальцы. Но встает вопрос о близнецах. Этих мальчиков должен воспитывать наставник, которого я им назначил, и никто более. Я не желаю, чтобы Домитилла оставалась вблизи от них. Я не желаю, чтобы твердые, ясные принципы, которые мой Квинтилиан внушает мальчикам, распатывались и затемнялись нелепыми, бабьими, суеверными рассказами о распятом боге. Все в этом учении, которому, к несчастью, следует Домитилла,— его отрешенность от мира, его отвращение к действительности, его равнодушие к государству,— все в нем опасно для таких юных существ.

Луция решила начать бой и сразу бросилась в атаку. С открытой угрозой обратив к императору смелое, ясное лицо, она спросила:

— А если мальчики общаются со мной, это, по-вашему, тоже опасно?

Император медлил с ответом. Ему следовало сказать «да», его долгом перед Юпитером и перед Римом было сказать «да». Но придвинувшееся к нему лицо женщины, которую он любил, путало его мысли, он колебался. Он хотел скрыться от ее лица, он отвел глаза, но в зеркальных стенах вокруг снова и снова встречало его лицо Луции. Видя его замешательство, она продолжала:

— Откровенно говоря, ваш Квинтиллиан — страшный педант. Пусть мальчиков хоть иногда обдувает свежим ветром, мне кажется, это им совершенно необходимо.

Домициан наконец приготовил ответ.

— Разумеется, — сказал он галантно, — я ничего не имею против того, чтобы и мои «львята» наслаждались вашим обществом, моя Луция. Но я бы не хотел, чтобы их отравлял своими взглядами ваш Маттафий или же — в особенности! — еврей Иосиф своею сентиментальной болтовней насчет того, что, дескать, есть паштет из павлиньего мяса — богохульство.

Значит, гордому римлянину Квинтиллиану не хватило достоинства промолчать, он должен был немедленно донести на Маттафия и его отца, словно последний соглядатай Норбана! Луция в ярости. Но слова DDD она принимает как уступку: по крайней мере, с нею самой близнецам не будет запрещено видаться.

— С твоей стороны очень любезно, — признала она, — что ты хотя бы мне не предписываешь, с кем я могу встречаться, а с кем нет. — Она не стала больше задерживаться на этой щекотливой теме; она подошла к нему вплотную, провела рукою по его редким волосам и сказала: — Должна сделать тебе комплимент, Фузан. Ты ничего не потерял оттого, что я долго тебя не видела, наоборот, ты гораздо симпатичнее, чем мне казалось издали.

Домициан жаждал ее прикосновения; он должен был сделать усилие, чтобы дыхание его не стало тяжелым и частым. «Она мне льстит, — подумал он, — она заискивает, я должен остаться тверд, я не дам себя уговорить».

— Благодарю вас, — ответил он чопорно.

Луция оставила его в покое, с прежней деловитостью она принялась рассуждать вслух:

— Неужели нет никакого иного средства уберечь мальчиков от этого учения? А что, если эта крайняя мера будет постоянно приковывать внимание близнецов к вине их матери, то есть как раз к тому, от чего их следует оберегать? И, кроме всего прочего, разве не покажется странным и столице и империи, что близнецов возносят на такую высоту, а мать по-прежнему держат на Балеарских островах? Разве это не нанесет ущерба престижу ваших «львят»? И не разовьет криводушия в самих мальчиках, которых вы, бесспорно, хотите видеть честными и прямыми?

— Я никогда не подозревал, — злобно сказал император, — что Домитилла имеет в вашем лице такого преданного друга.

— Домитилла мне совершенно безразлична! — раздраженно повторила Луция. Но тут же снова овладела собой, изменила повадку и тон. — Ведь я только ради тебя же самого советую помиловать Домитиллу, Фузан. Ведь и в прошлый раз вы заставили долго себя упрашивать, а потом все-таки вернули меня из ссылки, — пошутила она. — И разве вы в этом раскаиваетесь? Не унижайте себя самого, — попросила Луция. — Вы усыновили мальчиков, и это замечательно. Но если вы не дополните эту милость возвращением Домитиллы, вы лишите ее всякого эффекта. Никто лучше меня не знает, как часто и как жестоко заблуждаются люди на ваш счет. Берегитесь, как бы мысль о матери не заставила истолковать превратно благодеяния, оказанные детям. Верните Домитиллу!

Домициан уклонился от ответа. Своими близорукими глазами он осмотрел ее с головы до ног и сказал:

— Вам очень к лицу, моя Луция, когда вы горячитесь, заступаясь за кого-нибудь.

Но Луция не сдавалась.

— Неужели вы не понимаете, что я горячусь из-за вас? — сказала она негромко, настойчиво и нежно. Снова она была совсем рядом, обняв его за плечи, она попросила: — Пожалуйста, верните ее.

— Я подумаю, — недовольно вывернулся Домици-

ан.— Обещаю вам тщательно все обдумать вместе с Квинтиллианом.

— С этим педантом? — негодуяще отмела Луция великого стилиста.— Обдумайте со мной! — потребовала она.— Только не здесь! Здесь, среди ваших чудовищных зеркал, думать совершенно невозможно. Приходите ко мне. Поспите со мною ночь и все обдумаете.

И она вышла, не дав ему времени ответить.

Пусть ждет понапрасну, решил он. Он не пойдет. Она требует платы за то, что пускает его к себе в постель. Нет, детка моя, ничего не выйдет! Он тихонько насвистывает популярную в городе песенку:

И плешивому красotka не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

Норбан хотел было запретить эту песенку, но он не позволил. Нет, не пойдет он к Луции.

Полчаса спустя он лежал с нею рядом.

Но даже в постели она не смогла добиться от него безоговорочного обещания. Только если Домитилла откажется от каких бы то ни было попыток вмешиваться в воспитание мальчиков, только тогда он вернет ее; в этом Луция может быть уверена.

А вообще, лежа рядом с Домицианом, Луция испытывала такое чувство, словно изменяет Иосифу, — хотя или, может быть, как раз потому, что она воздерживалась от близости с Иосифом. Что это, влияние еврея? Так вот что такое «грех», о котором она столько слышала! Она почти радовалась: теперь ей открылось и это, прежде непостижимое, — совесть, грех.

Когда Луция возвратилась в Байи, император заперся у себя в кабинете. Он хочет понять, что он отстоял и чем поступился.

Они теперь под его опекой и защитой, его новые сыновья, которым предстоит продолжить его род и сохранить для будущего его идею Рима. Но полностью от яда Ягве он их еще не обезопасил. Напрасно дал он Луции обещание вернуть Домитиллу, он не должен был этого делать. Хорошо еще, что он не совсем потерял

голову и выговорил себе отсрочку. Он сдержит обещание, он, верховный жрец и хранитель клятв, верен своему слову. Но прежде пусть Домитилла выдержит испытание. Пусть прежде докажет, что хранит спокойствие и блюдет порядок, что не вмешивается в воспитание его «львят». А для этого надобно время.

Луция требовала платы, он уплатил ей за ее ласки, это было малодушно, непристойно.

И плешивому красotka не откажет ни о чем,
Если он красоте деньги сыплет щедрою рукой,—

яростно пасвистывает он. И, однако, вне всякого сомнения — она любит его! Когда он думает о том, каким жаром наполняют его ласки Луции, все остальные женщины кажутся ему бездарными шлюхами. А Луция кипит жизнью, она — палящая, жгучая, она — женщина под стать ему, богу, и она любит его.

Но даже такая, какая она есть, римлянка с головы до пят, она не сумела уберечь себя в целостности и неприкосновенности. Капелька яду этого Ягве бродит и в ее крови. Хоть она и посмеивается почти надо всем, что пашептывают ей Иосиф и его сын, остаться совершенно глухою к их речам она не смогла. Да, Ягве, этот хитрый, коварный, мстительный бог, подобрал себе таких посланцев, что лучше и не придумаешь! Этот мальчишка Маттафий!.. Домициан вызвал в памяти его образ, его горячие, быстрые и все же такие ясные и невинные глаза, услышал его юный, глубокий голос. Будь он, Домициан, мальчиком, он бы и сам попался на удочку этого Маттафия. Так что же сказать о близнецах!..

А впрочем, ни разу с тех пор, как они поселились в его доме, ни разу не заговорили они с ним о Маттафии. Но Домициан полон недоверия: вероятно, Луция внушила им, чтобы они пока даже имени Маттафия не упоминали. Ну, понятно, она рассчитывает восстановить прежнюю связь между его «львятами» и своим евреем, как только сама окажется снова вблизи принцев.

Луция очень к нему привязана, к этому своему адъютанту Маттафию Флавию. Едва ли в этой привязанности есть что-нибудь от нечистой страсти — император следил зорко. Просто Луцию притягивает блеск маль-

чика, она чувствует к нему нежность матери, старшей сестры.

Ну, а что связывает ее с Иосифом? Какой вздор! Иосиф давно выдохся, отцвел, он на пороге старости. Смешно, бессмысленно, невозможно себе представить, чтобы Луция, римская императрица, из объятий Домициана бросилась в объятия старого еврея! Между Луцией и этим Иосифом нет ничего, кроме чуть сентиментальной, отдающей снобизмом дружбы образованной дамы со знаменитым писателем.

Там взяла верх воздержность, обоюдная воздержность. А вот он, Домициан, выстоять не смог — алчность, плотская похоть предали его в руки Луции. Он позволил своей жене, императрице, римлянке, шлюхе выманить у него обещание вернуть Домитиллу. Он повинен перед своими новыми сыновьями, он не выполнил своего долга перед Юпитером и богами своего дома.

Он должен загладить свою вину. Он должен уничтожить врага и его отродье — Иосифа, который дерзнул насмеяться над ним, швырнул ему в лицо стихи о мужестве, и этого Маттафия, Давидова отпрыска, притязающего на вселенское царство, осененного покровом восточного бога.

Правда, с того дня, как мальчик обедал за его столом, задача представляется ему еще труднее. Он должен убрать мальчика с пути, но как это сделать, не павлая на себя ответный удар восточного бога?

В эту пору императора посетил Мессалин, единственный, кто у него остался, единственный, чей слух и разум по-прежнему открыты для его, Домициана, забот и готовы их вместить.

Был первый по-настоящему жаркий день. Дул южный ветер, в воздухе стоял зной; изгнать его без остатка не удавалось даже из затемненных, искусственно охлаждавшихся покоев, где Домициан принимал Мессалина. Сквозь окна вливались густые ароматы сада, журчал фонтан, его шум ровно и ласково сопровождал беседу.

Император вспоминал о своем свидании с отпрысками Давида; тоном добродушной иронии рассказывал он подробности этого свидания.

— Нет,— заключил он,— не делают особой чести свереям их претенденты. Например, можешь ты себе представить, чтобы какой-нибудь старый, уже весь пссохший писатель, вроде нашего Иосифа, оказался хорош в роли мессии? Человек, который и говорить-то по-гречески чисто не умеет?

В тихое журчанье фонтана вפלелся мягкий голос слепого:

— Но, по слухам, у этого Иосифа есть сын, красивой наружности, хорошо воспитанный и образованный.

Император испугался: значит, те же самые тревожные мысли, что у него самого, немедленно всплывают и у другого — стоит лишь завести речь на эту тему.

— Да, он смазливый мальчик, этот Маттафий,— согласился он неуверенно.

Со страхом он ждал ответа Мессалина. На какое-то краткое время — ему оно показалось долгим — в покоях был слышен только ровный шум падающих струек. Потом наконец, как всегда церемонно, тщательно взвешивая каждое слово, Мессалин сказал:

— Небеса лишили меня зрения. Но у владыки и бога Домициана острый взор, и он в силах судить, хватит ли этому мальчику Маттафию обаяния, чтобы,— коль скоро он в самом деле потомок Давида,— посягнуть на спокойствие и безопасность провинции Иудеи.

— Ты говоришь о вещах,— промолвил император, и резкий его голос понизился настолько, что почти утонул в плеске фонтана,— касаться которых небезопасно.— Он открыл рот, потом проглотил слюну, наконец решился и поведал слепому свою тайну.— У меня с богом Ягве заключено своего рода перемирие,— прошептал он.— Я не хочу вмешиваться в его решения. Я не хочу его озлоблять.— И громче, почти величественно добавил: — А потому да будет неприкосновенен всякий, кто избран богом Ягве и угоден ему.

Ну, вот он и высказался; сердце колотилось так неистово, что он боялся, как бы Мессалин не услышал — даже сквозь шум фонтана. Понял ли его Мессалин? Он страшился этого, и он этого хотел. Он жадно ждал ответа слепого.

И ответ последовал.

— Мысли владыки и бога Домициана, — промолвил Мессалин почтительно и вместе с тем чрезвычайно сдержанно, — столь возвышенны, что смертный не может постичь их до конца, — смертный может только догадываться. Мы видим лишь Иосифа Флавия и Маттафия Флавия, людей из плоти и крови. Бог Домициан распознаёт то, что стоит за ними.

Домициан был раздосадован, когда Норбан прочел его мысли: то, что его понимает Мессалин, доставило ему удовольствие. В конце концов слепой почти равен ему по духу. Как тонко облек он в слова его затаенные чувствования. Да, постижения слепого близко подходят к тому, что для него, Домициана, действительность — высокая, сокрытая от остальных.

— Ты очень мудр, мой Мессалин, — объявил он, и голос его звучит теперь громко и облегченно, — и ты мой друг. Собственно говоря, ты мой единственный друг. Может быть, это потому, что ты очень мудрый. Все обстоит именно так, как ты сказал. К сожалению, противники мои — не люди, мой противник — бог. Если бы только бог не стоял у них за плечами, я бы просто сдул их, как пылинку. Раз ты все так хорошо понял, мой Мессалин, ты, конечно, понимаешь меня и теперь. Подумай, как следует подумай и дай мне совет.

И снова — на сей раз уже долгое время — в покое слышится только шум фонтана. Тревожно ждет император, тревожно, но с надеждой. Он уверен, что добрый и верный друг найдет для него какой-нибудь выход. И Мессалин начал. Очень осторожно он уточнил:

— Это потомок Давида и потому твой противник. Но ты щадишь его и не питаешь к нему ненависти потому, что Давидов отпрыск находится под покровом бога Ягве, а ты не хочешь вступать в столкновение с этим богом Ягве. Верно ли я уловил мудрую мысль моего владыки и бога?

— Верно, — ответил Домициан.

— А что, если, — продолжал Мессалин, — что, если Давидов отпрыск посягнет на безопасность императора или же империи? Намерен ли ты, император Домициан, щадить его и тогда — только потому, что он потомок Давида?

Император выслушал эти слова с напряженным вниманием.

— Ты думаешь, тогда я мог бы его покарать? — спросил он.

— Преступление, состоящее в том, что он потомок Давида, ты карать не можешь, — отвечал Мессалин, — ибо это преступление бога Ягве, а с ним бороться ты не желаешь. Но любое иное преступление Иосифа или Маттафия ты мог бы покарать, ибо то было бы уже преступлением человека и не имело бы никакого касательства к твоей борьбе с богом Ягве. Это мнение обыкновенного смертного, — добавил он почтительно. — Воля бога Домициана судить, заслуживает оно внимания или же не заслуживает.

— Мой долг перед Ягве, — хрипло подвел итог Домициан, — не покушаться на жизнь и благополучие его Давидовых отпрысков. Но мой долг перед Юпитером — карать тех, кто нарушает его или мой закон. Ты очень умен, мой Мессалин. Ты высказал то, о чем я уже думал сам.

Слепой наклонил голову и вытянул шею, чтобы не проронить ни звука из императорской речи. Почти сладострастное возбуждение охватило его. Мастерская работа! Можно быть слепым и все-таки видеть совершенно отчетливо, какой затвор надо открыть, чтобы вырвался на волю великий поток. Домициан вобрал, впитал его слова. Теперь великий поток бед обрушится на многих, а он, в своей тьме, будет радоваться, сознавая, что все это — дело его рук.

— Я благодарю владыку и бога Домициана, — сказал он благоговейно, — за то, что он дал мне заглянуть в глубину и многообразие своей мудрой, стройной и неустанно движущейся мысли.

— Ты не только мудрый, ты и верный человек, мой Мессалин, — ответил Домициан. — Ты достоин быть орудием моей мысли.

И, сама благосклонность, он отпустил слепого.

Вечером, когда сделалось прохладнее, император долго стоял перед клетками в своем зверинце. Хорошо, если бы мальчик Маттафий провинился! Хорошо, если бы у него, Домициана, нашелся повод покарать маль-

чка! Хорошо, если бы мальчик не было больше на этом свете! Воспоминание о грудном, низком голосе мальчика мучило императора сильнее, чем воспоминание о звеневшем металлом голосе брата — Тита.

Это был бы тяжелый удар для еврея Иосифа, если бы он потерял своего щедро одаренного сына. Он помчится к Луции, он будет выть и стонать. Император Домициан представляет себе, как будет выть и стонать еврей Иосиф. Приятная картина! Хорошо, что умелые руки уже плетут сеть для этого красивого, воспитанного мальчика Маттафия, Давидова отпрыска!

Император заметил, что звери томятся от зноя, и приказал принести им воды.

Случилось вскорости после этого, что Луция дала своему адъютанту Маттафию поручение, которое его очень обрадовало.

Город Массилия, чьей покровительницей была Луция, поднес ей редкой красоты и тончайшей работы коралловое украшение, и императрица хотела послать городу достойный ответный дар. Маттафию предстояло вручить этот дар и заодно исполнить еще несколько мелких поручений, какие обыкновенно возлагают лишь на близких, доверенных людей. Старик Хармид, глазной врач императрицы, по глубокой своей старости боялся поездки в Байи, и Маттафий должен был убедить его все же пуститься в путь. Потом он должен был раздобыть для Луции какие-то косметические средства, которые лишь в Массилии делали так, как того желала императрица. И, наконец, она дала ему письмо, чтобы через верного человека в Массилии он отправил его дальше, за Балеарское море.

Маттафий был счастлив и полон сознания собственной значительности. Больше всего его радовало, что путь лежит через море и что помчит его в Массилию личная яхта императрицы «Голубая чайка». Так как поручение было спешное и не терпело отлагательств, Маттафию пришлось попрощаться с отцом заочно, письмом, — чтобы его слишком долгое пребывание в Байях не вызывало кривотолков, Иосиф вернулся в Рим.

Ответ отца пришел как раз перед выходом яхты в море. Иосиф просил Маттафия поискать в Массилии как можно более верную копию «Океанографии» Пифея Массильского, которая обычно встречалась лишь в испорченных списках.

Итак, увидеть отца он уже не мог, но зато счастливая случайность позволила ему попрощаться с девочкой Цецилией. Маттафий давно не виделся с Цецилией. Разыскивать ее специально ему было бы неловко перед самим собой, и все же он часто бродил по тем местам, где мог бы с нею встретиться; то же самое, впрочем, делала и она. Как бы то ни было, но оба просияли, когда накануне его отъезда они наконец столкнулись лицом к лицу.

Цецилия держалась резко и чуть насмешливо — как всегда.

— Так, значит, вы получили почетное поручение, мой милый Маттафий, — сказала она, — вы должны доставить госпоже Луции духи. Но мне кажется, ее личный парикмахер выполнил бы это поручение несколько не хуже, а может быть, даже и лучше.

Маттафий ласково взглянул в миловидное лицо девочки и сказал спокойно:

— Зачем вы говорите такой вздор, Цецилия? Вы же отлично знаете, что я еду в Массилию не только за духами.

— Я была бы немало изумлена, — воинственно настаивала Цецилия, — если бы дело и впрямь касалось чего-то более важного. Вы кое-чему научились от ваших павлинов и поднимаете страшный шум всякий раз, как представляется возможность покрасоваться.

Все с тем же спокойствием Маттафий отвечал:

— Неужели мне надо хвастаться перед вами, Цецилия? Надо бахвалиться перед вами тем, что пользуюсь благоволением императрицы? — Он подошел ближе к девочке; настойчиво глядя ей в лицо своими юными, глубокими, невинными глазами, он сказал: — Будь я полным ничтожеством, каким вы любите меня выставить, — разве вы сами проводили бы со мною время так часто? Поговорим серьезно, Цецилия. Дела в Массилии, пусть даже самые незначительные, разлучат нас на-

долго. Позвольте же мне увезти с собою образ той Цецилии, какою она бывает в свои лучшие часы. — И, подойдя совсем вплотную, приглушив свой низкий голос, он дал наконец волю горячему, бьющему через край чувству: — Ты прекрасна, Цецилия! Какое чудное у тебя лицо, когда его не искажают злоба и насмешка!

Цецилия разыграла недоверие.

— Это все одни слова, — сказала она кокетливо. — По-настоящему ты любишь только ее, императрицу.

— Ее невозможно не любить! — возразил Маттафий. — Но это не имеет никакого отношения к нам двоим. Я уважаю императрицу, я люблю ее, как люблю отца. То есть, — честно поправился он, — не совсем так же. Но наподобие этого. А тебя, Цецилия...

— Знаю, знаю, — ревниво и безрассудно перебила его Цецилия, — меня ты не уважаешь. Надо мной ты смеешься. Я маленькая глупая девчонка. Вы, евреи, все такие гордые и надменные. Гордость нищих!

— Оставим сейчас в покое евреев и римлян, — попросил Маттафий.

Он взял ее руку, белую, детскую ручку; он поцеловал руку, поцеловал открытое плечо. Она отбивалась, но он не унимался, он был много выше ее, он обнял ее, почти оторвал ее от земли, она пыталась вырваться, но потом вдруг сразу обессилела и вернула ему поцелуй.

— Не уезжай, Маттафий! — взмолилась она слабым, глухим голосом. — Пусть кто-нибудь другой поедет за этими духами! Пошли другого еврея!

— Ах, Цецилия! — только и смог ответить он и обнял ее еще крепче, еще жаднее. Сперва она не сопротивлялась, потом, внезапно разняла его руки.

— Потом, когда вернешься... — пообещала она. И потребовала: — Возвращайся скорее!

Вскоре после этого Мессалин снова просил доложить о себе в Альбане. Он передал императору копию письма.

Письмо гласило:

«Луция — своей любезной Домитилле.

Вы скоро узнаете, моя дорогая, о счастье, которое выпало на долю Вашим замечательным сыновьям. Но,

быть может, радость Ваша будет омрачена мыслью, что домом для мальчиков отныне станут лишь Палатин и Альбан. Пишу Вам, чтобы избавить Вас от этой заботы. В свое время я обещала Вам уберечь мальчиков от чрезмерного латинского влияния, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы суровый воздух Палатина не иссушил их сердца. Впрочем, дорогая Домитилла, я надеюсь — и не без оснований, — что после усыновления мальчиков Вы вскорости сможете вернуться и сами. Прошу Вас только об одном: откажитесь от каких бы то ни было попыток воздействовать с Вашего острова на судьбу детей. Лучше соблюдайте полное спокойствие, дорогая, не тревожьтесь о Ваших сыновьях, хотя они и зовутся теперь Веспасианом и Домицианом.

Верьте Вашей Луции и прощайте».

Император прочел письмо медленно, внимательно. Нестерпимая ярость охватила его. И не потому бушевал в нем гнев, что Луция завязывает отношения с Домициллой у него за спиною, — ничего другого он и не ждал и, может быть, даже хотел этого. Но та фраза о «сердцах, которые иссушает суровый воздух Палатина», — вот что возмутило его до глубины души! И это осмелилась написать Луция — Луция, которая его знает. Осмелилась написать после всех ночей, которые она с ним провела.

Он перечитал письмо несколько раз.

— Прочел ли владыка и бог Домициан послание? — спросил наконец своим мягким, спокойным голосом слепой.

В холодном бешенстве, не отвечая, император спросил, в свою очередь:

— Зачем ты принес мне эту пакость? Хочешь очерпить Луцию в моих глазах? Осмелишься уверять меня, что слова на этой вонючей бумажонке — слова моей Луции?

— Я принес вашему величеству эту копию, — проговорил своим ровным голосом Мессалин, — не для того, чтобы навлечь подозрения на лицо, которое написало или могло бы написать оригинал. Но ваше величество недавно удостоило меня некой беседы, и из нее я осмелился заключить, что владыка и бог Домициан в какой-

то мере интересуется нарочным, принявшим поручение доставить тайком подлинник этого письма адресату.

Домициан стремительно шагнул к Мессалину и посмотрел ему в лицо таким настойчиво-вопрошающим взглядом, словно слепой мог увидеть этот взгляд. От радостного предчувствия захватило дух.

— Кто этот малый? — спросил он и услышал ответ Мессалина:

— Младший адъютант императрицы, Маттафий Флавий.

Домициан задышал шумно, с облегчением. И все же постарался не выдать своего глубокого, счастливого, позорного удовлетворения.

— Что вы сделали с оригиналом? — деловито спросил он Мессалина.

— Оригинал, — доложил слепой, — был у нас в руках всего полчаса — ровно столько, чтобы снять точную копию. Потом мы снова подложили его юному Маттафию, так что тот ничего не заметил. Письмо, как и было задумано, отправилось по назначению с яхтой «Голубая чайка», теперь оно, видимо, на пути к Балеарским островам, а может быть, уже и прибыло туда.

Домициан — и на сей раз голос его дрогнул — спросил:

— А этот Маттафий? Если я верно осведомлен, императрица послала его в Массилию. Где же он теперь, этот Маттафий?

— Юного Маттафия Флавия, — сообщил Мессалин, — ее величество осчастливили множеством мелких поручений. Он должен разыскать для нее какие-то косметические средства, должен найти прославленного глазного врача Хармида и, если окажется возможным, привезти его с собою, — у него много всяких дел в Массилии. Я полагал, что дела императрицы требуют величайшей осмотрительности и добросовестности, и принял меры к тому, чтобы Маттафий Флавий задержался в Массилии подольше.

— Занятно, мой Мессалин, очень занятно, — сказал император каким-то отсутствующим, как показало Мессалину, топом, — Массилия... — продолжал он задумчиво, точно обращаясь к самому себе, и все тем

же отсутствующим тоном произнес краткое, не имеющее прямого отношения к разговору слово о городе Массилии. — Занятая колония, пылливому юноше там есть что поглядеть, не мудрено, если он и задержится подольше. Мой добрый город Массилия, он насадил дух эллинизма в Галлии. Два прекрасных храма — Артемиды Эфесской и Аполлона Дельфийского. Подлинный остров чистого эллинизма посреди варварского мира. К тому же, если память мне не изменяет, там сохранились занятные старинные обычаи.

Так он болтал и болтал без всякой цели, а Мессалин молча слушал. Он знал наверное, что императору и не нужно никакого ответа, что императору нужно только скрыть свои мысли и что, конечно, не достопримечательными обычаями города Массилии занять его мысли.

И правда, мысли императора, пока он произносил свое краткое слово о Массилии, были далеко от этого города. «Луция, — думал он, — Луция... Я стольким ради нее поступился, я согрешил перед Юпитером и перед моими новыми сыновьями, я обещал ей вернуть эту Домитиллу, и вот как она мне отплачивает за все. Палатин и близость ко мне иссушает сердца — вот что она написала». И вдруг, совершенно неожиданно он оборвал себя и принялся тихонько насвистывать, очень фальшиво и немелодично, но изумленный Мессалин все-таки узнал мелодию — это была популярная песенка из нового фарса:

И плешивому красotka не откажет ничем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

По-прежнему Мессалин не собирался нарушать ход мыслей императора, но Домициан вдруг очнулся от задумчивости. Он забылся, он дал себе волю. Хорошо еще, что слепой не может ничего прочесть по его лицу. Он взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, словно не было ни отступления о Массилии, ни долгой паузы, спросил, возвращаясь к сути дела:

— Ты совершенно уверен в этих сведениях?

— У меня нет глаз, и я ничего не вижу, — отвечал Мессалин, — но, насколько может быть уверен слепой, я в них уверен.

Конечно, этот Мессалин понимает, как поразил он его, Домициана, своим сообщением; хоть он и слеп, он видит глубоко в сердце императора, глубже и опаснее, чем Норбан, но удивительное дело — к нему император не испытывает никакой ненависти, не чувствует себя униженным его пронизательностью. Наоборот, он ему благодарен, он ему искренне благодарен, и даже не скрывает этого.

— Прекрасно сработано, — говорит он, — благодарю тебя.

Радости Мессалина нет предела. Он удаляется. Домициан, в одиночестве, раздумывает над тем, что услышал. Удивительное дело — он не ощущает в себе настоящей злобы против Луции, напротив, он почти благодарен ей за то, что она сделала. Ведь теперь уже невозможно установить, вмешивалась или не вмешивалась Домитилла в жизнь его «львят», а он обещал отменить приговор об изгнании лишь в том случае, если будет представлено неопровержимое доказательство ее благонамеренности. Из письма с полной очевидностью явствует, что и сама Луция, покровительствуя Домитилле, все же считает ее способной оказывать на мальчиков нежелательное ему, императору и цензору, воздействие. Но тем самым он освобожден от своего обещания — перед Луцией, перед самим собой, перед богами. Что же касается самой Луции, он не забудет ей ее умыслов, он только не станет пока расследовать и выяснять обстоятельства дела. Луция — это Луция: она, если угодно, вообще не несет никакой ответственности за свои поступки. Более того, сознание, что он ее помиловал, что у него всегда, в любой момент будут наготове улики против нее, доставляло ему какую-то радость. Нет, он ей не скажет того, что знает о ней. Он скроет все у себя в сердце. Никто не должен знать, как он, бог, был обманут этими троим — Луцией, Домитиллой и мальчишкой Маттафием, — обманут и предан, он, такой милосердный, такой великодушный. Достаточно и того, что слепой знает. Он питает к слепому глубокую симпатию. По сути вещей, Луция и слепой — единственные люди, которые ему дороги. Пусть же Луция и дальше тешит себя ложною, беспочвенною, наивною радостью, воображая,

будто провела Домициана; на самом деле он проведет ее. И пусть слепой, преданнейший из слуг, которому он многим обязан, греется в своей ночи утешительной мыслью, что разделяет тайну с властителем мира.

Но как быть с двумя остальными — с Домитиллой и с юношей, который взял на себя тайком переправить письмо на Балеарские острова? Они должны исчезнуть с лица земли, это бесспорно, но возмездие пусть приступит к ним украдкой, из мрака, дабы ни одна душа не проникла в истинную связь событий.

Домитилла. Ссылная. Его отец Веспасиан однажды позволил уговорить себя и скрепя сердце вернул из ссылки одного ссылного; то был Гельвидий Старший, отец. Но Веспасиану, всегда такому везучему и дальновидному, повезло и тут: весть о помиловании уже не застала Гельвидия в живых. Вот и он, Домициан, еще раз докажет свое везение и свою дальновидность. Он помиловал Домитиллу, он во всеуслышание объявит об этом Луции и целому миру. Ну, а если бедная Домитилла уже не узнает о своем счастье — что ж поделаешь, он тут ни при чем.

И юного Маттафия тоже постигнет злая судьба, ни в коем случае не кара. Правда, Иосифу он, быть может, объяснит, что вынудило его расправиться с мальчиком: бог Ягве и его служитель не должны думать, будто он поднял руку на мальчика без всяких оснований, только из вражды к Ягве. Но никто, кроме еврея Иосифа, Мессалина и его самого, не узнает истинной связи событий. Несчастный случай, который унес красивого пажа императрицы, — вот чем останется это для всех остальных.

Нентуналии не были празднеством первостепенной важности. Только государь, который так благоговейно чтит традиции, как Домициан, был способен, не щадя сил и трудов, сменить ради этого праздника прохладу своей летней резиденции на знойную духоту города.

Три дня справлял император священные обряды. Потом, на четвертый, он пригласил Иосифа на Палатин.

Словно громом поразило Иосифа приглашение императора. Если так много времени потребовалось ему, что-

бы приготовить свою месть за то чтение — какую же страшной будет эта месть! Тяжелый час ждет Иосифа, все свое мужество должен он теперь собрать, из всех уголков души. Бывали времена, когда он жаждал гибели, когда он страстно желал собственной смертью засвидетельствовать нерушимость своего дела. Но оказаться повергнутым в самом расцвете счастья — эта мысль приводила его в трепет.

Впрочем, император встретил его с невозмутимым спокойствием, он не обнаружил ни гнева, ни той жуткой приветливости, которой все, кто его знал, боялись куда больше, чем ярости и бешенства. На этот раз он казался настроенным благодушно и несколько рассеянно.

— Ну, как ваш Маттафий? — спросил он спустя несколько времени.

Иосиф сообщил, что владычица и богиня Луция отравила мальчика в Массилию.

— Верно, — вспомнил император, — на яхте «Голубая чайка». Массилия... Красивый город... — И он снова принялся описывать достопримечательности Массилии и лишь с трудом сдержал себя, чтобы не пуститься в беспредметные разглагольствования, как недавно перед Мессалином. — Во всяком случае, мой Иосиф, — поймал он наконец прерванную мысль, — я рад, что вашему Маттафию представилась возможность повидать свет. И поручения, которые дала ему императрица, не слишком его обременят. Он должен купить ей духи и косметические средства и еще должен заманить на яхту врача Хармида. Важные поручения.

Иосиф не понимал, почему властелин мира так подробно осведомлен обо всех мелких обязанностях, возложенных на его Маттафия.

— Удивительно, с каким вниманием следит взор вашего величества за моим Маттафием, — пошутил он. — Это великая милость.

— Вы видели его перед отъездом? — спросил император.

— Нет, — ответил Иосиф.

— Вообще-то он должен был просхать через Рим и сесть на корабль в Остии, — заметил Домициан. — Но

императрица, как видно, считала свои дела в Массилии совершенно неотложными. Кстати, она очень привязана к вашему Маттафию, я сам тому свидетель. Он, действительно, славный мальчик, с приятными манерами, он мне понравился. Должно быть, это у нас семейное, что мы, Флавий, и вы... что мы все вновь и вновь оказываемся так тесно связанными друг с другом.

И в самом деле, поразительно, до чего тесно связаны Флавий с Иосифом и его родом. Но он не знал, как должно ему понимать речи императора, не находил, что ответить, сердце его сжималось.

— Ты, конечно, очень любишь своего сына Маттафия? — продолжал император.

Иосиф коротко подтвердил:

— Да, я люблю его. — И добавил: — Я думаю, теперь он уже снова в море, на обратном пути в Италию. Я жду не дождусь, когда увижу его снова.

— Какая удача, — медленно проговорил император и своими выпуклыми глазами мечтательно взглянул в лицо Иосифу, — что мы как раз теперь справляли Нептуналии и что я сам принял участие в празднестве. Мы сделали, таким образом, все от нас зависящее, чтобы Нептун даровал ему счастливый путь домой.

Иосиф решил, что император шутит, и уже готов был усмехнуться, но император смотрел таким серьезным, почти мрачным взглядом, что смешок застрял у него в гортани.

Впрочем, за столом император снова держал себя непринужденно и приветливо. Он заговорил о книге Иосифа «Против Апиона». Эта книга показывает, что Иосиф наконец расстался со своей лживой, напыщенной космополитской беспристрастностью по отношению к собственному народу.

— Разумеется, — пояснил император, — все ваши доводы в пользу евреев так же бездоказательны и субъективны, как и все, что пишут против тех же самых евреев ваши ненавистные греки и египтяне. И все-таки поздравляю вас с этой книгой. Ваши прежние идеи слияния народов и всемирного гражданства — не что иное, как бессмыслица, мираж. Я, император Домициан, предпочитаю здоровый национализм.

Хотя высокомерно-нисходящие замечания императора звучали скорее издевкой, чем похвалой, они обрадовали Иосифа. Он с облегчением вздохнул, когда император заговорил о книгах, оставив в покое его сына.

Император продолжал разговор о литературе и после обеда. Лениво развалившись на диване, он изрекал свои мнения. Иосиф напряженно ждал. Чего, собственно, хочет от него император? Он говорил себе: коль скоро ты прождал столько времени, так уж, верно, сможешь подождать еще час,— но смятение все росло и росло. И тут наконец совсем неожиданно Домициан попросил, чтобы Иосиф еще раз прочел ему свою оду о мужестве.

Иосиф помертвел от страха. Сомнений не оставалось: император позвал его, чтобы отомстить за ту дерзость.

— Вы ведь понимаете, мой Иосиф,— пояснил император,— тогда я просто не ждал, что вы будете читать стихи. К тому же стихи несколько необычные, и с первого раза я не все понял. Вот почему я был бы вам признателен, если бы вы дали мне возможность услышать их еще раз.

Но все в Иосифе восстает против этого требования. Как бы ни замыслил поступить с ним этот римлянин, он, Иосиф, не хочет сейчас повторять свои стихи о мужестве. Он их не чувствует сегодня, сегодня они кажутся ему чужими, и вообще недостойно и подло играть шутовскую роль, которую навязывает ему теперь этот злой человек.

И он ответил:

— Ваше величество так явно показали мне тогда, что вам не нравится моя ода о мужестве. Зачем же снова тревожить слух вашего величества?

Но Домициан не уступал. Он твердо решил еще раз услышать наглые слова из уст этого раба Ягве; ведь то было объявление войны, вызов, брошенный богом Ягве владыке и богу Домициану,— ему надо было вспомнить текст дословно.

Нетерпеливо, упрямо он приказал:

— Прочти мне стихи!

Иосифу не оставалось ничего иного, как повиноваться. Он прочитал стихи — с яростью, но без всякого

воодушевления, с неверием в сердце; теперь это были одни слова, пустые, лишенные содержания.

И я говорю:

Слава мужу, идущему на смерть

Ради слова, что уста ему жжет...

И я говорю:

Слава тому, кого не принудишь

Сказать то, чего нет.

Он видел устремленный на него взгляд императора, испытующий, задумчивый, злой; он хотел уклониться от этого взгляда и тогда увидел собственное лицо в зеркальной облицовке стен, повсюду видел он собственное лицо и лицо императора, глаза императора и свой рот, то раскрытый, то сомкнутый. И он показался себе комедиантом на подмостках, и комедиантством показался ему его «Псалом мужеству». К чему возглашать истину перед миром, который не желает ее слушать? Тысячелетиями люди возглашают миру истину, и ничего в нем не изменили, и только наклика́ли беды на себя самих.

Домициан слушал до конца с неослабным вниманием. Потом проговорил мечтательно:

— Благо человеку, который возглашает истину. Как так: благо ему? Боги открывают истину только в мистериях, значит, им не угодно, чтобы истина возглашалась всегда и всем подряд. То, о чем ты вещаешь в своих стихах, мой любезный, звучит вполне мило и занятно, но если вдуматься поглубже, так это бессмысленная чушь. — Он окинул Иосифа пристальным взглядом, словно зверя в одной из своих клеток. — Странно, — проговорил он и покачал головой, — как могут прийти человеку такие вздорные идеи. — И он еще и еще раз медленно покачал головой. И вдруг: — Стало быть, ты любишь своего Маттафия? — вернулся император к прежнему разговору.

«Псалом мужеству»... Маттафий... Чудовищный страх стиснул сердце Иосифа.

— Да, люблю, — вымолвил он с усилием.

— И, конечно, надеешься вознести его высоко? — расспрашивал Домициан. — Полон честолюбивых надежд? Хочешь сделать из него большого, очень большого человека?

Иосиф отвечал осторожно:

— Я знаю, что недостойн милостей, которыми осыпали меня владыка и бог Домициан и его предшественники. Но жизнь бросает меня то вверх, то вниз. И сына мне бы хотелось от этого уберечь. Что бы мне хотелось оставить в наследство сыну — так это безопасность.

И он не лгал. Ибо мечты о блеске и славе, которыми он окутывал своего сына Маттафия, отлетели в эту жестокую минуту, и он хотел вернуть мальчика сейчас, немедленно, и немедленно увезти его прочь из Рима — в Иудею, где безопасность и мир. И он вопил в душе к богу своему, да ниспошлет он ему силы в этот тяжкий миг, чтобы найти верные слова и спасти сына.

— Занятно, очень занятно, — продолжал между тем Домициан. — Вот, стало быть, о чем ты мечтаешь для своего Маттафия — о покое и безопасности. Но неужели ты думаешь, что учение при дворе — наивернейший путь к такой цели?

Иосифа поразило в самое сердце, что враг так ошибочно открыл его слабое место, его преступление. Да, ведь именно в том он и согрешил, что наставил сына на этот опасный путь. Он мучительно искал ответа.

— Императрице понравился мой мальчик, — нашелся он наконец. — Мог ли я сказать «нет», когда госпожа Луция предложила мне отдать сына к ней на службу? Я бы никогда не отважился на такую непочтительность.

Но Домициан, нащупав однажды слабое место своего врага — прислужника Ягве, уже не разжимал когтей.

— Если бы ты сам этого не хотел, — объявил он и укоряюще поднял палец, а в зеркальной обшивке стен поднялось множество пальцев, — ты бы нашел подходящие извинения. Но ты честолюбивый отец, — настаивал он, — признайся, будь откровенен.

— Конечно, каждый отец честолюбив, — согласился Иосиф и ощутил в себе слабость и пустоту.

— Вот видишь, — удовлетворенно сказал Домициан и запустил когти поглубже в рану. — Ты мне как-то говорил, что ты из рода Давида. Коль скоро ты сам признаешься в отцовском честолюбии, неужели тебе никогда не приходила мысль, что именно он, твой сын, мог бы оказаться избранныком, вашим мессией?

У Иосифа побелели губы, пересохло в горле.

— Нет, — отвечал он, — об этом я не думал.

Объяснение с евреем представлялось сперва Домициану трудной задачей, задачей, которую он берет на себя лишь ради того, чтобы оправдаться перед Ягве. Но теперь, когда он видел лицо Иосифа, это худое, измученное лицо, — теперь тягостного бремени уже не было и в помине, наоборот, императора охватило огромное, дикое, свирепое желание увидеть, что станет делать этот человек, как поведет себя, как изменится в лице, какие слова он произнесет, когда узнает, что случилось с его сыном. Глаза императора жаждали это увидеть, его уши жаждали услышать вопль раненого врага, ненавистного врага, который бросил свои дерзкие речи прямо ему в лицо и полюбился его Луции.

И вот осторожно, вдумчиво, с удвоенной вкрадчивостью и коварством, взвешивая каждое слово, он продолжал:

— Если ты никогда не внушал своему сыну мысль, что он может оказаться избранником вашего Ягве, ты, видно, каким-либо иным образом разжег в нем честолюбие, или же он тебя неверно понял, или же, наконец, ваш бог с самого начала наградил его очень честолюбивым сердцем.

Иосиф с мучительным волнением следил за словами императора.

— Видно, я очень глуп, — сказал он, — или, по крайней мере, сегодня туго соображаю, но я не могу понять, что имеет в виду ваше величество.

Все с тою же неумолимою вкрадчивостью Домициан заметил:

— Во всяком случае, хорошо, что именно покоя и безопасности просишь ты у небес для своего Маттафия.

Боль сдавила сердце и голос Иосифа, он взмолился:

— Я был бы бесконечно благодарен вашему величеству, если бы вы говорили с испуганным отцом такими словами, которые он способен понять.

— Ты очень нетерпелив, — упрекнул его Домициан, — ты настолько нетерпелив, что нарушаешь приличия, к каким обязывает тебя беседа с августейшим другом. Но я привык прощать, и, может быть, чаще других пользо-

вался плодами моей снисходительности ты, пусть же будет так и на сей раз. Слушай, неугомонный! Вот в чем дело: твой Маттафий пустился в одно крайне честолобное предприятие. Я полагаю, я надеюсь, я вижу по твоему лицу, я убежден, наконец, что ты об этом ничего не знал. Рад за тебя. Ибо предприятие было очень опасное, и ему не повезло, твоему сыну. К сожалению, оно было не просто опасным, но и преступным.

— Сжальтесь! — молил Иосиф чуть слышно, в смертной муке. — Сжальтесь надо мною, владыка мой и бог Домициан! Что с моим Маттафием? Скажите мне! Умоляю вас!

Домициан следил за ним с тем серьезным, деловитым любопытством, с каким разглядывал зверей у себя в зверинце и растения у себя в оранжереях.

— Он выполнил в Массилии поручения императрицы — как ему и было наказано, — сказал император, — хорошо выполнил, даже слишком хорошо.

— А теперь он где? — спросил Иосиф не дыша. — Он уехал из Массилии?

— Он сел на корабль, — ответил император.

— А когда он вернется? — настаивал Иосиф. — Когда я снова его увижу? — И так как император только улыбнулся медленной, мягкой, сожалеющей улыбкой, Иосиф забыл о всякой почтительности, лишь чудовищный, бессмысленный страх говорил в нем. — Значит, он не вернется? — спросил он, не сводя с императора застывшего взора, и подступил к Домициану почти вплотную, так что даже коснулся императорского одеяния.

Домициан, который всегда брезгливо избегал чужих прикосновений, видя в них самую дерзкую и гнусную непочтительность, мягко отстранил его.

— Ведь у тебя есть еще дети, — сказал он, — не правда ли? Вот теперь и докажи, мой еврей, что твои стихи о мужестве — не пустой звук.

— У меня был только один сын, и его больше нет, — сказал Иосиф и с бессмысленным упорством повторил: — Значит, он не вернется?

Он так заикался, что едва можно было разобрать слова, но император все же разобрал, и наслаждением было для него видеть этого растоптанного противника.

— С ним приключилась беда, — сообщил он дружелюбным, сочувствующим тоном. — Он упал. Они стали играть с каким-то юнгой — состязались, кто скорее взберется на мачту, так мне помнится, — и он упал. А отходить его не смогли. Он сломал себе шею.

Иосиф стоял неподвижно, глаза его все с тем же напряжением были прикованы к губам императора. Император ждал вопля, но вопля не последовало, вместо этого лицо Иосифа внезапно обмякло, и он как-то странно зажевал губами, размыкая и снова смыкая челюсти, будто пытался заговорить и не мог вымолвить ни слова.

А Домициан упивался своим триумфом. Перед ним стоял человек, которого сразили боги, все боги, даже его собственный, даже его Ягве. А стало быть, он, Домициан, действовал правильно, он выиграл великую битву против бога Ягве — его же собственным оружием, хитростью, и вместе с тем безукоризненно честно, так что этот бог ни в чем не может его упрекнуть или же повредить ему. Доверительно и очень отчетливо, наслаждаясь каждым своим словом, он продолжал:

— Ты должен знать правду, мой Иосиф. Несчастье, которое приключилось с твоим сыном, — не случайность. Это наказание. Но я не злопамятен: теперь, когда его больше нет, я прощаю ему все. А потому пусть не узнает никто, что он умер в искупление своей вины. Пусть все думают, будто с ним приключилось несчастье, с твоим красивым и юным сыном Маттафием Флавием. И чтобы окончательно убедиться в моей благосклонности — слушай дальше: пусть похоронят его так, словно он и в самом деле был избранником, — как принца пусть похоронят его, словно в Риме правил ваш царь Давид.

Но убедиться, какое впечатление окажет на противника его гордыня и его великодушие, императору не довелось. Ибо Иосиф, по всей очевидности, уже не услышал его кротких и возвышенных слов. Пустым, бессмысленным взглядом упирался он в императора, губы его все жевали, а потом внезапно мешком осел на пол.

Домициан, однако, еще не кончил своих речей, а удержать их про себя не мог, и так как сказать что бы то ни было Иосифу впемлющему было уже невозможно, он сказал обеспамятевшему.

— Твои богословы, — сказал он, — говорили мне, что день настанет. Но на моем и на твоем веку, мой Иосиф, он уже, наверное, не настанет, этот день.

Однажды вечером, вскоре после этого свидания с императором, короткий, мрачный и торжественный поезд прибыл к дому Иосифа. Он привез останки Маттафия Флавия, который погиб на службе императрице, по несчастной случайности сорвавшись с мачты на борту яхты «Голубая чайка». Искусство балзамирования достигло высокого совершенства в городе Рима, и Домициан призвал лучших мастеров этого искусства. С помощью притираний, благовонных снадобий и, разумеется, грима они достигли того, что тело, привезенное в дом Иосифа, казалось красивым и почти вовсе не пострадавшим. Юная, с тщательно причесанными черными блестящими волосами, покоилась костистая голова — такая же, как прежде, и все же изменившаяся, ибо жизнь ей давали одни глаза, и глаза эти были теперь закрыты. И если красивая голова его мальчика, когда Иосиф в последний раз видел Маттафия живым, сидела на совсем еще детской шее, то теперь адамово яблоко выступало резче и мужественнее.

Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына и сам положил на погребальное ложе вернувшегося домой Маттафия. Там он и сидел при скудном свете одной-единственной лампы, а на перевернутой кровати лежал мальчик.

В счастии Иосиф сделался человеком беспечным, человеком, который, испытывая страх перед собственными глубинами, не хочет объясняться с самим собой. Теперь же все его глубины раскрылись настежь, сокрытое и сокровенное взывало к нему оттуда, и никаким уверткам уже не было места. Когда умер его сын Симон-Янипп, он колебался меж противоположными чувствами — в нем говорили и скорбь, и раскаяние, и самообличение, но вместе с тем и самооправдание, и возмущение против бога и против мира. А теперь, у трупа его сына Маттафия, лишь одно чувство владело им — отвращение и ненависть к самому себе.

Он не испытывал ненависти к императору. Император просто-напросто устранил юношу, в котором видел нежелательного претендента, на то было его императорское право. Он даже действовал с известной деликатностью. Ведь труп мог бы и исчезнуть, император мог отдать его морю и рыбам, и, рисуя себе, как носился бы по не ведающим покоя волнам его мертвый сын, Иосиф леденел от ужаса. Но император был снисходителен, он отдал мертвого сына отцу, он даже красиво убрал его для отца и начинил благовониями, снисходительный и бесконечно милосердный император. Нет, только одному человеку причитается ныне вся ненависть и все отвращение, и этот человек он сам, Иосиф бен Маттафий, Иосиф Флавий, дурак и хвастун, постаревший, но так и не набравшийся ума и толкнувший своего сына на путь к смерти. Теперь, у трупа Маттафия, внутреннее крушение Иосифа было куда опустошительнее, чем в те далекие дни, после гибели Симона-Яники. На этот раз ничего нельзя было исказить и вывернуть наизнанку, на этот раз всему причиною был он один. Если бы из чистой спеси, из духовного высокомерия он не признал своей принадлежности к роду Давида, Маттафий был бы жив. Если бы из одной лишь дурацкой отцовской гордыни он не оставил его подле себя, а отпустил с Марой в Иудею, Маттафий был бы жив. Если бы из пустейшего, суетного тщеславия он не отдал его на службу к Луции, Маттафий был бы жив. Его честолюбие, его суетность — вот что сгубило Маттафия.

Он был чудовищно, безумно самонадеян. Цезариона, того Цезарьпона, какого не смог сделать из своего сына великий Цезарь, задумал сделать из своего Маттафия он — жалкая обезьяна, силящаяся уподобиться великому человеку. Что бы он в своей жизни ни затевал, все делалось из тщеславия, из суетности. Из суетности приехал он молодым человеком в Рим, из суетности разыграл пророка и предрек Веспасиану власть над империей, из суетности взял на себя роль историографа Флавиев, из духовного высокомерия признал себя потомком Давида. Из суетности написал лживую, напыщенную беспристрастную «Всеобщую историю», из суетности — эффект-

по-пылкую апологию «Против Апиона». А теперь из суетности погубил своего сына Маттафия.

Как некогда любил Иаков мальчика Иосифа, так любил он мальчика Маттафия — слепой и глупой отцовской любовью. И как некогда Иаков подарил мальчику Иосифу блестящее облачение и тем пробудил у братьев зависть к нему, так и он облек своего Маттафия в блеск, чреватый возмездием. И как некогда возвестили Иакову: «Растерзан, растерзан твой сын Иосиф», — так и ему сообщил враг: «Твой любимый сын погиб». Но на протце Иакове не было никакой иной вины, кроме слепой и глупой его любви, а он, Иосиф бен Маттафий, загажен грехом с головы до пят. И если тот мальчик, Иосиф, был все-таки жив, хоть и брошен один в пустыне, на дне глубокого колодца, его Маттафий лежит здесь перед ним — мертвый, восковой и заgrimированный, адамово яблоко четко выступает на шее, и ни единое дыхание жизни не колеблет его, и ни единой надежды нет.

Ночь миновала, короткая летняя ночь, а вместе с утром пришли бесчисленные посетители, чтобы в последний раз приветствовать мертвого Маттафия Флавия. Было известно, что император принял близко к сердцу этот несчастный случай, унесший любимца его Луции, по городу ходили романтические рассказы о жизни мальчика и его кончине, много говорили о его красоте и блеске. И вот бесконечной вереницею потянулись люди через комнату с перевернутою кроватью, на которой лежал мертвый Маттафий. Сочувствующие, любопытные, честолюбивые. Они пришли, не упуская ни малейшей возможности угодить императору, они пришли, чтобы поглядеть на труп, чтобы выразить свою скорбь, чтобы высказать свое участие. Весь Рим прошествовал мимо мертвого тела. Но Иосифа никто не видел: он заперся в самой дальней из комнат своего дома и сидел на полу, поджав ноги, босой, небритый, в разорванных одеждах.

Пришли Марулл и Клавдий Регин, пришел древний старец Гай Барцаарон и думал о том, что скоро вот так же будет лежать и он, пришел сенатор Мессалин и с выражением учтвого сочувствия долго стоял у трупа, и никто не мог угадать, что у него в душе, пришел

и павлиний сторож Амфион и зарыдал в голос, и пришла девочка Цецилия. Она тоже дала себе волю, и слезы залили ее лицо, всегда такое светлое и спокойное, и она раскаивалась, что так глупо мучила Маттафия и что сопротивлялась в тот день, и что отложила все до его возвращения.

Пришли и оба принца, Копстант и Петрон, или, вернее, Веспасиан и Домициан, как звались они теперь. Они стояли у трупа, сосредоточенные и строгие, рядом со своим наставником Квинтилианом. Их пропустили вперед, однако позади ждала неисчислимая толпа, улица была запружена людьми, которые хотели взглянуть на мертвого. Но близнецы не торопились, и даже когда Квинтилиан в отменно учтивых словах напомнил им, что пора идти, они не двинулись с места. Не отрываясь смотрели они на мертвое лицо любимого друга. Они привыкли к смерти, несмотря на юные годы они знали многих расставшихся с жизнью, и мало кому из этих ушедших довелось мирно умереть в собственной постели. Кровавая кончина постигла их отца, кровавая кончина постигла их деда и дядю, и как бы покойно и мирно ни лежал на этой опрокинутой кровати их друг Маттафий, они догадывались, — а в глубине души твердо знали, — что и его сразила рука, хорошо известная им обоим. Вот о чем думали они, стоя подле перевернутой кровати, они не плакали, они казались очень зрелыми и взрослыми, и если не считать упорства, с каким они воспротивились намерению их увести, Квинтилиану не в чем было упрекнуть своих воспитанников. Только под конец, перед самым уходом, младший не смог удержаться от ребяческой и достойной осуждения выходки. Из рукава своей тоги он достал павлинье перо и вложил в руку мертвому, чтобы в подземном царстве ему было на что порадоваться.

Беда, постигшая Иосифа, испугала евреев города Рима, но чуть заметное чувство удовлетворения примешивалось к их испугу. То, что теперь сокрушило Иосифа, было заслуженной карой Ягве. Они предупреждали: нехорошо рваться вверх так дерзко и похваться так

неумеренно, как этот Иосиф. Да, они были многим ему обязаны, но он же причинил им и великий вред, он был двусмысленным, опасным человеком, он был для них чужим и зловеще-непонятным, и они смиренно славили справедливого бога, который так предостерег его и грозною десницей вернул в надлежащие пределы.

Они выказывали скорбь и участие, они послали ему, как то предписано законом, поминальное блюдо чечевицы в ивовой корзине. Они приходили утешить его, но он отказывался выйти, и они были довольны: ведь не что иное, как собственное высокомерие, мешает ему принять их утешительные слова. И в этом тоже была кара Ягве.

Весь этот день, когда Рим нескончаемой чередой проходил мимо мертвого тела его сына, Иосиф оставался взаперти и не виделся ни с кем — ни с евреями, ни с римлянами. День был очень длинный, и он с нетерпением ждал ночи, чтобы снова остаться с мальчиком наедине. Но к вечеру явился человек, с которым он не мог не увидеться, — главный императорский вестник, чиновник высшего ранга, — и потребовал свидания с Иосифом именем императора.

Владыка и бог Домициан желал удостоить Матфея Флавия, который погиб во время путешествия по делам императрицы, самого почетного погребения. Он желал сложить ему погребальный костер, словно умерший принадлежал к его собственной, императорской, фамилии.

Сколь ни привычно было императорскому посланцу излагать в подобающих словах решения своего господина, на сей раз это оказалось для него нелегким делом — до такой степени изумил его вид этого Иосифа Флавия. Он видел его несколько дней назад, когда император вызвал Иосифа на Паладин. Тогда это был человек в расцвете сил, блестящий, выглядевший вполне достойно в залах и покоях императорской резиденции. А теперь перед ним стоял неопрятный, небритый, оборванный старый еврей.

Да, Иосиф стоял перед ним, постаревший и опустившийся, и тоже не находил слов. Ибо надвое раздирались его мысли. То, что учинял теперь над ним враг,

было самым наглым, самым подлым глумлением, какое только можно себе представить. Но вместе с тем он ясно сознавал, что именно такое пышное погребение и подобало его Маттафию, любившему пышность и блеск, и что его возлюбленный сын не простил бы ему, если бы он отверг эту почесть. И он долго молчал, а когда чиновник наконец почтительно осведомился, что передать императору, он отвечал в уклончивых выражениях, которые не были ни согласием, ни отказом. Вестник оторопел. Что же это за человек?! У него хватает дерзости колебаться, когда владыка и бог Домициан угождает ему почесть, какой не оказывал еще никому. Но именно оттого, что император пожелал удостоить Иосифа неслыханной чести, придворный не решился настаивать и отправился назад, полный тревоги и страхов, как бы император, раздосадованный непонятым поведением этого человека, не выместил досаду на нем, на вестнике.

А Иосиф, оставшись один, не находил верного пути. Голоса, звучавшие в его душе, были противоречивы. То он решался принять предложение императора. Потом говорил себе, что этим согласием он признает правоту римлянина и отречется от собственной правоты. Потом снова видел мертвое лицо своего мальчика, и ему чудилось, будто Маттафий жаждет этого огромного, почетного пламени, которое перед очами всего мира озарит его последний образ. Он не находил решения.

На другой день он допустил к себе самых близких друзей — Клавдия Регина и Иоанна Гисхальского. Он сидел на полу, поджав ноги, нечесаный, босой, в разорванной одежде, помрачившийся в уме и сокрушенный духом, и подле него сидели друзья. Если за ночь до того он был Иаковом, горюющим о своем любимом сыне, то теперь был он Иовом, которого пришли утешить друзья. Но хорошо, что все их утешение сводилось к практическому совету, — сочувствия, бесстыжей жалости он бы, наверно, не вынес.

Итак, обсуждалась только эта одна, чисто внешняя, задача, которую предстояло решить еще сегодня, — вопрос о погребении. Что делать Иосифу? Если он примет предложение императора, он нарушит один из главнейших законов, установленных богословами. Со времени

патриархов, со времен Авраама, Исаака и Иакова, погребенных в пещере Махпела, евреям воспрещено было уходить к отцам своим иначе, как через землю, и Иосифу казалось, что он бросит вызов собственному народу, разрешив предать сына огненному погребению. Если же он похоронит его по еврейскому обычаю и отвергнет костер, не навлечет ли он этим на себя гнев императора, и не только на себя одного?

Заговорил Клавдий Регин, сторонник трезвой реальности.

— Мертвый мертв, — сказал он, — и жгут его или зарывают, ему все равно. Огонь ли, земля ли — и то и другое печалит и радует его так же мало, как павлинье перышко, которое всунул ему в руку юный, хорошенький принц. Я не могу себе представить, что у его души есть глаза, чтобы увидеть, или кожа, чтобы почувствовать, каким способом его погребают. Что же касается остальных ваших сомнений, так это одни сантименты. Я не еврей. Может быть, именно поэтому я и могу безошибочно судить, в чем выгоды для вашего народа и в чем невыгоды. Позвольте же вас предупредить, что этот ваш народ дорого заплатит — или уж, во всяком случае, упустит большую прибыль, — если вы пожелаете считаться со своими предрассудками и своей глупостью. Если же вы дадите себе труд задуматься об истинных интересах еврейства, то они требуют от вас приять предложение DDD. Блеск этого костра озарит все еврейство, а оно последнее время погружено во мглу, и такой блеск ему необходим.

— Да, необходим, — подтвердил Иоани Гисхальский, устремляя на Иосифа хитрый взгляд своих серых глаз. — А что до ваших прочих сомнений, доктор Иосиф, я человек неученый, не как вы, и не знаю, чувствует умерший что-нибудь или же ничего не чувствует. Не могу сказать ни «да», ни «нет». Но если только вашему Маттафию, там где он сейчас, дано что-нибудь чувствовать, конечно, ему было бы приятно, если бы огонь, в котором сгорит его тело, обогрел все еврейство. И потом, я думаю, — и глаза его засветились еще лукавее и дружелюбнее, — что он и вообще порадовался бы блеску такого громадного пламени. Ведь он любил блеск.

Иосиф был растроган тем, что сказали оба гостя. Блеск, который предлагает ему император, будет на пользу еврейству, и он ничем не почтит память сына лучше, нежели этим блеском. И, однако, все его существо восставало против Домицианова костра. В конце концов его Маттафий — не римлянин, он потому только и погиб, что римлянина хотели сделать из него люди.

И тут дерзкая мысль пришла ему в голову. Император желает почтить мертвого, стало быть, он чувствует себя виновным. Но коль скоро он в самом деле желает почтить мертвого, пусть сделает это не на собственный лад, а по обычаям самого мертвого. Маттафий должен лечь в иудейскую землю, как подобает каждому иудею, и все же пусть не будет погребение лишено того блеска, который император ему уготовил. Иосиф сам отвезет мертвого сына в Иудею — пусть император даст ему для этого средства. Пусть предоставит в его распоряжение одно из своих быстроходных судов, либурну, узкий военный корабль с отборными гребцами. Иосиф отвезет сына в Иудею и там похоронит.

Так сказал он друзьям. Они взглянули на него, и взглянули друг на друга, и не ответили ни слова.

Тогда снова заговорил Иосиф, и в голосе его звучали ярость и вызов:

— Вам, мой дорогой Клавдий Регин, удобнее всякого другого передать императору мое требование. Хотите вы это сделать?

— Нет, не хочу, — ответил Клавдий Регин, — поручение не слишком приятное. — И так как Иосиф, казалось, готов был вспыхнуть и что-то возразить, прибавил: — Но все-таки я это сделаю. Я уже много раз в жизни брал на себя по дружбе неприятные поручения. А вы никогда не были удобным другом, доктор Иосиф, — проворчал он.

Военный корабль «Мститель» принадлежал к быстроходным парусникам первого класса. Гребцы сидели в три ряда, судно было остроносое и низкое, легкое и стремительное — один удар весел посылал его вперед

на два корпуса. Девяносто четыре таких корабля насчитывал императорский флот. «Мститель» был не из самых больших: водоизмещение — сто десять тонн, длина — сорок четыре метра, осадка — сто семьдесят сантиметров. Сто девяносто два раба составляли команду гребцов.

Со всей возможною быстротой, но вместе с тем заботливо и тщательно было приготовлено все необходимое для перевозки мертвого тела, на борт взяли даже балламовщика. Но его услуги не понадобились: погода благоприятствовала, дул свежий попутный ветер, ночи были прохладны. Тело держали на верхней палубе, днем закрывая от солнца тентом.

Иосиф сидел у трупа один. Лучше всего ему бывало ночами. Дул ветер, судно летело быстро, Иосифа знобило от холода. Небо было глубокое, с узким серпом народившегося месяца, вода была черная, и на пей слабо мерцали какие-то полосы. Иосиф сидел у трупа, и, как ветер, как волны, набегали и уходили мысли.

Это было бегство, и его противник — умный противник — дал ему свое самое быстроходное судно, чтобы он бежал побыстрее. Позорно, трижды позорно бежит он из города Рима, в чьи стены вступил впервые более тридцати лет назад — так дерзко, с твердой уверенностью в победе. Он прожил в Риме полжизни, полжизни боролся и все снова и снова верил, что уж на сей-то раз твердо держит победу в руках. И вот — конец. Самое постыдное поражение и бегство. Бежит, удирает, улепetyвает, уносит ноги, поспешно, позорно, на судне, которое с учтивой и презрительной готовностью представил ему враг. А рядом с ним лежит то, что он спас из этой битвы, длившейся полжизни: мертвый мальчик. Мертвого сына вынес он из битвы, это цена и награда жизни, полной гордыни, самопреодоления, страданий, унижения и ложного блеска.

Как оно летит, это судно с насмешливым названием «Мститель», доброе судно, быстрое судно, как танцует на волнах! «Мститель». Вот, стало быть, и несет Маттафия быстроходное судно, на каком он мечтал уплыть в Иудею, — быстроходнее и великолепнее, чем мог он когда-нибудь желать. Почестями был взыскан его маль-

чик, высокими почестями, и в жизни и в смерти. Высокую почесть оказал ему его друг, император. Для него, для Маттафия, сгибаются и разгибаются эти гребцы, прикованные к своим скамьям,— вперед-назад, вперед-назад, без конца; для него отбивает такт офицер; для него наполняются ветром умело прилаженные паруса, для него мчится корабль по черной воде, лучший корабль римского императора, блестящее достижение кораблестроительного искусства.

Почему все это? Кто может объяснить? И Маттафий задавал всегда тот же вопрос: почему? Своим низким, любимым голосом, совсем еще по-детски задавал он этот вопрос, и невольно Иосиф подражает низкому, любимому голосу, и в ночь, в свист ветра бросает он вопрос голосом Маттафия:

— Почему?

Есть ли какой-нибудь ответ? Только один — ответ богословов, который звучал, когда встречалась по-настоящему сложная проблема. Так и сяк рассуждали спорящие, и говорили без умолку, и испытывали и отвергали доводы, а потом, когда с величайшею жадностью ожидали решения, выслушивали приговор: проблема остается открытой, сложная, перепешенная, перазрешенная проблема — капля.

Каиья.

И все-таки — нет, неверно! И все-таки ответ существует. Жил несколько сот лет назад человек, который нашел ответ, и потому не выносят опи имени этого человека, и потому отказывались включить его книгу в канон Священного писания. Его ответ не гласит «*каиья*». Его ответ ясен и недвусмыслен, это правильный ответ. Всякий раз, как Иосиф поистине в смятении, он наталкивается в глубине собственной души на ответ этого древнего мудреца, проповедника, Когелета; некогда запал он в глубину его души, там он и ныне, и это правильный ответ.

«И познал я: все, что ни делает бог, пребывает вовек. Ничего не прибавишь к тому и ничего не убавишь. Что было, то есть и теперь, и что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем: место кротости, а там злоба, и место правды, а там неправда. И сказал я в

сердце своем: это ради сынов человеческих так учинено богом, дабы видели они, что стоят не более скотов. Потому что участь сынов человеческих и участь скотов — одна участь. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и преимущества у человека пред скотом нет, и все суета. Все идет в одно место: все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса и дух скотов сходит ли вниз, в землю?»

Так чувствовал и сам он, так излилось это из глубин его собственной души, с тою же убежденностью, с какою, должно быть, в давние времена — у Когелета, так постиг он это, сидя у трупа своего сына Симона-Яники. А потом, позже, он захотел забыть, он взбунтовался против своего постижения и — забыл. Но теперь Ягве напомнил ему сурово, язвительно, жестоко и наказал его, нерадивого ученика. Теперь он может записать это в своем сердце, должен записать, десять раз, двадцать раз, как повелевает ему великий учитель. «Все суета и затеи ветреные». Записывай, Иосиф бен Маттафий, пиши своею кровью, десять раз пиши, двадцать раз, ты, не пожелавший это признать, ты, пожелавший исправить Когелета. Ты пришел и вознамерился опровергнуть древнего мудреца твоими делами и твоими книгами — твоей «Иудейской войной», и твоей «Всеобщей историей», и твоим «Апионом». А теперь ты сидишь на палубе, подобрав под себя ноги, на палубе судна, плывущего под быстрым ветром по ночному морю, и везешь с собою все, что у тебя осталось, — твоего мертвого сына. Ветер, ветер, затеи ветреные!

Узкий серп месяца поднялся выше, слабым, бледным сиянием светилось худое, подкрашенное гримом лицо Маттафия.

И что ему сказать Маре, когда теперь, во второй раз, он должен будет предстать перед нею и возвестить: «Сын, которого ты мне доверила, мертв»?

Чуть слышно, едва размыкая губы, в ночной ветер шепчет он свои жалобы:

— Горе тебе, мой сын Маттафий, мой благословенный, мой повергнутый, мой любимец. Великий блеск окружал моего сына, и был он угоден в очах всех людей,

и все люди любили его, язычники и избранники господни. Но я наполнил его суетностью и в конце концов погубил его — из суетности. Горе, горе мне и тебе, мой прекрасный, любимый, добрый, блестящий, благословенный, повергнутый сын Маттафий! Я дал тебе пышное одеяние, как Иаков Иосифу, и отправил тебя навстречу беде, как Иаков — своего сына Иосифа, которого он любил слишком большою, необузданною, суетною любовью. Горе, горе мне и тебе, мой любимый сын!

И он думал о стихах, которые он сочинил, — «Псалом гражданина вселенной», «Псалом «Я есмь», «Псалом о стеклодуве», «Псалом мужеству». И пустыми казались ему его стихи, и лишь одно казалось ему полным смысла — мудрость Когелета.

Но что пользы ему от этого знания? Пользы никакой, его боль не слабеет. И он воет, и вой его вливается в свист ветра и покрывает свист ветра.

Офицерам, матросам и гребцам этот человек, который везет за море труп, внушает злое предчувствие. Пакостное дело поручил им император. Они боятся, что еврей ненавистен богам, они боятся, как бы боги не наслали беду на их доброе судно. И они радуются, когда вдали возникает берег Иудеи.

Когда Луция узнала о смерти своего любимца Маттафия, она постаралась остаться холодной и спокойной, постаралась отогнать подозрение, которое тотчас же в ней поднялось. Сперва она решила немедленно ехать в Рим. Но она знала безудержность Иосифа: ничего не проверив и не взвесив, он, разумеется, увидит в случившемся вероломное убийство, а она не хотела заразиться неистовством его чувств. Она хотела сохранить трезвость разума и, прежде чем начать действовать, составить справедливое суждение. Она написала Иосифу письмо, полное скорби, сочувствия, дружбы и утешения.

Но гонец, которому наказано было доставить послание императрицы, вернулся с известием, что Иосиф повез труп мальчика в Иудею и корабль уже вышел в море.

Луцию нисколько не задело, что этот человек в своем несчастье, — которое как-никак было и ее несчастьем, — не обратился к ней, не позволил ей разделить с ним горе, более того, не нашел для нее ни единого слова. Но он сразу сделался ей чужд, этот человек, который отдается порыву так безраздельно, не знает ни границы, ни меры и в горе своем столь же эгоистичен, сколь и в счастье. Она уже не понимала, как могла допустить этого безудержного так близко. Их близость могла бы еще долго цвести, не осыпаясь, но теперь он все разрушил своим молчаливым отъездом в Иудею. Обреченный он человек, злосчастный в своей стремительности; его неистовство и его понятия о грехе притягивают беду. Она была почти рада, что он расторг, разорвал их отношения.

Совершил ли Домициан преступление? Она не решалась ответить на этот вопрос. Она была в Байях, он в Риме, она не хотела его видеть, пока не избавится от своих сомнений, она не хотела сказать ему ни единого необдуманного слова, чтобы не лишиться себя возможности твердо убедиться, виновен он или же невиновен. Если только он виновен, она отомстит за Маттафия.

Она получила от Домициана дружески сдержанное письмо. Домитилла, извещал он ее, уже долгое время не смущает покоя юных принцев. И потому, к своей радости, он в силах теперь исполнить желание Луции. Он поручил губернатору Восточной Испании объявить Домитилле о помиловании. Вскорости Луция сможет вновь приветствовать свою подругу в Риме.

Луция облегченно вздохнула. Она радовалась, что сгоряча не обвинила Фузана в убийстве Маттафия.

Две недели спустя секретарь, во время утреннего доклада о последних новостях, сообщил ей, что принцесса Домитилла погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа — в согласии со взглядами минеев, одной из иудейских сект. В основном ее проповедь была обращена к аборигенам острова, а это полудикие иберийцы, чьи обиталища напоминают скорее звериные норы, нежели человеческие жилища. Однажды, когда она со своей служанкой возвращалась из какого-то ибе-

рийского поселения, шайка разбойного сброда подкараулила обеих женщин, напала на них, ограбила и убила. Это случилось, когда губернатор Восточной Испании уже отправил нарочного, чтобы известить ссыльную принцессу о помиловании. Император приказал: из племени, к которому принадлежат убийцы, каждого десятого распять на кресте.

Когда Луция услышала эту новость, ее ясное, смелое лицо потемнело; две глубокие поперечные морщины разрезали ее детский лоб, щеки пошли пятнами от гнева. Она прервала секретаря на полуслове. Без отлагательств отдала распоряжение готовиться к отъезду.

Она еще не знала, что будет делать. Знала только, что бросит прямо в лицо Домициану всю свою ярость. Как бы часто она им ни возмущалась, в ней всегда было что-то похожее на уважение к его бешеной, суровой натуре, никогда не угасала до конца любовь, которую некогда зажгло в Луции то неповторимое, что чувствовалось в нем, — его гордость, его сила, его одержимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Домитиллу, потому что обещал ей помилование, несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика — юного, сияющего, невинного. О да, у него снова найдется много высоких и гордых слов в свое оправдание! Но на этот раз он не одурманит ее своими речами. Он расправился с мальчиком за то доброе, что в нем было, просто за то, что мальчик был таким, каким он был, а может, только за то, что он, мальчик, полюбился ей, Луции. И Домитиллу он убил только для того, чтобы сделать больно ей, Луции, — так злой ребенок ломает игрушку, которая доставляет радость другому. Она выскажет ему все прямо в лицо; а если не выскажет, то подавится невыговоренным словом. Всю свою ярость, все свое отвращение бросит она ему в лицо.

Без отлагательств она выезжает в Рим.

Во время разговора с Иосифом Домициан испытывал чувство глубокого удовлетворения. И позже, когда Иосиф отверг его замысел устроить мальчику пышное

погребение, он только усмехнулся. Дерзость Иосифа его не обидела; она лишь подтвердила, что он действительно ударил противника в самое уязвимое место. А когда затем Клавдий Регин передал ему дерзкую просьбу Иосифа, это было, пожалуй, вершиною его триумфа. Ибо теперь, сверх всего прочего, он мог проявить свое великодушие и показать, что не против бога Ягве были направлены его действия. Преступление мальчика Маттафия императору Домициану пришлось покарать; любимцу бога Ягве он оказывает высочайшие почести. И он усмехнулся многозначительной, радостной и недоброй усмешкой, когда узнал, что из всех быстроходных кораблей императорского флота к выходу в море готов именно «Мститель», что «Мститель» доставит Иосифа и его мертвого сына в Иудею. Плыви, Иосиф, мой еврей, уплывай на моем славном, быстром судне. Попутного ветра тебе и твоему сыну, плыви, уплывай! Катиллина бежал, скрылся, исчез.

Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была либурна «Мститель», уносившая на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, инертен. Даже короткий переезд в Альбан вызывал в нем отвращение, он оставался в жарком Риме.

Мало-помалу возвращались прежние сомнения. Конечно, он поступил правильно, убрав с дороги Маттафия Флавия, — мальчик совершил государственную измену, и он, император, не только имел право, но был обязан его казнить. Но его противник, бог Ягве, — хитроумный, коварный бог. Человеческий ум против него бессилен. Он все равно сочтет себя оскорбленным тем, что римлянин похитил его Давидова отпрыска, его избранника. У Домициана много сильных доводов в свою защиту. Но захочет ли враждебный бог их принять? А ведь каждый знает, какой мстительный этот бог Ягве, и какой грозный, и как внезапно разит его рука.

В чем может упрекнуть его этот бог Ягве? Любимец Ягве, посланец Ягве — Иосиф — в присутствии целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягве завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее при-

дать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но не желание отомстить этим двоим побудило его, Домициана, убрать с дороги Маттафия. Он не хотел наносить удар этим двоим. То, что ему все же пришлось нанести им удар, — обыкновенная случайность, одна из тех, какими сопровождается исполнение священного долга, к сожалению, возложенного на него богами. Нет, он не питал злобы ни к Иосифу, ни к Луции; скорее напротив, он испытывал прямо-таки дружеские чувства к обоим. Это не он принес им несчастье — это сделали боги, а он, их друг, он искренне желал их утешить.

Однако затаенное чувство вины не покидает его, и, по своему обыкновению, он пытается переложить эту вину на кого-нибудь другого. С чего все началось? С того, что Норбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенной целью. Император не знал, какие намерения преследовал Норбан, но одно было совершенно неоспоримо: Норбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Маттафия. Так что если и есть тут чья-то вина, так это вина Норбана.

Правда, доводить свою мысль до конца или делать из нее выводы Домициан остерегался. Когда он сидел, склонившись над навощенною табличкой, и думал о своем министре полиции, на табличке ни разу не появлялись буквы или слова, а неизменно только круги и завитки, и эти круги и завитки отвечали мыслям императора. Но когда он говорил о Норбане — с другими или же с самим собой, — то неизменно повторял: мой Норбан — вернейший из верных.

Незадолго до того, как Луция прибыла во дворец, Домициан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луция так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно, что гофмаршал Ксанфий в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом, но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой.

Конечно, Домициан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Маттафия и смерти Домитиллы. Но его Норбан еще раз доказал свою преданность, он поработал на славу: наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Маттафию жизни, так равно и убийство Домитиллы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Маттафий, бесспорно, повинен в государственной измене, а убрать Домитиллу — в особенности после того изменнического письма — было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков.

И все же, едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всею душой, но даже каждой складкой своей одежды, вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной, вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск. Но эта слабость длилась лишь какую-то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним Домицианом, и в мягких, учтивых словах выражал свою скорбь, сетуя на судьбу, отнявшую у него и у нес двух друзей. Но Луция не дала ему договорить.

— У этой судьбы, — мрачно сказала она, — есть имя. Ее зовут Домициан. Не надо, не лгите, молчите! Вы не у себя в сенате. Не пытайтесь оправдываться! Оправданий не существует. Я вам не верю — ни единой вашей фразе, ни единому слову, ни единому дыханию. Самому себе вы еще можете врать, мне — нет! А на сей раз вы не в силах одурачить даже самого себя. Вы поступили как трус, подлый и низкий трус! Мальчик понравился вам — но именно за это вы его и убили! Потому что даже вы видели, как он невинен и сколько в нем чистоты, и потому что вы не в силах терпеть ничего чистого рядом с собою! Это была мелкая ревность, и ничего больше. А Домитилла! Ведь вы сами говорили, что она не сделала вам ничего дурного. Какая же у вас грязная душа! Не подходите ко мне, не прикасайтесь! Я самой себе противна, когда думаю о том, что лежала рядом с вами в постели.

Домициан покорно отступил назад, оперся о письменный стол; капельки пота выступили на лбу.

— Однако это доставляло вам удовольствие, Луция, — ухмыльнулся он. — Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня довольно часто складывалось впечатление, что это занятие вам по сердцу.

Но красноречивое лицо Луции выражало бесконечное омерзение, и ухмылка медленно сползла с побагровевших щек Домициана; на миг он даже сделался мертвенно-бледен. Потом — не без труда — снова растянул губы в улыбке.

— Как видно, мальчик и в самом деле был вам очень близок, — подумал он вслух с учтивой, многозначительной проинией. — И, во всяком случае, занятно, очень занятно было услышать то, что вы мне открыли касательно истории наших отношений.

— Да, — отвечала Луция уже гораздо спокойнее, и благодаря этому спокойствию еще больше презрения звучало теперь в ее словах, — да, она очень любопытна, история наших отношений. Но теперь ей конец. Ради вас я бросила мужа, я любила вас. Десять раз, сто раз вы делали такие вещи, от которых вся душа во мне преворачивалась, и всякий раз я давала убедить себя, что я не права. Но теперь — кончено, Фузан, — и это «Фузан» звучало уже не шуткою, а злою издевкой. — Теперь — кончено, — повторила она с особенным ударением на слове «теперь». — Вы часто заговаривали мне зубы, вы упорны, я знаю, и нелегко отказываетесь от своих планов. Но советую вам привыкнуть к мысли, что между нами все кончено. Мои решения приходят внезапно, но я от них не отступаю, вам это известно. Мои слова невозможно понять превратно, не то что ваши. Я даю вам отставку, Домициан. Вы мне противны. Я не хочу вас больше знать!

Когда Луция вышла, чуть смущенная, деланно ироническая ухмылка, за которую Домициан пытался скрыть свой гнев, еще оставалась некоторое время на покрасневшем лице императора. Его близорукие глаза смотрят вслед ушедшей, отзвук ее слов еще звенит в

его ушах. Потом уголки губ медленно опускаются, он машинально насвистывает мелодию той песенки:

И плешивому красotka не откажет няпочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

Он садится за письменный стол, берет золотую палочку для письма и начинает царапать на воощенной табличке круги и завитки, завитки и круги.

— Гм, гм,— произносит он негромко,— занятно, очень занятно.

Стало быть, она его презирает. Многие говорили, что презирают его, но то были пустые слова, бессильные жесты; немыслимо, чтобы смертный презирал его, владыку и бога Домициана. В целом свете Луция единственная, чье презрение для него — не пустое слово.

На миг он осознал во всей полноте и ясности: итак, она ушла, разрешила то, что их связывало. Этот разрез причинял боль, холод лезвия проникал глубоко в душу. Но потом он встряхнулся, отогнал слабость, подумал о том, что решение ее бесповоротно и что, стало быть, нет никакого смысла оплакивать это безвозвратно ушедшее. Оставалось лишь одно — сделать выводы.

Луция отреклась от него, отказалась от его покровительства и защиты. Она больше не жена ему, она враг, изменница. Она хотела заставить его вернуть Домитиллу, хотя, разумеется, никто тверже ее не был уверен, что эта Домитилла постарается оказать пагубное влияние на его сыновей. Уже одно это было государственной изменой. А потом, вдобавок, она принялась плести интригу, пыталась обмануть его, обморочить лицемерным послушанием Домитиллы, чтобы той поблизи было проще и легче отвлечь его сыновей от государственной религии. Очевидная измена. Луция — преступница, и он должен метнуть свою огненную стрелу.

Он остался в Риме.

И Луция осталась в Риме, хотя август в том году выдался необычайно жаркий. Может быть, она потому не возвращалась назад в Байи, что потеряла вкус к дому и саду, полным воспоминаний о Маттафии.

Принцы Веспасиан и Домициан нанесли ей визит в сопровождении своего наставника Квинтилиана. Собы-

тия последнего времени дали ему отличный повод тверже внушить мальчикам стоический образ мыслей. «Неомраченным храни в несчастьях дух». Впрочем, ему уже давно не приходилось делать внушения своим воспитанникам, они сохраняли спокойствие, они не жаловались, лица их были замкнуты и суровы. Они были скорее сыновья Домитиллы, чем Клемента, они были истинные Флавии. Еще так короток путь, который они прошли, но весь усеян мертвыми. Теперь им заменял отца человек, который их настоящего отца и, вероятно, их друга отправил в преисподнюю, а мать — в ссылку, в изгнание. Они должны жить бок о бок с этим человеком и только украдкой, только намеком могут поведать друг другу то, что лежит у них на сердце. Человек, назвавший их своими сыновьями, был самым могущественным на свете, их самих в будущем ждала безграничная власть и могущество. Но пока они были безвластнее рабов в рудниках: ведь рабы могут говорить, о чем хотят, могут жаловаться, меж тем как они, сыновья императора, ходят во мраке, который глубже мрака рудников и каменоломен, а издевательский блеск вокруг них — лишь скверная маскировка этого мрака, и даже во сне они не могут снять личину, которую им приказано носить.

Они узнали, что Луция снова в Риме, это было для них радостью и утешением. Но когда они встретились с нею в первый раз, присутствие Квинтилиана сковало их по рукам и ногам. Луция испугалась, увидев, как сильно переменились мальчики. До чего же быстро переменились они здесь, на Палатине! Все здесь переменилось, а может быть, это она сама видела все до сих пор в ложном свете. Она толком не знала, что сказать мальчикам, все трое с трудом подбирали слова, находчивому Квинтилиану часто приходилось заполнять мучительные паузы. Наконец Луция не выдержала.

— Подойдите ко мне, — сказала она, — не старайтесь быть взрослыми! Ты будь снова Константом, а ты Петроном, и поплачьте по Маттафию и по вашей матери.

И они обняли ее, и уже больше не обращали внимания на Квинтилиана, и предались сладким и

горестным воспоминаниям о Маттафии и невнятным речам гнева.

После этого свидания Квинтилиан охотнее всего вообще запретил бы своим воспитанникам встречаться с императрицей. Но мальчики заупрямились. А Домициан, медлительный, как всегда, еще не решил, когда лучше метнуть в Луцию свою молнию, и потому не хотел доводить дело до открытого разрыва; было решено, что принцы будут посещать Луцию раз в шесть дней.

Глухая и опасная текла жизнь на Палатине, а тяжкий зной этого лета делал ее еще тяжелее, еще невыносимее.

И город тоже чувствовал, что облака сгущаются над Домицианом, римляне много говорили об участившихся в последнее время дурных знамениях. Однажды — грозы в том месяце гремели не умолкая — молния ударила в спальню Домициана, в другой раз буря сорвала с его триумфальной колонны мраморную доску с высеченной на ней надписью. Недовольные среди сенаторов позаботились о том, чтобы поднять вокруг этих знамений побольше шума; многие почитаемые астрологи заявляли, что император не доживет до следующей весны.

Молнию, которая ударила в его спальню, Домициан по всем правилам предал погребению, как того требовал обычай. Надпись с триумфальной колонны он приказал высечь на цоколе, так что впредь никакая буря уже не могла ее снести. Одного предсказателя Норбан арестовал; под пыткой он сознался, что один из сенаторов-оппозиционеров подбил его злоупотребить своим искусством и возвестить ложь. Сенатор был сослан, предсказатель — казнен.

Злые предзнаменования не уменьшили преданности масс императору. Они чувствовали себя уверенно под его рукою. Его сдержанная внешняя политика уже приносила свои плоды. Разорительные войны ради престижа больше не подрывали благосостояния страны, губернаторы грабили свои провинции сравнительно скромно и с опаскою. К тому же народ помнил пышные празднества, которые устраивал Домициан, и его щедрые раздачи. Но если массы были довольны его правлением,

тем сильнее неспавидела его высшая аристократия и прослойка крупных богачей. Они горевали об утраченной свободе, возмущались деспотическим произволом, и были люди, у которых темнело в глазах, когда они видели ненавистное, надменное лицо императора.

В числе этих людей был и старый сенатор Кореллий. С тридцати одного года он страдал подагрой. Строгая воздержанность какое-то время облегчала его страдания, но в последние годы недуг овладел всем телом, искривил его и изуродовал; Кореллий испытывал невыносимые боли. Он был стойким, был известен как человек мужественный, и друзья не могли понять, почему он не положит конец своим мукам.

— Знаете, — объяснил он однажды шепотом своему ближайшему другу Секунду, — знаете, почему я преодолеваю себя и терплю это ужасное существование? Я дал себе клятву пережить этого пса Домициана!

Домициан только посмеивался над дурными знаменьями. Их ложно толкуют, они ничего не значат, достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, как счастливо его правление, как растет благополучие и довольство народа. Но чувство реального у императора было слишком остро, чтобы не замечать, что за всем тем и ненависть вокруг растет и растет. И вместе с нею росли его человеконенавистничество и его страх.

Он страшно одинок, он кругом предан и продан. Вот и его Минерва ушла от него, и, наконец, даже Луция его предала. Кто же, собственно, еще остался?

Одно за другим он вызывает в памяти лица друзей — самых близких, самых доверенных. Марулл и Регин. Но они немощные старики, и вдобавок он не знает, насколько твердо можно на них положиться теперь, после смерти Маттафия. Потом — Анний Басс. Этот не так стар. И вполне надежен. Но он простой солдат, тупица, он бесполезен в запутанных делах, требующих особо тонкого понимания. Если даже Луция, несмотря на все его неимоверные усилия, так и не смогла его понять, куда уж этому солдафону!.. Далее — Норбан. Но он очень глубоко заглянул в душу своего владыки и бога Домициана, глубже, чем дозволено человеку, слишком глубоко. К тому же именно Норбан вложил ему в руку

первое звено этой опасной цепи. Норбан — вернейший из верных, но между ним и Норбаном тоже все кончено.

Остается, по сути вещей, один-единственный: Мессалин. Какая удача, что боги послали Мессалину слепоту! Мертвым глазам Мессалина владыка и бог Домициан может показывать свой лик без боязни, без стыда. Слепцу Мессалину дозволено знать то, чего никто иной знать не должен. Есть па свете, по крайней мере, один человек, которому Домициан может сказать все, не опасаясь, что позже будет об этом сожалеть.

Домициан сидел, запершись в своем кабинете, но он был не один — с ним, вокруг него были его человеконенавистничество и его страх. Отчего все это? Отчего он так одинок? Отчего эта ненависть вокруг него? Его народ счастлив, Рим велик и могуществен, могущественнее и счастливее, чем когда-либо. Отчего же эта ненависть?

Существует лишь одна причина — вражда бога Ягве. Он отверг примирение, этот бог. Как ни умно остерегался он, император, а все-таки бог Ягве со своим восточным, адвокатским умом уж наверное отыскал в событиях, связанных с мальчиком Маттафием, нечто такое, что дает ему законное преимущество против римского императора. Да, конечно, месть бога Ягве — вот что лишило его покоя.

Но неужели нет никаких средств утишить ярость бога?

Средство есть. Он принесет в жертву богу человека, который подстроил убийство мальчика Маттафия, человека, который вложил ему в руки первое звено цепи, своего министра полиции Норбана. Это великая жертва, ибо Норбан — вернейший из верных.

Он склонился над табличкою для письма. Но на этот раз не круги и завитки появляются на ней, на ней появляются имена. Ибо если уж он посылает Норбана в подземное царство, он отправит его в этот мрачный путь не одного: он пошлет и других вместе с ним.

Острие стиля медленно вдавливается в воск, аккуратно, одно под другим, ставит император имя за именем. Вот некий Сальвий, который дерзнул справить годовщину смерти своего дяди — императора Отона, врага

Флавиев. С наслаждением вдавливая стиль Домициана в воск имя Сальвия. Вот писатель Дидим: свою прославленную историю Малой Азии он пересыпал намеками, которые не понравились императору. Он ставит имя в список и — в скобках — пометает: «Издателя и писцов — тоже». Затем — и это имя он пишет очень быстро — следует Норбан. Он добавляет еще нескольких, совсем бесцветных. Затем, после очень краткого колебания, приписывает имя Нервы. Правда, этот господин уже в летах, — ему около семидесяти, — и к тому же сдержан, осторожен, его ни в чем не упрекнешь, но как раз потому, что он такой спокойный и рассудительный, вокруг него спланивается оппозиция. Домициан перечитывает имя, оно вполне на месте в этом списке. И лишь затем медленно, тщательно, замысловато-хитрыми буквами выводит он имя Луции. Потом, чтобы не это имя стояло последним, он заключает список несколькими незначительными лицами.

Он с головой ушел в свою работу. Теперь, когда все собраны воедино, он вздыхает облегченно, поднимает глаза, у него такое чувство, словно одержана важная победа. Он встает, потягивается, усмехается, и со всех сторон в зеркальной облицовке кабинета Домициан отвечает ему усмешкой. Если восточный бог отыскал законный повод выступить против него, то теперь римский император вырвал этот предлог из рук бога Ягве. Он приносит ему в жертву своего Норбана. Теперь бог должен быть доволен, теперь он должен оставить его в покое.

Под вечер Домициан обедал с обоими принцами. Они были совсем одни — Квинтилиан отправился к кому-то из друзей, на чтение. Все последнее время император даже с мальчиками был угрюм и раздражителен, но сегодня, за этою трапезой, их дядя и отец, владыка и бог Домициан выказывал доброе расположение духа. Он весело беседовал с обоими. Они и не догадываются, сколь многим ему обязаны, как много он сделал для того, чтобы облегчить бремя власти, которая их ожидает.

Лица мальчиков были хмуры. Но сегодня он не желал замечать их хмурости и их уныния. Верно, в эти

недели они потеряли мать, но какая же тощая, сухая, бессильная, полубезумная была эта мать и какого великого, могущественного, царственного, божественного отца нашли они в нем, расстилающем под ноги им свою славу и свое богатство! Нечего сидеть с такими мрачными лицами,— и он старается подбодрить своих юных и не в меру молчаливых сотрапезников. Он всегда был склонен к грубому шутовству, разом и зловещему и привлекательному. Он делает над собой усилие, он становится подчеркнуто приветлив, он говорит с ними, как с детьми и вместе с тем как со взрослыми, теперь им легче проявить учтивость и поддержать беседу, и вот они уже отвечают на его шутки вежливой улыбкой.

Нет, он никак не был богом в тот вечер, он держался совсем по-человечески, по-дружески. Он осведомился об их увлечениях. Принц Домициан рассказал, между прочим, о павлиньем садке в Байях, сперва он говорил с большим увлечением, но, поймавши взгляд брата, вспомнил, как и тот, о Маттафии, стал скупее на слова и скоро совсем умолк. Однако император, казалось, ничего не заметил; он сделал пометку на своей табличке для письма, а потом принялся рассказывать о собственных маленьких пристрастиях и слабостях.

— Люблю,— доверительно говорил он им,— ошеломлять людей неожиданностью, и доброю и дурною,— безразлично. Люблю медленные решения и молниеносно следующие за ними действия. Ради такого сюрприза порою позволяю себе не щадить ни времени, ни трудов.

Мальчик Веспасиан сказал:

— И ваши сюрпризы всегда удаются вам, владыка мой и отец?

— Обычно да,— ответил Домициан.

Мальчик Домициан сказал:

— Вы говорите так, владыка мой и отец, словно готовите какой-то новый сюрприз.

— Может быть, и готовлю,— весело и охотно отзывался император.

Оба мальчика подняли глаза, в их взорах были страх, ненависть и любопытство, в то же время им, видимо, льстило, что владыка мира говорит с ними совсем за-просто.

— Вот видите, — продолжал император, наслаждаясь выражением напряженного ожидания на их юных лицах, — вы изумлены, что ваш отец без обиняков рассказывает вам о сюрпризах, которые он готовит. А ведь то, что я задумал, напрашивается само собой. Когда дело будет сделано, все найдут, что его-то и следовало исполнить в первую очередь. И все-таки оно явится наподобие дельфина, который вдруг выскакивает из морской глади!

Тут старший из двух, Веспасиан, в приливе мрачного озорства, спросил:

— А люди погибнут от вашего сюрприза, владыка мой и отец?

Изумленный такой дерзостью, Домициан посмотрел на него подозрительно. Потом засмеялся, — разве не он сам вызвал этот дерзкий вопрос своими доверительными речами? — и полусхутом объявил:

— Если мы, боги, шутим, тому, с кем мы шутим, иной раз приходится несладко.

Когда Домициан отпустил их, они сказали друг другу: «Он готовит новую бойню, палач...» — «Сюрприз и вместе с тем само собою напрашивается...» — «Кого же еще он может убить?..» — «Нас самих? Но это и не сюрприз, и не напрашивается само собою...»

Домициан удалился в свою спальню; теперь он часто уходил к себе сразу после обеда; императорские покои остались в распоряжении мальчиков. Но император прямо-таки подбивал их разгадать его сюрприз, разве не так? Они сгорали от любопытства — кто будет следующей его жертвой? Они были Флавии, они были энергичны, мстительны и отчаянно дерзки.

Они пошли к кабинету императора. Вход охранялся капитаном и двумя солдатами.

— Пропустите нас, — попросил принц Веспасиан. — Мы хотим устроить императору сюрприз, мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Корвин, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Корвин.

Капитан колебался. Караульная служба во дворце всегда была ему не по душе: что ни сделай, куда ни по-

вернись — все опасно. Офицеры гвардии часто острили: «Кому заступать в караул у императора, пусть сперва принесет жертву подземным богам». Если он не даст мальчишкам войти, это может кончиться плохо, пропустит их — тоже может кончиться плохо. Он их не пропускает.

Мальчики были Флавии, сыновья Домитиллы. Полученный отпор только прибавил им настойчивости. Они пошли к спальне императора.

Вход охранялся капитаном и двумя солдатами.

— Пропустите нас, — попросил принц Домициан. — Мы хотим устроить императору сюрприз, мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Сервий, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Сервий.

Капитан колебался. Если он не даст мальчишкам войти, это может кончиться плохо. Он их пропускает.

Домициан лежал на спине, полуоткрыв рот; он спал. Он дышал медленно, равномерно, лицо с очень красными, морщинистыми веками в густой сети жилок выглядело чуть глуповатым, резко выпячивался живот... Одна рука бессильно и безжизненно вытянулась вдоль тела, другую он закинул за голову. Мальчики приблизились на цыпочках. Если он проснется, они скажут все как есть: «Мы хотели разгадать ваш секрет, владыка наш и отец Домициан».

Принц Веспасиан осторожно запустил пальцы под подушку. Он нашел табличку, они с братом прочли имена.

— Запомнил? — прошептал принц Веспасиан.

— Не все, только самые главные, — ответил принц Домициан.

Спящий шевельнулся, тихий всхрап вырвался из полукрытого рта.

— Назад! — прошептал Веспасиан.

Они снова сунули табличку под подушку и крадучись двинулись к двери. Офицер облегченно вздохнул, увидев, что они выходят.

— Мне думается, вы устроили свою судьбу, капитан Сервий, — сказал принц Домициан; он сказал это

благосклонно, но с неумолимою твердостью, как пододбает принцу.

— Ты заметил? — спросил Веспасиан. — Внизу он приписал: «Принцам павлинов». Нас он не думал убивать, нам он хотел подарить павлинов.

И все-таки они решили, что один из них немедленно разыщет Луцию. Веспасиан взял это на себя. Он нашел ее, все рассказал. Она обняла его, поцеловала, горячо поблагодарила. И то был самый высокий час его жизни.

Еще до заката солнца Норбан был у Луции. Он был почти возмущен тем, как настоятельно и тайно вызвала его Луция. Что это еще за важные новости, которые она собирается ему сообщить? Наверно, какие-нибудь дурацкие любовные интриги.

Луция без обиняков рассказала ему о случившемся. Большой, нескладный человек слушал, не шевелясь; в продолжение всего рассказа он не сводил с нее своих карих глаз — злых и преданных, как у цепного пса. Он и после не отвел глаз, он молчал, — видимо, раздумывал, — он ей не верил.

Потом вместо всякого ответа он спросил — в упор, почти грубо:

— У вас было столкновение с владыкой и богом Домицианом?

— Да, — ответила она.

— А у меня не было, — сказал Норбан, и в вызывающем его тоне отчетливо звучало недоверие. — Я говорю с вами откровенно, госпожа моя Луция, — продолжал он. — У вас есть причины относиться ко мне враждебно, у императора — нет.

— Но, может, вы слишком много о нем знаете? — предположила Луция.

— Это вполне вероятно, — подумал Норбан вслух. — Но ведь допустимы и многие другие варианты. Могло, например, случиться так, что принц Веспасиан, подавшись юношеским фантазиям, усмотрел в гибели своего товарища Маттафия и своей матери не роковое стечение обстоятельств, а злой умысел императора?

— Да, не исключено, — в свою очередь, согласилась

Луция, — что Веспасиан пришел ко мне именно поэтому и что он солгал. Но, по всей видимости, он не лжет. В глубине души, мой Норбан, вы знаете не хуже меня, что Веспасиан говорит правду, что на табличке написано и ваше имя и мое и что и вы, и я, и мальчик одишаково верно догадываемся, как это следует понимать.

— Охотнее всего я свернул бы ему шею, этому не в меру любопытному Веспасиану, — вдруг проворчал Норбан.

Модные локоны в нелепом беспорядке спадали на низкий лоб над грубым лицом; он выглядел несчастным — злой и верный пес, чей мир разбился вдребезги. При всем своем гневе, горе и озабоченности Луция едва сдержала улыбку, видя неуклюжую ярость злого пса.

— Крепко же вы привязаны к Фузану, — сказала она. — Вы, стало быть, только оттого так растеряны, что он и вам отказывает в доверии?

— Я храню верность, — с ожесточением объявил Норбан. — Но владыка и бог Домициан прав. Владыка и бог Домициан всегда прав. Даже если он хочет меня убрать, у владыки и бога, бесспорно, есть на то свои основания, и он прав. А с этим Веспасианом мы еще рассчитаемся! — бешено пригрозил он.

Но Луция вернула его к действительности:

— Не говорите глупостей, мой Норбан. Взгляните на вещи трезво, как они того заслуживают. Вы мне отнюдь не симпатизируете, да и я солгала бы, если бы стала вас уверять, будто испытываю к вам симпатию. Просто-напросто общая опасность делает нас союзниками. Мы должны опередить DDD, и нам надо торопиться. Всех имен в списке мальчики не запомнили, но некоторые Веспасиан назвал. Вот они. Свяжитесь с теми из этих господ, которые могут быть вам полезны. Я позабочусь, чтобы Домициан провел эту ночь у меня. Об остальном позаботьтесь вы!

Норбан посмотрел на нее долгим и напряженным взглядом своих карих глаз, настороженных, но вместе с тем тупых.

— Я знаю, — сказала Луция, — о чем вы думаете. Вы спрашиваете себя, не пойти ли вам прямо к императору и не донести ли ему о том, что я вам сейчас предложила.

Это было бы неразумно, мой Норбан. Собственную казнь вы этим, правда, отсрочили бы, но — и только, не более. Ибо тогда вы будете знать об императоре еще больше, и чем сильнее это будет его мучить, тем настоятельнее будет необходимость вас убрать. Разве я не права?

— Правы,— согласился Норбан.— Ух, этот наглый проныра принц! — проворчал он, не в силах успокоиться.

— Вы бы предпочли ничего не знать и погибнуть, чем теперь, узнав, опередить императора, правда? — с любопытством спросила Луция.

— Да,— горестно подтвердил Норбан.— Мне очень тяжело,— сказал он, искренне сокрушенный.— А вы уверены,— спросил он под конец, снова дерзко и напрямик,— что уговорите императора провести с вами ночь после этой ссоры?

Вопрос не рассердил Луцию, скорее — позабавил.

— Уверена,— сказала она.

«Мой владыка и бог, Домициан, Фузан, DDD, не знаю, какой враждебный бог внушил мне такие дерзкие и глупые слова, которые я бросила вам тогда. Наверное, это Сириус, Звездный Пес, навел на меня слепоту. Но я знаю снисходительность и великодушие императора Домициана. Подумайте и вспомните о той нашей ночи на судне, когда мы плыли в Афины. Подумайте и вспомните о той ночи, когда вы оказали милосердие и вернули меня из ссылки. Простите меня! Придите ко мне и собственными устами скажите, что прощаете меня! Приходите сегодня ночью! Я жду вас. И потом, если вы придете, я уступлю вам строительный материал для вашей виллы в Селинунте за полцены. Ваша Луция».

Прочтя это письмо, Домициан ухмыльнулся. Подумал о своем списке. Подумал о Мессалине, с которым будет завтра обсуждать этот список. Но вспомнил и обе ночи, о которых писала ему Луция.

Домициану бывало приятно, когда те, кого ему предстояло казнить, убеждались, что эта казнь — спра-

ведливое наказание, необходимая мера. Он был рад, что Луция признает свою неправоту. В самом деле, как она могла его не любить, коль скоро он удостоил ее своей благосклонности?! Но в сути вещей это ничего не меняло. Преступление Луции не стало меньше от того, что государственная изменница Луция — вдобавок еще и жепщина, которая его любит. Он был по-прежнему тверд в своем намерении, он даже не подумал о том, чтобы вычеркнуть ее имя из списка.

Но приглашение он все же примет. Она замечательная женщина. Когда он вспоминает о шраме под ее левой грудью, у него слабеют колени. Боги благосклонны к Домициану, если дадут ему еще раз поцеловать этот шрам. Она изобильная женщина, женщина ему под стать и под силу. Жаль, что она государственная изменница и уже никогда больше не сможет написать ему такое письмо.

Итак, император пришел к Луции и спал с нею. После объятий его крупная голова тяжело лежала на ее плече. Но Луция не убирала руку. При тусклом свете масляной лампы она разглядывала спящую голову, под чертами одутловатого, обмякшего, усталого лица искала то, что увидела впервые еще тогда, когда все называли его «Фруктом» и он был настоящим никудышником, в которого никто не верил, никто, кроме нее. А теперь она не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти, она не жалела о своем решении, но ничего не осталось в ней и от той жестокой радости, которую она испытала, поставив Норбана на службу себе и своей мести. Она ждала, и сердце ее, словно руку, придавленную спящею головой, томила тяжесть.

Наконец явился Норбан и его люди. Но проникнуть в спальню бесшумно, как они рассчитывали, им не удалось: Домициан, со своей неизменною подозрительностью, захватил с собою двух офицеров, которые встали на часах у входа. Поэтому, когда заговорщики появились в дверях, Домициан сел в постели.

— Норбан! — позвал он. — В чем дело?

Норбан надеялся захватить своего владыку во сне. Услышав его зов, он смешался и замер у двери.

Император уже совсем проснулся, он увидел людей

за спиной у Норбана, увидел оружие, увидел лицо Норбана и его замешательство. Все понял. Вскочил с ложа, нагой, как был, попытался прорваться к выходу, бросился на людей, заслонявших ему дорогу, пронзительно закричал, призывая на помощь. Кто-то сделал выпад мечом, но промахнулся. Император отбивался, боролся, не умолкая кричал.

— Луция, ты, сука, помоги же мне! — крикнул он срывающимся голосом и обернулся к ложу.

Луция стояла на коленях, нагая по пояс, и тяжелым, печальным, напряженным взглядом следила за человеком, который пытался спасти свою жизнь.

— Это тебе за Маттафия, — сказала она, и голос ее звучал удивительно спокойно и обыденно.

И тут он понял, что это бог Ягве поднялся на него, и перестал сопротивляться.

Еще до света весь город знал об убийстве императора.

Первым движением Анния Басса, после того как он оправился от овладевшего им чудовищного и неистового страха, было провозгласить государями приемных сыновей убитого, принцев Веспасиана и Домициана. Офицеры и солдаты гарнизона были преданны Домициану, и с их помощью Анний мог бы заставить сенат признать новых императоров. Но у него не хватило бесцеремонности и проворства, чтобы представить сенату «своих» принцев, не сговорившись предварительно с Маруллом и Регином.

Когда же он наконец свесся и связался с обоими, было уже слишком поздно. Старый Нерва, глава сенатской оппозиции, которого Домициан включил в свой список, был извещен Норбаном о событиях еще до того, как они совершились, и немедленно созвал сенат. Если покушение окажется неудачным, сказал он себе, он вознесет богам благодарственную молитву за спасение императора, а если все сойдет удачно, он позволит своим друзьям выбрать себя преемником Домициана. И вот, едва рассвело, господа избранные отцы собрались, и к тому часу, как Марулл и Регин появились наконец в

сенате,— Анний меж тем поднимал по тревоге гарнизон,— уже было внесено предложение память об умершем предать проклятию.

Едва представ перед коллегами, Марулл с возмущением приготовился возражать, но ему и еще пескольким верным Домициану сенаторам не дали сказать ни слова. Все паперебой, взახлеб поносили низвергнутого владыку. В неистовой спешке они принимали одно решение за другим, чтобы растоптать и опорочить самое имя Домициана. Они постановили, что по всей империи изображения его будут сброшены с цоколя, а доски с надписями в его честь разбиты или пущены в переплавку. А под конец Маруллу и его сторонникам пришлось стать свидетелями такого зрелища, какого никогда еще от основания города не являл собою римский сенат. В упоении вновь обретенною властью, полные черных воспоминаний о позоре, который они так долго терпели, о своих заседаниях, когда они сами, собравшись здесь же, приговаривали к смерти своих лучших, своих вождей,— сенаторы созвали мастеровых и рабов, чтобы немедленно и зримо предать проклятию его память. Мало того — они сами приняли участие в этой работе. Собственными руками желали они истребить, стереть в прах наглого деспота. Неловкие в своих башмаках на толстой подошве, в своих пышных одеяниях, они хватали ломы, топоры и секиры, взбирались по лестницам и осыпали ударами бюсты и медальоны ненавистного врага. С наслаждением швыряли наземь статуи с надменным лицом умершего, дробили и корежили каменные и металлические руки и ноги, под дикие вопли сложили в вестибюле курии какое-то подобие костра и бросили в него изуродованные до неузнаваемости скульптуры.

Покончив таким образом с деспотией, с правлением одного, они заменили его режимом свободы — правлением шестидесяти самых влиятельных сенаторов — и выбрали императором Нерву.

У этого пожилого господина, человека высокообразованного, большого знатока права и искусного оратора, благожелательного, либерального, гуманного, выдался бурный день, бурная ночь и еще полдня, такие же

бурные. Все последние месяцы его мучила тревога, как бы Домициан не расправился с ним, несмотря на всю его осторожность. Вместо этого он, на семидесятом году, не только пережил сорокапятилетнего императора, но и захватил его престол. Теперь, после тревожных и неожиданных этих полутора суток, он — как и следовало ожидать — был совершенно обессилен, и радость от того, что он может отправиться домой, принять ванну, позавтракать, лечь в постель, была почти столь же велика, как и радость власти над целым миром.

Но вкусить желанного покоя так скоро ему не пришлось. Едва он добрался до дому, как во главе большого отряда войск и в сопровождении Маруллы и Регина появился Анний. Анний негодовал на собственную медлительность и слабодушие, — ведь приемным сыновьям его почитаемого владыки и бога это тугодумие стоило власти над миром, принадлежавшей им по праву. Он хотел спасти то, что еще можно было спасти. Он вломился к Нерве и произнес бессвязную речь, полную угроз; армия не потерпит, заявил он, чтобы Флавиев, покорителей Германии, Британии, Иудеи и Дакии, мошеннически лишили престола. Новый император был человеком благородных, сдержанных правил; громкий, грубый говор Анния нестерпимо его раздражал, и потом, многое в этой неуместной болтовне не выдерживало никакой критики с юридической точки зрения. Но он очень устал, он чувствовал себя не в форме, и, наконец, у того было тридцать тысяч солдат, а у него за спиной — всего пятьсот сенаторов. И он предпочел до поры, до времени закрыть глаза на неподобающее поведение грубого генерала; он вежливо обернулся к двум остальным «гостям», которых знал за людей обходительных, и любезно осведомился:

— А вам что угодно, господа?

Оба господина, реалисты до мозга костей, хотя и не сомневались, что гарнизон столицы на их стороне, однако далеко не были уверены, останутся ли верны Флавиям армии в провинциях. С другой стороны, безобразное поведение сенаторов глубоко их возмутило. Вид этих немолодых людей, — то, как они в своих башмаках на толстой подошве и отороченных пурпуром одеждах,

с трудом нащупывая ногой ступеньки, взбирались по лестницам, чтобы ударить в мраморное или бронзовое лицо человека, чью живую руку, всего только три дня назад, наперебой рвались облобызывать, — этот вид вызвал у обоих омерзение, тошноту. Теперь они, в свою очередь, желали устроить демонстрацию.

Новый император, начали они, юрист, не так ли? Пусть же он обратит острие закона против тех, кто предательски умертвил прежнего императора. Они вели беседу по всем правилам хорошего тона, они отнюдь не подчеркивали через каждое слово, — как грубиян-генерал, — что, дескать, за нашей спиной стоит армия. Они требовали немногого, они требовали лишь одного: наказания виновных. Но этого они требовали безоговорочно и в кратчайший срок, тут они были непреклонны. И Нерве пришлось — и то было первым решением, первым действием нового государя, в принципе человека справедливого, достойного и даже благожелательного — без прекарствий выдать им голову зачинщика, Норбана — того, кому он был обязан своим престолом.

Сделав эту вынужденную уступку, Нерва понял, что должен, ни минуты не медля, принять необходимые меры предосторожности. Нет, ему еще нельзя опустить на подушку свою усталую, старую голову, если только он не хочет подвергать эту старую голову опасности оказаться в конце концов снесенной с плеч, на которых она сидит до сих пор. Прежде чем вернуться в спальню, нужно еще написать письмо. И старый император (каждая косточка у него ноет от усталости) диктует письмо. Он предлагает своему молодому другу генералу Траяну, главнокомандующему армиями на германской границе, разделить с ним власть. И лишь затем ложится в постель.

А Марулл и Регин отправились к Луции. Они хотели спасти Луцию, и они хотели наказать ее.

— Я не стану обсуждать с вами мотивы ваших действий, владычица моя и богиня Луция, — начал Регин, — но было бы тактичнее и, пожалуй, умнее, если бы вы обратились не к Норбану, а к кому-нибудь еще, например, к нам.

— Я верю, что вы мне настоящие друзья, вы, мой Регин, и вы, мой Марулл,— ответила Луция.— Но скажите по совести, если бы вам пришлось выбирать между Домицианом и мною, кого спасти — его или меня,— разве вы решили бы в мою пользу?

— Быть может, нашелся бы какой-то выход,— предположил Марулл.

— Нет, не нашелся бы.— В голосе Луции была усталость.— Моим естественным союзником оказался Норбан.

— Во всяком случае,— заключил Регин,— оба хороших мальчика по вашей вине лишились престола, а вы, моя дорогая Луция, подставили под удар себя и свои кирпичные заводы.

— На вашем месте, дорогая Луция,— сказал Марулл,— я бы все же осведомлял о своих планах таких старых, добрых друзей, как мы,— настолько своевременно, чтобы, с одной стороны, ответными действиями они уже не могли повредить вам, а с другой — к примеру говоря — могли бы принести пользу юным принцам.

Луция задумалась. Потом сказала рассудительно:

— Да, тут вы правы.

— Жаль его,— сказал Регин, помолчав.— Люди часто бывали к нему несправедливы.

— Если вы метите в меня,— отозвалась Луция,— если хотите потребовать, чтобы я с вами согласилась, вы требуете слишком многого. Такой объективности не найдет в себе ни одна женщина, после того как на жизнь ее покушались и она была на волосок от гибели. И еще вспомните, пожалуйста, о моем Маттафии!

— И все-таки к нему часто бывали несправедливы,— упрямо повторил Регин.

— Оставимте приговор историкам и поэтам,— сказал Марулл примирительно.— Займемся-ка лучше вашим ближайшим будущим, Луция. У нас есть основания предполагать, что вам грозит опасность. Наш Анний Басс и его солдаты не очень-то к вам расположены.

— Вы уполномочены передать мне их требования? — вызывающе спросила Луция.— За вашей спиной стоят армия? — продолжала она насмешливо.

— Да, за нашей спиной стоит армия, это верно,— мягко и терпеливо отвечал Регин,— но то, с чем мы пришли, вовсе не требования, а только советы.

— Что же вам угодно? — спросила Луция.

— Мы бы хотели,— четко определил Регин,— чтобы над телом Домициана был справлен погребальный обряд — достойным образом, в согласии с обычаем. Сенат предал проклятию его имя и память о нем, это вам известно. Публичные похороны могут привести к беспорядкам. А потому мы предлагаем: сложите Домициану костер как можно скорее, если не в самом Риме, то хотя бы поблизости, скажем — в вашем Тибурском парке.

Луция не испытывала больше ненависти к мертвому, но похороны всегда вызывали в ней отвращение, и это отвращение, как в зеркале, изобразилось на ее живом лице.

— Как страшно вы умеете ненавидеть! — сказал Марулл.

Но тут лицо ее разгладилось.

— Я не ненавижу Фузана,— сказала она внезапно изменившимся, очень усталым голосом; в этот миг она выглядела старухой.

— Мне кажется,— сказал Марулл,— было бы во вкусе DDD, если бы погребение ему устроили именно вы. Вспомните, что он, именно он сам желал похоронить Маттафия!

— И было бы разумно,— добавил Регин,— если бы именно вы исполнили погребальные обряды. Тогда, надо полагать, сразу умолкли бы слухи, будто вы каким-то образом замешаны в преступлении предателя Норбана.

— Предатель Норбан,— задумчиво повторила Луция.— У DDD не было человека более преданного.

— Но ведь и вы тоже, дорогая Луция, конечно, отпосились к нему без всякой ненависти,— пошутил Марулл, сделав выразительное ударение на слове «вы».

— Хорошо,— уступила Луция,— я его похороню.

Оказалось, однако, что останков Домициана на Палатине нет. Тело тайно унесла, невзирая на опасность, старая кормилица императора — Филлида.

Они отправились в дом Филлиды, простой деревен-

ский дом в предместье Рима. Да, мертвое тело было там. Филлида — невероятной толщины старуха — не пожалела денег: труп был уже омыт, умащен, надушен благовониями, наряден и убран, самые дорогие косметисты, должно быть, потрудились над ним. Филлида сидела у погребального ложа, по ее обвислым щекам бежали слезы.

Мертвый Домициан был исполнен sloкойствия и достоинства. Ничего не осталось от хвастливого величия, которое ему случалось судорожно разыгрывать при жизни и которым нередко бывал отмечен его облик. Брови, обыкновенно с угрозой сдвинутые, больше не хмурились, опущенные веки скрыли близорукие глаза, так угрюмо и жестоко смотревшие прежде, и ничто, кроме решительного подбородка, не напоминало теперь о бывшей через край энергии его лица. Лавровый венок покрывал облысевший череп, другие знаки власти старуха, к своему горю, раздобыть не смогла. Но мертвый казался красивым и мужественным, и Марулл с Регином нашли, что DDD выглядит теперь царственнее, чем во многих, столь многих случаях, когда он из всех сил старался быть владыкою и богом.

Старуха уже сложила дрова для костра. Она сказала, что не даст Луции, убийце, присутствовать при сожжении. Оба господина снова отправились к Луции; они предлагали силой перевезти труп из дома Филлиды в Тибур, в поместье императрицы. Но Луция не согласилась. В глубине души она была рада поводу отказаться от демонстративного жеста, к которому ее припуждали Марулл и Регин. Она уже снова была прежней Луцией. Она любила Домициана, он делал ей добро и делал ей зло, и она отвечала ему добром и злом, — счета сведены, мертвый не вправе чего бы то ни было от нее требовать. Последствий своего поступка, Анния и его солдат она не боялась.

Итак, лишь Марулл, Регин и Филлида видели, как легло на погребальный костер тело последнего императора из династии Флавиев. Они открыли мертвому глаза, поцеловали его, потом, отвернув лица, разожгли костер. Благовония, которыми был напитан труп, разливали сильный аромат.

— Прощай, Домициан,— кричали они,— прощай, владыка и бог Домициан!

А Филлида выла, и голосила, и рвала на себе одежды, и раздираала ногтями свою жирную плоть.

Марулл и Регин смотрели, как догорает костер. Вероятно, никто — даже Луция — не знал лучше, чем они, слабостей умершего, но и достоинств его никто не знал лучше.

Потом, когда костер догорел, Филлида залила тлеющие угли вином, собрала кости, смочила их молоком, вытерла льняною тканью и, смешав с душистыми мазями, положила в урну. Ночью, благодаря заступничеству Марулла и Регина, ее тайно пропустили в фамильное святилище Флавиев. Там погребла она прах Домициана — смешала с прахом Юлии, которую тоже выкормила своею грудью; ибо негодующая старуха считала, что не Луции место рядом с Домицианом, но что четою и парюю ее орлу Домициану была и остается ее голубка Юлия.

На следующий день старый, скрюченный подагрой сенатор Корнелий, который до сих пор мужественно терпел невыносимые муки, вскрыл себе вены в присутствии своего друга Секунда. Он достиг цели, он увидел смерть проклятого деспота и возрожденную свободу. День настал. Он умер счастливый.

День настал. В своем рабочем кабинете сидел сенатор Корнелий, историк, и передумывал все случившееся. Резкие складки на мрачном, землистого цвета лице залегли еще глубже — то было лицо старика, хотя ему только недавно перевалило за сорок. Он вспоминал мертвых друзей — Сенециона, Гельвидия, Арулена; полный скорби, думал он о том, как часто и как тщетно призывал их к благоразумию. Да, в этом было все: выказывать благоразумие, выказывать терпение и тапть злобу в сердце, пока не придет срок выпустить ее на волю. И срок настал. Пережить эру ужаса — вот что было главное. И он, Корнелий, ее пережил.

Благоразумие — отличное качество, но счастья оно не дает. Сенатор Корнелий не был счастлив. Он вспом-

нал лица своих друзей, ушедших из жизни, лица женщин, ушедших в ссылку. Непреклонные лица, и вместе с тем лица людей, которые смирились. Они были героями, а он — только человеком и писателем. Они были только героями, а он — человеком и писателем.

Он был историком. События следовало оценить с исторической точки зрения. Для времен основания государства, для времен республики были необходимы герои, для следующих веков, для империи требовались благоразумные люди. Основать государство мог только героизм. Утвердить его и охранить мог только разум. И все-таки хорошо, что они жили на свете — Гельвидий, и Сенецион, и Арулен. Герои нужны любой эпохе — чтобы сберечь героизм для тех времен, которые не смогут существовать без героизма. И он радовался, что ему предстоит облечь в слова накопившуюся ненависть к тирану и полную любви, полную скорби память о друзьях. Он привел в порядок многочисленные заметки и зарисовки, которые прежде делал для себя одного, и принялся набрасывать введение — общую картину эпохи, которую должна была изобразить его книга. В мощных, сумрачных фразах, громоздившихся будто каменные глыбы, живописал он ужасы и преступления Палатина и находил для героизма своих друзей слова широкие и светлые, как небо раннего лета.

Глава третья

В этот свежий день, в самом начале весны, когда Иосиф с Иоанном Гисхальским шли по плантации шелковицы, никто бы не дал им — ни тому, ни другому — их лет. Семь десятков посеребрили сединой бороду Иосифа и измяли его худое лицо, но теперь, под ветром, оно посвежелело, и глаза смотрели оживленно. И если усы Иоанна стали совсем белые, то и на его смуглом, хитром и почти не тронутом временем лице играл румянец, а лукавые глаза смотрели совсем молодо.

Иосиф третий день гостил у Иоанна в Гисхале. Иоанн знал, что его гость довольно равнодушен к сельскому хозяйству, но не мог сдержать своей мужицкой

гордости и, хоть сам над собою посмеивался, снова потащил Иосифа по всему обширному образцовому имению, а Иосиф должен был смотреть и восхищаться его замечательными давяльными прессами, его винными погребами, его гумнами, в особенности же его посадками тутовых деревьев и его шелковыми мануфактурами.

Он смотрел и восхищался машинально, мысли его были далеко, он вкушал ту радость, которая охватила его, когда он вновь очутился в Галилее.

Вот уже почти двенадцать лет, как он жил в Иудее, вдали от Рима, нового и очень чуждого ему Рима солдатского императора Траяна. Нет, он нисколько не жалел об этом милитаристском, дисциплинированном, безукоризненно организованном и очень холодном Риме, Рим отвернулся от него, он был так же не способен найти общий язык с трезвым, практичным, светски безучастным римским обществом, как это общество — с ним.

Но и в Иудее он не обжился, не освоился. Иногда, правда, он пытался уговорить себя и своих друзей, что ему хорошо в тишине его поместья Беэр Симлай. Достаточно долго был он одиночкой, исключением, теперь, в старости, он не ищет ничего лучшего, как раствориться во всеобщем. И все-таки, если быть совсем откровенным, в глубине души он чувствует себя неуютно в этой своей тишине.

Имение Беэр Симлай, которое он когда-то купил по совету Иоанна, процветало. Но в нем, в Иосифе, там никто не нуждался: его сын Даниил, теперь уже двадцатипятилетний молодой человек, вырос под присмотром старого Феодора в способного и увлеченного своим делом хозяина, и присутствие Иосифа было скорее помехою, нежели подмогой. И вообще благополучие имения — насколько в силах предвидеть человек — казалось обеспеченным: вся окрестность Кесарии, столицы провинции, находилась под особым покровительством римских властей. Правда, земли эти были заселены, главным образом, сирийцами и выслужившими свой срок римскими солдатами, а немногочисленные евреи смотрели на Иосифа исподлобья и без конца злословили насчет расположения, которым он пользуется у римлян

даже при новом императоре Траяне. Мара предпочла бы жить в «настоящей» Иудее, чем здесь, среди «язычников», и Даниил страдал от недоверия и насмешек еврейских соседей. Вместе с тем жене и сыну процветание поместья доставляло немало радости, конечно, гораздо больше, чем ему самому.

Мара встретила весть о гибели Маттафия спокойнее, чем он ожидал; она не прокляла мужа, не разразилась неистовыми укорами. Но узы, связывавшие их, распались. Внутренне она отреклась от него — от убийцы двух ее сыновей, не избранника божия видит она в нем теперь, но поверженного, — беда ползет по его следам! Впрочем, она так отдалилась от мужа, что уже и не говорит, не спорит с ним об этом. Они спокойно живут бок о бок — в дружеском отчуждении.

И отношения с сыном, с Даниилом, сложились не так, как следовало бы. Дело не только в том, что Даниил угнетает дурное мнение еврейских соседей об его отце, — до мозга костей он сын своей матери, он унаследовал ее уравновешенность, ее вежливую сдержанность. Он безупречный сын, но робеет перед своим безудержным и непонятым отцом, и все попытки Иосифа завоевать его доверие терпят неудачу.

Так и живет Иосиф — в полном одиночестве посреди размеренной и деятельной жизни своего поместья. Он нишет, проводит много времени над своими книгами. Иногда навещает друзей: например, едет в Ямнию, к верховному богослову, или, как теперь, — в Гисхалу, к Иоанну. У него много друзей в этой стране, — после «Апиона» он пользуется уважением большинства евреев. Но уважение лишено теплоты — прежнего двуручничества ему не забывают. Он живет в Иудее чужеземцем среди собственного народа.

В последнее время им овладела странная непоседливость. Повинна в ней, как ему кажется, шаткость политического положения. Ибо большой восточный поход, который готовит воинственный император Траян, чреват новыми опасностями и для Иудеи. Но на самом деле то, что гонит Иосифа прочь из мира и тишины его поместья Беэр Симлай, сидит в нем самом. Как во времена его юности, в далекие времена, когда он писал:

Сорвись с якоря своего,— говорит Ягве,—
Не терплю тех, кто в гавани илом зарос,
Мерзки мне те, кто гниет среди вони безделья.
Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,
И ноги для бега,
Чтобы он не стоял, как дерево на своих корнях.

Он не выдерживает в своем Беэр Симлае. Он пускается в путь, без всякой определенной цели странствует он по Иудее — туда-сюда; только в канун праздника пасхи, то есть не раньше, чем через три недели, намерен он вернуться в свое поместье.

И вот он гостит у Иоанна. Иоанн переехал в Иудею гораздо позже, чем Иосиф. Иоанн не изменил прежнему решению и расстался с Римом и с делами в Риме лишь тогда, когда твердо уверился в собственном умении владеть своим пламенным сердцем патриота. И верно, все пять лет, что он живет в Иудее, он мужественно противится искушению помочь «Ревнителям дня». Эти годы он посвятил заботам о том, чтобы заново — богато и пышно — отстроить свой родной город, древний горный городок Гисхалу, который был разрушен сперва в Великую иудейскую войну, а потом, еще раз, во время восстания «Ревнителей». А самое главное — он сделал из своего имени под Гисхалой образцовое хозяйство.

Они обходят поместье, два старика, и Иоанн показывает другу свои нововведения на тутовых, масличных и виноградных плантациях. Светит яркое, молодое и ласковое солнышко первых весенних дней, оба радуются его лучам. Но если не хочешь озябнуть, надо двигаться поживее. Они идут быстрым шагом, Иосиф немного сутулясь, Иоанн — он ростом пониже — совсем прямой. Иоанн болтает без умолку. Он видит, что Иосиф его не слушает, но ему и не нужен внимательный слушатель, он просто радуется тому, что сделано и достигнуто, хочет выговорить свою радость и сам посмеивается над своею старческой болтливостью. Все же ему хочется вовлечь Иосифа в настоящий спор; с шутливой запальчивостью он начинает:

— Вы сами видите, дорогой мой Иосиф, моя недвижимость в хорошем состоянии, это то, что люди назы-

вают образцовым хозяйством. И, однако, это образцовое хозяйство не приносит мне никакого дохода, наоборот, я несу убытки, и если я не сбываю его с рук, так только потому, что оно доставляет мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие производить отличное вино, отличное масло, отличный шелк. А теперь, прошу вас, продолжим наше рассуждение: если уж я, со всеми особыми льготами, которые мне предоставляют римские власти, не могу выжать из хозяйства никакой прибыли, как прикажете кормиться трудом своих рук обыкновенному крестьянину? Новые налоги и пошлины, которыми облагает восточные провинции министр финансов Траяна, попросту губят мелкого крестьянина. А ожидаемого результата, конечно, нет, потому что итальянское вино даже и при таких условиях не становится лучше и спрос на него не возрастает. Не знаю, как в других местах, а у нас в Иудее все это ведет лишь к одному — к росту беспорядков в стране.

— К росту беспорядков? — переспросил Иосиф, теперь он был само внимание.

Иоанн искоса поглядел на него.

— Судя по моей Галилее, — сказал он и улыбнулся скорее удовлетворенно, чем злорадно, — нигде в Иудее крестьяне не могут быть особенно довольны новыми эдиктами. Нет сомнения, что «Ревнители дня» повсюду поднимают голову. Возможно даже, что именно в этом и состоит главная цель, которую римляне преследуют своей странной финансовой политикой. Я вполне себе представляю, что до того, как Траян начнет Восточную кампанию, некоторые военные захотят навести порядок здесь, в Иудее, точнее говоря — то, что они называют порядком. А для этого есть ли средство лучше, чем спровоцировать восстание и, подавляя его, раз и навсегда покончить со всеми не вполне надежными элементами? Впрочем, дело не только в финансовой политике римлян, — продолжал он. — Да, хоть я по-прежнему стою на том, — он улыбнулся, дойдя до предмета их вечного спора с Иосифом, — что при разумных ценах па вино и на масло не было бы ни Иудейской войны, ни второго восстания, я все-таки охотно с вами соглашусь, что в наших иудейских войнах дерутся не только

за цены на масло, но и за Ягве. И то и другое должно стать проблемой — не только рынок, но и Ягве. А иначе настоящего накала не возникает.

— Значит, вы считаете,— спросил Иосиф,— что и Ягве теперь опять проблема?

— Тут, доктор Иосиф,— отвечал Иоанн,— слово за вами, не за мною. Но если вы желаете знать мнение обыкновенного помещика, который смотрит на своего Ягве не как богослов, а просто как человек, не липси́ный здравого смысла, охотно вам отвечу. Идея Иохана-на бен Заккаи заменить утраченное государство и утраченный храм Ямнией была превосходна,— в ту пору, после катастрофы, другого способа сохранить единство нации не было. Обряд и Закон действительно заменили тогда государство. Но постепенно, по мере того как подрастало новое поколение, не знавшее государства и храма, смысл обряда утрачивался, и сегодня Закон — это груда формул, обряд душит смысл, Иудея задыхается под властью книжников — пустое слово не может надолго заменить бога. Чтобы обрести значение и жизнь, богу нужна своя страна. Вот что и делает сегодня Ягве проблемой, понимаете? Истинно новую жизнь Ягве сможет обрести только тогда, когда Иудея из временного пристанища для его евреев снова сделается страной его евреев. Ягве нужно тело. Его тело — этот край, его жизнь — эти масличные рощи, виноградники, горы, озера, Иордан и море, и пока Ягве и эта страна оторваны друг от друга — оба мертвы. Не сердитесь, что я ударился в поэзию. Ведь простой старик помещик не может, конечно, выражать свои мысли так же ясно, как вы.

Иосифу было что возразить против такого языческого представления о божестве, но он промолчал. Не возражая Иоанну, он сделал вывод:

— Стало быть, если обе проблемы, Ягве и рынок, действительно требуют разрешения, вы находите, что и внешние и внутренние условия для восстания уже сложились? Вы считаете, что «Ревнителю грядущего дня» с полным правом могут сказать: «День настал»? Правильно я вас понимаю?

— Какой вы еще молодой в ваши семьдесят лет,— отозвался Иоанн,— и какой горячий! Но так просто вы

меня в угол не загоните. Разумеется, пока оба эти вопроса — Ягве и состояние рынка — не заострятся до предела, восстание невозможно. Это я действительно сказал. Но я не говорил, будто эти факторы — единственно необходимые предпосылки восстания. Если хотите знать мое мнение, то первое и важнейшее условие заключается в том, чтобы военные шансы такого восстания были не слишком плохи.

— Тогда все, что вы сказали, остается чистейшей теорией, — отозвался Иосиф разочарованно.

— Вы опять хотите загнать меня в угол, — шутливо упрекнул его Иоанн. — Можем ли мы сегодня предвидеть, каковы будут военные шансы «Ревнителей», когда этот Траян действительно начнет свою Восточную кампанию?

Тут Иосиф потерял терпение.

— Так вы осуждаете планы «Ревнителей дня», — спросил он, — да или нет?

— Я не занимаюсь политикой, — вывернулся Иоанн. — Как вы знаете, прежде чем покинуть Рим, я основательно покопался в своих чувствах и, только твердо уверившись, что мое сердце уже не сможет сыграть со мною никаких шуток, позволил себе вернуться в Иудею.

В раздраженном молчании Иосиф шагал рядом с Иоанном. Потом Иоанн заговорил снова:

— Впрочем, мое смирение — не препятствие для кое-каких мечтаний. Предположим, к примеру, что «Ревнителю» не так благоразумны, как мы с вами, и что даже при совсем ничтожных шансах они все-таки поднимают свое восстание. Могли бы вы представить себе большее счастье для нас обоих, чем увлечься их порывом? Вы только вообразите, как бы мы ожили и помолодели, мы, ветхие старики, которым нечего больше ждать от жизни! Я не люблю громких слов, но погибнуть на таком взлете — более замечательной кончины я не могу для себя придумать!

Иосифа поразило, что его собеседник столь беззащитно высказывает подобные чувства.

— Вы страшно эгоистичны, Иоанн, — сказал он. — Ведь это недопустимо, это просто неприлично в на-

шем возрасте вести себя так по-мальчишески безрассудно!

— А вы стали настоящим сухарем, — укоризненно покачал головой Иоанн. — Вы разучились понимать шутки. Конечно же, я только шутил. Но раз вы хотите судить совершенно трезво и быть до конца справедливым, согласитесь: если мечта о восстании согревает мне сердце, так это не один эгоизм. Вероятно, новое выступление «Ревнителей» провалится так же быстро, как прежние. И все равно — бессмысленным оно не будет. Я думаю сейчас о проблеме Ягве. Восстание было бы предупреждением: не забывайте об Иудее, поглощенные обрядом и словом, не забывайте о стране. И это предупреждение необходимо. Человек забывает ужасающе быстро! Было бы совсем неплохо, если бы нашим евреям снова напомнили об их стране — о том, что это *их* страна. А в противном случае боюсь, как бы ученые окончательно не погубили Ягве, а Иудея не задохнулась в Ямнии.

— Скажите мне, — настаивал Иосиф, — военные приготовления уже начались? Вы знаете что-нибудь определенное о планах «Ревнителей»?

Иоанн поглядел на Иосифа с доверительной, лукавой и бесцеремонной усмешкой, молодившей его лицо.

— Может быть, и знаю кое-что, а может, и нет. Ничего определенного я знать не хочу, потому что в политику не вмешиваюсь. А все мои излияния — досужая болтовня. Так, видно, изливает душу перед другом всякий старик, когда снова приходит весна, и он пригрелся на солнышке, и у него развязался язык.

Но теперь Иосиф отвернулся, не на шутку раздраженный, и не сказал больше ни слова. Тогда Иоанн подтолкнул его локтем и промолвил с хитринкой в голосе:

— Но если даже я ничего не знаю, я достаточно хорошо знаю своих людей и кое-какие вещи угадываю чутьем, как угадываю погоду. А потому, мой дорогой Иосиф, примите один маленький совет. Если вы собираетесь путешествовать по Иудее именно теперь, то отправляйтесь сперва в Кесарию, и пусть вам в губернаторском дворце выправят надежный документ, кото-

рый мог бы удостоверить вашу личность при любых обстоятельствах. Я это только так... на всякий случай...

Назавтра Иосиф распрощался с Гисхалой. Иоанн проводил его далеко, и когда Иосиф, пустив коня вскачь, через некоторое время оглянулся, Иоанн все стоял на дороге и глядел ему вслед.

В Кесарии, куда Иосиф, следуя совету Иоанна, приехал за новым пропуском, он нанес визит губернатору. С тою подчеркнутой и отстраняющей учтивостью, какая была свойственна почти всем доверенным лицам императора Траяна, Лузий Квиет пригласил всадника Иосифа Флавия к ужину.

Сидя в окружении высших военных и гражданских властей провинции, Иосиф чувствовал себя здесь бесконечно чужим и одиноким. Вопреки нарочитой любезности господ собравшихся, он снова, уже в который раз, ощутил, что они принимают его далеко не безоговорочно. Он не принадлежал к их числу. Конечно, благодаря своему прошлому и своим привилегиям он был связан с ними теснее, чем кто-либо иной; но в конечном счете он оставался для них платным агентом — не более.

Говорили о надвигающихся событиях. По всей вероятности, если Восточная кампания действительно начнется, по всей Сирии, Иудее и Месопотамии вспыхнут волнения. Иоанн был прав. Господа за столом у губернатора почти не скрывали, что такое восстание было бы им на руку. Оно дало бы желанный повод основательно прочистить эту Иудею — территорию, где будут накапливаться войска и пройдут линии коммуникаций, — прежде чем армии выступят к отдаленным границам Востока.

Как расспрашивают самого сведущего эксперта, так снова и снова спрашивали Иосифа, можно ли предполагать, что «Ревнителю дня» все же воздержатся от восстания, сознавая его безнадежность. Иосиф разъяснял, что подавляющее большинство еврейского населения настроено совершенно лояльно и что «Ревнителю» мыслят достаточно здраво, чтобы не начинать восстания, не имеющего никаких видов на успех. Губернатор

Квиет слушал внимательно, но, как показалось Иосифу, без всякого доверия.

Впрочем, и Иосиф говорил без присущей ему силы убеждения. Напротив, он был необычно рассеян. Дело в том, что с первой же секунды, едва переступив порог губернаторского дома, он высматривал повсюду одно лицо — лицо Павла Басса, человека, который лучше всех знал военную обстановку в провинции Иудее: губернаторы менялись, но полковник Павел оставался; собственно говоря, правителем Иудеи был он, и если губернатор давал прием, гости ожидали увидеть и Павла. А с другой стороны, разумеется, исключено, чтобы Павел появился здесь, зная, что встретит отца. И все же, как это ни глупо, отец не перестает искать его глазами.

На следующее утро Иосиф отправился в правительственное здание за паспортом. Чувство отчуждения и враждебности захлестнуло его, когда он вошел во дворец — холодный, белый, роскошный, несокрушимый и грозный, символ Траянова Рима.

Ведомство, в которое ему надлежало обратиться, размещалось в левом крыле здания. Когда, быстро уладив дело, он, с новым паспортом за пазухой, пересекал большой зал, чтобы выйти через главные двери, в эти двери вошел какой-то офицер. Офицер, стройный господин с бледным, худощавым лицом, элегантный, подтянутый, свернул направо. Никто не мог бы сказать, заметил ли он, отвечая на приветствие часовых, подходившего слева человека. И никто не мог бы сказать, узнал ли Иосиф этого офицера. Но когда Иосиф вышел, он выглядел дряхлым и разбитым, на площади перед дворцом, такой просторной и такой пустой, не хватало воздуха для старика, жадно хватавшего ртом воздух, и тот, кто его увидел, подивился бы, что столь незначительное дело, как получение паспорта, до такой степени изнурило его и обессилило.

В свою очередь, офицер свернувший в правую половину здания, был еще бледнее обычного, и его узкие губы были сжаты еще плотнее. Но затем, у порога канцелярии, лицо офицера приняло прежнее выражение. Да, Павел Басс, или, как его звали раньше, Павел Флавий, казался теперь скорее довольным, чем озабо-

ченным. Так оно и было. Ему пришла в голову идея, одна идея, которую он уже давно искал и не мог найти.

В тот же день он говорил с губернатором Лузием Квиетом.

До кануна пасхи взял себе отпуск Иосиф, расставшись с поместьем Беэр Симлай, с женою и сыном, до этого срока он свободный человек, может бродить по стране, куда бы ни повел его ветер и собственное сердце.

На горах была еще зима, но в долинах весна уже началась. Иосиф странствовал без усталости — то на муле, то на коне, а то и пешком. Он вспоминал те дни, когда впервые путешествовал по Галилее, знакомясь с ее обитателями. Вот и теперь ему бывало отраднее всего, пока он оставался никому не известным пришельцем, и если его окликали по имени, он задерживался ненадолго.

Но вместе с тем он разыскивал старых товарищей и людей, чей нрав и взгляды его интересовали. С этой целью приехал он и в Бене-Берак к доктору Акавье.

Иосиф довольно часто встречался с Акавьею; при полном несхождении их характеров и образа мыслей оба охотно проводили время друг с другом. Бесспорно, наряду с Гамалиилом Акавья самый значительный среди ученых. Так же, как Гамалиилу, ему лишь немного за пятьдесят. Но меж тем как Гамалиилу с первых дней жизни все достается само собой, Акавья выбился из низов, он был пастухом, свои знания и свое место в коллегии богословов в Ямнии ему пришлось завоевывать тяжким трудом и утверждать свое учение вопреки сотням препятствий. Учение, которое с диким и слепым упорством, но одновременно и с хитроумною, изощреннейшею методичностью отгораживает все еврейское от всего нееврейского, узколобое, фанатичное учение, которое противоречит всему, что Иосиф пережил в свои славные годы и возвещал в своих прославленных книгах. И все-таки даже Иосиф не мог не поддаться чарам, исходившим от доктора Акавьи.

Он пробыл в Бене-Бераке день, и другой, и третий. Потом пришел срок уезжать, если только он хотел вернуться к празднику пасхи в свое поместье. Но когда он стал прощаться, Акавья удержал его.

— Как это так, доктор Иосиф,— сказал он,— разве вы не хотите провести со мною пасхальный вечер?

Иосиф изумленно посмотрел на него, как бы спрашивая, не шутит ли Акавья. Большая голова Акавьи сидела на громоздком и мощном теле. Сквозь тускло-серебряную бороду свежо и розово просвечивали щеки, волосы низко сбегали на широкий, могучий, изрезанный морщинами лоб. Густые брови чуть заметно шевелились над карими глазами. Страстный, суровый огонь мерцал в этих глазах, заставляя забывать о приплюснутом носе. Впрочем, сегодня, в то мгновение, когда Акавья предлагал Иосифу провести пасхальный вечер с ним, в его глазах, всегда таких диких и буйных, вспыхивали лукавые искорки.

В самом деле, поразительно, что пылкий националист Акавья приглашает его, Иосифа, соглашателя, который всю свою жизнь старался примирить евреев, греков и христиан, приглашает его к себе на пасхальную трапезу — великий праздник национальных воспоминаний. Это и вызов и честь. На какую-то долю секунды Иосиф так ошеломлен, что не знает, как ему быть. Обычай требует, чтобы Иосиф, глава дома, провел этот вечер в своем поместье, в кругу своей семьи и своих рабов, чтобы он прочел им агаду — рассказ об избавлении евреев из египетской неволи. Но Иосиф говорит себе: жена и сын не будут слишком огорчены его отсутствием, скорее они порадуются, что Иосиф, «предатель», именно в этот святой вечер гостит у Акавьи, почтеннейшего из почтенных, в котором еврейские патриоты видят главного своего вождя. После первого изумления Иосиф почувствовал глубокую радость.

— Благодарю вас, доктор Акавья,— сказал он,— я принимаю ваше лестное приглашение, я остаюсь.

И они взглянули друг на друга и усмехнулись друг другу в лицо понимающей, воинственной и дружеской усмешкой.

В вечер рассказа о прошлом, в вечер агады, Иосиф занял почетное место — справа от хозяина — в доме доктора Акавьи в Бене-Бераке. Счастливое изумление, охватившее Иосифа, когда Акавья пригласил его к пасхальной трапезе, не рассеялось — оно стало еще силь-

нее. Он словно витал над землей, этот вечер казался ему вершиной почета, вершиною более высокою, нежели тот час, когда в Риме император Тит увенчал лаврами его бюст, поставленный, по приказу Тита, в библиотеке храма Мира.

Ведь если вечер агады, столь недавно учрежденный, уже сегодня празднуется с такою теплотой и таким усердием не только евреями земли Израилевой, но и по всему миру, это в первую очередь заслуга доктора Акавьи: он установил «чин» этого вечера, его «седер», он создал большую часть по-детски трогательных, печальных, отмеченных могучею верой, и надеждой, и гневом молитв и обрядов этого вечера, которые именно теперь, в пору угнетения, с такою силой пробуждали в каждой сврейской душе память о жестоком бедствии и чудесном избавлении.

Из дорогого серебряного тоедонного блюда, где лежали всевозможные кушанья — наивные и впечатляющие символы рабства и освобождения, Акавья взял лепешки из неквашенного теста, напоминавшие о поспешности, с какою евреи некогда покидали враждебную страну. Акавья разломил лепешки и показал гостям.

— Вот хлеб нищеты, — сказал он, — который отцы наши ели в Египте. Придите все голодные и вкушайте от него. Придите все обремененные нуждой и празднуйте с нами праздник пасхи. Нынешний год — здесь, следующий — в Иерусалиме. Нынешний год — рабы, следующий — свободные.

Повсюду на земле в этот миг повторяли евреи бесхитростные и убежденные слова Акавьи, и повсюду — чувствовал Иосиф — звуки их возвышали сердца. Да, этот год — последний год угнетения, на следующий мы справим пасху в новом, чудом восставшем из руин Иерусалиме.

А Акавья продолжал; в чеканных простых и трогательных формулах излагал он историю избавления. Он с волнением следил за собственным рассказом, знакомым ему в мельчайших подробностях, он исполнял свою же заповедь: «Каждого еврея в этот вечер пусть осенит такое чувство, словно он сам избавился от рабства египетского».

Иосиф прислушивался к голосу Акавы. Голос был низкий, грубый, лишенный всякой мелодичности, но его пылкая, властная убежденность покоряла Иосифа. Все за столом пьянели от слов Акавы, точно от вина. Иные из гостей, как и сам Иосиф, еще видели собственными глазами блеск великого пасхального праздника в Иерусалимском храме, но не от боли сжимались их сердца в эту годину оскудения и гнета, вспоминая о папаломниках, вспоминая о великолепии священников, — наоборот, гневные намеки на сегодняшний день, заключавшиеся в скромных и глубоко трогательных обрядах, делали еще хмельнее их гордость своим народом и своим всемогущим богом.

Иосиф думал о недавнем вечере в доме губернатора в Кесарии, об этих здравомыслящих офицерах и чиновниках, — уверенные в своей силе, исполненные холодного, сугубо реалистического высокомерия, они с презрением взирали на варваров-идеалистов, которые все снова и снова бросались в безнадежную битву за свою страну и своего бога. Нет, стократ скорее он на стороне этих, побежденных, чем тех — победителей!

А побежденные продолжали опьяняться воспоминаниями о былых своих победах и предвкушением грядущих. Они приготовили кубок пророку Илии, величайшему патриоту прошедших времен. Он непременно явится в эту праздничную ночь, предтеча мессии, посланец Ягве-мстителя, он явится и найдет чашу приветствия уже налитой до краев! Сомнений не было.

И они пели стихи из великого галлеля — буйный, ликующий псалом, который восхваляет исход из Египта и мощь еврейского бога, сотворившего этот исход. «Море увидело его и побежало, — пели они, — Иордан обратился вспять. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, отчего ты побежало? И с тобой, Иордан, отчего обратился ты вспять?» Воображение уже рисовало им, как их бог Ягве истребляет и этих римлян. Воды сомкнутся над императором Траяном и его легионами и поглотят их, как некогда поглотили волны Чермного моря египетского царя — со всадником, и с конем, и с колесницами. Аллилуйя!

Обряды были исполнены, молитвы допеты. Спусти-

лась ночь, и гости стали прощаться. Иосиф тоже хотел уйти, но Акавья все удерживал его, пока наконец они не остались впятером — Акавья, Иосиф и еще трое.

Искусство Акавьи состояло в том, что с помощью виртуозно разработанной методики он словами Писания мог объяснить все происходящее на земле. Писание все провидело, все, что было, и все, что будет, и кто умеет правильно толковать Писание, у того в руках ключ, открывающий смысл всех событий мировой истории. Между тем, что случилось тогда в Египте и что совершается теперь, при императоре Траяне, нет никакой разницы, и вполне понятно, если именно нынче евреи справляют пасху с таким гневным ликованием. Священный хмель и неистовство сегодняшнего вечера — не что иное, как предвосхищение яростного празднества победы над Римом.

Теперь уже Акавья обращался прямо к Иосифу, без околичностей бросил ему вызов. Моисей, а потом пророк Илия не чинились с богом, они просто заставили его выполнить их волю и явить чудеса. А значит, этого бог и хотел. Он хотел, чтобы его заставили. Он ждал, чтобы ему помогли. Кто заявляет, что время еще не пришло, для того оно не придет никогда! Нет, нужно верить, фанатически верить, что мессия, мессия во плоти, придет завтра! Еще нынешней ночью явится пророк Илия, предтеча, и осушит свой кубок! Кто в это верит, кто верит в это так же твердо, как в таблицу умножения, тот заставляет бога послать мессию завтра же!

Акавья любил держать себя как человек из народа. Перед Иосифом сидел исполинского сложения крестьянин, непоколебимый в своей вере, пересыпавший свою речь крепкими, вульгарными словечками. В конце концов он грубо набросился на Иосифа.

— Если все будут поступать, как вы — сложат руки да покорно согнут спины, — мы прождем до той поры, покуда у нас трава из рта не вырастет, а мессия так и не придет!

Язвительно и угрожающе слетали слова с его губ; резким движением он смахнул со своей тускло-серебряной бороды крошки неквашенного хлеба. Утонченный и хрупкий аристократ, сидел перед ним Иосиф; он не обиделся,

не хотел портить себе этот великий вечер. Он отложил свой ответ и с головою погрузился в радость, зажигаясь фанатической верой остальных.

Ибо всё безудержнее отдавались они своим прекрасным грезам. Впрочем, только ли грезам? Нет, это было нечто гораздо большее, это были планы — развернутые, далеко идущие. Когда речь зашла о ближайших семи неделях — о неделях искупления, неделях между пасхой и пятидесятницей, самый младший из оставшихся за столом, юный и красивый доктор Элеазар, окинул всех блаженным взором и спросил:

— Где, о отцы мои, мои учителя и друзья, где встретим мы этот праздник пятидесятницы?

Доктор Тарфон, чуть заметно кивнув головой в сторону Иосифа, бросил неосторожному Элеазару осуждающий взгляд. Но Акавья, словно сам только что не осыпал гостя грубостями, заметил:

— Друзья мои, неужели вы хоть сколько-нибудь опасаетесь человека, который написал «Апиона»?

Вопрос юного доктора Элеазара испугал Иосифа; разум подсказывал ему, что он должен восстать против отчаянного и совершенно безнадёжного выступления, которое эти люди, по-видимому, назначают уже на ближайшие недели. Но сладостен был его испуг, а когда затем он услышал слова доверия из уст Акавьи, огромное счастье всколыхнулось в нем. Все живее поднимались старые соблазны в душе семидесятилетнего Иосифа, вместе с остальными он утопал в их святом опьянении. Теперь и он был твердо убежден, что еще этою ночью придет пророк Илия и осушит свой кубок.

Никогда прежде не наслаждался он так остро и полно этой «ночью попечения», когда господь принимает Израиля, свой народ, под особую свою защиту. Точно так же, как остальные, он с верою внимал диким и мудрым речам неуклюжего волшебника Акавьи, так же, как остальные, забывался в бессвязных и великолепных фантазиях о гибели врагов и возрождении Иерусалима.

Так, вместе с остальными, просидел он всю ночь. И вместе с остальными огорчился, когда пришли ученики и напомнили докторам, что время молитвы настало. Ибо наступило утро.

Два дня спустя, когда они были одни, Иосиф, откинув стеснение, спросил Акавью:

— Почему вы пригласили меня остаться на пасхальную вечерю?

Огромный Акавья сидел, спокойно скрестив ноги, уронив правую руку на колено, левой рукой облокотившись на спинку стула и подпирая голову. Вдумчиво глядел он небольшими карими глазами в худое лицо Иосифа. Потом хладнокровно сказал — прямо ему в лицо:

— Мне просто хотелось поглядеть поближе, какие бывают предатели.

Иосиф отпрянул перед этим неожиданным оскорблением. Акавья удовлетворенно отметил, какое действие произвели его слова.

— Я всегда старался, — продолжал он, — внушить моим ученикам уважение к старости. Но и за всем тем, не теряя уважения к седой голове, я повторяю: вы предатель. Я признаю, что своими заслугами вы потом во многом возместили нанесенный вами ущерб. Сегодня вы предаете в первую очередь самого себя, собственную душу.

Акавья сидел громоздкий, неотесанный; сдержанность, которую он старался сохранить, делала особенно заметным его мужицкий выговор.

— То, что вы сказали, доктор Акавья, — отозвался Иосиф (не сознавая этого, он говорил с особою вежливостью и с особым произношением человека, некогда получившего почетное докторское звание в Иерусалиме), — то, что вы сказали, звучит слишком общо. Не будете ли вы так любезны разъяснить мне свою мысль подробнее.

Акавья засопел, подул в ладони, крепко потер их, словно готовясь поднять тяжелый груз. Потом сказал:

— Ягве назначил вам биться за его дело, за Израиля. Но вы, как только борьба потребовала труда и мужества, бросили ее. Вы улизнули в литературу и понесли космополитический вздор. Потом вам это надоело, и вы вернулись на поле боя. Но борьба и на сей раз пришлась вам не по нутру, и вы снова сбежали — назад, к своей удобной и ни к чему не обязывающей писанине. Человек из народа, вроде меня, называет это

предательством. Я говорю все напрямик, хотя и сейчас не теряю уважения к седой голове.

— Мне кажется, ваши обвинения по-прежнему слишком общи,— возразил Иосиф еще вежливее.— Быть может, правда, одна лишь моя старость повинна в том, что я не в силах усмотреть за ними ничего определенного.

— Что ж,— отвечал Акавья,— попытаюсь перевести свои нехитрые соображения на ваш ученый арамейский. Вы отлично видите, доктор Иосиф, чего требуют день и час. Но вы не хотите видеть. Вы предпочитаете закрыть глаза и «бороться» за некий идеал, хотя вам отлично известно, что он недостижим. Вы бежите от трудностей достижимого в покойные мечтания о недостижимом идеале. Вы предаете сегодняшний и завтрашний день ради туманного будущего. Вы предаете мессию из плоти и крови, который, может быть, уже среди нас, ради призрачного, духовного мессии. Вы приносите еврейское государство в жертву космополитской утопии.

Ученые слова с натугою сходили с уст тяжелого, грубого человека.

— Чего вы, собственно, добиваетесь, говоря мне все эти неприятные вещи? — спросил Иосиф очень спокойно.

Спокойствие Иосифа произвело впечатление на Акавью, но вместе с тем и разозлило его.

— Мы не знаем, как к вам относиться,— с яростью проговорил он наконец, пропуская между пальцами пряди тускло-серебряной бороды.— Которую из ваших книг принимать в расчет? «Иудейскую войну»? «Всеобщую историю»? Или «Апиона»? Великий писатель,— загремел он,— должен, по крайней мере, уметь выражаться настолько ясно, чтобы народ его понимал. Я хоть и не великий писатель,— закончил он грубо,— а меня народ понимает.

— Я вас не понимаю, доктор Акавья,— мягко отозвался Иосиф, делая легкое ударение на слове «я». — Не понимаю, почему вы поддерживаете «Ревнителю дню». Вы знаете, что при нынешнем императоре Траяне число легионов возросло, что восточные легионы пополнены, что военные дороги и военное снабжение в таком

образцовом порядке, какого еще никогда не бывало. Кто седлает льва, должен уметь на нем ездить. Вам как мужу Совета, известно, что ездить верхом на льве вы не сможете. Зачем же вы разжигаете мятеж? Вы говорите: День настанет? Прекрасно! Но судить, пришел он или нет, дано вам. И если вы подымете народ не вовремя, разве не погубите вы тогда День, разве не возложите тяжкую вину на себя самого?

— Бог, который велел мне оседлать льва, — сказал Акавья, — научит меня и ездить на нем. — Потом,образив, что эта звонкая фраза годится для народного собрания, но не для писателя Иосифа бен Маттафия, он снизошел до того, что позволил собеседнику глубже заглянуть в его мысли. — Не разум, — сказал он яростно, — может решить, настал ли День, но только инстинкт. Разум — ничто против бога, так было всегда и повсюду. Я говорю это не потому, что сумел избежать соблазнов разума. Я знаю радость логики и учености. Я изучал Писание и Закон всеми методами и ломал себе голову над философией язычников. Но выучил и усвоил я лишь одно: если дело принимает серьезный оборот, помочь может только вера в бога Израилева, который превыше всякого разума, а не логика и не вера в неизменную последовательность причин и следствий. Я верю в Моисея и пророков, а не в Траяна и его легионы. Я хочу быть наготове, когда настанет перелом, когда настанет День. А День настает, истинно говорю вам — День настает! Законы и обычаи хороши и угодны богу, но они остаются праздною болтовней, если не служат приготовлением к независимому государству с полицией, с солдатами, с собственным правосудием. Нам может помочь только восстановление храма, настоящего храма, из камня и золота, и восстановление настоящего Иерусалима, города из кирпича и дерева, с неприступными стенами. И массы это понимают, доктор и господин мой. Нужно быть очень искушенным в греческой мудрости, чтобы этого не понимать.

Бессмысленно было бы выступать с доводами разума против фанатизма этого человека. Не то чтобы Акавье не доставало разума. Напротив, разумом он был, по-видимому, не слабее самого Иосифа. Просто-напросто вера

Акавьѣ была достаточно сильна, чтобы одолеть его разум.

Сознание этой бессмысленности сковало Иосифу язык. А вслед за тем он и вовсе почувствовал себя карликом. Ибо вслед за тем Акавьѣ встал, горою надвинулся на него, доверительно наклонил к нему свою огромную голову; маленькие глаза под широким, морщинистым лбом и густыми, косматыми бровями, смотревшие хитро и вместе одержимо, придвинулись совсем близко к его глазам. Грубый голос зазвучал приглушенно и таинственно:

— Знаете, почему я так горячо поддерживал Гама-лиила, когда он включил «Песнь песней» в число священных книг? Потому что «Песнь песней» — это иносказание, это перекликаются жених-бог и невеста-Израиль. Но если Ягве — жених, он должен бороться за свою невесту Израиля, он должен платить. Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту! Бог должен завоевать свою невесту, он должен заслужить свой народ. Ягве возложил на Израиля тяжелую миссию, и Израиль ее выполнит. Но Ягве тоже обязан выполнить договор, он обязан вернуть Израилю его силу, его государство. И не когда-нибудь, а в ближайшем будущем, теперь же! Вы, Иосиф бен Маттафий, хотите слишком облегчить богу его обязательства. Вы хотите отдать Израиля за бесценок. Я не так благороден. Я мужик и потому недоверчив. Я требую уплаты, коль скоро часть моей работы выполнена. Я требую у Ягве, — поймите меня правильно: не прошу, а требую, — чтобы он вернул Израилю его государство и его храм.

Иосиф ужаснулся дикой страстности, с какой этот человек излагал свои дерзкие и хитрые требования; было очевидно, что он до мозга костей проникнут верою в их справедливость.

— Вы творите Ягве по своему подобию, — проговорил Иосиф негромко, озадаченно.

— Да, — признал Акавьѣ откровенно, вызываяще. — Почему бы мне не творить его по моему подобию, сжали он сотворил меня по своему? — Но, сразу же возвращаясь из мистических сфер на землю: — Не бойтесь, — утешил он Иосифа; он улыбнулся и вдруг, песмотра на

огромную, тусклого серебра бороду, показался очень молодым. — Я твердо обещал верховному богослову, — выдал он свой секрет, — не способствовать никаким мятежным вылазкам евреев, до тех пор пока Эдом, пока римляне не совершат нового злодеяния. — Улыбка стала хитрой и придала ему неожиданное сходство с Иоанном Гисхальским. — Правда, — продолжал он, — я с легким сердцем мог дать Гамалиилу такое обещание. Потому что римляне не заставят себя долго ждать, я в этом уверен. Римская мудрость — глупая мудрость, мудрость близорукая, без бога и без благодати. Римляне совершат злодеяние, я и «Ревнители» будем свободны от своего слова, и бог поможет нам, а не римлянам.

Встревоженный этим разговором, Иосиф отправился в Ямнию, чтобы обсудить с верховным богословом политическую ситуацию.

Гамалиил не только не завидовал Акавье, но, с мудрою осмотрительностью, делал все возможное, чтобы возвысить его авторитет. Ибо Гамалиил не смог бы удержать власть над евреями, если бы не имел на своей стороне пылкого бунтовщика Акавью. Когда Гамалиил учил: «Терпите, покоряйтесь римлянам!» — то Акавья добавлял: «Но лишь на краткий срок, а потом вы подыметесь и вцепитесь в глотку наглому врагу!» И каждый был доволен: верховный богослов — потому что народ не вынес бы бесконечного, изматывающего нервы ожидания, которого Гамалиил от него требовал, если бы не утешитель Акавья; Акавья — потому что рассудок его страшился авантюры, которой жаждало его сердце, и в глубине души он был рад, что осторожность Гамалиила все вновь и вновь предотвращает ее и откладывает. И оба, терпимый, светский Гамалиил и фанатичный, неотесанный Акавья, при всем их несходстве любили, уважали и чтили друг друга.

Вскоре же после начала беседы Иосиф должен был признать, что верховный богослов гораздо лучше осведомлен о политическом положении страны, чем он, Иосиф, хотя он только что побывал у губернатора и у Акави.

— Император Траян,— объяснил Гамалиил Иосифу,— не питает никакой вражды к евреям. Но его гигантской военной машине, чтобы гладко и без потерь прийти в действие, нужна еврейская земля как плацдарм. Поэтому евреи для него помеха, для него и для его губернатора Лузия Квиета. Впрочем, и губернатор сам по себе не враг евреям, он дорожит благополучием провинции и охотно воздержался бы от слишком крутых и опасных мер. К несчастью, в его ближайшем окружении есть человек, который именно о таких мерах и мечтает. А теперь, судя по достоверным данным, этот человек ловко использовал патриотические боевые построения, которые рождены подготовкой к Восточному походу, и внушил губернатору свой взгляд на вещи.

Иосифу стоило немалого труда с полным вниманием следить за словами Гамалиила. Он знал: если верховный богослов говорит об этом опасном человеке из окружения губернатора лишь намеками, он просто щадит чувства Иосифа. Ибо этот опасный человек, чье имя лучше не называть,— не кто иной, как Павел Басс, его сын.

А Гамалиил рассказывал дальше, и Иосиф слушал, несмотря на бурю в сердце. И видит бог, сообщения верховного богослова этого заслуживали. Тот, «Безымянный», предложил поистине дьявольскую идею, губернатор — хотя и не слишком охотно — дал свое согласие, и теперь ждали только одобрения Рима, чтобы привести пагубный план в действие. Заключался же он в следующем: чтобы вернес отделить ненадежные элементы от надежных, предполагалось вновь ввести в провинции Иудее подушную подать.

Подушная подать. Две драхмы. Среди всех притеснений, какие придумали римляне, самое позорное. Если они действительно возобновят этот чрезвычайный налог, отмененный справедливым императором Нервой, это будет сигналом к восстанию, которого хочет Рим, но которого хотят, к сожалению, и «Ревнителю дня». Вероятно, Акавья тоже слышал о предполагаемом возобновлении подати, и, вероятно, это и есть «злодеяние», на которое он намекал.

Оцепенев, слушал Иосиф Гамалиила. Всегда такого быстрого и живого, его сковала оцепенением мысль, что не иной кто-либо, а именно Безымянный, именно его Павел избран божеством для того, чтобы навести новую беду на Иудею. О, какой же ты несчастный, Иосиф! Как вновь и вновь исходят несчастья от всего, что ты создавал,— от твоих сыновей, от твоих книг! Так сидел он неподвижный, словно одурманенный.

Пока наконец до сознания его не дошло, что Гамалиил уже давно замолчал. Он несмело поднял глаза. Тот ответил на его взгляд, и Иосиф понял, что Гамалиил отлично знает все, что происходит в нем в эту минуту.

— Спасибо,— сказал Иосиф.

— Если Кесария введет подушную подать,— продолжал Гамалиил, словно этого немного диалога и не было,— Акавия будет свободен от обещания, которое он мне дал. Возможно, впрочем, что он сохранит спокойствие. Он знает не хуже меня, что «злodeяние» Кесарии никакого реального преимущества против Рима Иудее не даст. У него сильный ум. Вопрос только в том, выстоит ли этот сильный ум против его еще более сильного сердца.

Он хмуро посмотрел прямо перед собой. Прежде он всегда казался Иосифу молодым. Теперь старый Иосиф увидел, что и Гамалиил уже немолод: темно-рыжая борода почти совсем поседела, выпуклые глаза потускнели, фигура и лицо потеряли свою внушительную подтянутость.

Вдруг верховный богослов выпрямился, и перед Иосифом снова был прежний Гамалиил.

— Я хочу просить вас об одной услуге, Иосиф,— сказал он тоном сердечным и вместе с тем властным.— Поезжайте на север. Поговорите еще раз с Иоанном Гисхальским. Если мне не удастся укротить Акавию, может быть, вам повезет — вы удержите Иоанна, тогда хоть север останется спокойным. Вы с ним дружны, он прислушивается к вашим словам. У него же такой ясный ум. Уговорите его внять совету разума.

— Хорошо,— ответил Иосиф.— Я побываю в Гисхале еще раз.

Со дня отъезда из поместья Беэр Симлай Иосиф не знал покоя. Теперь его тревога стала еще сильнее. Поспешно двинулся он в дорогу и продолжал свое путешествие все поспешнее. При этом он выбрал не кратчайший путь, а бороздил страну вдоль и поперек. Так он еще раз проехал большую часть Иудеи и Самарии, торопливо, словно боясь что-то пропустить, словно то, чего он сейчас не увидит и не вберет в себя еще раз, ему уже не увидеть никогда больше.

В Самарии он узнал, что губернатор издал эдикт, предписывающий вновь обложить подушной податью еврейское население провинции. И уже на следующий день, рассказывали Иосифу в маленьком селении Эсдрала, начались серьезные волнения в Верхней Галилее. Никаких точных сведений ему сообщить не могли. Известно было только, что в нескольких галилейских городах и деревнях со смешанным населением евреи напали на римлян, греков и сирийцев. Римские вооруженные силы уже выступили из Кесарии, чтобы восстановить спокойствие. Вождем восстания молва называла Иоанна Гисхальского.

На этом, по всей очевидности, миссия Иосифа, в силу новых обстоятельств, заканчивалась, никакие дела на севере его больше не ждали. Самым разумным было бы, не медля ни часа, возвращаться в Беэр Симлай и там наблюдать за порядком, за Марой, за Даниилом.

Но, втолковывая себе это, он уже знал, что не поступит так, как велит разум. К страху, с которым он слушал вести о событиях в Галилее, с самого начала примешивалась великая сладость. С гордостью и стыдом он убеждался, что чувствует себя легко, свободно, счастливо. Он убеждался, что все последние годы в Иудее он жил только ожиданием этой минуты. Теперь эти годы получили смысл и оправдание. Потому что, если бы это известие застало его в Риме — потеряв свою свежесть, вдали от происходившего, — он бы пропустил, прозевал важнейшее событие своей жизни.

Как, он хочет вмешаться в восстание?! Но это же безумие, чистейшее безумие! Сначала будет несколько побед, полных блаженства и восторга, а за ними последует жестокое и окончательное поражение. Римляне

достигнут своего — все, что еще остается у евреев от зрелой мужественности, от юности, от воли к борьбе, они растопчут и утопят в крови. Преступно и глупо прикладывать к этому руки.

Так, собравши все силы разума, он прогнал хмель, которым опьянила его весть о поднявшейся Галилее. Но — лишь на недолгие мгновения.

Ночью, на убогой постели, которую маленькое селение смогло ему предложить, хмель взял над ним полную власть, и защититься было уже нечем, и он сладострастно отдался опасному своему счастью. Он чувствовал себя так же, как в дни первой войны против римлян, когда, еще совсем молодым, командовал галилейскими отрядами, — он словно парил высоко в небе. Ах, еще раз испытать это жгучее веселье, с каким они шли тогда в битву! Это полное слияние друг с другом! Эту тысячу жизней в одной, несущейся неистовым потоком, ибо еще сегодня, быть может, она оборвется! Это великое упоение, в котором смешались благочестие, жажда насилия, страх, уверенность в себе и радость, без границ!

Он ворочался с боку на бок на своей постели. Стискивал зубы, бранил себя. Ну, не сходи же снова с ума на пороге могилы, Иосиф! Если молодой человек уступает подобному безумию, это еще может быть угодно богу, это может быть возвышенно. Но когда это делает старик вроде него самого, в таком пьяном старике нет ничего возвышенного, он просто смешон — и только.

Нет, он не смешон. Если спустя столько лет, после стольких испытаний голос в его сердце все еще звучит с такой силой, значит, голос этот не лжет! И если это голос безумия, — значит, безумие его от бога! Акавья прав. Кто дерзнет утверждать, будто Ягве — это логика и сухой рассудок? Рассудок ли вещал устами пророков? Или что иное? И если вам угодно с бесстыдным педантизмом называть это «иное» безумием, да будет оно благословенно, это безумие!

И старый Иосиф блаженно окунулся в безумие. Да, Иоанн Гисхальский прав, и Акавья прав, и «Книга Юдифь» тоже, и книга Иосифа бен Маттафия «Против

Аниона», а верховный богослов не прав и не права «Всеобщая история» Иосифа Флавия.

Решившись наконец уступить безумию, он в ту же ночь покинул Эсдраэлу, чтобы пробиться на север, к Иоанну Гисхальскому.

Он нашел погонщика мулов, который доставил его в селение Атабир, лежавшее на склоне горы того же названия. Ехать дальше погонщик боялся. И жители селения тоже не советовали двигаться дальше. Потому что здесь начинался район военных действий.

И вот, запасшись провизией, Иосиф продолжал свой путь в одиночестве. Он избегал столбовых дорог, выбирая пустынные, затерянные пастушьи тропы в ущельях и на высотах гор. Здесь он сражался когда-то, возводил укрепления; он хорошо знал эти места. Бесшумно, осторожно, со строго обдуманной поспешностью шагал он по тропе.

Занимается сияющий весенний день. Зима в этом году затянулась, на горах Верхней Галилеи еще лежит снег, он щедро питает ручьи, ручьи полны и весело шумят. Воздух живительно чист, дали прозрачны и близки. Иосиф взбирается все выше, он скликает свои воспоминания, и они послушны его зову; каждая вершинка, каждая долина ему хорошо знакомы.

Впереди нависал гребень горы. Отсюда ему должен открыться вид на озеро, на его озеро, Тивериадское озеро, Генисаретское озеро. А вот оно уже и сверкнуло внизу. Крохотные точечки скользили по его глади; память Иосифа превратила их в красно-коричневые паруса рыбацких челнов.

Он перебрался через гребень и стал искать расщелину, в которой мог бы укрыться. Нашел. Присел на корточки. Беспокойство, которое мучило его все последнее время, наконец исчезло. Он мог передохнуть. Он устроился поудобнее, разложил свои припасы — фрукты, немного мяса, хлеб,— поел, выпил вина.

Дул легкий, веселый ветерок. Иосиф расправил плечи. Овеянная волшебным светлым воздухом, перед ним, под его ногами, истинным садом божьим расстилась Галилея — плодоносная, многоликая, со своими долинами, холмами, горами, со своим Генисаретским

озером, рекою Иорданом и морским побережьем, со своими двумя сотнями городов. Чего Иосиф не видел, то он угадывал, то знала его память.

Он впивал в себя этот вид. Красновато-серыми были скалы, ярко-зелеными — рожковые деревья, серебряными — оливы, черными — кипарисы, а земля была коричневатая. На равнине крестьяне — крошечные фигурки — опускались на корточки и нюхали землю, стараясь угадать погоду. Прекрасная, богатая, яркая, плодородная страна. Теперь, весной, даже пустыни ее были покрыты серо-зелеными и фиолетовыми цветами.

Но стране не дают плодоносить. Может быть, она слишком тучна и обильна. Может быть, прав был тот, прежний Иоанн Гисхальский, и в конце концов именно цены на масло и на вино — источник бесконечной войны, которая бушует над этой страной. Как бы там ни было, но удобрена она кровью. Может быть, так угодно боже-ству — чтобы кровью удобрялась земля Галилеи.

Иосиф отдыхал в своей расщелине. Вся его подавленность, весь душевный разлад ушли, исчезли. Мысли набегали и отступали, как волны, и ему было хорошо.

Им, евреям, отдал бог эту землю, текущую молоком и медом. И еще больше отдал им бог. «Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я, имя его — все-ленная».

Но господство над миром — вещь ненадежная, далекая. Ах, если бы хоть издали увидеть ее, страну его надежды, страну мессии, справедливости, разума!.. Но: «Ты можешь прождать до той поры, пока трава из рта не вырастет». Иосиф засмеялся, вспоминая грубые слова Акавьи. Великолепный человек этот Акавья!

И снова он глядит, наслаждается видом. Галилея... все-таки что-то ему осталось. Так много пришлось бросить в пути — из того, что держали его руки, лелеяли надежды, хранила вера, но Галилею он уже не бросит, он вцепился в нее, его пальцы не разжать.

Разум желал он проповедовать людям, возвестить царство разума и мессии. Слишком дорого обходится такое пророчество, мой любезный. Слишком многими лишениями платит тот, кто берется играть такую роль. Но сладостно и почетно проповедовать величие своего

народа, своей нации и ничего больше. Такое пророчество питает и тело и душу. Оно приносит и славу, и внутреннее умиротворение.

Снизу издалека долетел шум. Иосиф знал, что там, невидимая его глазу, бежит дорога. Шум был похож на топот копыт. Невольно он забился поглубже в расщелину, которая его укрывала.

А собственно, зачем он здесь? Что ему нужно здесь, в Галилее, в гуще мятежа, в гуще войны — ему, старику? Он только себя погубит, а помочь — никому не поможет.

Какой вздор! Точно он когда-нибудь хотел кому-то помочь! Вот до каких лет должен был он дожить, чтобы понять, что никогда не хотел помочь другому, но всегда — лишь самому себе. Он хотел быть «Я», всегда только «Я», и из всего, что он думал, писал или же говорил самому себе, единственною правдой был псалом «Я есмь»:

Я хочу быть Я, Иосифом быть хочу,
Таким, как я выполз из материнского лона,
Не расщепленным в народах,
Принужденным искать, от тех или от этих мой род.

Юст — тот на самом деле хотел помочь другим, помочь далеким поколениям. Бедный, великий, рыцарственный Юст! Не вовремя появился ты на свет, не вовремя трудился, предтеча, провозвестник несвоевременной истины. Озлобленно и несчастливо прожил ты свою жизнь, озлобленным и несчастливым умер, твой труд забыт. Вот оно, воздаяние праведнику.

Мессиянские чаяния должны существовать, спору нет, без них невозможно жить. И должны быть люди, возвещающие истинного мессию, — мессию не Акави, а Юста. Эти люди — избранные, но избраны они для несчастья.

Я, Иосиф бен Маттафий, испытал это на себе. Подлинное мессиянство, вся истина целиком открывались мне — и я был несчастен. Лишь отрекаясь от них, я вздыхал свободнее. А согласие с самим собою и счастье я узнал только однажды, когда поступил вопреки разуму. Славное и прекрасное время, когда я весь

отдался своему порыву и писал книгу «Против Апиона» — самую глупую и самую лучшую из всего, что я написал. И, может быть, несмотря ни на что, самую угодную богу. Ибо кто решится судить, какой порыв, какое побуждение хорошо и какое дурно? И если даже было оно дурно, разве не гласит Писание: «Служи богу и дурным побуждением твоим»?

Он шире расправил плечи. Он чувствовал себя легко и бодро, легким было его дыхание, он был снова молод. Глупая, счастливая улыбка играла на его старых губах. Набраться мудрости настолько, чтобы забыть о мудрости,— без малого семьдесят лет ушло на это. Благословен ты, господи, боже наш, что дал мне дожить до нынешнего дня и снова даешь мне дышать сладким, чистым воздухом Галилеи и диким, пряным чадом войны.

В глубине души он знал, что это счастье будет недолгим, что впереди у него лишь несколько дней, а может, и несколько часов или даже всего несколько жалких минут. Жалких? Нет, несравненно прекрасных и счастливых!

Он снова двинулся в путь, начал спускаться. Он слышал шум и теперь удвоил осторожность. Он избегал широких троп, сгибался, если чувствовал, что может оказаться на виду, беззвучно ставил ногу. Но однажды он ступил неловко. Вниз покотился камень и упал так неудачно, что услышали на дороге. А по дороге ехали римские конники, они остановились и начали обыскивать склон горы.

Зрение Иосифа уже не было таким острым, как его слух; он долго не мог понять, что это за люди обыскивают склон,— свои или римляне. Потом они подошли ближе, и он увидел, что это римляне.

На мгновение дикий страх захлестнул Иосифа и смысл, унес всю его силу. Долгий путь прошел он сегодня, вверх, вниз, по крутым тропам, и вдруг от всей этой новой бодрости не осталось и следа. Опять он был стариком, сердце, которое до сих пор билось так легко, лежало в груди тяжелым, ноющим комом, ноги отказывались его держать, он опустил на землю.

Но мало-помалу слабость прошла, и к нему вернулось прежнее чувство огромного внутреннего покоя, и даже сверкнула радость: наконец-то он у цели. Ему бы погибнуть еще тогда — в первую войну, в расцвете молодых лет, в Галилее, а он увернулся от гибели и прожил на редкость бурную жизнь, и на свет появились его дети и книги, хорошие и плохие, и иные еще живут, а иные развеялись прахом, и он был источником и причиною многого зла, но также и толики добра, а теперь, с таким опозданием, ему выпадает случай наверстать непростительно упущенное тогда — умереть на войне, в Галилее.

И вот он сидит в легком, прозрачном воздухе и смотрит на людей, которые приближаются к нему, слабый телом, но свободный от страха и полный ожидания.

Солдаты подошли вплотную и увидели старого еврея. Они глядели на него с нерешительностью, а он на них — с любопытством.

— Пароль, еврей! — потребовал наконец старший.

— Я не знаю пароля, — ответил Иосиф.

— Зачем ты сюда забрался? — спросили солдаты.

— У меня много друзей в Галилее, — сказал Иосиф, — я тревожился за них и хотел их разыскать.

— И потому ты пробираешься тайными тропами, а не идешь по императорской столбовой дороге? — спросили они.

А он ответил:

— Я думал, что императорская столбовая дорога полна императорскими солдатами. Так что старому человеку лучше держаться окольных путей.

Солдаты засмеялись.

— Это ты хитро придумал, — сказал старший, — но теперь тебе, верпо, придется сделать крюк побольше прежнего. А вообще-то кто ты такой? Ведь ты не крестьянин и не галилеянин.

— Я Иосиф Флавий, римский всадник, — ответил Иосиф и показал свое золотое кольцо; он заговорил по-латыни, меж тем как до сих пор разговор шел по-арамейски.

— Вон оно что! — засмеялись солдаты. — Ты принадлежишь к знати второго ранга? Ну конечно, таким мы всегда и представляли себе римского всадника!

— Что ж, теперь вы видите, — сказал Иосиф дружелюбно, — что действительность иногда выглядит не так, как мы о ней думаем. Кстати, у меня с собой надежный документ.

И он протянул им удостоверение, которое ему выдали в Кесарии в канцелярии наместника.

Солдаты недолго рассматривали его документ.

— Этот клочок папируса нам не указ, — сказали они. — Здесь имеет силу только одна подпись — Павла Басса.

Иосиф задумчиво поглядел вдаль и промолвил:

— Вашего Павла Басса я отлично знаю, и он меня отлично знает.

Солдаты громко захохотали над этим евреем, над этим старым шутником, который хочет выдать себя за друга их командующего Павла Басса.

— Тогда почему же твой друг сам не сообщил тебе о предписании, которое он издал? Всякого еврея и вообще обрезанца, задержанного на дорогах Галилеи, если он не местный и не знает пароля, считать лазутчиком. Ты еврей? Ты обрезан?

— Да, — сказал старик.

Старший помолчал, потом медленно пожал плечами, это было почти как извинение.

— Та-а-ак! — сказал он. — Ты вроде бы человек толковый и, конечно, понимаешь, что если мы с тобой не церемонимся, так это не по злой воле, а по долгу службы.

— Скажи спасибо своему другу Павлу Бассу, — прибавил кто-то.

Иосиф внимательно оглядел солдат, одного за другим.

— Я бы охотно сказал, — ответил он спокойно, — и вы бы хорошо сделали, если бы дали мне такую возможность. Потому что я в самом деле римский всадник и в самом деле хорошо знаю вашего Павла Басса.

Его голос, взгляд, спокойствие, с каким он держался, произвели на солдат впечатление. И потом, он не был похож на лазутчика, — едва ли на эту роль могли

выбрать такого старого еврея с такой приметной внешностью. Но приказ есть приказ. К тому же они опаздывали: разведывательный рейд отнял больше времени, чем предполагалось вначале. Если они свяжутся с этим типом, то придут на место еще позже и получают головоломку по всем правилам: а прикончить его — дело вполне законное.

Но солдаты были неплохие ребята. Они принадлежали к числу тех, кто уже давно служит в этих краях, нередко имели дело с евреями и видели в них не только врагов.

— Предписание гласит: будьте гуманны постольку, поскольку это не противоречит военным нуждам, — вслух подумал один.

— Война есть война, — откликнулся другой.

— Послушай, ты, — предложил старший Иосифу, — нам нужно в Табару, и времени у нас в обрез, но мы попробуем взять тебя с собой. Галопом мы не поскачем, но и шагом ехать не будем. Мы уж и так опаздываем. Это как в цирке. Кое-кто остается жив. Мы даем тебе шанс на выигрыш. Мы привяжем тебя к лошади, и ежели ты выдержишь — стало быть, молодец. Ну, как, дельное предложение?

— По-моему, дельное, — отозвался тот, кто говорил первым, — и в духе приказа. Скажи сам, еврей, — потребовал он у Иосифа.

Иосиф посмотрел на него долгим, задумчивым взглядом.

— Ты прав, сынок, — сказал он. — Именно в духе приказа.

Они обыскали его. У него было несколько монет, остатки припасов, документ из канцелярии в Кесарии и на пальце золотое кольцо дворянства второго ранга.

— Это могут украсть, — решили они и все отобрали.

Потом они спустились на дорогу и привязали Иосифа к одному из коней. Конника звали Филиппом, он был добродушный малый.

— Я не буду слишком гнать, старина, — пообещал он и дал Иосифу вина, чтобы тот подкрепился.

Потом они тронулись.

Дул ветер, воздух был свежий и пряный, рысь не слишком скорая, и в первые минуты казалось вполне возможным, что старик выдержит. Его старые ноги бежали, он дышал равномерно, и они говорили:

— Смотри, главное — не сдавайся.

Но потом он стал задыхаться, потом споткнулся и упал. Платье его было разорвано, руки и лицо в крови; впрочем, это были только ссадины, ничего серьезного. Скоро он поднялся и побежал дальше. Потом снова упал, на этот раз тяжелее, но изранил опять только руки и лицо. Филипп остановился, еще раз дал своему пленнику напиться и позволил ему минутку передохнуть. Но потом Иосиф упал в третий раз, и на этот раз конь поволок его за собой. Несмотря на весну, толстый слой пыли уже покрывал дорогу, и это обернулось удачей для Иосифа, но были, разумеется, и камни, и когда Филипп наконец остановился, старый еврей был весь в крови, глаза его закрылись, из груди вырывался противный, надсадный хрип. Филипп что-то крикнул остальным, и они собрались вокруг Иосифа.

— Как с ним быть теперь? — говорили они. — Дело ясное, ты проиграл. Прикончим его? — размышляли они. — Или бросим так? Прикончить тебя, еврей, или так бросить? — обратились они к нему самому. — Мы точно держались предписания, — объяснил еще раз старший, оправдываясь.

Иосиф слышал их, но не понимал. Они говорили по-латыни, но он, полиглот, понимал теперь только язык своей земли; и потом, он не мог произнести ни звука.

— На мой взгляд, — предложил наконец кто-то из них, — оставим его здесь одного. Пакостей он уже никаких не натворит.

Так они и сделали. Они подняли его и положили у обочины под какой-то желтый куст, лицом в тень. И ускакали.

А происходило все это на высоком плато, глухом и скудном, поросшем лишь редкими кустами, но теперь, весною, желтые цветы осыпали кустарник. Иосиф лежал в ясном и нежном солнечном свете и затуманивающимися чувствами впитывал обрызганную желтизной пустыню и это ласковое, веселое солнце.

Тот самый Иосиф, который приехал в Рим, чтобы Рим и весь мир пронизать духом иудаизма,

Иосиф, который приветствовал полководца Веспасиана именем мессии,

Иосиф, который женился на Маре, наложнице Веспасиана, а потом на египетской гречанке Дорион,

Иосиф, который возглавлял силы евреев в Галилея, а позже из лагеря римлян вместе с победителями глядел, как горели Иерусалим и храм,

Иосиф, который был свидетелем триумфа Тита и склонил выю под иго в проеме его триумфальной арки,

Иосиф, который написал воинственную книгу о Маккавеях, и льстиво-примиренческую «Иудейскую войну», и космополитски вялую «Всеобщую историю», и пламенно патриотического «Апиона»,

Иосиф, который тщетно боролся за своего сына Павла и был виновником гибели своего сына Симона и своего сына Маттафия,

Иосиф, который ел за столом трех императоров, и за столом принцессы Береники, и верховного богослова Гамалиила, и буйного Акавы,

Иосиф, который постиг мудрость еврейских писаний, мудрость богословов, мудрость греков и римлян и который неизменно возвращался к последнему выводу Когелета, что все на свете суета, и тем не менее никогда не следовал ему в своих поступках,

Этот Иосиф бен Маттафий, священник первой череды, известный миру под именем Иосифа Флавия, лежал теперь, умирая, на откосе у дороги, лицо и белая борода замараны кровью, пылью, слюной и конским навозом. Все пустое, обрызганное желтизной нагорье вокруг и ясное небо вверху принадлежали теперь ему одному, горы, долины, далекое озеро, чистый оком с одинокими коршунами существовали только ради него и были лишь обрамлением для его души. Вся страна была полна его угасающей жизнью, и он был одно со страной. Страна принимала его, и ее он искал. Когда-то он искал целого мира, но обрел лишь свою страну; ибо слишком рано искал он целого мира. День настал. Другой день, не тот, о котором он грезил прежде, но он был доволен.

Прошло несколько недель; от Иосифа не было никаких вестей, и тогда Мара обратилась к губернатору в Кесарии и к верховному богослову в Ямнии.

Римские власти всполошились не на шутку: ведь речь шла о человеке, принадлежавшем к знати второго ранга, о человеке, которого знали в Риме и при дворе. Испуганный Гамалиил тоже делал все, чтобы найти Иосифа. Было обещано высокое вознаграждение тому, кто доставит его живым или мертвым. Но выяснить удалось только одно, — что в последний раз его видели в Эсдраэле. Дальше все следы терялись. Нелегко было разыскать пропавшего на земле, которую посетила война, ибо тысячами и тысячами трупов усеивало восстание эту землю.

Миновал месяц. Наступила пятидесятница, та пятидесятница, о которой грезили за столом у доктора Акавьи, и кровавой была эта пятидесятница для Иудеи. И наступил жаркий месяц таммуз, и годовщина дня, когда началась осада Иерусалима, и наступил месяц аб, и годовщина дня, когда сгорели Иерусалим и храм. А следы Иосифа бен Маттафия, которого римляне называли Иосифом Флавием, так и не были найдены. И пришлось признать его исчезнувшим без вести, и Гамалиилу пришлось расстаться с надеждой достойно похоронить крупнейшего из писателей, какой был у еврейства в этом столетии.

И тогда богословы решили: «Как сказано о Моисее, учителе нашем: «И никто не знает места погребения его даже до сего дня»...» И все согласились, что единственный памятник, который суждено иметь Иосифу, — это его труды.

БРАТЯ
ЛАУТЕНЗАК

РОМАН

Перевод

В. СТАНЕВИЧ и Р. РОЗЕНТАЛЬ

Часть первая

МЮНХЕН

В первую среду мая 1931 года ясновидящий Оскар Лаутензак сидел у своего друга, Алоиза Пранера, в Мюнхене и предавался унылым размышлениям. Итак, он опять на мели, и снова приходится скрываться здесь, в квартире Пранера.

Его пальто, небрежно перекинутое через спинку стула, свисает чуть не до полу, на столе лежит какой-то предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу, облезлый кожаный чемодан с убогими пожитками брошен посреди комнаты. В кармане же у Оскара Лаутензака лежит то, что заставило его искать здесь убежища, — счет на сто тридцать четыре марки, которые он должен фрау Лехнер за две комнаты на Румфордштрассе и которых он уплатить не может.

И вот он в одиночестве сидит на диване. Его мясистое лицо с низким лбом под пышной черной шевелюрой омрачено досадой, энергичный рот сжат, дерзкие синие глаза глядят угрюмо из-под густых черных бровей. Он не желает замечать ни мещанского уюта этой комнаты, ни ласкового майского солнышка, заливающего ее своим светом.

У ясновидящего Оскара Лаутензака есть причины для раздражения. Ведь ему уже сорок два года, а от осуществления своих надежд он далек, как никогда. Кончилась война, миновала пора инфляции, и люди

больше знать не хотят его искусства. Вот уже семь долгих лет, как дела Оскара идут препаршиво. В балаганах пришлось выступать! На ярмарках! Перед чернью, которая над ним глумилась! И хотя скульптор Анна Тиршенройт наконец его вызволила и предотвратила самое худшее, а сделав его маску, даже вновь создала ему некоторую известность, все же мало радости торчать здесь, у фокусника Алоиза Пранера, и выслушивать его шуточки, которые кажутся такими добродушными, а по сути — так злы.

Может, все-таки лучше было бы толкнуться к старухе?

«Старуха» — Анна Тиршенройт — не какая-нибудь бездарь, вроде этого клоуна Алоиза, а первый скульптор страны. И она не старается всякими пошлыми остротами подчеркнуть унижительность положения Лаутензака. Правда, она действует ему на нервы своей невыносимой строгостью; одним своим присутствием, своим крупным серьезным лицом она непрестанно как бы напоминает ему о его миссии, о поставленной перед ним задаче — дорасти до своей маски. Нет уж, все едино, что в лоб, что по лбу.

Сердито засопев, он встает и разворачивает бумагу. Там — бронзовое изображение его лица, маска, созданная Тиршенройтшей. Он требует гвозди и молоток у ворчливой старухи Катарины — экономки друга, и та, возмущенная до глубины души, вынуждена все же примириться с тем, что он вешает маску на стену. Потом он мягко, почти с нежностью, проводит по металлу своей белой, холеной, мясистой рукой. Оскар жить не может, не видя перед собой этой маски, а грубый слепок с нее, который висит в спальне у Алоиза, гроша ломаного не стоит.

Оскар отходит на несколько шагов. Тысячу раз созерцал он эту маску, но сейчас опять всматривается в нее, словно видит впервые. Благодаря этой маске будущие поколения поймут, что в нем таилось. И если этого не понимают современники — тем хуже для них. Разве не стыд и позор, что человеку, столь высоко одаренному, приходится каждый раз тайком удирать из дому, чтобы хозяйка его не заметила и не подняла крик

из-за какой-то квартирной платы! Но это ложится позором не на него, а на эпоху.

Друзья Оскара находят, что у него голова Цезаря, а враги считают, что голова комедианта. Сам он убежден, что от него исходит такое же сумрачное сияние, какое излучает маска, созданная Анной Тиршенройт. Конечно, кое-что низменное, дешевое в нем еще осталось. Но он это вытравит. Он уже многого достиг с тех пор, как дал клятву самому себе и Тиршенройтше бросить все свои трюки и целиком посвятить себя телепатии. Вот уж больше года он верен этой клятве. И не отрежется от нее. Он дорастет до своей маски.

Многие в него верят, и не только самые разные женщины, которых он покорял в самых разных городах, не прилагая к тому особых усилий, — их признание еще ничего не доказывает, — нет, в него верит даже его брат Ганс, а уж Ганс — это кремень, его ничем не проймешь. Верит в Оскара и его друг фокусник Алоиз Пранер, умница и отчаянный скептик. Но главное — в него верит старуха Анна Тиршенройт, скульптор.

Эту веру она воплотила в его маске. Маска выражает подлинную внутреннюю сущность Оскара и показывает каждому, кто умеет видеть: есть оно в нем, творческое начало. Речь идет, разумеется, не о какой-то жалкой телепатии. То, что проступает на поверхность, — лишь слабая струйка мощной реки, скрытой в груди Оскара. Ибо именно сквозь него, Оскара, течет она, великая прарека, источник всякого искусства. Оскар обладает даром интуиции, в нем живет «демон» Сократа, та способность, которую философ Каснер называет «физиогномической интуицией».

Правда, этот таинственный творческий дар не уплотняется до произведений, которые можно сунуть под нос тупоумному зрителю.

Но разве Сократ оставил какие-нибудь «произведения»? Он обладал лишь «демоном»; определенной формы этот его «демон» не принял. Ему, Оскару, достаточно сознавать, что она есть в нем, творческая искра. Когда она загорается, он испытывает такое блаженство, которое и описать невозможно. Близость с женщиной по сравнению с этим блаженством — лишь убогое и

пошрое удовольствие. Успех, слава, любовь — ничто перед ним. Те, в ком нет творческого начала, даже понятия не имеют о том, что такое счастье.

Впрочем, он добьется и внешнего успеха. Ведь чем хуже ему приходилось, тем дерзновеннее и ненасытнее становились его мечты, и они всегда сбывались. Еще будучи мальчиком, учеником реальной гимназии в баварском городке Дегенбурге, Оскар решил завоевать родной город. Потом, когда его выгнали из гимназии — он дважды оставался на второй год, — Оскар поклялся, что завоюет Мюнхен. А теперь, когда он завоевал Мюнхен, и вновь его потерял, и снова остался на мели, он клянется, что не успокоится, пока не завоюет Берлин и всю Германию. Как бы ни шутил над ним Алоиз Пранер, Оскар опять выплывает на поверхность, он в этом твердо уверен.

— Это мое непоколебимое решение, — говорит он вполголоса, сквозь зубы.

Его дерзкие синие глаза впиваются в бронзовые черты маски. Они смотрят на нее не отрываясь, молят, грозят, заклинаят; сейчас он сам почти гротеск, почти маска. Так он целую минуту перед собой и своей маской разыгрывает человека несокрушимой воли.

Затем, утомленный, но уже прибодрившийся, возвращается к действительности, в добропорядочную уютную столовую фокусника Алоиза Пранера, прозванного «Калиостро».

На другое утро вышеупомянутый Алоиз Пранер сидел за завтраком и поджидал своего друга. Вчера представление кончилось поздно, и, когда он вернулся, оказалось, что Оскар уже лег спать. Алоиз, долговязый и костлявый, сидел за столом, ел и пил, жадно чавкая и склонив над тарелкой большую лысую голову с глубоко сидящими глазами, высоким лбом и морщинистым носом. Вид у него был сердитый. Но старая Кати, которая прислуживала за столом и то появлялась, то исчезала, отлично знала, что настроен он отнюдь не мрачно. К сожалению, господин Пранер рад встрече со своим другом и сотоварищем господином Лаутензаком, с этим

нахалом, негодяем, бездомным бродягой и неудачником. И Кати не ошиблась: господин Пранер действительно рад свиданию с Оскаром.

Делая себе бутерброды то с ветчиной, то с сыром своими большими, белыми, худыми и ловкими руками, он с мрачным удовольствием обдумывал те шуточки, которыми доведет своего друга до белого каления.

Да, они крепко связаны друг с другом,— он, фокусник Пранер, прозванный Калиостро, и ясновидящий Лаутензак. Конечно, Оскар — бродяга, лодырь, он изолгался, он тщеславен, привередлив, ненадежен,— словом, у него все самые отвратительные недостатки, какие только можно придумать. И все-таки в нем есть это «не-знаю-что», искра, Алоиз не представляет себе жизни без Оскара.

Шестнадцать лет назад, на второй год войны, Пранер встретился с Оскаром на Восточном фронте. С первого же взгляда Лаутензак словно околдовал его, и Алоиз охотно покорился этому колдовству. В те времена Алоиз служил ефрейтором и был при батальоне почтовым цензором; из писем он раньше всех узнавал о кое-каких событиях, происходивших в тылу. И тут Оскар сделал ему интересное предложение: пусть Алоиз ненадолго задерживает письма с любопытными новостями, а Оскар будет тем временем предсказывать эти новости адресатам и таким образом докажет, что он ясновидящий. Выгоды же, которые ему, бесспорно, даст такая деятельность, разделит с ним и Алоиз. Пранер согласился, все шло гладко, они превосходно сработались; на необычную способность Оскара обратило внимание начальство, и при поддержке военных властей друзья стали устраивать в тылу вечера, причем сборы шли на нужды благотворительности. В то время как их товарищи терпели на фронте лишения и умирали, они вели в тылу беззаботную жизнь. Это совместное жульничество, это сообщничество и взаимное признание их тогда и сблизило.

Сколько раз они ругались за долгие годы дружбы — не перечесть! И теперь, особенно с тех пор, как Оскар распрощился с Варьете, они часа не могут пробыть вместе, чтобы не начать осыпать друг друга отборнейшей

бранью. Это им просто необходимо, это доставляет обоим особое наслаждение. И как бы величественно и папыщенно ни вещал Оскар о своей высокой миссии, все равно настанут дни, когда друзья опять будут работать вместе, на одной сцене, и ошарашивать публику каким-нибудь коронным магическим номером.

Наконец появился Оскар. Как Алоиз и предполагал, он держался величественно и снисходительно, точно оказывал Алоизу милость, соглашаясь жить у него и на его средства. Сегодня Оскар вел себя особенно нагло. Он преспокойно поедал сыр, яйца и ветчину Алоиза, а также его жирное сдобное печенье, приправляя вкусную жратву едкими издевками по адресу хозяина.

Не удивительно, что Алоиз все же разозлился и коснулся темы, которая должна была наверняка задеть Оскара. Неторопливо, с ловко разыгранным сочувствием он спросил:

— А что поделывает твой братец?

К брату Гансу Оскар был привязан, господин же Пранер его терпеть не мог. В Оскаре есть, по крайней мере, какое-то обаяние, что касается Ганса Лаутензака, так это просто хам, мерзавец, настоящий преступник. Если до сих пор его уличить ни в чем не могли, настолько он дьявольски хитер, то теперь он все-таки попался. В Берлине был убит некий Франц Видтке, и совершенно точно установлено, что убийца — Гансйорг Лаутензак. Ганс пытался оправдаться тем, что это дело политическое, покойный-де напал на него по причинам политического характера и Гансу пришлось застрелить его, обороняясь. Говорилось это потому, что Ганс примкнул к одной сильной политической партии, к национал-социалистам, или, попросту говоря, к нацистам. Они-то и старались вызволить его из этой грязной истории, но как будто ничего не получалось, — на этот раз он, видно, крепко влип. Обвинение настаивало на том, что убийство совершено из-за дамы сомнительной репутации, некоей Карфункель-Лисси, и что этот Видтке стал Гансу Лаутензаку поперек дороги. Во всяком случае, сейчас Ганс находится в берлинской следственной тюрьме, он запутан в эту скандальную историю, вопрос идет о жизни и смерти, и Алоиз Пранер имеет все

основания предполагать, что, осведомившись о Гансе, больно кольнет Оскара.

Он угадал — выражение надменного самодовольства исчезло с вызывающего лица Оскара.

— Я уже недели две ничего не знаю о Гансе, — уклончиво отозвался Оскар, — но его последнее письмо было очень бодрым.

Однако Алоиз не намеревался так скоро оставить эту неприятную тему.

— Не хотел бы я сейчас оказаться в шкуре Ганса, — заметил он с притворным участием и не спеша окнул последний рогалик в кофе; этот тощий человек мог есть без конца, хотя пища не шла ему впрок.

Мрачно слушал Оскар речи своего друга. Всего разумнее на них не отвечать. В конце концов Алоиз перестанет говорить об этом. Скоро он вновь начнет приставать к Оскару со своим вечным нытьем — пусть-де вернется в Варьете, и тогда Оскару представится случай отплатить ему за все низости в отношении Ганса.

— Я знаю, Оскар, — и в самом деле начал через минуту Алоиз, задумчиво наклонив вперед длинную, лысую, какую-то до смешного скорбную голову, — тебе все это претит, но я должен еще раз поговорить с тобой...

И он опять затянул старую песню. Чего ради Оскару жить в такой бедности? Почему не вернуться в Варьете? Почему не подготовить какой-нибудь сногшибательный номер вместе с ним, Алоизом? Оскар блаженствует, вкушая сладость этих вопросов. С удовлетворением слышит он из уст друга, что его упорный отказ изменить свою жизнь — это жертва, приносимая им ради того, чтобы сохранить в чистоте свой необычный дар. Он дал другу выложить все до конца и лишь тогда с ледяной и насмешливой вежливостью отверг его предложение. Сослался на свою миссию, на то, что, выступая в роли фокусника, может загубить этот дар. Разглагольствовал о тайнах творчества.

Алоиз посмеивался, сначала тихонько, про себя, потом все громче, пока не открылись все белые и золотые зубы его большого тонкогубого рта.

И на эту усмешку Оскар высокомерно ответил, что отлично понимает, почему Алоизу так важно подгото-

вить какой-нибудь номер вместе с ним. Ведь их совместное выступление придало бы деятельности Алоиза более возвышенный характер; без него, Оскара, он обречен до конца своих дней оставаться чем-то вроде клоуна более высокого ранга.

— А все-таки,— добродушно отозвался Алоиз,— если бы не этот клоун, Оскар сейчас, например, очутился бы на улице.

Так они пререкались, основательно, со вкусом. Ничего нового они не сказали друг другу,— уж сколько раз происходили между ними такие стычки, и каждый знал другого как облупленного.

Молча, слегка утомленные, встали они наконец перед маской. Маска вызывала в Оскаре гнев,— ведь она постоянно подстегивала его, заставляя напрягаться свыше сил,— и в то же время он гордился тем, что призван осуществлять великие задачи. Алоиз же, хоть и мечтал о том, чтоб его дружок — эта скотина — наконец сдался и согласился подготовить с ним новый номер, радовался вместе с тем тому, что Оскар продолжает упорствовать, не соглашается изменить своему «гснию» и тем дает ему, Алоизу, возможность восхищаться другом и впредь.

Уставшие и довольные, они наконец прекратили свой вечный спор. Было уже поздно, но остатки завтрака все еще стояли на столе. Друзья вышли, чтобы немного размяться и нагулять себе аппетит к обеду.

Скульптор Анна Тиршенройт взглянула на часы. Без трех минут десять. Она просила Оскара быть у нее в десять, ей нужно кое-что сообщить ему.

Узнав, что он, скрываясь от долгов, снова исчез из своей квартиры и бежал к Пранеру, ффрау Тиршенройт предприняла новые шаги. И вот она решила поговорить с ним о том, чего ей удалось добиться.

Она сидит в кресле — большая, грузная; крупное лицо, приплюснутый нос, серые, чуть усталые глаза, выцветшие, когда-то рыжие, волосы. На этом лице лежит сейчас отпечаток скорбной озабоченности. Анне Тиршенройт еще нет шестидесяти; люди обычно восхи-

щаются тем, что талант ее именно теперь достиг полной зрелости, что она находится в расцвете творческих сил. Ах, что они понимают! Она старуха, жизнь прожита, трудная это была жизнь, пришлось бороться с собой и с другими; и ей самой, и другим борьба далась нелегко. Теперь осталось только творчество да этот Оскар, которого она любит, как сына, этот сосуд скудельный, причем неизвестно, не выльется ли из него все, чем его наполняешь.

Комната ярко освещена солнцем, и на скорбном лице старухи отчетливо выступают резкие, строгие морщины. В окна заглядывают деревья — дом окружен небольшим английским парком. Застекленная дверь ведет на террасу, за ней виднеется тихая лужайка с группами деревьев и кустов, а еще дальше — ручей. Здесь, в центре города, словно в деревне, городская жизнь отхлынула далеко.

Десять часов восемь минут. Анна Тиршенройт все еще сидит и ждет, палка, на которую она опирается при ходьбе, прислонена к креслу. Старуха как-то вся обмякла, наклонилась вперед. Обычно фрау Тиршенройт безошибочно чувствует, правильно она поступила или нет. А вот сейчас она не знает, хорошо ли то, что она сделала для Оскара. Профессор Гравличек улыбнулся насмешливо, даже с сочувствием, когда они наконец столкнулись, а Гравличек умен как бес.

Вот и Оскар. Он силится придать своему энергичному лицу с дерзкими синими глазами под черными дугами бровей выражение сдержанности, бесстрастия. Фрау Тиршенройт решила помочь ему.

— Вот и ты, — сказала она как можно проще.

Но Оскар чувствует себя словно школьник, сбежавший с уроков. И спроси она его, почему он пришел не к ней, а к Алоизу, Оскар не знал бы, что ответить. Так же, еще мальчишкой, натворив что-нибудь, стоял он и смотрел на отца, трепеща от страха перед его грубой бранью, его пышными рыжими усами, его камышовой тростью.

— Я говорила с профессором Гравлическом, — начала фрау Тиршенройт: — Они готовы предоставить

тебе постоянную работу с месячным окладом в двести пятьдесят марок.

Она тяжело вздохнула; Оскар не знал — отнести ли этот тяжелый вздох за счет астмы или он вызван ее общением. Профессор Гравличек — президент Психологического общества, весьма почтенной организации, о сближении с которой Оскар мог только мечтать. Уже не раз заходил разговор о привлечении его к работе общества; однако Гравличек — человек нелегкий и крайне педантичный — не хотел себя связывать, да и Оскар не слишком ему нравился. И если теперь Анне Тиршенройт удалось все-таки уломать профессора, то тут уж, наверное, что-нибудь да кроется. Двести пятьдесят марок, если принять во внимание, что услуги Оскара понадобятся Психологическому обществу едва ли более трех раз в месяц — оклад, конечно, немалый. Когда у него будет такая сумма, ему уже не грозит опасность быть выброшенным из квартиры, кончится и его унижительная зависимость от Тиршенройтши и Алоиза.

— Но тебе тогда, конечно, придется всецело быть в распоряжении «психологов», — пояснила ффрау Тиршенройт. — Гравличек не возражает, если ты время от времени будешь безвозмездно экспериментировать в кругу частных лиц. Но он не хотел бы, чтобы ты занимался телепатией за деньги. Он опасается, как бы это не повлияло на непредвзятость твоих опытов, на их «чистосердечность», как он выразился.

Ага, подумал Оскар, вот где собака зарыта. Если подписать этот договор, то с планами, которые лелеет Алоиз, придется навсегда распрощаться. Тогда всему крышка; деньгам, славе, сенсационному успеху, восторгам публики. Тогда его имя будет, самое большее, раз в квартал появляться в специальных журналах, а о нем и его замечательном даре узнает только тесный кружок ученых.

— Ты станешь тогда независимым, — слышит он низкий, хриловатый голос ффрау Тиршенройт. — Ты сможешь наконец взяться за свою книгу, — продолжает она. — Я на днях опять просматривала ее конспект, который ты подарил мне в день рождения. Может выйти хорошая, очень ценная книга.

Она говорила, почти не глядя на него, словно сама с собой.

Но сейчас ему неприятно напоминание о книге, как ни привлекательно ее звучное название: «Величие телепатии и ее границы». Он вообще не любил ничего уточнять. И все же в этом конспекте он под нажимом старухи заставил себя набросать совершенно недвусмысленные тезисы. Подлинный телепат, заявлял он в этих тезисах, может читать мысли других гораздо точнее и полнее, чем принято думать. Тот, кто обладает этой способностью, обладает обычно и даром внушения. Хороший телепат почти всегда бывает и хорошим гипнотизером. Однако было бы нелепым предрассудком считать, что телепат способен вызывать умерших, предсказывать будущее и тому подобное. Всякий, кто заявляет, что может это делать, — шарлатан.

Напоминания об этих тезисах были именно сейчас весьма неприятны Оскару. Он еще находился во власти мечты, пробужденной в нем Алоизом, ему еще рисовалось множество восторженных лиц с широко раскрытыми глазами, он слышал бешеную бурю аплодисментов. Но вместе с тем совершенно ясно, что ему придется раз и навсегда отказаться от подобных мечтаний и принять предложение профессора Гравличека. Та жизнь, которую он сможет вести благодаря договору с обществом, конечно, самая для него правильная. Наконец-то он отдастся целиком развитию своей личности, своего дара.

— Благодарю вас, ффрау Тиршенройт, — слышит он звук собственного голоса. Он берет ее руку и пожимает. Наметанным глазом скульптора она разглядывает эту пожимающую руку и не может от нее оторваться. Ведь она изваяла ее, эту руку, так же, как и лицо. Белая, холеная, искусная, мясистая, грубая рука насильника.

А он тем временем думает о том, что эта женщина опять сделала для него что-то трудное, важное.

— Наверно, вам было нелегко уговорить профессора Гравличека? — спрашивает он.

— Да, нелегко, — согласилась ффрау Тиршенройт, не глядя на Оскара.

— Что вам пришлось отдать ему за это? — спросил он напрямик: надо же знать, чего он стоит.

— Моего «Философа», — так же прямо ответила она.

Оскар взглянул на то место, где обычно стоял «Философ». Еще когда он вошел, ему показалось, что комната как-то изменилась, теперь он понял — все дело в опустевшем цоколе.

Это была бронзовая статуэтка; многие хотели купить «Философа», но ффрау Тиршенройт любила это свое произведение и не желала с ним расставаться. Оскару казалось, что он видит в воздухе над цоколем очертания «Философа»; он пристально вгляделся — нет, ему померещилось.

— А сколько Гравличек заплатил за скульптуру? — спросил он, и его бархатистый вкрадчивый тенор прозвучал сдавленно.

— Мне уже предлагали более высокую цену, — уклонилась ффрау Тиршенройт от прямого ответа. — Но все-таки он заплатил прилично, — торопливо добавила она.

Анна Тиршенройт не скряга, Оскар много раз имел случай в этом убедиться, и она легко могла бы назначить ему пособие, на которое он спокойно бы прожил три-четыре года, не связывая себя никакими обязательствами.

Но для этого она слишком строга и педагогична. И она считает, что такая помощь не пойдет ему на пользу. Нет, столь упрощенным способом она действовать не станет — лучше добыть ему постоянную работу, благодаря которой он получит некоторую передышку. И она выбирает более мучительный окольный путь, жертвует своей скульптурой.

Ему становится теплее на душе оттого, что Анна Тиршенройт так высоко его ценит. Он докажет ей и самому себе, что она его не переоценила. Теперь, когда у него наконец будет возможность посвятить себя целиком своему дару, он дорастет до своей маски, напишет книгу, расскажет в ней о том неповторимом, что только ему одному дано познать: «Величие телепатии и ее границы».

Приняв это суровое, железное решение, он, ввиду предстоящего подписания договора с Гравличеком, уже без колебаний попросил у Анны Тиршенройт займы. Если она одолжит ему двести пятьдесят марок, что соответствует предстоящему месячному окладу, он сможет избавиться от тягостной для него совместной жизни с Алоизом Пранером и вернуться в свою тихую келью на Румфордштрассе.

Фрау Тиршенройт дала деньги.

Он поехал на Габельсбергерштрассе. Не дожидаясь Алоиза Пранера, поспешно уложил свои вещи.

Вернулся на старую квартиру. Прибежала фрау Лехнер, его хозяйка, подняла крик, что не впустит его, пока он не уплатит старого долга. Высокомерно вручил он ей деньги. Затем не спеша стал опять устраиваться в своей келье, в которой сможет наверняка, если подпишет договор с «психологами», провести несколько спокойных лет.

Раскрыв облезлый чемодан, он положил обратно в шкаф взятое с собой белье и домашнее платье. Прежде всего — лиловую куртку с шелковыми отворотами и красивые туфли в тон, — их подарила ему Альма, портниха, самая преданная из его подруг и на которую он меньше всего обращал внимания. Затем поставил обратно на полку рядом с другими книгами том Сведенборга; он брал его с собой к Алоизу, но так ни разу и не раскрыл. Наконец, развернул плотную коричневую бумагу, извлек из нее свою маску и бережно повесил на прежнее место, закрыв темное пятно на стене.

Проделав все это, он уселся в кресло и мысленно вступил снова во владение своей комнатой. Решив подписать договор с Гравличеком и пойти на связанный с этим отказ от мечты о внешнем успехе, он как бы вторично завоевал свое маленькое царство.

Пусть она убога, эта комната, но здесь все неразрывно связано с его существом. Вот письменный стол. Он — из обстановки родительского дома в Дегенбурге, Оскару удалось спасти его. За этим столом сидел когда-то отец, секретарь муниципального совета Игнац

Лаутензак; сидя за ним, он внимательно просматривал школьный дневник маленького Оскара, тот самый дневник, из которого явствовало, что ввиду слабых успехов его сын оставлен на второй год; из-за этого стола отец поднялся, чтобы его высечь. Вот картина на стене — олеография в аляповатой рамке, на ней изображен сидящий в челне Людвиг Второй Баварский, статный красавец-мужчина в серебряных латах; лебедь влечет его челн по голубым водам. В детстве эта картина как бы смотрела сверху на мальчика Оскара Лаутензака и казалась ему воплощением могущества, сказочных грез и красоты — всего, к чему стоит стремиться в жизни; она была для него идеалом и стимулом. Кроме того, в комнате висит маска, эта Платонова идея его «Я», дорасти до которой он обязался.

И, наконец, четвертая стена, пуста, ничем не украшена. Однако эта пустота значила для его внутреннего мира не меньше, чем маска. В своем воображении Оскар закрывал ее ковром с картиной. Гобеленом. Когда Оскар был еще мальчиком, его несколько раз приглашали в гости к хлеботорговцу Луису Эренталю, самому богатому человеку во всем Дегенбурге; маленькая Франциска Эренталь, возвращаясь из школы, иногда шла часть пути с Оскаром, и странный мальчик, то застенчивый, то самоуверенный, произвел на нее впечатление; там-то, в доме ее богатых родителей, он и видел на стене такой ковер. На нем были изображены кавалеры и дамы верхом, в роскошных одеждах. «Это подлинник, позднефламандский», — важно и небрежно проронила фрау Эренталь. И гобелен навсегда врезался в память мальчика Оскара как символ величайшего богатства и наивысшего успеха, а внутренний голос подсказывал, что и ему предназначено судьбой когда-нибудь украсить свой дом столь же роскошным гобеленом; об этой-то высокой цели и напоминала ему пустая стена, так же как напоминала маска о тех внутренних обязательствах, которые на него накладывал его дар.

Таковы были мечты и символы, окружавшие его, когда он сидел в кресле посреди своей вновь обретенной комнаты.

Профессор Томас Гравличек повернул окаймленное рыжеватой бородой розовое лицо к входящему Оскару, разглядывая его сквозь толстые стекла очков маленькими светлыми глазками.

— Садитесь,— сказал он. Это звучало скорее как приказ, чем как просьба.

Сам он, Гравличек, казался гномом в большом темном кабинете, до потолка набитом книгами. Оскар обычно позволял себе надменно иронизировать по адресу этого гнома, подтрунивать над его смешным богемским диалектом, над его пустыми многословными рассуждениями. Но Оскар знал, что этот человек, который так забавно, точно приклеенный, сидит перед ним в своем чересчур широком кресле,— хитрый, упорный и опасный враг. Никогда профессор ни устно, ни письменно не нападал на него, однако Оскар чувствовал, что все в нем кажется Гравличеку сомнительным: не только дар, но и все его существо.

— Я слышал от фрау Тиршенройт,— заговорил профессор после неприятной паузы,— что вы не поддались выгодным предложениям; а ведь театр Варьете пытался соблазнить вас. Молодец, молодец,— одобрил он. Но его пискливый голос и иронический взгляд, который он при этом устремил на Оскара, превращали эту похвалу в насмешку.

Обычно Оскар за словом в карман не лазил, но сейчас не нашелся и не смог ответить. Он ограничился тем, что из-под нахмуренных черных бровей устремил на Гравличека разгневанный взгляд своих дерзких синих глаз. Это не произвело на гнома никакого впечатления. Только толстые стекла его очков поблескивали в сумраке комнаты; с легкой, почти благожелательной усмешкой он встретил взгляд Оскара. Между ними происходил немой диалог. Оскар как бы говорил: «Ты еще вынужден будешь признать, что я способен на большее, чем ты думаешь». А взгляд гнома отвечал: «Ладно, милейший. Я знаю, на что ты способен и на что нет. Меня тебе не одурачить. Ты просто очень маленькое и весьма ограниченное отклонение от нормы».

И так как молчание становилось почти невыносимым, гном сказал уже вслух:

— Вы правильно делаете, господин Лаутензак, что больше не хотите выступать на сцене Варьете. Конечно, телепатия — дело занимательное и наблюдать за такими явлениями весьма любопытно. Человек, читающий чужие мысли, выступая перед широким кругом зрителей, вероятно, может неплохо заработать. Но от этого страдает его дарование. Мне, по крайней мере, не довелось видеть ни одного телепата, который, выступая публично на сцене, не гнался бы за эффектами, а такого рода погоня лишит вас непринужденности и чистосердечия. Какой же это ясновидящий, если он вносит в свои опыты «искусство», преднамеренность? Чего же тогда стоит все его чтение мыслей? — Профессор говорил назидательно, словно поучал школьника.

Слушая все эти сентенции, Оскар чувствовал себя униженным: можно было подумать, что профессор просто отчитывает его.

Однако он не решился дать этому человеку отпор. Гравличек был задирист, чудаковат, дважды пришлось ему из-за своей неуживчивости уйти с кафедры. И все-таки он считался крупнейшим специалистом в той сложной области парапсихологии, которая уже граничит с оккультизмом. Оскар не мог не признать его эрудиции и его авторитета.

Гравличек, взявшись тонкими пальчиками за обе ручки тяжелого кресла, подвинулся вместе с креслом поближе к Оскару и стал с любопытством его разглядывать, словно подопытного кролика, словно какой-то феномен, к тому же, как показалось Оскару, весьма иронически.

— Фрау Тиршенройт рассказывала мне, — продолжал он пискливо на своем богемском диалекте, — что вы намерены писать книгу. Многие телепаты писали книги — и все оказывалось никуда не годным вздором. Этим господам иногда удается прочесть чужие мысли и чувства, но, как видно, в своих собственных мыслях они разбираются плохо. Вероятно, дело здесь в том, что люди, обладающие способностями к телепатии, склонны переоценивать значение таких способностей. Если вы воздержитесь от этого, господин Лаутензак, если вы

будете все описывать честно и без притворства, то ваша книга окажется полезной.

С недоверием к телепатии Оскар встречался много раз. По теории профессора Гравличека, способность ясновидения — не преимущество, а недостаток. Он считал ее пережитком более ранней ступени развития человечества. Подобно аппендиксу и копчику у человека сохранилось от тех времен, когда его критические способности, его разум были еще слишком мало развиты, множество атавистических, теперь уже ненужных инстинктов, сохранилась способность к предчувствиям, не контролируемым рассудком. Критический рассудок ясновидящего представлялся профессору слишком тонкослойным, разум телепата не мог устоять перед напором его гипертрофированной подсознательной сферы.

Пускаться в дискуссию с человеком, придерживающимся подобных теорий, было бессмысленно. Поэтому Оскар только поднял брови с выражением безнадежности и отвел глаза от профессора.

И тут он обнаружил в темном углу комнаты бронзовую статуэтку «Философа». Какая низость! Вот он сидит перед Оскаром, этот окаянный профессор, и важничает, и издевается над ним; а благодаря Оскару он только что провернул весьма выгодное дельце. Ярость пробудила в Оскаре красноречие.

— Тот,— сказал он с безукоризненно вежливой пронией,— тот, кто готов платить другому двести пятьдесят марок в месяц, купил себе право бросать этому человеку в лицо свое мнение, даже если оно и не отличается тактичностью.

Однако гном только усмехнулся в рыжеватую бороду и ответил:

— Вежливой науки, милый мой, не существует. И для ученого телепат,— он ухмыльнулся,— ну, это... телепат.

На грубости умный человек отвечает светской учтивостью.

— Уж мы как-нибудь сговоримся, профессор,— сказал Оскар, пустив в ход самые бархатные нотки своего голоса, и примирительно улыбнулся.— Величай-

ший знаток материального мира и не слишком плохой телепат — это не так уж мало, дело у нас пойдет.

Оскар надеялся, что после намека Гравличек наконец заговорит о денежной стороне вопроса. Договор был ему необходим, и прежде всего необходим аванс. Однако профессор ничего не сказал, и снова воцарилось неловкое молчание.

Может быть, навести разговор на эту тему? Едва слышно в душе Оскара вдруг зазвучали предложения Алоиза и зашевелились погребенные мечты о сценической карьере. Нет, после того как гном выказал столько наглости и презрения, Оскар и не заикнется о договоре. Скорее язык себе откусит.

И так как ни он, ни профессор не затронули этого вопроса, Оскар, бросив последний взгляд на «Философа», ушел ни с чем.

Несколько дней спустя Оскар получил телеграмму из Берлина. Его брат Ганс, или Гансйорг, как он эффектно, в духе «новой Германии», называл себя теперь, сообщал ему, что следствие по его делу прекращено, он отпущен на свободу и послезавтра прибудет в Мюнхен.

Перед каждым, кто заговаривал о брате, особенно перед Алоизом, Оскар упорно отстаивал ту версию, будто Ганс убил своего противника, обороняясь, в разгаре политического спора. Но в глубине души Оскар чувствовал, что обвинение, выдвинутое против Ганса, справедливо: эта Карфункель-Лисси, видимо, делилась с Гансом своими доходами, и он застрелил художника Видтке потому, что тот стал ему поперек дороги. Оскар ночей не спал, думая о Гансе и о том, как безнадежно все для него складывается.

С тем большим облегчением прочел он телеграмму, извещавшую о благополучном исходе дела. Если Оскар и любил кого-нибудь на свете, то этим единственным был Ганс, его братинка.

Сам Оскар — натура вдохновенная, ясновидящий, но он совершенный простака, настоящий Парсифаль, и ничего не смыслит во внешней действительности, которая так сурова. Ганс же, в отличие от неповоротливого Ос-

кара, быстро разбирается в фактах, берет их такими, какие они есть, уверенно атакует. Они с Гансом дополняют друг друга.

Телеграмма пришла утром, Оскар как раз собирался вставать. У него есть чувство формы, поэтому он надевает свою красивую лиловую куртку и соответствующие туфли — в честь Гансйорга и благосклонной судьбы. И вот он сидит в кресле, утреннее солнце светит в окно, массивная голова Оскара откинута на спинку кресла, и голова эта полна нежных мыслей о брате.

Да, они связаны друг с другом неразрывно, «орфически, еще праматерями, еще водами глубин». Так было с ранней юности, которую они провели в городке Дегенбурге, где посещали сначала народную школу, а потом реальную гимназию. Они цеплялись друг за друга, как репы, и грызлись, как злые дворняжки. Вместе продумывали и осуществляли они сотни хитрых, злых проделок, вместе действовали как сообщники и выдавали один другого, но под конец неизменно сходились опять. Знали они друг друга насквозь. Все самое оскорбительное, что только человек может сказать человеку, они выкладывали один другому — беспощадно, попадая в самую точку. И хотя Ганс — практик и ничего не смыслит в мистике, он почитает в Оскаре таинственное, жуткое, интуицию, индивидуальность, а Оскар восхищается трезвостью взглядов Ганса на жизнь и его энергией. И если один из них попадает в беду, он идет к другому, уверенный, что тот, другой, пожертвует ради него последним.

Поэтому сейчас, когда Оскар думает о брате, его сердце полно тепла и нежности. Поистине внутренний голос, поистине его «демон» помешал ему напомнить Гравличеку о договоре. Оскар не знает, каково материальное положение Ганса, есть у него деньги или нет. Но одно он знает твердо: теперь, когда Ганс на свободе, договор с «психологами» был бы только обузой. Спокойно обдумает он все и обсудит с Гансом, что ему предпринять. И, уж конечно, они найдут что-нибудь лучше этого договора с мерзким гномом, договора на какие-то несчастные двести пятьдесят марок в месяц.

Взор Оскара переходит с изображения баварского

короля Людвига Второго на маску, с маски — на пустую стену. Ганс на свободе, и Оскар теперь гораздо ближе к осуществлению своих дерзновенных надежд. Он не только напишет свою книгу, он добудет гобелен и всемирную славу.

Через два дня Оскар стоял вечером на перроне и, вытянув шею, обшаривал взглядом вагоны только что прибывшего берлинского поезда. А вот и «Малыш». Он вышел на платформу нагруженный вещами и, скажите пожалуйста, — из купе мягкого вагона! Ганс показался Оскару еще более тщедушным, чем он ожидал, черты заострились, губы стали еще тоньше, но брат широко улыбался — и это была довольная улыбка сообщника, озорная, уверенная, дерзкая, хитрая. «Смел и торжествует победу, — подумал Оскар. — Да, Малыш выглядит замечательно, несмотря на худобу и тюремную бледность».

— Вот здорово, что ты вернулся! — с жаром повторил он несколько раз. «И летнее пальто на Малыше первое, светлое, и в мягком вагоне прикатил... Скажите пожалуйста!»

Остановиться Ганс решил в «Кайзергофе». Это очень приличная гостиница, не из дешевых. Восхищение Оскара практичностью брата все возрастало. До гостиницы было рукой подать, и они пошли пешком, среди веселого шума и вечерней городской суеты.

— Ну, рассказывай, — торопил Оскар, — ведь, наверное, есть что порассказать...

— И есть и нет, — ответил Ганс; он говорил громко, стараясь перекрычать уличный шум; у него был высокий голос, в котором нередко прорывались резкие и властные нотки. — Да ведь ты, наверное, сам все знаешь, ты же ясновидец, — сказал он, подтрунивая над Оскаром. — Я ужасно скучал по тебе, — продолжал Ганс без всякого перехода, и это звучало искренне. — Иногда мне позарез нужна была твоя поддержка, на душе бывало иной раз чертовски скверно.

— Я это чувствовал, — ответил Оскар очень серьезно, — вернее, знал, — поправился он.

Они дошли до гостиницы. Ганс потребовал хороший номер, расписался в книге для приезжих. Вещи были внесены. Малыш вынул самое необходимое, начал мыться. Оскар стоял тут же и, неожиданно растроганный, смотрел на тщедушное тело брата.

«Заморыш», — думал он.

Пока Ганс мылся, они болтали. Ганс принялся рассказывать теперь уже более откровенно. Описал, как его дело принимало тот или иной оборот, смотря по тому, как складывались обстоятельства для нацистской партии.

— Но как бы гнусно оно ни оборачивалось, — сказал он, — я, в сущности, никогда не сомневался, что все кончится хорошо. Я был уверен, что партия добьется своего. И она меня вызволила.

— Зачем ты прибедряешься, — заметил Оскар, — ведь за первого встречного партия не вступилась бы.

— Ну конечно, — подтвердил Ганс, растирая полотенцем покрасневшую спину, — ну да, у меня есть заслуги и есть связи. Проэль меня в беде не бросит. Моя дружба с Манфредом стала еще теснее, — пояснил он хвастливо и при этом усмехнулся лукаво и цинично; его дерзкий, звонкий голос заглушал плеск воды.

Партия имела свою армию, так называемые отряды штурмовиков, и Манфред Проэль, о котором упоминал Ганс, был начальником штаба этой армии.

Братья ужинали в номере, Ганс продолжал рассказывать. Он стал героем нацистской партии, важной шишкой. Он поселится в Мюнхене, будет жить на средства партии и выполнять ее задания. Отсюда и новое пальто, и мягкий вагон.

Когда речь заходила о фактах обыденной жизни, Оскар обычно туго соображал, что к чему, и сейчас ему трудно было сразу переварить все сказанное братом. Значит, Малышу не только удалось избежать последствий того мокрого дела, он даже ухитрился извлечь из него пользу. Сам Оскар не может похвастать внешним успехом, только внутренним, он может лишь отметить, что его сила возросла. Это звучало довольно слабо после эффектного рассказа о достижениях брата.

Поэтому тот задумчиво посмотрел на Оскара и спросил с жесткой деловитостью:

— Ну, а пети-мети у тебя водятся?

Оскара больше рассердило это лихое жаргонное словечко, чем самый вопрос.

— Найдутся, — с достоинством ответил он, — компату на Румфордштрассе сам оплачиваю.

Затем Ганс рассказал, что завтра на большом партийном собрании в цирке «Кроне» он будет представлен фюреру и примет поздравления мюнхенских членов партии. Манфред Проэль прилетит из Берлина только затем, чтобы самолично представить его фюреру. Оскар должен, конечно, тоже быть. На Оскара все это произвело сильное впечатление.

Он искренне радовался удачам брата, но никак не мог забыть его хилое, тощее тело, которое видел, когда тот мылся; и сейчас Оскар внимательно разглядывал остренькое личье личико заморыша. Даже понять было трудно, как мог такой замухрышка добиться столь ощутимых успехов, тогда как он, Оскар, с его значительной внешностью не достиг решительно ничего. Видно, судьба «без разбору дарит блага, слепо счастье раздает», вспомнился ему стишок, заученный еще в школе.

Ганс собирался лечь спать, но все же стал удерживать брата: «Не уходи. Посиди еще около меня». Это звучало совсем как в годы их юности. И Оскар подчинился его желанию.

А Ганс зевал и блаженно потягивался, лежа в кровати.

— У них там, в Моабите, что-то вроде коек в стене, — рассказывал он. — Их надо откидывать. Они даже не так плохи, вроде как в казармах, но, по правде сказать, спалось мне на них неважно. Зато теперь я вознагражден, — закончил он с глубоким удовлетворением и снова потянулся. — А кровати здесь неплохие, — заметил он, — вообще это хорошая гостиница. Я мог бы, конечно, позволить себе роскошь остановиться в «Четырех временах года». Но благоразумнее, если мы, видные деятели партии, не будем слишком выставлять себя напоказ.

Оскар сидел у брата до тех пор, пока тот не заснул. Сам же, вернувшись на Румфордштрассе, еще долго лежал без сна, размышляя об успехах Ганса. «А деньги у Малыша есть, это сразу видно, партия не хочет, чтобы он голодал. Только бы все кончилось благополучно», — думал Оскар, прикрывая заботливостью свою зависть к брату.

Гансль всегда умел устроить себе хорошую жизнь. Зато ему постоянно приходилось подвергаться опасностям. Не очень красивая вышла история, когда начался процесс по поводу каких-то роялей, которые Гансль во время войны вывез из Польши в Германию. И было весьма неприятно, когда один из тех, чьи секреты Гансль разоблачал в своей газетке «Прожектор», обвинил его в вымогательстве. Да и теперешние дела брата, эти поручения партии, которые он выполняет, беспокоили Оскара. Ради его прекрасных глаз партия, уж конечно, не будет нести такие высокие накладные расходы. Ганс, как видно, вынужден заниматься рискованными делами.

Итак, Малыша теперь зовут Гансйоргом. Он убедительно просил Оскара отныне называть его только Гансйорг. Он вообще немножко злоупотребляет северными, истинно германскими словечками, пусть называется Гансйоргом, если ему нравится. Но маленькому Ганслию из Дегенбурга будет нелегко дорасти до столь эффектного имени.

Машина, в которой братья Лаутензак ехали в цирк «Кроне» на массовое собрание, созываемое Адольфом Гитлером, двигалась вперед очень медленно. Со всех сторон спешили люди, везде стояли полицейские.казалось, самый воздух насыщен ожиданием, волнением. Уже во время последних выборов партия нацистов выдвинулась на второе место; ее притягательная сила все возрастала.

Еще с месяц назад Оскар сделал попытку вступить в нее. Но он опоздал, теперь желающие повалили валом, и партийное руководство временно прекратило прием.

Ганс ласково пожурил брата. Оскар слишком мало

заботится о подобных вещах: быть членом нацистской партии сейчас очень важно. Придется, пожалуй, ему, Гансйоргу, опять приложить к этому руку. Ну, да он добьется своего. Оскар будет принят. Если бы Оскар действовал обычным путем, он получил бы билет с таким поздним номером, что его вступление в партию едва ли дало бы что-нибудь. Вот тут-то он, Гансйорг, и поправит дело, добудет Оскару более ранний номер. И, видя, что Оскар только усмехнулся, заверил его:

— Уж ты на меня положишься. Твой брат кое-что значит в партии.

Оскар не возражал, однако недоверчивое выражение не сходило с его лица. Ведь Ганса при всей его ловкости хватило только на то, чтобы стать снова тем, кем он был в свои лучшие времена, — преуспевающим спекулянтом, сутенером, сотрудником желтой прессы. Теперь он намерен сделаться высокооплачиваемым политическим агентом. Но как понять его слова: «твой брат кое-что значит в партии»? Нет, тут Малыш, наверно, опять натрепался.

Когда они вошли в зал, где собрались главари партии, Оскар получил возможность убедиться, что Ганс не хвастал. Он видел собственными глазами, как сго Ганс, маленький Гансль, сын покойного секретаря муниципального совета Игнаца Лаутензака, мелкого чиновника из Дегенбурга, оказался в центре внимания всего этого блестящего собрания. Вокруг него так и теснились вожаки самой влиятельной партии Германии, его поздравляли, стремились быть ему представленными, почтительно спрашивали его мнение о той или иной политической проблеме. Оскар был просто ошеломлен.

Не только самый факт такого успеха заставлял Оскара восхищаться братом, но и то, что Малыш принимал эти почести как должное. Ганс нимало не смущался, он чувствовал себя в этой непостижимой действительности, точно рыба в воде. И отныне даже в мыслях Оскар стал называть его не «Гансль», а решительно и окончательно «Гансйорг».

Впрочем, Гансйорг оказался любящим братом. Оскар, со своим энергичным, значительным лицом, бросался в глаза, и большинство главарей решило сначала,

что это и есть, новый фаворит партии. Но Гансйорг не только не обижался, а, наоборот, все время выдвигал брата вперед, подчеркивая, что сам-то он ничто, просто вследствие благоприятных обстоятельств смог оказать партии кое-какие услуги, а вот Оскар наделен от рождения неким удивительным даром, который может очень пригодиться партии, ибо этот дар в известном смысле присущ самому фюреру. Слушая такие речи, Оскар благодарно помалкивал и лишь старался придать себе еще более внушительный вид.

Среди собравшихся Оскар знал только одного человека — знаменитого актера Карла Бишофа. Весело и шумно рассказывал в толпе Карл Бишоф; любое помещение, в которое он входил, превращалось для него в театральные подмостки. Он выразительно потрянул руку Оскара. Этот Лаутензак, взявший у него несколько уроков, оказался не без таланта, но он был ленив и убоялся тех трудов, какие нужно затратить, чтобы самая будничная фраза приобретала звучание трагического ямба и каждый жест создавал бы при этом такое впечатление, словно говорящий стоит на котурнах, а ведь в этом и есть задача великого актера. Правда, Лаутензак, как и самый преуспевающий из учеников Карла Бишофа — Адольф Гитлер, — действует только в жизни, а не на подмостках, грубая же действительность требует гораздо меньше таланта и мастерства, чем сцена.

Ближайшим другом Гансйорга был, по-видимому, человек, лицо которого Оскар хорошо знал по газетам, — начальник штаба нацистской армии Манфред Проэль. Гансйорг вносил в свое отношение к нему, наряду с угодливостью, какую-то подмигивающую интимность, а тот улыбался и не возражал. Манфред Проэль был небольшого роста, гладкий, холеный, с розовой кожей и склонностью к полноте. У него была круглая, почти лысая голова и светлые хитрые глазки. Форма ему шла. Он подал Оскару мягкую, но сильную руку.

— А... а... значит, вы и есть брат нашего Гансйорга, — сказал он. — Гансйорг мне много о вас рассказывал.

И он бесцеремонно принялся разглядывать Оскара. Оскар был в затруднении, не зная, как ему понять слова

Манфреда Проэля. Очевидно, между этим влиятельным господином и Гансйоргом существовали более чем дружеские отношения, поэтому он отнесся благосклонно и к Оскару. И все-таки, несмотря на кажущуюся простоту, в нем чувствовалась какая-то барская презрительность. Он играл здесь первую роль и сознавал это, как сознавали и другие; а Оскар прямо носом чуял, что Проэль предназначен для великих дел. Но вместе с тем от него веяло каким-то предвестием беды, и, как ни заманчива была для Оскара мысль о дружбе с этим человеком, внутренний голос предостерегал его от сближения.

— Я приехал в Мюнхен прежде всего затем, — начал Манфред Проэль, — чтобы лично представить вашего брата фюреру. Гансйорг желал бы, чтоб я познакомил и вас с фюрером; если вы не против, я готов это сделать. — Он улыбнулся, и его светлые глаза почти весело заглянули в темно-синие глаза Оскара.

Затем все перешли в круглый зал цирка. Оскар опять не мог не подивиться, с какой ловкостью и блеском подает себя партия. Все было в одном стиле: мощные и грозные черные свастики на белых кругах посреди кроваво-красных полотнищ, коричневые рубашки, бравурная музыка, крики толпы, испарения, затаенная алчность людей, сидящих перед наполненными до краев пивными кружками в ожидании, когда можно будет с воодушевлением прореветь «хайль», приветствуя фюрера, германского мессию.

И вот он появился, фюрер. Точно так, как учил его и Оскара Карл Бишоф, прошествовал он к трибуне, поднялся на нее и с мужественно-замкнутым лицом принял приветствия своих преданных сторонников.

Потом заговорил, и его натренированный голос заполнил зал и сердца. Оскар смотрел на него глазами специалиста, — ведь и его призванием было воздействовать на массы; с профессиональной зоркостью следил он за приемами оратора. Как и фюрер, Оскар был родом из баварско-богемских пограничных областей. Как и фюреру, ему было трудно говорить на литературном немецком языке вместо родного диалекта и избегать нарушений основных правил немецкой грамматики, ибо,

подобно фюреру, и он убежал из школы, больше полагаясь на свою интуицию, чем на знания.

Сейчас Оскар с радостью убеждался, что поступил тогда правильно. Дело не в том, построены ли фразы по законам грамматики, или нет, и не в том, имеет ли смысл то, что говоришь; покорять нужно сердца людей, а не их убогий разум. Решает не содержание произносимой фразы, а как ее произносишь, поза оратора, подъем, трепет и громовой раскат его голоса.

Разум Оскара улавливал отдельные технические детали в речи Гитлера и одобрял их. Но сердце Оскара билось в такт с сердцем толпы и не допускало критической оценки того, о чем вещал этот человек там, на трибуне. Оратор и сам не очень-то продумал свои слова. Он был скорее погружен в какой-то транс. Пока он говорил, он верил. И поэтому ему верила толпа, и поэтому верил Оскар. Человек этот был охвачен восторженным пылом, и восторженным пылом был охвачен Оскар, охвачена масса. Человек этот ненавидел, презирал, восхищался, и с ним вместе ненавидели, презирали, восхищались и Оскар и толпа.

Оскар любил этого человека, там, на трибуне, сильнее, чем другие, он чувствовал его глубже. Им обоим дарована была интуиция, «видение», способность проникать в чужие души. И это делало их единым существом — человека на трибуне и человека в зале. Гитлер говорил, а Оскар слушал его, или, может быть, наоборот: слушал Гитлер, а говорил Оскар? Оскару были открыты сокровеннейшие желания и стремления Гитлера, его глухая, бурная, свирепая воля.

Сегодня Гитлер был в ударе, он превзошел самого себя. Издевался, неистовствовал, любил, громил. Казалось, он зажег перед публикой сверкающий фейерверк. А Оскару чудилось, что все это делается только ради него. Для него одного этот человек из кожи вон лезет и так старается, что с длинной пряди на лбу и с коротких усиков капает пот.

Оскар должен подать ему знак, этому человеку на трибуне, и получить знак от него; и вот кожа его лица натянулась, зрачки сузились, его дерзкие глаза стали неподвижными и вместе с тем более живыми. Он

погрузился в себя, весь обратился в волю. «Ты, там, наверху, — приказала эта горячая воля, — знай, что я здесь. Я понял яснее, чем другие, каким несказанным трудом ты добился успеха и как вдохновляет тебя удача. Подай мне знак. Посмотри на меня, как я смотрю на тебя».

Вдруг в Гитлере почувствовалась мгновенная неуверенность, — только Оскар заметил ее. Заметил, как человек на трибуне внезапно начал искать кого-то в толпе. Затаив дыхание, следил Оскар за взглядом Гитлера. И вот — свершилось. С почти физическим сладострастием он ощутил, как взор Гитлера погрузился в его взор. И с той минуты эти двое людей уже не отводили глаз друг от друга. Гитлер в мощном *crescendo*, казалось, превзошел самого себя. Кипел, шипел, гремел, визжал, льстил, глумился. И на лице Оскара отражались глумление, лесть, любовь. Гитлер и Оскар давали друг другу грандиозный спектакль.

После собрания руководители партии встретились с фюрером в итальянском винном погребе на Барерштрассе. Проэль взял с собой обоих братьев и здесь представил фюреру нового любимчика партии.

Гитлер сказал Гансйоргу несколько приветливых и мужественных слов, но в это же время его взгляд уже скользнул по Оскару, который стоял в сторонке, ожидая.

Затем Проэль представил и его.

— Мне ваше лицо знакомо, — сказал Гитлер. — Ваша маска очень значительна.

Они пожали друг другу руки, глубоко заглянули друг другу в глаза. Безмолвно заключили союз. «Если ты меня предашь, — сказали глаза фюрера, — ты погиб. А если останешься верен, то будешь моим подручным и я поделюсь с тобой моей добычей».

Оскар, воодушевленный этой встречей с фюрером, проводил брата до гостиницы и спросил, не подняться ли вместе с ним наверх.

— Почему бы тебе и не подняться? — отозвался своим обычным развязным тоном Гансйорг.

Он устал и сразу же лег. На нем была бледно-зеленая пижама. Оскар сидел у его постели, как делал не раз, когда тот был мальчиком. Гансйорг оставил гореть только одну лампочку; Оскар сидел на свету, кровать Гансйорга была в тени. Оскар невольно обратил внимание на то, как горят в темноте маленькие глазки брата. «Точно глаза зверя», — подумал он. Гансйорг весь вечер отзывался о брате только с похвалой и любовью, но сейчас на него нашло какое-то озлобление.

— Ведь ты такой дурак, Оскар, — сказал он с издевкой. — Если я не займусь твоими делами, чего ты добьешься при всей своей интуиции? Маска Тиршенройтши великолепно, ничего не скажешь, но ведь жрать-то надо! А что она тебе даст? Если братишка тебе не поможет, ты так и останешься на бобах со своим ясновидением и чистоплюйством.

Он долго еще продолжал дурацкие придирки. Сначала Оскар молчал и терпеливо слушал, но в конце концов не выдержал и заявил:

— Что ж, ты добился успеха и ловко выкрутился из этой истории, ничего не скажешь. Но быть героем процесса о шантаже, устраивать пальбу из-за какой-то Карффункель-Лисси — на такие штучки не всякий пойдет.

Гансйорг громко зевнул.

— И охота тебе нести такую чушь, милый Оскар, — кротко возразил он. — Хоть тебе и сорок два года, а рассуждаешь ты, будто мы все еще ходим на уроки к пастору Рупперту и готовимся к конфирмации. И потом, ты опять передергиваешь: я всегда был свиньей только на девяносто процентов, а свиньей на все сто был ты. Помнишь, как мы воровали яблоки в саду у Пфлейдера?

Оскар помнил. Это он тогда предложил обобрать яблоню. Они уговорились, что Ганс будет стоять внизу и сторожить. А когда Пфлейдерер их накрыл, Ганс просто-напросто удрал, не предупредив брата об опасности. Пфлейдерер поймал Оскара на месте преступления и жестоко высек. Тогда Оскар наябедничал отцу, чтобы Ганс тоже получил свое. Отец зверски выдрал Ганса. А Оскар стоял тут же; он хорошо помнит, как отец

сопел в свои густые, рыжеватые усы, помнит свист его камышовой трости — нижний конец ее даже треснул, — помнит возникшее в нем смутное ощущение неловкости оттого, что он на Ганса наябедничал, и глубокое удовлетворение от сознания, что и Малыш получил сполна свою порцию побоев. Все это неизгладимо запечатлелось в его памяти, и он особенно удивился тому, что Малыш, спустя почти четверть века, все еще попрекает его этой историей. А Ганс продолжал:

— Это было никому не нужно и просто подло, что ты тогда на меня нажаловался.

Он говорил с раздражающей кротостью, но Оскар знал, что за ней таится лютая злоба.

Весь вечер Гансйорг ради него распинался, а теперь вдруг ни с того ни с сего вспомнил их старые счеты и пристаёт к нему с глупостями. В общем — очень странно. Хотя так бывало уже не раз.

Оскар мог бы многое возразить Гансйоргу. Но ведь тот как-никак устроил ему встречу с фюрером, и Оскар сдержался.

— Вот уж нашел, о чем вспоминать, — сказал он, — с тобою я ссориться не собираюсь. Я слишком тебе благодарен. Сегодняшний вечер для меня знаменателен.

Светлые глаза Ганса горели в полумраке, они казались Оскару волчьими.

— Я поведу тебя на такие вечера, мой милый, которые будут для тебя еще во много раз более знаменательны, — ответил он. — И не собираюсь мстить тебе за то, что ты тогда наябедничал. Я отплачу тебе добром за зло. Но сейчас я слишком устал и не могу вдаваться в подробности. Мы поговорим, когда оба отдохнем. — И опять обратился на Оскара огоньки своих волчьих глаз; а тот не мог понять, что в этих глазах — нежность или насмешка.

Несколько дней спустя, когда они снова сидели в номере гостиницы, Ганс вернулся к этим намекам. Настало время, заявил он, поговорить о будущем Оскара. Он закурил сигарету, уселся поудобнее и предложил брату подробно рассказать о своем положении.

Оскару очень мешала стоявшая посреди комнаты раскрытая элегантная картонная коробка с принадлежностями мужского туалета — рубашками, носками, галстуками; у Гансйорга теперь завелись деньги, и эту объемистую картонку ему, должно быть, только что доставили из магазина. Оскар выразительно посмотрел на нее, но Гансйорг не двинулся с места, а Оскару не хотелось омрачать разговор, настаивая на том, чтобы Ганс убрал ее. Поэтому он все же начал, не обращая внимания на мешавшую ему коробку.

Он рассказал о предложениях фокусника Пранера, по прозванию Калиостро, и о том, как упорно от них отказывался. Сообщил о договоре, который с ним намерен был заключить профессор Гравличек, и не забыл подчеркнуть, что Тиршенройтша ради этого договора отдала за бесценок своего «Философа», столь дорогого ее сердцу.

— Ну что ж, эта дама не скупится — оплачивает за поздалую весну любви, — заметил Гансйорг.

— Я очень просил бы тебя, — ответил с обычным высокомерием Оскар, — воздержаться от подобных шуток по адресу Анны Тиршенройт.

Гансйорг миролюбиво пояснил:

— Моя шутка имеет только одну цель: чтобы ты не попал в лапы сомнительной компании ученых-педантов, и притом за какие-то две с половиной сотни марок.

— Ты этого не понимаешь, — отозвался Оскар скорее виноватым, чем возмущенным тоном.

— Понимаю, понимаю, — сказал Гансйорг, — этим договором ты хочешь купить себе внутренний покой, собранность, возможность предаваться созерцанию. Тут я могу тебя понять. Но двести пятьдесят марок — это только двести пятьдесят марок, особенно на них не разживешься. — Он встал; его бесцветные глаза смотрели на брата чуть насмешливо, почти с состраданием. — Наш покойный папаша, — продолжал он, — и учитель Данцигер, наверное, сказали бы: «Другого такого отпетого лодыря, как Оскар, не найти». — Потом твердо и решительно закончил: — Договор этот, конечно, бред. Я очень рад, что успел вмешаться.

Наступило молчание. Вскоре Оскар спросил:

— Что же теперь делать? — Показав слишком явно свою беспомощность, он тут же рассердился на себя и веско добавил: — Я могу, конечно, в любую минуту пойти на сотрудничество с Пранером. Денег была бы куча. Но я останусь верен телепатии, от нее я больше не отступлюсь, это решено твердо.

Гансйорг наслаждался ситуацией. Значит, опять допрыгался. Вот он, этот Оскар, талант, ясновидец, — сидит и не знает, как ему быть, ищет помощи у него, младшего брата, которого столько раз предавал!

Он был доволен, но и виду не подал.

— У меня есть идея в том же плане, — сказал Ганс. — Я тоже хотел тебе предложить — начни снова выступать. Но не в Варьете. Я считаю, что тебе следует отдать свой дар партии.

Так вот оно что! И все? Таков, значит, хваленый проект Гансйорга? Оскар не мог понять, чем тут можно особенно соблазниться. Он был разочарован.

Гансйорг тем временем развивал свою мысль. Он рассказывал о некой баронессе Хильдегард фон Третнов. Эта Третнов — одна из влиятельнейших берлинских дам, очень богатая, род древнее Гогенцоллернов; в ее доме бывает весь берлинский высший свет, она — из немногих аристократок, поддерживающих нацистскую партию. Кстати, именно эта Третнов и спасла Гансйорга: не будь ее, он бы никогда не выпутался из той злополучной истории.

— И знаешь, когда она в первый раз пришла ко мне в тюрьму, меня сразу же осенило: «Эта — прямо для Оскара!» — Он оживился. — Представь себе картину: ты сидишь в тюрьме, дело идет о жизни и смерти. И вот сейчас придет человек, о котором тебе сказали: это последний шанс. Если и тут не выгорит, тогда крышка. Ты стоишь за решеткой в ожидании посетителя, и оказывается, это женщина, и все зависит от того, как ты будешь говорить с ней, какое произведешь на нее впечатление. Что же делает при такой ситуации Гансйорг? Как только я ее увидел — аристократка, шикарная особа, хороша собой, черты чуть резкие, рыжеватые волосы, смелая линия носа, — как только я уви-

дел эти беспокойные шальные глаза, мне тут же, несмотря на угрозу смерти и на все мои беды, пришло в голову: «А ведь она клюнет на Оскара!» И это не пустяк, братишка, — похвастался он, — это доказывает мою любовь к тебе. «Господь бог ее прямо-таки создал для Оскара», — подумал я.

Оскар сидел в кресле; лицо его было неподвижно, он смотрел не отрываясь на раскрытую картонку. Он-то вообразил, что Ганс преподнесет ему какой-нибудь сверхъестественный проект, а он, оказывается, всего-навсего предлагает этот вздор. С уничтожающей вежливостью Оскар ответил:

— Очень любезно с твоей стороны, что ты в тюрьме вспомнил о брате. И ты, конечно, предлагаешь мне этот план из самых лучших побуждений. Но, должно быть, за время разлуки мой образ стерся в твоей памяти. Я, видишь ли, не способен — прости за откровенность — подходить к женщине с мыслью о том, много ли из нее можно выжать. Для меня коза — это коза, сколько бы молока она ни давала. Уж как хочешь!

Гансйорг с дружелюбным видом слушал излияния брата, на его тонких губах играла легкая улыбка. Затем он сказал:

— Ты в точности отец: он разглагольствовал так же высокопарно. И все-таки ныне покойный господин секретарь муниципального совета женился на нашей матери только потому, что у нее водились пети-мети, ради «молока», как ты изволил выразиться. Да, да, от этой дегенбургской респектабельности не скоро отделаешься. Ладно, — вдруг решительно прервал он себя. — Хватит об этом.

Казалось, Оскар сейчас ответит ему сочным словом, но, видно, одумался и произнес почти просительно:

— Говори же.

Гансйорг подавил улыбку и подробно изложил свой план. Описал Хильдегард фон Третнов, эту сверхэлегантную даму, ее рыжеватые волосы, светлые, живые, шальные глаза; она деятельно стремится всегда что-то устроить, продвинуть. Описал ее дом, где бывают запросто все нацистские бонзы, и не только они, а все влия-

тельные люди. Если бы фрау фон Третнов устроила у себя его вечер, он мог бы продемонстрировать свое искусство перед теми, кто ему нужен, и это было бы началом наступления на Берлин, броском вперед. Такой вечер важнее, чем ангажемент в берлинскую «Scala».

И Оскар мысленно увидел эту незнакомую женщину — очень элегантную, древнейшего рода, увидел ее дом, полный влиятельных людей, и вот они, покоренные его искусством, в оцепенении смотрят на него. Он почувствовал, как властно влечет его этот соблазн. Вместе с тем он почуял и опасность. Увидел крупное, озабоченное лицо Тиршенройтши, услышал пискливый, иронический голосок профессора.

«Нет, нет,— предостерегал внутренний голос,— не делай этого». Но вслух он сказал:

— А почему ты знаешь, что твоя Третнов не только наобещает, но и действительно сделает что-то?

— Да она непременно попадетсЯ в твои сети, голову даю на отсечение,— возразил Гансйорг.— Уж это я в женщине сразу чую. Она видела твою маску, и ей интересно познакомиться с оригиналом. Я наплел ей про тебя, что ты пророк, не от мира сего. Тебе ничего не надо делать. Только стой перед ней и многозначительно молчи.

— Ты окажешь мне большое одолжение,— с ледяной вежливостью остановил его Оскар,— если прекратишь свои дурацкие шутки. Скажи мне лучше ясно и понятно, что мне придется делать в доме твоей Третнов. Ты действительно полагаешь, что берлинский высший свет заинтересуется моими сеансами?

Гансйорг с мечтательным видом вынул рубашку из картонки, погладил рукой шелковую ткань, положил обратно.

— Небольшую сенсацию пришлось бы, конечно, заранее организовать,— заметил он,— ну, там подпустить немножко спиритизма, немножко пророчеств...

Оскар сделал лицо Цезаря.

— Я больше не намерен выступать с шарлатанскими экспериментами, я уже говорил тебе об этом,— ответил он.

Гансйорг молчал. Оскар перестал позировать и многозначительно пояснил:

— Это вредно для моего дара. Я не имею права.— И так как Гансйорг все еще не проронил ни слова, добавил уже совсем всерьез, с надрывом: — Не могу я себе этого позволить, мне тогда крышка.

Гансйорг знал, что колебания брата — больше чем жеманная болтовня, и потому воздержался от иронических замечаний.

— Я не хочу тебя уговаривать делать то, что тебе не по нутру,— сказал он.— Но ты пойми, милый Оскар, второй такой случай, как эта Третнов, едва ли представится.

В душе Оскара шла жестокая борьба. Для его отца, секретаря муниципального совета, знакомство с именитыми людьми вроде бургомистра Обергубера или богатого хлеботорговца Эренталя было пределом желаний. Сам он, Оскар, в свои лучшие дни, во время войны и во время инфляции, бывал очень доволен, если приходилось иметь дело с человеком, которого можно было назвать «барон» или «ваше сиятельство», а тем более «ваше высочество». Конечно, он сознавал, что титулы — одна видимость, главное — индивидуальность, интуиция, умение читать мысли; все же это была весьма приятная видимость, и перед его духовным взором соблазнительно проплыл вожделенный гобелен, которым он со временем украсит пустую стену своей комнаты.

Его мечты нарушил звонкий голос брата; сейчас он звучал даже вкрадчиво.

— Видишь ли, милый Оскар,— обольщал его этот голос,— толпе ничего не втолкуешь без некоторой театральности, без рекламы, без обмана. Люди противятся всему, что отклоняется от привычной нормы. Думаешь, господь наш Иисус Христос чего-нибудь достиг бы, не пошли он своих апостолов создавать рекламу его чудесам? Даже фюрер и тот не пробился бы без некоторых вспомогательных приемов, без пышных слов, без того, что ты сейчас грубо назвал обманом. Прочти внимательно, что он говорит в своей книге о необходимости пропаганды, лжи, обмана. Сколько клятвопреступлений взял он на себя, как унижался! Превозмоги и ты себя,

Оскар. Пойди на уступки. Ты просто обязан это сделать во имя своего дара.

Оскару было приятно слушать эти речи. Брат верил в то, что говорил. Он не играл, не притворялся, уж Оскар умел разбираться в этом, вдохновенный гимн Ганса мошенничеству соответствовал его глубочайшим убеждениям. И разве Гансйорг не прав? Когда публике предлагают нечто столь необычное и странное, как то, что мог предложить Оскар, нужна позолота, нужна приманка. Да, Оскар должен себя пересилить. Должен спутаться с этой аристократкой, спать с ней, должен предсказывать будущее, вызывать души умерших. Это попросту его обязанность. Во имя своего дара он должен все это взять на себя.

— Ты давно не был в Берлине,— продолжал брат.— За время твоего отсутствия город изменился до неузнаваемости. Теперешние берлинцы и слышать не хотят никаких ученых разглагольствований, они знать не желают ни логики, ни прочих умствований. Подавай им непостижимое, подавай чудо. А в этом твоя сила, Оскар, тут никто с тобой не сравнится. Говорю тебе — более восприимчивой публики ты на всем земном шаре не сыщешь. Нынешний Берлин и ты — вы подходите друг к другу, как перчатка к руке. Берлин истерички Третнов — вот твоя среда. Он созрел для тебя. Не глупи, Оскар. Такой случай может представиться только раз в жизни, больше он не повторится.

Гансйорг сидел перед ним при ясном свете дня, но Оскару вдруг почудилось, будто Малыш опять лежит в постели в своей элегантно бледно-зеленой пижаме и будто волчьи глаза его горят в полутьме. Блестящее общество, богатство, все соблазны мира предлагал он старшему брату. Он был искушителем, этот младший брат.

Вот он подошел ближе. Так близко придвинул свое дерзкое, хитрое, плутовское лицо, что Оскар чуть не отпрянул.

— Видишь ли,— сказал Гансйорг,— ведь и мы, нацисты, добиваемся успеха потому, что обещаем людям чудо. Ты и наша партия — вы внутренне неотделимы. Я вижу здесь колоссальные возможности. Как все великие люди, фюрер очень восприимчив к мистике. Ты ему

понравился, Оскар. Если умно взяться за дело, ты можешь стать одним из его советчиков. *Главным советчиком.*

В душе Оскара возникла невыразимо влекущая греза о власти и влиянии. Зазвучала музыка, неистовая вагнеровская музыка. Он уже видел вокруг себя множество людей, судьбами которых он управляет при помощи одного лишь слова, сказанного шепотом.

Эта греза была слишком прекрасна. Им вдруг овладело недоверие.

— А, собственно, чего ради партия будет помогать мне? — спросил он. — Какая ей от этого польза?

— Я могу, например, себе представить, — возразил Гансйорг, — что влияние Прозля на фюрера может усиливаться окольным путем, через тебя.

— Значит, это было бы выгодно для твоего Прозля? — размышлял Оскар вслух.

— Манфред Прозль — это и есть партия, — с неожиданной резкостью заявил Гансйорг.

Может быть, Оскара задела эта резкость, ибо взгляд его дерзких темно-синих глаз стал почти угрожающим.

— А какая выгода тебе, братишка, если я с партией пойду рука об руку? — спросил он.

Гансйорг выдержал его взгляд.

— Ты совершенно прав, — спокойно ответил он. — Я делаю тебе это предложение не только из братской любви. Я сильно надеюсь, что если мы это дело сварганим, то и мне кое-что перепадет. И я убежден, — продолжал он, и в его голосе зазвучали теплые нотки, — что, объединившись, братья Лаутензак достигнут большего, чем каждый из них добьется порознь. Блеск одного отразится и на другом. Но если мы заключим союз, это будет выгодно, главным образом, для тебя. Твой дар редок. Именно поэтому нелегко заставить людей признать его. До сих пор еще никто не смог показать твои способности в нужном освещении. И помочь тебе могу только я. Утверждая это, я лишь констатирую факт.

«В этом что-то есть, — подумал Оскар. — Братья Лаутензак связаны друг с другом орфически, еще праматерями, еще водами глубин».

— Ты прав,— задумчиво сказал он.— Я не должен, не вправе зарывать свой талант. Я обязан показать его миру — это в моих и твоих интересах.

— Вот и хорошо,— одобрил Гансйорг,— хорошо, что ты наконец перестал глупить.

— Погоди-ка,— остановил его Оскар,— скоро такие дела не делаются.

— А что еще? — спросил Гансйорг.

— Пока твои берлинские планы что-нибудь дадут, пройдет немало времени. А я, к сожалению, не могу ждать. У меня нет денег,— отважился он признаться.

— Ах ты дуралей! — ласково отозвался Гансйорг.— У меня же есть деньги, а пока они есть у меня, будут и у тебя.

От этих простых и великодушных слов у Оскара потеплело на сердце.

— Хорошо,— сказал он,— договорились,— и протянул Гансйоргу руку.

Такие жесты не были приняты между братьями; Гансйорг, усмехаясь, вложил свою маленькую узкую руку в огромную, белую, грубую руку Оскара.

— Ну и тянул же ты с ответом! — сказал он.— Не скоро до тебя доходит. Значит, решено. Я думаю,— начал он излагать свои планы,— что дела задержат меня здесь еще недели на три. Затем мы вместе отправимся в Берлин, и я представлю тебя этой Третнов.— Он опять взялся за картонку, начал извлекать оттуда белье и укладывать в шкаф.

— Ну нет, милый мой,— решительно заявил Оскар.— Так дело не пойдет. Я должен ехать в Берлин? Я должен бегать за твоей Третнов? Это меня не устраивает, я уже говорил тебе. Не буду я предлагать себя твоей аристократке.— Он стоял перед братом с воинственным и величественным видом — актер Карл Бишоф порадовался бы, глядя на него.— Если ей что-нибудь угодно от меня, пусть явится ко мне сама.

Гансйорг положил на стол только что вынутую из картонки стопку белья. Он окинул Оскара выразительным взглядом.

— В голову бросилось? — добродушно заметил он.— Тут ты уж хватил через край!

Однако Оскар стоял на своем.

— Если это для нее так важно, как ты утверждаешь,— продолжал он тихо и упрямо,— то она явится. А нет, так и жалеть нечего.— Он отвернулся, сделал несколько шагов.

И тут с ним произошло нечто странное. Он вдруг остановился посреди комнаты. Его взгляд уловил какую-то точку на стене, или, вернее,— в воздухе, впился в нее, но ненадолго. Потом лицо его словно опустело, обмякло, красные губы раздвинулись, обнажив крепкие белые зубы. Он вернулся неверной походкой к своему креслу, упал в него и как будто оцепенел, погруженный в себя, к чему-то прислушиваясь с отсутствующим видом и растерянной, глуповатой улыбкой. Гансйорг понял: Оскар впал в транс.

Так оно и было. Оскар ощутил в голове или, быть может, в груди какой-то легчайший порошок, точно там едва слышно рвалась шелковая ткань. Окружающие его предметы исчезли. Он словно вышел за пределы самого себя, он «видел». Так сидел он несколько минут, весь расслабленный, безжизненный, как заводная кукла, с почти идиотским напряженным лицом. Затем, точно пробудившись от сна, он провел рукою по лбу и сказал, улыбаясь, очень уверенным, хоть и будничным тоном:

— Не беспокойся, она придет. Я это «видел».

Несмотря на весь скептицизм Гансйорга, прорицание брата произвело на него впечатление. И так бывало всегда. С одной стороны, Гансйорг смеялся над «видениями» брата, но что-то более сильное в нем верило в них.

Впрочем, если хорошенько разобраться, то в решении Оскара ждать, пока эта Третнов сама к нему явится, есть смысл. Конечно, наглость предполагать, что она приедет в Мюнхен только затем, чтобы встретиться с Оскаром,— требовать этого просто невозможно. Но если играть, так уж ва-банк. Именно потому, что идея Оскара столь проста и дерзка, она правильна. Ведь и фюрер добился успеха только потому, что действовал нагло и просто.

Говоря себе все это, Гансйорг уже обдумывал, каким способом заманить ффрау Третнов в Мюнхен. Он

сегодня же напишет ей. Расскажет о том, что свидание с братом влило в него новые силы. Изобразит встречу Оскара с Гитлером и то глубокое впечатление, какое брат произвел на фюрера.

— Ты прав,— признал он наконец.— Она должна сюда приехать. Я ей напишу.

— Я был уверен, что ты меня поймешь,— ответил Оскар.

Гансйорг улыбнулся:

— Да, мы, братья Лаутензак, мы должны быть вместе.— И снова занялся своим бельем.

— Ну, я пошел,— сказал Оскар.— Еще одно,— добавил он напористо.— Ты был так любезен, что предложил мне денег.

— Ах да, ну конечно! — отозвался Гансйорг.— Сколько тебе нужно?

Оскар молчал, обдумывая. Брат, видимо, при деньгах, у него завелись пети-мети, как он выражается. Значит, Оскар спокойно может попросить кругленькую сумму, например, сто марок. Судя по тому, как держится Ганс, можно потребовать и больше: двести.

— Мне нужно сейчас примерно триста марок,— заявил Оскар, и даже сердце у него замерло от такой смелости.

Гансйорг извлек из бумажника три синие бумажки.

— Вот, пожалуйста,— сказал он.

Оскар, поблагодарив, удалился. «Надо было попросить пятьсот»,— думал он, спускаясь в лифте.

На другое утро пришло письмо от профессора Гравличека. Он посылал Оскару договор и просил подписать и вернуть один экземпляр.

Оскар получил письмо за завтраком. С недоброй усмешкой рассматривал он четкий, изящный, несколько педантичный почерк профессора. Ему чудилось, будто светлые глазки гнома смотрят на него сквозь очки с иронией, даже с издевкой. Он слышал его пискливый голосок, видел, как тот усмехается в свою светло-рыжую бороду. Оскару стало не по себе. Он вызвал в памяти вчерашнее видение — образ ффрау Третнов, входя-

щей в его комнату. Услышал опять дерзкий и вкрадчивый голос брата, его вдохновенный гимн обману. Он усмехнулся еще злее, перечел письмо Гравличека. «Плевал я на тебя!» — проговорил он вслух и, отодвинув от себя письмо, продолжал завтракать.

Теперь скоро, должно быть, позвонит и Тиршенройтша — осведомится, как обстоит дело с договором. Пусть. Он скажет ей все напрямик. В конце концов не он же заставил ее отдать «Философа» Гравличеку. Он ей выложит все как есть: что с профессором у него нет никакого контакта, что не желает он на него работать, что уедет в Берлин — там его ждут великие деяния.

Но когда на другой день фрау Лехнер действительно доложила ему, что его просит к телефону фрау Тиршенройт, он ответил: «Скажите — меня нет дома», — и уклонялся от разговора каждый раз, пока она не перестала звонить.

Они с Гансйоргом все лучше и лучше стали понимать друг друга. Дела налаживались. Через несколько дней после того, как брат предложил Оскару свой план относительно фрау фон Третнов, Гансйорг с озорной, гордой и многозначительной усмешкой вручил ему членский билет национал-социалистской партии. На билете стоял номер: 667. Таким образом, оказывалось, что Оскар вступил в эту партию вскоре после ее основания, что он был «старым борцом», — обстоятельство, сулившее немалые преимущества.

Задумчиво разглядывал Оскар свой партийный билет, красиво и размашисто написанную цифру 667. Ну и пройдоха этот Гансйорг! Наверно, было чертовски трудно раздобыть такой билет. Интересно, какая судьба постигла того, кто значился раньше под номером 667?

Может быть, Оскар был бы менее счастлив, если бы узнал, что прежний владелец этого номера погиб самым плачевным образом, приговоренный к смерти тайным партийным судом — фемой, и что сейчас его тело гниет, кое-как зарытое в лесу, неподалеку от Мюнхена. Но никакой внутренний голос не подсказал этого ясновидящему Оскару Лаутензаку, и он был искренне признателен брату за то, что благодаря его хлопотам сразу выдвинулся.

Чтобы начать свою деятельность в Берлине, Оскару нужен был сотрудник, преданный ему душой и телом. Почти всех, кто занимался фокусами, рано или поздно выдавали их ассистенты. Оскар мог положиться только на одного человека — на Алоиза Пранера, по прозвищу Калиостро, своего старого друга.

Оскар покинул его тогда, не попрощавшись, не поблагодарив, и ни разу с тех пор к нему не заходил. Все же он, нисколько не чувствуя себя виноватым, отправился теперь на Габельсбергерштрассе: он был уверен, что друг сразу же сменит гнев на милость.

И действительно, когда Оскар вошел, на длинном морщинистом лице Алоиза появилась веселая гримаса; в его усмешке были и нежность, и легкое злорадство, он решил, что Оскар появился к нему после очередного провала и что у него нет другого пристанища.

— Сколько лет, сколько зим! — приветствовал он Оскара своим скрипучим голосом, похлопал по спине белой, длинной, худой рукой и добавил: — Ты, конечно, останешься ужинать?

— Да, останусь, — сказал Оскар.

Алоиз позвал свою экономку Кати.

— Господин Лаутензак останется ужинать, — возвестил он с гордой усмешкой.

— Уж я так и знала, — бесцеремонно заявила старуха.

И все-таки Оскар величественно повторил:

— Да, я остаюсь ужинать, — но не воображай, что я собираюсь у тебя жить. Мои дела идут превосходно!

Кати удалилась: не очень-то она ему верила. Алоиз был разочарован.

Он принялся рассказывать Оскару о своих планах. Наконец он додумался до одного фокуса, над которым давно бился, это новый, замечательный номер, с ним он выступит в следующем сезоне: одним только напряжением мысли он разорвет железную цепь. Ухмыляясь, продемонстрировал он другу свой трюк. И Оскар, как знаток, отдал должное искусству фокусника Калиостро.

Потом Оскар стал рассказывать о себе, о Гансйорге, о партии, обо всякой всячине. Сначала Алоиз слушал с интересом. Но постепенно на его лице появилось отсут-

ствующее выражение, а в глубоко сидящих, печально-лукавых карих глазах мелькнула озабоченность. Он разглядывал Оскара с головы до ног, и притом так упорно, что тому стало не по себе. Словно он забыл повязать галстук или у него одежда не в порядке. Он ощущал себя и наконец спросил прямо:

— В чем дело? Почему ты все время на меня так смотришь?

Алоиз задумчиво ответил:

— Когда ты пришел, у тебя что-то было приколото к пиджаку. Свастика у тебя была. Ведь правда, была?

Оскар схватился за лацкан — свастики не оказалось.

— Ты опять выкинул одну из своих штук? — спросил Оскар. — Колдуешь?

— Так всегда бывает со свастикой, — философски заметил Алоиз. — То она есть, то ее нет — смотря по надобности. Помню, кое-кто разглагольствовал насчет башни из слоновой кости, и платформы нацистской партии, и насчет того, что человек искусства не должен спускаться на такую сомнительную платформу. Значит, теперь ты все-таки на нее спустился?

Он задумчиво посмотрел опять на лацкан Оскарова пиджака. Тот за него схватился. Свастика была снова на месте. При других обстоятельствах Оскар надменно и презрительно осудил бы эти дешевые трюки и мальчишеские выходки Алоиза. Но сейчас нельзя было его раздражать, ибо, говоря по правде, предложение, с которым он намерен был обратиться к другу, — чудовищная наглость. Алоиз должен переехать в Берлин, отказаться от своей милой, приятной жизни в Мюнхене, не выступать больше в нормальном театре, но участвовать лишь в мероприятиях нацистской партии, которую ненавидит. Доверившись внутреннему голосу Оскара, он должен рискнуть верным заработком, добрым именем артиста, всем своим уютным буржуазным бытом. Памятуя все это, Оскар подавил внезапный гнев.

После ужина Оскар наконец решился заговорить о своем плане, и по мере того, как он излагал эти замыслы, они начинали казаться ему действительностью. Он забыл, что все это еще пока лишь воздушные замки.

Баронесса Третнов уже запросила его по телеграфу, может ли она приехать и встретиться с ним. Несколько берлинских руководителей партии уже предложили Оскару экспериментировать в их кругу. Уже в его распоряжение был отдан весь нацистский аппарат.

Алоиз молча сидел перед ним, тощий, сутулый; его удлиненная лысая голова с высоким лбом была опущена, он задумчиво поглаживал подбородок. Потом, скорее с грустью, чем с возмущением, сказал, что нет, не так представлял он себе сотрудничество с другом. Он-то лелеял мысль о настоящем искусстве, в настоящем варьете, для настоящей публики. Но Ганс и нацисты — нет, это не для Алоиза Пранера. От этого дурно пахнет, к этому у него нет охоты.

Оскар знал, с каким глубоким недоверием Алоиз относится к Гансйоргу и к нацистам. Поэтому его бархатный тенор стал еще более вкрадчивым. Оскар напомнил Алоизу доброе время их совместной жизни, совместную работу, успехи. Воодушевился. Рассказал о перспективах, которые откроются перед ними в Берлине, и то, что казалось Оскару туманной возможностью, когда он слушал Гансйорга, теперь придвинулось, стало чем-то близким, осязаемым.

Затем перешел к тем интереснейшим техническим проблемам, какие возникнут в связи со стоящей перед ними задачей. С тех пор как родился берлинский проект, он мысленно отрабатывает некоторые сложные трюки, известные ему с той поры, когда он выступал еще как фокусник. Существуют наводящие вопросы, с помощью которых можно многое внушить клиентам и извлечь из них удивительные признания. Существует тонко разработанный шифр, с помощью которого ассистент телепата может передавать сложнейшие сообщения: вместо неуклюжих зеркал и проекционных камер, применявшихся в прежние годы, теперь созданы сложнейшие электрические аппараты для материализации явлений духовного мира. Сейчас Оскар обращался к Алоизу как к специалисту. И влюбленный в свое дело фокусник, сначала противившийся уговорам Оскара, невольно заразился его пылом, дополнял его

идеи, сам кое-что придумывал, и они замечательно поработали вместе.

Когда они уже наметили что-то вроде программы и взглянули друг на друга с довольной улыбкой, Алоиз внезапно опомнился.

— Какая жалость, — сказал он, — что все это одни фантазии! Чтобы это осуществить, надо все мозги себе вывернуть наизнанку. А стоит — только, если перед тобой настоящая сцена и настоящая публика. Ради твоих важных дам в Берлине да кучки твоих дурацких нацистов Алоиз не намерен из кожи вон лезть.

Однако Оскар заметил, что рыбка клюнула, и продолжал наступление. Алоиз же сопротивлялся все слабее. Правда, возиться с нацистами и с Гансом противно, с души воротит, зато каждое слово Оскара окрыляет, а работать с ним — просто наслаждение.

После долгих споров они заключили своего рода соглашение. Алоиз получил ряд предложений на следующий сезон, и его антрепренер Манц, специалист в своей области, настаивал на том, чтобы Алоиз перед концом этого сезона, то есть, как принято, до 1 июля, с кем-нибудь подписал контракт. И вот Алоиз из одного только дурацкого чувства дружбы готов остановиться на предложении Оскара. Условия он ставит очень скромные, заявил Пранер, он желает получать гарантированный ежемесячный заработок всего в тысячу марок, и то лишь на шесть месяцев. Да Манц за голову схватится, узнав, что Алоиз согласился работать за такую нищенскую оплату! Но он не хочет подводить Оскара, раз уж тот решил утереть нос этим паршивым берлинцам. Но одного он требует категорически: пусть Оскар не морочит ему голову всякими пустыми обещаниями. Должен быть заключен настоящий договор, подписанный сугубо надежным лицом или учреждением, такой договор, чтобы даже антрепренер Манц ни к чему не мог прицепиться. И этот договор должен лежать перед ним, как уже сказано, до 1 июля.

— Я хочу, чтобы у меня было что-то твердое, — закончил Алоиз решительно и зло. — Я не могу упускать выгоднейшие договоры и как дурак сидеть у моря и ждать погоды.

Тысяча марок и контракт на шесть месяцев! Но где ему или Гансйоргу раздобыть такого человека, который гарантировал бы Алоизу столь фантастические суммы? Однако Оскар не колебался ни минуты.

— Решено, — сказал он.

Он вспомнил свое видение. Эта Третнов придет. Гансйорг устроит договор с Алоизом. Он, Оскар, поедет в Берлин, он завоюет Берлин, он еще покажет Тиршенройтше и Гравличеку.

Оскар поговорил с Гансйоргом об условиях, поставленных Алоизом. Брат ответил, что, если ффрау Третнов придет, договор можно будет оформить. Оскара рассердило это «если». Он был уверен в приезде ффрау Третнов, не разрешал и брату сомневаться.

Прошла неделя, другая. Оскар спрашивал иногда мимоходом:

— Получил что-нибудь от этой Третнов?

— Пока нет, — бросал, также мимоходом, Гансйорг.

Оскар мог ждать еще какие-нибудь три недели, и тогда истекал срок, назначенный ему Алоизом. Он по-прежнему не терял уверенности, что ффрау Третнов придет к нему. Но он уже плохо спал по ночам, и в часы бессонницы в его душе возникали, под покровом спокойствия и веры, сумбурные, немые образы и ощущения. И если бы они превратились в слова, то означали бы примерно следующее:

«Я ведь видел ее, эту Третнов, видел, как она входит ко мне в комнату, рыжеватая блондинка, очень элегантная, дерзкий нос с горбинкой, ускользающие шалые глаза... «Добрый вечер, баронесса», — вот она лежит здесь, в моей постели, рыжеволосая, кожа очень белая... Что бы сказал отец, если бы узнал, что у Оскара, у этого негодяя, лодыря, из которого ничего путного не выйдет, связь, интрижка с баронессой Хильдегард фон Третнов — род стариннее Гогенцоллернов... Гансль опять натрепался, а она и не думает являться, я остался на бобах... а Ганс сидит у себя и издевается надо мной... Если ничего не выйдет, я ведь всегда могу отправиться к Тиршенройтше, я ведь Гравличеку еще не сказал ни «да», ни «нет»... а у Ганса волчьи огоньки в глазах, он мерзавец, жулик, искуситель, не введи нас во

искушение... Дом баронессы фон Третнов, мужчины во фраках, дамы в сильно декольтированных платьях и спереди и сзади, «добрый вечер, ваше превосходительство, как вы себя чувствуете сегодня, ваше высочество», все смотрят мне в рот, все следят за моим взглядом, у меня вид очень значительный, гости перешептываются: «Совсем как его маска...» Сукин сын, паршивец, никогда из тебя не выйдет ничего путного... Мюнхен, Берлин, люстры, сверкающий паркет, Алоиз, двести пятьдесят марок...» Эти образы и чувства — немые, сумбурные — овладевали Оскаром, когда он лежал без сна.

Однажды в эти дни ожидания Гансйорг принес брату билет в Национальный театр на «Тангейзера». Оскар любил музыку. Всякий раз, когда в нем просыпалось высокое начало, когда он «видел», в его душе звучала музыка, и прежде всего музыка Вагнера. И тогда в нем что-то мастерзингерствовало, пело с пилигримами, трепетало, заклиная огонь...

Билет был в ложу на авансцене, и Оскар постарался одеться как можно лучше. Он выбрал длинный черный сюртук, унаследованный от отца. Это был так называемый «гейрок», еще не совсем вышедший из моды, — нечто среднее между офицерским мундиром и пасторским сюртуком, нечто строгое, застегнутое на все пуговицы и вполне подходящее для серьезной, торжественной оперы.

Оскар расхаживал по фойе Национального театра и вдруг — легкий толчок в сердце: Адольф Гитлер! Фюрер был одет в точности, как он. В суетливой толпе, которая все прибывала, он сначала не заметил Оскара. Но Оскар собрал все свои силы, напряг всю свою волю, желая, приказывая, чтобы фюрер увидел его. И — о, чудо! — фюрер устремил на него свой взгляд, на миг задумался, узнал, направился к нему, протянул потрясенному Оскару руку, мужественно пожал ее и многозначительно спросил:

— Как поживаете, господин Лаутензак? Вас, по-видимому, гнетут заботы? У всех у нас, членов партии, они есть. Да, господин Лаутензак, настали трудные вре-

мена. И тем сильнее должна быть рождающаяся из них воля.

От Оскара к Адольфу Гитлеру прошла волна симпатии, понимания. Недавно Оскар снова перечел «Майн кампф»; от этой книги на него повеяло его собственным мироощущением, а сейчас он убедился, что фюрер и говорит так, как пишет. Они связаны друг с другом, они — одно целое, эти двое мужей. Фюреру приходится преодолевать те же затаенные сомнения. Оскар чувствовал это из его слов. Фюрер, как и он, незнатного происхождения. В школе он, подобно Оскару, не раз оставался на второй год, и строгий отец не прощал ему этого. Подобно Оскару, ждал он, чтобы влиятельные люди в Берлине сказали о его деятельности: «Изумительно!» Фюрер тоже не желал довольствоваться полууспехами, он ставил на карту все.

Музыка действовала сегодня на Оскара сильнее, чем обычно. Резкие противоречия между гротом Венеры, с его пламенными, всепожирающими страстями, и Вартбургом, с его арфами и святыми песнопениями, — это противоречия его собственной души. Он сам был Тангейзером; пронзительные, чувственные содрогания скрипок и неистовая, озаренная то красным, то голубым светом вакханалия в гроте Венеры — это Берлин баронессы фон Третнов, это крахмальные манишки мужчин и украшенная жемчугами, обнаженная плоть женщин. А сладостная и невинная свирель пастуха, торжественный призыв Вольфрама и небесная любовь Елизаветы — это чистая телепатия, серьезная наука Гравличека и по-матерински суровая привязанность Тиршенройт.

Музыка поднимала его и низвергала. Буйно трепетали в нем все вожделения, сознание своей избранности переполняло его торжеством. Так сидел он, облаченный в черный парадный сюртук, и с замкнутым, сосредоточенным, даже поглупевшим от волнения лицом слушал музыку. И он был уверен, что фюрера в его ложе сейчас терзают те же роковые вопросы: мучительный отказ от своей миссии художника, буйная, священная жажда захватить власть и спасти Германию, страстное

желание показать, на что он годен, лежащему в могиле отцу, податному инспектору.

Опера кончилась, отгремели звуки — неистовые и священные.

После глубокого душевного волнения у Оскара появился аппетит, он почувствовал прямо волчий голод. Оскар отправился в тот самый итальянский погребок, где уже был однажды, в надежде, что, может быть, там еще раз увидит фюрера. И Гитлера тоже потянуло в этот погребок, и второй раз за этот вечер он многозначительно кивнул ясновидящему.

Оскар насытился, но еще не мог уйти домой — он был слишком возбужден музыкой. В памяти его возникали сами собой образы некоторых почитательниц — за последнее время он их совсем забросил, — и больше всего его волновало воспоминание об Альме, портнихе, о ее пышных прелестях. Несмотря на поздний час, он позвонил ей, и она после некоторого сопротивления согласилась, — ладно, пусть приезжает.

Оскар явился в своем парадном сюртуке. Его вид показался ей забавным и вместе с тем внушительным. Этот вечер стал знаменательным и для нее.

На другое утро, еще не очнувшись от глубокого и блаженного сна, Оскар услышал пронзительный телефонный звонок. Он сердито взял трубку. Звонил Гансйорг.

— Баронесса Третнов приехала, — возвестил он. — Она хочет тебя видеть как можно скорее. Она остановилась в «Четырех временах года». Ждет твоего звонка.

Оскар вздрогнул от сладостного страха. Вот судьба и вознаградила его за то, что он внял своему внутреннему голосу, а не пошлым умствованиям. И эта награда воплощена в образе Хильдегард фон Третнов.

«Она ждет твоего звонка». Осторожнее. Он так близок к цели, что нельзя допустить ни единого неверного шага. С самого начала их отношений он должен показать этой важной берлинской даме, кто кому подчиняется.

— Ты слышишь? — спросил на том конце провода Гансйорг. — Она ждет твоего звонка.

— Ей придется долго ждать, — отозвался Оскар. — Если этой даме что-нибудь от меня угодно, пусть соблаговолит сама пожаловать ко мне.

Наступила короткая пауза. Потом звонкий голос на том конце провода начал браниться:

— Идиот, скотина, кастрат паршивый!

Так бранился в детстве десятилетний Ганс, когда старший брат, поставив его в безвыходное положение, бросал на произвол судьбы. Оскар повесил трубку. Через две минуты Гансйорг позвонил опять. Он сказал почти с мольбой:

— Ты же все-таки не можешь требовать от такой дамы, как фрау фон Третнов, чтобы она побежала к тебе в твою конуру на Румфордштрассе.

— А я этого от нее требую, — сказал Оскар. — Чем браниться, как ломовой, ты бы лучше подумал о моих мотивах. Если я так мало значу для твоей Третнов, что она не может даже потрудиться прийти ко мне, то и все это дело гроша ломаного не стоит. Тогда я остаюсь в Мюнхене и подписываю договор с Гравличеком. Кстати, вчерашний «Тангейзер» был очень хорош. Большое спасибо за билет.

И он опять повесил трубку. В его душе звучали вчерашние хоры: «Аллилуйя, аллилуйя». Совершенно ясно, что если уж эта Третнов прикатила из Берлина в Мюнхен, то ее не испугает расстояние от «Четырех времен года» до Румфордштрассе, тут не может быть сомнений. Оскар сладко потянулся, улегся на бок и, успокоенный, снова заснул.

Около полудня он вышел из дому. Его потянуло в «Новую Пинакотеку», большую городскую картинную галерею. Ему хотелось еще раз посмотреть некоторые портреты, написанные художником Францем Ленбахом. Среди них были надменные и соблазнительные аристократки, Мольтке и Бисмарк, принц-регент Луитпольд и Рихард Вагнер. Белые плечи дам выступали из пышных платьев, мужчины были в кирасах, в тяжелых одеждах или в бюргерском платье прошлого века; на некоторых были такие же сюртуки, как тот, в котором Оскар вчера был в театре. Но от всех этих мужчин и женщин, как бы они ни были одеты, веяло духом Ре-

нессанса, от них исходили лучи энергии и успеха, могучей и более яркой жизни. Здесь же висел и ленбаховский автопортрет, одна из любимых картин фюрера. Оскар углубился в созерцание этого произведения. Он знал историю художника Ленбаха. Сын простого поденщика, он сделался величайшим мастером своего времени и в полной мере наслаждался искусством, успехом, жизнью. Если уж сын поденщика достиг всего этого, чего же тогда может достичь он, сын секретаря муниципального совета!

Под вечер позвонил Гансйорг.

— Она придет,— буркнул он с некоторым раздражением, которое, видимо, было вызвано тем, что Оскар еще раз оказался прав.

А в душе Оскара гремели трубы и фанфары праздника из «Мейстерзингеров».

На следующее утро, в начале двенадцатого, баронесса Хильдегард фон Третнов, сопровождаемая Гансйоргом, действительно впорхнула в скромное жилище Оскара на Румфордштрассе, 66. На одной стене висела маска, мрачная, значительная, на другой — король Людвиг Второй в своих серебряных доспехах, влекомый лебедем, смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял письменный стол и над ним висела полка с книгами. Четвертая, пустая, ждала гобелена. Сам Оскар сидел в кресле; он долго не мог решить, что ему надеть, и наконец остановился на фиолетовой куртке.

Хильдегард фон Третнов была такой, какой ее описал Гансйорг; элегантная рыжеватая блондинка, лет тридцати, красивая, черты уже чуть резковатые, дерзкий нос, глаза шалые, светлые, истеричные. Когда она вошла в комнату, у обоих братьев мелькнула одна и та же мысль: что сказал бы покойный отец? Баронесса фон Третнов! Это вам не бургомистр Обергубер или хлеботорговец Эренталь, приглашение к которым почиталось за честь!

С непринужденной любезностью, — как его учил актер Карл Бишоф, — Оскар поднялся.

— Я счастлива видеть вас, маэстро,— с резким северогерманским акцентом сказала ффрау фон Третнов своим громким, но тусклым голосом,— Гансйорг так много мне о вас рассказывал.

Ее светлые глаза с истерическим блеском перебежали с маски Оскара на его лицо.

— Мне очень повезло, что я имею возможность сравнить маску Оскара Лаутензака с оригиналом,— продолжала она.— Надеюсь, вам не мешает, что я так бесцеремонно все тут у вас разглядываю?

— Вы спасли моего брата,— ответил Оскар со сдержанной вежливостью.— Поэтому я должен быть вам глубоко признателен.

— Значит, вы меня терпите здесь только ради вашего брата? — кокетливо отозвалась она, видимо, ожидая какой-нибудь галантности.

Но Оскар счел преждевременным делать ей комплименты и отступил в область мистики.

— Случайностей не бывает,— возвестил он.— Все — великая сеть, все в жизни переплетено. Приходящий ко мне приходит не случайно.

— Мне тоже кажется,— сказала ффрау фон Третнов, попытаюсь смягчить свой резкий голос,— что от вас исходит нечто, подобное велению рока. Тот, кто почувствовал в вас таинственные силы, опутывающие невидимой сетью, тому уже не вырваться.

Вместо ответа Оскар сделал лицо Цезаря.

— Я понимаю,— продолжала баронесса,— вы ищете в каждом явлении его связь с мировым целым. По тому, что мне рассказывал Гансйорг, я могу составить себе некоторое представление о вашем миросозерцании. Я подготовлена к этому также идеологией национал-социалистской партии. В вашем присутствии я испытываю то же чувство, что и в присутствии фюрера.— Она замолчала; ее благоговейный взгляд переходил с маски Оскара на его лицо и обратно.

Молчал и он, но смотрел на нее глубоким взглядом, не отрываясь, проникновенно, настойчиво. В сущности, это не его тип женщины, но она хорошо сложена, а мысль о том, что она баронесса фон Третнов, родовитее Гогенцоллернов, и занимает высокое положение в

обществе,— все это воспламенит ему кровь, когда будет нужно.

Баронессу смущал его взгляд, волновал, она заерзала.

— Вы правы,— сказал наконец Оскар.— Чтобы я мог оказать влияние, другая сторона должна быть готова его воспринять.

— В готовности с моей стороны вы можете не сомневаться,— живо отозвалась баронесса.— Эта готовность появилась с первой же минуты, как я увидела вашу маску.

Словом, все развивалось по намеченному плану, и когда под конец баронесса робко и кокетливо осведомилась, сможет ли она опять увидеться с Оскаром, он мог, не теряя своего достоинства, глубоким взглядом ответить ей «да».

Под вечер зашел Гансйорг и заявил, что брат держался недурно, а затем дал ему указания, как действовать дальше, чтобы продвинуть договор с Алоизом Пранером.

— Ты должен довести баронессу до того,— поучал он Оскара,— чтобы она сама заговорила с тобой насчет пети-мети. А когда заговорит, то окажется, что ты в денежных делах сущий младенец, ты гордо отвергнешь все ее предложения и отошлешь ее ко мне. Главное, чтобы не ты поднял вопрос о деньгах, а она.

Два дня спустя Оскар ужинал с ффрау Третнов в ресторане гостиницы «Четыре времени года». Между супом и вальсом «Голубой Дунай» баронесса говорила о том, что образ мирового целого у Оскара Лаутензака тот же, что и у Адольфа Гитлера. Между рыбой и телячьим филе а-ля Россини она говорила о великой задаче, которая ждет Оскара в Берлине. Между жарким и суфле «сюрприз» — о том, что в наши тяжелые времена Оскар должен покинуть башню из слоновой кости, пусть простой народ услышит его голос; о примере, который подает фюрер, отказавшийся от своего призвания художника, чтобы спасти Германию. За фруктами и сыром Оскар заявил, что никогда еще призыв к служению немецкому народу не звучал так искренне и убедительно, как из уст баронессы. И, не стесняясь ни

гостей, ни кельнеров, он рассматривал ее пристальным и настойчивым, весьма мужским взглядом.

— Хотите съесть со мною пополам вот эту грушу? — спросила баронесса. — Позвольте, я вам очищу.

Кофе пили в салоне баронессы. Итак, решающая минута настала. Оскар устремил свои дерзкие темносиние глаза на ее лицо, сосредоточил свой взор на ее переносице. Властно, напрягая всю свою волю, приказал ей в душе: «Заговори же наконец насчет пети-метн, дура!» Оскар не знал, употребил ли он это выражение, вспомнив слова Гансйорга или же надеясь, что берлинская дама его так скорее поймет.

Она поняла и подчинилась.

— Я понимаю, уважаемый маэстро, — сказала она, — если вы решитесь переехать в Берлин, вам придется со многими здесь расстаться. Конечно, это будет связано и с материальными трудностями. Может быть, вы позволите мне в этом деле немного помочь вам? Я была бы счастлива это сделать.

«Аллилуйя!» — возликовали в душе Оскара пилигримы. «Ключуло!» — загремели трубы и фанфары празднества в «Мейстерзингерах». Но вслух он сказал мрачно и строго:

— Меня не интересует практическая сторона дела. Для меня существует один-единственный закон: мой внутренний голос.

— Я знаю, — сконфуженно отозвалась баронесса, краснея, как девушка. — Мне не следовало и заговаривать об этом с вами. Мы все обсудим с Гансйоргом.

Румянец очень красил баронессу, и Оскар милостиво посмотрел на нее.

— Вероятно, это не случайность, — задумчиво заметил он, — что партия призывает меня именно через вас. Уж таковы мы, немцы! Идеал для нас всегда воплощен в женском образе. «Вечно женственное» нас влечет.

Она сидела перед ним, ошарашенная. Он знал, что прикоснись он к ней сейчас, и она растает. И ему, по правде говоря, даже хотелось это сделать. Но это было бы неразумно. И Оскар удовольствовался тем, что, сжимая ей на прощанье руку, долго и проникновенно смотрел на нее.

Потом он отправился к Альме.

Через два дня Гансйорг сообщил ему, что все идет по плану и договор с Алоизом Пранером готов.

Оскар принял брата, сделав лицо Цезаря, но когда он услышал это сообщение, то воскликнул чисто по-дегенбургски и вполне простодушно:

— Он и вправду будет получать тысячу марок в месяц, этот паразит? Ты выжал из нее договор?

— Мне и жать не пришлось, — ответил Гансйорг.

— Ну и молодец же ты, ну и пройдоха, — с уважением сказал Оскар.

— Очень рад, что ты наконец признал это, скотина, — отозвался младший брат.

Оскар решил, что теперь настало время скрепить свой договор с партией и ее представительницей Хильдегард фон Третнов. И когда при следующей встрече его взор задумчиво и рассеянно скользил по формам баронессы, он заявил, что она влила чувство женственного в его внутренний мир. Все настойчивее становился взгляд Оскара, все глубже проникал в нее. Нежно взял ее руку, медленно провел по ней ладонью до плеча. Хильдегард задрожала.

И когда она отдавалась его объятиям, ей чудилось, что ее обнимает сам фюрер, обнимает вся мужская сила нацистской партии. И для него, когда он обнимал ее, странным образом слились воедино действительность и идея. Так вот оно, вступление на новый путь, вот начало его миссии! Ради создания великой Германии он должен соединить свои способности с самыми разнообразными трюками. В лице Хильдегард фон Третнов он обнимал не только рослую белокожую, несколько костлявую даму, но и свою новую, благословенную и трудную задачу.

Договор с Алоизом Пранером, который Гансйорг вручил Оскару, оказался обстоятельно составленным документом с печатями и нотариально заверенными подписями; были приложены и банковские гарантии. Оскар тщательно ознакомился со всей этой писаниной. Из договора следовало, что «Союз по распространению германского мировоззрения» обязывает артиста Алоиза

Пранера в течение шести месяцев выступать совместно с писателем Оскаром Лаутензаком перед членами этого союза. Предполагалась организация докладов с демонстрацией явлений, относящихся к областям, смежным с психологией. Подписи принадлежали людям с звучными фамилиями; в частности, Оскара приятно поразила фамилия некоего графа Ульриха Герберта фон Цинздорфа.

— А деньги-то у вас есть? Действительно есть? — спросил он с глупым видом.

— Деньги, — терпеливо пояснил Гансйорг, — как ты видишь, внесены в Баварский союзный банк, почтенное старое учреждение, в дегенбургский филиал которого, как ты, может быть, помнишь, наш покойный папаша положил на имя нашей матери некоторый куш, а потом ты его промотал.

Оскар начал листать договор.

— А здесь в самом деле ни к чему не прицепишься? — скептически спросил он. — Я спокойно могу это показать Алоизу? Ты ведь знаешь, он дотошный...

— Пусть твой Алоиз сколько ему угодно обнюхивает этот договор своим длинным носом! — ответил Гансйорг, ухмыляясь.

Когда Оскар принес Алоизу столь торжественный документ, тот, полный противоречивых чувств, задумчиво погладил лысину. Требуя от Оскара договора, он втайне надеялся, что тому ни за что не удастся его состряпать. Правда, перспектива работать с этим блестящим негодяем, этим зазнавшимся лжецом и носителем подлинной искры, казалась ему заманчивой; но Алоиз любил свою неторопливую, уютную мюнхенскую жизнь, старую квартиру на Габельсбергерштрассе, к которой он так привык, экономку Кати, любил свой королевский баварский покой. Возвращаясь с гастролей, он входил в тихую гавань своего обиталища на Габельсбергерштрассе в Мюнхене, и это были лучшие минуты его жизни. А теперь вот Оскар хочет втянуть его в неистовую берлинскую суету, в водоворот нацистской политики.

С огорченным видом изучил он договор. Послупив длинный палец, листал страницы, угрюмо вчиты-

вался в текст, рассматривал подписи, поднося страницы к самым глазам. Наконец, глубоко вздохнув, заявил:

— Видно, ты все-таки добился своего, негодяй. Ты всех их провел. А теперь и меня проведешь.— Долгим, грустным взглядом окинул он комнату.

— Прости, прекрасная страна,— сказал он, мысленно прощаясь с удобным диваном, привычными продавленными креслами, с солидным столом топорной работы, на котором еще стояли кофейные чашки и сдобное печенье.

— Я рад, что ты с таким энтузиазмом начинаешь нашу новую жизнь,— мрачно сказал Оскар.— Ничто так не поддерживает, как воодушевление близкого друга.

— Стоп! — сказал вдруг Алоиз, ухватившись за последнюю надежду.— Так скоро дела не делаются. Нужно, чтобы Манц сначала взглянул на этот договор. Мы ведь условились.

Всю дорогу к антрепренеру Манцу Алоиз сердился и что-то бубнил.

— Германское мировоззрение,— ворчал он,— не имеет ничего общего с честными фокусами.— Он подчеркнул слово «честными».— Ты всегда задавался,— глумился он,— публика вечно была не по тебе, а теперь ты хочешь, чтобы мы холопствовали и лезли из кожи ради твоих дерьмовых нацистов?

Оскар сделал лицо Цезаря и ответил:

— Ты просто боишься. Вот и все. Боишься всего, в чем есть хоть чуточка жизни и движения. Обыватель несчастный — вот ты кто.

Алоиз молча посмотрел на Оскара, он был задет. Потом со злостью заявил:

— Гете, например, тоже был обывателем. Он тоже не желал иметь ничего общего с политикой.

Оказалось, что и антрепренер Манц не хочет иметь ничего общего с политикой. Он сидел перед ними, посасывая сигару, жирный, флегматичный, с огромной лысеющей головой. Его мышинные глазки перебегали с Оскара на Алоиза. Он прочел договор, потом осторожным движением отодвинул документ в сторону.

— Тут я не компетентен, — медленно проговорил он. — Моя область — варьете. А этот договор, очевидно, больше имеет отношение к политике, чем к варьете и искусству. В этом случае я не могу давать советов. Вы должны, господа, улаживать эти вопросы друг с другом и со своей совестью, а не спрашивать Манца.

— Вы противник движения? — спросил Оскар.

— Какого движения? — удивился Манц. — Ах да, нацистского. — И он взглянул на свастику Оскара. — Нет, — медленно проговорил он, — я не «против», но я и не «за». Я не за нацистов и не за коммунистов, я за варьете. Вот вам, господа, моя политическая программа. — И, как бы извиняясь, добавил: — В других случаях я могу определить со стопроцентной безошибочностью, годится договор или нет. Но насчет этого договора лучше уж вам посоветоваться еще с кем-нибудь. Раз в деле замешаны нацисты, мои советы не приведут к добру.

И так как наступило неловкое молчание, он пояснил:

— Пришел ко мне однажды молодой актер, начинающий, с рекомендацией от Карла Бишофа. Он продекламировал монолог Рауля из «Орлеанской девы». Слова «Шестнадцать было нас знамен» он произнес с баварско-богемским акцентом и очень патетично. Я его отклонил. Это было ошибкой. Если бы я действительно захотел, я мог бы его где-нибудь пристроить, хотя бы в крестьянском театре в Киферсфельде, и если бы молодому человеку там повезло, он получил бы теперь ангажемент здесь, в Мюнхене, в Народный театр. Но так как я отвел его, он избрал себе другую профессию, ту, с которой вы теперь оба заигрываете. Он стал политическим деятелем. Этого молодого актера звали Адольф Гитлер. — Он опять задумчиво посмотрел на обоих. Потом, оживившись, добавил: — Насчет этого Гитлера я еще понимаю, что он подался в политику, для сцены у него кишка тонка. Но ведь вы оба — способные люди, зачем вы-то, черт вас подери, лезете в политику?

— Господин Манц, — сказал Оскар. — Вы антрепренер моего друга Алоиза Пранера. Не будете ли вы так

любезны рассмотреть этот договор с точки зрения юридической?

Он был преисполнен ледяной вежливости. Мышиные глазки господина Манца юрко забегали по лицу Оскара, потом еще раз по страницам договора.

— С точки зрения юридической против него ничего нельзя возразить,— деловито ответил он.

Оскар и Алоиз простились. Манц проводил их до двери.

— Вы затеваете, господа, крупную и опасную игру,— сказал он.

Часть вторая

БЕРЛИН

Оскар пошарил в темноте и нажал звонок. Вошел его слуга Али, молодой красивый араб в национальном костюме; Оскар любил окружать себя людьми и вещами, привлекающими внимание. Али раздвинул шторы, подкатил к кровати столик для завтрака.

Лучи бледного новогоднего солнца осветили роскошную тяжелую мебель богатых тонов. Тыча вилкой то в одну, то в другую тарелку, Оскар наслаждался блеском, которым он окружил себя. Живет он в Берлине всего несколько месяцев, а достиг очень многого. И, вступая в новый, 1932 год, может быть доволен собой.

Половина двенадцатого. В сущности, еще рано; ведь он вернулся после встречи Нового года у фрау фон Третнов в пять часов утра. Все было именно так, как он мечтал еще в Мюнхене и как было во времена его первого большого успеха — сейчас же после окончания войны, — мужчины в крахмальных манишках, дамы в платьях с глубоким вырезом на спине теснились вокруг него, превозносили его. Теперь он добился своего, он опять выплыл.

Оскар сделал массаж, он принял душ. И физически он чувствовал себя в форме; успех шел ему на пользу, бурная берлинская жизнь молодила. Он скинул роскошный лиловый халат, посмотрелся в зеркало; халат очень подходил к его лицу Цезаря.

Он направился в библиотеку, уселся за массивный письменный стол, с удовольствием взглянул на грудку писем, лежавшую перед ним. Развалил эту грудку, стал перебирать конверты, улыбаясь детской, самозабвенной улыбкой. Многие желали ему успеха, у него появились приверженцы, мир узнал теперь, кто такой Оскар Лаутензак.

В дверь постучали. Вошел секретарь Фридрих Петерман. Никогда господин Петерман не входил в комнату просто, он всегда прокрадывался в нее неслышно и незаметно, он вползал в нее. Оскар про себя называл его сухарем, пронырой и терпеть не мог. Он был очень зол на Гансйорга, который одурачил его и навязал ему в секретари этого человека; теперь от него не отделаешься, он слишком многое знает. В глубине души Оскар подозревал, что брат приставил Петермана, чтобы шпионить за ним.

Оскар занимался с секретарем недолго. Но его веселое настроение улетучилось. Толстая пачка писем уже не радовала, он отодвинул от себя всю эту писанину, начал звонить по телефону и обмениваться с друзьями праздничными пожеланиями. Все это были люди с громкими фамилиями и титулами, то и дело слышалось «графиня», «главный директор», «ваше превосходительство», — вот почтенный папаша вытаращил бы глаза!

Он позвонил и портнихе Альме и тоже пожелал ей счастья; Оскар Лаутензак был щедр, он великодушно взял с собой в Берлин и Альму, помог ей открыть здесь мастерскую.

После разговора с ней он снова стал звонить своим именитым друзьям. Позвонил тайному советнику Мэдделеру, потом графу Цинздорфу. Да, он существовал в действительности, этот граф Ульрих Герберт Цинздорф, чья подпись стояла под договором с Алоизом Пранером. Это был молодой человек с красивым, дерзким, порочным лицом и шикарно небрежными манерами; Оскар гордился своей дружбой с ним.

Однако сегодняшний разговор с Ульрихом Цинздорфом расстроил Оскара. Цинздорф сообщил, между прочим, что он встречал Новый год у начальника штаба Манфреда Прозля. Гости отпускали соленые шутки, но

велись и серьезные разговоры о политике, приехал сам фюрер, под утро показали похабный фильм,— словом, 1932 год начался многообещающе. Жаль, что не было Оскара.

Да, жаль. Больше чем жаль. От этих слов настрое-ние у впечатлительного Оскара мгновенно изменилось. Он был озлоблен. Он так жаждал встречи с Гитлером! Как ни велики были успехи, которых он достиг за осень и зиму, его заветная мечта о непосредственном со-трудничестве с фюрером не осуществилась. Гансйорг считал преждевременным сводить его с Гитлером и под разными предлогами помешал ему встречать Новый год у Манфреда Прозля.

Насупившись, прошел Оскар через свой огромный, роскошный кабинет, отворил скрытую за обоями дверь и очутился в маленькой, почти пустой комнате. На од-ной стене висел слепок с его маски, мрачной и много-значительной. С другой стены влекомый лебедем бавар-ский король Людвиг Второй, облаченный в серебряные доспехи, смотрел вдаль отважным взглядом. У третьей стоял письменный стол — убогий дегенбургский стол. Четвертая была пуста.

В эту тесную комнатку, в эту «келью» теперь и уда-лился Оскар. Здесь он обычно уединялся и вершил суд над самим собой. Убогая обстановка комнаты, олеогра-фия, стол — все вызывало в нем подобающее настрое-ние. Первый день Нового года, к тому же оскверненный вестью о наглых махинациях Гансйорга, показался ему вполне подходящим для углубленного созерцания сво-его внутреннего «Я» и своего внешнего положения.

И вот он сидит и подводит итоги.

Он правильно сделал, послав к чертям договор с Гравличёком и перебравшись в Берлин. Эта огромная, необычайно эффектная квартира на Ландграфенштрассе доказывает, что он достиг того, к чему стремился. Сна-чала он завоевал город Дегенбург, затем город Мюн-хен, а теперь, в точности следуя своему решению,— столицу государства, Берлин.

Машинально рассматривает он кольцо на своем пальце. Это подарок фрау Третнов, прекрасный пер-стень с печаткой. Собственно говоря, к его крупной бе-

лой руке пошло бы другое. Ему показывали у ювелира Позенера на Унтер-ден-Линден очень дорогое кольцо с бриллиантом. Сейчас мужчины уже не носят таких колец, но он не подчиняется моде. Скоро, как только у него будет побольше денег, он купит себе это кольцо.

Нет, он еще не совсем у цели. Дело не только в кольце — остается еще одна стена в библиотеке. На ней пока висит огромная картина, бездарная мазня, ученическая копия с картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валленштейна». Но никто не знает лучше Оскара, что это лишь убогий суррогат. Настоящим украшением стены был бы гобелен, который он видел в Мюнхене, в галерее Бернгеймера, — подлинный старофламандский гобелен, на котором изображена лаборатория алхимика. Но, к сожалению, он бессовестно дорог. Однако подождите, недалек тот час, когда Оскар заменит астролога Зени лабораторией алхимика.

Оскар уже и сейчас может быть доволен собой. Его внутреннее «Я» выдержит любую, самую придирчивую критику. Не исполнилось ни одно из предсказаний Анны Тиршенройт и этого завистливого, брюзгливого гнома Гравличека. Оскару не пришлось расплачиваться за внешний успех никакими внутренними компромиссами. Ни капли своей силы он не утратил, хотя уже не боится, как раньше, прибегать к фокусам и трюкам. И он старухе сунул это в нос, написал ей, подробно все изложил. Обидно, конечно, что она ему не ответила; но не хочет — не надо.

Все же он с некоторой робостью взирает на свою маску. Старуха, видно, решила, что он уже не дорастет до этой маски. Но на стене библиотеки маска выделяется просто замечательно; он вставил ее в великолепную рамку.

И вдруг в его душе оживают слова, которые он слышал еще мальчишкой, когда бывал у бабушки. Десятки лет эти слова пролежали погребенными на самом дне памяти, а теперь они все чаще поднимаются на поверхность. Это жесткий и неуклюжий книжный язык Библии, которую ему когда-то читала бабушка. Да, этот стих звучит в нем так, как его неторопливо выборматывала своим дребезжащим голосом бабушка: «Какой

прок человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою потеряет».

Нелепый старческий бред. Те трюки, которые ему иногда приходится допускать во время экспериментов, не вызывают у него уже ни малейших угрызений совести. Скорее его тревожат консультации, советы, которые он дает; не всегда они искренни, бывают случаи, когда эти советы подсказывает ему Гансйорг. Здесь, в своей уединенной келье, он может себе в этом признать: они...

Оскару что-то мешает. Кто-то тут есть, совсем близко. Рассерженный, готовый сказать резкость, возвращается он в библиотеку.

Там оказывается Гансйорг. Сияющий, с дерзкой усмешкой на остреньком бледном лице, идет он навстречу Оскару.

— С Новым годом, старина,— говорит он.— Должен же я лично тебя поздравить. Ну, как было у Хильдхен? А мы у Манфреда здорово повеселились.

И этот негодяй еще смеет напоминать ему о вечере с фюрером, на который сам нарочно не допустил его. Оскар делает лицо Цезаря.

— Сопляк паршивый,— убежденно говорит Оскар.

— Потому что там был фюрер? Да? — добродушно отзывается Гансйорг и закуривает сигарету. Его тщедушная фигурка кажется жалкой в слишком широком кресле.— Разве с моей стороны уж такая дерзость,— осведомился он участливым и развязным тоном,— предположить, что тебе пришлось провести этот вечер у Хильдхен? Она оставила тебя ночевать?

Но так как Оскар не поддался на его тон, Гансйорг продолжал уже серьезнее:

— Чего ты, собственно, хочешь? Приехали мы сюда в августе, а сегодня первое января. И, по-моему, милый мой, за эти четыре месяца я тебе немало тут наколдовал...— Он окинул взглядом огромную, роскошную комнату.— Да, немало. И нахожу, что ты мог бы мне сказать спасибо, вместо того чтобы морду воротить.

— Ты так расхвастался,— сказал Оскар и с легким презрением посмотрел на «заморыша»,— будто ты один все это создал из ничего.

— А кто положил тебе в постель баронессу? — спросил Гансйорг.

— Не отрицаю твоей опытности и успехов в этой области, — холодно ответил Оскар. — Но не забывай, что Хильдегард фон Третнов — это тебе не какая-нибудь Карфункель-Лисси. Чтобы покорить такую даму, нужно иметь кое-какие данные.

Гансйоргу надоела бесплодная перебранка.

— Будем благоразумны, — предложил он. — Зачем портить этот день? Давай решим так: все, что здесь тебя окружает, добыто нами обоими. Мы не можем обойтись друг без друга.

Оскар понимал, что брат прав. Это был единственный человек, при котором он мог дать себе полную волю, поэтому глупо пререкался, вместо того чтобы поговорить о том, что Оскара гнетет.

— Мне ведь нелегко, — начал он скорее жалобно, чем с укором. — То работа с Алоизом, то консультации. А хочется сохранить силы для главного. — Оскар смотрел в пространство; он казался усталым, подавленным, видимо, он говорил искренне.

Гансйорг решил, что настала подходящая минута сообщить о том, ради чего он явился, — преподнести свой новогодний подарок.

— Я хочу сделать одно предложение, которое тебя порадует, — сказал он брату. — Мы с тобой основываем журнал. Издавать его будет «Союз по распространению германского мировоззрения». Назовем его «Звезда Германии». Журнал будет заниматься теми дисциплинами, которые недоступны бесплодному интеллектуализму, — то есть расовой теорией и оккультизмом. Средства обеспечены. Как член совета «Германского мировоззрения», я официально предлагаю тебе, Оскар Лаутензак, взять на себя руководство редакцией. По мере сил я охотно буду тебе помогать. Ты же знаешь, я когда-то издавал «Прожектор», кое-какой опыт у меня есть.

Небрежный, иронический тон, каким Гансйорг сделал Оскару это предложение, и упоминание о бульварном листке, который принес Гансйоргу и деньги и беду, не помешали Оскару оценить огромную услугу, оказанную ему братом. В такое время журнал — это ценный

подарок. Иметь наконец возможность писать о том, что накопилось, отвечать только перед самим собой, радоваться тому, чем владеешь, и слегка жалеть об уступках, на которые вынужден идти ради тупой черни, — это и есть очищение, покаяние, искупление. Разве Гете не облегчал свою совесть тем, что писал о своих грехах?

— «Звезда Германии»? — задумчиво проговорил он. — Это звучит неплохо.

— Через две недели она может уже взойти, эта звезда Германии, — решительно и бодро заявил Ганс-йорг. — Итак, к оружию, милейший, смотри напиши хорошую статью для первого номера. — Он с удовлетворением отметил радостную взволнованность Оскара, простился, вышел.

Оскар остался один, его мысль усиленно работала. Слуга Али доложил, что обед подан, но Оскар отрицательно покачал головой, он был погружен в созерцание. Потом прошелся мимо книжных полок, роскошный лиловый халат раздувался, волочился по полу.

Оскар машинально взял с полки книгу в унылой, серовато-голубой обложке — толстый том, от которого несло ученостью и скукой. «Томас Гравличек. К вопросу о парапсихологии» — значилось на обложке. Когда он взял в руки книгу, она как бы сама собой открылась на той странице, где профессор рассказывал о телепатических опытах, которые он проводил вместе с Оскаром.

Глаза Оскара скользнули по строчкам. Но читать их было незачем. Он уже знал наизусть эти тусклые, сухие и словно пропыленные главы. Профессор был согласен с тем, что, бесспорно, настоящие медиумы — редкость. Однако недостаток энтузиазма у автора и мертвые слова, какими он описывал этих необычных людей и их способности, вызывали в Оскаре большую неприязнь, чем могли бы вызвать издевка, скепсис, ирония. Это было то же самое, что пересказывать стихотворение Гете убогим языком юридических актов. «Телепатические явления, — заключал Гравличек, — еще нуждаются в экспериментальном исследовании с точки зрения их энергетической природы. Некритическая вера в эти явления порождает многообразные виды

самообмана и открывает дорогу вымогательству и шарлатанству».

Нет, Оскар не может простить Гравличеку этих утверждений — они и коварны и оскорбительны. Он, Оскар, призван восстановить истину и с ее помощью вытеснить из мира наглую карикатуру, в которую превратили божественный дар ясновидения бесплодные и лживые умствования профессора. Что это дар необычайно редкий, допускает даже завистливый гном, но, по его мнению, обладатель такого дара далеко не всегда в состоянии описать его. Оскар, быть может, сейчас единственный человек на всей планете, который способен объяснить, исходя из внутреннего опыта, что такое ясновидение.

Гансйорг сообщил ему относительно журнала именно сегодня, в первый день нового года, и это не случайность. Теперь Оскар знает, какую должен выполнить задачу в предстоящем году. Профессор с присущей ему злобой и педантизмом очертил границы телепатии; а Оскар с тем большим энтузиазмом будет прославлять великие возможности этого чудесного дара, который возносит человека над самим собой и служит божественным доказательством того, что все духовное образует великое, живое единство.

С увлечением представляет себе Оскар, как он будет писать статьи для «Звезды Германии». Когда он чувствует себя в форме, он способен создавать великое.

Есть только одна маленькая загвоздка: самый процесс письма, техника мешают непосредственному выражению его мысли. Когда он вынужден иметь дело с карандашом, ручкой, тем более с пишущей машинкой, все его вдохновение улетучивается. Он может передавать свои откровения только через посредство голоса.

Но диктовать другому статьи, какие он хотел бы написать, — диктовать эти гимны сухарю и пронице Петерману — тоже невозможно. Нет, он поищет человека, который ему подходит. Он явится к какой-нибудь машинистке, не называя себя, как Гарун-аль-Рашид, и если она ему понравится, он сделает ее орудием своего вдохновения.

Приняв это решение, Оскар, довольный собой, успокаивается; час, предназначенный для самоуглубления и сосредоточения, истек. Он звонит слуге и садится обедать.

Оскар и Алоиз ехали по Ахорналлее к ффрау фон Третнов. На лице Оскара было выражение внутренней собранности, он готовился.

Сегодня ему опять предстоит нелегкий вечер. Даже фамилии тех, над кем он будет экспериментировать, не сообщила ему баронесса; он сам этого хотел, чтобы доказать всю подлинность своих экспериментов. Одно только он знает: гости — люди влиятельные. Кроме того, Алоиз, подготавливавший, как обычно, внешнюю сторону сеанса в доме ффрау фон Третнов, успел собрать кучу сведений о составе общества, какое должно там собраться. Теперь, сидя в машине, Оскар проверяет свою память, а друг вносит поправки и уточняет.

По всей вероятности, там будет доктор Кадерейт, один из магнатов тяжелой промышленности. Оскар не может не узнать этого дородного блондина; он наверняка видел не раз его фото. Доктор Кадерейт — это Оскар узнал от Гансйорга — намерен еще теснее сблизиться с нацистами и перевести еще большую часть своих предприятий на военные рельсы. Затем будет, — впрочем, тоже предположительно — некий Тишлер; этот, насколько удалось выяснить Алоизу, брюнет, лицо серое. По сведениям Гансйорга, он носит примерно с такими же планами, как и доктор Кадерейт, но это фигура менее значительная. Наверняка будет некая ффрау фон Шустерман, красивая, пышная блондинка. Разводится с мужем. Вероятно, признают ее виновной стороной и ребенка ей не присудят. Впрочем, говорят, мальчишка невыносимый сорванец. Оскар закончил обзор полученного материала. Он тихо вздыхает. Этот вечер потребует большого напряжения памяти, присутствия духа, вчувствования, внутреннего видения.

— Ты превосходно с этим справился, Алоиз, — похвалил он друга, который, тоже во фраке, сидел в углу машины.

Но Алоиз хмурился — как обычно в последнее время.

— Если ты воображаешь, — проворчал он, — что так приятно пробираться крадучись по дому твоей Третнов, точно в плохом детективном романе, то ты сильно ошибаешься. Ты и твой прекрасный братец требуете от человека таких вещей, что пропадает все удовольствие от работы. Играешь роль какого-то второразрядного сыщика, а честному иллюзионисту с его искусством здесь делать нечего.

Оскар был сегодня не склонен выслушивать тот вздор, который Алоиз обычно нес по поводу своего пребывания в Берлине. Но все же приходилось считаться с превосходным другом и сотрудником и в десятый или двадцатый раз выслушивать его. А тот заявил, что живет в Берлине, как в свином хлеву. Работать приходится исключительно в «комнате», тогда как настоящему иллюзионисту место на подмостках. Выступаешь только перед нацистами, перед бонзами да аристократами. И во все сует свой нос, во все вмешивается этот знаменитый братец, этот *filou*¹. Притом вся слава достается Оскару, а он, Алоиз, — просто пешка. Неужели он ради этого послал ко всем чертям замечательные договоры Манца, ради этого расстался со своей уютной квартирой на Габельсбергерштрассе и с заботливой старой Кати, которая, конечно, отказалась переехать на житье сюда, к пруссакам?

Но ведь в берлинской жизни Алоиза есть не одни только теневые стороны: нужно с помощью наводящих вопросов выпытывать у клиентов удивительные подробности; нужно изобретать все новые хитроумные трюки, тайные знаки, все более богатый нюансами шифр, чтобы сигнализировать из публики на эстраду. И Оскар отлично знал, что все это доставляет Алоизу огромное удовольствие.

Однако он остерегался возражать на брюзжание Алоиза. А тот, видя, что Оскар молчит, выкладывает последний козырь:

— В воскресенье вечером я еще буду участвовать, —

¹ Жулик (*франц.*). — Все примечания сделаны переводчиками.

заявил он грозно, — а потом уеду в Мюнхен. В среду сеанс отменяется, я должен хоть недельку отдохнуть на Габельсбергерштрассе. Сплошные огорчения и неприятности — этого и лошадь не выдержит. Я заслужил право на свой королевский баварский отдых.

Наконец они подъехали к дому баронессы фон Третнов, и Алоиз мгновенно преобразился. Стал самым вежливым и предупредительным помощником. Выступил в роли ассистента, восхищенного талантом Оскара Лаутензака.

Собралось человек пятнадцать — двадцать: мужчины — во фраках, дамы — в вечерних туалетах. На всех лицах были написаны скептицизм, ирония и щекочущее их нервы тревожное любопытство. Фрау фон Третнов еще раз обратила внимание присутствующих на то, что она не сообщила маэстро состав гостей. Он не знает ни одной фамилии. Затем Алоиз предложил всем написать вопросы, относящиеся к будущему, вложить записку в конверт и заклеить его. Эти плотно заклеенные конверты Алоиз собрал в корзиночку и передал Оскару. Все происходило при ярком освещении.

Оскар перемешал конверты и, не вскрывая, стал перебирать их большими белыми руками.

— Я прошу всех вас, дамы и господа, — начал он, — ослабить всякую напряженность. Не обязательно думать о том, что вы написали в ваших записках; но если вы сделаете это, вы поможете мне. Главное — не оказывайте сопротивления. Если вы не верите, то на время этого короткого сеанса выключите свой скепсис. Пожалуйста, поймите меня правильно. Я вовсе не призываю вас верить, но прошу не затруднять мою работу своим неверием.

И конверты опять заскользили между его пальцами, он ощупывал их, комкал, переворачивал, все еще не вскрывая. Его большие дерзкие глаза померкли, в них появилось мечтательное, отсутствующее выражение. Он дышал медленно, громко. Откинул голову, закрыл глаза.

Наконец он извлек один конверт, повертел его, смаял.

— Этот конверт, — медленно начал он, словно с трудом подбирая слова, — от высокой белокурой дамы.

Я вижу ее, какая она сегодня и какой будет через три года.

Он неожиданно открыл глаза, стал искать кого-то среди публики.

— Этот конверт от вас, сударыня, — заявил он и указал пальцем, на котором блеснул перстень, на какую-то женщину; он узнал ее по описаниям Алоиза. — Я вас видел. Я вас вижу... — Он опять закрыл глаза и продолжал странно тягучим, сонным голосом, перемежая свою речь частыми паузами. — Я вижу город, — возвестил он. — Это южный город. Всюду итальянские надписи. Это неинтересный город. Я не вижу в нем ничего, достойного внимания. Вы находитесь в гостинице. Гостиница маленькая, дешевая. Почему такая дама, как вы, находится в такой убогой гостинице? И какие дела у вас могут быть в таком неинтересном городе? Вот в комнату входит ребенок. Мальчик, очень живой мальчик. Ему лет девять — десять. Очень живой. Он спрашивает вас о чем-то. Вы не хотите отвечать. Он не отстает. Нет, мальчик невоспитан, должен вам сказать, сударыня. Впрочем, вы боитесь за мальчика. В ваших глазах я вижу подлинный страх. Вот вы выходите. Вы едете кататься. И страх не покидает вас ни на минуту. Вы оглядываетесь, не следует ли кто-нибудь за вами.

Он опять неожиданно открыл глаза и впился взглядом в хорошенькую блондинку.

— Вам что-нибудь говорит то, что я видел? — спросил он. — Вы находите в этом какой-нибудь смысл? Я не ошибся?

Блондинка, взволнованная, вся красная, неуверенно ответила сдавленным голосом:

— Да, может быть. Много есть несправедливостей на свете.

До этой минуты Оскар нервничал. Теперь, когда первый опыт прошел столь удачно, он становился все увереннее. По описаниям Алоиза он сразу отыскал господина Тишлера. С людьми, обладающими таким лицом, он умел обходиться, это легкая игра, их пужно брать нахальством, «превосходством». Дух какого-то вловещего озорства овладел Оскаром. Не желает он больше разыгрывать шута, ломать комедию перед этой

знатю; не они будут прохаживаться на его счет, а он посмеется над ними.

Он взял новый конверт, ощупал его, «увидел».

— А теперь я вижу, — возвестил он, — человека лет пятидесяти, с темновато-серым лицом. Фамилия его начинается на «Д» или на «Т». У меня такое чувство, что человек этот не слишком крепкого здоровья. Он страдает желудком. — Оскар открыл глаза, длинным указательным пальцем с перстнем ткнул в одного из присутствующих и воскликнул: — Это вы!

Лицо господина Тишлера еще сильнее побледнело, но он сделал слабую попытку пошутить.

— Верно. Я иногда принимаю соду.

Остальные натянуто улыбались. Но Оскар и глазом не моргнул.

— Вы спрашивали о своем будущем? — продолжал он. — У меня есть для вас ответ. Но это неприятный ответ, и я не знаю, какая вам польза от того, что вы его узнаете. Хотите, чтобы я сказал? — Его дерзкие синие глаза испытующе впились в глаза Тишлера, который старался отвести свой взгляд.

— Что-нибудь сногшибательное? — отозвался неприятным хриплым голосом господин Тишлер. — Или вы полагаете, господин Лаутензак, — продолжал он вызывающе, — слова, которые вы сейчас произнесете, изменят мой жизненный путь?

— Может быть, изменят, а может быть, и нет, — спокойно ответил Оскар. — Все зависит от того, насколько здраво вы способны рассуждать, господин Д. или Т.

— Выкладываете вашу мудрость, — нетерпеливо заявил господин Тишлер.

Оскар откинул голову, закрыл глаза.

— Я вижу теперь будущее, — возвестил он, — я вижу, что будет через десять лет. Десять лет, считая с нынешнего дня. Я вижу что-то вроде леса. Между деревьями — камни. Это могильные памятники. А, это Лесное кладбище. Я вижу один памятник. Не слишком богатый. И надпись простая. Буквы стерты, но приблизительно прочесть можно. Там написано «Антон Тилер» или что-то в этом роде. — И после короткой, зловещей паузы добавил: — Памятник уже не новый, он несколько

обветшал.— Оскар опять открыл глаза.— Очень сожалею, что не могу сообщить ничего более утешительного, господин Тилер, но я вас предупредил.

Публике стало не по себе. Господин Тишлер еще больше побледнел и пожелтел, но заявил с нервической напускной бодростью:

— Все это вздор. Никогда я не позволю хоронить себя в Берлине. Об этом и речи не может быть. Я не хочу, чтобы меня похоронили в Берлине.

Однако Оскар возразил с изысканной вежливостью:

— Возможно, это будет зависеть не только от вас. Я предсказываю лишь то, что мне открывают силы, более могущественные, чем вы и я.

Он с удовлетворением заметил, что его дерзкое пророчество произвело впечатление. Затем стал выбирать следующую жертву. Вон тот, высокий грузный блондин с толстощеким розовым лицом,— очевидно, доктор Кадерейт, магнат тяжелой промышленности. Оскар испытующе посмотрел в его сонные хитрые глаза. С этим господином будет нелегко. Доктор Кадерейт был здесь самым важным гостем — это особенно подчеркивал Гансйорг.

Оскар не стал пускаться в долгие мистические приготовления, а сразу же приступил к делу. Лишь на несколько мгновений сомкнул он глаза, потом заявил:

— Эта вот записка от вас, доктор Кадерейт.— И, наклонив голову, вежливо пояснил: — Что именно вы и есть господин доктор Кадерейт, я узнал раньше, ваши фото не раз появлялись в газетах. Но то, что я вам сейчас скажу,— продолжал Оскар с легкой улыбкой,— идет из других источников.

— Пожалуйста,— приветливо отозвался доктор Кадерейт; у этого статного, крупного человека был странно высокий, почти женский голос.

Оскар не впал в транс, но глубоко погрузил свой внимательный взгляд в глаза Кадерейта, в эти хитрые, непроницаемые глаза. И голос Оскара зазвучал по-будничному, только говорил он медленнее, чтобы с его губ не сорвалось ни одно необдуманное слово.

— Я вижу вас,— сказал он,— в сопровождении людей в мундирах. Я вижу, как вы ведете этих людей

через большие светлые залы. Вижу машины. Должно быть, это завод. Я ошибаюсь?

— Нет, это довольно правдоподобно,— раздался из публики насмешливый звонкий голосок, принадлежавший маленькой изящной женщине, видимо, жене доктора Кадерейта.— Довольно правдоподобно, что заводчик находится на заводе.— В публике раздался легкий смехок.

— Пожалуйста, не мешайте маэстро,— вежливо, но строго попросил Алоиз.

«А эта дамочка опасна»,— решил Оскар. На тех скудных сведениях о Кадерейте, которые ему удалось получить, тут не выедешь. Чтобы опять подчинить себе публику, нужно ввести в бой резервы — его настоящую силу, прозрение, «в́идение». Он должен рискнуть. Если поток его силы достигнет Кадерейта — Оскар победил, если нет — ну что ж, сражение проиграно.

Он закрывает глаза, погружается в себя. Удача! Вот оно. Оскар чувствует в груди едва ощутимое движение, точно разрывается шелковая ткань. Медленно открывает глаза. Но, к его удивлению, поток идет не к доктору Кадерейту, а к его соседке, маленькой женщине, той самой, которая так дерзко прервала его.

Об этой женщине он ничего не знает; в отношении ее — хочет он или нет — ему придется опираться только на силу своего «в́идения»! И он впивается взглядом в ее лицо, смугло-бледное, дерзкое, мальчишеское, с ясными серыми глазами. Он уже не дает ей отвести глаза, и, не смотря на весь свой насмешливый и гордый вид, Ильза Кадерейт чувствует, как ею овладевает что-то чуждое и принуждает против ее воли выдавать свои сокровенные чувства и мысли.

Лицо Оскара точно опустело, красные губы чуть раздвинуты, глаза опять полузакрыты.

— У меня нет никакой вести для господина доктора Кадерейта,— говорит он,— я обращаюсь теперь к вам, сударыня.— Его голос замедляется, становится тягучим, сонным.

— О будущем мне вам сказать нечего, но я могу сказать о ваших мыслях и желаниях больше, чем вам известно о них самой.

— Я слушаю,— ответила Ильза Кадерейт, но ей вполне удалось сохранить независимый и пасмешливый тон.

В углу, у стены, стоял Алоиз, он весь подобрался, готовый вмешаться в любую минуту. То, что сейчас предпринял Оскар,— рискованное дело; это искусство внушения, оно соединяет в себе гипноз и чтение мыслей; только настоящий телепат может себе позволить подобные эксперименты.

— Вы считаете,— заговорил Оскар все тем же надувающим голосом,— что вашему супругу следует наконец связать и себя, и свою деятельность с национал-социалистской партией. Вы хотите этого не ради каких-либо возвышенных или мелких интересов, но просто потому, что это вам представляется забавным. Вы помните, когда у вас впервые возникло ясно и отчетливо это желание? Да, вы вспоминаете. И я вспоминаю вместе с вами. Представьте себе, пожалуйста, во всех подробностях, как было дело.

Он смотрел перед собой невидящим взглядом, прислушиваясь изнутри к себе, прислушиваясь изнутри к ней.

— Благодарю вас,— сказал он затем и улыбнулся.— Теперь вы действительно стараетесь... Ваши воспоминания становятся яснее: теперь я вижу все отчетливо. Вы в каком-то зале, где множество лиственных растений. Это оранжерея? Что-то вроде зимнего сада. С вами молодой человек. Брюнет. С четким пробором. Вы разглядываете вместе с ним какой-то бассейн с растениями. Да, это водоросли. Я не ошибся?

— Может быть,— неуверенно отозвалась Ильза.

А доктор Кадерейт, скорей не веря, чем веря, но благосклонно улыбаясь, с интересом спросил вполголоса:

— Может быть, он имеет в виду Штокмана? Разве ты мне не говорила, что две-три недели назад беседовала со Штокманом относительно партии?

— Господин с пробором,— продолжал Оскар,— отзывается о партии пренебрежительно. Верно? — И, не ожидая ответа, продолжал: — Вы же, может быть, только из духа противоречия защищаете партию. И в мыслях — горячее, чем на словах. «В сущности,—

думаете вы,— эти парии с дурными манерами все же в десять раз интереснее, чем вы все, вместе взятые»,— и вы мысленно отпускаете довольно крепкое словцо по адресу тех кругов, к которым принадлежит господин с пробормом, этакое грубое слово, какое не часто услышишь из уст такой дамы, как вы.

Доктор Кадерейт расхохотался.

— Это правда? — спросил он вполголоса своим высоким, почти женским голосом и тут же сам себе ответил: — Может быть, и правда, ты вполне могла это подумать про Штокмана.

А Оскар решительно продолжал:

— И тогда вам впервые захотелось, чтобы ваш Фриц сотрудничал с теми, а не с этими.— Он совсем открыл глаза и уже отнюдь не сонным, а своим обычным голосом, уверенно и победоносно заявил: — Я вас не спрашиваю, так ли это. Я знаю — это так.

Алоиз был преисполнен профессиональной гордости за своего коллегу.

Доктор Кадерейт сделал вид, что аплодирует.

— Неплохо,— сказал он,— очень неплохо,— и с легкой улыбкой взглянул на жену, которая сидела, тоже чуть-чуть улыбаясь, но с озабоченным видом и слегка облизывая губы. Оскар провел рукою по лбу.

— Я хотел бы на этом сегодня закончить,— заявил он мягко, почти виновато; напряженная сосредоточенность очень его утомила, пояснил он. И сошел с эстрады.

Ильза Кадерейт была дамой скептического склада и произвести на нее впечатление было нелегко. Теперь, когда Оскар выпустил ее из-под своего влияния, она начала защищаться от него. Вполне возможно, что этот тип с дерзким, грубым лицом удачно скомбинировал из отдельных штрихов целую картину. Что-то в нем есть, этого нельзя отрицать, она до сих пор никак не очнется; при всем желании она не может вспомнить, о чем тогда беседовала с Альбертом Штокманом. Конечно, сознавать, что кто-то так ясно читает в твоей душе, что твое нутро, так сказать, раздевают донага, не очень-то приятно; от этого становится не по себе. Но это и волнует; нет, она не жалеет, что приехала сюда.

И на других гостей Оскар произвел впечатление, и они разглядывали его с боязливым любопытством.

— Разве я не выполнила своего обещания? — с гордостью спрашивала фрау фон Третнов. — Разве неправда, что наш Оскар Лаутензак — учитель и пророк?

— Удивительно, — отвечали гости. — Необыкновенное явление! Вы действительно так называли про себя Штокмана, дорогая? — приставали они к Ильзе Кадерейт.

Однако ответы Ильзы были уклончивы.

— Возможно, — отвечала она и добавляла своим четким, девичьим голоском: — Говоря по правде, я сама не знаю.

Тощий господин Тишлер неловко протиснулся через толпу гостей, подошел к Оскару. Слегка толкнув его в бок, он сказал с судорожным смехом:

— Да вы шутник, маэстро! То, что вы со мной проделали, это, конечно, только дьявольская шутка, не правда ли?

Оскар пожал плечами.

— Но это в самом деле удивительно! Ведь многое вы сказали очень верно. А как вы угадали мысли маленькой Кадерейт — просто замечательно. По ее лицу было видно, что все правильно. Мне очень хотелось бы, господин Лаутензак, как-нибудь побеседовать с вами подольше, — доверчиво продолжал он, — посоветоваться насчет некоторых дел.

— Обратитесь к моему секретарю, — холодно ответил Оскар.

Алоиз же, когда к нему подошел господин Тишлер, недовольным тоном сказал:

— Придется вам, сударь, предварительно обратиться в бюро «Германского мировоззрения».

Тем временем Ильза Кадерейт заговорила с Оскаром. Она казалась особенно изящной рядом со своим неуклюжим мужем.

— Искусно вы это сделали, маэстро, — заявила она, — эффектно. По секрету скажу вам, я не знаю, угадали вы или нет. У нас бывает столько гостей, конечно, среди них мог оказаться и брюнет с пробором, а что разговор мог зайти о вас, нацистах, тоже вполне прав-

доподобно, вы нас вызываете на это; кто касается зимнего сада, то вы, вероятно, видели очень красивый снимок с него, он был помещен совсем недавно в «Иллюстрирте». Все же нельзя не восхищаться вашей сообразительностью, тем, что у вас все данные оказываются под рукой.

Ее голосок звучал сейчас не так насмешливо, он напоминал щебетанье птички, серые ясные глаза под челкой искрились умом, она была прелестна. Оскара возмущала дерзость, с какой она ставила под сомнение все сказанное им, и все-таки она ему нравилась. Все в ней нравилось ему: изящная, но крепкая фигурка, которая казалась миниатюрной рядом с громоздкой фигурой мужа, смелое смутно-бледное мальчишеское лицо, короткие черные волосы, твердо очерченный подбородок, красивый прямой нос. Пусть себе подтрунивает над ним. В конце концов он возьмет над ней верх, уже взял, он чувствует это.

— По крайней мере, вы должны признаться хотя бы самой себе, сударыня,— сказал он очень любезно, без всякой обиды,— что ваши мысли во время беседы с брюнетом я едва ли мог узнать из «Иллюстрирте».

Доктор Кадерейт звонко и дружелюбно рассмеялся.

— Ты слишком строга, моя дорогая,— обратился он к Ильзе,— и несправедлива. Хотел бы я, чтобы существовало какое-нибудь учреждение, которое было бы так же хорошо осведомлено о мыслях тех, с кем я веду дела, как осведомлен господин Лаутензак о твоих. *À la bonne heure*¹, дорогой господин Лаутензак!

Однако Ильза не сдавалась.

— Во всяком случае,— сдержанно заметила она,— протеже фрау фон Третнов — человек очень занятый и надо видеться с ним почаще.

Затем она приветливо улыбнулась Оскару, глядя ему прямо в глаза, кивнула и отошла к другой группе гостей. Ясновидающий разозлился. Ну, он еще покажет этой великосветской дамочке, каков протеже фрау фон Третнов!

Однако его гнев скоро прошел, и возвращался он с Алоизом домой в весьма приподнятом настроении. Чем

¹ Браво, отлично! (*франц.*)

больше эта женщина противилась ему, тем слаще было предвкушение победы. Да и обращение с ним доктора Кадерейта вызвало в нем скорее гордость, чем смирение. В присутствии Алоиза он дал себе волю и начал издеваться над людьми, перед которыми выступал.

— Чего, собственно, они хотят? И верить и не верить! Чтобы эксперимент удался и чтобы он провалился. Их глупость превосходит все, что можно себе представить. Они готовы скептически усмехаться по адресу ясновидящего, но не потрудятся серьезно проверить, на чем он строит свои эксперименты, какова их техника. Чуть нажмешь на них посильнее, они даже помогают успеху, хотя, быть может, и против воли. Главное — ловко формулировать свои вопросы, ошарашивать ими. Стоит только с полной уверенностью заявить, что люди то-то и то-то испытали или подумали, и они уже начинают верить, что так оно и было.

Алоиз сидел, насупившись, в углу машины.

— Кому ты это говоришь? — проворчал он. — Мне? Так она же вся от меня идет, твоя мудрость. — Он зевнул. — Дурацкая жизнь в этом чертовом Берлине. В понедельник еду в Мюнхен.

Кэтэ Зеверин переписывала на машинке рукопись «Рихард Вагнер как пример и предостережение». Ее пальцы автоматически ударяли по клавишам, но думала она совсем о другом. Видимо, мысли были не из приятных, так как на ее удлиннном, красивом, худощавом лице было написано глубокое недовольство: три резкие вертикальные морщинки, начинаясь у переносицы, пересекали ее высокий лоб.

«Кэтэ Зеверин, стенография и переписка на машинке». Так гласит вывеска внизу, у входа. Вот уже больше месяца, как эта вывеска не привлекла ни одного клиента. Если так будет продолжаться, придется с этим покончить.

Кэтэ сидела перед машинкой — высокая, светловолосая, стройная, и ее худые ловкие пальцы быстро бегали по клавишам. Ее сводный брат Пауль дал ей переписывать свою огромную рукопись «Рихард Вагнер» только для того, чтобы она не осталась совсем без дела. Ведь

копии ему не нужны. Эта книга — единственный подлинно критический труд о Рихарде Вагнере; но для такого исследования в теперешние времена не найдешь издателя.

Там есть ряд мест, — они даже ее выводят из себя. Сводный брат Кэтэ, Пауль Крамер, чертовски умен, она его очень любит, это единственный человек, на которого Кэтэ может положиться. Но она понимает, почему нацисты упорно не желают признавать таких людей, как ее брат. Во многом Пауль прав, критикуя Вагнера, — она разбирается в музыке, и ей понятна его точка зрения. Но он преподносит свои тезисы с раздражающей самоуверенностью специалиста, он не допускает других взглядов.

Ей все труднее с ним ладить. Главное — это вопрос о нацистах. Конечно, среди нацистских принципов есть очень много нелепых, возмутительных. Она сама, когда говорит с нацистами, спорит против их принципов. Но когда она говорит с Паулем, она защищает движение, превозносит искренность их фанатизма, их порыв. Высокомерие, с каким Пауль отвергает это движение, вынуждает ее спорить с ним.

Кэтэ любит брата. Он внимателен, исключительно умен, отзывчив, у него есть чувство юмора, а когда он излагает свои мысли, нельзя не заразиться его благородным пылом. И все-таки ей тяжело жить на средства брата, а когда кончится эта зависимость от него, увя, неизвестно.

С досадой сжимает Кэтэ тонкие, красиво изогнутые губы. Ведь это продолжается уже долгие месяцы. Долгие месяцы все идет из рук вон плохо. А как хорошо началось! Когда она поняла, что больше не в силах жить у отца, и переехала из Лигница в Берлин, к Паулю, для нее началась новая, настоящая жизнь. В первые месяцы она даже сносно зарабатывала. Но потом ее точно слепили.

Кэтэ двадцать четыре года, у нее привлекательная паружность. Пауль находит, что она неглупа. Почему же такому человеку, как она, в Германии 1932 года так мучительно трудно добиться сносного существования? В поисках работы она рыщет по городу с утра до вечера.

Почему же ни она, ни миллионы других не могут найти никакой работы?

Пауль предпочел бы, чтобы она бросила эту дурацкую машинку и отдалась своей страсти — изучала музыку и жила бы на его скудный литературный заработок, пока не настанут лучшие времена и она не получит приличное место в каком-нибудь музыкальном издательстве. Но она не хочет сесть ему на шею и продолжает свои упорные попытки заработать хоть что-нибудь. Они с Паулем очень разные, но оба унаследовали от матери ее высокий выпуклый лоб и ее упрямство.

И вот она сидит, пишет на своей дурацкой машинке и испытывает глубокое недовольство собой, Паулем, всем на свете. Неужели ее требования так уж велики? Чего, собственно, она хочет? Делать какую-нибудь осмысленную работу, а если и это невозможно, то хоть жить с человеком, которого она полюбит. У нее было несколько романов, но они так и остались случайными эпизодами. Один раз могло выйти нечто более серьезное, но все рухнуло, потому что он уехал за океан с сомнительным политическим поручением. А ей и он сам, и его деятельность вдруг показались подозрительными, нечистоплотными; она отказалась с ним ехать.

Хоть бы произошло какое-нибудь событие! Что бы ни случилось, все будет лучше, чем теперь. В программе нацистов много глупого, пустого, варварского. Но никаких утопий, это программа на ближайшее будущее, на завтра. Они гонят жизнь вперед, и что-то должно измениться. А когда они будут у власти, нелепое и варварское само собой отпадет.

Кэтэ вставляет новую страницу — триста девятнадцатую. В рукописи семьсот пятьдесят шесть страниц. На семистах пятидесяти шести страницах ее брат только и делает, что подчеркивает слабости великого человека. Именно потому, утверждает он, что в музыке Вагнера так много сладостной отравы, она и опасна, нужно же когда-нибудь показать обратную сторону медали. Кэтэ возмущена тем, сколько усилий Пауль затрачивает, чтобы умалить значение этого великого чело-

века. Все же, переписывая работу Пауля, она порой не может не улыбнуться его остроумию и изяществу мысли. Да, пишет он талантливо.

Звонок. Кэтэ открывает не торопясь. Она уже отвыкла от клиентов. Кто это может быть? Какой-нибудь приезжий? Нет, клиент — человек в дорогом свободном пальто, человек с энергичным, значительным лицом. Едва он вступил в ее маленькую комнатку, в ней стало еще теснее. Он осведомляется, может ли она писать под диктовку.

— Это будет пока только проба,— заявляет он.— Если вы согласны, то начнем сейчас же.

Все это говорится довольно властно и внушительно.

— Хорошо, сударь,— вежливо отвечает Кэтэ своим чистым голосом с едва заметным оттенком иронии.— Если это так срочно, мы можем попробовать сейчас же.

Незнакомец пристально разглядывает ее.

— Да,— говорит он,— сначала ограничимся пробой. Для моего материала необходимо, чтобы установилось взаимоотношение с тем, кому я буду диктовать, это очень важно.

И вот уже новый клиент диктует, а Кэтэ стенографирует. Он ходит по комнате и оказывается то перед Кэтэ, то за ее спиной. Поспевать за ним не так легко. Он то говорит размеренно, подчеркивая каждое слово, с патетическими паузами, то вдруг начинает гнать. Смысл его слов кажется Кэтэ неясным и загадочным; зато в самих фразах есть музыка, и Кэтэ слушает ее с наслаждением.

Незнакомец описывает некое явление, с которым ей до сих пор не приходилось сталкиваться, и называет его то телепатией, то чтением мыслей, то метафизикой. Четких границ у этого понятия, видимо, нет; незнакомец диктует уже довольно долго, а Кэтэ все еще ничего не может понять. Но она ощущает за его туманными фразами нечто высокое, не допускающее никакой непочтительной критики.

— Мы, современные люди,— диктует незнакомец,— утратили одно очень существенное свойство души — способность воспринимать дух и переносить его на

других без посредства обедняющей и иссушающей письменной и устной речи.

Наши предки обладали ею, этой способностью, они могли непосредственно воспринимать все существо человека — его мысли, чувства, волевые стремления, как нечто единое, — так земля впитывает в себя дождь. Мы, современные люди, — нищие, мы лишились этого дара. Только немногие еще обладают им. Зато этим немногим дано ощутить блаженство, недоступное никому другому, им выпало на долю познать это искусство непосредственного «видения» и вернуть его опять на землю.

Таковы мысли, которые диктует незнакомец владелице бюро «Кэтэ Зеверин. Стенография и переписка на машинке». Он диктует своим мягким, бархатым тенором, и прямо чувствуешь, как рождается каждая фраза. Время от времени он прерывает себя и спрашивает:

— Вы поспеваете за мной? Может быть, я говорю слишком быстро, может быть, недостаточно отчетливо? — И тогда в его голосе звучит властная нежность. Временами он действительно говорит слишком быстро. Но Кэтэ — опытная стенографистка, она берет себя в руки, ей не хочется прерывать его.

Он диктует довольно долго. Кэтэ пользуется каждой паузой, чтобы бросить взгляд на его лицо, — на нем отражается усиленная работа мысли. Когда этот человек говорит, ей передается его волнение, она оживлена, никогда еще работа не вызывала в ней такого подъема. Когда он говорит, в душе возникают сильные, приятные чувства, как во время речи фюрера. Словно покачиваешься на волнах, купаясь в море. И уже не думаешь о том, какая вокруг тебя безнадежная путаница; чудится, словно тобой владеет и тебя ведет загадочная, но не враждебная сила.

Незнакомец все чаще делает паузы. Вот он как будто кончил.

— На сегодня довольно, — говорит он и добавляет: — У вас на лице написано разочарование, фрейлейн! Но ведь много часов подряд нельзя диктовать такие вещи. Именно вы должны это понимать.

Без стеснения, почти бесстыдно разглядывает он ее удлиненное, прекрасное, тонкое лицо, изогнутые губы,

карие глаза под густыми бровями, высокий, чуть выпуклый лоб, красиво зачесанные русые волосы, собранные, вопреки моде, в узел. Да, с этой девушкой действительно работаешь совсем по-другому, чем с сухарем и пропырой Петерманом.

— С вами хорошо работается,— заявляет он.— Вы не нарушаете настроения.

Он улыбается; в сущности, лицо у него угрюмое, но когда он улыбается, оно становится совсем светлым.

— Спасибо,— говорит она, ошастливленная.

— Вы успеваете следить за ходом моей мысли,— спрашивает он,— или техническая сторона поглощает все ваше внимание?

— Я не всегда успевала следить,— признается Кэтэ.— Но то, что вы из себя извлекаете, так захватывает, что, конечно, нельзя не прислушиваться.

— «Из себя извлекаете»,— вы нашли меткое определение для моей деятельности,— похвалил он ее.— Но, пожалуйста, прочтите мне еще раз то, что я «из себя извлек».

Своим чистым голосом она читает. Бегло читать стенограмму — дело нелегкое даже при большой опытности. Но она делает над собой усилие, она повторяет его фразы свободно, с правильными интонациями; запинаясь она редко, поправок тоже мало.

— Вы читали прочувствованно,— хвалит он ее.

Пауль, наверное, нашел бы, что «прочувствованно» — дешевое выражение, однако ей приятна эта похвала, она даже краснеет. А он, снова разглядывая ее, милостиво заявляет:

— Я думаю, мы часто будем вместе работать.

Надеясь дорогое широкое пальто, он спрашивает с улыбкой:

— А вы знаете, кто я?

Спрашивает так, как будто она должна знать; да и лицо его кажется ей знакомым, наверное, она видела его в газетах, только никак не вспомнит фамилию. И она, краснея, качает головой.

— Тем лучше, тем лучше,— говорит он с несколько напусковой непринужденностью.

Вечером того же дня доктор Пауль Крамер сидит в столовой своей маленькой квартирке на Нюрнбергерштрассе, где живет вместе с Кэтэ, курит трубку и ждет ужина. Это высокий, худощавый человек; у него нос с горбинкой, резко выступающие скулы, живые карие глаза и высокий, слегка выпуклый лоб. Он удобно уселся в широком старом кресле. Его мысли переходят от статьи, которую он сейчас пишет, к Кэтэ, приготовляющей в кухне ужин.

Она долго возится сегодня, но, кажется, готовит что-то вкусное. Из кухни доносится аппетитный запах. Всю прошлую неделю его по вечерам не бывало дома — то театр, то лекция, два вечера — нет, три — он провел со своей подругой Марианной. Ему даже приятно побыть вечером дома, запросто, в халате и домашних туфлях.

Статья, над которой он работает, очень трудна. Он ставит в ней вопрос о том, почему немцы оказались столь восприимчивыми к нацизму, — в силу чисто внешних обстоятельств или дело в их национальном характере. Дать в таком очерке правильную дозировку любви и ненависти — задача весьма щекотливая. «Характерная для немцев ошибка — искать на небесах то, что лежит у них под ногами». Нет, процитировать эти строки, привлечь Шопенгауэра в качестве единомышленника было бы нечестно; на человека с таким «Ressentiment»¹ нельзя ссылаться в серьезной статье.

Пауль с удовольствием вдыхает запах, доносящийся из кухни. Насколько лучше он себя чувствует с тех пор, как живет вместе с Кэтэ. Нелегко им было добиться этой совместной жизни. Отец Кэтэ, советник окружного суда Зеверин, не выносил своего пасынка Пауля, полужидея. Старик и в отставку вышел раньше срока только для того, чтобы вместе с дочерью возвратиться в Лигниц и таким образом удалить от себя Пауля. К счастью, затея этого господина провалилась, удержать Кэтэ ему не удалось. Теперь он сидит один в своем Лигнице, брюзжит и ругает евреев. А Кэтэ хлопочет сейчас на кухне ради него, Пауля, не ради этого злого старого филина.

¹ Неприязнь, озлобление, пристрастие (*франц.*).

Пауль выколачивает трубку. Он вовсе не намерен ссориться с Кэтэ. Как только они коснутся опасной темы, он пересилит себя, будет держать язык за зубами. Они уже не раз ссорились из-за нацистских теорий. На взгляды Кэтэ бесспорно влияют не слишком удачно сложившиеся для нее обстоятельства. Бессмысленно выдвигать против чувства доводы разума. Приходится ждать, пока все утрясется само собой.

Вот она подает суп. Пауль ест его с удовольствием. Отдает должное и вареной рыбе, и молодому картофелю с растопленным сливочным маслом. Ест он не очень благовоспитанно, торопится, сует в рот большие куски и при этом весело и оживленно болтает.

На радостях, по случаю появления нового клиента, Кэтэ приготовила брату его любимые кушанья. Она ждет подходящей минуты, чтобы рассказать ему о странном незнакомце. Наконец подходящая минута настала. Пауль по ее описанию тут же узнает его — это пресловутый Оскар Лаутензак, кто же еще!

— Тебе удалось заполучить роскошный экземпляр для твоей коллекции нацистских типов, — говорит он, ухмыляясь. — По крайней мере, одно достоинство есть у твоего наступающего тысячелетнего рейха. Вот такие молодцы разгуливают на свободе и вдобавок дают тебе возможность заработать восемь марок. Еще пять лет назад этого Оскара Лаутензака засадили бы за обман и скоморошество. Нынче он неприкосновенен и может вытворять что угодно.

Кэтэ жаждала рассказать брату о незнакомце. Все свои дела она обсуждала с Паулем. Они вместе выросли и привыкли с детства делиться всем — горем и радостью, важным и ничтожным.

Они утешали друг друга, когда мать в своем втором замужестве становилась все более робкой и печальной. После ее смерти, когда с папашей Зеверином уже никакого сладу не было, Пауль делал все возможное, чтобы поддержать маленькую Кэтэ. Она тоже переживала вместе с ним его успехи и неудачи. Плохо жилось Паулю у отчима Зеверина. Чтобы как-нибудь убрать пасынка из Берлина, тот хотел заставить его поступить в юридическую контору дяди Пауля — Бернгарда Крамера в Лиг-

нице. Однако Пауль отбивался от этого руками и ногами. Он писатель, а не юрист. Они расстались со скандалом. Сколько-нибудь обеспеченному существованию в Лигнице Пауль предпочел жизнь в Берлине на гроши, оставшиеся ему в наследство, и на случайные гонорары за свой писательский труд. Да, через многое прошли они вместе, Кэтэ и Пауль.

Теперь, когда им удалось добиться своего и они поселились вдвоем, брат и сестра еще больше сблизились. Поссорившись со своей Марианной, Пауль все выкладывает Кэтэ, а когда Кэтэ сообщает ему, что ей удалось заработать несколько марок, он прямо сияет. Кэтэ только тогда может разобраться в незначительных событиях своей жизни, когда расскажет о них Паулю.

Тем более ее огорчает, что Пауль отнесся с таким пренебрежительным равнодушием к ее встрече с Лаутензаком. Просто беда: едва дело коснется политики, они перестают понимать друг друга. Сейчас его нетерпимость испортила Кэтэ всю радость по случаю появления нового клиента.

Тем временем Пауль ест и продолжает весело болтать. Он не замечает, что испортил сестре настроение.

— В конце концов ты ведь не отвечаешь за все, что тебе диктуют,— примирительно заканчивает он свои рассуждения об Оскаре Лаутензаке.

Она молчит, он продолжает есть. Наконец Пауль замечает ее недовольство.

— Я чем-нибудь провинился? — спрашивает он почти испуганно. — Уронил кусок рыбы на костюм?

— Зачем ты притворяешься,— мрачно отвечает Кэтэ, и ее прекрасное лицо отражает каждое движение души.— Всех ты осуждаешь. Каждого, кто способен чем-нибудь воодушевляться, ты считаешь дураком. Ты просто не хочешь допустить, что человек может воздействовать на других не только логикой и рассудком, но и каким-нибудь иным путем, во всем видишь только плохую сторону.

Разве Пауль не решил избегать опасных тем?

— Хорошо,— говорит он,— если это тебе доставляет удовольствие, я буду относиться положительно и к обратной стороне и займусь рыбой.— Неторопливо размяв

несколько картофелин в оставшемся масле, он добавляет: — Я понимаю, Кэтэ, что тебе многое не по сердцу и ты ищешь какого-нибудь выхода. Я хоть могу излить на бумаге свои чувства. От этого мало что в жизни изменится, а все-таки какое-то утешение это дает. Ну, а теперь перейдем к картошке.— И он опять склонился над тарелкой.

Несмотря на его насмешливый тон, Кэтэ все же поняла, что эти слова — своего рода извинение, ласковая и неловкая попытка утешить ее. Выругав Оскара Лаутензака, Пауль не думал обидеть ее; вероятно, многое из того, что он говорил, — правда. Но она не желает знать об этом. Сколько ценного губишь излишней любознательностью!

Позднее, когда Кэтэ переменяла тарелки, Пауль сообщил, что, вероятно, бреславльская радиостанция передаст его очерк о психологии масс.

— Целый ряд газет, — продолжал он, — перепечатают его. Вскоре должен прийти и гонорар за английское издание моей статьи «Фашизм и язык». Поэтому денежные дела в этом месяце будут обстоять недурно. Да еще твой новый клиент... — И он улыбнулся.

Когда он улыбается, по его худому лицу, подобно отблеску, проходит что-то задорное, умное и добродушное. Кэтэ ничего не имеет против того, чтобы он подразнил ее.

Она подает слоеный пирог с яблоками и взбитыми сливками.

— Если у нас будут деньги, ты непременно должен сшить себе новый костюм. Коричневый уже никуда не годится. Воротник протерся, на брюках бахрома, локти блестят, прямо хоть смотришь в них. Я еще удивляюсь, как это Марианна показывается с тобой в обществе.

— Ее больше соблазняют мои внутренние красоты, — отозвался Пауль с полным ртом. — Но если будут деньги, — продолжал он оживленно, — сначала следовало бы тебе что-нибудь сшить.

— Глупости, — ответила Кэтэ, — у меня есть все необходимое. А твой коричневый костюм просто неприличен. Завтра же мы пойдем к Краузе, — решительно заявила она.

— Ничего подобного, — возразил Пауль. — Если писатель Пауль Крамер решится сменить свою оболочку, то он пойдет не к портному Краузе. Его новый костюм должен быть классическим произведением.

— Хорошо, — сказал Кэтэ, — пойдем к Вайцу.

— Чешские классики не хуже других, но шить у Вайца я не могу себе позволить. Так как идти к Вайцу я не могу, а к Краузе не хочу, публике придется довольствоваться пока моим коричневым, зеркальным. И потом — какого же цвета сделать новый?

— Конечно, серого, — сказала Кэтэ.

— Серого? — задумчиво повторил Пауль. — А как ты относишься к зеленому?

— Ради бога, не надо! — возмутилась Кэтэ.

— Почему это — ради бога? — решился Пауль встать на защиту выдвинутого им цвета. — Зеленый Гсрих тоже всегда ходил в зеленом, а книга все-таки получилась хорошая. Давай условимся, Кэтэ: как только мы получим большую сумму, сейчас же сделаем и тебе костюм и мне. У Вайца. Пусть будет серый, в честь тебя. Щучьего цвета. Щучий цвет — это звучит неплохо и вызывает приятные ассоциации. Решено? — спросил он. — Щучий костюм должен быть таким, чтобы я затмил в нем этого Лаутензака вместе со всей его магией.

Через три дня новый клиент опять появился в бюро машинописи Кэтэ Зеверин.

— Я рада, что вы опять пришли, господин Лаутензак, — сказала она, просяив.

Он спокойно уселся, точно старый знакомый, и начал диктовать переработанный текст статьи, продиктованной в прошлый раз. Но если Пауль с особой любовью оттачивал в своих статьях каждую фразу и не допускал ни одной, которая в точности не соответствовала бы его мысли, то Оскару Лаутензаку никак не удавалось находить точные и нужные слова. Наоборот: чем дольше он бился над предложениями, тем туманнее они становились. Вдруг, посередине фразы, он сердито прерывал себя и оставлял все как было.

Расхаживая по тесной комнате, он заполнял ее гром-

кими словами. Говорил о второй статье, которую скоро намерен продиктовать, объяснял подробно, что его способность — это не только великий дар, но и тяжелое бремя. Кэтэ чувствовала, что говорит он, в сущности, не с ней, а с самим собой; видимо, ему необходимо присутствие другого человека, чтобы его мысли облекались в слова.

Новую статью он продиктует дня через два-три, заявил Оскар, собираясь уходить. Затем, уже в дверях, спросил, работает ли она вне дома. Дело в том, что в собственной квартире, среди привычной обстановки, человеку его склада легче работать.

Она почувствовала глубокую радость и легкий страх. Кэтэ влекло к этому человеку, приглашавшему ее к себе, по словно издали предостерегающе звучали презрительные слова, сказанные о нем братом. Точно почувяв ее колебания, Оскар Лаутензак продолжал:

— Видите ли, фрейлейн, у меня есть постоянный секретарь, но то, что рождается из самой глубины моего существа, мне не хотелось бы диктовать ему. Над таким материалом мне хочется работать с человеком, с которым у меня есть контакт.

— Когда мне прийти? — спросила она.

«Завтра», — ответил бы он охотнее всего. Но он сделал над собой усилие и назначил прийти через три дня.

В течение этих трех дней он был еще раздражительнее, чем обычно.

Алоиз выполнил свое намерение — уехал в Мюнхен, и рядом не было никого, на ком Оскар мог бы срывать досаду, вызванную нетерпеливым ожиданием. Стремясь отвлечься, он посетил ювелира Позенера на Унтер-ден-Линден и просил еще раз показать ему кольцо с бриллиантом. Выбрасывать такие деньги на кольцо нелепо. Но он окончательно решился. Купил кольцо в рассрочку, с очень большой ежемесячной выплатой.

Дома, в библиотеке, он торжественно снял кольцо с печаткой, подаренное ему фрау фон Третнов, и надел то, за которое отдал собственные деньги. Иной раз он и сам находил, что рука у него слишком большая, топорная, и тогда перед его внутренним взором, как мучительное воспоминание, возникала та же рука, изва-

янная Тиршенройтшей. Новое кольцо очень шло к его руке, оно было массивное, добротное и настоящее.

Но даже радость, которую ему доставила покупка, не надолго отвлекла его от мыслей о Кэтэ Зеверин. У него возникло яростное желание овладеть этой женщиной, этой машинисткой Кэтэ. Она должна принадлежать ему душой и телом. Он должен поймать ее в свои сети. Разве его дар — это не один из видов великого искусства, которым обладают «ловцы человеков»? Оскар хочет доказать самому себе, что его искусство «ловить человеков» не пострадало от всех трюков и обманов, которые его вынуждают применять, чтобы воздействовать на людей.

Но почему ему нужна именно Кэтэ? Обыкновенная берлинская девушка, каких в этом городе тысячи. Хорошо, пусть ее лоб упрямее, чем у остальных, глаза живее, но ведь он избалован, он может иметь сколько угодно самых обаятельных женщин, титулованных, прославленных!

Что с ним? Ему сорок три года, а его мысли неотступно заняты этой девушкой, словно он гимназист! Прежде всего его пленяет изгиб ее шеи под узлом волос, нежная и все же сильная линия затылка. Диктуя, он ходил взад и вперед у нее за спиной и едва удерживался, чтобы не погладить эту нежную, чуть покрытую пушком шею. Сейчас, когда он об этом думает, ему хочется схватить рукой ее пленительный затылок, крепко стиснуть его.

Наконец настал третий день. Она явилась. Экзотический слуга Али провел ее через роскошную приемную в просторную, строгую библиотеку. Там ее ждал Оскар в своей лиловой домашней куртке. Однако обстановка квартиры как будто не произвела на нее впечатления. Скромно, почти бедно одетая, прошла она через все это величественно, словно в нем не было ничего необычного. Деловито поставила машинку, уселась за огромный письменный стол, приготовилась писать.

Недовольный и ею, и самим собой, начинает он диктовать. На этот раз он яростно набрасывается на рационалистов, на этих пошляков. Тема его волнует; он представляет себе Гравличека, горячится, увлекается. Но

сегодня его азарт на Кэтэ не действует. Все это просто брань, неуклюжее громоханье. Даже сравнить нельзя с тем, как элегантно, легко и уверенно справляется Пауль с подобными задачами. Она уже не понимает себя. Почему ее так влекло к этому Лаутензаку во время его посещений? И вдруг ей становится ясно, что имел в виду Пауль, когда с таким уничтожающим презрением отозвался о нем: да, все это одно комедианство — он сам, его квартира, его «работа».

Конечно, она и виду не подает, что разочарована. Внимательно слушает и добросовестно стенографирует слова Оскара, он же, несмотря на все ее усилия скрыть свое разочарование, сразу почувствовал, что волшебство кончилось. Он и сам разочарован. Разве перед ним та самая женщина, которую он эти три дня так горячо желал? Он тоже себя не понимает.

Все-таки его сердит ее равнодушие. Он прерывает диктовку.

— Вы сегодня не верите в меня, — заявляет он с досадой. — Я не могу работать с человеком, который в меня не верит. Через вас на меня действует враждебное начало.

Кэтэ не возражает. Пока он говорит, она смотрит перед собой с вежливым и безучастным видом. Ведь она всего-навсего машинистка и работает для клиента. И вдруг, неизвестно почему, его охватывает безрассудное и неодолимое желание взять эту девушку, обладать ею целиком, безраздельно, душой ее и телом. Желание это безмерно, он перед ним совершенно бессилён.

Он ходит по комнате, говорит, говорит, обращаясь совсем не к ней, но его голос становится бархатным, слова — настойчивыми, вкрадчивыми.

— Как это грустно, — жалуется он, — что вы от меня замыкаетесь. Так редко удастся встретить человека, от которого исходит вибрация, ток жизни. Задача моя не легка, современный мир не желает признавать, что на свете существует что-либо, кроме грубой, пошлой материальности. Тот, кто считает своей миссией пробудить веру в духовное начало, в идею, которая не воспринимается непосредственно нашими органами чувств, тот не имеет права отступать даже перед грубыми

способами воздействия, он должен о каждом своем успехе возвещать громогласно.

Рассудок Кэтэ противится этим доводам. Но ею опять медленно овладевает то сладостное, хмельное оцепенение, которое она испытывала в первый раз, когда работала с ним. Она была к Оскару несправедлива, она дала Паулю восстановить себя против Оскара. И слишком кричащее кольцо на пальце, и безвкусная роскошь вокруг — это не его подлинная сущность, а внешние средства, которыми он должен пользоваться против воли. Она и сама могла бы это понять.

Оскар чувствует, что нашел верный тон, что между ними опять возникла прежняя внутренняя связь, и это воодушевляет, окрыляет его. Вдруг — о, счастье! — он слышит легкий внутренний шелест, будто рвется тонкий шелк, он «видит». И Кэтэ с таинственным волнением, привлеченная к нему какой-то мощной силой, становится свидетельницей того, как лицо Оскара Лаутензака словно пустеет, челюсть отвисает, придавая ему чуть глуповатый вид, его взор проникает в ее глаза — взор какой-то невидящий и вместе с тем безмерно глубокий, он проникает насквозь, проходит через кожу, плоть и кровь. Против воли все же ошастливленная, она покорно и блаженно выдает ему то, что скрыто за ее высоким лбом.

Тягучим, прерывающимся голосом он возвещает:

— А теперь я вижу и того, кто вас восстановил против меня.

Он действительно описывает Пауля, недоброежело, с ненавистью, но это, бесспорно, Пауль, неверующий, враг, который ничего не смыслит в «видении», в том, что важнее всего. Она слушает его, бледнеет. Да, он облекает в слова, называет своим именем то, что ей в Пауле всегда было чуждо. Остатки здравого смысла подсказывают ей, что этот человек мог на стороне собрать сведения о ее сводном брате. Однако сомнения исчезают, еще не став мыслями. На ее лице ясно отражается растерянность, страх перед неизвестным, восхищение.

— Я прав? Я прав? — настаивает он и вдруг страстно требует: — Вы должны порвать с этим человеком! Вы не должны больше дышать одним воздухом с ним.

Приняв душ, доктор Фриц Кадерейт лежит в купальном халате на диване и блаженно курит. Еще несколько минут можно не двигаться, он вполне успеет переодеться к ужину. Кадерейты ждут гостей — господина Гитлера и других видных деятелей нацистской партии.

Да, Кадерейт заключил с нацистами своего рода соглашение. Он решил сделать ставку на эту партию. Он поддерживает ее материально, некоторые руководители стали пайщиками его предприятий, большинство этих предприятий он решил переключить на военное производство. Конечно, это рискованно; если партия не скоро придет к власти, если Германия, вопреки всем международным соглашениям, не начнет в ближайшем будущем вооружаться, то это переключение повлечет за собой большие убытки.

Но, как всегда, *le jeu est fait*¹. Его привлекают не блестящие деловые перспективы; он очень богат, и ради них совершенно незачем идти на такой огромный риск. Но именно риск и привлекает его. Вот она, крупная игра, которую он так любит. Вся эта пресловутая нацистская «политика» не имеет отношения к разуму и его расчетам, это просто романтика гангстерства, ставка на слепую удачу. Грузный блондин лежит на кушетке в купальном халате, виднеется его розовое голое тело, он улыбается. Итак, сегодня вечером он принимает у себя этих господ — вожаков партии. Впрочем, какие они «господа»! Однако и не «пролетарии», как их иногда называет Ильза. Это просто кучка авантюристов, голодранцев; ландскнехты, которых нанимают он и другие предприниматели, чтобы выпустить против обнаглевших рабочих и крестьян. Но держать эту частную армию тоже рискованно; как отделаться от этих бандитов после того, как воля рабочих будет сломлена? Ну, мы прошли сквозь огонь и воду, уж как-нибудь справимся.

Многие из его друзей моют руки после встречи с нацистскими бонзами. Он, Фриц Кадерейт, в известном смысле даже любит этого Гитлера, этого талантливого циркача, смешного и напыщенного клоуна. И к Оскару

¹ Ставка сделана (*франц.*).

Лаутензаку Кадерейт относится неплохо. В Лаутензаке — сочетание необычного и жутковатого дара с большой дозой комедиантства и наглого шарлатанства, он явление небезынтересное. У нацистов оказался верный нюх, когда они привлекли на свою сторону этого субъекта; они, безусловно, с успехом могут его использовать. Даже на Ильзу, — уж ее, кажется, ничем не проймешь, — он произвел впечатление, пожалуй, более сильное, чем следует.

Улыбка Фрица Кадерейта становится насмешливой. Он слывет умным дельцом, расчетливым и опытным организатором. Но все это неверно. Будь он таким, он никогда бы не связался с преступной, авантюристской политикой нацистов. Настоящий делец никогда бы не женился на Ильзе, на маленькой, нищей, пылкой и опасной Ильзе фон Энгельке.

Доктор Кадерейт блаженно вздохнул, поднялся, начал одеваться. Подошел к зеркалу: а он ничего во фраке! Потом направился к Ильзе. Она уже оделась. Платье на ней было черное с голубым.

— Ты выглядишь замечательно, — сказал он, — и очень оживлена. Видно, ты заранее предвкушаешь удовольствие от встречи с господами варварами.

— Я уверена, что будет много забавного, — ответила Ильза. — По крайней мере, что-то новое. Как ты думаешь, удобно попросить нашего пророка выступить после ужина?

Муж посмотрел на нее испытующе своим умным, слегка затуманенным взглядом.

— Этот Лаутензак тебя, видимо, очень занимает, — улыбнулся он.

— Ведь и на тебя он произвел впечатление, — отозвалась она тоже с улыбкой, — сознайся.

— Да, — усмехнулся Фриц Кадерейт, — в нем что-то есть. Но не бог весть что.

— Не прикидывайся бóльшим рационалистом, чем ты есть на самом деле, — возразила она. — Не будь этого вечера у баронессы, ты бы, наверно, еще не так скоро поладил с нацистами. Скажи по совести, разве тот вечер не ускорил твоего решения? Хоть немного?

— Если кто и ускорил мое решение, — галантно воз-

разил он, — то только ты. Этот тип со своей телепатией правильно понял, что главное — ты.

Кадерейт усмехнулся при этом столь загадочно, что даже Ильза не могла понять — серьезно он говорит или проницательно. Они вышли в зал, так как первые гости уже прибыли. Гитлер сообщил, что сможет приехать несколько позже, и просил садиться за стол без него.

Оскар Лаутензак явился рано и чувствовал себя бодро и уверенно. Его волновала возможность опять встретиться с фюрером, притом — в столь тесном кругу. Особенное удовлетворение он испытывал оттого, что был обязан этим только себе, а не Гансйоргу. Оскар подготовился к этой встрече с Гитлером, он потребовал не только от Гансйорга, но и от презренного Петермана, чтобы они ознакомили его во всех подробностях с теперешней политической ситуацией. Неужто ему так чертовски не повезет, что он при такой подготовке не сможет вчувствоваться в фюрера!

Вначале, правда, он был немного разочарован. Ильза Кадерейт была сегодня еще прелестнее, чем в первый раз: она всем правилась, особенно графу Цинздорфу, и это еще больше подстегнуло Оскара; но она только мимоходом рассеянно улыбнулась ему и за ужином села на другом конце стола.

Наконец появился фюрер, однако вечер от этого ничего не выиграл. Гитлер выглядел утомленным, озабоченным, рассеянным. Приближались выборы рейхспрезидента, на днях будет выдвинута его кандидатура, надо принимать важные решения.

Долго хранил он многозначительное молчание, затем вдруг произнес речь, и довольно длинную, говорил о выборах и о парламентаризме, пришел в азарт, распинаясь перед этой кучкой людей, словно на массовом митинге. Но это был не митинг, и риторика Гитлера, несмотря на то, что все присутствующие смотрели ему в рот, скорее отталкивала, чем зажигала. Он это, видимо, почувствовал и так же внезапно, как начал говорить, умолк, снова погрузился в размышления.

Оскар так долго ждал встречи с фюрером, а когда наконец ее добился, Гитлер казался недоступным.

Однако отпугнуть Оскара было трудно. Он сосредоточился — молил, заклинал про себя этого столь почитаемого им человека обратить на него внимание, и — о, чудо, — Гитлер поднял голову и взглянул на Оскара, как бы подзывая его к себе.

Оскар поднялся, подошел. Еще раз быстро повторил про себя все услышанное от Гансйорга и Петермана, а именно, что Гитлер, предвидя неизбежное поражение, очень неохотно согласился выдвинуть свою кандидатуру против кандидатуры старика Гинденбурга и сделал это только потому, что того требовал престиж партии.

Фюрер сразу начал жаловаться.

— Нам приходится нелегко, дорогой Лаутензак, — сказал он, — путь, которым идет партия, — тернистый путь.

Остальные гости умолкли. Почтительно внимали они беседе фюрера с ясновидящим.

Оскар тщательно взвесил свои слова, прежде чем ответить; наконец сдержанно сказал:

— Если человек так глубоко предан идее обороноспособности, как вы, ему трудно пойти на то, чтобы состязаться с престарелым фельдмаршалом, у которого все же есть военные заслуги.

— Вы удивительно ясно выразили мою внутреннюю раздвоенность, дорогой Лаутензак, — ответил фюрер.

Оскар попытался почтительно его ободрить:

— Президент — уже старик, а вам, мой фюрер, всего сорок два года. Не может быть сомнений в том, кто победит в этом состязании.

— Да, — согласился Гитлер, заметно оживившись, — я тоже так считаю, и надежда моя очень обоснованна. Просчет невозможен.

Они посмотрели друг другу в глаза и почувствовали, как внутренне близки друг другу здесь, среди этих светских людей, — сын секретаря муниципального совета и сын податного инспектора. Они добились признания. Эти сильные мира сего не только принимают их — они почтительно окружили их и следят за каждым их словом.

— Вы совершенно правильно поняли меня, дорогой Лаутензак,— продолжал через некоторое время фюрер.— Вы поняли, что если я под давлением обстоятельств вынужден бороться с престарелым фельдмаршалом, то лишь скрепя сердце.

— Эту душевную муку,— принялся утешать фюрера Оскар,— переживали все великие немцы с самого начала нашей истории. Еще в школе мы с сердечным волнением читали прекрасные старинные немецкие стихи о Гильдебранде и Гадубранде. Отец и сын вынуждены сражаться друг против друга. Одна и та же кровь течет в их жилах, один и тот же героический дух живет в их сердцах, но они вынуждены сражаться окровавленными мечами не на жизнь, а на смерть. Неясно, почему так должно быть, их схватка как будто лишена смысла, но этого требует рок.

— Да, да,— задумчиво кивал фюрер, и ему уже слышался полет валькирий.— Этого требует рок. Тут трезвый и бесплодный разум должен умолкнуть. Ему не видны сокровенные причины,— продолжал Гитлер веско, уже начиная увлекаться.— Но у нас они в крови, дорогой Лаутензак.

Оскар, ободренный тем, что его слова нашли отклик, пояснил:

— Да, тот, кто предназначен для власти, вынужден многое претерпеть.

— Вы изобразили мою внутреннюю борьбу в словах, которым придали поэтическую чеканность,— сказал Гитлер.

Разговор с ясновидящим, видимо, расшевелил фюрера. В течение тех двадцати минут, какие он еще мог пробыть у Кадерейтов, он бодро заговаривал то с одним, то с другим гостем, несколько раз смеялся тем особым беззвучным театральным смехом, которому его обучил актер Карл Бишоф. Прощаясь, Гитлер заявил доктору Кадерейту:

— Это был приятный вечер. Благодарю вас, доктор Кадерейт.

Тот ответил:

— Я рад, господин Гитлер, что вам у меня в доме понравилось.

— Зиг хайль! — сказал фюрер.

— Хайль, господин Гитлер! — ответил доктор Ка-дерейт.

Престиж Оскара в глазах общества возрос, — ведь он сумел поднять настроение фюрера. Но фрау Кадерейт упрямо продолжала обращаться с Оскаром как с клоуном.

— Видите, — насмешливо заявила она, — вам удалось развеселить даже фюрера.

Однако Оскар не утратил своего хладнокровия. Спокойно, почти нагло посмотрел он в ее задорное лицо, окинул взглядом с головы до ног всю ее изящную фигуру. Он был уверен и в себе и в ней.

Пауль Крамер работал. Он диктовал Кэтэ своим низким, приятным голосом. Он оттачивал фразы, расхаживая взад и вперед по комнате. То говорил с расстановкой, то увлекался, жестикулировал. Иногда он спешил, и тогда в голосе его появлялись высокие ноты и он слегка шепелявил. С Кэтэ он совершенно не считался. Сбившись, исправлял себя и нетерпеливо качал головой, когда она хотела переспросить.

Пауль работал над статьей о возрождении магии. Господствующие классы, пояснял он, заинтересованы в том, чтобы стимулировать ее развитие. Народные массы уже начали понимать, как просто было бы устранить основное зло, надо только воплотить в жизнь некоторые логические выводы. Насаждение магии и мистики — самый легкий способ удержать массы от нежелательных размышлений. Ведь надеяться и мечтать легче, чем думать, и усилий для этого требуется меньше, и рождается какое-то опьянение, успокоенность. Последовательное применение в нашей жизни выводов разума требует воли и мужества. Но человек по своей лени предпочитает прибегнуть к представлению о божии или чудотворце, который в самую тяжелую минуту непременно поможет. Ведь гораздо труднее собрать все свои силы и постараться трезво обдумать, как самому избавиться от беды.

Поэтому-то в сегодняшней Германии все мутное, туманное имеет такую притягательную силу. Поэтому

Гитлеру и его клике легче завоевать массы, чем Марксу и Фрейду.

Кэтэ писала с неохотой. Она ценила ясный, острый ум брата. Но к чему ведет все его теоретизирование? Никогда он не предложит ничего практического. Все это бесплодные умствования.

— Интересно, какую ты состроила физиономию,— вдруг сказал Пауль.— У тебя что, живот болит от того, что я тебе диктую?

Она и не знала, что ее чувства так явственно отражаются на ее лице. Рассеянно смотрела она куда-то в сторону, не ощущая за собой никакой вины, скорее удивление и неприязнь. Он прервал работу; да и время было позднее.

— Я, пожалуй, не пойду в «Социологическое общество»,— решил Пауль.— А что, Кэтэ, если бы мы с тобой отправились куда-нибудь,— предложил он,— в кино или в ресторан?

— Я условилась встретиться с Оскаром Лаутензаком,— ответила Кэтэ; она слегка покраснела, тон был упрямый.

На худощавом, подвижном лице Пауля отразились досада и растерянность. Ему приходится быть свидетелем того, как она очертя голову бросается в любовную историю с этим паяцем; Пауль пытался удержать ее от этого сумасшествия, излечить от этой причуды. Но все доводы разума оказались бессильными перед ее безумием, а критические и иронические замечания заставили ее еще безрассуднее отдаться своей страсти. Пауль понимал, что, если он сейчас начнет бранить Лаутензака, она будет его защищать со всем присущим ей неукротимым упрямством.

Он испытывал к сестре глубокое и беспомощное страдание. И, тщательно выколачивая трубку, понапрасну искал во всех закоулках своего ума такие слова, которые могли бы предостеречь ее, не рая. Ничего не нашел и промолчал.

Кэтэ догадалась о том, что происходит в душе Пауля. Как бы охотно она открыла ему свое сердце; ибо ее любовь к Оскару — да, любовь — была счастьем, к которому примешивалось так много горечи, и она мучи-

тельно жаждала поведать кому-нибудь о своем смятении. Пауль — ее брат, ее лучший друг, но, когда дело касается смутного соблазна, который несет в себе Оскар, Пауль не находит ничего, кроме неуместных злобных шуток или в лучшем случае резкой критики. Ей нужен не анализ, ей нужны поддержка, утешение.

— Я тогда, пожалуй, все-таки отправлюсь в «Социологическое общество», — наконец бросает Пауль как бы мимоходом; однако в его тоне чувствуется натянутость. Он выходит переодеться.

Оставшись одна, Кэтэ говорит себе, что она несправедлива к Паулю, не ценит его заботы о ней.

Оскар нисколько не старался проникнуть во все эти противоречия ее души. Все, что он говорил о психологии, было просто болтовней. Но он, ничего не обдумывая, с уверенностью лунатика, безошибочно умел попадать в тон ее настроению. Он не хвастал ни своими успехами, ни той роскошью, какой окружил себя. Он не предлагал ей денег, хотя ему, видимо, хотелось. Он дарил ей то, что она могла принять не краснея, — исследования по истории музыки, партитуры. Просил сделать для него то перевод с английского, то другую работу, хотя едва ли все это было нужно ему.

Пока Оскар говорил, пока он был с ней, ей казалось, что от него исходит особая жизненная сила. Вновь и вновь потрясал он ее своей способностью, словно по волшебству, из ничего извлекать нечто. Но когда она потом обдумывала то, что он говорил, все как бы растекалось между пальцами, и она понимала, что это вздор. За громкими словами Оскара была пустота.

Оскар чувствовал, когда Кэтэ принадлежит ему. Нетрудно было бы склонить ее и к тому, чтобы она спала с ним. Но этого ему было недостаточно. Он хотел, чтобы она принадлежала ему не на несколько минут, не на полчаса, но совсем, чтобы она верила в него. И Оскар выжидал. Он остерегался испортить дело торопливостью.

Однажды он решил, что час настал.

— Послушайте, Кэтэ, — начал он. — так дальше продолжаться не может. Я должен с вами поговорить откровенно. Вы бьетесь как рыба об лед, ваше бюро

машинописи влачат жалкое существование. Почему бы вам не работать только для меня?

Она давно предчувствовала, что он обратится к ней с таким предложением. Она и хотела этого и не хотела. Сквозь тонкую кожу ее лица проступил румянец, три резкие складки обозначились над переносицей.

— Мне не нужно подаяния, — ответила она своим чистым голосом.

— Это нелепые мещанские предрассудки, — заявил он с непривычной резкостью. — Этим вы не отговоритесь. Вы слишком хороши, чтобы тратить свои силы на господина Мюллера или господина Шульца и за восемьдесят или сто марок переписывать их деловую корреспонденцию. Работайте для меня.

— У вас есть ваш Петерман, — возразила Кэтэ.

— На что он мне, — со злой усмешкой ответил Оскар. — Мне нужны вы, и вам это отлично известно. Одним своим присутствием вы уже помогаете мне, вдохновляете меня. Пожалуйста, не притворяйтесь, будто это для вас новость. С первого же дня я решил, что вы должны работать только для меня. Мое предложение — не подаяние. Даже не будь у меня денег, я бы все равно просил вас бросить всякую другую работу, отказаться от нее и отдавать свое время только мне. Ну что ж, вам пришлось бы поголодать.

— Я не могу бросить работу Пауля, — решительно сказала Кэтэ.

С трепетом ждала она, что ей ответит Оскар. Будь на месте Оскара Пауль, он бы ограничился трезвым и насмешливым замечанием. Оскар, вероятно, просто запретит ей работать для Пауля. Но она не подчинится его запрещению.

Однако Оскар не сделал ни того, ни другого. Он сказал только:

— Что ж, продолжайте работать для своего сводного брата Пауля, — и улыбнулся медленной, дерзкой, жестокой, надменной, презрительной улыбкой. Этой улыбкой он как бы разрезал на части Пауля Крамера. Он уничтожил его этой улыбкой гораздо более бесповоротно, чем мог бы сделать яростью, издевкой или продуманнейшей критикой.

Потом протянул к ней свои белые, мясистые, холодные, грубые руки. Его кольцо — новое, с большим камнем — врезалось ей в тело и причинило боль. Со страхом, отвращением, страданием и блаженством отдалась она его объятию, в нем он раздавил все возражения ее премудрого брата Пауля.

Зажав меж тонких губ папиросу, сидел Гансйорг в широком кожаном кресле; он казался в нем особенно щуплым. Его светлые брови были подняты, бесцветные глаза быстро скользили по страницам какой-то книжечки. Это был последний номер ежемесячника «Немецкая хроника», а читал он напечатанную в нем статью Пауля Крамера: «Возврат магической эпохи».

С улыбкой принял к сведению Гансйорг то, что господа из «Немецкой хроники» имели сказать по этому поводу. Доктор Пауль Крамер пишет неплохо. Уж он, Гансйорг, разбирается в этом, ведь он до известной степени профессионал, еще с того времени, когда издавался его «Прожектор». В «Прожекторе» писали хуже, чем в «Немецкой хронике», и в «Звезде Германии» тоже хуже пишут. Но тираж «Звезды Германии» на сегодняшний день, после первого же номера, превысил двести тысяч. А велик ли тираж «Немецкой хроники»? Говоря между нами, тысячи три? Не больше?

Нет, господа, в наши дни вопрос не в том — написана статья чуть лучше или чуть хуже. Будьте добры это учесть. Красивые слова, ритм, дух — все это годится в спокойные времена, когда можно отдохнуть в конце недели. Литература, господа, — это все равно что гостиная в квартире. А в нынешней Германии в одной комнате спят по четыре человека и никаких гостиных уже не существует. Литература приказала долго жить, господа, — ее песенка спета — *requiescat in pace*¹.

С большим трудом, после многих тысячелетий, человеку удалось пролить свет на крошечный уголок своего внутреннего мира, своего духа. Не дадим же мраку

¹ Да почнет в мире (лат.).

снова вторгнуться в этот маленький, отвоеванный у него участок. Гансйорг усмехается еще наглее, закуривает новую сигарету. А что вы имеете против мрака, уважаемый господин Крамер? Почему мы должны не дать ему вторгнуться? Есть много людей, у которых глаза не терпят света. Огромное большинство — девятьсот девяносто девять из тысячи — чувствует себя гораздо уютнее в потемках.

Ваш написанный прекрасным стилем и прочувствованный призыв опоздал, господин Крамер. Ваш «свет» неотвратимо обречен на угасание. Когда мы придем к власти — а мы к власти придем, — мы выкорчем вас, господа, вместе с вашими стилистическими изысками и вашим ритмом. Всех до единого выкорчем, одним ударом, с железной энергией. Мы покончим с вами. Мы ни перед чем не остановимся.

Шуплый Гансйорг сидит в широком кресле, курит, усмехается. Этот господин Крамер — без сомнения, еврей — неплохо отгадал знамения времени. И изложил с превосходной ясностью многое из того, что он, Гансйорг, до сих пор только смутно чуял. Но вся беда в том, что господин Крамер и другие господа евреи и скоты-интеллигенты сделали из своих аккуратно сформулированных прозрений неправильные выводы, а он, Гансйорг, и его единомышленники из своих смутных ощущений — правильные. Все это ясно как день. Раз уж мы живем в эпоху мрака, нельзя жить так, словно живешь в эпоху света. Надо приспособливаться, господин доктор Крамер, и мы вас этому еще научим.

Крамер? Пауль Крамер? Эта фамилия не раз попадалась Гансйоргу, но ведь этот Крамер, кроме того... Ну конечно, он же брат той самой Кэтэ Зеверин.

Кэтэ для Гансйорга — как бельмо на глазу. Не только потому, что она временами совершенно вытесняет Петермана, но в ней чувствуется какой-то дьявольский критицизм, может быть, она его переняла у брата. Она смотрит на тебя так, точно ты последнее дерьмо. По крайней мере, на него, Гансйорга, она так смотрит. Но она, разумеется, и в Оскаре находит кучу недостатков; ему нелегко приходится с ней, когда дело касается его «видения». Конечно, спать она с ним спит,

тут уж ее братец со всеми своими теориями ничего не смог поделать. Красива она бесспорно, эта шлюха, признать надо. Правда, на его, Гансйорга, вкус, она немного тоща и длинна, но удовольствие все же доставить может.

К сожалению, все это — чисто абстрактные рассуждения. Не везет ему у женщин, не помогает даже его блестящая карьера. А ему женщины пужны, настоящие женщины, и, как ни странно, его привлекают больше всего те, которые липнут к Оскару. А у них-то он и не имеет успеха. Оскару — тому достаточно взглянуть на бабу, и она уже растаяла. И на долю его, Гансйорга, остаются только всякие Карфункель-Лиссп. Везет ему, этому Оскару, этому паразиту несчастному. Всегда и всюду он был любимцем, даже их строгий папаша питал к нему слабость, уже не говоря о мамаше.

И все же, не вытяни его за уши Гансйорг, торчал бы он сейчас в Мюнхене, зарабатывал бы свои несчастные две с половиной сотни марок. Но Оскар как будто начисто вычеркнул это из своей памяти. Пес неблагодарный, вот он кто!

«Я могу получить на той неделе еще три тысячи?» Он заявляет это таким тоном, словно просит в колбасной отпустить ему паштета из печенки. Чтобы раздобыть эти три тысячи, милейший, нужно каждый раз знаешь как поворачивать мозгами? Расходы партии все растут, пропаганда перед выборами рейхспрезидента стоит бешеных денег. Поэтому приходится экономить на всем остальном, и прежде всего на культурных мероприятиях. А культурные мероприятия — это в первую очередь «Союз по распространению германского мировоззрения», это «Звезда Германии», культурные мероприятия — это Оскар и сам Гансйорг.

Оскар, видите ли, стоит выше подобных забот, он лишь высокомерно пожимает плечами, предоставляя все труды Гансйоргу. Но теперь хватит. Гансйорг так и скажет Оскару, неблагодарному псу. Он ткнет его носом.

Вот почему во время очередной встречи с братом Гансйорг был особенно язвителен. «Звезда Германии»,

заявил он, основали только для того, чтобы пропагандировать Оскара. Поэтому господину пророку придется теперь приналечь на работу.

Оскар надменно ответил, что писать об оккультизме можно только по вдохновению.

— По вдохновению? — насмешливо и злобно переспросил Гансйорг. — Вздор. Ты просто ленивая скотина. Вот и все. Я настаиваю, по крайней мере, на том, чтобы ты крепче держался за ффрау фон Третнов. Твои финансы не в таком состоянии, чтобы ты мог пренебрегать своими благодетелями.

Не повышая голоса, Оскар спросил:

— Ты что? Спятил? Ты намерен указывать мне, как вести себя с женщинами? Я не сутенер. — Он намеренно подчеркнул это «я».

— Осмелюсь тебе напомнить, — небрежно бросил Гансйорг, — что твое кольцо еще не оплачено. Если ты не будешь держаться за Хильдхен, то ювелир Позенер в недалеком будущем отберет у тебя кольцо обратно.

При этом предупреждении Оскар испытал легкий страх. Но тут же овладел собой.

— Мой милый Гансйорг, ты на этот счет слишком труслив... — проговорил он беспечно, успокоительно. И самодовольно добавил: — Граф Цинздорф тоже жалуется на твою трусость в денежных делах.

— Не болтай чепухи, — возмутился Гансйорг, и его зеленовато-бледное лицо дрогнуло. Он не выносил Цинздорфа. Ульрих фон Цинздорф стал между ним и Проэлем, и Манфред, эта подлая тварь, теперь нередко пользуется Цинздорфом для воздействия на Гансйорга. Когда Гансйорг начинает наглеть, Проэль лишь посмеивается и в течение двух-трех дней не допускает к себе никого, кроме Цинздорфа; что тогда остается Гансйоргу, как не, смирившись, ползти к нему? Кроме того, Гансйорг завидовал успеху Цинздорфа у женщин. К молодому графу женщины липли еще больше, чем к Оскару. Всех пленяло его красивое, гордое, жестокое лицо, а то, что от него пахло кровью многих убийств, еще больше распаляло его поклонниц. И этот надменный мальчишка-аристократ еще осмеливается выстав-

лять его, Гансйорга, перед братом каким-то мелочным скрягой! А Оскар, этот баран, и уши развесил. Так противно, что плевать хочется.

— Тебе известно лучше, чем кому-либо, — заявил он, с трудом сдерживаясь, — что я не мелочен. Но Цинздорфу чем больше даешь, тем больше он требует. И все равно он каждого считает мразью. Такого чванного презрения, какое этот господин питает к нашему брату, я еще не встречал. Ты что — дал ему денег? — спросил Гансйорг в упор, сухо, резко.

— Дал, — вызывающе ответил Оскар.

— Ну конечно, — с горечью отозвался Гансйорг, — Цинздорфам ни в чем нельзя отказать! За честь водиться с графьями приходится платить.

— Я только исправил то, что ты испоганил своей скаредностью, — защищался Оскар.

— Ни пфеннига он тебе не вернет, — продолжал Гансйорг, — даю голову на отсечение. Ты взял с него какую-нибудь расписку?

Оскар, гордый своей предусмотрительностью, кивнул.

— Идиот, — сказал Гансйорг, — в тех сферах, где живут Цинздорфы, деньги даются только под честное слово. И обратно их не получают, это известно заранее. Брать долговую расписку с графа Цинздорфа! Теперь он объявит, что ты еврей паршивый и неизвестно зачем небо коптишь, теперь даже я в сравнении с тобой окажусь мотом и аристократом! Что ты будешь делать с этой распиской, святая простота? Судебного исполнителя к Цинздорфу пошлешь? Ведь это курам на смех! Партия — это тебе не какое-нибудь добропорядочное, мещанское коммерческое предприятие! Мы здесь не в Дегенбурге, мы в первобытном лесу. Здесь действуют не документы, а законы джунглей. А распиской совету подтереться.

Оскар был потрясен. В глубине души он боялся, что Малыш прав. Цинздорф опасен, Оскар чувствовал это. Выманить деньги у Оскара, когда они ему самому так нужны, — это может себе позволить только аристократ, для которого законы не писаны. Оскар сидел подавленный, обалдевший.

— Весь день одни неприятности,— сердито пожаловался он.— И зачем я поддался твоим уговорам! Надо было остаться в Мюнхене.

— Для тебя и трудиться не стоит,— сказал Гансйорг.

Кэтэ продолжала жить у брата, как будто ничего не произошло. Изредка она еще делала попытки объяснить ему свои отношения с Оскаром, надеясь, что брат ее поймет, выкажет к ней участие. Она понимала, что ему хотелось бы ей помочь, но его манера выражать свои чувства причиняла ей только боль.

Она рассказывала Паулю об отдельных черточках Оскара, которые казались ей милыми, мирили с его тщеславием. Вспоминала забавные случаи, показывавшие, что в напыщенном комедианте Лаутензаке кроется простодушный мальчуган. Все это едва ли доходило до Пауля. Однажды он даже прервал ее рассказ своей любимой фразой:

— Это не интересно.

С тех пор Кэтэ перестала упоминать имя Оскара. Видно, ей в этом случае придется обойтись без помощи брата. Между тем Пауль страдал за Кэтэ. Но он чувствовал, что слишком неловко подходит к ней, и отказался от попыток отрезвить ее. Его пугала мысль, что Кэтэ, быть может, придется пройти через мучительные испытания и только тогда она исцелится от своего безумия.

И вот оба боялись хотя бы словом обмолвиться о том, о чем думали непрестанно. Они слишком хорошо знали друг друга, знали, что оба вспыльчивы, упрямы и дело может дойти до разрыва, а в результате — и до разлуки. Этого нельзя было допускать, Пауль не хотел терять Кэтэ, а ей, как бы часто и горячо ни сердилась она на брата, совместная жизнь с ним давала какую-то опору. Все в его натуре противоположно Оскару, все вызывало на критику Оскара, ей же нужна была критика. Она не хотела безнадежно утонуть в своем чувстве...

Пауль теперь везде сталкивался с нацистами. Они могли довести до белого каления, они торчали всюду, куда ни плюнь. Нигде не ощущалось серьезного жела-

ния покончить с этим безобразием. Все отступали, шли на компромиссы. От этого прямо тошнило. Все больше издателей и газет опасались раздражать столь сильного противника и заявляли Паулю, что вынуждены будут отказаться от его сотрудничества, если он не прекратит своих нападок на нацистов. А он тем яростнее атаковал этот сброд. Он не знал ни страха, ни осторожности. Посещал собрания, на которых выступал Гитлер, бросал с места реплики, участвовал в драках. Однажды его принесли домой в весьма плачевном состоянии. Когда Кэтэ испуганно стала его расспрашивать, он уклонился от объяснений; лишь от посторонних узнала она, при каких обстоятельствах его так обработали.

Пауль и господин Кипенрат, его издатель, сидели в зале отеля «Эдем». Они расположились в нише; был час вечернего чая. Господин Кипенрат объяснял Паулю, почему он, к сожалению, вынужден отказаться от издания «Рихарда Вагнера».

Потом они поговорили о том, о сем. И вдруг Пауль увидел сестру, она шла с этим Лаутензаком. Пауль сидел в нише, она не могла его сразу заметить. Ему же было очень хорошо видно, как они выбрали столики в той части зала, где танцевали; сели, стали заказывать. Они очень подходили друг к другу, и их, видимо, связывала большая близость. Как ни больно было Паулю, он констатировал с полной объективностью, что этот тип очень эффектен, пожалуй, эффектнее всех сидевших здесь.

Господин Кипенрат, довольный, что наконец отделался от неприятных обязанностей, заявил, что ему пора. Пауль остался. И вот он сидит в этой нише один, с горечью устремив свои удлинённые карие глаза на сестру и на своего врага.

Оскар почуял присутствие чего-то враждебного. Стал искать, обнаружил сидевшего в нише сухопарого человека, разглядел его высокий лоб, выступающие скулы, нос с горбинкой. Он не знал Пауля в лицо.

— Скажи, это не твой сводный братец? — осведомился он у Кэтэ небрежно, будто мимоходом.

Кэтэ покраснела.

— Тебе не кажется, что он слишком нагло усталился на нас? — спросил он через некоторое время.

Кэтэ упрямо ответила:

— Пауль тоже имеет право сидеть здесь, в «Эдеме».

Но положение создалось неловкое для всех троих. А Пауль продолжал сидеть; он смотрел на них в упор, отводил взгляд и опять смотрел в упор. Отметил, что Оскар держится гораздо увереннее, чем он сам. Даже вспотел. Обозлился на свою беспомощность. С таким рохлей, как он, этот детина мигом расправится.

Оскар притворялся равнодушным, весело болтал. Но он не был равнодушен. Посреди какой-то незначительной фразы он вдруг прервал себя и заметил со злым смешком:

— Он мне заплатит за свою наглость. — И так как она испуганно посмотрела на него, добавил еще злее: — Не бойся. Никакого скандала я не устрою. Ничего худого не произойдет. Но я хочу позабавиться.

Так они сидели довольно долго: Оскар и Кэтэ — за столиком у края танцевальной площадки, Пауль — в нише. Никто не хотел уйти первым. Оскар и Кэтэ танцевали, возвращались к своему столику, болтали. А Пауль сидел в нише и читал газеты: одну, другую, третью, потом опять первую.

Казалось, прошла целая вечность. Пауль подозревал кельнера, расплатился. И с этой минуты Оскар не сводил с него глаз. Сначала он смотрел прямо в лицо Паулю, потом, когда тот повернулся, стал смотреть на его профиль, потом усталился ему в спину. Его пристальный, сосредоточенный взгляд провожал врага через весь зал — от ниши до выхода, а путь этот был довольно долог. Походка Пауля становилась все более связанной, в конце концов он уже шагал как марионетка. Оскар все еще не спускал с него глаз и процедил сквозь зубы, с мрачным удовольствием:

— Сейчас он у меня попляшет, твой братец, смотри.

Кэтэ с тревогой следила за Паулем, уже приближавшимся к выходу. В его фигуре чувствовалась какая-то необычная напряженность, он шел, точно слепой. Вот он

уже у вращающейся двери. Но, странное дело, он никак не мог выйти. И начал вертеться вместе с дверью, нелепо, унижительно, смехотворно. Этот танец с дверью продолжался очень недолго — меньше минуты. Но Кэтэ да, вероятно, и Паулю показалось, что прошла целая вечность, пока швейцар наконец не придержал дверь и не освободил Пауля из странного плена.

С этого дня ко всем чувствам, которые Кэтэ испытывала в отношении Оскара, и как бы близки они друг к другу ни были, примешивалась какая-то доля страха перед живущей в нем неведомой силой.

Тот самый господин Иоахим Тишлер, которому Оскар напророчил в недалеком будущем обветшалый могильный памятник и который пожелал после этого уточнить подробности, с трудом нашел доступ к Оскару. Прежде всего в «Союзе по распространению германского мировоззрения» с него содрали головокружительный гонорар за консультацию; потом заставили подписать целый список обязательств: не обманывать маэстро, не разглашать полученных советов, не подавать на Лаутензака в суд за убытки, которые может понести, следуя его указаниям.

Все же консультация наконец состоялась, после нее вторая, третья. Оскар давал господину Тишлеру советы, вполне определенные, следуя инструкциям Гансйорга. Экономические интересы Тишлера были примерно те же, что и доктора Кадерейта. Однако доктор Кадерейт мог ждать, мог держаться политики дальнего прицела, но то, что было дозволено ему, могло оказаться слишком опасным для господина Тишлера. Баланс господина Тишлера пошатнулся, выяснилось, что у доктора Кадерейта есть юридические основания вмешиваться в дела господина Тишлера. И господин Тишлер, теснимый компаниями, входившими в состав концерна доктора Кадерейта, вдруг оказался в безвыходном положении.

Лицо у господина Тишлера становилось все более серым. Тогда он обрушил всю свою ярость на Оскара, заговорил об обмане, отчаянно поносил ясновидящего.

Некоторые газеты занялись этой историей. В ответ на все нападки Тишлера Оскар только надменно пожимал плечами. Гансйорг тоже не относился к ним серьезно. От судебного иска Оскар был застрахован подписью Тишлера; репортерам же Гансйорг объяснил, что господин Тишлер, очевидно, не понял ясновидящего. Гансйорг находил, что в конце концов это дело создаст Оскару рекламу — только и всего. Люди думают так: если уж с человеком советуются тузы промышленности, значит, в нем что-то есть.

В результате господин Тишлер застрелился.

На Оскара повеяло холодом. Ведь когда он пророчил этому человеку близкую смерть, он хотел всего лишь пошутить. Что же это — случайность? Или его предсказания, даже оброненные мимоходом, осуществляются судьбой? Предсказание Оскара исполнилось прямо-таки с топографической точностью. Ибо наследники Тишлера, рассерженные отсутствием денег, не выполнили его дорогостоящего желания — перевезти тело покойного на его родину, — а похоронили его в Берлине, на Лесном кладбище.

Оскар быстро оправился от этого потрясения; вместо тремета перед роком он испытывал теперь даже некоторос удовлетворение, нечто вроде восхищения самим собой. С холодным, деловым интересом разглядывал он фото господина Тишлера в газетах, прочел намеки на исполнение пророчества Лаутензака. Если от него исходит мрак, то, по крайней мере, не серый и скучный, а волшебный, притягивающий.

А Кэтэ, видимо, воспринимала все это иначе. При их следующем свидании она была замкнута, холодна как лед. Он знал ее слишком хорошо и потому не стал объясняться. Вместо этого он начал диктовать ей статью для «Звезды Германии». Пустился в туманные рассуждения относительно современной эпохи, назвал ее эпохой слабости и сентиментализма, уже не дерзающей обратиться к древним целительным силам разрушения. Без умирания нет становления, без убийства нет творчества. Суровая деятельность телепата, который черпает силу в древней стихии праматерей, не может считаться с банальными возражениями слабосильного гу-

манизма. Человек-созидатель ни в какие эпохи не боялся переступать через трупы.

Он прервал себя, заглянул ей в лицо. Оно было почти безобразным, так исказила ее черты злая, кровническая усмешка.

— Мои рассуждения тебе, видимо, не нравятся,— сказал он тоже злобно и вызывающе.

— Я нахожу твою позицию отвратительной,— ответила она.

— Что ж, все яснее ясного,— насмешливо отозвался он.

Она пересилила себя, предоставила ему возможность оправдаться:

— Когда ты давал советы этому Тишлеру, ты думал о том, какие последствия могут вызвать твои слова?

— Не я распоряжаюсь судьбой,— возразил он надменно,— я только возвещаю ее решения.

— И ты несколько не считаешься с людьми, которые к тебе обращаются? — продолжала Кэтэ, пораженная его бессердечием.

— Я их предостерегаю,— ответил Оскар,— ответственность ложится на них. Да и потом, кто он такой, этот господин Тишлер! — добавил он презрительно.

На этот раз «видела» Кэтэ. Она видела воочию, как он этого господина Тишлера — живого и мертвого — навсегда вычеркнул из своего сознания. Он же, ясновидящий слепец, не заметил, что в эту минуту сильнее подорвал ее привязанность к нему, чем это могла бы сделать вся мудрая критика Пауля Крамера.

Как всегда, предсказанье Оскара исполнилось, в этом не приходилось сомневаться. Господин Тишлер только поднял популярность Оскара своими проклятиями и заверениями, что именно Лаутензак — виновник его несчастий. Смерть его оказалась прямой пропагандой в пользу ясновидящего. Мало кого это оттолкнуло так, как оттолкнуло Кэтэ. Напротив, в Берлине 1932 года мужчин и особенно женщин из высших кругов общества привлекал легкий запах крови, который исходил не только от графа Цинздорфа, но теперь и от Оскара.

Среди полученной корреспонденции Оскар нашел приглашение от Кадерейтов. Было отмечено особо: «Ожидается фюрер». А Ильза Кадерейт приписала своим твердым изящным почерком: «Хотелось бы немного развлечься». Она не уточнила, к кому относились ее слова — к фюреру или к ясновиждущему.

Хотя Оскар и ждал колких замечаний Ильзы, все же, отираваясь к Кадерейтам, он был полон приятных надежд. Он не видел Ильзы с того вечера, она ему очень нравилась, и он был уверен — он же знал этих великосветских дам, — что самоубийство Тишлера в ее глазах украшает его не меньше, чем новый фрак, который сшили ему умелые руки великого мастера, портного Вайца.

Но на этот раз не Ильза, а доктор Кадерейт не оставил его в покое своими язвительными шуточками.

— Ваши пророчества, милейший Лаутензак, напоминают способы лечения лошадей, — заявил этот белокурый великан. — Здоровому пациенту лошадиные дозы идут на пользу, а слабого приканчивают.

И все в том же роде. Оскар принимал эти шутки спокойно, сдержанно.

В тот вечер фюрер приехал рано, просидел долго. И не случайно: был самый разгар избирательной кампании, шла ожесточенная борьба. Необходимо было подогреть симпатии тех, кто финансирует движение; на этом настаивал Манфред Проэль.

Впрочем, Гитлер выглядел сегодня неплохо, трудно было поверить, что он так уж измотался и переутомился. Он опять заметил Оскара.

— Как вам кажется, господин Лаутензак, каков будет результат этих выборов? — спросил он. — Хорошее у вас предчувствие?

Оскар погрузил свой взор в глаза фюрера и, в то время как все наостригли уши, отдельно и не повышая голоса, со спокойной уверенностью возвестил:

— Нам предстоит поражение, но это будет чисто германское, почетное поражение.

Никто не проронил ни слова. Фюрер молчал хмуро и многозначительно. Наконец он сказал:

— Благодарю вас за откровенность. Вы, собственно

говоря, тут ни при чем, господин Лаутензак. Это судьба. Она возлагает на меня бремя уничтожения, это же, по существу, проституированные выборы.

— Оказывается, вы — храбрый клоун, — насмешливо прошептала Оскару Ильза Кадерейт.

Гитлер сделал несколько шагов, подумал и снова вернулся к Оскару.

— Будьте и впредь так же правдивы, — сказал он, проникновенно глядя Оскару в глаза, — я не заставлю вас расплачиваться за коварные удары судьбы. Как только мы возьмем власть, я создам высшую школу тех таинственных наук, верным служителем которых вы являетесь.

Оскар горячо поблагодарил его.

Затем Гитлер отбыл.

— Очень сожалею, — сказал он, — что мое пребывание в кругу таких интересных людей было столь кратким. Зиг хайль!

— Хайль, господин Гитлер! — ответил опять доктор Кадерейт.

Когда Оскар прощался, Ильза сообщила ему, что на следующей неделе доктор Кадерейт уезжает в Рурскую область, чтобы навести порядок на одном из заводов покойного господина Тишлера, — этот завод теперь перешел к нему в руки. Со стороны Оскара было бы очень мило, если бы он в отсутствие Кадерейта согласился развлечь ее. Ведь он же зарекомендовал себя в этом отношении.

Оскар осматривал выставку скульптора Анны Тиршенройт, открывшуюся вчера в галерее Томазини: это первая выставка в Берлине, на которой ее творчество представлено столь полно. Все газеты поместили восторженные рецензии.

Медленно переходил Оскар от одного произведения к другому. Многие из них были ему знакомы. Вот «Швея», вот «Мальчишка, продающий газеты», смелый барельеф «Справедливость», «Философ». Была здесь и та скульптура, на которую он всегда смотрел с каким-то отвращением и даже со страхом, — изображение его рук,

его искусных, больших, холеных, грубых рук. «Руки артиста» — называлась эта вещь в каталоге.

Вторично прошел он через залы. Да, теперь он видел все. Но одной вещи он так и не нашел — маски. Ему уже бросилось в глаза, когда он читал газетные отчеты, что «Маска» там не упоминалась. Старуха дважды делала ее: одну она отдала ему, другую оставила себе. Но на этой выставке маски не было.

Что это? Ответ на его письмо, на его искреннюю попытку оправдаться? Или она отреклась от маски, хотя вложила в это произведение столько мастерства, любви, силы, и признает только «Руки», отвратительную вещь, которая производит впечатление чего-то мертвенного и обвиняющего?

Раздраженный, вернулся он домой. На письменном столе его ждала корректура очередного номера «Звезды Германии». Там была маленькая статейка Оскара, напечатанная с большими пробелами, чтобы текст казался длинней. Хотя Гансйорг и призывал его взяться за работу, Оскар из упрямства решил не слишком утруждать себя. А это что? Заметка о выставке Тиршенройт? Он прочел, вспыхнул, прочел вторично. «От творчества Тиршенройт, — говорилось в заметке, — веет тем дешевым состраданием к угнетенным, которое интеллигенция прошлого поколения считала хорошим тоном. «Искусство» этой женщины всего-навсего художочный большевизм, перенесенный в культуру. Она — одно из тех явлений, которые новая Германия должна выбросить в мусорный ящик». Вся эта заметка состояла сплошь из глупых, издевательских нападок.

Оскар охватили стыд и гнев. Если заметка попадется старухе на глаза, она решит, что это он мстит ей за отречение от его маски. Нет, на такую мелочную, подлую месть Оскар Лаутензак не пойдет.

Он позвонил Гансйоргу. Грозно потребовал, чтобы заметку сняли. Гансйорг удивился, что Оскар из-за такого пустяка поднимает шум.

— Я настаиваю на том, чтобы заметку выбросили! — бушевал Оскар.

— Если бы я даже хотел, — ответил Гансйорг, — я не смог бы вечно считаться с твоими приступами сенти-

ментальности. Номер уже отпечатан: набор другой статьи — дорогое удовольствие.

— Я заплачу,— высокомерно бросил Оскар.

— Я бы на твоём месте так не швырялся деньгами,— назидательно заметил Гансйорг.— До первого числа «Германское мировоззрение» платить больше не будет,— пожалуйста, учти это. Через час я тебя опять спрошу, готов ли ты действительно покрыть убытки.— Он повесил трубку.

Оскар сидел, задумавшись, сжав полные губы.

— Соедините меня с ффрау Тиршенройт,— повелительно бросил он Петерману.

— Ффрау Тиршенройт не может подойти к телефону,— доложил через несколько минут секретарь.

— Вы спросили, когда с ней можно поговорить? — осведомился Оскар.

— Ффрау Тиршенройт отказывается говорить с господином Лаутензаком,— произнес Петерман, по обыкновению тихо и словно в чем-то пзвиняясь. И все-таки Оскар уловил в его голосе беспредельное гнусное злорадрство. Но он сдержался и не дал этому лицемеру по морде.

С горьким чувством поехал Оскар в отель Бельвию. Ффрау Тиршенройт была дома. Оскар попросил доложить о себе. Швейцар, переговорив по телефону, с вежливым и бесстрастным лицом сообщил ему, что ффрау Тиршенройт сейчас принять не может.

— Никого? — почти против воли спросил Оскар.

Швейцар заколебался на мгновение.

— Полагаю, что никого,— сказал он затем.

Когда Оскар выходил из гостиницы, он в дверях столкнулся со старухой Терезой, экономкой Тиршенройт, и небрежно кивнул ей. Она не ответила, только посмотрела на него вызывающим и враждебным взглядом, словно хотела сказать: «Твоя песенка спета, у нас тебе больше делать нечего».

Через час после этого позвонил, выполняя свое обещание, Гансйорг. Он осведомился, действительно ли Оскар готов оплатить стоимость нового набора.

— Да, конечно,— отрезал Оскар.

Спустя некоторое время он запросил через Петер-

мана, сколько это может стоить. Оказалось, что сума, которую он должен внести, подорвет его бюджет на ближайшие два месяца.

Рассерженный, позвонил он ювелиру Позенеру и попросил в ближайшие два месяца не брать с него взносов за кольцо.

Как и следовало ожидать, выборы рейхспрезидента закончились поражением нацистов. За этим последовали неизбежные перемены: вооруженные отряды партии были запрещены, партийные кассы опустели. Это не явилось неожиданностью для руководства, но все же надо было приноравливаться, сокращать расходы.

Все организации нацистской партии ощутили эту экономию на собственной шкуре, и прежде всего «Германское мировоззрение».

Гансйорг вынужден был заявить Оскару, что больше не в состоянии выполнять его бесконечные требования и поэтому от роскошного образа жизни на Ландграфенштрассе придется отказаться.

Оскар воображал, что его удачи будут непрерывно расти, как это было до сих пор. И планы его становились все более необузданными. Он мечтал построить себе дом, который был бы идеальным жилищем и студией ведущего оккультиста эпохи. Сидя в своей келье, Оскар уже мысленно построил этот дом: он высится на небольшом холме, снаружи благороден и прост, внутри же полон таинственности и тяжелой, внушительной роскоши, словом — волшебный замок Клингзора.

А сейчас перед ним стоит Гансйорг и сухо сообщает:

— Все кончено. Лопнули твои мечты. Две тысячи марок в месяц я еще могу тебе обеспечить, — заявил Малыш решительно. — Но сверх того — ни пфеннига.

— Две тысячи марок? — повторил мрачно и презрительно Оскар. — Теперь ясно, чего стоят все твои обещания.

— В жизни не видел такой неблагодарной скотины, — сказал Гансйорг. — Две тысячи марок — да ведь это оклад министра. Если бы тебе, когда ты еще сидел в

Дегенбурге или в Мюнхене, кто-нибудь сказал, что ты будешь получать от меня ежемесячно эдакий куш, ты бы назвал такого человека сумасшедшим.

Оскару возразить было нечего. Он прекратил бесплодный спор, заявив:

— В общем, дело дрянь.— Потом умолк, хмурый и подавленный.

Гансйорг только этого и ждал.

— Пожалуй,— начал он осторожно, после небольшой паузы,— я укажу тебе способ поправить твои финансы.

Оскар взглянул на него с надеждой.

— Твой договор с «Германским мировоззрением» предусматривает, что ты находишься в распоряжении только этой организации,— начал Гансйорг.— Но ввиду сложившихся обстоятельств «Германское мировоззрение», несмотря на свои твердые принципы, честность и добропорядочность, может быть, и согласилось бы пересмотреть этот параграф.

— Ты думаешь? — спросил Оскар, радостно оживившись.

— Гарантировать я, конечно, ничего не могу,— ухмыльнулся Гансйорг.

— Конечно, можешь,— воскликнул Оскар.— Ведь «Германское мировоззрение» — это ты.

— Ну, хорошо, допустим,— величественно согласился польщенный Гансйорг.— Если ты желаешь выступать публично, со стороны «Германского мировоззрения» возражений не будет. Правда, после того как «Союз» с таким невероятным усердием тебя пропагандировал, он мог бы претендовать на комиссионные и участие в прибылях. А взамен мы тебе расчистили бы путь. У нас есть связи, мы можем добиться договора со «Scala».

В душе Оскара поднялась целая буря. Когда Алоиз предлагал ему подготовить вместе какой-нибудь номер, то предполагалось, что они будут выступать в провинциальных городах, самое большое — в Мюнхене. А сейчас Оскар видел перед собой зал «Scala», самого большого варьете в стране, видел световые рекламы, гигантские афиши, видел множество людей, которые не сводят

глаз с его уст, с его рук, изображенных когда-то Тиршенройт с такой жестокой и двусмысленной выразительностью. Да, его, как и Фюрера, вдохновит отклик толпы, этот отклик вольет в него силу.

Правда, его программа должна стать еще сенсационнее, его трюки — грубее, а маска окажется еще дальше от него и выше, ему будет еще труднее до нее дорасти.

Но он был бы глупцом, если бы эти соображения его остановили. Он будет выступать. Конечно, будет. Он ведь только того и ждал, чтобы Гансйорг это предложил. Таким образом, возникшие материальные трудности оказались для него еще и благом.

— Хорошо, — согласился он с видом мученика. — Если ты не видишь другого выхода, я согласен выступать.

Когда Алоиз узнал об этом проекте, он тоже воодушевился. Перспектива покончить с «комнатной» работой и показать свое искусство на настоящей сцене, перед настоящей публикой подействовала на него, как благодатный дождь на засыхающий куст.

Вскоре, однако, выяснилось, что «Германское мировоззрение» не намерено выпускать это дело из своих рук. Гансйорг стал во все вмешиваться, требовать то одного, то другого. И настроение Алоиза омрачилось. Он из всех сил сопротивлялся этому вмешательству.

— Я больше не желаю опускаться до политического агента, — выкрикивал он своим ржавым, хриплым голосом. — Я артист и не хочу быть подручным ни у нацистов, ни у Оскара. Я полноправный сотрудник. Второй раз вам меня не одурачить. Мой договор со «Scala» будет составлять Манц, и никто другой. А вы — известные ловкачи, знаю я вас.

— Напрасно вы так разоряетесь, господин Прайнер, — заметил Гансйорг; сочетание берлинского жаргона с баварским выговором привело Алоиза уже в полное бешенство.

— «Германское мировоззрение» дает вам возможность выступить в «Scala», и это чистая любезность с его стороны! — продолжал Гансйорг.

— Знаем мы эту чистую любезность! — вскипел Алоиз. — Вы получаете двадцать пять процентов и на

своем новогерманском языке называете это «чистой любовью»? Даже против этого я не возражаю: берите себе двадцать пять процентов. Я привык к тому, чтобы меня эксплуатировали. Но чего Алоиз Пранер, по прозвищу Калиостро, не позволит коснуться — это его артистической чести. Тут я ничего знать не хочу. Тут я призыву на помощь Манца. И пусть Манц смотрит в оба, чтобы вы не посадили пятна на мою репутацию артиста. Манц сумеет с вами поговорить. В двадцать два сантиметра должны быть буквы моей фамилии на афишах! И больше я знать ничего не хочу!

Однако антрепренер Иозеф Манц был вовсе не в восторге от того, что ему приходится защищать интересы фокусника Калиостро. Обойти «Германское мировоззрение» было нельзя — «Союз» ставил в договоре с Калиостро свои условия, а когда дело касалось нацистов, у него, Манца, была несчастливая рука. Его все больше угнетала мысль о том, что он в свое время не устроил ангажемента актеру Гитлеру. А этот Адольф Гитлер не из тех, кто забывает. Если он в конце концов все же станет рейхсканцлером или рейхспрезидентом, то уж он Манцу припомнит, что это из-за Манца ему, Гитлеру, пришлось отказаться от карьеры актера и податься в политику.

Поэтому переговоры между Манцем и Гансйоргом шли очень туго. В денежных делах Гансйорг не был мелочен, но ему хотелось — как Манц и предвидел — оттеснить Алоиза на задний план. Маленький колючий Гансйорг и жирный флегматичный Манц оказались достойными противниками. Гансйорг был напорист, Манц — упрям. Как бы безобидно Гансйорг ни формулировал параграфы договора, юркие глазки Манца сейчас же высматривали все, что могло ущемить интересы его Калиостро.

— Нет уж, милейший, — говорил он, похихатывая визгливым жирным смехом, — лучше мы этого писать не будем.

Гансйорг не отличался добродушием, и флегматичная, стойкая хитрость Манца доводила его до бешенства — он нередко испытывал соблазн отправить этого жирного наглеца на тот свет. Но ведь речь шла о

Жалиостро, поэтому Гансйорг сдерживался, говоря себе, что еще настанет день, когда он с этого сукина сына выщипет сполна, и продолжал переговоры.

Наконец нашли компромиссное решение.

— Видите, милейший, — сказал Манц с баварской медлительной вежливостью, — вот мы с вами все же и договорились.

Гансйорг прикинулся миролюбивым и, улыбнувшись, оскалил все свои острые мелкие зубы — зубы хищника. Но Манц знал, с кем имеет дело, знал, что, несмотря на дружелюбный, любезный тон этого сопляка, в будущем — лучше не попадаться на глаза Гансу Лаутензаку.

Оскар и Алоиз много работали над подготовкой сногсшибательного номера, в котором они хотели показать себя во всем блеске; снова и снова проверяли они каждую мелочь — взвешивали, меняли, отбрасывали; то они хвалили друг друга, то один обзывал другого презренным ослом; они то становились друзьями — водой не разольешь, то обменивались уничтожающими характеристиками; увлекались новыми замыслами, ссорились, порывали навсегда, мирились.

Наконец порешили на следующем: номер пойдет под названием «Правда и вымысел». Сначала Алоиз покажет свои самые блестящие фокусы, причем публике так и заявят, что это фокусы. Тем самым подлинность экспериментов, с которыми потом выступит Оскар, будет еще более подчеркнута. Оскар решил вначале продемонстрировать несколько телепатических и гипнотических экспериментов, не подготовленных заранее, без трюков. Увенчать все это он намеревался «сенсационным» номером вызывания умерших и одним-двумя простейшими.

После того как было предложено и отвергнуто немало покойников, они решили вызвать героя морских сражений Бритлинга из его океанской могилы. Алоиз предложил показать зрителям если не призрак Бритлинга, то хоть некоторые его атрибуты: Алоиз был мастер на такие штуки. Однако Оскар решительно отклонил это предложение. Он рассчитывал на силу внуше-

ния. Надо как следует внутренне подготовиться, и тогда Бритлинг так убедительно будет вещать через него, что каждый увидит покойного воочию.

Алоиз принес кучу фотографий героя, а также грам-пластинки с записью его голоса. Запершись в комнате со звуконепроницаемыми дверями и стенами, Оскар и Алоиз репетировали. Голос покойного должен был звучать так, чтобы слышавшие его при жизни испугались сходства; вместе с тем этому голосу следовало придать что-то загробное. Оскар научился настолько хорошо это делать, что ему приходилось себя сдерживать, иначе он мог заговорить голосом погибшего героя при самых неподходящих обстоятельствах.

Все это так, но что же возвестит покойник? Нельзя же вытаскивать его со дна океана, чтобы потом заставить утробным голосом изрекать пошлости? Оскар тщетно ломал себе голову. Запирался в своей келье, подолгу смотрел на благородное, гордое лицо короля Людвиг, на маску, на фотографии мертвого героя, и все-таки ни одна мысль не осеняла его, в груди все было немо и пусто.

С горя он обратился за советом к Гансйоргу. Тот почесал затылок. Собрать данные о жизни отдельных людей, будущее которых до сих пор «видел» Оскар, не составляло особого труда. Теперь же Гансйоргу надо было раздобыть материал о каком-то большом, касавшемся всех политическом событии. Он уже хотел сказать «возись с этим дерьмом сам», но увидел доверие в глазах Оскара, и ему польстило, что брат в трудную минуту опять оказался вынужденным обратиться к нему.

— Ну что ж, я добуду тебе событие, которое ты сможешь предсказать.

Знаменательный вечер приближался. Были выверены мельчайшие технические детали, но Оскара все больше угнетало то, что он до сих пор не знал, какую же сенсационную новость должен возвестить умерший.

И вот за два дня до премьеры к Оскару прибежал взволнованный Гансйорг.

— Есть! — заявил он, сияя. Оскар вздохнул с глубоким облегчением.

Однако, приняв равнодушный вид, сказал:

— Да?

Но Гансйоргу было не до того, чтобы дать Оскару по роже за его наглое притворное равнодушие, — он был всецело захвачен полученными новостями и сообщил брату, что в результате сложной комбинации интриг Гинденбург наконец согласился сместить военного министра, злейшего врага нацистской партии. А вновь назначенный министр отменит приказ о запрещении штурмовых отрядов, и у партии опять будут свои вооруженные силы. Пройдет еще некоторое время, пока это осуществится, но вопрос решен бесповоротно. В курсе дела лишь очень узкий круг людей.

Оскар задумался. Потом снисходительно и будто мимоходом заметил:

— Спасибо, что ты потрудился сообщить мне эту новость. Она лишь подтверждает то, что мне возвестил мой внутренний голос.

Гансйорг на миг даже оцепенел от этого беспримерного нахальства, однако снова взял себя в руки. Он похлопал брата по плечу.

— Ты у меня просто золото, — сказал он. — Да, мы, братья Лаутензак, чего-нибудь да стоим.

Выйдя на сцену, залитую светом прожекторов, Оскар не испытывал волнения. Напротив, доходившее до него дыханье толпы, там, внизу, вливалось в него силы, рождало ощущение радостной открытости, счастья.

Своей бодрой уверенностью он сразу же подчинил себе публику. Она ожидала увидеть мечтателя с патетическим и мрачным лицом, а перед нею стоял элегантный господин, и лицо у него было хоть и значительное, но все же хитрое. Он, видимо, был готов в любую минуту дать почувствовать каждому свое превосходство, мог сыграть с кем угодно злую шутку.

Оскар не только отгадывал мысли своих жертв, он расцветивал угаданное ироническими и язвительными замечаниями. Когда он по вещам, взятым у кого-либо из публики, узнавал секреты, которые мог знать только их владелец, то особенно охотно останавливался на мелких и интимных, несколько смешных подробностях.

Откровеннее всего потешался он над публикой во время гипнотического сеанса. Особенно злую шутку он сыграл с муниципальным советником Райтбергером, лицом весьма популярным. Муниципальный советник едва ли слышал раньше об Оскаре Лаутензаке, он пошел в театр по настоянию супруги, желая доставить ей удовольствие по случаю ее дня рождения. Когда Оскар предложил желающим подвергнуться гипнозу, в числе других вызвался, опять-таки по настоянию жены, и муниципальный советник Райтбергер. Он слыл веселым чудаком и готов был принять участие в любой забаве. Но Оскар увидал на лице советника самодовольное выражение мещанского благополучия, прочел уверенность в том, что он, муниципальный советник Райтбергер, найдет выход из любого положения и всегда будет прав, это все знают. Алонз с помощью шифра сигнализировал Оскару, кто этот человек. Поэтому Оскар решил: пусть высокомерный и пузатый бонза немножко попотеет. Толстый советник спокойно развалился в кресле и очень быстро дал себя усыпить. Оскар внушил советнику, что ему жарко, ужасно жарко. Райтбергер покраснелся, фыркнул, утирал пот. Оскар внушил ему, что они едут купаться на Ванзее. И вот они уже на берегу озера. Муниципальный советник Райтбергер разделся и остался в одних кальсонах, а публика визжала, орала, бесновалась от восторга. И вот Райтбергер собрался войти в воду, то есть спуститься в оркестр. В последнюю минуту Оскар удержал его. Советник смущенно оделся и вернулся к своей супруге, выразившей неудовольствие, что он повел ее в театр; вскоре оба удалились.

Ни на минуту Оскару не приходило в голову, что все это слишком дешевые шутки. Наоборот, его окрыляло ощущение своей власти над людьми, возможность наслаждаться их слабостями, их легковерием, их покорностью. Он отдавался этому наслаждению, играл им, как бы испытывая публику. Она подчинялась, он владел ею.

Зрители так же самозабвенно следили за ним и тогда, когда он перешел к более серьезным экспериментам. Только что они хохотали и взвизгивали, только что дер-

жались за животики, и вот они уже сидят с серьезными лицами и жадно слушают каждое его слово — именно так, как он этого хотел. В последнее время, начал он свой рассказ, его несколько раз посещал капитан Бритлинг, да, покойный Бритлинг, герой морских сражений. Правда, до сих пор это происходило, лишь когда Оскар был один или в тесном кругу друзей. Поэтому он не знает, захочет ли покойник говорить через него перед таким многолюдным сборищем. С другой стороны, Оскар чувствует, что в зале есть люди, исполненные доброй воли и честно жаждущие познания; может быть, умерший хочет что-либо сообщить этим людям. Оскар попытается вызвать его. Он просит, чтобы никто из зрителей не оказывал ему сопротивления, — пусть ждут, отбросив на время свой скептицизм.

— Пожалуйста, не сопротивляйтесь мне, — сказал он, — пожалуйста, ослабьте всякое напряжение.

Теперь это уже не был прежний веселый шутник. На сцену вынесли небольшой черный столик, а на него поставили кристалл в виде пирамиды и положили деревянные четки. И вот Оскар сидит в мертвенном луче прожектора, освещавшем только его лицо, сцена тонет во мраке. Но разве это его лицо? Синие глаза под густыми бровями горят ярче, лоб, на котором так низко растут пышные волосы, кажется выше, нос — более дерзким. И вот это лицо, излучающее мрачное сияние, цепенеет, кожа натягивается, зрачки сузились, веки поднялись. С неистовой сосредоточенностью смотрит Оскар на вершину кристалла. Даже самые рьяные скептики едва ли могли бы найти в этой окаменевшей маске, в этом человеке с лицом Цезаря хоть что-нибудь смешное. Именно потому, что Оскар Лаутензак всего несколько минут назад с такой обезоруживающей откровенностью показал, как неожиданно просто можно вызвать иллюзию «сверхъестественного», именно потому, что он перед тем был так весел и пускался на грубоватые шутки, люди были особенно склонны поверить сейчас в его серьезность и в то чудо, которое он им обещал.

Сам Оскар совершенно забыл о том, что он играет заученную роль. И хотя он заранее тщательно продумывал

мал и спланировал каждую деталь своего выступления, теперь он был вполне искренне готов к тому, что покойник явится, войдет в него и будет говорить его устами. Он слился воедино с охваченной судорожным ожиданием испуганной публикой. Сумрак, воцарившийся в большом зале, казался ему сумраком потустороннего мира, в душе звучала бурная музыка привидений из «Летучего голландца», и она перенесла его в царство теней. Он был взбудоражен, взбудоражены были и зрители; его волнение передалось и им, слило воедино чудодея и верующих в него. И когда глаза человека на сцене, только что светившиеся такой напряженной жизнью, погасли, когда лицо его обвисло и застыло, как у тех, кого он перед тем усыплял, все зрители почувствовали, что сейчас этот человек находится уже не в нашем мире, а в потустороннем, он «видит». Сейчас, сейчас появится призрак.

У какой-то женщины вырвался шумный вздох мучительного нетерпения, и зал ответил ей вздохом.

— Явился,— вдруг произнес голос на сцене.

Только что, обращаясь к залу, Оскар говорил красивым, звучным тенором, гибким и вкрадчивым,— сейчас раздался какой-то хриплый голос, как у военных, привыкших отдавать команду. И когда прозвучал этот голос, перед теми, кто видел хоть раз фотографию покойного капитана Бритлинга, героя флота, одного из прославленных национальных героев, снова ясно и отчетливо встало его лицо.

В темном зрительном зале воцарилась гнетущая тишина. На предложение, не желает ли кто-нибудь задать Бритлингу вопрос, откликнулся один из зрителей и произнес заранее подготовленную фразу:

— Что ожидает в ближайшем будущем новую Германию?

— Ну, что ж,— раздался со сцены чуждый, хриплый, властный голос.— Есть такой ангел мира, который очень хочет отнять у нас наше оружие. Но торжество произойдет в тридцать втором. С этим господином не будут долго возиться. Его сместят...

Голос продолжал вещать. Несмотря на грубоватые обороты и несколько туманные выражения, все же

было ясно, о чем идет речь: враждебный нацистам министр, добившийся от Гинденбурга запрещения штурмовых отрядов, скоро будет смещен, и партия снова получит свою армию; в темном зале не нашлось человека, который не понял бы смысла этого пророчества.

Зрители молчали, тяжело дыша. И вдруг среди этого молчания, так неожиданно, что всем стало жутко, Лаутензак проревел своим обычным голосом:

— Не смейтесь! Я запрещаю вам смеяться! Смеяться будете, если его слова не исполнятся!

Но никто не смеялся.

И снова воцарилось молчание. Вдруг в темноте раздался тонкий голосок, неуверенный и все же насмешливый и вызывающий:

— А когда именно это произойдет? Когда сбудутся ваши слова? Когда сместят министра?

Этого Оскар не знал. Через некоторое время — вот все, что ему сообщил Гансйорг. Поэтому он с минуту молчит. А тонкий голосок продолжает свои вопросы:

— Через год? Через пять лет? Или через десять?

Оскар должен ответить этому нахалу, ответить немедленно и точно, иначе зал начнет сомневаться. Он закрыл глаза, погрузился в транс и своим обычным голосом обратился к потустороннему миру:

— Когда военный министр будет снят? — Он прислушался к себе, затем, после долгого молчания, медленно, с усилием извлекая из себя слова, возвестил:

— Он сказал, что это произойдет в ближайшие двадцать восемь дней.

Теперь, когда он указал определенный срок, даже самый злостный скептик уже не мог утверждать, что предсказание пророка слишком неопределенно и туманно.

Зрители были ошеломлены. Может быть, в человеческом голосе призрака и было что-то странное, даже гротескное. Однако, в сущности, эта обыденность речи, вероятно, и убедила их.

Занавес опустился, в зале снова вспыхнул свет. Еще с минуту все сидели, погруженные в молчание. Затем публика очнулась, захлопала, вначале скупое, ибо многие еще не пришли в себя, потом все громче, сильнее,

и, наконец, разразились те бурные, оглушительные аплодисменты, которые Оскар так часто слышал в своих мечтах. Он покори́л эту двухтысячную толпу. Они хотели верить. Они верили.

Оскар не смог бы объяснить, почему он сказал именно «в ближайшие двадцать восемь дней». Можно было бы с таким же успехом сказать и «в ближайшие двадцать дней» или «в ближайшие шестьдесят». Поистине, ему подсказал это его внутренний голос.

Гансйорг был очень встревожен.

— Я сообщил тебе сведения, верные на все сто,— сказал он.— А теперь, после уточнения срока, все стало делом случая.

Газеты напечатали пророчество Оскара как курьез. Прошло две недели, три, а предсказание все не сбывалось, и тогда газеты,— одни неуклюже, другие тонко,— начали над ним потешаться. Однако Оскар не разрешал ни малейшего сомнения ни себе, ни другим. Он держался все с той же уверенностью, с тем же веселым превосходством.

На двадцать третий день неожиданно распространилась поразительная новость: военный министр подал в отставку. Это было результатом какой-то нелепой интриги, неправдоподобно простой и вместе с тем очень хитрой.

Две тысячи человек собственными ушами слышали предсказание Оскара Лаутензака, которое теперь так блестяще исполнилось. И эти люди распространили его славу. Число его приверженцев возросло с двух тысяч до двадцати, с двадцати тысяч — до двухсот. А Гансйорг, ловко используя пропагандистский аппарат нацистской партии, еще больше раздул сенсацию. И двести тысяч приверженцев превратились в два миллиона.

Тираж «Звезды Германии» возрос до четырехсот тысяч. «Союзу по распространению германского мировоззрения» приходилось отказывать бесчисленному множеству людей, желающих получить у Оскара консультацию. Каждый вечер Оскара встречали бурей аплодисментов. Все немецкие варьете жаждали заполнить номер «Правда и вымысел».

Теперь уже и речи не могло быть о том, чтобы отказаться от роскошной жизни на Ландграфенштрассе.

— Ну что, не бедствуем? — весело говорил Ганс-йорг и даже поощрял брата к мотовству, советовал «жить в свое удовольствие», как он выражался.

А Оскар твердил про себя: «Кто не богат, тот нищ», — и жил в свое удовольствие, предавался наслаждениям.

Одно за другим исполнялись его желания. Он стал теперь постоянным покупателем у ювелира Позенера. Он любил яркие краски, любил драгоценные камни. На письменном столе в его келье теперь стояла чаша из дерева ценной породы, она была наполнена самоцветами, и ему нравилось погружать свои большие белые руки в эту пеструю, сверкающую грудку. В мюнхенской галерее Бернгеймера он приобрел гобелен «Лаборатория алхимика». Вместо вульгарной копии с картины Пилоти «Астролог Зени у тела Валленштейна» стену его роскошной библиотеки украсил старофламандский гобелен, поражающий сумрачным великолепием красок.

Оскар заказал себе также шикарную яхту. Он назвал ее совсем просто — «Чайка», но предназначалась она для пышных пиров, и он решил отделать ее с таким небывалым великолепием, чтобы среди берлинских яхт ей не было равной.

Он не мог остановиться, ему все было мало. Неподалеку от Потсдама ему понравилось поместье — старинный маленький замок, носивший имя «Зофиенбург». Он стоял на зеленом холме, и его скромный и благородный вид полностью соответствовал представлению о доме-студии, созданному Оскаром в мечтах. Внутри дом был старомоден, к тому же он совсем обветшал, нуждался в капитальном ремонте; но это и было как раз то, чего он искал. Оскар купил замок Зофиенбург и перевел на свое имя закладную на большую сумму.

Перестроить замок так, как мечталось, Оскару, разумеется, пока еще было не под силу. Пройдет немало времени, прежде чем он сможет придать Зофиенбургу ту таинственность и наполнить его тем гнетущим великолепием, которое приличествует лишь волшебному замку Клингзора. Пока он вынужден ограничиться

одними проектами. Зофиенбург стал для него стимулом, стал еще одной пустой стеной в его комнате. Он был уверен, что со временем закроет и эту пустую стену. Ведь он уже вырвал у судьбы и кольцо, и «Лабораторию алхимика», и веру миллионов в Оскара Лаутензака — вырвет и волшебный замок Клингзора.

Блаженно и уверенно плыл он на волнах успеха. Наслаждался шквалом аплодисментов, который ежедневно обрушивался на него, лакомился газетными восторгами, сорил деньгами, радовался восхищению и нежности женщин. Удача пошла ему впрок: у него был цветущий, почти юный вид. И крепкий сон. Он часто думал, что сама судьба подтверждает значительность его личности, ибо внешний успех есть, разумеется, лишь выражение успеха внутреннего. А внутренний успех его заключается в том, что он сумел приобщить к вере в духовное начало сотни тысяч людей. Его бесчисленные новые приверженцы, которые были бы обречены без него всю жизнь постигать лишь грубо-материальное, теперь через него, Оскара Лаутензака, познали, что между небом и землей есть множество явлений, лежащих за пределами школьной премудрости.

Ощущение своей значительности укреплял в Оскаре и Алоиз Пранер — он по-прежнему верил в его дар, хотя сам же разработал технику ясновидения. Антрепренер Манц все еще относился к Оскару скептически, но Алоиз всегда верил в друга. Именно эта вера и помогла Оскару достигнуть большого успеха у публики. Но и для Алоиза это тоже был большой личный успех. Техническое оформление номера поражало своим совершенством, зрители наслаждались работой Алоиза и осыпали его похвалами, его фамилия печаталась на афишах буквами высотой в двадцать два сантиметра. Однако антрепренер Манц все же не мог победить своего недоверия. «Долго делать дела с этим неудавшимся актером Гитлером и его бандой вам не удастся, и вы еще узнаете, почем фунт лиха», — говорил он. Но это были только придирки. Алоиз блаженствовал и каждую свою ссору с Оскаром, а ссорились они по-прежнему, заключал ворчливыми, но искренними словами, выражавшими веру в Оскара и восхищение им.

Однако душевное состояние Оскара не вполне соответствовало достигнутому внешним успехам. Его не удовлетворяло поклонение публики, вера в него Алоиза и Гансйорга. Он должен, обязательно должен доказать, что Тиршенройтша и Гравличек были неправы. Он искал все новых и новых доказательств, и каждое, даже самое ничтожное подтверждение радовало его. И чем оно было наивнее, тем больше он радовался.

В ту пору, к приятному удивлению маленькой Альмы, портнихи, ее знаменитый друг стал все чаще бывать у нее. Она восторженно смотрела на него снизу вверх еще тогда, когда он прозябал, непризнанный и неизвестный, помогала ему, сколько позволяли силы, никогда ничего от него не требовала, а малейшее внимание, которое он оказывал ей, принимала с удивлением и благодарностью. Оскару было приятно это искреннее восхищение. Он мог в любое время и без труда читать в ее маленькой, глупой, милой и нежной душе, как в открытой книге, и то, что он узнавал, было отраднo.

Но и веры маленькой Альмы оказалось недостаточно — это было слишком слабое лекарство для его внутренних недугов, он нуждался в более сильных средствах. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» В нем все еще ноет порой этот евангельский стих, слышится голос бабушки, произносящей суровые, неуклюжие книжные слова. Конечно, этот стих к нему не относится, душа его в лучшем состоянии, чем когда бы то ни было, но ведь, по существу, он со всем своим искусством, успехом, одаренностью никого не поймал в свою сеть.

Кэтэ, честно говоря, тоже все еще не попала в эту сеть. Со времени размолвки, вызванной самоубийством Тишлера, он еще ни разу серьезно не объяснился с ней. Она мила с ним, не уклоняется от встреч, мирится с его настроениями, бывает порой предупредительна, не мучает ни упреками, ни ревностью, она его любит, это красивая, нежная, прелестная возлюбленная. Но Оскару хотелось бы большего. Ему хотелось бы делить с ней жизнь, сделать ее своей женой. Однако, при всей своей смелости, он не решается заговорить об этом. Он ждет, чтобы она сделала первый шаг, намекнула ему.

А именно этого она и не делает. Очевидно, ее удовлетворяют их теперешние отношения. Она его любит, но не принадлежит ему. За всей ее ласковостью и дружелюбием он чувствует неверие, настороженность. Его дар и все его существо вызывают в ней сомнение.

В один прекрасный день ему стало невтерпёж.

— Ты веришь,— спросил он вызывающе,— что я еще свое возьму и dorасту до маски? Веришь, что это не пустая претензия?

«Верь мне»,— молил он ее про себя, страстно выпрашивал, приказывал. «Верь мне»,— и он смотрел ей в глаза упорно, сосредоточенно, напрягая всю свою волю, чтобы взять верх над ней.

Кэтэ боялась этого вопроса, не знала, что ответить. Она и верила и не верила. Как ни странно, она в последнее время много думала о своей матери. Раньше она не могла разобраться во внутренней драме, которую переживала мать. Кэтэ была тогда слишком мала, совсем еще ребенок, но в ее памяти запечатлелись некоторые жесты матери, отдельные слова, выражение ее лица в иные минуты. И то, что тогда было ей непонятно, теперь вдруг обрело смысл. Они с Паулем никак не могли постигнуть, почему мать дала поработить себя, всецело подчинившись отцу, человеку деспотичному, порой глухому к голосу разума. Неужели мать не разглядела, как он черств? Разве она не предвидела, что не сможет вынести совместную жизнь с ним? Разумеется, предвидела. Разумеется, сразу разгадала его. Но было в нем и нечто притягивающее. Может быть, одна лишь искорка, но зато особенная, покоряющая, какой ни у кого другого не было. Эта искорка и держала ее в плену. Мать мирилась со всем остальным, все зная, все понимая. Только теперь Кэтэ разобралась в этом.

— Ты веришь, что это не пустая претензия? — еще раз спросил Оскар.

Он ждал. Он слышал биение собственного сердца. Ждал напряженно полминуты. Наконец ее губы раскрылись и чуть заметная печальная улыбка озарила ее лицо.

— Не знаю,— неуверенно проговорила она своим чистым голосом, и тон, которым она произнесла эти два

слова, усталый, уклончивый и все же бережный, осудил его бесповоротно, как не могла бы осудить длинная обвинительная речь.

Нет, нет, так быстро он не сдастся. Он повел на нее новую отчаянную атаку.

— Ты же сама убедилась,— настойчиво продолжал он,— что я вижу твою душу. Ты же убедилась, что я правильно предсказал отставку министра. А ведь никто не мог знать этого заранее. Тебе ведь известно, что я одарен особой силой.

— Не в том дело,— отмахнулась она.— Суть не в этом. Это не интересно,— заключила она решительно, не сознавая, что ее последние слова — излюбленное выражение Пауля Крамера.

Ее приговор не подлежал пересмотру. Оскар замолчал. Она же сказала, пытаясь придать своим словам шутливость:

— Не гляди так, на тебя смотреть страшно. Довольствуйся тем, что я люблю тебя таким, какой ты есть.— И почти без горечи добавила: — Я тоже вынуждена этим довольствоваться.

Оскар нашел на своем письменном столе номер одного солидного, но мало читаемого журнала со статьей, отчеркнутой Петерманом. Статья была озаглавлена «Шарлатаны», и автором ее был Пауль Крамер. Оскар прочел. Это был обстоятельный очерк. Доктор Крамер постарался. В начале он указал на симптоматическое значение того успеха, который, все нарастая, сопутствует деятельности шарлатана Оскара Лаутензака. Указал на политические и экономические причины этого успеха. Сравнил оратора и чудодея Лаутензака с оратором и чудотворцем Гитлером. Попытался доказать, что именно немецкий национальный характер благоприятствует популярности таких кудесников. Привел примеры из прошлого Германии, назвал доктора Эйзенбарта, Агриппу Неттесгеймского — прототип доктора Фауста. Оскар, обозленный, но и польщенный, улыбался. Настоящая диссертация. Этот субъект относится к нему серьезно, ничего не скажешь, да и люди, рядом с которыми он его поставил, не из худших.

Далее автор статьи перешел к некоторым подробностям, касающимся жизни Оскара, так сказать, к психологическим деталям. Доктор Крамер был хорошо знаком с биографией Оскара, хорошо разбирался в технике ясновидения, отлично изучил Гравличека и умело связывал искусство Оскара с его жизнью и средой.

Теперь Оскару стало понятно, почему коварный Петерман отчеркнул статью. Он хмурился все больше. Сохраняя деловитый, сухо агрессивный тон, что казалось Оскару особенно подлым, господин Крамер копался в прошлом Оскара. Где он добыл весь этот материал? Он обратился даже к школьным годам Оскара, к дегенбургской полосе его жизни. И рассказал один анекдотический случай, сопроводив его злобными комментариями.

В школьном сочинении четырнадцатилетний Оскар привел в подтверждение одной своей спорной мысли слова Гете; однако на самом деле изречение принадлежало не Гете, а самому Оскару. Учитель несколько недоверчиво спросил, из какого произведения Гете взята цитата. Но Оскар, ничуть не смутившись, без малейшей запинки солгал: «Из «Вильгельма Мейстера». Он рассудил так, что в этой толстой книге наверняка есть мысли, которые отлично могли бы прийти в голову и самому Оскару, и не станет же учитель просматривать весь длинный роман в поисках этой цитаты.

Оскар ничего не имел против того, чтобы Пауль Крамер рассказал историю с цитатой, — он и сам не раз ее рассказывал. Но только до этого места. Однако Пауль Крамер далее сообщал, что Оскар, солгав учителю, устремил на него пристальный взгляд и про себя страстно пожелал: «Поверь мне, поверь мне, поверь». То обстоятельство, что эта подробность, изложенная в спокойной, четкой, тонко издевательской манере Пауля Крамера, попала теперь в печать, вызвало у Оскара приступ ярости.

Ведь как он ни привык приукрашивать свой внутренний мир, расхваливать его и выставлять напоказ, именно эту маленькую подробность он ревниво скрывал от всех. Он тогда впервые осознал свою власть над людьми, это была его первая победа, его великая тайна. Свою боязнь выдать эту тайну он не мог объяс-

нить какими-нибудь вескими причинами, но боязнь эта у него была. Поэтому он всегда рассказывал только начало эпизода — о том, как дерзко и забавно он соврал, но заключительной частью, сокровенным смыслом того, что произошло, тем новым, что впервые открылось Оскару, он не хотел делиться ни с кем и ни с кем не делился.

Только с одним человеком. В час душевной близости он рассказал об этом Кэтэ.

И теперь Кэтэ осквернила его тайну, его драгоценнейшее достояние, выдала ее одному из врагов, худшему врагу.

После того разговора, когда Кэтэ сказала «не знаю», Оскар чувствовал себя виноватым перед ней. Она любит его, хоть и не уважает, она любит его не за дар, которым он наделен, а ради него самого — и потому он в долгу перед ней. Но теперь она выдала то, что он доверил ей в час дружеского откровения, выдала его заклятому врагу. Теперь они квиты, он и Кэтэ. Подлая атака Пауля Крамера имеет и свою хорошую сторону. Оскар полон язвительной радости: теперь у него есть оружие против Кэтэ.

В тот же день он показал ей статью Пауля Крамера и попросил прочесть тотчас же, при нем. Пока она читала, он рассматривал ее красивое, удлиненное, тонкое лицо и с удовлетворением видел, что оно все сильнее заливалось краской гнева, стыда. Но к ее гневу и стыду примешивалось воспоминание о тех минутах, когда Оскар поведал ей об этом маленьком ребяческом переживании. Он был очень мил, когда рассказывал, скромно, однако полон наивной самоуверенности. Это был тот Оскар, которого она любила со всеми его хорошими чертами и со всеми его слабостями. Он был горд, как петух, тем, что еще мальчиком смог навязать свою волю взрослому. Да, она любила его тогда, очень любила таким, каким он был, отчетливо сознавая пределы его возможностей и его недостатки.

В таком настроении она доверчиво рассказала Паулю этот эпизод — в одну из тех редких минут, когда говорила с ним об Оскаре. Но Пауль злоупотребил ее доверчивостью. Было подлостью с его стороны напеча-

тать с ехидными комментариями историю, которую она рассказала в порыве откровенности и в оправдание Оскара. Да, Пауль таков: беспощаден, нетерпим, готов на все, лишь бы доказать свою правоту. Вот что всегда становится между ними. Вот что отталкивает ее от брата. Чужое. Еврейское.

Оскар сидел молча, смотрел на нее и угадывал ее мысли. Он был достаточно умен и ни единым словом не выказал своего торжества. Она, прочитав статью, тоже долго молчала. Затем сказала:

— Оскар, он поступил с тобой несправедливо.— И голос ее казался еще более чистым, чем всегда. Впервые за долгое время она снова назвала его по имени.

Он испытывал глубокое удовлетворение. И приятнее всего — что сам враг, споткнувшись о собственное коварство, уготовил ему эту счастливую минуту.

Прежде Пауль почти ежедневно работал с Кэтэ, диктовал ей статьи. Спорить с ней, разбивать ее возражения, а изредка и признавать их правильными, подтрунивать над ней — все это его подстегивало. И для Кэтэ, хотя она часто злилась на брата, совместная работа была радостью. Но в последнее время он предпочитал печатать сам. Все, что он писал, казалось, было направлено против нее.

Совместная жизнь брата и сестры стала безрадостной. Между ними неотступно, почти осязаемо стояло то, о чем они никогда не говорили и что больше всего волновало их: отношения Кэтэ с Оскаром. Лицо Пауля, его манера держаться, все, что он делал и говорил, и прежде всего то, чего он не говорил, было для нее вечным укором. Уже не раз подумывала она переехать с Нюрнбергерштрассе. Однако ей вновь и вновь вспоминалась гротескная сцена в отеле «Эдем» — грубое унижение, через которое из-за нее прошел Пауль, когда кружился вместе с вращающейся дверью, — и она не решалась нанести ему еще один удар. Но теперь, после того как он обманул ее доверие и вероломно напал на Оскара, она свободна от всяких обязательств. В нем слишком много чужого. Все, что он унаследовал не от

матери, претит ей. Она не в силах больше выдержать. Близок ей не он, а Оскар. Она уйдет от Пауля и честно скажет ему, почему это делает.

В тот же вечер за ужином она заговорила с Паулем. Упрекала его за статью, называла ее низкой, подлой. Ее удлиненные карие глаза гневно блестели, на живом лице отражалось сильное волнение.

Пауль сидел в домашней куртке и комнатных туфлях, он ел, болтал, просматривал газеты, держал себя легко и свободно, как всегда. Когда Кэтэ заговорила, Пауль поднял на нее глаза. Он не перебивал ее, и когда она кончила, против своего обыкновения, долго молчал. Он внимательно слушал и теперь так же внимательно вглядывался в нее. Она была красива в своем гневе, его милая, очаровательная сестра. Многие Кэтэ унаследовала от сурового, вспыльчивого отца; в гневе она, подобно ему, несла всякий вздор. Но Пауль особенно любил ее в эти минуты, когда жесткие вертикальные складки врезались в ее красивый, чуть выпуклый лоб.

Вместе с тем в нем разгоралось чувство возмущения. Что особенного он сделал? Назвать подлой его статью, его обдуманную, спокойную статью — это уже слишком. Ему невольно вспомнилась встреча в отеле «Эдем». Он не знает, как тогда выбрался из вестибюля, он не хочет знать, не хочет спрашивать сестру. Должно быть, этот субъект подверг его чему-то мучительно-позорному, и до сих пор при воспоминании об этой встрече в нем подымается бессмысленный бешеный гнев против Лаутензака и против сестры.

В то же время он чувствует глубокое сострадание к Кэтэ — сострадание овладело им после той встречи, — ведь то, что с ним случилось, вероятно, мучило ее не меньше, чем его самого. Кроме Пауля сострадающего и Пауля гневного, есть еще третий Пауль — он глядит на все происходящее посмеиваясь чуть-чуть иронически и жалеет, что нельзя спокойно доест и по достоинству оценить отличные оладьи. Но верх берет гневный Пауль.

— Ты что же, ожидала, что я буду церемониться с этим Лаутензаком, оттого что он тебе приглянулся? — спрашивает он, и в его голосе появляются высокие ноты. — Ожидала, что я буду проявлять «рыцарские

чувства»? И не подумаю. Я не рыцарь, я писатель.— Пауль стоит перед ней в своей залатанной куртке, в стоптанных домашних туфлях; от волнения он немножко шепелявит. Его лицо искажено гневом — благородным гневом борца.

— Рыцарь, писатель, — издевается Кэтэ. — Твой педантизм мне не нравится. Ты обманул оказанное тебе доверие, поступил низко — этого ты, спорь не спорь, ничем не замажешь. Да и напал ты на него только потому, что я с ним сблизилась. Иначе ты не снизошел бы до него. Ведь ты так отвратительно высокомерен.

— Да, мне очень жаль, что ты с ним связалась, это верно, — ответил Пауль с еще большим озлоблением. — Верно и то, что твой Лаутензак не заслуживает особого внимания. Знаю, он обладает пресловутым флюидом. Флюид — за это словечко всегда ухватываются, когда хотят пыль в глаза пустить. А весь его флюид заключается в том, что он может одурманить человека болтовней. И пусть бы тешился своим флюидом, это меня нисколько не интересует. Я напал на него потому, что его окружают люди, которые используют его жалкие фокусы для мерзкого политического шарлатанства, потому что он позволяет использовать себя в этих целях. И все это в совокупности — ловко сплетенная сеть подлости и мошенничества. Я писатель. Называй меня дураком и гордецом, если тебе доставляет удовольствие, но я считаю своим долгом указать людям на сеть, в которую их хотят поймать. Он не просто мошенник, твой Оскар Лаутензак, он опасен. И об этом необходимо говорить вслух. Он должен быть разоблачен. И сделать это — моя обязанность.

Они стояли и смотрели друг на друга ненавидящими глазами. То, что в чудовищных оскорблениях, которые бросал Пауль, была доля истины, еще больше разъярило Кэтэ. Она не позволит обливать грязью, унижать Оскара. Не позволит отнять у нее Оскара. Благодаря ему она почувствовала, что такое величие, взлет, мечта, вдохновение.

— Значит, ты хочешь очернить его только по объективным соображениям? — спросила она, в негодовании

напрягая свой чистый голос.— И ты говоришь мне это прямо в лицо? И ты смеешь?

— Да,— ответил он, глядя ей прямо в лицо, и еще раз повторил: — Да.— Конечно, открыть ей глаза он тоже хотел, было у него и такое побуждение, но не оно было самым важным.— Я хочу его уничтожить, потому что он опасен для всех,— добавил он уже негромко, и его худое лицо явно выражало ожесточение.

А она, полная яростного презрения, не уступала:

— До сих пор ты хоть не лгал, и это было в тебе самое лучшее. А теперь ты еще и лжешь.— И, взвинтив себя, решительно заявила: — Не вижу больше смысла жить здесь.— Он — близкий мне человек, к твоему сведению. А ты — нет. В тебе слишком много...— «еврейского», хотела она сказать, но после маленькой заминки сказала: — Чужого.

Однако даже от этих смягченных слов ей стало больно. Она надеялась, что он не поймет всего их злого значения. Надеялась, что его ответ будет запальчив и несправедлив. Тогда ей станет легче.

Но он, конечно, понял злой смысл ее слов. И вовсе не собиравшись отвечать запальчиво и несправедливо. Напротив, весь его гнев сразу испарился, третий Пауль Крамер, вдумчивый наблюдатель, одержал победу над двумя другими. Он медленно, слегка шаркая, подошел к столу — постаревший, мудрый,— машинально взял ложку, посмотрел на нее и сказал сдавленным голосом, в раздумье:

— В подобном же случае Ницше когда-то написал своей сестре: «Бедняжка Лама...— в минуты особенной нежности он называл ее «Лама»,— бедняжка Лама, теперь ты докатилась до антисемитизма». И, все еще рассматривая ложку, произнес: — Жаль.— И добавил: — Бедняжка Кэтэ.

Кэтэ усталым шагом направилась к дверям.

— Прощай, Пауль,— сказала она.

— Разве ты хочешь уйти сегодня же? — спросил Пауль.

— Да, уложу вещи и уеду.

А он, все еще с ложкой в руках, повторил:

— Жаль. Очень жаль.

Оставшись один, он принуждает себя сохранять спокойствие. «А, пустяки, минутная вспышка. Не может же она всерьез выбрать из нас двоих этого мрачного шута. Утром она, как всегда, позовет меня завтракать. Постучится в ванную и скажет: «Пауль, нельзя же так долго сидеть в горячей воде». А я отвечу: «Уж так и быть, из уважения к тебе — вылезая».

«Нет,— окончательно решает он,— я не такой дурак, чтобы мучиться из-за этой нелепой истории, Кэтэ, конечно, вернется. Жалко, что оладьи остыли». И он принимается за еду.

Из смежной комнаты доносится голос Кэтэ, она говорит с кем-то по телефону. Слов не разобрать. «Неужели она заказывает такси? Неужели она действительно?.. Вздор, быть того не может...»

Он задумывается. Но, сделав над собой усилие, вновь принимается за еду. Несколько жирных крошек падает на его брюки. «Надо заказать себе новый костюм,— решает он.— Это будет сюрпризом для Кэтэ. Но она будет ругать меня, зачем я позволил Вайцу навязать себе вещь, которая мне не к лицу».

Звонят. «Так и есть, это шофер, он пришел забрать чемоданы». Пауля тянет к дверям. «Надо удержать Кэтэ, ведь это ребячество, нельзя же просто так отпустить ее». И вдруг ему становится совершенно ясно, что удержать ее он не может: нечто более глубокое, чем сегодняшний спор, гонит ее от него, влечет к Лаутензаку.

Он сидит длинный, нескладный, вытянув шею, и ждет. «Вздор. Не может она сделать такую глупость. Она же разумный, взрослый человек. Она останется. Непременно останется. Она войдет сейчас, сию минуту и сделает вид, что решительно ничего не случилось». Он тревожно ждет. Но слышит только басистый голос шофера и тихий, чистый голос Кэтэ; никто не входит; вот они удаляются, и вот... вот хлопнула дверь и звякнул замок.

Его все-таки пронзила боль. Он сидит неподвижно. На мгновение его охватывает жалость. «Цветочек бедный, берегись!» — ожил в памяти старинный стих. Но вдруг на него нахлынула новая жаркая волна бешеп-

ства, она подняла его со стула. Сердце глухо стучит, он слышит, как оно стучит.

«Низостью» назвала она его статью. Как раз наоборот. Он слишком благороден для своего противника. Такое зловещее явление, как Лаутензак, не устранишь тем, что отнесешь его к такой-то категории. С людьми этого сорта надо говорить иначе. К счастью, он, Пауль сумеет в случае надобности заговорить другим языком. Кэтэ бросила ему вызов. Он покажет и ей, и этому господину Лаутензаку, что он, Пауль, способен действовать и иными способами.

Но тут заговорил третий Пауль, вдумчивый наблюдатель, все время стоявший рядом. «Теперь ты видишь, как права была Кэтэ. Ты же лгал с начала до конца. Сам по себе этот Лаутензак тебе глубоко безразличен, никогда бы ты не стал тратить время и силы на такое ничтожество. Тебя просто задевают их отношения — вот и все».

И Пауль со стыдом понял, понял отчетливо, что заставило его написать статью. Он попросту не может вынести мысли, что его сестра Кэтэ спит с этим человеком.

Он стыдил себя, успокаивал, призывал к порядку. И в то же время мысленно уже набрасывал новую статью против Оскара Лаутензака — язвительную, популярную статью, которую надо будет напечатать в большой газете.

Два дня спустя, после многих сомнений и колебаний, он написал эту статью. Написал умно, с ненавистью, с ядовитым расчетом. Старался действовать на массы теми же средствами, что и противник. О, Пауль Крамер умел быть грубым и эффективным, если хотел. А сейчас он хотел этого. Мир Оскара Лаутензака, эту поблескивавшую и зловонную лужу, он описал, не жалея красок. Не ограничился сдержанными намеками. Приводил точные данные, называл цифры. Описал салон баронессы Третнов со всем ее зверинцем снобов, авантюристов, карьеристов, политиканов, ландскнехтов. Описал бюро «Союза по распространению германского мировоззрения». Называл суммы гонорара за консуль-

тации Оскара. Показывал, как выгодно материализуются силы потустороннего мира, — в виде солидного текущего счета. Нет, на этот раз Пауль Крамер отнюдь не был изыскан, он платил противнику той же монетой; Оскар Лаутензак вызвал дух Бритлинга, известного героя, а Пауль вызвал дух художника Видтке. Он вытащил на свет дело об убийстве, в котором обвинялся Гансйорг, разоблачал Карфункель-Лисси и всю ее любовную коммерцию. И особо подчеркнул роль старого, доброго, честного фокусника Калиостро в выступлениях Лаутензака. Он без всяких обиняков называл вещи их именами, а Оскара Лаутензака — карьеристом, падким на деньги и славу мошенником и шарлатаном, опасным в силу своих политических связей.

Многие газеты опубликовали эту статью. Вокруг ясновидца снова поднялась неистовая шумиха.

Оскар не знал, как держаться. Ему льстило, что он изображен могущественной личностью, но, с другой стороны, многие удары были нанесены метко, многие атаки было трудно отбить. Как ему ответить на них?

Гансйорг успокоил его. Подобно всем нацистским вожакам, он питал бездонное презрение к массам.

Совершенно неважно, сказал он, что именно пишут об Оскаре газеты. Лишь бы писали. И единственным результатом этой атаки будет то, что сенсация, связанная с именем Оскара Лаутензака, еще усилится, а от всего этого шума у читателей останется в памяти только имя: Лаутензак. Главное — не поддаваться на провокацию и ни в коем случае не опровергать отдельных фактов. Ни звука, полное игнорирование — это единственный разумный выход.

Оскар у такой совет пришелся по вкусу. Впереди было лето, которого он жадно ждал. Он разрешил Алоизу уехать в его любимый Мюнхен и сам тоже отдыхал. Он не хотел бороться, он хотел наслаждаться и в эти летние месяцы вкушать наконец от плодов тяжелого труда. Он забыл о нападках Пауля Крамера и все лето неистово предавался наслаждениям.

У Хильдегард фон Третнов и Ильзы Кадерейт были поместья в окрестностях Берлина: у Хильдегард — недалеко от Мекленбурга, у Ильзы — в Кладове; и обе дамы, вопреки обыкновению, проводили лето там — ради него, льстил себе Оскар. Он часто бывал у обеих. Ездил он и к друзьям, от одного к другому, в каком-то диком упоении.

Оскар нетерпеливо подгонял владельцев верфи, где была заказана яхта; он являлся через день посмотреть, как идут работы.

Дорога на верфь вела мимо Зофиенбурга. Оскар часто останавливался там и обходил свое будущее поместье, мысленно намечая план перестройки.

А перестройка была связана с большими трудностями, не говоря уже о деньгах, которые предстояло добыть. Оскар, как и многие баварцы, любил строиться — и строиться с шиком. Он вбил себе в голову, что волшебный замок Клингзора может создать архитектор Зандерс — только он, и никто другой. А тот отнюдь не был в восторге от планов Оскара, по его мнению, слишком причудливых. Он с грубой прямоотой указывал на невозможное смешение стилей. Оскар между тем не желал отступить ни от своих проектов, ни от своего архитектора. Вот и реши эту задачу — сущая головоломка.

Впрочем, Оскар, прогуливаясь по Зофиенбургу, приходил к выводу, что сделал весьма удачную покупку. Дело было не только в том, что местоположение и фасад маленького замка соответствовали его планам, но и в том, что каждый уголок здесь дышал историей. Обходя участок, он нередко останавливался и многозначительно говорил своему спутнику — архитектору или кому-нибудь другому: «Стойте. Здесь, именно на этом месте, совершались страшные события: я чувствую кровь, я чувствую зло».

И дом, и вся местность, казалось ему, были наполнены переплетенными между собой, уже забытыми, а для него все еще живыми человеческими судьбами. Его свержуточенное чутье подсказывало ему, что здесь творились ужасные деяния — нарушение верности, месть, предательства, убийства. Здесь ненавидели и знали мало счастья. Он поручил Петерману разузнать

подробно историю поместья. Секретарь составил сухую и добросовестную хронику Зофиенбурга и описал его прежних обитателей.

Дом был построен придворным кондитером короля Фридриха-Вильгельма. Кондитер надеялся после жизни, полной труда, обрести здесь покойную и приятную старость. Но ему было суждено другое, не много радостей увидел он в новом доме и был вынужден расстаться с ним еще до своей смерти. Как и почувствовал Оскар, дом этот все сто двадцать лет его существования населяли люди, отмеченные угрюмым роком. Оскару пришлось, конечно, основательно переиначить и перекроить факты, точно и трезво изложенные в докладной записке Петермана, чтобы приспособить их к тем картинкам, какие ему мерещились.

И во время этого лета политическая жизнь была напряженной. Газеты сообщили о новом падении кабинета. Опять разгорелась предвыборная борьба, в которую с энтузиазмом ринулись нацисты. И Оскар, уверенно предсказавший нацистам поражение на выборах президента, с той же уверенностью предсказал им теперь победу на выборах в рейхстаг.

Однажды он встретился с фюрером. Он и ему предрек, что выборы пройдут с неслыханным успехом — с успехом, который превзойдет все ожидания. Гитлер, очень довольный, тоже выразил уверенность, что теперь, после короткого затишья, волна движения будет мощно нарастать. Именно из разговора с Гитлером Оскар вынес убеждение, что ему недолго ждать открытия академии оккультных наук, и это заставило его всерьез заняться перестройкой Зофиенбурга.

Он сделал последнюю попытку убедить архитектора Зандерса. Тот отбивался руками и ногами. Зандерс был известен своей грубостью и без околичностей заявил Оскару, что тот, видно, хочет построить какой-то оккультный балаган, и очень жаль будет, если за простым и благородным фасадом дома появится настоящая ярмарка. Но Лаутензак остался тверд.

— Кто не богат, тот нищ, — заявил он. — То, что рисуется мне, милый Зандерс, может показаться варварством. Но это варварское величие Рихарда Вагнера.

Поймите же меня,—убеждал он архитектора,—фюрер обещал мне академию оккультных наук. Дом президента этой академии должен быть отражением определенной идеи, символом. Так же, как у подлинного ясновида за спокойными чертами лица кроются величественные и грозные лики, так за спокойным фасадом Зофиенбурга должна кипеть великая борьба между Аполлоном и Дионисом.

— Чепуха,—сказал Зандерс.— Я буду строить что-нибудь порядочное или вовсе не буду строить.

Оскар уже собирался сделать лицо Цезаря. Но ему нужно было во что бы то ни стало заполучить Зандерса. Волшебный замок Клингзора удастся создать только в случае, если строить его будет Зандерс. Он просил и заклинал, он говорил о планах колоссального строительства, которое предпримет фюрер, он льстил и угрожал, и наконец ему удалось уговорить архитектора. Зандерс угрюмо согласился, и Оскару казалось, что это одна из самых больших его побед.

Теперь он снова целые дни просиживал с Зандерсом. Делал наброски, отказывался от них, спорил, сам шел на уступки и вырывал их у архитектора. Наконец замок Клингзора стал принимать те формы, о которых мечтал Оскар. Правда, когда смета была составлена, итоговая цифра оказалась столь огромной, что у Оскара захватило дух. Он попросил двадцать четыре часа на размышление. Показал смету Гансйоргу. Тот покачал головой.

— Ты что, взбесился? — спросил он.

Но Оскар ответил:

— Я вижу. Я верю.

Он говорил негромко, но в его словах прозвучала такая непоколебимая, неистовая надежда, что Гансйорг проглотил язвительные замечания, которые собирался сделать, и, ошеломленный, отступил.

— Не советую,—сказал он сухо.

Оскар подписал договор на перестройку Зофиенбурга.

За два дня до выборов Ильза Кадерейт позвонила Оскару из своего загородного дома в Кладове.

— Скажите, Оскар,—спросила она.— Послезавтра

будет одна из обычных незначительных побед или большая, настоящая?

Он ответил:

— Это будет небывалый, грандиозный триумф. Последствия его окажутся решающими.

— Вы в этом совершенно уверены? — спросила она насмешливым голосом.

— Мы победим. Это так же верно, как то, что я глубоко почитаю вас.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда я предлагаю вам пари. Если действительно будет одержана блестящая победа, вы получаете черную жемчужину, которой так восторгались. Если нет, вы мне даете опал из вашей деревянной чаши.

Оскар почти испугался. Что это — одна из ее шуток? Черная жемчужина стоит целое состояние: Ильза предлагает ему сказочный подарок. Он не вполне ее понимал. Значит, она так любит его? «Расстилается перед ним», — вспомнилось ему баварское выражение.

— Я не могу ее принять, — не совсем уверенно сказал он.

— Нет, можете, — ответила Ильза. — Сделаете из нее булавку к фраку.

— Меня обижает, что вы все еще не верите в меня.

— Я верю и не верю, — сказала Ильза на этот раз тем голосом, который напоминал щебетанье птички. — Я не верю и потому заключила с вами пари. И верю — поэтому сегодня же разошлю приглашения на день выборов. В тот же вечер мы отпразднуем победу. Само собой, вы тоже придете?

— С радостью, — ответил он.

— Пари остается в силе, — сказала она в заключение. — Я уже заранее радуюсь вашему опалу.

Черная жемчужина. Ильза. Зофиенбург. Выборы. Академия. Богатство. Слава. Власть. Мечты Оскара сбывались с такой быстротой, что у него начинала кружиться голова.

Пришел день выборов. Оскар на этот день назначил только приятные встречи. Утром он ожидал архитектора Зандерса и ювелира Позенера. Часов в двенадцать

собирался поехать с маленькой Альмой в Шпандау, пообедать там и осмотреть свою яхту «Чайка», которая уже была почти готова. А вечером он поедет в Кладов, к Ильзе.

Но утром, придя домой после голосования, он вдруг без всякой видимой причины почувствовал гнетущую тоску. Все и вся стали ему противны. Он был полон яростной, угрюмой вражды к людям. Даже не велел предупредить Зандерса и Позенера, а попросту приказал не принимать их.

И заперся в своей келье. Вынул из ящика стола пожелтевшую фотографию отца; пристальным и строгим взором смотрел на него секретарь муниципального совета, пад сомкнутыми губами торчали взъерошенные жесткие тюленьи усы. Но, несмотря на всю свою важность, папаша уже не импонировал Оскару. Насмешливо рассматривал он фотографию. Ошиблись, ваша честь! Вот и не сдох бездельник Оскар под забором. Он идет своим путем — да еще каким! Мальчиком он мечтал завоевать Дегенбург, юношей — Мюнхен, зрелым мужем — Берлин. И своего добился. Теперь, как раз теперь, в сотнях тысяч избирательных участков люди обеспечивают победу партии, партии и ему. А когда победа будет объявлена, важная дама, его возлюбленная, пошлет ему черную жемчужину.

И не внешними средствами завоевал он победу, а внутренней силой, духовной. Он сломил сопротивление Кэтэ, уловил ее в свои сети. Она рассталась со своим братом, его врагом, и стала на сторону Оскара; глубоко живет в нем, даруя счастье, воспоминание о ее лице, о ее губах, о ее голосе в то мгновение, когда она сказала ему: «Оскар, он дурно поступил с тобой». И скоро он введет Кэтэ в свой новый дом, в волшебный замок Клингзора, как госпожу, как жену. Она придет, она преодолет себя, она намекнет ему, что следовало бы укрепить их союз.

А если нет? Если она не заговорит? Она ведь до мозга костей немка, очень застенчива, очень горда. И все же она переломит себя. Ведь и Зента приносит жертву, и Елизавета приносит жертву. И он имеет право требовать жертв.

Но он не потребует. Он великодушен. Счастье делает человека великодушным. Если Кэтэ слишком горда, он заговорит первый. Оскар старается представить себе, какое будет лицо у Кэтэ, когда он привезет ее в Зофиенбург и предложит ей вступить в этот замок на положении его жены. Но странно, это ему не удается. Что выразит ее лицо, как она ответит на его великодушные слова? Он погружает руки в деревянную чашу с самоцветами, и медленными ритмичными движениями пропускает между пальцами эту пеструю, искрящуюся массу. Он пытается «видеть». Но образ Кэтэ не встает в его воображении.

И вот... вот он слышит ее голос. Но голос идет не из будущего, он идет из прошлого, к сожалению, еще не отошедшего прошлого. Это тот самый ответ на его вопрос, верит ли она в него, те самые неясные, осторожные слова: «Не знаю».

В его великом торжестве есть брешь, маленькая брешь, но вся его радость уходит сквозь эту маленькую брешь. «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир...» — почти ощутимо для слуха заполняет комнату старческий голос бабушки, старательно выговаривающей суровый евангельский стих. И вдруг ненависть к людям и злое уныние, загнавшие его в келью, вернулись, наполнили его душу, стали нестерпимы, обратились против самого Оскара.

Он прав, голос Кэтэ, и прав старческий голос, проносящий евангельский стих. А он, Оскар, сыт по горло этой жизнью, сыт, сыт. Выборы будут грандиозным триумфом, Ильза подарит ему жемчужину, наступит, пожалуй, день, когда он будет носить на груди еще более дорогое украшение, и день, когда у него, кроме замка Зофиенбург, будет дом на Лазурном побережье и замок «Монрепо» или как они там еще называют свои хваленые хоромы, а к своей коллекции светских дам он прибавит еще какую-нибудь титулованную козу — герцогиню или эрцгерцогиню. Плевал он на них на всех. «...а душе своей повредит».

В комнату неслышным шагом вошел Петерман. Он доложил своим вкрадчивым голосом, что звал господин Гансйорг Лаутензак. Он сообщил, что, судя по

предварительным сведениям, результаты выборов превосходят все ожидания.

— И ради этого вы меня беспокоите? — накинулся на него Оскар.

Он издал какое-то восклицание, выражавшее злобную насмешку. Да, вот они, сокровища мира сего, они хлынули целым потоком. Значит, жемчужина принадлежит ему. То есть нет, еще не принадлежит. Он должен еще пойти за ней. Должен за нее заплатить. Вероятно, госпожа Кадерейт будет его поддразнивать, может быть, и ужалит. Вероятно, потребует, чтобы он показывал фокусы. А он не хочет. Что он, собачка, которая служит на задних лапках за кусок сахара?

— Позвоните к Кадерейтам и скажите, что сегодня вечером я не приеду.

Как ни вышколен был Петерман, он с удивлением поднял глаза на Оскара.

— Должен ли я указать причину? — спросил он.

— Если бы я хотел указать причину, — грубо ответил Оскар, — я сказал бы вам об этом.

Смиренно стоявший секретарь метнул злой взгляд в спину Оскара и удалился.

— Тупица, тупица, — бранился Оскар ему вслед. — Тихоня, хитрая бестия.

Но не так-то легко было избавиться от Петермана. Он вернулся очень скоро, и на лице его было плохо скрытое злорадство.

— Госпожа Кадерейт выразила желание поговорить с вами лично, — сообщил он.

— Скажите ей, что я болен, — сердито ответил Оскар. — Или нет, — поправился он, — я сам ее спроважу.

— К сожалению, я вечером прийти не смогу, — заявил он, взяв трубку.

Говорил он зло, бесцеремонно, четко. Ждал, что она будет настаивать. Но она и не подумала. Только сказала:

— Да? Жаль. — И после короткой паузы добавила своим обычным насмешливым тоном: — А какой вы придумали предлог? Выборы, что ли, не соответствуют вашим предсказаниям?

— Результаты выборов превосходят все ожидания,— надменно ответил Оскар.— Я не приду сегодня вечером,— продолжал он нагло,— просто потому, что меня удерживает мой внутренний голос.

«Получай,— думал он.— Не хочу — вот и все, ты это и сама понимаешь». Снова наступила короткая пауза. Затем она ответила с подчеркнутой любезностью:

— Это, разумеется, причина, против которой возражать не приходится.

В глубине души он вынужден был сознаться, что ее спокойная ирония выгодно отличается от его грубой дегенбургской бестактности. Она между тем продолжала все тем же легким, любезным тоном:

— Итак, до следующего раза. Очень жаль, что вы не придете за вашей жемчужиной. Ну, что ж, я вам ее пришло.— И она положила трубку.

Оскар, несколько растерянный, сидел у телефона. Он отвел душу, осадил эту спесивую даму. «Мы можем себе позволить такую роскошь. Мы это Мы — и пишемся с большой буквы. Ради ее паршивой жемчужины я отнюдь не намерен разыгрывать скомороха. Надо вправить ей мозги». Такого рода мысли мелькали у него в голове во время разговора. Но после того, как она положила трубку, все удовольствие, доставленное ему этим бунтом, сразу улетучилось. «Она была слишком любезна. Она — дама весьма влиятельная», — это Гансйорг достаточно крепко вбил Оскару в голову. «Проглотить такую пилюлю она не захочет, и добром это не кончится. Отец в таких случаях говорил: «Обер давит унтера». Пожалуй, умнее всего было бы отступить, снять трубку и сказать, что все это недоразумение, шутка и он, конечно, придет.

Придет? Черта с два! Это в нем говорит врожденное смирение перед сильными мира сего. Но ведь он не похож на своего папашу, который чувствовал себя польщенным, если его приглашал господин коммерции советник Эренталь».

Ворчливый и угрюмый, не в ладах с самим собой и со всем миром, просидел он весь день дома. Вечером ужинал в одиночестве, без аппетита. Устроил скандал из-за того, что соус был слишком острым. Но и это не

помогло. Перешел в библиотеку. Взял одну книгу, вторую, третью. Но не читал. Его несколько раз вызывали к телефону, он не пошел. Чувствовал себя усталым, раздосадованным, но и спать еще не хотел, представлял себе, как приятно проводил бы сейчас время в Кладове, у Ильзы Кадерейт, среди многолюдного, оживленного общества. А он торчит дома, злясь на себя, жалея себя. Поздно вечером еще раз вошел своим крадущимся шагом секретарь Петерман.

— Простите, что беспокою вас,— извинился он,— но я видел, что у вас горит свет. Эту новость я не могу вам не сообщить: голоса подсчитаны. Победа гораздо значительнее, чем все мы ожидали. В рейхстаге всего пятьсот восемьдесят шесть мест, из них мы получили двести тридцать. После нас идут социал-демократы, у них только сто тридцать три. Это огромная, беспрецедентная победа.

— Спасибо,— сказал Оскар.

«Жемчужина наша»,— думал он. «Обер давит унтера»,— подумал он.

Ильза Кадерейт сидела на террасе своего загородного дома в Кладове и читала Пруста. Стояли жаркие дни. С террасы было видно маленькое озеро на фоне приятного, непритязательного бранденбургского ландшафта.

Воздух над озером струился, неподалеку от Ильзы гудел комариный рой. Ильза Кадерейт любила лето и жару, она любила Пруста, она любила иногда оставаться наедине с собой. Но сегодня она не наслаждалась всем этим. Она заставляла себя читать — часто опускала книгу на колени и с выражением досады на смугло-бледном лице откидывала голову. Что-то беспокоило, злило ее. Она была недовольна собой.

А ведь все уже позади. Именно то, что Оскар не так скоро догадается, какую шутку она сыграла с ним в заключение всей истории, делает эту шутку особенно забавной. Ведь она и сама не отличит одну жемчужину от другой — настоящую, ту, что хранится в сейфе, от фальшивой, которой восхищался Оскар. Пусть же Оскар тешится подделкой.

Была ли она счастлива с Оскаром, ведь он тоже насквозь фальшив? Ведь ей с самого начала было ясно, что в нем есть и чего нет. Даже лежа с ним в постели, она знала, что обнимает мошенника. Она открыто заявила ему: «Мне нравятся ваши глупые, грубые руки, а не ваше глупое, значительное лицо».

Он разрешил ей сказать это — и тысячи других дерзких, язвительных слов. Он рассчитывал, что под конец она расплатится с ним за удовольствие, которое он доставлял ей. И со всем мирился, сдерживал себя. А напоследок он так и не сумел обуздать своей врожденной мещанской наглости и бестактности.

Она оплачивает свои счета. Она заплатила бы и ему жемчужиной. Но у него не хватило выдержки, он не выполнил своей задачи. Ильза радуется, представляя себе, какую он скорчит гримасу, узнав, что жемчужина фальшивая. Фальшивая, как те глубокие, демонические взгляды, которые он бросал на нее.

Анекдот с жемчужиной неплох. Но этого недостаточно. Этот молодчик держал себя слишком бесстыдно. Ради него она сидит в Кладове, вместо того чтобы проводить лето в Венеции или Остенде, а он заявляет ей в лицо: «Я не приду к тебе, не хочу, мне слишком скучно у тебя».

Что с ней, почему бестактность этого Оскара так волнует ее? Ведь она всегда видела в нем придворного шута, а не любовника. И всегда давала ему это понять. На этот счет между ними было полное согласие.

Нет, выяснилось, что никакого согласия не было. Он, придворный шут, вышел из повиновения. Вот это и не дает ей покоя: бунт, мятеж.

Она немало сделала для того, чтобы ее муж и другие тесно связались с нацистами, наняли этих бандитов для расправы с красными. Возможно, то была жестокая ошибка. Нам кажется, что мы играем ими, а на самом деле они играют нами. Оскар — наглядный пример: как только им представляется, что победа на их стороне, они дают нам пинка.

Оскар у надо втолковать, что пока еще хозяева положения — мы. И прибегнуть для этой цели к более сильным средствам, чем шутка с жемчужиной. Надо

сделать по чисто принципиальным соображениям, холодно, деловито.

Принципиальные соображения. Вздор. Не обманывай себя, Ильза. Это очень личные, очень женские соображения. Они-то и тревожат Ильзу. Неужели он был для нее чем-то большим, чем придворный шут? Это было бы отвратительно. Мистер Кингсли, психолог, однажды сказал ей: «Видите ли, darling¹, вся моя наука укладывается в одну формулу: «есть две разновидности женщин — пылкие коровы и холодные козы». Его рассуждения ей понравились, в глубине души она всегда гордилась своей принадлежностью к «холодным козам» — к тем полным жизненных сил и в то же время холодным женщинам, которые любят наслаждение, но никогда не теряют контроля над собой. Было бы ужасно, если бы она в себе ошиблась и в ней оказалось нечто и от «пылкой коровы».

Нет, нет, Оскар был придворным шутком, не возлюбленным. Забавно смотреть, как этот зазнавшийся молодчик смиряется, становится жалким. Только для того, чтобы потешиться, она связалась с ним. И будет очень любопытно наблюдать, как он, повизгивая, приползет на брюхе. Она ему покажет «внутренний голос»!

На ее губах блуждает чуть заметная злая улыбка. Легкомысленный он человек, этот милейший Оскар. Ему приписывают мошеннические проделки, его обвиняют бог весть в чем. У него не одна ахиллесова пята, а бесчисленное множество. У кого столько уязвимых мест, тому следовало бы хорошенько подумать, прежде чем дать отставку Ильзе Кадерейт в угоду своему «внутреннему голосу».

Нет, фальшивой жемчужины недостаточно. Это не сразит его. Он подл, но на деньги не падок. Сутенер не он, а его брат. Оскара надо наказать иначе.

И она знает как.

Да, она знает, решение принято, у нее есть план, она довольна. День стоит чудесный, жаркий, такие она

¹ Дорогая, милая (англ.).

любит. Воздух над озером струится от жары, в лучах солнца висит гудящий комариный рой. Ильза снова берется за томик Пруста и читает теперь с интересом и наслаждением.

На следующий день, разговаривая с Фрицем Кадерейтом, Ильза как бы мимоходом бросает: «Если бы только ваши нацисты не были так безнадежно тупы в вопросах вкуса. Раз уж вы связались с ними, нельзя смотреть сквозь пальцы на некоторые их недочеты в области красоты».

Они обедали на террасе. Фриц Кадерейт настороженно взглянул на жену своими хитрыми сонными глазами. «Ваши нацисты?» Что-то новое. Вопрос о том, будет ли это новое приятным или неприятным. Никогда не знаешь, что тебе преподнесет Ильза.

— Я почему-то сегодня туго соображаю, дорогая, — сказал он дружелюбно. — Должно быть, от жары. Не можешь ли ты выразиться яснее?

— Возьми, например, — непривычно ленивым тоном ответила она, — возмутительные нападки на нашего Оскара в красных газетах. Это не какие-нибудь туманные обвинения, а вполне ясные, подробно обоснованные выпады. По-моему, авторитет партии может пострадать, если видный ее представитель позволяет обзывать себя мелким мошенником. Мне кажется, он должен защищаться.

Фриц Кадерейт неторопливо поднял слегка запотевший стакан и стал внимательно разглядывать охлажденное вино, мозельское. В сверкавшем на солнце стекле оно отливало то зеленым, то желтым. Он медленно отпил несколько глотков — хотел выиграть время, продумать свой ответ. В душе он улыбался. Она как будто собирается преподнести ему нечто отрадное.

Фриц Кадерейт любил Ильзу. Он не старался убедить себя, что не страдает от ее любовных связей. Он понимал, что на нее действует ореол дешевой романтики и славы, которым окружен Оскар; недаром он иногда называл ее своим маленьким снобом; но ему было неприятно, что она выбрала именно Лаутензака, и он с растущей тревогой наблюдал, как она все боль-

ше отдается этой игре. Теперь он понял, что она, видимо, решила поставить на место этого нахала, и это было большим облегчением. Роман, кажется, приближается к концу.

Не надо сразу соглашаться с ней, умнее будет осторожно поспорить.

— Ты действительно считаешь необходимым, дорогая,— спросил он тем же флегматичным тоном, каким говорила она,— отбить эти атаки?

Она ответила именно так, как ему хотелось.

— Я всегда говорила,— холодно и с напускным простодушием сказала она,— что вы слишком поситесь с нашим Оскаром. Он забавен, не спорю, но его поведение может послужить поводом для упреков по адресу партии. Разве ты не согласен со мной?

Фриц Кадерейт подавил невольную улыбку.

— Видишь ли, Ильза, если о ком-нибудь из нас говорят, что он мошенник, негодяй, и приводят доказательства — обоснованные или необоснованные, мы считаем необходимым дать отпор. Так нам внушали с детства. Но эти господа, эти Гитлеры и Лаутензаки,— это же совсем другая среда. О порядочности, о достоинстве они понятия не имеют. И не знаю, считает ли господин Лаутензак обидным для себя, когда его называют шарлатаном. Enfin, il n'est pas de notre monde¹.

Это были умные слова, и Ильза опять ответила на них так, как хотелось ее мужу.

— Дело тут не во взглядах Оскара,— сказала она, подумав, и посмотрела ему прямо в лицо,— дело в партии, за которой стоит Фриц Кадерейт. Оскар не имеет права молча принимать эти оскорбительные обвинения, он должен на них ответить — ради нас.

Ильза высказалась на этот раз необычайно решительно.

«Ради нас,— подумал Кадерейт,— пожалуй, верно». И опять подавил улыбку.

— Хорошо,— сказал он вслух и добавил любезно, со своим обычным медвежьим добродушием: — Если ты считаешь это необходимым, я сделаю все возможное.

¹ Словом, это человек не нашего круга (*франц.*).

Доктор Фриц Кадерейт снабжал партию деньгами и сделал некоторых ее главарей акционерами своих предприятий. Следовательно, к его словам прислушивались, ему охотно оказывали любезности.

— Послушай-ка,— сказал Манфред Проэль Гансйоргу вскоре после разговора между супругами Кадерейт,— быть толстокожим недурно, но во всем нужна мера.— Он положил на плечо приятелю свою рыхлую, мясистую руку, и Гансйорг тотчас же почувствовал, что эта игривость не предвещает ничего доброго.

— Вы любите говорить темно и загадочно,— пошутил он.— Но я не ясновидец, как мой брат.

— Как раз о твоём брате я и говорю, дорогой,— ответил Проэль.— Именно он и толстокож. Нам прислали вырезки из газет, целую кипу, ну, да ты ведь сам знаешь. Его называют просто-напросто мошенником, шарлатаном. И кое-кто ставит ему в вину, что он спокойно сносит оскорбления.

Гансйорга эти слова ошеломили. Какого еще нового врага нашёл себе Оскар?

— Ведь красные только и ждут такого скандала,— сказал он.— Я сам посоветовал Оскару прикинуться мертвым.

— Я знаю, у тебя есть здравый смысл,— благожелательно отозвался Проэль.— Но в данном случае высшая власть, к сожалению, приказывает не слушаться голоса здравого смысла.

— Смею я спросить, как называется эта высшая власть?

— Она называется Фрицем Кадерейтом,— ответил Проэль.

Теперь Гансйоргу все стало ясно. Петерман в своё время не преминул сообщить ему о странном капризе Оскара, о том, как нагло Оскар отказался от приглашения фрау Кадерейт. Правда, Оскар потом показал ему черную жемчужину, немалоченный дар, вещественное доказательство добрых отношений. Но женщина — сфинкс, иногда она одной рукой преподносит подарок, а другой дает пощечину. Гансйорг познал это на собственном опыте во времена Карфункель-Лисси. Теперь в этом убедится и Оскар. Жалко Оскара, но поделом ему.

— Я не знаю, — сказал Проэль, — почему Кадерейт именно в данном случае так настаивает на том, что честь партии должна оставаться незапятнанной. Но это факт, и от твоего брата требуют, чтобы он отразил гнусные атаки красных.

— И ты в самом деле полагаешь, — спросил расстроенный Гансйорг, — что нам следует обратиться в суд с жалобой на клевету?

— Боюсь, — ответил Проэль, — что от этого вам не отвертеться. Придется найти свидетелей, готовых принести ложную присягу, — это вы обязаны сделать во имя чести партии. Но может быть, — предложил он, — твой брат обратится непосредственно к Ильзе Кадерейт?

Когда Гансйорг остался один, его охватил бешеный гнев. Вот баран, тупая башка! Он, Гансйорг, тратит свои силы, губит свои молодые годы, и так уж его существование — какое-то сплошное хождение по канату. Неверный взмах, неловкий шаг — и сорвешься. Да еще Оскара тащи на своих плечах. А это дерьмо, скотина неблагодарная, к тому же, видите ли, брыкается.

И очень хорошо, если его теперь проучат за наглость. Пусть на собственной шкуре испытает, каково попасть в ловушку.

Встретившись с Оскаром, он с самого начала заговорил с ним резко и зло. Без долгих околичностей заявил, что доктор Кадерейт удивлен поведением Оскара Лаутензака. Он не может понять, как такой выдающийся член партии позволяет красным газетам обливать себя грязью. Партия разделяет мнение Кадерейта, она хотела бы, чтобы Оскар положил конец такому ненормальному положению.

Оскар почувствовал — надвигаются неприятности, но не уловил их причины. Разумеется, он вспомнил о злополучном разговоре с Ильзой. Однако его дерзость сошла ему с рук: все в порядке. Нежно и мрачно сияет на его фрачной рубашке черная жемчужина. Чего же, собственно, хочет от него Гансйорг?

Он сделал лицо Цезаря.

— Положил конец? — спросил он, удивленно подняв брови. — Зачем? Оскар Лаутензак не вступит в дра-

ку с этим сбродом. Ты сам говорил, что это правильный метод.

— Да, был единственно правильный метод,— ответил Гансйорг, резко подчеркивая слово «был». — Но с тех пор ты, как видно, опять что-то натворил. — И так как Оскар все еще, видимо, не понимал, он пояснил: — Сколько раз я тебе говорил, что нельзя обращаться с баронессой фон Третнов, а тем более с Кадерейт, как с твоим Али, или с секретарем Петерманом, или со мной. Не выйдет. У доктора Кадерейта деньги, а кто платит, тот и покупает. Профессор Ланцингер еще в Дегенбурге пытался вбить это тебе в голову. — Он заговорил зло, тихо, точно с самим собой. — Надо же наделать таких потрясающих глупостей! Этот осел дает пинка в зад Кадерейтше вместо того, чтобы денно и нощно на коленях благодарить бога за то, что может спать с ней.

Оскар сидел поникший, смятенный, подавленный. Недаром говорил он, предостерегая себя: «Обер давит унтера». Как же так? Она ведь подарила ему жемчужину? Правда, он не видел Ильзы после того дурацкого разговора, свидание все как-то не могло состояться, всякий раз у нее не было времени. Но причины, на которые она ссылалась, казались все же правдоподобными, раза три-четыре он разговаривал с ней по телефону, и она была с ним обворожительно любезна. Конечно, в ее словах чувствовался слегка насмешливый тон, но ведь это ее обычная манера.

Однако, перебирая в уме все эти соображения, он в глубине души понимал, что Гансйорг прав. По совести говоря, после того глупого инцидента он все время чувствовал, что вся эта история добром не кончится.

И вдруг в нем вспыхнуло яростное возмущение против Ильзы. Вот подлая тварь! Вот лживая гадина! Целая неделя прошла, а она все говорит ему любезности, щебечет своим птичьим голоском и мила до приторности. Все они такие, эти светские дамы! Какое преступление он совершил? Он был честен и напрямик заявил ей, что у него скверное настроение, а она вместо того, чтобы столь же прямо сказать ему, насколько это ее задело, коварно затаила обиду и теперь, неделю спустя,

вспомнила о своем женском достоинстве и хочет уничтожить его, Оскара. Но тут она просчиталась.

— И не подумаю обратиться в суд,— заявляет он решительно.— Жаловаться я не буду.

Гансйорг заставил себя сдержаться, взял сигарету, затянулся.

— Туго же ты соображаешь,— ответил он.— Партия решила, что ты должен обратиться в суд. Это не совет, это приказание.

— Я не пойду в суд,— запальчиво крикнул Оскар.— Неужели я стану объяснять юристам да разным замшевым бюрократам, что такое душа?

Актер Карл Бишоф был бы доволен его пафосом. Но в воображении Оскара возникла страшная картина: перед судом выступает, опираясь на палку, Анна Тиршенройт... Гравличек, коварный гном, свидетельствует против него перед сотнями тысяч людей. И, внезапно переменяя тон, улыбаясь, умолая, почти льстиво начинает он уговаривать Гансйорга, словно тот высшая партийная инстанция.

— Ведь ты же сам тогда сказал мне: «Игнорировать, не отзываться».

— Да, сказал,— спокойно ответил Гансйорг.— Три недели тому назад. А сегодня я говорю, как наш старый учитель Ланцингер: «Провинился — умей и ответ держать». К сожалению, дорогой,— холодно продолжал он,— ты очень заблуждаешься, если рассчитываешь увильнуть от последствий своих капризов. Придется расхлебывать кашу, которую ты заварил.

Оскар понял, в какое отчаянное положение он попал. Тщедушный Гансйорг сидел в огромном кресле и следил за братом, а тот бегал взад и вперед по комнате, скрежеща зубами. Все было в точности так, как представлял себе Гансйорг. Когда Оскара ткнешь носом в содеянное, когда ему растолкуешь, каких глупостей он натворил, какие беды навлек на себя своим сумасбродством, он становится беспомощным, как малое дитя. Угрюмо наслаждался Гансйорг растерянностью брата, его полным бессилием. Он упивался этим зрелищем, его глазки сверкали злым блеском. «Как у волка»,— думал Оскар. Он прекрасно сознавал и свою беспомощность, и

злорадство Гансйорга. Особенно его раздражало, что брат, насмехаясь над ним, пересыпает свою речь берлинскими словечками.

— Не пойду я в суд,— снова вспыхнул он.— Что, я дурак...

— Вот именно дурак,— отозвался Гансйорг,— настоящий дурак. Прячешь голову, как страус. Но разве этим спасешься? Ты не только фантазер, ты и трус.

Оскар в изнеможении упал в кресло. Он сидел, удрученный, ссутулившись, в своем широком роскошном фиолетовом халате, посреди пышной библиотеки, перед старофламандским гобеленом, поражающим мрачным величием красок. «Само отчаяние»,— думал Гансйорг, к его торжеству постепенно примешивалась жалость: все-таки они ведь свои, Оскар и он. И как раз в это время Оскар спросил жалобно, с мольбой:

— Неужели ты не можешь дать мне совет?

«Ах,— подумал Гансйорг,— жаль, что нас сейчас не видят женщины,— гордого, властного Оскара и несчастного, маленького Гансйорга. Хотя и от этого было бы мало проку. В первый же вечер, когда он выйдет на сцену и они увидят его глупую, значительную рожу, они снова будут им очарованы, а на меня и глядеть не станут. Уж тут ничего не поделаешь».

— Может быть, и есть еще выход,— сказал он.— Иди к твоей Ильзе. Постарайся задобрить ее — всего лучше в постели,— уговори ее отказаться от своей глупой выдумки. Может, она смягчится, и тогда тебе не придется жаловаться в суд на твоего дорогого шурина.

Оскар молча и выразительно покачал головой.

— Не пойду я к госпоже Кадерейт,— бросил он.— Не стану перед ней унижаться. Не хочу идти в Каноссу.

— Не куражься,— хладнокровно возразил Гансйорг. Он достал сигарету.— Даю тебе три дня сроку,— заявил он решительно. В его звонком голосе была повелительность.— Если до тех пор не столкнешься со своей Ильзой, я приду опять. С адвокатом. И жалоба будет подана.

Оскар с ненавистью посмотрел на брата, но уже не возражал.

Он позвонил госпоже Кадерейт. Тем неопределенным тоном, который оставлял у собеседника чувство неуверенности — то ли она шутит, то ли говорит серьезно, Ильза спросила:

— Что-нибудь случилось? — и добавила: — Конечно, вы для меня всегда желанный гость, но в ближайшие дни я буду очень занята.

Он ответил, что, кроме всегдашнего желания видеть ее, у него есть к ней особая просьба.

— Рада вас видеть, — приветливо встретила его Ильза.

Она была оживленна, светски любезна. Он еще раз восторженно поблагодарил ее за жемчужину. Затем с искусно разыгранным раскаянием заговорил о злополучном разговоре по телефону. Он был в тот день слишком взволнован, нервы его сдали. Не легко сочетать требования его истинной профессии с бесчисленными делами, которые взваливает на него партия, и обязательствами перед внешним миром. Вот и позволяешь себе иногда понервничать, особенно перед людьми, которых считаешь близкими и ценишь за чуткость.

— Дальше, придворный шут, — сказала Ильза. И улыбнулась.

Это была прежняя Ильза. У него появился проблеск надежды. Он продолжал говорить, разошелся, воодушевился. Стал прежним Оскаром, почувствовал себя мужчиной, держался, как подобает мужчине.

— А теперь забудем это нелепое недоразумение, — сказал он победоносно, подошел к ней, обнял ее.

Ильза отстранилась легким, ловким движением.

— Оставьте, — сказала она, и в ее насмешливом тоне не было ни капли кокетства, одно лишь учтивое равнодушие звучало в нем.

Волей-неволей пришлось от нее отойти. А он в эту минуту и в самом деле жаждал ее.

— Не перейти ли нам ко второй части нашего разговора, — предложила она. — К тому делу, ради которого вы пришли.

Оскар покорно начал.

Ему намекнули, и намек этот исходит из высших партийных сфер, начал он, что он должен отразить ата-

ки красных газет. Но все в нем восстает против этого. Его лучшие чувства были бы осквернены, если бы пришлось раскрыть их перед людьми непосвященными, враждебными, живущими одним лишь трезвым рассудком. Оскар просит Ильзу посоветовать, что ему делать.

Как ни радовало Ильзу унижение этого человека, она не выразила своей радости даже тенью улыбки.

— Мне кажется,— произнесла она задумчиво,— что вам следует защищаться от обвинений красных газет, пусть даже нелепых. Ведь вы все-таки не какой-нибудь там Майер или Мюллер, вы — пророк партии. Даже сам фюрер просил у вас совета. *Noblesse oblige*¹, друг мой. Пророк в запятнанном одеянии — куда это годится?! Я нахожу, что одежда пророка должна быть без единого пятнышка, словно только что из чистки.

Хоть бы она улыбалась. Нет, она прикидывалась наивно-деловитой, что вызывало в нем бессильное бешенство.

— Не думал я,— сказал он обиженно,— что подобные, чисто внешние, соображения заслонят от вас внутреннюю суть вещей.

В ответ на эти жалобы она лишь пожала плечами.

— Внешнее... внутреннее... — сказала она. — Могут вам дать совет лишь с моей, женской и, значит, непосредственной точки зрения. Я, как уже говорила вам, стою за чистоту и ясность. Вы должны знать, что у вас есть долг перед самим собой, и должны его выполнить.

Лицо ее было все так же приветливо.

— Значит, вы хотите, чтобы я обратился в суд? — грубо и прямо спросил Оскар. — Хотите, чтобы я прости-туировал свой дар перед судом?

— Я ничего не хочу,— ответила она мягко, но решительно. — Если у меня просят совета, а это делает иногда и мой муж, я никогда не поддакиваю, я говорю то, что велят мне сердце и разум.

Она наслаждалась игрой, чувствовала, что живет. Да, теперь она может причислять себя к женщинам, которые умеют брать от жизни ее радости, но не

¹ Положение обязывает (*франц.*).

теряют контроля над собой. Пусть кто-нибудь теперь посмеет сказать, что она «пылкая корова».

Он молчал, уйдя в себя, и она дружески сказала ему своим прелестнейшим птичьим голоском:

— Я лично, откровенно говоря, радуюсь предстоящему процессу. Подумайте только, какая гигантская аудитория будет у вас. Ею станет вся Германия. Лучшей возможности показать ваш дар и желать нельзя.

— Это, конечно, вполне правильное соображение,— сказал Оскар.

Он хотел придать своим словам иронический оттенок, но она уловила в них горькую беспомощность, и эта нотка ласкала ее слух.

Да, сердце Оскара было полно горечи. Но горечь внезапно сменилась другим чувством. Раз уж он приехал к ней, то надо хоть что-нибудь выгадать на этом путешествии в Каноссу. Его дерзкие синие глаза потемпели, стали жестокими. От ярости и страстного желания ему стало жарко.

— Так,— сказал он,— а теперь разрешите мне поблагодарить вас за совет.— И он снова подошел к Ильзе и схватил ее своими большими, белыми, грубыми руками.

Но она увернулась тем же гибким движением, что и в первый раз.

— Да вы что, с ума сошли? — спросила она удивленно и весело, как будто между ними никогда ничего не было.

Но он был полон гневной решимости, он сильно желал ее, кинулся к ней, ей трудно было вырваться, наконец удалось. Оба были возбуждены, оба задыхались.

— Вы глубоко заблуждаетесь, дорогой,— сказала она, переводя дыхание: — Я допустила вас к испытанию, но вы его не выдержали. Игра кончена.

Ее лицо стало жестким и веселым, она была очень красива. Только сейчас Оскар до конца понял, каких радостей лишился по своему легкомыслию, какие опасности навлек на себя тем разговором по телефону.

Он отошел от нее, безмерно униженный.

Плевка не стоит весь его триумф. Прав был покойный папаша, правы учитель Ландингер и Гансйорг.

«Обер давит унтера», а он — унтер. И вот он опять остался в дураках.

В его жизни было немало унижений. Пьяные рабочие издевались над ним, когда он выступал в балагане. Как наказанный ученик, стоял он перед Тиршенройтшей, перед Гравличеком, он не раз испытывал унижительное чувство стыда перед Кэтэ и самим собой. Но благодаря его новым успехам эти раны зарубцевались. Теперь, под насмешливо-злым взглядом Ильзы, они вновь раскрылись. Он чувствовал себя как побитая собака. Назойливо вспоминалась фраза, которую когда-то сказал ему в подобной ситуации Алоиз: «У тебя сейчас так отвисла нижняя губа, что хочется на нее наступить».

В этот день, 13 августа, рейхспрезидент Гинденбург ожидал фюрера национал-социалистской партии Адольфа Гитлера.

Фельдмаршал радовался этой встрече; он многого ждал от нее.

Гинденбургу уже не раз доводилось встречаться с господином Гитлером, и тот отнюдь не произвел на него хорошего впечатления; этот субъект невыдержан, неуважителен. С отвращением вспоминал старик свои первые «переговоры» с Гитлером. Тот ораторствовал один чуть ли не битый час, напыщенно и восторженно, как имел обыкновение выступать на собраниях. А он, старый фельдмаршал, привык, чтобы окружающие говорили с ним по-военному, коротко и ясно. Пафос Гитлера, неудержимый поток его речи испугали президента, к тому же он многого не понял из-за ужасного богемско-баварского диалекта, на котором изъяснялся этот молодчик. Не скоро он оправился от неприятного удивления, вызванного этой первой встречей, и с тех пор называл Гитлера не иначе, как «богемским ефрейтором». Но, к сожалению, об этом субъекте много говорили, и президенту пришлось еще не раз встречаться с ним; однажды ему даже дали понять, что следовало бы предоставить Гитлеру какой-нибудь портфель в кабинете, но он, фельдмаршал, проворчал в

ответ: «Этого господина я бы не сделал даже министром почты».

Теперь ему снова заявили, что он должен принять господина Гитлера, даже предложить ему пост канцлера и поручить формирование правительства — этого требует парламентская традиция, ибо, к сожалению, национал-социалисты получили в рейхстаге двести тридцать из пятисот восьмидесяти шести мандатов. Старик выслушал все это утрюмо и недоверчиво; он был очень доволен, когда ему затем сообщили, что прием можно оттянуть, и еще более доволен, когда выяснилось, что переговоры, которые от его имени велись с Гитлером, очень осложнились, что этот господин претендует на всю полноту власти, а между тем нет никакой нужды вручать ему всю власть, достаточно предложить господину Гитлеру второе место; он, однако, ни за что на это не пойдет.

Вот так обстояли дела, и старик, уступая чувству злой старческой мстительности, решил воспользоваться предстоящей встречей, чтобы преподать урок этому молодчику Гитлеру. Гинденбург уже умудрен опытом прежних встреч, он не намерен еще раз терпеливо выслушивать ораторские упражнения богемского ефрейтора и потому составил точный план наступления. Он не слишком одарен, этот старик, не очень образован, он даже гордится тем, что со школьных лет не прочитал ни одной книги. Но долгая деятельность на военном поприще научила его двум вещам: он немного разбирается в стратегии и умеет подолгу стоять. Теперь, готовясь принять Гитлера, президент твердо решил применить свое умение.

И вот он стоит, старый фельдмаршал, очень высокий, очень дряхлый, и его изношенным мозгом владеют две мысли: «Во-первых, не дать господину Гитлеру сесть, во-вторых, не дать господину Гитлеру говорить». Он стоит, окруженный своими ближайшими сотрудниками, выжидательно взирающими на него, держит в руках бумажку, на которой крупными буквами записано, что он должен сказать богемскому ефрейтору, и про себя бормочет: «Во-первых, не дать этому субъекту сесть, во-вторых, не дать ему говорить».

А этот субъект, господин Гитлер, богемский ефрейтор, фюрер, тем временем едет в своей серой машине, сопровождаемый несколькими соратниками, во дворец рейхспрезидента. Фюрер заказал для этого случая новый сюртук, опять длинный, черный, так называемый «гейрок». Портной Вайц робко уговаривал его отказаться от старомодного фасона; но ему, фюреру, строгий, доверху застегнутый сюртук — нечто среднее между офицерским мундиром и одеянием пастора — казался самым подходящим для совещания двух великих политических деятелей.

Эх, надел бы он лучше сегодня свой потертый старый пиджак. Но он не знал, что ему предстоит, не знал, какие козни против него строят. Все те, кто во всех отношениях создал ему кредит и доверие: военные, магнаты тяжелой промышленности, крупные помещики — испуганные успехом нацистов на выборах, все же решили оттеснить его на задний план. Эти хулителю и покровители Гитлера, эти «аристократы», как их обыкновенно называли в нацистской среде, рассчитывали продержаться некоторое время, опираясь на своего рода военную диктатуру и на авторитет Гинденбурга; они не хотели допустить, чтобы нацисты, эти наемные бандиты, стали слишком большой силой, ибо опасались, как бы бандиты не переросли их самих и, сделав свое дело, не захватили бы всю власть в свои руки. Поэтому они решили поставить Гитлера на место, и старик президент со злорадным удовольствием взял на себя эту задачу. Доверенные лица партии, сами введенные в заблуждение, сообщили Гитлеру, что Гинденбург не может составить себе ясной картины о ходе переговоров и окончательное решение вопроса зависит от предстоящей беседы с ним, Гитлером. Гитлер имел основания предположить, что теперь от его красноречия зависит, какая мера власти будет ему отпущена. Теперь уж его дело — выговорить себе наконец всю полноту власти, а в своей способности убеждать словом он был уверен.

И вот, полный радужных надежд, в своем черном сюртуке и цилиндре, держа перчатки на коленях, геройски выпятив грудь, ехал он к президенту:

упрямо и дерзко торчал над усиками его большой мясистый нос.

Он вошел во дворец, вступил в зал, рывком отвесил поклон. Но тут взялся за дело коварный старик. «Не давать садиться, не давать говорить», — твердит он про себя и, строго держась плана, с первой же минуты ставит своего противника в невыгодное положение — не предлагает ему сесть, не садится и сам, заставляет его стоять.

А Гитлер не научился, подобно фельдмаршалу, стоять: Неуверенный по натуре, он, встретив такой прием, становится вдвойне неловким. Тяжелый скруток давит, прошибает пот, клок волос прилип ко лбу, фюрер переминается с ноги на ногу. Но древний старик, опираясь на костыль, стоит против него, как могучий, хоть и одряхлевший дуб. Гитлер ждет возможности произнести речь. Тогда преимущество окажется на его стороне. Тогда, при первом же звуке собственных слов, он вновь выпрямится и будет сильнее этого зловредного старика, который торчит перед ним, точно столб. Но говорить-то фельдмаршал ему и не дает. На сей раз говорит не Гитлер, на сей раз говорит он сам, старый фельдмаршал.

Рейхспрезиденту подают листок, и по нему он читает свою речь: как он мыслит себе образование национального правительства. И это вовсе не кабинет Гитлера, это кабинет, где победоносному фюреру предлагается второстепенное место, где он должен играть лишь вторую скрипку и какую-то смешную роль.

Обманут. Гитлер обманут. Он стоит и потеет, его обошли. Традиции, обычай, торжественный прием — все было лишь предлогом. Его заманили сюда лишь для того, чтобы старик мог нанести ему подлую пощечину своей железной рукой.

Великан-фельдмаршал оглушительно-трескучим голосом с высоты своего огромного роста спрашивает опарашенного фюрера:

— Ну как, господин Гитлер? Угодно вам принять участие в таком национальном правительстве?

Беспомощный, обманутый Гитлер, запинаясь и подыскивая слова, вяло отвечает, что может войти лишь в

такой кабинет, за который сам будет нести всю ответственность, ведь он уже объяснял это представителям президента.

— Я должен быть на руководящем посту! — говорит он.

— Другими словами, вы претендуете на всю полноту власти, господин Гитлер? — угрожающе спрашивает своим басовитым, дребезжащим голосом старик.

Гитлер пытается объясниться. Быть может, ему еще удастся произнести речь, убедить фельдмаршала, заполучить власть.

— Отказаться от революционной перестройки, — начинает он, окрыленный надеждой, — а именно этого требуют от меня ваши представители, было бы тяжелой и безнадежной капитуляцией. Движимый чувством ответственности, я, вождь нации, одержавший победу и все же готовый к жертвам, соглашаюсь на большие уступки. И мои обещания — это обещания. С другой стороны, я, руководитель самой сильной партии в государстве, не могу примириться с тем, что меня оттесняют на второй план, это не соответствует нравственным требованиям истинно немецкого политического деятеля. В этом качестве я должен... — Он уже воспрянул духом от звука собственных слов, он уже чувствует подъем.

Но старик приказывает себе: «Не давать садиться, не давать говорить».

— Все ясно, господин Гитлер, — перебивает он гостя. — Вы настаиваете на том, чтобы получить всю полноту власти. — И, заглянув в свою бумажку, огромный, строгий, он заявляет: — Этого я, по совести, не могу взять на свою ответственность, ибо вы намерены использовать полученную власть односторонне.

Фюрер хочет возразить. Но не имеет возможности. Как только он открывает рот, Гинденбург снова перебивает его.

— Рекомендую вам, господин Гитлер, — предостерегает он фюрера, — по крайней мере, вести борьбу по-рыцарски. — И, заглянув в записку, пускает в ход свой главный козырь. — Впрочем, я весьма сожалею, господин Гитлер, — продолжает он, — что вы отказываетесь поддержать пользующийся моим доверием националь-

ный кабинет, как вы мне лично пообещали перед выборами.

И старик стоит, опираясь на костыль, огромный, как монумент, — одицетворение негодующей честности.

А перед Гитлером, принужденным выслушивать упрёки и выговор, встает образ его папаши, податного инспектора. Это одна из самых тяжелых минут в его жизни.

Он молча откланивается. Ему еще удастся отвесить поклон рывком, как учил его актер Бишоф, но к дверям он уже идет неловкой деревянной походкой, ссутулившись.

Ровно девять минут назад он переступил порог этого зала, надеясь уйти отсюда канцлером германского рейха. Теперь он бредет обратно, униженный, с пустыми руками, и сердце его разрывается от бессильной ярости.

«Наконец-то я довел его до точки, — возликовал Пауль, получив на руки жалобу Оскара Лаутензака. — Наконец ему придется держать ответ». Он пытается отнестись к делу трезво. «В поле выйдет наша рать, и врагу несдобровать», — напевает он. Но ему не удается приглушить свое настроение. Он окрылен. Удлиненные карие глаза сияют, радость красит его худое лицо.

Его спор с Лаутензаком — плодотворный спор. Хотя Пауль и начал его, чтобы открыть глаза Кэтэ, спор этот выходит далеко за пределы личного столкновения — это борьба науки и человеческого разума с суевением.

В эти дни с лица Пауля Крамера не сходила улыбка, то лукавая, то радостная и все же серьезная. Он чаще обычного острил, и удачно и неудачно. Со времени разрыва с Кэтэ он редко бывал у своей подруги Марианны, и она уже намеревалась с ним расстаться. Теперь она находила его таким добродушным, дерзким, оживленным и милым, что примирилась, вздыхая и улыбаясь, с его недостатками. Даже приходившая к нему уборщица отметила, что господин доктор всегда хорошо настроен и что у прежних господ она никогда не слышала так много остроумия и анекдотов.

Пауль даже заказал себе новый костюм, о котором так часто мечтала Кэти. Не мог же он явиться на процесс в потертом коричневом, — Пауль Крамер составил бы слишком резкий контраст с великолепным Оскаром Лаутензаком. И он пошел к портному Вайцу. Тот с веселыми шутками и прибаутками стал показывать ему разные материалы. Была среди них и темно-серая шерстяная ткань, чуть ли не самая дорогая из всех имевшихся у него.

— Зато в таком костюме, — уверял портной Вайц, — господин доктор будет выглядеть прямо героем, представительной солидной личностью. А носить этот материалчик вы будете не год и не два, а до мафусайловых лет. Будете щеголять в нем до самой своей блаженной кончины, поминая добром портного Вайца.

Размышляя о процессе — а он почти постоянно размышлял о нем, — Пауль Крамер мысленно видел перед собой не только шарлатана Оскара Лаутензака, но и весь темный, злой, губительный мир обманутых обманщиков, мир, окружавший этого человека и стоявший за ним. И то, что ему, Паулю, было предназначено помериться силами с этим миром, наполняло его гневной радостью.

В эти же дни Пауль Крамер написал статью о Гитлере как литераторе, одну из тех статей, в которой образ Гитлера предстал во всей своей красе и перед более поздними поколениями. Глубоко убежденный в том, что натура человека при всех условиях отражается в его стиле, Пауль Крамер показал, как отражается мутная душа Гитлера в его мутных фразах. Отчетливыми штрихами обрисовал он этого жалкого имитатора Наполеона, Ницше и Вагнера, это взбесившееся ничтожество, которое, возмущившись своей неполноценностью, стремится всему миру отомстить за эту неполноценность.

Статью прочел, одобрительно улыбаясь в светлую бородку, Томас Гравличек. «Ну, этому попало!» — думал он на своем родном языке. Статью прочел Манфред Проэль. Он ухмылялся превосходным метким

выражениям и думал: «Хорошо, что наша братия в таких вещах ничего не смыслит». Немало умных людей прочло статью с радостью, они говорили: «Превосходный анализ, теперь этот шарлатан стерт в порошок». Прочел статью и Гансйорг. Он подумал и решил: «Скоро вся эта шайка интеллигентов навсегда заткнется». Статью прочел Оскар Лаутензак, он вспомнил о маске, до которой ему уже не дано дорасти, и весь задрожал от ярости и огорчения.

Прочел статью и граф Цинздорф, молодой человек с красивым, порочным, жестоким лицом. Он прочел ее очень внимательно, улыбнулся. Отложил в сторону. Отыскал среди своих бумаг какой-то список. Занес в него имя Пауля Крамера. Подчеркнул это имя.

Фюреру статью не показали. Иногда после чтения подобных вещей на него находил «стих». Дикие вспышки гнева вдруг сменялись глубокой подавленностью; в такие минуты с ним было особенно трудно иметь дело. Решили не беспокоить его подобными пустяками.

Пока Пауль Крамер писал статью, он был в радостно-приподнятом настроении. Но едва он ее закончил, как радость его погасла: он почувствовал себя усталым, опустошенным.

Вот он написал хорошую статью, несколько тысяч людей прочтут ее, несколько сот будут усмехаться и одобрительно кивать умными головами. А дальше что? Дальше ничего. Толку ни на грош. Эмоции, которые возбуждает Гитлер и его Лаутензак, можно побороть не разумом, а опять-таки только эмоциями. Против глупой хитрости этих людей нужно действовать их же средствами. Но этого мы не можем допустить. Мы не умеем. Вот почему мы не ведем за собой массы. Вот почему мы не в состоянии справиться с Гитлерами и Лаутензаками. Они будут действовать, и они нас прикончат.

«А теперь ты еще и лжешь», — сказала ему Кэтэ. Он ясно видит ее крупное, красивое, выразительное лицо, и в нем снова поднимаются те же чувства: ярость, страдание, желание доказать свою правоту. И все же

права Кэтэ, а он лжет самому себе. Его интересует не столько принцип, сколько Кэтэ.

Порой он против воли вспоминает ту встречу в отеле «Эдем». И именно потому, что он не знает, что же, собственно, с ним произошло, его охватывает глухое бешенство, звериная ненависть к Лаутензаку.

И все-таки это благородная борьба. Оскар и его приспешные запаковали всю страну. Они сеют ложь и все обливают грязью. Нельзя дышать одним с ними воздухом. «Это не просто болтовня, это факт», — говорит в таких случаях Марианна.

Это факт, и Кэтэ не права. И вдруг, повинувшись внезапному порыву, он садится и начинает писать письмо Кэтэ.

«Я все же заказал себе костюм, — пишет он, — серого цвета, у Вайца, костюм, который я буду носить, по словам этого классика, «до конца дней своих». И он продолжает писать просто, о самом будничном, будто разговаривает с Кэтэ; и вдруг он доходит до Лаутензака, углубляется в размышления, цитирует Гете: «Особенно ужасно проявление демонического начала в тех случаях, когда оно в том или ином человеке преобладает. Такие личности не всегда стоят выше других по уму и таланту. Но от них исходит ужасающая сила, они получают невероятную власть над живыми существами. Тщетно более светлые умы пытаются доказать, что это обманутые или обманщики, — такого сорта люди притягивают к себе массу». Я радуюсь всем твоим радостям, Кэтэ, — заверяет он ее, — но я не могу себе представить, чтобы этот мрачный шут мог долго доставлять тебе радость. Не давай морочить себе голову. Вернись, Кэтэ, забудем все».

Он останавливается. Ведь только сейчас он признал, что против эмоций нельзя бороться доводами разума. Он представляет себе твердое, точно отлитое из металла лицо Оскара, производимое им впечатление романтической мужественности. И против такого человека он выходит на бой, вооружившись цитатой из Гете? Да он сам, видно, с ума сошел.

Он рвет письмо на мелкие части. Несколько клочков падают на пол. Пауль тщательно подбирает их и бросает в корзину.

Пауль начал энергично готовиться к процессу. Поехал в Мюнхен. Посетил профессора Гравличека. Спросил, можно ли будет вызвать его в суд в качестве эксперта.

Гном не был в восторге от этого предложения. «Разоблачать мошенника — дело полиции, а не науки», — проговорил он пискливым голосом на богемском диалекте. Быть может, это звучит не особенно человечно, но человеческие стороны медиумов его не интересуют. Он пристально взглянул на Пауля Крамера маленькими светлыми глазками. Молодой человек ему понравился, и так как на худом лице Пауля отразилось разочарование, Гравличек продолжал развивать свою мысль.

— Подавляющему большинству людей, — заявил он, теребя маленькими ручками рыжеватую бороду, — к сожалению, самой природой предназначено жить во мраке непреодолимого невежества. В нынешней Германии, по причинам, о которых тут говорить не место, возможность познания особенно ограничена, поэтому разным чародеям здесь так легко воздействовать на людей своими заклинаниями. Неужели вы думаете, молодой человек, что положение хоть на йоту изменится, если мы с вами покажем, какими бесчестными средствами пользуется Лаутензак на своих сеансах? Значит, вы плохо знаете человеческую душу, господин... — он посмотрел на визитную карточку гостя, — господин Крамер.

Паулю понравилась резкая, злая речь гнома.

— Я знаю, — ответил он, — что спор между мной и Лаутензаком вас не интересует. Но из-за шума, вызванного всей этой историей, многие воспримут процесс как решающее сражение между наукой и суевением. Только поэтому я и посмел к вам обратиться.

Томас Гравличек чуть заметно и почти благожелательно усмехнулся. Вероятно, этот молодой человек верит в благородные и важные мотивы, о которых он говорит, но на деле им, разумеется, движут самые примитивные чувства. И профессор Гравличек признался себе, что у него самого возникает озорное мальчишеское желание как следует проучить Лаутензака.

— Послушайте, милейший, — сказал он, и усмешка на его розовом лице проступила яснее. — Я ведь не отказываюсь окончательно. Дайте мне подумать. В ближайшие дни вы получите ответ.

Пауль горячо поблагодарил Гравличека. Старейший профессор и молодой журналист расстались, чувствуя расположение друг к другу, их сблизило молчаливое лукавое единодушие на почве их общей большой задачи и общих маленьких слабостей.

Паулю нелегко дался разговор с Гравличеком, но еще более тягостное чувство он испытал, стоя у двери Анны Тиршенройт. Он ясно понимал, что эта женщина мечется между любовью и ненавистью. Она прикипела душой к Лаутензаку, попала в его сети, как и многие другие, затем пережила жестокое разочарование. Разве не мелочно, не бестактно с его стороны пытаться использовать ее смятение?

А когда он затем взглянул в ее крупное, иссеченное жесткими морщинами, скорбное лицо, мужество окончательно покинуло его. Он заранее обдумал, что именно скажет ей, но серьезный, значительный облик этой женщины, ее серые, усталые и мудрые глаза выражали такую глубокую скорбь, что ему стало страшно подступить к ней со своими плоскими доводами. Он заговорил с усилием, запинаясь.

Оскар Лаутензак, разъясняя он ей, становится все опаснее для общества. Без сомнения, никто лучше нее, художницы, создавшей «Маску», не знает, какой соблазн исходит от этого человека. Но с тех пор, вероятно, она увидела и то безобразное, злое, вредное, что творит Лаутензак. Иначе она не исключила бы из своей выставки такое произведение, как «Маска». Поэтому он просит ее выступить свидетельницей против этого человека.

Анна Тиршенройт слушала. Она смотрела на Пауля своими мудрыми глазами скульптора. Поняла его большую правду, и маленькую ложь, и глубокую ненависть. Когда ей доложили о его приходе, она, разумеется, тотчас же догадалась, зачем он явился. Она хотела посмотреть, что он за человек, этот враг ее Оскара.

Горестно, все с большим разочарованием следила она

за тем, как Оскар, опускаясь все ниже и ниже, превращается в пошлого фокусника. Когда же он подал жалобу на людей, обвинявших его в мошенничестве, — а мошенничество ведь было явным, — она возмутилась его дерзостью и с болью думала о страданиях и поражениях, которые он себе готовит. В то же время в ней проснулась и некоторая надежда, что, быть может, поражение, предстоящее Оскару, вернет его на истинный путь.

Все это она передумала и перечувствовала, слушая Пауля. А слушала она его рассеянно. Ах, все, что доказывает этот молодой человек, она понимает гораздо лучше и гораздо глубже, чем он.

Чего он, собственно, хочет? Ну да, чтобы она публично выступила против Оскара. Не следовало ей принимать Пауля Крамера. Ведь если она, вне себя от гнева и боли, и подумывала о том, чтобы выступить против Оскара и для его же блага во всеуслышание заявить, каким пошлым, низким и пустым он стал, то все же она с самого начала чувствовала, что никогда не решится на такой шаг.

Слушая Пауля, Анна тихонько постукивала палкой о пол. Как он возмущен, как горячится. Он-то почему? У него-то какие причины? Да разве он знает, как низко и подло обманул Оскар тех, кто ему верил и помогал? Пауль предлагает ей публично обвинить Оскара, гневно обрушиться на него перед всем миром. Но ведь никакой пользы от этого не будет, решительно никакой, ни для Оскара, ни для других, ни для нее самой.

Пауль умолк. Он не смел торопить ее с ответом, он едва осмеливался взглянуть ей в лицо, такое утомленное и измученное. Наконец она спохватилась — молчание длилось слишком долго. Своим медлительным, хрипловатым голосом, борясь с одышкой, она сказала:

— Благодарю вас за ваши откровенные слова. Быть может, вы и правы, быть может, было бы полезно показать всем, какой он. Но разве непременно я нужна вам для этого? Вы и сами знаете все, что следует сказать об Оскаре Лаутензаке. А сказать можно многое. Улик против него сколько угодно. Я же — старая, усталая женщина. Нет, лучше вам обойтись без меня.

Весть о том, что Оскар привлекает к суду людей, дерзнувших усомниться в нем, еще усилила сенсацию, которую он производил. Партия целиком стала на его сторону. Где бы и когда бы он ни выступал, его шумно чествовали. Он принимал овации с самодовольным и вызывающим видом. Теперь, когда ему предстояло перед судом помериться силами с противником, он выказывал наглую уверенность в победе.

О нем много говорили в конце лета и осенью 1932 года, в месяцы, предшествовавшие его процессу. Передавали друг другу слухи об оргиях, которые он устраивал на своей яхте «Чайка». Он теперь постоянно появлялся в обществе графа Цинздорфа; назло Гансйоргу Оскар старался всюду и везде показать, как он дружен с графом. Правда, дружба с Ульрихом Цинздорфом обходилась недешево.

Много говорили также о знаменитой красавице, актрисе Варьете, чьи ласки, по слухам, делили между собой Оскар и Цинздорф. Без нее не обходилась ни одна оргия на яхте. По слухам, Оскар однажды внушил ей в присутствии гостей, что она находится в объятиях мужчины; впоследствии зрители шепотом и с азартом рассказывали другим о поведении этой дамы.

Но больше всего толковали о перестройке замка Зофиенбург. Архитектор Зандерс, трясаясь от едва сдерживаемого смеха, рассказывал по секрету о странных прихотях своего заказчика. Он говорил про него: «Со всем спятил» и «бешеный сумасброд». А так как Зандерс, по настоянию Оскара, не приводил подробностей и ограничивался намеками, то о Зофиенбурге пошли совсем уж фантастические слухи. Сам Оскар не допускал на стройку никого из посторонних; когда его спрашивали о его новом жилище, он отвечал лишь загадочной и высокомерной улыбкой. Он часто выезжал в Зофиенбург и был гораздо больше занят строительством, чем предстоящим процессом.

Заботы о процессе он предоставил Гансйоргу. Это было нелегкое, тягостное дело. Исход процесса, бесспорно, зависел от дальнейших успехов нацистской партии. Надо было выждать, пока нацисты придут к власти.

Но, как назло, всю вторую половину 1932 года их влияние падало. «Аристократы», испуганные крупной победой этой партии на июльских выборах, упорно проводили свою программу. Они управляли страной, опираясь только на авторитет Гинденбурга и на рейхсвер, а победившую партию отстранили. Финансисты стали прижимистыми, избиратели охладели к нацистам. Внутри партии начался разлад, многие лица и группы отвернулись от нее. На новых выборах, всего лишь несколько месяцев спустя после большой победы, нацисты потеряли шестую часть своих мандатов.

Нет, нельзя было допустить, чтобы процесс начался при таких обстоятельствах. Гансйорг и нанятые им адвокаты уже три раза добивались отсрочки. Четвертой отсрочки суд не предоставил.

Когда Гансйорг намекнул Проэлю, что следовало бы нажать на все пружины, тот ответил весьма сухо. Точно играя в какую-то жестокую и капризную игру, он в последнее время оказывал предпочтение красивому, необузданному, знатному и бессовестному Цинздорфу. «В данный момент я не могу заниматься второстепенными вещами,— решительно заявил Проэль Гансйоргу.— Обстановка слишком серьезна, я не стану размечиваться на мелочи. Уж на сей раз вам придется выпутываться самим»,— добавил он.

Попав в столь затруднительное положение, Гансйорг обратился к Хильдегард фон Третнов. Он не ждал слишком многого от этого шага. Бессовестный Оскар, вопреки его, Гансйорга, советам, игнорировал Хильдегард, словно последнее ничтожество. «С другой стороны,— размышлял Гансйорг,— такая женщина, как Хильдегард, из одного самолюбия не допустит падения человека, которому она некогда оказала услугу».

Когда он заговорил об Оскаре, на ее резко очерченном лице выразилось удивление и недовольство. Но Гансйорг призвал на помощь всю свою изворотливость, сыграл на ее чувствительных струнках, польстил ее тщеславию. Ведь Хильдегард фон Третнов вложила немало души во вдохновенные прозрения Оскара. И разве не от нее исходила самая мысль о его переезде в Берлин? Если Оскар, под натиском чуждого ему внешнего

мира, порой и забывает об этом, он все же остается созданием Хильдегард фон Третнов.

Гансйорг смотрел на высокую, элегантную даму почтительно и дерзко. Он видел ее красивые, рыжеватые волосы, тонкий нос с горбинкой, притягивающий шалый взгляд. Оскар преступно избалован, а то бы ни за что не пренебрег этой женщиной. Он, Гансйорг, повел бы себя совсем иначе. Жаль, что инстинкт не подсказывает женщинам, какой любовник пропадает в нем.

Оттого что Хильдегард так нравилась Гансйоргу, он говорил с большим подъемом. И она, слушая его, постепенно забывала, какой неблагодарностью отплатил ей Оскар, как грубо пренебрег ею. Гансйорг говорил ей о «нашем Оскаре», «нашем балованном ребенке», и словечко «наш», создавая связь между ним и Хильдегард, значительно облегчало дальнейшую беседу.

— Наш Оскар, — уверял он свою собеседницу, — полон горечи и тоски, он ведь видит, как несправедливо судят теперь о нем те, у кого он встречал такое признание, как будто враждебное настроение против нацистов целиком сосредоточилось на Оскаре. И когда начнется процесс, судьи, без всякого сомнения, рады будут нанести удар пророку.

Хильдегард слушала его задумчиво и растроганно. Все это правда, Оскар Лаутензак стоил ей немало денег, времени, труда, сил. И что же, все это пропадет? Не лучше ли пойти на новые затраты? При данном положении вещей, уверял Гансйорг, она, и только она, может помочь Оскару. Дело Оскара — это ее дело. Нельзя допустить, чтобы процесс проходил в столь враждебной атмосфере. Она должна использовать все свои связи и добиться отсрочки.

Гансйорг смотрел на нее все более дерзко, все почтительнее, все с большим вожделением. Нельзя сказать, чтобы это не нравилось Хильдегард. Она вспомнила о своих беседах с ним в Моабитской тюрьме, о том, как поднялась решетка, разделяющая их, вспомнила едва уловимый, возбуждающий запах крови, приключений и насильнического патриотизма, исходивший от этого человека и будораживший ее. Конечно, Гансйоргу не хватало той искры, которая чувствовалась в Оскаре, но

между братьями Лаутензак было и что-то общее — во взгляде, во всей повадке.

— Дорогой Гансйорг, — сказала она, — не понимаю я вас: такой умный, бывалый человек, как вы, теряет сон и аппетит из-за подобных пустяков. Пришли бы сразу к вашей Хильдегард.

Она что-то записала в свою книжечку.

— Вопрос об отсрочке я улажу, — заявила она решительно. — Можете на меня положиться, дорогой мой. И спите спокойно.

Она не переоценила своих возможностей. Процесс был отсрочен, и на столь долгий срок, о котором Гансйорг не смел и мечтать. Если национал-социалисты до тех пор не придут к власти, то им уж никогда до нее не добраться.

Гансйорг поехал к баронессе. Пылко поблагодарил благосклонную, златокудрую Норну, которая спряла эту пряжу. Еще выразительней смотрел на нее, а она нашла еще больше сродства между братьями. Забота об отсутствующем друге, о непрактичном ясновидце все больше сблизжала Хильдегард фон Третнов с Гансйоргом, который твердо решил исправить то, что легкомысленный Оскар чуть не погубил навеки. Он, Гансйорг, ни за что не допустит, чтобы порвалась восстановленная связь с этой обаятельной знатной дамой.

Неудачи все еще преследовали нацистов, но фюрера это не тревожило. Перед ним лежал ясно начертанный путь: надо было только вовремя поворачивать то вправо, то влево. Он часто открывал ящик письменного стола и показывал своим приближенным лежащий на дне револьвер. «Кто полон железной решимости победить или умереть, у того вера в будущность Германии останется неизменной даже в самые тяжелые минуты», — говорил он многозначительно.

А среди противников нацистской партии, среди «аристократов», тем временем начались разногласия. Военные, аграрии, банкиры, заводчики ссорились между собой и интриговали друг против друга. И каждая группа, когда ей наносили чувствительный удар, вспо-

минала о нацистах, и каждая группа, стремясь окрепнуть и успешнее бороться с другой, подумывала, не нанять ли ей снова бандитов, которым только что демонстративно дали расчет.

Человек, занимавший пост рейхсканцлера и военного министра, задумал раз навсегда покончить с таким безобразным явлением, как нацизм. Старик Гинденбург охотно предоставил бы ему свободу действий; он всем сердцем почитал прусскую военную традицию, честь, верность и силу. Но, с другой стороны, старый фельдмаршал, после того как его умные друзья, аграрии, в знак благодарности преподнесли ему от имени всей нации поместье Нойдек, проникся любовью и к сельскому хозяйству. А военный министр, чтобы прибрать к рукам строптивых юнкеров, грозился разоблачить их, показать, как плохо эти господа хозяйничают и как неумеренно пользуются помощью государства и его казной. Но стоило только военному министру лишь чуточку приоткрыть этот котел, как пошло зловоние, что явилось угрозой не только для аграриев, но и для Гинденбурга — владельца имения Нойдек. Об этом министр не подумал.

И вот престарелый фельдмаршал оказался в конфликте с самим собой. На чью сторону стать? На сторону тех, кто защищает, или тех, кто кормит? Что важнее — германский меч или германский хлеб?

Умные друзья посоветовали фельдмаршалу пойти на компромисс. Богемский ефрейтор, этот бандит, дал честное слово, что, если его сделают канцлером, он так крепко закроет крышку зловонного котла, что даже самый чувствительный нос ничего не ощутит. Кроме того, он готов теперь согласиться на некоторые ограничения, которые помешают ему злоупотреблять властью. Так будут соблюдены интересы военной касты наряду с интересами юнкерства, а честь старого фельдмаршала не будет запятнана грязью, которой угрожали его обдаты недисциплинированные представители военной власти.

Восьмидесятипятилетний фельдмаршал не вполне разбирался в этом хитросплетении причин и следствий, но ему все разъяснили. Он безуспешно силился разрешить противоречие между своими двумя обязанностями

и пришел к выводу, что обстоятельства изменились; теперь он может с чистой совестью предоставить власть господину Гитлеру. А если она будет ограничена точными оговорками и если богемский ефрейтор лично ему пообещает твердо держаться этих оговорок, тогда и по-давно нечего беспокоиться.

На том и порешили. И фюрер снова отправился к престарелому фельдмаршалу. Еще полгода не прошло с тех пор, как коварный старик всадил ему нож в спину. Но на сей раз Гитлер принял меры предосторожности. На сей раз все до мельчайших подробностей было продумано. На сей раз его сюртук оказался к месту.

— Говорят, господин Гитлер,— сказал фельдмаршал,— что вы уже не требуете всей власти и согласны придерживаться тех ограничений, какие обсуждали с вами мои подчиненные. Вы действительно согласны? Можете вы мне дать торжественное обещание?

— А как же,— ответил фюрер.— Бог тому свидетель. Даю вам честное слово, господин рейхспрезидент. Если я говорю «да», так это уж твердо. Что обещано, то обещано.

Президент стоит, как могучий старый дуб.

— Ну, во имя божье,— говорит он своим низким, дребезжащим голосом и торжественно смотрит в глаза человеку в сюртуке.

Тот так же торжественно перекладывает перчатки из правой руки в левую, подает правую старику и многозначительно произносит серьезным, бархатным голосом:

— Клянусь.

Вечером того же дня штурмовики, эта армия нацистов, парадным маршем проходят мимо здания рейхсканцелярии. У одного из окон стоит Гинденбург, у другого Гитлер. Фельдмаршал машинально и по-стариковски весело постукивает своей палкой в такт музыке. А Гитлер, именно теперь, когда он достиг вершины, нервничает, дрожит, делает судорожные усилия сохранить спокойствие и вынужден снова и снова отлучаться на короткое время.

Но в душе он ликует: хойотохо! так разит меч Зигфрида!

Значит, исход процесса предreshен. Разве Оскар этого не предсказывал? То, что противники замышляли ему на погибель, обернулось большой удачей; коварство власть имущих посрамлено, верх берет его талант, его везенье.

До процесса осталась какая-нибудь неделя. В эту неделю, полную радостных ожиданий, Оскару предстоит уладить одно неприятное дело, от которого он все время уклонялся. Необходимо поговорить с Алоизом. Алоиз должен выступить свидетелем на процессе, противники на этом настаивают. А если его хорошенько не подготовить, то он, с его характером, наделает глупостей. Нет смысла инструктировать его через адвокатов — он только еще больше заупрямится. Оскар вынужден взять это на себя.

Алоиз отлично отдохнул в Мюнхене во время летнего отпуска. Соприкосновение с родной землей влило в него новые силы. Он нашел способ согласовать свою любовь к другу с любовью к родине, даже осенью и зимой. Он перестал считаться с расходами, и всякий раз, когда позволяло время, мчался в Мюнхен хотя бы на одну ночь. Там его всегда ждала квартира на Габельсбергерштрассе, экономка Кати, старый халат и стоптанные туфли. При такой спешке нельзя, конечно, отдохнуть как следует, по-королевски, по-баварски, но ведь абсолютного счастья на свете не бывает, и для Алоиза Пранера судьба не сделает исключений.

В общем, к Алоизу теперь было легче подступиться, и резкие горячие споры, все еще происходившие между друзьями, потеряли свою остроту. И все же Оскару трудно было пересилить себя и заговорить с Алоизом о процессе.

Действительно, Алоиз никак не мог понять, чего от него хотят.

— А почему я не могу говорить то, что есть? — негодовал он. — Ведь мы с тобой фокусники. Разве это позор?

Когда же Оскар, после долгих влияний, решительно потребовал от Алоиза ни за что не признаваться, что в некоторых случаях они применяли трюки, возмущенный Алоиз спросил:

— Как же так? Ведь я принесу присягу. Прикажешь мне совершить клятвопреступление? На старости лет отправляться на каторгу из-за тебя?

Оскар многозначительно промолчал, и тут в Алоизе поднялась долго копившаяся ярость — он вспомнил все, что ему пришлось годами терпеть ради Оскара.

— Нет уж, хватит, — кричал он своим глухим голосом. — Не позволю больше издеваться надо мной! Что я тебе — половая тряпка? Негодяй! Пес!

Оскар чуть не взорвался. Хотел втолковать Алоизу, что только жалкий мещанин способен наложить в штаны при слове «клятвопреступление». Но Алоиз коварен, от него можно ожидать, что он отомстит ему, дав двусмысленные показания на процессе. Памятуя это, Оскар удержался и ограничился серьезным предостережением.

— Недеюсь, ты сам одумаешься и более высокую истину предпочтешь формальной.

Алоиз злобно взглянул на него.

— Убирайся к чертовой матери со своей высокой истиной, — угрюмо проворчал он.

Кэтэ в те дни подолгу сидела одна в своей маленькой квартирке на Кейтштрассе.

Весть о том, что Оскар и Пауль предстанут перед судом, очень испугала ее. Для нее предстоящий процесс был глубоко личным спором, поединком между двумя самыми близкими ей людьми. И суть предстоящего суда для нее состояла не в том, кто из них будет признан правым, а в том, как раскроется натура одного и другого. Она ясно понимала, что каждый из них нанесет противнику глубокие, может быть, смертельные раны. Ведь по силе они были равны друг другу. Если на стороне Пауля — острый, светлый, ясный ум, если он превосходит своего противника способностью логически мыслить, то от Оскара исходит глухая, первобытная, необоримая сила, покоряющая людей.

Кэтэ, во всяком случае, не могла обороняться от этих чар. Голос Оскара затоплял ее разум, точно музыка, которая переворачивает душу и уносит на своих

волнах. Когда он устремлял на нее свои дерзкие синие глаза под черными густыми бровями, когда она ощущала прикосновение его больших белых рук, у нее дрожали колени. Все ее существо рвалось к нему, растворялось в нем.

В последние дни достаточно было только одной мысли об Оскаре, чтобы глубоко всколыхнуть ее чувства. Ей казалось, что она беременна. В ближайшее время это выяснится.

Кэтэ хотелось поговорить с Оскаром о своих надеждах, страхах, сомнениях. Она знала, что он желал бы жениться на ней; стоит ей сказать слово — и он предложит ей стать его женой. Но все, что в ней еще сохранилось разумного, восставало против такого шага. Не желает она еще теснее связывать себя с ним, боится этого, не хочет совместной жизни. Но и терять его не хочет. Пусть Оскар — отравя, но она уже не может себе представить жизнь без него.

В самый разгар своих сомнений и страданий она получила телеграмму из Лигница, ее родного города. У отца был сердечный приступ. Непосредственной опасности уже нет, но не мешало бы ей повидаться с ним.

У кого просить совета и помощи? Надо бы забыть свою глупую, злую ссору, пойти к Паулю, поговорить с ним откровенно и честно. Но как раз теперь, накануне злосчастного процесса, нельзя этого делать. Как раз теперь она не может помириться с ним. Оскар был бы прав, если бы назвал это предательством.

Еще не дочитав телеграмму, Кэтэ решила поехать в Лигниц. Поездка избавит ее от необходимости встречаться с Оскаром во время процесса, видеть его высокомерное торжествующее лицо и при том знать, что он наносит удары ее брату. Раз она не может говорить о своих сомнениях с Паулем, пусть, по крайней мере, Оскар своим присутствием не влияет на ее решения. Вдали от Берлина, наедине с собой, в тихом городке, где протекало ее детство, она скорее справится с одолевающими ее сомнениями. Она поедет в Лигниц, поедет сейчас же.

Кэтэ позвонила Оскару. Сообщила о своем решении. Оскар до сих пор избегал говорить с ней о процессе.

В своей победе над Паулем он был уверен, но не был уверен, что борьба с Паулем не усилит отчужденность между ним и Кэтэ. В сущности, ее отъезд — очень кстати. Она рассчитывает провести у отца две-три недели. Таким образом, она не будет свидетельницей его торжества, но зато в дни процесса он не будет чувствовать на себе ее испытующий, недоверчивый взгляд.

Однако ему нужно еще кое-что сказать ей. Ведь он решил, прежде чем переехать в свой новый дом, предложить ей выйти за него замуж.

Замок Зофиенбург будет закончен в ближайшее время, значит — еще до ее возвращения из Лигница. Не поговорить ли с ней теперь, до ее отъезда? Или подождать, пока она вернется, пока для нее будет закончен волшебный замок Клингзора?

Как бы то ни было, он должен повидаться с ней перед ее отъездом. От того, как она будет держать себя, от выражения ее лица будет зависеть, сделает ли он ей предложение.

И Оскар горячо заявил Кэтэ, что раз она уезжает, то, по крайней мере, должна провести с ним этот последний вечер.

Вернувшись, она уже не застанет его на Ландграфенштрассе, он переселится в Зофиенбург. Надо устроить праздник на прощанье, перед началом новой жизни.

Она была в нерешительности, он настаивал, она согласилась.

Оскар многого ждал от этого вечера. Он ее проверит, он подвергнет испытанию ее любовь. Войти в замок Зофиенбург полновластной хозяйкой может только та женщина, которая безгранично в него верит, всецело ему принадлежит. Она должна сделать выбор между своим братом, своим прежним миром и той новой жизнью, куда он, Оскар, хочет ее ввести. Он поговорит с ней о процессе, и если она скажет: «Оскар, мой брат перед тобой не прав», — значит, она выдержала испытание, и он предложит ей вступить с ним в брак. Если она скажет: «Не знаю», — он промолчит.

В этот вечер он впервые заговорил с Кэтэ о своей тяжбе с Паулем Крамером. Объяснил ей, почему высшая правда на его, Оскара, стороне.

— Формально, — разъярялся он ей, — твой брат прав, обзывая меня мошенником. Нечто от фокусника есть в каждом маге, в каждом основателе религии, в каждом творце нового мировоззрения. Если бы Адольф Гитлер был только фюрером, если бы он не был в то же время актером, комедиантом, он не поднялся бы так высоко.

И Оскар пропел Кэтэ тот гимн мошенничеству, который в свое время спел ему Гансйорг. Но в устах Оскара этот гимн звучал более вдохновенно, более патетично. Его певучий голос передавал все, во что верил Оскар, во что он хотел заставить верить других. Он произнес целую речь — эта речь была так построена, чтобы найти доступ к Кэтэ.

И ею снова овладело чувство, захватившее ее, когда он впервые диктовал свою книгу в бюро «Кэтэ Зеверин. Стенография. Переписка на машинке». Она жадно слушала музыку его слов, блаженно качалась на волнах его красноречия. Но вдруг перед ней предстало худое, умное лицо брата, и в красивые фразы Оскара врезался нетерпеливый, высокий голос Пауля: «Это не интересно». Ее разум насторожился, она стала освобождаться из-под влияния музыки Оскара.

— Прости, — сказала она, — разве это, по существу, не то самое, в чем тебя упрекает Пауль? А если так, почему ты пожаловался на него в суд?

Оскара эти слова сразили. Он был уже уверен, что завоевал ее.

— Совсем это не то, что он говорит, — раздраженно возразил глубоко задетый Оскар. — Тон делает музыку. Этот крючоктвор своим толкованием все переиначивает.

Кэтэ, как будто без всякой видимой связи, сказала:

— Но я люблю тебя, Оскар. — Это прозвучало нежно, скорбно.

Оскар почувствовал искренность ее слов, он был ошарашен ими. Но сейчас же снова рассердился. Разве это любовь, если не веришь в того, кого любишь? Ведь любить — значит верить в любимого, несмотря на его слабые стороны. Ему стало горько. Нет ему счастья. Те, кто его любят, слишком ясно видят его недостатки, не прощают их. Анна Тиршенройт, Кэтэ — нет у него лучших друзей, нет у него худших врагов.

«Но я люблю тебя, Оскар», — она ведь сказала чистейшую правду. В этих словах выражена вся ее внутренняя готовность, ее желание верить ему. Теперь все зависит от него. Он должен ей помочь. Он может ее околдовать, может внушить ей эту веру, как гипнотизер он не имеет себе равного, уж этого никто не будет оспаривать. Он должен заставить Кэтэ преодолеть сомнения, которые посеяли в ней злые люди. Он должен укрепить в ней веру. Это ему по силам.

Оскар подготавливает Кэтэ, расслабляет ее. Надо сначала внушить ей несложные мысли и проложить путь более сложным. Он бережно берет ее руку.

— Итак, это наш последний вечер на Ландграфенштрассе, — говорит он.

Про себя он приказывает ей подойти к нему ближе, покинуть этот зал, из роскошной библиотеки перейти в его келью. Он с удовлетворением видит, что ее лицо становится задумчивым, что она делает над собой усилие, ищет чего-то в себе самой.

— Не покажешь ли ты мне еще раз свою маску? — спрашивает она. — Не ту, которая висит здесь, а твою любимую.

Первая попытка удалась: она повинуется ему. Он про себя смеется над тем предложением, которое она придумала, чтобы удовлетворить более глубокое желание — его желание.

Они идут в келью. Про себя он приказывает ей сесть. И вот она сидит за облезлым письменным столом из Дегенбурга, все с тем же задумчивым, ищущим выражением лица, погружая свои красивые, тонкие, большие руки в пеструю грудку сверкающих самоцветов, как он ей безмолвно приказывает.

Теперь она подготовлена. Теперь он попытается внушить ей более важные мысли.

Он продолжает говорить о безразличных вещах. Каким поездом она поедет, где будет жить по приезде в Лигниц: в гостинице или у отца? Кэтэ слушает, отвечает. Но на ее лице остается все то же ищущее, напряженное выражение; а он, продолжая болтать о пустяках, собирает все свои силы, просит ее, закликает, приказывает: «Выви его с корнем, свое неверие, свои

глупые сомнения. Верь мне, верь мне. Я одарен этой силой. Верь мне».

Руки Кэтэ равномерными движениями перебирают камни, деловито, как будто выполняя задание, ее лицо становится еще напряженнее, она еще глубже погружается в себя, она хочет повиноваться ему, это ясно, стремится к этому всей своей волей. «Верь мне, верь мне»,— приказывает он ей все с большей силой, с большей горячностью. Ее лицо застывает, глаза выражают муку, черты заостряются. Это в ней действуют силы сопротивления, дьявол интеллектуализма. Необходимо изгнать его, и он изгонит его. «Верь мне, верь мне»,— умоляет он, приказывает.

Она делает последнее отчаянное усилие. Ее руки скользят, хватают камни, ее пальцы стремятся что-то удержать, но это «что-то» вновь и вновь уходит от нее. «Я ведь должна что-то поймать, я ведь хочу поймать. Надо же сказать это, почему же я не говорю?» И вот наконец — схватила. Вот оно, это слово! Найдено! Она уже открывает губы.

Обрадованный Оскар ждет. Его большие руки делают движение, как бы помогая ей извлечь что-то из себя, поднять. Он весь — радостное напряжение.

Однако слово не вылетает из ее открытых уст. На какую-то долю секунды оно явилось, но опять ушло в глубину, никто никогда уже не сможет поднять его на поверхность. Перед ней возникла новая картина, она заслонила собой это слово — новая отчетливая картина. Кэтэ ее не звала, никто ее не звал, но она здесь, яркая, слишком яркая, она целиком заполняет сознание. Перед Кэтэ — ее брат Пауль и вращающаяся дверь ресторана, он кружится вместе с дверью и не может найти выход.

Вдруг она очнулась. Она видит свои руки, бессмысленно играющие камнями, она спрашивает себя: «Что я делаю?» — и вынимает руки из вазы с самоцветами.

Проводит ладонью по лбу, откашливается.

— Уже поздно,— говорит она своим чистым голосом.— Мне пора идти. Завтра рано вставать. Хорошо, что я провела этот вечер с тобой.

Оскар ее не удерживает. Он знает, что потерпел поражение.

Он приказывает Али подать машину. Вежливо провожает Кэтэ до парадной двери. Они с минуту ждут, затем подходит машина. Оскар остается у дверей и смотрит ей вслед, пока она не скрывается из виду.

«Тем хуже,— говорит он громко, гневно,— тем хуже для нее». И возвращается к себе. «Глупа, до чего глупа»,— бранится он. Подходит к холодильнику, достает бутылку пива, наливает стакан. «Глупа»,— с ожесточением повторяет он.

Одинокó сидит он в роскошной библиотеке; на великолепном письменном столе стоит обыкновенная бутылка с пивом, обыкновенный стакан.

Кэтэ любит его — это не подлежит сомнению. Но даже женщина, которая его любит, и та ускользает от него, даже над ней он не властен. Даже ее волю он не может освободить от чуждых влияний — он, ловец чело-веков. Был — и весь вышел. Растратил всю свою силу на дешевые фокусы.

Он достает вторую бутылку пива. Сидит в библиотеке, сидит и пьет, и думает, и бранится. Гипнотизировать умеет каждый школьник. Такой опыт, как сегодня с Кэтэ, прежде был для него сущим пустяком. Значит, права Тиршенройт, прав Гравличек, коварный гном. Дарование его пропало, он его промотал.

Оскар снова идет к холодильнику, но пива больше нет. Он будит слуг, поднимает страшный скандал. Али спрашивает его, не угодно ли ему чего-нибудь другого. Ведь в холодильнике есть коньяк, и виски, и шампанское, и всякие вина; в последнее время пива почти никто не требовал, разве что господин Калиостро. Но Оскар продолжает браниться. На что ему нужно это дерьмо шампанское? Пива он хочет. Подать сюда пива. И Рихард, второй лакей, вынужден среди ночи отправиться за пивом.

Он возвращается с пятью бутылками. И снова сидит Оскар в роскошной библиотеке, за громадным письменным столом, а перед ним выстроились бутылки. Он включает все лампы, кроме одной, и остается в полумраке; маска померкла, «Лаборатория алхимика» померкла, а он сидит и пьет.

Шампанское? Да, шампанское он может пить с утра до вечера, но за него он дорого заплатил. За это дерьмо шампанское он продал душу. И в довершение всего это пошло ему даже не по вкусу. Пиво нравится ему куда больше. Он с самого начала знал, что Тиршенройтша права, но поддался Гансу. Гансль обвел его вокруг пальца. Гансль показал ему все сокровища мира. Вот каковы они — эти сокровища: шампанское вместо пива. И ради этого он погубил свою душу.

Он рыгает. Он сильно пьян. Душа — это чушь, но и шампанское тоже чушь. Не следовало ему отпускать Кэтэ. Надо было, по крайней мере, переспать с ней. Чего она не видала в Лигнице? Она принадлежит ему.

Во всем виноват Ганс. Этот сукин сын, эта шваль. Нет, не Ганс, Гравличек.

Он с трудом подходит к книжной полке, с трудом достает толстый том в серо-голубой бумажной обложке. «Томас Гравличек. Основы парапсихологии». Дрожащими руками, но решительно вырывает он страницы одну за другой и бросает их в корзину для бумаги. «Вот где тебе место», — говорит он, сам не зная, относится это к Гансу или к Гравличеку. Затем поливает эти страницы пивом, топит их в пиве, разглядывает кольцо на своем пальце, потом смятые, намокшие листы, медленно поливает их снова, и на его мясистом лице блуждает глупая, довольная улыбка.

«Чушь, — говорит он. — Все это гроша медного не стоит». И снова пьет. Он так одинок, что впору завывать.

Пауль Крамер поехал в суд. В новом темно-сером костюме сидел он в вагоне трамвая, молодой, худощавый, освеженный крепким сном, готовый к бою.

Пауль ни на минуту не сомневался, что теперь, после победы надистов, его осудят. На этом процессе никому не будет дела до выяснения истины, до установления фактов. Все с начала и до конца, несомненно, окажется лишь забавным и трагическим, жалким и грубым фарсом, в котором каждому заранее отведена особая роль — судьям, свидетелям, экспертам, адвокатам, Лаутензаку. И самая неблагодарная — ему, Паулю.

Однако полная уверенность в предстоящем поражении не удручала Пауля. Ему придется уплатить огромную сумму, целые годы жить в ужасающей бедности, может быть, его на некоторое время посадят за решетку, а сидеть в тюрьме при нацистском режиме удовольствие, конечно, маленькое. И все же он ехал в суд с гордо поднятой головой. Он не был склонен к пафосу, но не мог не чувствовать себя носителем определенной миссии. Пусть хоть кто-нибудь покажет будущим поколениям, что даже в гитлеровской, лаутензаковской Германии нашлись люди, которые посмели среди всеобщей глупости и трусости встать и заявить: все это ложь, все это глупость.

Далеко за границами рейха стало известно, что бесовские авантюристы использовали Лаутензака и его сомнительное искусство — телепатию в своих политических целях и что человек этот с восторженной готовностью дал себя использовать. Не случайно взлет этого мошенника и расцвет его «германской мистики» совпали с торжеством Адольфа Гитлера и его идеи «тысячелетнего рейха». Пауль Крамер имел все основания предполагать, что не только он понимает символичность своего спора с Лаутензаком.

Правда, этот спор при теперешнем положении вещей безнадежен. Одиночка, выходящий на бой против безмозглой физической силы, вооружившись только своей правотой, это — Дон-Кихот. «Лучше немного силы, чем много прав», — справедливо говорит немецкая поговорка. Но Пауль ни в чем не раскаивается. Он весело улыбается, думая о Лаутензаке, несомненном «победителе». Лучше быть Дон-Кихотом, чем мельницей, которую принимают за великана.

Когда Пауль Крамер предстал перед судьями, худой, гибкий, с умным, живым лицом и прекрасными, выразительными карими глазами, многие смотрели на него с симпатией, и он радовался этому. Но рядом с воинствующим Паулем Крамером стоял, как всегда, Пауль-созерцатель, и от него не укрылось, что в этой симпатии с самого начала чувствовалось нечто покровительственное. Ибо он защищал безнадежное дело, и потому даже сочувствие друзей было слегка окрашено тем презре-

нием, которое обыкновенно вызывают неудача и несчастье.

Много времени ушло на формальности, и у Пауля было достаточно досуга, чтобы разглядеть своего противника. Раньше он видел его на сцене и в отеле «Эдем», теперь мог рассмотреть вблизи, он ощущал дыхание этого человека, полного животной алчности, этого комедианта до мозга костей, и все в нем было противно Паулю. Он ненавидел его всем сердцем и чувствовал сострадание к Кэтэ; ему было стыдно за нее, стыдно за то, что она имеет отношение к этому спесивому петуху.

Наконец все формальности были закончены, и началось слушание дела. Судьи с самого начала старались затемнить основной вопрос: обманывал ли Оскар Лаутензак публику, прибегал ли к недозволенным трюкам? Вместо этого судьи всеми силами помогали Оскару блеснуть своим искусством, которого никто не оспаривал, и уклониться от обсуждения истинного предмета спора. Судьи прикидывались, будто искренне стараются установить истину, а на самом деле бежали от нее. Пауль был охвачен гневным изумлением: неужели возможно, чтобы достойные ученые мужи, поседевшие на почетном посту, восседая в своих парадных мантиях, поддались этой дурацкой комедии?! Неужели им не стыдно?

А все эти люди, собравшиеся в зале, неужели они не интересуются фактами? И весь этот процесс для них всего-навсего захватывающий сенсационный спектакль? Воинствующий Пауль, оскорбленный праведник, возмущался. Ведь всякому видно, что здесь замазывают истину и оскорбляют право. Неужели никто не встанет, не крикнет: «Все это наглый, глупый фарс!»

Но из-за плеча Пауля-борца все время выглядывал Пауль-созерцатель, он окидывал зал критическим, проническим, мудрым взглядом. Он, созерцатель, понимал людей, которые были глубоко равнодушны к фактам и хотели одного — позабавиться этим цирком. Понимал он и судей: они играли этот лживый фарс ради куска хлеба, ради своей семьи, ради своей пенсии. Пауль-созерцатель бранил Пауля-борца за то, что он, уже так

много повидавший на своем веку, все еще возмущается несправедливостью мира и несовершенством человеческой природы.

В общем, для подсудимого Пауля Крамера вся эта комедиантская сторона процесса была помехой — охватившее его возмущение и присущая ему способность критического анализа не давали сосредоточиться.

Истцу же Оскару Лаутензаку именно эта театральность была на руку. Чувствуя себя как бы на сцене и зная, что на эту сцену устремлены глаза всего мира, Оскар воодушевился. Сознание того, что каждое произнесенное им слово, каждый жест будут тотчас же переданы по телеграфным проводам во все концы света, поднимало его настроение. И он использовал все возможности, которые ему предоставил этот грандиозный спектакль. Был дерзок, самоуверен, вежлив, глубокомыслен, насмешлив, загадочен, обольстителен, величав, гибок, властен и полон чувства превосходства.

С царственно спокойной наглостью он признал, что да, иногда потешал публику «ловкостью рук». Еще с ранней юности он любил ошеломлять людей диковинными фокусами. Такова уж натура художника: ему приятно уходить из мира действительности в мир вымысла, украшать серьезное и глубокое какими-нибудь причудливыми завитками. Он никогда и не скрывал, что сочетает серьезные опыты с разного рода трюками, в духе Тиля Уленшпителя, и уже самое название, которое он избрал для своего представления — «Правда и вымысел», показывает, что он не намерен ограничиваться строго научными экспериментами — и это должно быть ясно каждому непредубежденному человеку. «Но когда дело шло о самом существенном, — подчеркнул произнес Лаутензак, — я никогда не играл и не лгал. Никогда фокусник Лаутензак не мешал ясновидцу Лаутензаку и тем более не подменял его».

Только на одно мгновение он утратил свое спокойствие, когда защитник Пауля Крамера спросил, верно ли, что существует рукопись, в которой сам Оскар ясно очертил границы телепатии. Не заявил ли господин Лаутензак в статье, рукописный экземпляр которой имеется, что некоторые эксперименты — как раз те, ко-

торые он сам теперь проделывает,— являются шарлатанством? Оскар к этому подготовился, и все же при этом вопросе у него засосало под ложечкой. Он испугался — не держит ли защитник в резерве Анну Тиршенройт, не появится ли здесь, опираясь на палку, старуха с крупным скорбным лицом. До сих пор он отвечал на все вопросы без запинки, но тут на несколько секунд онемел. Однако он взял себя в руки и вызывающе ответил: «Да, он вспоминает, есть такая рукопись. Но там говорится исключительно о телепатии, а телепатия — это лишь одна из ветвей мощного дерева оккультных наук. То, что для телепатии недостижимо, вовсе не является непостижимым для других таинственных сил души».

— Во мне,— многозначительно заключил он,— из года в год растут силы, не имеющие ничего общего с телепатией,— силы, о которых я прежде даже не мог и мечтать.— Рассуждения противника он назвал буквоедством и тем окончательно свел на нет значение документа, в котором были изложены его собственные взгляды.

Защитники Пауля Крамера нашли четырех свидетелей, заявивших, что предсказания Оскара и советы, данные им за большое вознаграждение, оказались неправильными. За спиной этих свидетелей, как грозное обвинение, встала тень самоубийцы Тишлера. Но секретарь Петерман предъявил документы, подписанные этими свидетелями. Каждый из них был своевременно поставлен в известность, что маэстро — не часовой механизм, и если кто желает следовать его советам, должен делать это на свой страх и риск. «Голоса из бездны,— насмешливо и дерзко возразил Оскар,— на этот раз не звучали с ясностью и точностью юридического документа». Если господа, пользовавшиеся его консультацией, неправильно истолковали эти голоса, то они сами во всем виноваты. «Хоть немного смекалки,— сказал он, улыбаясь,— должно же быть у того, кто решается на столь опасную затею, как вопрошать голоса бездны».

Но один из четырех свидетелей, старик Эдмунд Вернике, финансовый советник в отставке, отнюдь не удо-

вольствовался этими общими фразами. Он подробно рассказал о своей консультации с Лаутензаком. На вопрос, соглашаться ли ему на операцию желудка, рекомендуемую врачами, Лаутензак ответил отрицательно: он предсказал, что операция будет иметь неблагоприятный исход.

— Смотрел он в свой кристалл,— сердито и настойчиво говорил старик,— и три-четыре раза повторил мне: «Берегитесь ножа». Какое же здесь возможно недоразумение, господа? Какого ножа я должен был беречься? Надеюсь, не о столовом ноже шла речь, а, совершенно очевидно, о ноже хирурга.

И финансовый советник остерегался ножа, а его желудочное заболевание все обострялось. Врачи объявили, что уже, пожалуй, бесцельно делать операцию, но если ее все-таки делать, то немедленно, так как в противном случае он наверняка больше трех месяцев не протянет. Наконец он решился, вопреки совету Лаутензака, уступить настояниям хирургов. Операция была сделана и сошла удачно.

— И вот я стою перед вами,— с ожесточением заявил финансовый советник,— цел и невредим, в чем все вы, господа, можете убедиться лично. И я, старый чиновник, которому к тому же напомнили о значении присяги, заявляю вам: этот человек со своим кристаллом чуть не отправил меня на тот свет. «Берегитесь ножа». Слава богу, я не поберегся. Позвольте вас спросить, господа, если человек, глядя в свой кристалл, без колебаний дает советы, которые затем оказываются неверными, если он чуть ли не толкает в могилу своих клиентов, как назвать такого человека? Знахарем и шарлатаном. Господа, я утверждаю, что требование регистрации, а это единственное требование, которое полиция предъявляет знахарям, совершенно недостаточно для охраны нашего с вами благополучия. Оправившись после операции, я вступил в «Общество борьбы со знахарством» и призываю всех вас сделать то же самое, если вам дорога ваша жизнь. Таких людей, как этот Лаутензак, надо гнать в шею. Им в новой Германии не место. Я знаю, что говорю, господа. Я старый чиновник, я проверил десятки тысяч налоговых бюллетеней, я

знаю, что такое мошенничество, и прекрасно понимаю значение присяги.

Хотя Оскар всячески подчеркивал комическую сторону этой речи и несколько раз вызвал у слушателей смех, воинственная непримиримость старика произвела впечатление. Показания Алоиза Пранера, по прозвищу Калиостро, тоже не слишком порадовали Оскара. Алоиз обещал другу показать в соответствии с фактами, что оба они, Оскар и Алоиз Пранер, часто занимались фокусами — практически и теоретически. Но Алоиз ни в коем случае не должен был признаваться, что он помогал разными трюками своему партнеру, когда тот пророчествовал и вызывал умерших. Разумеется, враги Оскара остановились подробно именно на этом. Алоиз честно отвечал, как было условлено. Но когда противная сторона многозначительно напомнила ему, что он дает показания под присягой, Алоиз вспотел, начал запинаться; он изворачивался и путался; этот странный человек с длинной лысой головой и морщинистым носом произвел на всех неблагоприятное впечатление.

Однако Оскар без труда исправлял такого рода тактические оплошности. Прибегал он не к логике, а к своей способности действовать на человеческие эмоции. У него давно уже вошла в плоть и кровь уверенность, что во время выступлений вовсе нет надобности думать о сути, все дело в манере подачи, в тоне. Пауль же, замечая, что судьи и слушатели позволяют Оскару обманывать их напыщенными и пустопорожними речами, сосредоточивал все свои усилия на том, чтобы показать, как нелогичен противник. Он снова и снова пытался заставить Оскара вернуться к сути дела и производил впечатление придирчивого, упрямого человека. Раздражал суд и публику.

Наконец Оскар заявил со снисходительной усмешкой:

— Большинство собравшихся в этом зале понимает мои слова. А доктор Крамер, филолог, ученый, не понимает их. Если так трудно, — заявил он, обращаясь к судьям, — столкнуться с патентованной наукой, то дело здесь в том, что мы, наука и я, представляем области познания, не имеющие друг с другом ничего общего.

Профессор химии учит, что человек состоит из таких веществ, как соль, известь, белок и пр. Шекспир считает, что мы сделаны из такого вещества, которое располагает к мечтам. Считаете ли вы, — любезно обратился он к Паулю, — что на этом основании можно назвать Шекспира мошенником?

— Это не интересно, — возразил Пауль, — это к делу не относится.

Председательствующий тоже заявил с оттенком кроткого порицания в голосе, что это к делу не относится, но многим и многим доводы Оскара показались убедительными.

Еще худшее впечатление, чем сам Пауль, произвел его первый эксперт, профессор Томас Гравличек. Человек этот неприятно поразил аудиторию своим внешним видом; его сухая, педантичная манера выражаться вызвала веселые улыбки, его богемский говор — громкий смех. Оскар использовал настроение публики. Он даже позволил себе с насмешливой любезностью переводить слова Гравличека на «понятный профанам немецкий язык». Он говорил: «Господин эксперт хочет сказать...» — и передавал слова профессора гладко, просто, чуть-чуть приправляя их легкой иронией. От его дружеских замечаний смех еще усилился, и председательствующий пригрозил, что прикажет очистить зал.

Оскар до самой последней минуты боялся, что его противники вызовут Анну Тиршенройт. При допросе Тиршенройт никто бы не смеялся, и сам он не знал бы, как ослабить силу ее показаний. Но Анну Тиршенройт не вызвали, и Оскар вздохнул с облегчением.

Нет, противная сторона покончила со свидетельскими показаниями. И тут берет слово Оскар. Он настойчиво просит суд разрешить ему наглядно продемонстрировать свои способности, взятые под сомнение обвиняемым.

На это адвокат Пауля Крамера заявил, что если господин Лаутензак намерен демонстрировать свое искусство вызывать умерших и предсказывать будущее, то его подзащитный господин доктор Крамер против этого не возражает. Но он вынужден протестовать против телепатических экспериментов, ибо не эти экспери-

менты, а именно предсказания и заклинания доктор Крамер и считает шарлатанством.

Разумеется, Оскар и не помышлял вызывать души умерших и предрекать будущее. Но он ни за что не хотел отказаться от блистательной возможности использовать трибуну суда, чтобы продемонстрировать всему свету свое телепатическое искусство. Его адвокат заявил, что поведение Оскара Лаутензака, когда в нем говорит его гений, не зависит от его воли. Возникнут ли в нем мысли живых или умерших, будет ли он говорить о настоящем, прошлом или будущем — этого он знать заранее не может. Самый талантливый композитор не в состоянии поручиться за то, что в определенное время и на определенном месте у него родится мелодия к определенному тексту. Но маэстро, когда в нем пробуждалась таинственная сила, неоднократно передавал мысли умерших, а то, что он предрекал, впоследствии оказывалось поразительно правильным. Нет смысла под малоубедительным предлогом заранее запрещать ему демонстрировать перед судом эту его способность.

Судьи согласились с доводами адвоката и разрешили Оскару выступить.

Оскар радостно вздохнул. Теперь он получил то, чего желал, — величайший шанс в своей жизни. Теперь на него смотрят не только люди, собравшиеся в этом зале, но и весь мир, вся планета. Успех зависит только от его умения. Эта мысль окрыляла его, удесятворяла его силы. Ему казалось, что человеческая плоть и кровь вокруг него уже исчезают, все тела становятся прозрачными, как стекло, и он может читать мысли и чувства, словно огненные письма.

Он приступил к своим опытам. Начал с самых простых. Попросил судей и даже адвоката противной стороны выбрать двух-трех человек из публики, которые подадут ему в запечатанных конвертах записки с вопросами, а он затем ответит на них, не распечатывая конвертов. Его смелость и уверенность тотчас подействовали на всех. Тогда он пошел дальше. Снова попросил судей и адвоката противной стороны указать ему несколько человек и прочел их мысли. Он действовал, как обычно на сцене, играл своими партнерами, угады-

вал, внушал. «Правильно? Правильно?» — спрашивал он, и не нашлось никого, кто ответил бы отрицательно.

Все это происходило среди бела дня, в одном из залов берлинского суда. Тысячи людей со все возрастающей симпатией смотрели на этого спокойно работающего человека. Все казалось таким будничным: кто-то читает письма. Но читал он не письма, а лишь то, что было отпечатано в мозгу опрашиваемого; однако этот человек читал так, будто письма лежат перед ним, написанные черным по белому. С тревожной и смущенной улыбкой смотрели на него судьи и зрители; увлеченные удивительным явлением, они забыли, что все это к делу не относится. Несколько раз адвокат Пауль пытался вмешаться, но от него отмахивались, ему почти не давали говорить. «Правильно? Правильно?» — спрашивал Оскар Лаутензак и снова получал подтверждение, и каждый раз публика с трудом удерживалась, чтобы не разразиться ликующими аплодисментами, как в театре.

Гансйорг, ошеломленный, смотрел на своего великого брата. Он сам всевозможными хитроумными способами изготовил напиток, которым Оскар теперь угощал публику. Он сам создал доверие к Оскару, которое было предпосылкой этого триумфа. Но то, что Оскар показал здесь, было нечто гораздо большее, чем искусно подготовленное представление, и не имело ничего общего с актерскими эффектами. Ток, исходивший от Оскара, шел из других источников, «от праматерей, из глубинных вод». Гансйорг знал брата, как самого себя, он относился к его слабостям с ненавистью, знал, как безмерно тщеславен Оскар, как неудержим в своих вожделениях, как он ленив, смешон; и все же теперь, глядя на массивное лицо этого человека, который казался одержимым, Гансйорг снова почувствовал, что его критическое отношение к брату, его ненависть превращаются в любовь и восхищение. Он понял, почему брат с юных лет увлекал за собой окружающих — родителей, учителей, женщин, его самого; и он, Гансйорг, охотно давал увлечь себя, как и другие, он гордился тем, что он — брат этого великого, да, гениального человека. Даже Пауль Крамер не мог не поддаться впечатлению,

которое производил Оскар. Он напряженно всматривался в него и ловил себя на том, что сам желает успеха экспериментам своего противника. Да, Пауль-созерцатель чувствовал, что теперь все в этом зале заражаются интересом и доверием к Лаутензаку. Каждый был частицей самого Лаутензака, и если эксперимент удавался, каждый воспринимал его как свою собственную удачу. Весь зал, даже противники, желали этой удачи. Все жаждали уйти от своих будней, все жаждали чего-то сверхъестественного, чуда, и все содействовали тому, чтобы чудо свершилось.

Оскар, счастливый, продолжал работать. Присутствующие, эти скептические жители скептического Берлина, до конца оставались под властью ясновидящего. С увлечением и страхом смотрели они на него и ждали новых чудес, еще и еще.

Все пожалели о том, что представление кончилось так скоро. Оскар достиг поставленной цели. Корреспонденты посылали сообщения во все страны света: «Ясновидение Оскара Лаутензака не есть шарлатанство», — подтверждает германский суд».

Мотивируя свое решение, суд объявил: истец Оскар Лаутензак убедительно доказал, что он обладает способностями, которые отрицает в нем обвиняемый Пауль Крамер. Крамер был приговорен к максимальному наказанию — штрафу в десять тысяч марок и году тюремного заключения.

Среди сверкающих киноаппаратов, окруженный толпой репортеров, приветствуемый бурными аплодисментами удивленных, испуганных, восхищенных зрителей, Оскар Лаутензак, глашатай нового германского духа, стоял на лестнице, которая вела из здания суда в город Берлин.

Часть третья

ЗОФИЕНБУРГ

В дни после процесса Оскар был переполнен счастьем. Все, что его враги, «аристократы», задумали ему на погибель, пошло ему на пользу. Ильза Кадерейт даже не дождалась конца процесса, ею же коварно задуманного. Она испарилась из Берлина и странствует где-то в далеких краях, она избегает видеть его — его, чей гений теперь признан раз и навсегда.

Хотя Оскар отлично знал, как и почему было вынесено решение суда, он считал, что отныне его гениальность подтверждена самой судьбой, духом. Черным по белому написано и печатью скреплено, что ему дарованы сверхъестественные силы. Вычеркнут из его памяти тот вечер, когда он потерпел такую позорную неудачу, испытывая на Кэтэ свое искусство. Педантичная критика Гравличека казалась ему теперь смешной: зря он распинаялся, этот богемец, этот придира. А Тиршенройтша, — боже мой, у нее был шанс, она его не использовала, это ее дело. Оскар проверяет себя: нет, мысль о ее крупном скорбном лице уже не трогает его. Возражения скептиков опровергнуты. Судьба произнесла свое слово, он стал ее избранником.

Есть люди, которым предназначено быть несчастными именно потому, что родились они для величия. Он не принадлежит к их числу. Ему дано свыше соединять

внутреннее величие с внешним блеском, и он твердо намерен насладиться до конца своим счастьем. Лишь немногие умеют быть счастливыми; пафос блаженства быстро улетучивается — достаточно нескольких часов, даже нескольких минут. Оскар же обладает и силой, и мудрой способностью наслаждаться своим счастьем, не расставаясь с ним целые дни, целые недели.

На публику его слава действовала еще сильнее, чем его искусство, она удесятирала значение этого искусства. Если фюрер одним своим появлением вызывал в массах восторг именно потому, что его фюрерство подтверждалось славой и счастьем, то Оскар Лаутензак, стоило ему появиться, вызывал какое-то ощущение жути; одно его имя пробуждало темное, жадное предчувствие сверхъестественного, «религии». Особенно женщины теснились вокруг него, с вождением вдыхали они воздух, которым он дышал, были счастливы от одного взгляда, который он дарил им. Он был пророком, предтечей нового бога, нового мира.

Он ушивался своим успехом. Счастье его не было случайностью, он вырвал его у судьбы, сам его создал.

Оскар написал статью о счастье для журнала «Звезда Германии». Счастье, доказывал он, не обусловлено внешними обстоятельствами, счастье — это внутреннее свойство. Нужна сила воли для того, чтобы следовать за однажды открытой звездой, следовать даже в то время, когда она не видна. Он — за *hybris*, за дерзость, которая, по мнению древних, навлекает божественную месть на голову смертного. И в этом разница между германским и античным типом человека: немец отважен, он не боится судьбы, он признает только одного бога — того, который живет в его собственной груди, он признает только одну веру — веру в самого себя, в собственную силу, в собственную звезду.

Он пел эту мрачную, дерзкую песнь торжества. Он чувствовал себя на вершине своего могущества. Это был новый Оскар Лаутензак; глубочайшему забвению был предан тот Оскар, который совсем недавно — на небе стояла еще та же луна — пытался утопить в пиве свой позор и свое банкротство.

Манфред Проэль, сидя в своем кабинете в доме «Колумбия», велел принести себе простой обед из буфета и поставить на письменный стол; он распорядился не мешать ему в течение получаса. Ему нужно еще раз наедине спокойно обдумать поставленную перед ним задачу и принять наконец решение.

Дело заключалось в следующем. Прежние власти Германии, свора, окружавшая Гинденбурга, «аристократы», вручили партии власть, разумеется, ограниченную, с сотней оговорок и удержали за собой важнейшие посты. Для партии это не было неожиданностью, и она давно уже собирала силы, чтобы сбросить все эти путы. Было решено инсценировать государственный переворот слева, а затем потребовать чрезвычайных полномочий для его подавления. Это даст возможность нацистам, не нарушив приличий, навсегда разделаться с неприемлемой для них законностью и утвердить свою неограниченную власть.

Состряпать этот «большевистский заговор» фюрер и поручил ему, Манфреду Проэлю. Ясно, что левый путч надо «подавить» в самом зародыше, при первых же «сигналах». Однако эти «сигналы» должны выглядеть весьма убедительно.

Проэль кладет в рот кусочек гуляша и машинально жует, не сознавая даже, что он ест. Из всех предложенных «сигналов» остановились на трех. Во-первых, красные могли бы устроить покушение на жизнь Гитлера. Во-вторых — взорвать «Коричневый дом» в Мюнхене. В-третьих, можно было бы «посигналить» огнем здесь, в Берлине: поджечь какое-нибудь большое общественное здание, например, биржу, рейхстаг или арсенал.

И вот прошло уже два дня, а Проэль все еще не сдвинулся с места. Против обыкновения, он медлит принять окончательное решение. Что окажется удачнее — покушение на Адольфа, взрыв в Мюнхене или пожар в Берлине — предсказать трудно, все это дело случая. Все три «сигнала» одинаково нелепы, но возможно, и даже весьма вероятно, что именно своей нелепостью они и подействуют на массы.

Проэль отодвигает тарелку с остатками гуляша, придвигает десерт — шоколадный торт со сбитыми

сливками, — кладет кусочек в рот и запивает глотком кофе. Теперь, Манфред, перестанем на минутку думать об этих дурацких «сигналах», пошлем их к дьяволу, а затем уж, на свежую голову, не мешкая, примем решение. Из груды газет и журналов, наваленных на столе, он берет первый попавшийся номер — это «Звезда Германии». Она-то ему и нужна. Он пробегает оглавление. Оскар Лаутензак — «О сущности счастья». Ладно, поглядим, в чем сущность счастья. «Счастье — это свойство... Я стою за дерзость, которая, по мнению древних...» Как бы не так! Не вернее ли другое мнение древних: дураки всегда найдутся.

Ну и ловкач этот Оскар Лаутензак! Ничего собой не представляет, ничего не знает и не умеет, просто нацепил на себя вывеску «Я дельфийский оракул» — и стал им.

«О сущности счастья». Какой из трех «сигналов» избрать — это ведь тоже вопрос счастья. Счастье — свойство. Звучит недурно, но, если хорошенько вдуматься — всего лишь глубокомысленная болтовня, чепуха. Однако бывают случаи, бывают. Как, например, решить вопрос о «сигналах»? Тут разум бессилён. В пользу каждого из трех «сигналов» есть столько же доводов, сколько и против. Да, бывают случаи, когда даже Манфред Проэль не может ничего добиться с помощью разума и вынужден полагаться на детское непосредственное восприятие вещей, на свой инстинкт. Но, увы, на сей раз и инстинкт нем как рыба.

«О сущности счастья». Для чего же партия позволяет себе такую роскошь, как дорогостоящий ясновидец? Ведь в этом как раз и состоит его профессия — он заставляет говорить онемевший инстинкт. Проэль сам часто бывал этому свидетелем, и друзья не раз передавали ему, что Лаутензак во время своих экспериментов извлекал из них именно то, что они смутно чувствовали, но не могли выразить словами. А что, если обратиться к этому Лаутензаку? Пусть-ка займется им, Проэлем, и подхлестнет его инстинкт. Итак, решено. Сойдем вглубь, к праматерям. Шагом марш!

Проэль дал знать Оскару Лаутензаку, что вечером намерен у него ужинать.

Начальник штаба прикидывался веселым, но был взбудоражен. Он любил крупную игру. А это была крупная, смелая игра: поставить решение такой важной задачи, может быть, даже судьбу партий, в зависимость от того, что пробормочут уста одержимого дегенбуржца!

Оскар впервые очутился наедине с начальником штаба. Он почувствовал, что за легкой, оживленной болтовней Проэля кроется то смущение, та нервная напряженность, которую все ищущие у него совета стараются прикрыть скептическим и небрежным разговором. Оскар и сам был взволнован. Он давно жаждал показать свою силу именно этому могущественному человеку, этому опасному, циничному насмешнику.

— Я полагаю, дорогой мой,— начал Проэль после ужина,— что ваш внутренний голос уже шепнул вам, ради чего я пришел. Партия снова идет на риск, ставка крупная. Что же делает Манфред Проэль? Он направляется к нашему высокочтимому Калхасу и предлагает, так сказать, погрузиться в недра судьбы.

Бойкий, несколько банальный тон начальника штаба не мог обмануть Оскара. Этот человек уже готов, лучшего и желать нельзя. Он чувствует себя в присутствии Оскара, как пациент в присутствии врача. Он ждет слова, которое послужит ему ориентиром.

— Если вы желаете,— вежливо отозвался Оскар,— я с удовольствием проведу с вами сеанс.

— Одно попадание есть,— ответил Проэль,— именно об этом я и хотел вас просить. Загляните-ка в меня поглубже. Моя интуиция что-то пошаливает. Как видно, где-то произошло короткое замыкание. Попробуйте, может быть, вам удастся извлечь наружу то, что заваривается во мне и вокруг меня.

— Думаю, удастся,— ответил Оскар и устремил на своего гостя дерзкие синие глаза. Его четко очерченное массивное лицо, на котором и теперь еще, среди зимы, сохранился загар, представляло резкий контраст с бледно-розовым лицом собеседника.— Но предупреждаю вас,— продолжал он,— погрузиться в самого себя иной раз бывает небезопасно.

— Ну, не так уж это страшно,— ответил своим

скрипучим голосом Проэль.— И давайте, пророк, без выкрутасов. Оседлайте-ка вашего драгоценного «демона». Валяйте.

— Начинаю, господин начальник штаба,— ответил Оскар.

Чем больше этот человек небрежничал, тем яснее видел Оскар его нервную подавленность и тем спокойнее становился сам.

— Постарайтесь, пожалуйста, ослабить всякое напряжение,— предложил он Проэлю,— свободнее, не замыкайтесь, не сопротивляйтесь.

— Что? — удивился Проэль.— А где же ваш тайный кабинет? Где кристалл? Вот так, запросто, на ходу? Как у окошечка почты?

— Я сегодня в хорошей форме,— ответил Оскар,— мне не нужны вспомогательные средства.— И он пристально стал смотреть на гостя.

— Надо же напустить хоть немножко туману,— сказал с какой-то судорожной развязностью Проэль,— иначе кто вам поверит?

— Дайте-ка вашу руку,— произнес в ответ Оскар.

— Пожалуйста, если это вам чем-нибудь поможет,— сказал Проэль и вложил свою белую пухлую руку в большую, грубую руку Оскара.

Он продолжал болтать, но Оскар уже не слушал его. Умолк и Проэль. Оскар смотрел на него не отрываясь, и из глаз его, от его руки Проэлю как бы передавалось какое-то странное волнение. Оно связывало, оно притягивало. Притягивало и отталкивало. Оно усыпляло и в то же время пробуждало, проясняло. Оно было сладковатое и противное, вызывало желание обороняться, но в то же время хотелось, чтобы оно становилось все сильнее.

Рука Оскара легко держала руку гостя, но глаза не отпускали его, цеплялись за него, присасывались. Оскар ждал. И вот оно приблизилось, оно было уже здесь. Ему почудился тонкий звук, как будто рвалась ткань, окружавшие его предметы исчезли, лицо стало пустым, челюсть немного отвисла. Он выпустил руку Проэля. Почувствовал, что вышел за пределы самого себя. Он «видит».

Но то, что он видел, было мучительным и радостным в одно и то же время, оно создавало какую-то страшную связь между ним и человеком по имени Проэль.

Оскар Лаутензак с детских лет любил огонь. Еще мальчишкой он «баловался с огнем», как это называли в Дегенбурге. Со своими школьными товарищами он играл в императора Нерона и в пожар Рима. На стенах некоторых домов, на окраине города, они написали крашеной черной краской слово «Рим». Затем подожгли разрушенную мельницу; он, Оскар, взобрался со своей скрипкой на лестницу и, глядя, как начинается огонь, пел: «Мое сердце, точно улей...» Чуть было не вспыхнул настоящий пожар, сбежались испуганные жители и под конец Гансйоргу задали ужасную трепку. Уже тогда это было нечто большее, чем детская игра, а позднее у Оскара возникло настоящее пристрастие к огню. Если где-нибудь начинался пожар, он делал какой угодно крюк, чтобы только подойти поближе к огню. Он всегда жадно любовался пламенем. Как раз недавно, совсем на днях, он дважды смотрел фильм Сесилия де Милиа, где был показан Рим, охваченный буйным пламенем. Он собирался посмотреть его и в третий раз. Его любовь к огню была, как видно, чем-то очень немецким. «Взлетай, бушующее пламя». Самым сильным из всего созданного Вагнером тоже был гимн огню.

Вот почему он с радостным испугом увидел пламя в душе своего партийного коллеги Проэля. Все в нем горело, пылало, в его мозгу были картины пожара. Сначала Оскар увидел маленькие огни — «огоньки», подумал он с нежностью. «Огоньки», — сказал он против воли вслух, наслаждаясь звуком этого слова; но, разгораясь, эти огоньки высовывали длинные языки и буйно плясали, быстро ползли вверх, разливались морем огня.

Медленно, подыскивая слова, но определенно и решительно сообщил он Проэлю о том, что видел. «Недурно, недурно», — поддакивал Проэль. Ему не удалось сохранить привычный, насмешливый, игривый тон, у него пересохло во рту. О проекте поджога знало всего несколько человек. Да и самого проекта еще не было,

о поджоге говорили только намеками, иносказательно. «Если бы вспыхнуло большевистское восстание,— как-то сказал, задумавшись, один из руководителей партии,— то национал-социалисты получили бы желанную возможность весьма энергично потушить этот пожар». — «Если бы вспыхнуло пламя,— так же задумчиво отзывался толстяк Герман,— ведь достаточно одной спички». Все было еще весьма туманно, и совершенно исключено, чтобы братья Лаутензак могли узнать об этом. Но интереснее всего то, что он, Прозель, если хорошенько подумать, с самого начала считал «пожар» лучшим сигналом для подавления мнимой большевистской революции; сейчас, после слов Лаутензака, это стало ему ясно как день. Странно, даже более чем странно, что этот человек способен так близко подойти к чужим, глубоко скрытым переживаниям и мыслям. Тут есть нечто весьма опасное, отвратительное, жуткое и вместе с тем притягательное.

— Недурно, недурно,— повторял Прозель, слегка приглушая свой резкий голос.— Дальше, дальше,— торопил он Оскара. Прозель откашлялся, стараясь обрести свой привычный тон.— Пламя, огонь,— продолжал он,— это звучит отвлеченно, почти символически. Раз уж вы видите, так, пожалуйста, постарайтесь увидеть что-нибудь поконкретнее. Кто или что горит? Где горит? Говорите.

— Вы нетерпеливы,— сказал, чуть ли не поддразнивая его, Оскар.— Если вы будете ждать спокойно, без напряжения, без сопротивления, то облегчите и мою работу.

Он опустил веки, почти совсем прикрыв свои дерзкие глаза. В нем звучало «заклинание огня». И медлительным, ищущим голосом он заговорил:

— Я вижу. Вижу все яснее. Горит большое общественное здание. Вот золотой купол. Мы оба знаем это здание. Это рейхстаг.

Прозель дышал тяжелее обычного.

— Недурно, недурно,— подтвердил он почти против воли.

— Огонь,— продолжал Оскар,— возник не случайно. Это преступный огонь, но добрый, очищающий.

— Возможно, возможно,— сказал Проэль. Он взял себя в руки.— Но ваши оценки мне не нужны,— добавил он сухо и резко.— Нужны факты.

— Фактов больше никаких не вижу, господин начальник штаба,— вежливо, но решительно произнес Оскар.— Есть только оценки.

— За словом вы в карман не лезете,— ответил Проэль.

Оскар спокойно спросил:

— Разве я не прав?

— Неплохо это вышло у вас,— согласился Проэль.— Благодарю.

Оскар провел рукой по лбу, как бы стирая что-то или снимая повязку.

— Я очень рад, господин начальник штаба,— сказал он,— что вы получили то, за чем пришли.

Они сидели друг против друга. Проэль задумался, он уклонялся от взгляда Оскара, пытался скептически улыбнуться. Но ему не удалось.

Он ждал, чтобы Оскар предъявил счет. Предполагал, что сумма будет немалой. Почти желал этого. Не хотел быть в долгу у Лаутензака.

Но Оскар и не думал предъявлять ему счет. Он не намерен был обесценивать свое пророчество, принимая за него денежное вознаграждение. Он воспользовался своим искусством ради самого искусства. Он был достаточно богат, чтобы позволить себе одарить тоже очень богатого и очень могущественного человека, и гордился тем, что сделал такой подарок именно Проэлю.

А Проэль все ждал, чтобы Лаутензак наконец потребовал мзды. Ждал напрасно. И рассердился. Этот Лаутензак оказал услугу ему и национал-социалистской партии. Манфред Проэль не нуждается в подарках. Он хочет уплатить, он любит держать в порядке свои счета. Но Оскар Лаутензак, по-видимому, сложный тип. И в конечном счете — неприятный. Проэль теперь знает, к какому «сигналу» прибегнуть, и это хорошо. Но чертовски досадно, что вот такая личность может заглянуть тебе в самую душу и просветить ее, точно рентгеновским аппаратом. Мало у кого все внутри так

чисто и прибрано, что он может позволить постороннему заглянуть во все закоулки. Нет, нет, это не для него, Прозля... Ощущение острое, но на этот стул он, Манфред, вторично не сядет.

По-видимому, прозорливец и в самом деле не намерен брать плату. Господин пророк не лишен самолюбия.

— Итак, — сказал Прозль, прощаясь, — огромное вам спасибо. Готов к услугам.

И он ушел. С тех пор он стал врагом Оскара Лаутензака.

В ту ночь Оскар не мог заснуть от переполнявшей его радости и гордости. Разумеется, решение устроить большой пожар уже зрело в мозгу Прозля; но без него, Оскара, оно бы, вероятно, так и осталось в дремлющем состоянии. Он, Оскар, принадлежит к тем немногим избранным, чье назначение — переводить стрелки и направлять пути истории. Этот образ ему понравился: он — стрелочник судьбы.

Утром, когда он проснулся, его стал одолевать соблазн сообщить своим современникам о своем предназначении, все же здравый смысл дегенбуржца подсказывал, что если он это сделает, то испортит свои отношения с начальником штаба Прозлем.

Но оставаться немым как могила он тоже не мог, хотелось рассказать о своем счастье хотя бы близким. Жалко, что нет Кэтэ. Она по натуре сдержанна, но это увлекло бы и ее. Гансйорг, несмотря на весь свой скептицизм, тоже понял бы, что значит — покорить холодного циника Прозля. Но Гансйорга нет в Берлине. С тех пор как партия у власти, Малыш пошел в гору, он рейхспрессешеф, получил титул государственного советника, а теперь по делам службы уехал на некоторое время в Рим; вероятно, с особой миссией. Из надежных друзей остается только Алоиз.

А к Алоизу после процесса снова не подступиться. Правда, его, как специалиста, увлекло выступление Оскара в зале суда, этот «сногшибательный номер», и с тех пор он еще сильнее поддался чарам своего друга. Но самомнение Оскара раздражало его, да и ложная

присяга, которую Алоиз принес ради своего сообщника, была неприятным воспоминанием. Он стал еще ворчливее, чем раньше, особенно когда речь заходила о политике. Поэтому Оскар предвидел, что рассказ о встрече с Проэлем вызовет у Алоиза лишь угрюмые насмешки. И все же он не мог удержаться, его тянуло поговорить с Алоизом. Вышло именно так, как ожидал Оскар.

— Катись со своей дурацкой политикой, самовлюбленный осел, — вот и все, что сказал Алоиз по поводу роли Оскара как стрелочника судьбы.

Чтобы все-таки отвести душу, Оскар поехал к портнихе Альме. Ей теперь жилось отлично. Ателье, которое Оскар устроил ей в Берлине, процветало. Она была полна благодарности к своему великому другу, все еще посещавшему ее раза два-три в месяц.

Ей-то Оскар и рассказал о своей победе. Извне кажется, что на первом плане стоят другие, а на самом деле именно он управляет стрелками, от которых зависит жизнь партии и всего государства. Оскар говорил о некоем грандиозном плане, который он придумал вместе с Проэлем, о пожаре, о сигнале, о разгроме противника. Он ходил по комнате и рассказывал. Альма благоговейно слушала, жалела его за то, что ему приходится нести такое тяжелое бремя, восхищалась его величием, была кротка, нежна и почтительна — именно так, как Оскар и представлял себе. Он был очень расположен к ней. Конечно, ее нельзя назвать аристократкой, но недаром Гете всю жизнь предпочитал незначительных женщин.

Фокусник Калиостро тоже ценил портниху Альму. Он теперь часто заглядывал к ней перед тем, как отправиться на представление. Вся окружающая ее атмосфера — ее спокойная медлительность, непринужденный народный говор — напоминала ему родные края. Она ставила перед ним пиво, колбасу, редьку, искусно нарезанную ломтями и посоленную, а он говорил об Оскаре. Алоиз привык к этому точно так же, как привык, приезжая в Мюнхен, выпивать по вечерам кружку пива в дымном, шумном, мрачном ресторане «Францисканец» и жаловаться на тяжелые времена.

С тех пор как Оскар рассказал ему о Прозле и большом огне, Алоиз говорил о своем друге с особенной неприязнью. Его страшно злило, что Оскар все глубже увязает в нацистской политике; он видел в этом руку Гансйорга, бандита, негодяя, о котором не мог спокойно вспоминать. Он глубоко погружал в белую пену большой тонкогубый рот, обтирал его крупной белой рукой и шумно разжевывал кусок редьки белыми и золотыми зубами.

— Уверяю вас, фрейлейн Альма,— заявлял он,— незачем Оскару соваться в политику, он в ней ни черта не смыслит. Художник должен стоять над партиями, это ему известно не хуже, чем мне. Но с того процесса к нему не подступишься. Надут, как индюк, воображает, что умнее всех. Поверьте мне, путаться с нацистами убийственно глупо. Я на месте Оскара не стал бы связываться с этой грязной бандой. Подозрительные у них дела, поверьте мне.

— Вы всегда все видите в мрачном свете, господин Алоиз,— спокойно ответила Альма и тоже отпила пива.— Такая уж вапа специальность.

Алоиз угрюмо посматривал на нее, но взгляд его становился все приветливее: Альма сидела перед ним такая уютная, с приятными округлостями спереди и сзади. Он снова взялся за кружку, опорожнил ее залпом, поставил на стол, и вдруг беловато-серая кружка оказалась черной.

— Вот видите, фрейлейн Альма,— сказал он,— есть и у других людей кое-какие способности.

— Например, у вас, господин Алоиз,— одобрительно поддержала его портниха Альма.

Но потом Алоиз снова начал ворчать. Он, правда, гордился дружбой с гениальным Оскаром, но его грызла зависть. Когда он, например, видел, как слепо Альма восхищается этой хвастливой скотиной, его разбирала сильнейшая досада.

— Политика разъедает душу,— сердито заявил он,— политика портит характер. Впрочем, по своей натуре Оскар и без того жмот. Он морально эксплуатирует окружающих. Из меня он все жилы вытянул.

— Не надо так говорить, господин Алоиз,— строго остановила его Альма,— я такого слышать не хочу, даже в шутку.

Но Алоиз упрямо настаивал на своем.

— Подождите, фрейлейн Альма,— говорил он своим ржавым голосом.— Придет и ваш черед, поверьте мне, Оскар еще увидит вас. Он все соки высасывает из человека, а когда высосет, отбрасывает его. Берегитесь, когда-нибудь он отбросит и вас, словно кожицу от съеденной колбасы.

Но тут Альма рассердилась всерьез. Казалось, она вот-вот укажет ему на дверь. Алоизу с трудом удалось ее успокоить.

Замок Зофиенбург был закончен. Оскару хотелось бы переехать туда вместе с Кэтэ. Но она все еще была в Лигнице; состояние отца не позволяет ей вернуться, писала она. Гансйорг тоже еще не приехал в Берлин. А Оскар не мог больше ждать и переехал в Зофиенбург.

Он был равнодушен к красивой форме, к пышности и свой одинокий торжественный въезд превратил в праздник.

Дом с его строгим, гармоничным фасадом был особенно красив с озера, и Оскар отправился на берег — туда, где никто не мог его видеть. Там он сел на свою яхту. Подхваченная ветром, она быстро, даже как-то слишком быстро, унесла его на простор веселого весеннего дня. Она обогнула мыс. За мысом высился его дом. Простой и благородный, он стоял на зеленом холме маленького полуострова, новые флигели сливались в одно целое со старым зданием и с ландшафтом.

Оскар поднялся по лестнице, которая вела к дому между двумя подъездными дорогами. Тут его уже ждал Али, коричневый слуга, произведенный теперь в кастеляны. Двустворчатая дверь открылась, и Оскар вошел в холл, занимавший большую часть нижнего этажа. Это была обширная строгая комната. По стенам тянулся фриз с загадочными египетскими и халдейскими эмблемами.

Пустой цоколь, стоявший посередине, придавал холлу какой-то голый вид. Оскар улыбнулся. Его будут спрашивать, что это за таинственный цоколь, но он не объяснит никому. А дело в том, что цоколь — последняя «пустая стена». Произведение искусства, для которого Оскар предназначил его, пока еще, по-видимому, для него недоступно. Им владеет господин Обрист, друг Кадерейта. Это античная статуя, женщина с мощной, буйной, почти мужской головой, напоминающей Оскару скульпторшу Тиршенройт. Он, Оскар, считает, что эта статуя — сивилла. Господин фон Обрист, правда, не согласен с этим толкованием, для него это воительница, и он многословно доказывает, что она не может быть сивиллой. Господин фон Обрист вообще препротивный субъект. Когда Оскар спросил его, не согласится ли он расстаться со статуей, тот ответил:

— В этом доме, милейший господин Лаутензак, не продаются ни принципы, ни произведения искусства.

Дело в том, что этот господин — противник нацистов, и свои наглые слова он произнес с улыбкой, с той чуть заметной дерзкой и вместе с тем удивленной улыбкой, которую Оскар иногда улавливает на лицах «аристократов» и которая его особенно задевает. Именно улыбка господина фон Обриста вызвала у Оскара желание во что бы то ни стало завладеть сивиллой. И он уверенно смотрит на пустой цоколь.

Оскар покинул холл и прошелся по нижнему этажу. Это помещение было предназначено для созерцания, самоуглубления, интимного познания, для работы, которую он хотел выполнять без всяких помех, наедине с самим собою. Здесь была библиотека с гобеленом «Мастерская алхимика», была и «келья». Затем он перешел в лабораторию, в маленький зал, где он рассчитывал давать консультации. Всюду стояла аппаратура для демонстрации фильмов и звукозаписи — каждый его жест, каждое слово должны быть сохранены для потомства. Имелись и такие приборы, с помощью которых он мог слышать, что говорится в любом уголке дома; и много непонятных рычагов и выключателей, пользоваться

которыми умел только он. Оскар осмотрел их с удовлетворением, повозился с ними. Затем поднялся по большой лестнице наверх, в парадные комнаты. Вошел в зал, оборудованный для опытов с «избранными». Долго и с удовольствием рассматривал большой, странный круглый стол из стекла, стоявший посреди комнаты. На нем были изображены знаки Зодиака, а с помощью особых установок он освещался изнутри то слабее, то сильнее. Предназначался он для того, чтобы мистическим путем получать вести от отдельных лиц, сидевших вокруг стола, и тем же мистическим путем передавать их дальше. И все остальные предметы, находившиеся в этой комнате, радовали его глаз. Долго стоял он перед аквариумом с рыбами, которые отливали всеми цветами радуги; осмотрел клетки со змеями и другими странными тварями, выписанными из разных частей света.

Затем он перешел в зал для приемов и докладов, в «зал возвышения». Хотя Оскар был один, он шествовал тем торжественным шагом, какому его обучил актер Карл Бишоф. Этот зал был украшением и гордостью замка Зофиенбург. Он казался пустым, как церковь, в нем были только стулья. На помосте высился стул для ясновидца. Оскар взошел на него и сел. Отсюда он мог регулировать освещение, как это делал фюрер на своих собраниях, давать тот свет, в котором он хотел явиться своим гостям.

В зале не было окон, здесь царил мрак даже днем. Оскар осветил потолок. Да, эффект был именно тот, какого он хотел. Так и кажется, что стоишь под звездным небом. Он гордился идеей, владевшей им при создании этого зала. Скамьи для молящихся и звезды, — даже тупица не мог не понять этого символа. «Две вещи наполняют мою душу вечно новым восхищением и благоговением: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Здесь, в Зофиенбурге, в «зале возвышения» он, Оскар Лаутензак, материализовал эти основы кантовского мироощущения в понятной для всех форме. Когда он, восседая на этом месте, будет исполнять свои обязанности, каждому станет ясно: для нынешнего поколения, для Третьей империи, предста-

водителем «практического разума» интуиции, является именно он, Оскар Лаутензак.

Одинокó сидел он под искусственным небом, наслаждаясь своим творением. Этот дом он создал вопреки всем препятствиям, он вырвал его у судьбы. Архитектор Зандерс противился тому, что виделось Оскару. Этот пошляк твердил об оккультном балагане, о недопустимом смешении стилей. Но Оскар не дал сбить себя с толку. Он сотворил волшебный замок Клингзора, сотворил собственный мир и теперь увидел, что он хорош. Пастор Рупперт, конечно, назвал бы все это святотатством, — разве смертный дерзнет применить эти слова Библии к самому себе. Оскар вдруг почувствовал легкий трепет страха, но быстро стряхнул с себя это ребяческое чувство.

Весь день он провел, как намеревался, один в Зофиенбурге, никто не смел беспокоить его. Вечером он удалился в свою келью.

Он сидел в домашней фиолетовой куртке. Со стeпы на него взирал баварский король Людвиг Второй в серебряных доспехах, со своим лебедем. Оскар вспомнил, что однажды, когда они с Гансйоргом были еще мальчиками, отец поехал с ними во время капикул осматривать сказочные замки этого короля. Вспомнил, как они восхищались великолепием замка Геренхимзее, как они раскрыли рты от испуга и удивления, когда им сказали, сколько затрачено на всю эту роскошь, — какие-то астрономические цифры. Теперь эти замки превратились в музейный экспонат, а его, Оскара, дом живет. И портрет короля уж не казался ему вызывающим.

Да и маска уже не пугала его. Он полностью владел своим гением, эксперимент с Проэлем удался ему так, как еще ни один не удавался. Тиршенройтша была неправа, его блеск, его успех не отразились на его способности «видения», а, наоборот, дали толчок ее развитию.

Он вспомнил о руках Кэтэ, о том, как они перебирали камни, которые сейчас лежат перед ним в деревянной чаше. Нет, теперь неудача не может его обескуражить. Теперь он знает, что неудача — это редкая слу-

чайность. Теперь он уже не нуждается в подтверждении своей гениальности.

И все-таки жаль, что нет с ним Кэтэ. Ему не хватает ее. Он тоскует по ней. Жгуче тоскует. Вся радость, которую ему доставляет его новый дом, отравлена тем, что ее здесь нет.

И вдруг ему сразу становится ясно: все, что он здесь насочинил о своей гениальности, о «ловле человеков», — сплошной самообман. Ему вдруг становится ясно — он любит Кэтэ.

Он сидит слегка растерянный. Ему стыдно. Сорок четыре года минуло ему, он желал многих женщин, у него было много женщин, интересных, привлекательных, и вот сидит и тоскует по какой-то девочке, точно гимназист. Да, этому состоянию нет другого названия — что-то гимназическое, глупое, нелепое: он любит Кэтэ.

Оскар тряхнул головой, он досадует на себя. Но вдруг досада и стыд исчезают. Превращаются в свою противоположность. Значит, и это переживание ему даровано. Он всегда считал, что самоотверженная любовь — бессмысленная болтовня, что ее не существует, это лишь ребячливое изобретение глупых поэтов, на самом же деле нельзя любить никого, кроме самого себя. А сейчас он умирает от тоски по этой девочке. Не может вычеркнуть ее из своей жизни. Чувствует: вся его жизнь — всего лишь цоколь, предназначенный для этой женщины. Любит ее.

Он добудет ее. Завоюет, как завоевал все другое. То, что она так задержалась в Лигнице, еще ничего не значит. Она не хочет сдаваться, не хочет признать, что верит в него. Ни за что не скажет этого, скорее язык себе откусит. Она очень горда. Истая немка. Именно поэтому он ее и любит.

В комнату прокрадывается какая-то тощая фигура. До сих пор Петерман никогда не осмеливался беспокоить его в келье. Что это еще за новые порядки? Что этот проныра себе позволяет?

Но Петерман даже не извиняется, так он захвачен новостью, которую принес.

— Рейхстаг горит.

Оскар высоко вскидывает голову. Свершилось. Он, Оскар Лаутензак, перевел стрелку судьбы, определил будущее Германии. Небывалое счастье расцветает в его душе, наполняет его всего, рвется наружу, на простор. Он широко улыбается. Хлопает Петермана по плечу.

— Что вы теперь скажете, Петерман? — спрашивает он. — Что скажете теперь? — И в нем самом как будто вспыхивает волшебное пламя и звучит «хойотохо», «хойотохей» — клич, с которым Зигфрид проходит через огонь. — «Хойотохо», «хойотохей», — вырывается у Оскара, он уже не владеет собой: на глазах остолбеневшего Петермана делает прыжок и с громким смехом звонко хлопает себя по ляжкам.

В Лигнице Кэтэ застала отца уже здоровым, но он очень постарел. Бродил по комнатам, колючий, угрюмый, жаловался на преждевременную отставку. Он чувствовал в себе еще много энергии, да и трудно жить на пенсию при его потребностях. Недовольство своим положением сделало его ярым сторонником нацистов. Целые дни он болтал о величии атой партии.

Приходили вести о процессе. Хорошо, что в эти дни Кэтэ не видела Оскара, но мучительно было слушать злобные и торжествующие комментарии отца по поводу поражения клеветника Пауля Крамера.

Не нашла Кэтэ в своем родном городе покоя, как надеялась. Теперь уже было совершенно ясно, что она беременна, и положение казалось ей с каждым днем все более запутанным. Она утратила наивную уверенность ранней молодости и здесь ощущала свою беспомощность еще острее, чем в Берлине. Она ходила по знакомым улицам, но они уже не радовали ее. Церковь св. Иоанна, замок, старая ратуша, кавалерийская академия, здания, возведенные иезуитами, школа, где она училась, дома ее товарищей и подруг — все потеряло свой прежний облик, все казалось маленьким, далеким, отзвучавшим.

В Лигнице она чувствовала себя совсем одинокой, но отъезд все откладывала. Ей было страшно снова увидеть массивное, мальчишески жадное, хищное лицо

Оскара. Ее влекло к нему еще сильнее, чем когда-либо, она боялась самой себя.

Но вдруг она устыдилась своей трусости. И решила откровенно поговорить с ним. Послала ему телеграмму. Выехала в Берлин.

Весь гнев, который когда-либо вызывала в нем Кэтэ, улетучился, как только он получил ее телеграмму. Он поехал на вокзал встречать ее. С тревогой ждал он Кэтэ,— какая она теперь? Она приехала серьезная, немного усталая, но показалась ему еще более желанной, чем прежде. На ней был простой коричневый костюм, из-под шляпы выбивались темно-русые, густые, слегка растрепанные волосы. Он был полон нежности, он любил ее, он все в ней любил.

Кэтэ смотрела на него,— вот он стоит, большой, статный, ветер развеивает его просторное пальто. Она увидела непритворную радость на его мужественном, энергичном лице. Увидела ярко-красный рот, услышала веселый мальчишеский смех, почувствовала сильные руки, обхватившие ее. Все ее сомнения рассеялись. Всем существом она потянулась к нему. Они составляли одно целое.

Оскар не разрешил ей сразу поехать домой. Настоял, чтобы она тотчас же отправилась с ним в Зофиенбург. На берегу озера их ждала яхта; они проплыли небольшое расстояние вдоль берега. Вот и маленький полуостров. Покрытый травой холм и на нем белый, изящный, изысканно простой замок. «Зофиенбург»,— представил его Кэтэ Оскар, гордо посмеиваясь. Она тоже рассмеялась. Давно ей не было так весело. Что за глупые, нелепые мысли она внушала себе все время!

Они высадились на берег. Вошли в дом.

И сразу ее охватили прежние сомнения, будто они только того и ждали. Вся эта варварская роскошь навалилась на нее, придавила, нелепая и в то же время тяжелая, как могильная плита. Ей показалось, что она затерялась среди этих вещей. Зачем она здесь? Разве она, Кэтэ Зеверин, может здесь жить?

Она заставляла себя говорить тем же дружеским тоном, удивлялась, восхищалась; но он заметил, что все это вымучено. А он-то заранее рисовал себе, как она

вскинет на него глаза, сияющие радостью и восторгом, как он сам будет радоваться, это подскажет ему нужные слова, и он предложит ей разделить с ним жизнь. И вот вместо новой, веселой, расположенной к нему Кэтэ, которую он встретил на Силезском вокзале, рядом с ним идет упрямая, замкнутая, враждебная Кэтэ, еще более чужая ему, чем была в самые тяжелые времена их разлада.

Есть в ней что-то новое, и оно разделяет их. Может быть, процесс? Нет, что-то другое. Но что же? И немного погодя он напрямик спрашивает ее об этом.

Сейчас ей следовало бы сказать ему, что она беременна. Ведь она приехала с твердым намерением сообщить ему эту новость. Лучшей минуты и ждать нечего. Он сам спросил ее, и можно ли еще облегчить ей эту трудную задачу?

Да, она скажет. Но она говорит:

— Ничего, ничего особенного.

Она ли это говорит? Какой странно чужой, еще более обычного сдержанный голос.

Он пожимает плечами. Вот Зофиенбург. И вот женщина, которую он любит. Почему же он не говорит ей, как решил, что хочет на ней жениться? Ведь она только этого ждет.

Но нет, она отбила у него охоту. Она мастерица отравлять человеку любую радость. Нет, он не скажет. Уж теперь-то не скажет. Если она будет разочарована — подолом. Зачем она так упряма?

Они проводят вместе еще с полчаса, обмениваясь равнодушными вымученными фразами. Потом она уходит, и он ее не удерживает.

Когда Кэтэ добралась до своей квартиры на Кейтштрассе, она почувствовала себя смертельно усталой. Однако у нее нет желания лечь. Она сидит перед огромным роялем, который он подарил ей. Она оперлась локтями о крышку, положила подбородок на руки. Сидит и думает, думает об одном и том же. Почему она ему не сказала? Ведь она твердо решила. Кэтэ еще и еще раз переживает минуты, когда осматривала с ним Зофиенбург. Снова и снова доходит до того мгновения, когда вдруг из глубин души вырвалось: нет, нет. Она не может жить с человеком, который придумал этот

страшный, этот дикий, наполненный призраками дом. У нее нет с таким человеком ничего общего.

И у него с ней тоже, хоть он и верит в существование этой общности. Думает-гадает, что с ней приключилось, и даже не может распознать, ясновидец, что она беременна. Как он смешон со своим огромным кольцом на большой, белой, грубой руке. Смешон со своим колдовским замком привидений. Смешон с этим подлым процессом, который состряпал вместе со своим негодяем братом. Смешон, зол и опасен.

Но ведь все это она знала и раньше, однако решила же с ним поговорить. Что толку, если она знает, как он смешон и низок. Освободиться от него она не может. Ее бросило в жар от радости, когда она увидела его на вокзале. Она задрожала, когда он всего-навсего положил ей руку на плечо.

Кэтэ невольно вспомнилось, как однажды она услышала тяжелые шаги, и несколько мужчин, потев и тяжело дыша, к ее удивлению, внесли к ней в комнату огромный рояль. Кэтэ удручало, что рояль был подарен против ее воли, но вместе с тем и радовало. И вот он стоит здесь, этот прекрасный инструмент, занимая почти всю комнату.

Она встает, идет в спальню. Медленно раздевается, паливает чашку чаю, не пьет его, сидит без дела в пижаме, наконец ложится в постель, хотя знает, что уснет не скоро. Не разумнее ли избавиться от ребенка? Она не может говорить о нем с Оскаром, не может. Если она заговорит, он будет настаивать, чтобы она вышла за него замуж, родила ребенка, и она даст себя уговорить, и все пойдет по-прежнему, она будет всю жизнь связана с ним и с его волшебным замком.

Самое разумное — пойти завтра к врачу. У нее есть адрес.

Она отлично знает, что к врачу не пойдет. Пауль всегда пытался ей втолковать, как мало разум влияет на человеческие поступки. Почти всеми действиями человека управляют влечения.

Не пойти ли ей к Паулю? Но это повлечет за собой окончательный разрыв с Оскаром. Как бы она ни поступила — все будет неправильным.

Два дня спустя Оскар устроил первое большое празднество в своем новом доме. На освящение Зофиенбурга съехался весь Берлин — так будет напечатано завтра в газетах.

Упоенный торжеством и сознанием своей значительности, полный жизненных сил, хозяин замка обходил гостей. Дом был освещен феерически. По лестницам двигались вверх и вниз мужчины в ослепительно-белых манишках, дамы с обнаженными спинами; мелькали мундиры рейхсвера и нацистской партии; тут и там слышалось: «ваше сиятельство», «ваше высочество». А среди гостей незримо бродили призраки, вызванные возбужденным воображением Оскара: секретарь муниципального совета Игнац Лаутензак, плаксивая бабушка, профессор Ланцингер, пастор Рупперт, именитые граждане города Дегенбурга и множество других, живых и мертвых, — все те, кто не верил в него, бранил его, унижал; а теперь он им всем показывал.

Подъезжали все новые гости. Медленно, толпой, двигались они по комнатам — Гансйорг, Хильдегард фон Третнов, Кэтэ, Алоиз, антрепренер Манц, Проэль, Зандерс, Петерман и еще многие, многие. Здесь было, вероятно, не меньше тысячи человек.

Граф Цинздорф не отходил от доктора Кадерейта, на нем была коричневая нацистская форма, а на Кадерейте фрак без орденов и нашивок. Ильза, после процесса, в который она втянула Оскара, короткое время дружила с Цинздорфом, и он оставался постоянным гостем в доме доктора Кадерейта, даже теперь, когда Ильза носилась по белу свету. Спокойно и развязно намекнул он доктору Кадерейту, что в недалеком будущем может оказаться ему весьма полезным. Дело в том, что отношения между магнатами тяжелой промышленности и нацистской партией были далеко не простыми. Заводчики наняли бандитов для того, чтобы они обуздали рабочих и крестьян. Бандиты сделали свое дело, получили мзду, но пока еще было неясно, дадут ли они на этот раз оттеснить себя. Бесстыдный маневр с поджогом рейхстага не предвещал ничего хорошего. Тщательно сбалансированное равновесие старых и новых сил находилось под серьезной угрозой. Во всем государ-

ственном аппарате, сверху донизу, законность была вытеснена почти ничем не прикрытым террором. Доктору Кадерейту и ему подобным нелегко будет отстоять себя перед варварами, ведь они сами помогли этим бандитам укрепить свои позиции. И такой человек, как Цинздорф, с наглой небрежностью поддерживающий связи с тем и другим лагерем, мог и в самом деле оказаться полезным.

Влекомые толпой, медленно двигались Кадерейт и Цинздорф по анфиладе комнат. Зофиенбург был красивым, тихим поместьем, одно время Кадерейт и сам подумывал его купить. Полуприкрыв хитрые глаза, он осматривал этот замок, из которого Оскар сделал балаган. Архитектор Зандерс протолкался к Кадерейту и Цинздорфу. Он ничуть не обиделся, когда заводчик, дружески улыбаясь, сказал своим высоким бесстрастным голосом, как бы подводя итог:

— Вы создали новый стиль, дорогой Зандерс: дегенбургское барокко.

Архитектор сразу же предал своего заказчика и, трясаясь от грубого смеха, стал отпускать сочные остроты насчет оккультного паноптикума и мистического зоопарка.

Гансйорг, осматривая дом, был охвачен самыми противоречивыми чувствами. Оскар слишком уж размахнулся. Баснословная карьера братьев Лаутензак создала им слишком много врагов среди партийных бонз, а глупая необузданность, с какой Оскар выставляет напоказ свое богатство, лишь умножит число их недругов. Оскар — гений, но он дурак. Недоброжелатели, окружающие их, только и ждут его срыва. Если Оскар не будет остерегаться, они быстро вытащат из-под его задницы треножник дельфийского оракула, который он так высоко воздвиг себе.

Сам Гансйорг, в противоположность Оскару, избегает всего показного. Береженого бог бережет. Он даже уклонился от предложенного ему министерского поста, довольствуется той реальной властью, которую дает ему место начальника всегерманского агентства печати. Сверх того у него есть надежная и весьма влиятельная покровительница в лице баронессы фон Третнов. Он

теперь у Хильдхен — свой человек. Она шагу не ступит, не посоветовавшись с ним. Разумеется, он себя не обманывает, знает, что всегда будет для нее лишь заменителем Оскара.

Но она не глупа, она сравнивает — и сравнение иногда бывает в его, Ганса, пользу; сейчас, например, Ганс-йорг с удовлетворением отмечает, что и Хильдегард скорее удивлена, чем восхищена новым домом Оскара; Оскар, живший на Румфордштрассе, производил на нее более сильное впечатление, чем нынешний хозяин владения Зофленбург.

Отношения между Гансйоргом и его братом тоже стали сложнее. Ганс все еще находился под воздействием процесса, на котором с такой силой проявился гений Оскара, а то, что брат своей магией поразил даже циника Проэля, усилило его восхищение. Затем, однако, Гансйорг разозлился, ибо Оскар, рассказывая ему об этой консультации, нес такой вздор, от которого отдавало просто магией величия. Ему же, Гансйоргу, как раз почудилось, будто после этого визита отношение Манфреда к Оскару меньше всего можно было назвать благожелательным. Вот и сегодня начальник штаба показался здесь лишь на несколько минут и даже не стал дожидаться фюрера, хотя было объявлено, что тот прибудет. И Гансйорг опасался, что Оскар именно во время визита Проэля, вместо того чтобы использовать этот огромный шанс, допустил какую-то колоссальную глупость.

Вот мысли, мелькавшие у него в голове, когда он медленно шел в толпе гостей по причудливому и вызывающе роскошному дому, созданному по замыслу Оскара. Он завидовал брату, — ведь Оскар так смело, ни от кого не таясь, выказал свое тщеславие, — но с тревогой думал о последствиях, которые может навлечь на них эта крикливая демонстрация.

Его размышления прервал фокусник Калиостро. Он пробирався сквозь толпу в сопровождении антрепренера Манца и портнихи Альмы.

— Скажите-ка, приятель, — обратился он к Гансйоргу, — что это у вас за необыкновенная цепочка на часах?

Гансйорг схватился за карман жилета и испуганно отдернул руку: оттуда свешивалась маленькая змейка; этот злой шут, как видно, извлек ее из террария,— их вокруг было немало,— а затем поколдовал, и она прилипла к жилетному карману Гансйорга. Громким, жирным, довольным смехом разразился антрепренер Манц, звонким и добродушным — портниха Альма, а фокусник Алоиз, ухмыляясь, смотрел на них. Гансйорг с досадой отвернулся. Он не выносил эту компанию; как жаль, что Калиостро Оскару необходим.

Алоиз в тот вечер был очень доволен. Волшебный замок Клингзора ему необычайно понравился. У него вырывались восторженные возгласы: «Ах, ах», «Ну и здорово!» Он бесцеремонно расспрашивал архитектора Зандерса о затратах и одобрительно приговаривал своим ржавым голосом: «Да, да, уж кому дано, тому дано» и «Кто может, тот может». Долго стоял он перед буфетом, костлявый, длинный, как жердь, и жадно поглощал вкусную пищу, разжевывая ее своими белыми и золотыми зубами. Да и выпил он вволю. Но позже, когда он нашел незанятый столик для себя и для Альмы, его настроение вдруг резко изменилось. Проснулась неизменно дремавшая в нем ярость против Оскара.

— Скажите-ка, уважаемая, — с негодованием произнес он, — для чего понадобилось этакому паршивому мальчишке из Дегенбурга развесить над своей головой искусственное звездное небо ценой в сорок две тысячи марок?

Многие из гостей Оскара отпускали злые шутки по поводу Зофиенбурга. И все же огромный, ни на что не похожий волшебный балаган производил на них впечатление. «Грандиозно», — говорили они. Успех Оскара, запечатленный в этом каменном замке, покори́л их точно так же, как покори́л успех Гитлера, назначенного на пост рейхсканцлера. И с убежденностью, которую обычно порождает успех, они становились сторонниками оккультизма.

Но на графа Цинздорфа все это не действовало. Бахвальство пророка Лаутензака лишь потешало его; оно вызвало в нем желание подшутить над Оскаром. Он

взял его под руку и как бы по секрету спросил своим самым наглым, самым любезным тоном:

— Послушайте, дорогой мой, все это золото и прочее великолепие, надо думать, по большей части настоящее?

Оскар удивленно взглянул на него и ответил:

— Не совсем понимаю вас, Ульрих.

— Я хочу сказать,— произнес он со своей дерзкой улыбкой,— такое же настоящее, как, скажем, жемчужина на вашем галстуке?

— А чем вам не нравится моя жемчужина? — спросил Оскар с глуповатым изумлением.

— Да нет, она мне нравится,— добродушно ответил Цинздорф.— Но ведь на сцене редко носят настоящий жемчуг, умные люди запирают свои драгоценности в сейф.

— Вы же не думаете, что я надел сегодня фальшивую жемчужину? — спросил Оскар.

Цинздорф вместо ответа продолжал улыбаться своей подлой высокомерной улыбкой и стал напевать: «Подделочка, подделка». По-видимому, он был пьян.

— Послушайте, Оскар,— сказал он наконец,— я не ясновидец, но мой мизинец подсказывает мне: с этой жемчужиной дело нечисто. Сегодня у вас так весело. Давайте же и мы позабавимся. Заключим пари. Вы считаете эту жемчужину настоящей, а я, полагаясь на свидетельство моего мизинца, заявляю вам — с жемчужинной дело нечисто.

— Вы всерьез думаете, Ульрих,— сказал несколько резче Оскар,— что жемчужина фальшивая?

— Я ничего не думаю, ничего не знаю,— ответил Цинздорф,— но точно так же, как и вы, доверяю своему инстинкту. Ну, не упрямитесь,— настаивал он.— Заключим пари. Скажем, на десять тысяч марок. Если жемчуг настоящий, я буду вам должен на десять тысяч марок больше, если же мой внутренний голос меня не обманул, вы дадите мне десять тысяч наличными.— Он протянул Оскару руку.

— Но это было бы просто разбоем с моей стороны,— сопротивлялся Оскар.— Ведь я твердо уверен, что жем-

чужина настоящая. Зная, от кого она ко мне перешла, сомневаться на этот счет не приходится.

— Я вижу, вы увиливаете,— продолжал настаивать Цинздорф.— Да не делайте вы такое несчастное лицо. Скажите «да».— И он все еще не опускал протянутой руки.

Оскар вспомнил о предостережении Гансйорга. Вспомнил, что Цинздорф должен ему больше тридцати двух тысяч марок — тридцать две тысячи двести девяносто семь (он был по-дегенбургски аккуратен в денежных делах, и эта цифра прочно запечатлелась в его памяти). Что изменится, если она превратится в сорок две тысячи? Гансйорг прав: он, Оскар, никогда не получит этих денег. А Цинздорф, когда протрезвится, пожалеет об этом пари и его досада обратится против Оскара. С другой стороны, было бы недурно проучить этого негодяя-графа.

— Идет,— сказал он.

Нахальная улыбка, с которой Цинздорф оглядел его с головы до ног, усилила тревогу Оскара. Ему вспомнились насмешливые нотки, иной раз звучавшие в голосе Ильзы Кадерейт, вспомнился час его горького унижения.

Но раздумывать об этом некогда. Прибыл фюрер. Как ни занят был Гитлер государственными делами, он хотел во что бы то ни стало присутствовать на торжестве своего ясновидца. Оскар поспешил к порталу, торжественно встретил Гитлера. Сопровождаемый хозяином замка, среди гостей, стоявших шпалерами и приветствовавших его по-римски, Гитлер под возгласы «хайль» шествовал по роскошным покоем.

Он выказывал глубокое понимание того, к чему стремился и чего достиг Оскар перестройкой поместья Зофиенбург. Ведь он и сам был почти что архитектором. С каким удовольствием строил бы он дома, но, к сожалению, строительство новой Германии не оставляет ему досуга.

— Да, да,— говорил он,— здесь, в вашем жилище, видишь, какие узоры может вы ткать романтика немецкого духа в нашу эпоху машин.

Затем он вместе с Оскаром поднялся на помост, где находилось сиденье ясновидца. Здесь они стояли, фюрер и его пророк, под искусственным звездным небом. У ног их простирался «зал возвышения», нечто среднее между церковью, Валгаллой и лабораторией. В этом зале теснилась толпа, с благоговением взиравшая на них снизу вверх.

— Теперь,— произнес фюрер,— люди, стоящие внизу, могут собственными глазами убедиться в правде того, что сказал в своих стихах поэт:

Певец не ниже короля. Ведь оба
На вышках человечества стоят.

Позже, окончив осмотр и направившись в сопровождении Оскара к выходу, фюрер заявил:

— Люблю, когда кулак подлинно расового чувства запечатлевается, как в этом доме, на грезах старых времен.

Оскар же, мгновенно используя благоприятный случай, смело ответил:

— Мои грезы могут претвориться в действительность только с вашей помощью, мой фюрер. Отдельная личность слишком слаба, чтоб охватить во всем объеме тайные науки, которые могут достойно увенчать своей надстройкой воздвигаемое вами величественное здание государства.

Фюрер вспомнил.

— Вот, вот,— сказал он,— вы имеете в виду академию оккультных наук. Я ее создам, за этим дело не станет. Что обещано — то обещано.

После того как Гитлер удалился, настроение гостей утратило свой благоговейно торжественный характер. Они вволю пили и ели в буфете, оформленном искусно и пышно ресторатором Горхером. Болтали, острили, злословили, расхаживая меж клеток со змеями и диковинными птицами. Флиртовали, сидя за стеклянным столом для спиритических сеансов. Танцевали под искусственным звездным небом.

Когда Оскар, усталый и счастливый, попрощался с последними гостями, в водах озера отражался новый день.

В Берлине Пауль Крамер уже не чувствовал себя в безопасности.

Гитлер еще много лет назад обещал, что как только он доберется до власти, то «покатятся головы». Теперь, после поджога рейхстага, ландскнехты Проэля, штурмовики, взялись выполнять это обещание. По настоянию нацистской партии на них была возложена полицейская служба в стране. Они врываются в дома, производили обыски, грабежи, аресты. Задержанных доставляли в казармы нацистов. Об их дальнейшей судьбе ходили ужасные слухи, иные из задержанных исчезали навсегда.

Среди арестованных и исчезнувших были и друзья Пауля. Сам он тоже навлек на себя гнев нацистов. Необходимо было немедленно убраться из квартиры и как можно скорее из Германии.

Он охотно бы остался и принял участие в борьбе против шайки разбойников, завладевшей государством. Но его политические единомышленники только смеялись, когда он об этом заговаривал. Они считали, что в своей области он сделал немало, но в той борьбе, которая теперь предстоит, будет лишь помехой. Эти рабочие, профсоюзные деятели, политические руководители тепло относились к нему, не выказывали ему того недоверия, которое питали к интеллигенции. Он и сам понимал, что здесь ему больше делать нечего. Теперь здесь господствует неприкрытое насилие, против которого можно бороться пока только с необыкновенной изворотливостью, а эти качества отнюдь не являются его сильной стороной. Если он и сможет действовать, то лишь по ту сторону границы. Его друзья правы. Здесь его на каждом шагу подстерегает опасность — надо скрыться, и притом возможно быстрее.

«Прощай же, тихий дом», — напевал он про себя, запихивая кое-как в чемодан самые необходимые вещи. Сегодня он переночует у некоего Вилли на Гентинерштрассе, завтра у некоего Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. И того и другого он знает очень мало, но ему известно, что это надежные товарищи. А послезавтра, то есть не позже, чем через три дня, он окончательно исчезнет, как только ему удастся наскрести

немного денег, — ведь кое-что ему еще должны издательства и газеты.

Места, которые он покидает, не так уж хороши. Есть города покрасивее Берлина, а насчет бранденбургского ландшафта кто-то сказал, что это «подходящий фон для зла». Но он любит эту страну, любит этот некрасивый Берлин, сросся с этим ландшафтом и покидает город с болью. «Прощай же, тихий дом».

Свой темно-серый шерстяной костюм он надел на себя, чемодан уложил, теперь остается только надеть футляр на пишущую машинку. Но прежде надо еще написать письмо, последнее в этой комнате, в этой маленькой, обжитой, милой его сердцу комнатке на Нюрнбергерштрассе. Не может же он уехать из Германии, так и не повидавшись с Кэтэ. Вокруг совершаются страшные дела, положение улучшится не скоро, неизвестно, свидится ли он когда-нибудь со своими друзьями, да и вообще смешно: он сшил себе темно-серый шерстяной костюм, а Кэтэ его так и не увидит. И если даже он нарвется на унижительный отпор, он все же должен ей написать, должен попытаться еще раз встретиться с ней.

Он ни разу не видел сестры с тех пор, как она, рассердившись, уехала от него. Это было безумие, достойное сожаления. Он ничего о ней не знает, не знает даже, как она отнеслась к процессу, — решительно ничего. Но то, что не удалось сделать ему, вероятно, сделали за это время события. Они, надо думать, вышибли из нее дурь. Он видел снимки с отвратительного балагана, который построил себе мошенник Лаутензак. Кэтэ музыкальный человек, долго такой фальши она не сможет выдерживать.

Пауль начал писать. Выказал все, что наболело. Облегчил душу. Не исправляя ошибок, не вычеркивал неудачных остроумий. Весело строчила машинка, аккомпанируя его непринужденной болтовне.

Получит ли она письмо вовремя? Получит ли она его вообще? Безусловно, получит. И, безусловно, придет. Его письмо — это уже начало их разговора.

Кэтэ смотрела на неровные строчки; машинка опять испортилась, и Пауль, конечно, не починил ее. В каж-

дом слове она узнавала интонацию брата, его умную, смелую, решительную манеру. Когда она наталкивалась на одну из его неудачных острот, лицо ее выражало и боль и радость.

Не мешкая подошла она к телефону и набрала номер, указанный в письме. Услышала его голос. Глубокий, радостный испуг пронзил ее, а в его голосе прозвенела такая вспышка радости, что ей показалось непонятным, почему они не помпрились гораздо раньше.

Он предложил ей встретиться и назвал маленький дорогой ресторан. «Пропадать, так с музыкой», — пояснил он и, уж конечно, не мог удержаться, чтобы не сообщить ей:

— Между прочим, я сшил себе новый костюм. Зеленый.

В ресторан они пришли почти одновременно. Разделись, выбрали столик, прочли меню, заказали ужин. Счастливыми глазами оглядывали друг друга. Пауль, как обычно, болтал обо всем на свете и, обсуждая с обер-кельнером меню, не спускал с Кэтэ прекрасных карих глаз. Не стесняясь посторонних, он положил руку ей на плечо.

— Какие же мы с тобой были дураки! — сказал он.

Здесь, в ресторане, они могли сообщить друг другу лишь немного из того, что хотелось сказать, но интонация и голос многое выдавали. Пауль ел, как всегда, торопливо, небрежно, и даже, случалось, ронял на великолепный костюм кусочек рыбы. При этом болтал без умолку. Этот Кейт, в честь которого названа улица, где проживает Кэтэ, рассказывал Пауль, был интересной личностью, если только это тот самый Кейт, которого он имеет в виду; в Германии было несколько братьев Кейт, шотландцев, их призвал старый Фриц, по недоразумению столь обожаемый всеми. Этот злой старик, так называемый «Фридрих Великий», по сути дела, и является первопричиной всей теперешней злополучной заварухи, ведь он был первым нацистом, но надо сказать, что по сравнению с нынешними в нем было побольше перца. Затем Паулю захотелось узнать, понравился ли ей костюм, ведь он ради нее выбрал серую,

а не зеленую шерсть, и заметила ли она, какая это прекрасная ткань, «материалец», как выразился портной Вайц, уверявший, что ей не будет сноса вплоть до тихой и, надо надеяться, не скорой кончины клиента.

Кэтэ радостно слушала его болтовню. Все эти мелочи не были для нее пустяками. Кэтэ любила брата, восхищалась им. Как он красив, строен — высокий лоб, умное, страстное лицо, сияющие глаза. Что касается Кэтэ, она похудела, стала еще тоньше, чем прежде. Полухуля-полусерьезно он сказал ей, что она похожа на принцессу. Простой темно-коричневый костюм шел к ее темно-русым волосам, а лицо, которое менялось в зависимости от настроения, как ландшафт от погоды, сегодня благодаря радостному волнению встречи было светлее и оживленнее, чем обычно. Она была красива — и не только в глазах Пауля.

Все обращали на нее внимание. С особым интересом рассматривал ее какой-то молодой человек в нацистской форме; его лицо, еще совсем юное, было жестоким и порочным. Очевидно, Кэтэ показалась ему знакомой, он задумался, потом, как видно, вспомнил что-то и поклонился — вежливо, но с оттенком дерзкой фамильярности. Улыбнулся и Паулю — нагло, высокомерно, со злой, циничной любезностью. Может быть, он знал его лицо по газетам. Казалось, глядя на Пауля, он даже что-то припомнил, вынул книжечку и что-то отметил.

— Кто этот нахальный тип? — осведомился Пауль.

— Некто Цинздорф, — ответила Кэтэ.

Паулю эта фамилия была знакома, он сделал гримасу.

Кэтэ без перехода спросила, правильно ли она поняла намеки в письме и в разговоре по телефону, действительно ли он бросил квартиру на Нюрнбергерштрассе и предполагает надолго уехать? Пауль усмехнулся.

— Да и нет, — ответил он. — Не я отказался от Нюрнбергерштрассе, Берлин отказался от меня. Берлин меня выплюнул. Да, Кэтэ, твой брат покидает столицу. Он отправляется путешествовать. Куда глаза глядят. На неизвестный срок.

Кэтэ побледнела.

— В самом деле? Тебе действительно необходимо уехать? — спросила она, взглянув на него с изумлением.

— Я с удовольствием рассказал бы тебе об этом подробнее, — ответил он по-мальчишески сердито. — Но где? Нельзя ли у тебя? Здесь, в ресторане, очень уютно, однако это вряд ли подходящее место для такого разговора.

Они поехали к ней. В ее маленькой квартирке, среди простой, знакомой ему мебели, гордо красовался великолепный рояль. Пауль невольно помрачнел, почувствовал, что к атмосфере, окружающей Кэтэ, примешивается «аура» его врага Лаутензака.

Он сел и начал свое повествование. Старался говорить сухо, буднично, посасывая свою трубку, но вдруг сорвался, рассказал о многочисленных арестах, об исчезновении многих и многих, о том, что законность уничтожена, право попрапо.

Кэтэ слушала молча, взволнованная. Все это ей было неизвестно. Немногие в Германии знали тогда о таких событиях, хотя они подчас происходили тут же, рядом, в соседней квартире. Только пострадавшие знали о них, только противники нацистов, а миллионы немцев ничего не подозревали и не хотели верить, когда им говорили об этом.

Затем Пауль очень сдержанно рассказал, почему он сам очутился в таком положении. В лучшем случае, заявил он, его посадят в тюрьму и заставят отбыть год заключения, а при нынешних обстоятельствах это будет совсем не сладко.

— Вот почему мне остается, — закончил он, — отряхнуть прах этой страны от ног моих. Завтра я удираю.

Итак, сегодня она вновь обрела его, а завтра он исчезнет, кто знает па сколько времени, она же в своей великой тоске снова останется одинокой. Надо поговорить с Паулем. Может быть, не следует еще больше обременять его. Именно ей не следует. Ведь в конечном счете он вынужден бежать из-за нее. Но поговорить с ним она должна, поговорить теперь же, ведь завтра его уже не будет здесь.

Кэтэ начала издалека.

— Я виновата, — сказала она. Пауль хотел возразить, но она остановила его. — Ты был, конечно, прав, — продолжала она твердо своим чистым голосом, не глядя на него. — Он негодяй, насквозь пустой человек. Я была глупа и слепа, когда связалась с ним. Но если такое несчастье с человеком случается, то ни доводы разума, ни добрые советы не помогут. Я не хотела видеть правды. Но увидела, как он напал на тебя, и решила уйти от него. Не смогла. Теперь я смогла бы. И не знаю, как мне поступить. У меня будет ребенок от него. — Она говорила, будто сама с собой, деловито, храбро и все-таки не глядя на Пауля.

Пауль внимательно слушал ее. Он сидел не шевелясь, но от последних слов ее подскочил. Выругался сквозь зубы совсем другим голосом:

— Скотина, ну и скотина!

Но тут он взглянул на Кэтэ, на ее внешне спокойное, похудевшее лицо, и его захлестнула волна жгучей жалости. Он подошел к ней и неловко, нежно обнял за плечи. И так постоял молча.

То, что эта скотина, этот глубокомысленный болтун, этот дрянной выродок сделал племянника или племянницу ему, Паулю Крамеру, показалось какой-то чудовищной нелепостью. Он был возмущен Кэтэ и еще больше этой скотиной, которую она к себе подпустила. Но ведь, в сущности, это — давнишняя история, и то, что она имела последствия, не причина, чтобы ненавидеть Лаутензака сильнее, чем до того. Однако он ненавидел его еще сильнее.

Разумнее всего было бы, конечно, если бы Кэтэ не произвела на свет ребенка от Лаутензака; имелось множество оснований, внешних и внутренних, для такого решения. Но он — заинтересованная сторона, он любит свою сестру Кэтэ, он с самого начала неправильно подошел к ней и уж нового промаха не допустит. Только не спешить.

— Ну и дела, — вот все, что он отважился сказать. — Вот так история. — И снова: — Ну и дела.

Он прошелся несколько раз по комнате, взял свою трубку, снова положил ее. Вернулся к Кэтэ, погладил ее прекрасную большую тонкую руку и спросил:

— А что он сам говорит по этому поводу?

— Не знаю,— ответила она,— я не сказала ему. А сам он не заметил,— с горечью добавила Кэтэ.

Пауль был изумлен. То, что Кэтэ ничего не сказала *тому*, другому, и пришла со своим горем к брату, вызвало у него чувство удовлетворения, взволновало его, возвысило в собственных глазах. Да и в самом деле, ведь она *тому* чужая, а ему, Паулю, своя. И, разумеется, он ей поможет. Правда, он еще не знает, как именно,— он человек недостаточно практичный и в своем теперешнем положении вряд ли в силах что-либо сделать.

— Я, безусловно, останусь здесь,— горячо заявил он,— пока не помогу тебе.

— Чепуха,— ответила Кэтэ, но ее охватило чувство бурной радости.— Ведь ты только сейчас объяснил мне, что должен при любых обстоятельствах завтра бежать. Для меня и то уж большое утешение и облегчение, что я могла рассказать тебе обо всем. Ничего большего я не хочу, да и не вижу, как бы ты мог мне помочь.

— Конечно,— возразил, как всегда, задорно Пауль,— я не акушерка, и если бы вздумал принять новорожденного, то, несомненно, натворил бы бед; но я останусь здесь, и, поверь мне, мы с тобою неплохо будем нянчить ребенка.

Про себя он, между прочим, уже дал имя этому ребенку; побуждаемый какими-то таинственными мотивами, он назвал его Эмилем.

Она хотела возразить.

— Молчи,— сказал он решительно.— Хорош был бы я, если бы бросил тебя в беде с маленьким Эмилем.

— С кем? — удивленно спросила она.

— Ты ведь меня знаешь,— ответил он.— Мне нужны для всего определенные названия. Имя «Эмиль» кажется мне подходящим. Если бы ты сейчас дала мне рюмку коньяку, это было бы замечательно. История с маленьким Эмилем очень на меня подействовала.

Она налила ему коньяку, он выпил.

— Черт побери,— одобрительно сказал он,— видно, он почтенного возраста. Разреши взглянуть? — И он

протянул руку к бутылке. Это был очень дорогой «мартель». — И коньяк от него? — спросил он, сердито покусившись на рояль, и, так как она не ответила, налил себе еще рюмку.

Пауль поехал на Гроссфранкфуртерштрассе, к товарищу Альберту, тот обещал предоставить ему убежище на сегодня. В голове беспорядочно мелькали мысли. Со стороны Кэтэ очень мило, что она ему сказала, а *тому* нет. Не хочет он, чтобы у Олоферна родился сын. Возможно, что оставаться здесь — преступное легкомыслие, но не может же он покинуть Кэтэ на произвол судьбы. Это значило бы толкнуть ее в объятия этой скотины на веки вечные. Он начал напевать про себя старую солдатскую песню:

Дитя, что ты родишь, на свет, свет,
Я не покину-кину, нет, нет, нет!
И буду я ему отцом — ура!
И буду я ему отцом.

Да, мы будем нянчить маленького Эмиля.

Пауль уже на Гроссфранкфуртерштрассе в доме Альберта. Он здесь в первый раз и не ориентируется. Альберт живет на пятом этаже, но для подъема на лифте нужен ключ, а звонить к швейцару опасно. И вот Пауль начинает подниматься по лестнице. Когда он добирается до третьего этажа, гаснет свет. Пауль не знает, где выключатель, нащупывает какую-то кнопку, но боится, что это звонок в какую-нибудь квартиру, а у него осталось только две спички. Усталый, вспотевший, он наконец попадает на пятый, по его расчету, этаж. Но на площадке три двери, и он не знает, живет ли Альберт справа, слева или посередине. Он пробует, подойдет ли ключ, все еще опасаясь, что открывает не ту дверь и его примут за вора или за какую-то подозрительную личность, а столкнуться с полицией именно сейчас у него нет ни малейшей охоты. И он рискует зажечь последнюю спичку. Наконец, весь в испарине, Пауль входит в квартиру и видит перед собой Альберта.

Хозяин квартиры без лишних слов отводит Пауля в его комнату. В ней очень холодно, верхние этажи отап-

ливаются плохо. Да, так что же нам делать с маленьким Эмилем?

Вдруг, в ту минуту, когда Пауль уже намерен раздеться, ему приходит в голову одна мысль. Замечательная мысль. «Ура,— говорит он.— Эврика!» Он стучится в комнату, где, по его предположению, находится молчаливый хозяин.

— Что случилось?

— Есть у вас телефон? — осведомляется Пауль.

— Да,— ворчливо отвечает Альберт,— в коридоре.

Пауль звонит Кэтэ. Раздается ее чистый голос, она удивлена: уже далеко за полночь. Решение найдено, заявляет Пауль. Сбиваясь, немного шепелявя, он радостно говорит ей, что решение найдено и что, если можно, он тотчас же к ней приедет.

Но это легче сказать, чем сделать. Прежде всего надо еще раз спуститься по опасной лестнице. Кэтэ живет далеко, и неизвестно, ходят ли еще автобусы. Наконец, усталый, но радостный, он снова на Кейтштрассе, у Кэтэ.

Пауль тотчас же сообщает ей, какое решение он нашел. В деле с маленьким Эмилем, заявляет он, может помочь только женщина. И он знает, кто именно.

Пауль рассказывает Кэтэ об Анне Тиршенройт, о своей беседе с ней. Уже по лицу скульпторши видно, что это настоящий человек. Анна — старуха, но с большим сердцем, и она привязана к этому,— он проглатывает навернувшееся на язык слово,— она привязана к Лаутензаку, хотя видит его насквозь, привязана, как мать к своему заблудшему сыну. Пауль уверен, что Анна Тиршенройт поймет Кэтэ, даст ей самый умный, самый человеческий совет.

Кэтэ слушает молча. Она отвечает не сразу, это не в ее характере, ей нужно время, чтобы подумать, но в глубине души она с первой же минуты согласилась с предложением Пауля. Она так устала в одиночестве нести все заботы, без конца перебирать все «за» и «против». Для нее было бы спасением, если бы чуткий и опытный человек решил этот вопрос за нее. Да, она, не откладывая, поедет к Анне Тиршенройт, завтра же.

Пауль счастлив. Котелок у него варит. Совсем как в автомате: бросаешь вопрос, нажимаешь кнопку — и сейчас же выскакивает ответ. А разве не блестящая идея — явиться к Кэтэ среди ночи? Теперь она, по крайней мере, будет спокойно спать.

— Но пятно на моем темно-сером костюме тебе придется вывести, — требует он. — Я все время помнил, что должен о чем-то попросить тебя, и наконец сообразил.

Кэтэ, оттирая пятно, говорит, что теперь ему незачем больше задерживаться, и это очень отраднo — он может уехать, исчезнуть хотя бы завтра, а лучше — даже сегодня.

— Пошли мне на всякий случай телеграмму, — просит ее Пауль, — как только поговоришь с Анной Тиршенройт. — Он дает ей адрес Альберта на Гроссфранкфуртерштрассе. Дает и пароль, который послужит доказательством, что она своя. Но к Альберту можно обратиться только в крайнем случае. — Когда ты вернешься из Мюнхена, — говорит он, — тебя уже будет ждать весточка от меня, из нее ты узнаешь мой заграничный адрес.

Потом он обнимает ее за плечи: выражать словами родственные чувства у них не принято, и он тихо, нежно похлопывает Кэтэ по спине. Она крепко жмет ему руку.

— Как хорошо, — говорит она, — что мы снова с тобой увиделись. Спасибо тебе. И всего, всего хорошего. До свиданья.

Он долго удерживает ее руку в своей.

— Дай-то бог, — отвечает он и благодарно добавляет: — А пятно и правда исчезло. — И уходит.

Анна Тиршенройт внимательно разглядывала молодую женщину, сидевшую против нее, всматривалась в ее лицо, узкое, длинное, резковато очерченное. Это было типично немецкое лицо, замкнутое лицо человека, который раскрывается не сразу. Когда эта незнакомая девушка явилась к ней с письмом от Пауля Крамера, Анна Тиршенройт встретила ее с недоверием. Чего от нее хотят? Она следила за процессом, видела с гневом и

болью, как Оскар расправился с Паулем Крамером. Она устала, исстрадалась. И вот перед ней сидит эта женщина и полунамеками, запинаясь, рассказывает ей историю одного великого разочарования. Ах, Анна Тиршенройт все это лучше знает; знает, как человек может заползти в душу, как много надо времени, чтобы до конца узнать его, как не хочется верить, что ты обманута. «Нет, нет, неправда... не могла я так ошибиться», — и все-таки оказывается, ты обманута.

Но то, что рассказывает ей эта молодая женщина, Кэтэ Зеверин, хуже и лучше того, что пережила сама Анна Тиршенройт. Она всматривается в Кэтэ своими зоркими глазами — глазами скульптора. Нет, она неплохой человек. Она не лжет. Хорошо, что у нее родится ребенок от Оскара.

Сама Анна отступилась от Оскара. Она отступилась от него, когда из зала суда на нее хлынула волна грязи. Отныне, сказала она себе, пусть идет своей дорогой. И вот перед ней открывается новая великая возможность. Какое неожиданное счастье, что молодая женщина пришла именно к ней.

Кэтэ давно уже умолкла. Крупное, массивное лицо Анны не пугало ее, но ей не легко было говорить, глядя в эти усталые, серые, мудрые глаза. А теперь, когда старуха сидит перед ней неподвижно, ссутулившись, держа палку в вялой руке, ее молчание понемногу начинает угнетать Кэтэ.

Наконец Анна Тиршенройт нарушает его.

— Я рада, — говорит она своим низким хрипловатым голосом, — что доктор Крамер почувствовал ко мне доверие и прислал вас сюда.

Это звучит ободряюще. Кэтэ с надеждой смотрит ей в глаза.

— Мне кажется, я нашла правильный выход, — продолжает Тиршенройт, — но мне не хотелось бы решать второпях. Дайте мне немного времени, — с минуту она колеблется, выбирая обращение, — моя милая Кэтэ Зеверин. Мне кажется, что два-три дня следовало бы еще поразмыслить, и я буду рада, — добавляет она взволнованно, — если вы на это время согласитесь быть моей гостьей.

Кэтэ краснеет от радости. Она полна глубокого доверия к этой женщине.

Через день Анна сообщает Кэтэ своим медлительным низким голосом, к какому выводу она пришла. Не может быть, конечно, и речи о том, чтобы Кэтэ освободилась от ребенка. Но родить его на свет в нынешней Германии тоже не имеет смысла. Она сама, Анна, покинула бы страну, если бы не возраст, если бы у нее не болели ноги, если бы она не была связана со своей мастерской. Итак, пусть Кэтэ родит ребенка, но по ту сторону границы.

У Анны Тиршенройт есть еще два вопроса. Где теперь Пауль Крамер? Он и сам не знал, отвечает Кэтэ, куда отправится: в Швейцарию или Чехословакию; вероятно, она узнает об этом, как только вернется в Берлин.

Если это возможно, советует Анна Тиршенройт, Кэтэ должна жить там же, где ее брат.

— Доктор Крамер мне понравился,— сказала она. И осведомилась о материальном положении Кэтэ.

Кэтэ, краснея, ответила, что немного денег ей даст отец, да и Пауль, безусловно, будет ей помогать. Кроме того, она попытается найти работу. Конечно, все это очень неопределенно.

— Если вы разрешите,— сказала Анна Тиршенройт,— то я скоро вас навещу. Что касается ваших денежных дел,— закончила она, чуть-чуть запинаясь,— прошу вас, не заботьтесь об этом.

Кэтэ вернулась в Берлин, сознавая, что в лице Анны Тиршенройт обрела друга. Она устроит важнейшие дела, а затем встретится с Паулем где-то по ту сторону границы.

Жемчужина оказалась поддельной. Ильза Кадерейт подарила ему фальшивую жемчужину.

Вот они какие, эти аристократы. Папаша был прав. Папаша знал жизнь. Обер давит унтера. Если водишь компанию с людьми из высшего общества, ничего хорошего не жди. Но он, Оскар, не считался с народной мудростью, он водил компанию со знатными людьми и

теперь наказан. Они сговорились, эта стерва Кадерейт и эта скотина Цинздорф, они гнусно ухмылялись и самым подлым, свинским образом надули его, человека из народа. Послали ему фальшивую жемчужину, да еще выманили у него десять тысяч марок. Грязная, мерзкая банда!

Оскара душил гнев. Он очень хорошо представлял себе, как все это происходило. Всему виной тот глупый разговор по телефону. Она стерва, но не скряга. Ее рассердил отказ, и вот ей пришла в голову забавная, глупая мысль, и она послала фальшивому другу фальшивую жемчужину. А затем, сидя с Цинздорфом, рассказала ему, своему Люкки, какую остроумную шуточку сыграла с Оскаром, с этим плебеем. И его сиятельство граф, памятуя о своих предках, о промышлявших разбоем рыцарях, тотчас же отправился к нему, Оскару, и извлек выгоду из того, что узнал. Другими словами, залег в кусты и ограбил, выжал из него десять тысяч марок. Вот они какие, эти аристократы.

Он уселся и стал писать: «Высокочитимый граф, пари относительно жемчужины вами выиграно. Разрешаю себе вычесть проигранную сумму, десять тысяч марок, из 32 297 марок, которые вы мне должны, согласно распискам. Таким образом, теперь вы должны мне только 22 297 марок. Ввиду того, что у меня тоже накопились долговые обязательства, я был бы вам признателен, если бы вы немедленно уплатили свой долг. Хайль Гитлер! Неизменно преданный вам Оскар Лаутензак».

Между прочим, Цинздорф был единственным из врагов Оскара, кто мог похвастать победой над ним. Все остальные вынуждены были, по мере его возвышения, униженно уступать ему дорогу.

Например, Томас Гравличек, этот просветитель, этот сухарь. Теперь, когда в рейхе снова утвердились германский дух и чистота мировоззрения, оказалось, что положение этого коварного гнома пошатнулось. Он бежал в свою Чехословакию. Пусть там брзжит и фыркает, а здесь о нем ни одна собака не вспомнит.

Вполне заслуженно потерпел крах и финансовый советник Эдмунд Вернике, тот самый, который на про-

цессе со старческим упорством доказывал, что Оскар — шарлатан. Тогда над своенравным стариком только посмеялись и он отделался лишь одним синяком под глазом. Но так как он продолжал ворчать и даже позволил себе заявить, что в новой Германии и в нацистской партии бухгалтерские книги не выдержали бы проверки, возмись за это добросовестный чиновник финансового ведомства, с ним поступили менее деликатно. Его посадили за решетку. Хватит, нашумелись, милейший.

Исчез и господин фон Обрист, человек, не торгующий ни принципами, ни произведениями искусства, — для Оскара Лаутензака это было тоже ценным подарком судьбы. Принципы свои Обрист забрал с собой, а вот произведения искусства захватить не успел. Его имущество было конфисковано рейхом, и Оскар опередил всех и приобрел «Сивиллу», названия и смысла которой теперь не брал под сомнение уже ни один кичливый аристократ.

И стояла она, эта «Сивилла», в Зофиенбурге, на цоколе, который так долго оставался пустым; она заняла центральное место в холле, и ее мощная, буйная почти мужская голова подчеркивала необычайный стиль здания. Волшебный замок Клингзора теперь был окончательно завершен.

Но не опустел еще рог изобилия, из которого на Оскара сыпались дары счастья. Министр просвещения намекнул ему, что одно весьма высокопоставленное лицо заинтересовано в создании академии оккультных наук, и уж, разумеется, сам бог велел назначить Оскара президентом такой академии. Но прежде чем предложить этот пост, ему необходимо присвоить научную степень. В этом направлении уже кое-что предпринимается, сообщил министр с лукавой улыбкой.

И действительно, неделю спустя Оскар получил письмо из Гейдельбергского университета, в котором его извещали, что ввиду его научных заслуг в области психологии философский факультет постановил присудить ему степень почетного доктора. Ректор и ученый совет университета хотели бы согласовать с ним дату и другие подробности церемонии; этой церемонии следовало придать особую торжественность, Оскар даже

сел от неожиданности. Учитель Ланцингер когда-то заявил ему, что такая дубина, как он, никогда не достигнет даже самых элементарных правил латинской грамматики; а теперь ректор и ученый совет одного из старейших, знаменитейших университетов сообщают ему на чистейшем латинском языке о своем намерении облачить его в докторскую мантию. Он уже мысленно наслаждался этой торжественной церемонией. Студенческие корпорации в традиционных костюмах со знаменами, факельные шествия вокруг Гейдельбергского замка... Оскар был безмерно счастлив. Ему казалось, что он парит чуть ли не в поднебесье.

Мальчиком он однажды прошел по узкой стене, которая тянулась от герцогских владений к саду его отца. Какое это было блаженное чувство: шагать и шагать на такой высоте по гребню стены! С обеих сторон зияла пропасть, и где-то в глубине души засел страх: вот-вот сорвешься. У него слегка кружилась голова. Но от этого страха радость, пожалуй, была еще острее.

То же самое чувство он испытывал и теперь: ему было очень радостно, и чуть-чуть кружилась голова.

Государственному советнику и начальнику всегерманского агентства печати Гансйоргу Лаутензаку тоже жилось привольно, как еще никогда.

Росла его дружба с баронессой фон Третнов. Хильдегард все больше ценила его. Конечно, внешне он был неказист, маэстро с состраданием и нежностью называл его «заморышем». Но он хорошо знал пределы своих возможностей, умел мудро ограничивать себя и не помышлял о тех почестях, которые воздавались его великому брату. Фрау фон Третнов находила, что он все-таки многими своими чертами напоминает Оскара. С тех пор как Гансйорг и Хильдегард встретились в Моабитской тюрьме, они пережили много общих радостей и печалей. Словом, баронесса ничего не имела против того, чтобы еще теснее сблизиться с Гансйоргом.

Это было уже немало. Но алчное сердце Гансйорга еще больше радовалось тому, что теперь он мог наконец

утолить долголетнюю жажду мести и нанести удар некоторым старым врагам. «Яко же и мы оставляем должником нашим» — учил он в Дегенбурге на уроках пастора Рупперта. Но теперь этот жалостливый еврейский кодекс нравственности отменен. Теперь Гансйорг имеет возможность показать, что он — действительно сильный человек, преисполненный нового, истинно германского духа и вполне достойный своего истинно германского имени.

Тщедушный и невзрачный, он на своем долгом жизненном пути встречал многих людей, которые смотрели на него свысока, унижали его. Когда он во время войны был унтер-офицером и таскал рояли из Польши в Германию, когда он был журналистом и издавал «Прожектор», когда служил «агентом» и обдeldывал делишки с Карфункель-Лисси и художником Видтке, у него появилось много врагов и завистников. Не заботясь о справедливости, они часто вымещали свои неудачи на этом хилом человечке; немало пинков и пощечин пришлось тогда снести Гансйоргу. Теперь он мог отплатить — и с лихвой.

Взять, к примеру, антрепренера Иозефа Манца. Зря он смеялся шуткам, которые фокусник Калиостро позволял себе отпускать по адресу начальника всегерманского агентства печати на освящении Зофиенбурга. Уж лучше бы господин Манц не напоминал о себе Гансйоргу своим громким, жирным, веселым смехом; этот смех и прежде раздражал Гансйорга, а теперь ведь господин государственный советник и сам получил возможность устраивать весьма занимательные представления.

От пяти до шести господин Манц имел обыкновенно бывать в «Западном кафе»; туда приходили его друзья — одни по делу, другие просто поболтать. И вот однажды, когда он спокойно сидел с двумя знакомыми, к его столику подошел человек в коричневой форме и спросил:

— Господин Манц? Не так ли?

Господин Манц окинул его взглядом своих мышиных глазок, он не мог вспомнить это лицо, но оно ему не понравилось.

— Разве мы с вами знакомы? — спросил Манц. И сам ответил: — Нет, мы не знакомы.

— Но я-то вас знаю, господин Манц, — сказал человек в коричневой форме. — Я знаю, что вы с самого начала были горячим сторонником нацистов. Не так ли?

Господину Манцу стало не по себе. Откуда-то из-за других столиков вынырнули еще люди в коричневой форме и окружили стол; соседи стали прислушиваться к разговору. На лицах обоих его знакомых появилась растерянность.

— Кельнер, счет! — крикнул господин Манц.

Но незнакомец не уходил.

— Погодите-ка, — настаивал он, — ведь вы наш старый друг, припомните-ка, вы должны вспомнить.

— Да оставьте меня в покое, — потребовал господин Манц.

— Ну, зачем отвечать столь невежливо, когда к вам обращаются так вежливо. Мы ведь тоже иногда не прочь позабавиться. Вы заставляли плясать других и здорово на этом зарабатывали. А теперь попляшите, пожалуйста, для нас, милейший.

Господин Манц хотел уйти, прорваться к дверям. Но кругом теснились люди в коричневых рубашках; они стояли даже у входа и никого не выпускали из кафе.

— А пу-ка, на стол, — резко скомандовал незнакомец, — и извольте плясать! По команде «раз» выбрасывайте левую ногу, по команде «два» — правую, по команде «три» кричите «хайль Гитлер!». Ясно? — приказал он. Его глаза и жесты не предвещали ничего доброго, бандиты окружили плотным кольцом толстяка Манца.

Господин Манц взобрался на стол не слишком грациозно.

— Раз, — скомандовал незнакомец, и Манц поднял левую ногу, — два, — скомандовал тот, и Манц поднял правую, — три, — и Манц крикнул: «Хайль Гитлер!» И так много раз. Публика смотрела на это зрелище угрюмо, с озлоблением, у некоторых вырывались проклятия, но поблизости выстроились штурмовики, брань умолкла, в битком набитом кафе воцарилась тишина, слышно было лишь позвякивание кружек и тарелок да

резкие слова команды: «Раз, два, три». Господин Манц стоял на маленьком беломраморном столике, среди небубренных кружек; выделявая свои па, он сталкивал кружки, они падали на пол и со звоном разбивались вдребезги.

— Не беспокойтесь, господин обер,— заявил незнакомец,— господин Манц уплатит за разбитую посуду.

А господин Манц поднимал то левую, то правую ногу и кричал: «Хайль Гитлер!» — своим пискливым жирным голосом, его хитрые, мышинные глазки смотрели испуганно и беспомощно, лысеющая голова уже не казалась внушительной и угрожающей. Эти мышинные глазки заметили напротив у стены тщедушного человечка, который ласково кивал ему,— то был Гансйорг. Да, Гансйорг смотрел и ухмылялся, обнажая мелкие, острые, хищные зубы, и теперь господину Манцу стало ясно, кто затеял это представление.

Болван, он, Манц! Вместо того чтобы быстро исчезнуть, как только Адольф Гитлер стал главным заправилкой, он точно прирос к месту. А ведь у него есть опыт, он отлично знает: нет на свете создания более мстительного, чем неудачливый актер. Теперь получай по заслугам. Вот и приходится тебе паясничать в переполненном кафе, позориться и плясать под дудку этого сопляка «государственного советника» и его хозяина, этого паршивца, этого канцлера, этого «фюрера», освистанного комедианта.

Раз — левая нога, два — правая, три — «хайль Гитлер!».

Господин Манц припелся из кафе домой расстроенный, растерзанный, совершенно разбитый и сразу же лег в постель. На другой день он покинул страну, но перед тем не преминул рассказать своему другу Калиостро о причинах своего бегства.

Между Алоизом и Оскаром произошло бурное объяснение. На этот раз Алоиз по-настоящему взбунтовался, он отказался выступать. Кто принес ложную присягу, заявил он мрачно и мстительно, тому уже ничего не стоит нарушить и контракт. Оскар, в свою очередь, устроил дикий скандал Гансйоргу; правда, его несколько сдерживало воспоминание о том, как танцевал

Пауль Крамер, кружась вместе с вращающейся дверью и не находя выхода из отеля «Эдем». Наконец антрепренеру Манцу по настоянию Оскара послали письмо с извинением, а два штурмовика были наказаны.

Однако господин Манц предпочел остаться за границей. Алоиз стал еще более замкнутым и, сидя у портнихи Альмы, с еще большей горечью говорил о характере своего друга Оскара.

Кэтэ, одетая в дорожный костюм, открыла дверь своей квартирki на Кейтштрассе. Она устала, но чувствовала глубокое удовлетворение. Все устроилось наилучшим образом. Как только она получит адрес Пауля, она поедет к нему за границу.

У себя Кэтэ нашла нетерпеливые телеграммы от Оскара. Он был встревожен, так как несколько раз звонил и все напрасно; были и другие телеграммы и письма, но от Пауля — ничего. Вероятно, он из осторожности решил послать ей весточку окольным путем, а может быть, письма задерживает цензура. Придется подождать еще денек-другой, пока она получит от него какое-нибудь известие. Где он? В Швейцарии или в Чехословакии? Так или иначе, она завтра же уложит свои вещи. С Оскаром она уже не увидится. Сообщит ему из-за границы, что лучше им больше не встречаться. А о ребенке ничего не напишет.

Кэтэ легла в постель. Худшее — позади. Она была спокойна, счастлива. Заснула быстро и спала эту ночь крепко.

На следующий день Кэтэ уложила вещи. Пошла в банк, взяла свои небольшие сбережения. Вернулась домой. Почта пришла, но от Пауля — ничего. Звонил телефон, но все это были неинтересные звонки. Она снова вышла из дому, чтобы купить себе что-нибудь к ужину. Торопилась, боясь пропустить звонок Пауля. Но позвонил Оскар. Он сердито спросил, где она пропала. Она солгала, сказала, что ее вызывали в Лигниц, к отцу. Это был неприятный разговор. Надо надеяться, — последний. Завтра, самое позднее — послезавтра она получит весточку от Пауля и уедет.

Кэтэ села за рояль, открыла крышку. Но играть не стала. Она всегда сидела перед этим роялем с каким-то двойственным чувством. Рояль она оставит здесь. С Оскаром расстанется без ссоры, но рояль оставит здесь.

В эту ночь Кэтэ тоже спала хорошо. Утром позвонила Марианна и спросила, не слышала ли Кэтэ чего-нибудь о Пауле. Сама Марианна целую неделю не получает от него вестей. Должно быть, Пауль уже по ту сторону границы, но ведь мог бы он прислать весточку.

В следующую ночь Кэтэ спала плохо и решила утром пойти на Гроссфранкфуртерштрассе, к Альберту. Пауль ей сказал, чтобы она обратилась к нему лишь в крайнем случае, но если до утра не будет ни письма, ни телеграммы, она пойдет. Наступило утро. Она подождет до двух. Пробило два часа. Она решила подождать до четырех.

В пять она была на Гроссфранкфуртерштрассе.

Кэтэ не решилась позвонить швейцару, чтобы вызвать лифт, уж лучше подняться на пятый этаж пешком. Ей открывает худощавый, на вид равнодушный человек. Кэтэ произносит пароль, она еще не отдышалась. Человек окидывает ее с головы до ног холодным, настороженным взглядом.

— Не понимаю вас, — говорит он.

— Но ведь вы господин Альберт, — настаивает она.

— У любого жильца в этом доме можно узнать, что здесь живет Альберт Шнейдер, — говорит он.

Кэтэ чувствует, что их разделяет глухая стена недоверия.

— Речь идет о Пауле, — говорит она подчеркнуто, — о Пауле Крамере.

— Не знаю такого, — коротко отвечает он.

Что делать? Он ей не верит, это ясно. Не натворить бы каких-нибудь глупостей, иначе все пропало.

— Да нет же, вы должны его знать, — произносит она в отчаянии, — я его сестра, — торопливо добавляет она, — он, вероятно, рассказывал вам обо мне. Меня зовут Кэтэ Зеверин, я не лгу вам, клянусь вам богом, посмотрите вот это, — и она показывает ему заграничный паспорт, но тот по-прежнему смотрит на нее с недове-

рием. Наконец произносит: «Входите», — и вводит ее в неуютную комнату.

— Еще раз повторяю, не знаю я никакого Пауля Крамера или кого вы там называли. И впустил вас только потому, что вы так расстроены.

Кэтэ рассказывает стремительно, сбивчиво. Приводит подробности, которые ей кажутся убедительными. Ее не было в Берлине, она ездила в Мюнхен. Пауль знает об этом. Она условилась с Паулем, что будет телеграфировать ему сюда, на Гроссфранкфуртерштрассе. Так она и сделала, но от Пауля нет никаких известий. Он сказал ей, чтобы она лишь в крайнем случае пришла на Гроссфранкфуртерштрассе, но ведь это же и есть крайний случай; ведь если бы с ним ничего не случилось, она бы непременно получила от него известие.

Все, что она говорит, звучит убедительно. Альберт вспоминает, что Пауль действительно рассказывал ему о сестре. Чудак он, этот Пауль, надо было выражаться яснее. Альберт никак не может совладать со своим недоверием, он скуп на слова, в такие времена надо быть крайне осторожным.

— Никакого тут Пауля Крамера не было, — заявляет он. — Давным-давно не было, поверьте мне, фрейлейн, от кого бы вы ни пришли — от полиции или от кого другого. — Он видит ее глаза, беспомощные, полные отчаяния. — Если он не послал вам телеграммы, ваш Пауль, — осторожно поясняет Альберт, — то, вероятно, его сцапали; очевидно, у него были причины прятаться. — Он говорит угрюмо, задумчиво и все же уверенно.

Кэтэ сидит, оцепенев от страха и бессилия.

— Посидите-ка еще минутку, фрейлейн, — предлагает Альберт, — отдохните. Полиция, — размышляет он все так же угрюмо, — может быть, и смогла бы разыскать вашего Пауля Крамера или как его там зовут. Но не думаю, чтобы имело смысл к ней обращаться: у нее в эти дни и так хлопот по горло.

Кэтэ понимает, что этот Альберт, из которого надо клещами вытягивать каждое слово, — друг, но он ничего больше не может, не решается, не хочет сказать. Он производит впечатление разумного и надежного человека. Вероятно, он прав, вероятно, Пауль арестован,

и, конечно, неразумно было бы заявлять об его исчезновении в полицию. Поблагодарив Альберта, она уходит.

День дождливый, но она отправляется домой пешком. Враги поймали Пауля, и виновата в этом она, Кэтэ. Если бы не она, не было бы этого злосчастного процесса. Если бы не она, Пауль давно уехал бы из Берлина и был бы теперь в безопасности. Его инстинкт всегда подсказывал ему правильно — и насчет Оскара, и насчет бегства. О том, что творится в нацистских застенках и тюрьмах, он говорил ей только намеками; она не может себе этого представить. Нет, может, но не хочет. От одной мысли об этом у нее перехватывает дыхание.

Она должна вызволить Пауля.

Есть только один путь. С первого же слова, сказанного Альбертом, она поняла, что ей придется пойти этим путем. Отвратительный, грязный путь, ей придется превозмочь себя, решиться на унижение. Но она должна спасти Пауля, она должна отправиться в Зофиенбург, к Оскару.

Как только Кэтэ встретилась с Оскаром, она в первую же минуту сказала ему, чего от него хочет. Его лицо замкнуто, видно, что ей тяжело говорить. Ей всегда нелегко было просить. А теперь ее просьба звучит как требование, почти как обвинение.

Оскар мрачнеет. Значит, она опять встречалась со своим братцем — после процесса, несмотря на процесс. Она, как видно, считает Оскара очень великодушным, если предполагает, что он вызволит из беды своего врага — да еще какого врага!

И все же он рад ее просьбе. Враги опутали Кэтэ, женщину, которую он любит, путами рассудочности. Если он преодолет свой справедливый гнев и смирится над предводителем клики интеллектуалов, его великодушный поступок освободит Кэтэ от пагубного влияния этой рассудочности. Да, он спасет Пауля Крамера. Этот человек слишком ничтожен, и Оскар не будет настаивать на том, чтобы он понес заслуженное наказание.

Оскар молчит. Обдумывает, как облечь свое согласие в наиболее эффектную форму. Кэтэ между тем неправильно понимает это молчание. Она знала, что Оскар согласится не сразу, что ей придется пойти на многое. И, подавляя раздражение, она говорит своим чистым голосом, что ей нелегко было обратиться к нему, но она вынуждена это сделать. Она многим обязана своему брату Паулю, и, кроме того, она виновна в том, что с ним случилось. Если бы не она, Пауль своевременно уехал бы из Берлина. Она его удержала. Она нуждалась в его совете.

Оскар высоко поднимает густые темные брови. Значит, вот как, она снова сблизилась со своим братцем.

— Если тебе был нужен совет,— говорит он,— почему ты не обратилась ко мне?

Она решительно отвечает:

— Оттого, что в этом замешан ты. А дело в том, что я беременна.

Лицо Оскара — Кэтэ стало горько и смешно — лицо Оскара, ясновидца, поглупело от изумления. Но вдруг — мгновенная перемена — оно посветлело, оно сияет огромной, простодушной, мальчишеской радостью.

Кэтэ ничего не может с собой поделать: при взгляде на внезапно изменившееся лицо Оскара в ней на мгновение вспыхивает прежнее бурное чувство. Но ее лицо остается суровым и озабоченным. Он это видит и снова неправильно объясняет себе причины ее озабоченности.

— Почему же ты обратилась к брату,— спрашивает он с упреком и добавляет с неуклюжей радостью.— Неужели ты думала, что я откажусь от своего отцовства? И не подумаю! Это же замечательно — у нас будет ребенок! Теперь мы, конечно, поженимся. Как можно скорее. Немедленно. Увидишь, свадьба будет великолепна! Если все окажется в порядке, сам Гитлер приедет. Разве ты не рада?

Он подходит к ней, обнимает ее за плечи, и его массивное лицо с дерзкими голубыми глазами склоняется близко-близко к ее лицу.

Кэтэ дрожит, она оттаивает. Ее прежде всего покоряет этот восторг, эта детская, необузданная радость. Только у него лицо и все его существо может светиться

такой радостью. Кэтэ чувствует приближение той волны, которая ей так хорошо знакома, которая захлестывает в ней все разумное. Она борется. Она не хочет снова подпасть под его влияние.

Но внезапная боль заставляет ее опомниться. Кольцо, это ненавистное кольцо, хвастливо сверкающее на его большой руке, впивается ей в плечо. Кэтэ тихонько, чтобы не обидеть его, высвобождается из его объятий.

— Конечно, я рада,— отвечает она.— Но боюсь, у меня не будет ни одной спокойной минуты, пока,— она ищет подходящее слово,— пока Пауль там.

— Чепуха,— самоуверенно заявляет Оскар,— пусть это не смущает тебя. С твоим братом все будет улажено — я позабочусь обо всем сам.

Кэтэ выпрямляется, потом опускает плечи, как бы сбрасывая тяжесть. Сидит усталая, опустошенная, ей пришлось напрячь все силы. Он смотрит на нее.

— Прошу тебя, предоставь все мне,— уговаривает он ее заботливо, ласково.— В твоем положении нельзя волноваться. Прошу тебя, Кэтэ, побереги себя.

И минуту спустя, улыбаясь, грубовато, но дружелюбно говорит:

— Послушай, Кэтэ, ну, как же теперь? Может быть, ты наконец дашь мне ключ?

Это старый спор. Оскар давно просил ключ от ее квартиры, но Кэтэ отнекивалась, ей казалось, что, отдав ему ключ, она окончательно потеряет свободу.

Она кивает. Теперь уж ничего не поделаешь, теперь она вынуждена отдать ему ключ.

Оскар позвонил в «Колумбияхауз», где помещался штаб штурмовых отрядов, попросил к телефону начальника штаба Проэля. Ему было неприятно просить об одолжении, но он не видел другого средства вызвать Крамера.

Проэль, как всегда, прикидывался веселым, но уже само сообщение о том, что звонит Оскар, вывело его из равновесия. Его отношения с этим комедиантом все еще были неясны. Как и прежде, он с каким-то гнетущим чувством вспоминал о том вечере, когда Оскар

предсказал поджог рейхстага; этот человек вызывал в нем чувство жути. Проэль пытался расплатиться с ним. Он сам напомнил Гитлеру об академии, сам позвонил министру просвещения, без его вмешательства в Гейдельберге, вероятно, даже не подумали бы устроить торжественную церемонию. И Проэлю не было неприятно, что этот человек наконец сам обратился к нему и попросил об услуге.

— Я нахожу, что это очень благородно с вашей стороны, дорогой мой,— сказал он своим скрипучим голосом,— пристыдить противника своей добротой. Тут дядюшка Проэль с удовольствием поможет вам. Я прикажу принести дело вашего, как его там, Пауля Крамера, и если в деле нет ничего особенного, мы этого молодца освободим.

— Благодарю вас, господин начальник штаба,— сказал Оскар.

— Пожалуйста, не стоит благодарности,— ответил Проэль.

Осуществлять «меры предосторожности» Проэль поручил Цинздорфу.

— Послушай-ка, мой мальчик,— сказал он,— мы посадили известного тебе Пауля Крамера. Если нет каких-либо особо важных причин, я бы хотел выпустить этого субъекта. За него хлопочет видный член партии; и, насколько я понимаю, такие интеллигенты в настоящее время не опаснее обгоревшей спички.

Цинздорф все сразу сообразил. Видный член партии — это, разумеется, Оскар Лаутензак. Предположение, возникшее у него при виде Пауля в обществе любовницы Лаутензака, оказалось правильным, между «родственниками» существуют какие-то отношения; и он, Цинздорф, арестовав Крамера, даже сильнее, чем рассчитывал, досадил наглецу Лаутензаку, который написал ему такое плебейское письмо с напоминанием о долге. В расчеты Цинздорфа не входило выпускать из рук добычу, подобную Паулю Крамеру.

— Вы, разумеется, правы, начальник,— сказал он,— этот тип не опасен, но если один видный член партии хлопочет об его освобождении, то другой видный член партии решительно возражает.

Он с ухмылкой, нагло и доверительно смотрел в розовое лицо Проэля; не стоило и уточнять, кто этот видный член партии.

Проэль знал своего Ульриха, знал его исключительное высокомерие, его безграничную испорченность.

— Оскар Лаутензак оказал партии более важные услуги, чем ты, мой мальчик, — добродушно отозвался он.

— Зато я симпатичнее его, начальник, — возразил Цинздорф, — разве не так?

Проэль молча посмотрел на друга своими светло-серыми хитрыми глазками. Он слегка постучал карандашом по лысине, как обычно делал, задумавшись.

— Этот Лаутензак отвратителен, — продолжал Цинздорф. — От него так и несет потом, до того он старается — лезет все выше и выше. От него смердит. Уверен, что и вы, начальник, относитесь к нему точно так же. Не вижу, почему мы должны удовлетворять все капризы этого избалованного мужика.

— А сколько ты должен этому избалованному мужику? — спросил Проэль, все еще постукивая себя карандашом по лысине.

— Тысяч двадцать — тридцать, — спокойно ответил Цинздорф.

— Было бы очень нелюбезно, — заметил Проэль, — без достаточных оснований отказать в маленькой услуге столь заслуженному человеку, как Оскар Лаутензак.

— Давайте-ка я сначала покажу вам дело Крамера, — сказал Цинздорф, — я не все помню, но мне кажется, это объемистое дело, и если преднамеренно не закрывать глаза, то веских улик в нем можно найти сколько душе угодно. Между прочим, совершенно независимо от моей личной антипатии, сама партия заинтересована в том, чтобы разок проучить владельца замка Зофиенбург. Слишком он уже задрал нос. Если он вдруг преисполнился древнехристианского всепрощения, его дело. Но требовать, чтобы партия ему потворствовала, — просто наглость. Я против освобождения Пауля Крамера, — деловито заключил он.

— Ты очень мил, — сказал Проэль.

Он хорошо понимал антипатию Цинздорфа и

находил, что даже с объективной точки зрения его доводы не лишены основания. Лаутензак действительно зазнался; если он одарен способностью заглядывать в человеческое нутро, это еще не значит, что он имеет право во все совать свой нос. Проэль претендует на «fairness», на порядочность, он хотел бы заплатить этому типу, должником которого себя чувствует, он решил добиться учреждения академии оккультных наук, невзирая на огромные издержки. Ну и пусть занимается, сколько ему угодно, делами академии. Но в политику Проэль не хочет допускать столь опасного человека, а дело Крамера — это уже политика.

— Благодарю тебя, мой ангел, — сказал он, — что ты так убедительно объяснил мне свою точку зрения. Давай сюда дело Крамера.

Оскар примерял костюм, предназначенный для церемонии присуждения докторской степени в Гейдельберге. Он заказал его портному Вайцу. Черная мантия спадала тяжелыми, величественными складками; над маленькими брыжжами возвышалась, излучая силу, массивная голова Оскара, ребристый берет придавал еще большую значительность его лицу. Оскар гордо смотрелся в зеркало, в то время как искусная рука портного Вайца нежно разглаживала складки.

— Вот это мантия, — радовался Вайц, — в ней господин доктор произведет внушительное впечатление. В ней господин доктор похож на монумент. Вот такую статую следовало бы вам заказать скульптору.

Он очень рад, словоохотливо продолжал портной, что новый рейх умеет ценить своих великих людей. А господин доктор — из великих великий, это даже ему, Вайцу, понятно. Ведь он, Вайц, и сам умеет разбираться в людях, в этом отношении он чуточку похож на господина доктора. Когда наблюдаешь людей только во время примерки, в одних кальсонах, тогда видишь их пасквозь. К тому же господа клиенты во время примерки имеют обыкновение болтать. Он-то, Вайц, их не выдаст, но чего только не слушаешься. Например, бывший господин рейхсканцлер недавно примерял

новый синий костюм. Что он только не наговорил, стоя в кальсонах в примерочной кабине,— только руками разведешь от изумления. Теперешних господ министров он называл грязными хулиганами. Недолго-де он будет их терпеть — всю банду разгонит. При этом он так кричал, что во всей мастерской слышно было.

Оскар презрительно скривил губы: «Аристократы!» Их песенка спета, это доказывает их бессильная брань. Как бы громко они ни кричали, их никто уже не услышит. Вот им и приходится отводить душу в примерочной у портного Вайца, стоя в одних кальсонах. Он же, Оскар Лаутензак, в мантии и в докторском берете, изложит свое мировоззрение студентам, которые выстроятся под знаменами перед иллюминированным гейдельбергским замком. Он осматривал себя в зеркале, улыбаясь мечтательной, высокомерной, презрительной улыбкой. Вдруг ему в голову пришла мысль: да ведь у него ключ от квартиры Кэтэ. Надо показаться ей в новом наряде. Перед тем как отправиться в Гейдельберг, он сделает ей этот сюрприз.

Ему докладывают, что его просит к телефону господин начальник штаба Проэль. После тягостного разговора с Проэлем по поводу Пауля Крамера Оскар почти забыл обо всей этой истории.

«Значит, дело улажено,— радуется он, снимая трубку.— Очень хорошо, что Проэль сообщает мне об этом как раз сегодня. Вот я и успокою Кэтэ».

— Я с удовольствием оказал бы вам услугу,— говорит Проэль своим скрипучим голосом.— Но я велел принести дело вашего Пауля Крамера, и, должен вам сказать, дело весьма объемистое, по толщине оно может сравниться с нашим Германом. Кроме вашего процесса, у нас с господином Крамером есть другие счета, и не маленькие. При всем желании я не могу выпустить его в ближайшее время, хоть этого и домогается такое заслуженное лицо, как вы. Общее благо выше личных интересов. Если могу вам быть полезным в чем-нибудь другом, дорогой мой, пожалуйста, с величайшим удовольствием. Я не забыл, что еще в долгу у вас. Присуждение степени — это только первый шаг. Я буду и впредь нажимать на Адольфа и добьюсь, чтобы на той

высокой кафедре, которой мы восхищались в Зофиенбурге, восседал человек титулованный. Уж можете на меня положиться. Всего доброго, счастливой поездки.

Оскар побледнел. Они не освобождают Крамера. Это новая коварная интрига «аристократов». Они мстят подло, они злопамятны; как это похоже на гнусную выходку с жемчужиной. Сначала он ему пообещал все сделать, этот Проэль, эта скотина, а теперь, видите ли, появилось толстое дело. Знаем мы эти штучки. Но он, Оскар, предчувствовал недоброе, когда обращался к Проэлю. От бешенства он с трудом находит слова.

— Благодарю вас, господин начальник штаба,— говорит он с подчеркнутым высокомерием,— что вы хотите хлопотать за меня у фюрера. Но прошу вас, не старайтесь, фюрер уже сам обещал мне. Этого достаточно. Да и не следует забывать о том, что я оказал услугу партии не ради награды, а прежде всего во имя дела. Сама природа моего искусства такова, что оно не может проявиться, если рассчитываешь на награду.

— Понимаю, понимаю,— скрипучим голосом отвечает Проэль.— *L'art pour l'art*¹. Башня из слоновой кости. «Не дари мне цепи золотой» и так далее. Ну, во всяком случае, у меня были добрые намерения, и, насколько я знаю Адольфа, немножко нажать не мешает. Итак, всего хорошего. Желаю вам приятно провести время в Гейдельберге.

Разговор окончен. Оскар сидит, на сердце у него тяжело, он с трудом переводит дыхание, ему стоило немало труда говорить хоть сколько-нибудь спокойно. Вот тебе и поездка к Кэтэ. Оскар вынимает ключ, злобно смотрит на него. А он-то ей наговорил о своей власти, о своем влиянии, газеты, мол, полны сообщений о гейдельбергской церемонии. А на поверку оказывается, что он не может даже добиться такого пустяка, как освобождение Крамера.

Проэль подлец и терпеть не может Оскара. Но при первом разговоре искренне хотел ему помочь. Жалко, что нет Гансйорга; тот мог бы точно объяснить, кто сунул нос в это дело. Но Гансйорг опять уехал.

¹ Искусство ради искусства (*франц.*).

В Париж. Нет, не нужен ему Гансйорг. Он и сам отлично все знает до мельчайших подробностей. Винават Цинздорф. Он науськал Проэля. И они вместе сыграли с ним эту злую шутку.

Но на сей раз они опять просчитались, эти милые «аристократы». Он и не подумает сдаваться. Он обещал Кэтэ выволить Крамера. И он его выволит. И вдруг молниеносно ему приходит в голову — как именно. Другой на его месте дальше Проэля не пошел бы. Но для него, Оскара Лаутензака, есть и другие пути.

Он звонит в рейхсканцелярию.

Фюрера нет в Берлине. Фюрер уехал на несколько дней в свой берхтесгаденский замок.

Не беда. Оскар должен быть в Гейдельберге только в пятницу. У него еще есть время слетать в Берхтесгаден. Дело с Паулем Крамером он уладит еще до поездки в Гейдельберг.

Канцлер праздно бродил по своему поместью Бергхоф — он нервничал. Надо было сделать выбор, принять решение, а этого он не любил.

Две группы, проложившие Гитлеру путь к власти, тащили его в разные стороны: маленькая группа «аристократов» и большая группа его «старых борцов», авантюристов, — он называл их «народ». «Народ» требовал социальной революции, которую Гитлер ему обещал, — десять тысяч «старых борцов» требовали доходных мест. Но раздавать эти места могли только «аристократы», а они были хитры, упорны, они и не думали подпускать «старых борцов» к кормушке. Можно было бы попросту прогнать «аристократов», но для этого партия пока еще не была достаточно сильна, а Гинденбург, рейхспрезидент, за спиной которого они стояли, все еще пользовался большим авторитетом, чем Гитлер. Кроме того, почтение к «аристократам» было в крови у канцлера, и он ими восхищался, несмотря на всю свою ненависть: ему импонировали их самоуверенность, их непринужденное высокомерие.

Взять, например, самого старика фельдмаршала; Гитлер очень неохотно с ним встречается. Когда пре-

старелый президент стоит перед ним, опираясь на свой костыль, и говорит прерывистым, глухим, как из подземелья, голосом: «Господин Гитлер, так не полагается», — ему начинает казаться, что он еще мальчишка и стоит перед папашей. Совсем недавно снова случилось нечто такое, о чем он вспоминает с величайшей досадой. В Потсдамской церкви — это было в день поминовения — старик спустился в склеп Гогенцоллернов, а ему, Гитлеру, не полагалось следовать за ним. Правда, он в это время произнес речь перед собравшимися в церкви, и это была замечательная речь. Но все-таки успех выпал на долю президента, а он, Гитлер, шел рядом с огромным, величественным фельдмаршалом, как побитая собака.

Надо сказать, что «аристократы», к сожалению, во многих своих требованиях совершенно правы. Они, например, считают, что он должен устранить кое-кого из своих друзей, которых продвинул на важные посты, так как они совершенно неприлично ведут себя. И, по правде говоря, гордиться этими друзьями не приходится. Но, с другой стороны, «верность — основа чести», и если его друзья требуют, чтобы он засадил фрондирующих «аристократов» в концлагерь, то и над этим стоит хорошенько поразмыслить.

Ах, как ему надоело изо дня в день принимать решения! Поэтому он и сбежал в свой Бергхоф. Он хочет, чтобы его оставили в покое. А покоя ему не дают. Все хотят срочно с ним говорить. С одной стороны — Кадерейты, Беренклау и им подобные, а с другой — его собственные приближенные, Проэли и Геринги. Но он не хочет. По крайней мере, в эти несколько дней отпуска он знать не хочет проклятой политики.

И вот он сидит в Бергхофе и брюзжит. Смотрит фильмы, перелистывает иллюстрированные журналы, ни с кем не видится. Но, по совести говоря, ему скучно.

Когда ему докладывают о приезде Лаутензака, он с облегчением вздыхает. Вот наконец человек, который не будет ему досаждать государственными и партийными делами, с ним можно поговорить о чем-то более разумном, возвышенном, о внутреннем голосе, судьбе и тому подобном.

— Вы явились как раз вовремя для настоящего мужского разговора, — начал он и схватил грубыми белыми руками грубые белые руки Оскара. — Он не забыл об академии оккультных наук, — продолжал канцлер; перед самым отъездом из Берлина у него была серьезная беседа на эту тему с Проэлем, и как только Оскар получит ученую степень, академия будет открыта. — Тайные пауки, — изрек фюрер, — тайные науки я ценю не меньше, чем Александр, Цезарь, Валленштейн. Я на себе испытал радость и трудность подлинного самоуглубления, добросовестного самопознания и исследования себя, своего «я». Путь к свету — тернистый путь. Но его необходимо пройти. Внутренний голос — это та основа, на которую опирается истинный немец, строя будущность партии и отечества.

Он устремил взор вдаль; затем, после паузы, прибавил значительно, с ударением:

— Вот для этого, господин Лаутензак, я и удалился сюда. Я жду, когда прозвучит мой внутренний голос. — И он глубоко погрузил свой взгляд в глаза Оскара.

Оскар почувствовал радостный испуг. Смысл этих слов был ясен: Гитлер ждал, чтобы Оскар заставил звучать его внутренний голос, чтобы Оскар помог ему своим «видением».

К такому великому событию Оскар не подготовлен. Сегодня он поглощен собственными маленькими заботами и страстями, он не в форме, ему не хватает той дерзкой уверенности, которую он почти всегда ощущает. Справится ли он с такой задачей? Но нельзя же не использовать этот величайший шанс. Дерзнуть надо.

Он закрывает глаза, открывает их, снова закрывает. Ему незачем говорить фюреру, чтобы тот ослабил напряжение, — фюрер не сопротивляется. Этот прославленный человек более велик, чем Оскар, но они сродни друг другу, они одного рода и племени, и каждый без слов понимает другого.

Оскар стягивает с себя все, что ему мешает, все себялюбивое. И ему удастся. Он чувствует, как оно спадает с него, и вот, вот, вот разрывается какой-то невидимый покров. Оскар «видит». Видит ненависть фюрера к «аристократам», его страх перед ними, его почтение,

жажду повиноваться им и все-таки быть среди них первым. И видит, что Гитлер связан со своими верными друзьями и сообщниками, но в то же время тайне мечтает избавиться от этой банды. Все в фюрере гораздо неистовей, гораздо опасней, чем в нем самом, но — Оскар видит это с глубокой благоговейной радостью — все так близко к его собственным переживаниям.

Он начинает говорить, полный почтительного участия, он подбирает слова загадочные и все-таки уверенные. Почти неразрешима задача канцлера. Он должен примирить непримиримое. Должен удовлетворить «старых борцов» и не слишком ущемить интересы алчных «аристократов», без которых он обойтись не может.

— Вам необходимо, мой фюрер, — говорит Оскар, — сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Притом, — смелым, доверительным тоном продолжает он, — часть вашего сердца принадлежит волкам. Верно я говорю? — спрашивает он, смотря прямо в лицо фюреру; это звучит боязливо и торжествующе.

— Да, милый Лаутензак, — задумчиво подтвердил Гитлер. — Вы правы. Моя борьба — это вечное хождение по узкой тропе, где справа и слева зияет бездна. — И, глядя вдаль необычно затуманенным взором, тихо продолжал: — Пожалуй, вы правы даже насчет волков. Пожалуй, часть моего сердца принадлежит волкам.

Опасные вопросы были затронуты Оскаром. Но он уже не мог не продолжать. Мысли и желания шли волнами от Гитлера к Оскару. Оскар знал, что фюрер ждет совета, и знал какого.

Он осторожно начал:

— Не слушайте, мой фюрер, слишком ретивых друзей и не принимайте решений, для которых еще не пришло время. Подождите, пока заговорит ваш внутренний голос. А уж тогда... — Он не кончил.

— Ждать, ждать, — отвечал фюрер, его голос звучал странно протяжно, мечтательно. Но то, о чем он мечтал, было нечто грозное, это были бури такой силы, что он, которому предстояло выпустить их на простор, сам их боялся. — Ждать, ждать, — повторял он все тем же злым мечтательным голосом. — Ждать, пока заговорит внутренний голос. А потом?..

— А потом ударить...— внушил ему Оскар быстро, тихо, таинственно.

Фюрер впитал в себя слова Оскара.

— А потом ударить,— повторил он.— А потом — пусть покатятся головы,— продолжал он мечтать,— много голов, не разбирая, чья это голова, врага или друга. Если внутренний голос подсказывает — пусть они катятся, головы. Правильно, правильно. Это вы хорошо увидели и хорошо сказали, дорогой Лаутензак.

Оскар непроизвольно, точно защищаясь, слегка приподнял руку. Брожение и кипение в душе глубоко почитаемого им человека испугало его. То, что вырвалось с такой дикой, мрачной силой из этой души, было больше того, что он увидел и выразил, и больше того, что он хотел внушить.

Фюрер оторвался от своих грез. Он почувствовал, что его одобрил человек, внутреннему голосу которого он доверял. Значит, он, Гитлер, имеет право выждать, оттянуть решение. Это соответствовало его желаниям. Его лицо, только что выражавшее угрюмую одержимость, прояснилось.

Он очень милостив к Оскару. Он обнимает его за плечи, ходит с ним взад и вперед по комнате. Замок Бергхоф — светлое, веселое здание; в огромные окна повсюду заглядывают могучие снежные горы. Но в Бергхофе, как и в Зофиенбурге, везде расставлены таинственные, новейшей конструкции аппараты. Канцлер показывает своему ясновидцу некоторые из них. Здесь не только сложная киноаппаратура, радиоустановки, приборы для подслушивания, но и множество хитроумных сигналов тревоги, подъемников и шахт, ведущих глубоко внутрь скалы, чтобы канцлер мог уйти от врагов.

Все это фюрер не без гордости показывает своему ясновидцу. Да, он очень благосклонен к нему.

Оскар приходит к выводу, что он поступил правильно, приехав сюда. А теперь настало время обратиться к фюреру с просьбой.

Он проводит скромную параллель между собой и фюрером. Ему тоже приходится страдать от слишком усердствующих друзей. Один из них, например, поса-

дил в тюрьму человека, который несколько месяцев назад глупо оскорбил его. Речь идет о некоем Пауле Крамере; наверное, фюрер помнит этот процесс. Но ему, Оскару, арест этого субъекта кажется слишком мелочной, слишком ничтожной, слишком материалистической мстью. Ему хотелось бы унизить его глубже. Ему хотелось бы, чтобы Пауль Крамер был освобожден, и тогда они померятся силами в расширенном духовном пространстве созданной фюрером новой Германии. Ему хотелось бы нанести удар не телу врага, а его душе.

Гитлер слегка наморщил свой большой, острый, треугольный нос. Слова Лаутензака не вполне его устраивали. Он и сам нередко раздумывал о сущности мести.

— Мщение, — возвестил он, — основное свойство германской души. Вспомните «Песнь о Нибелунгах». Вспомните великого Рихарда Вагнера, посвятившего всю свою жизнь мести. Да и на меня возложена миссия мести, ужасной, многоликой мести. Судьба повелела мне повернуть на правильную стезю колесо истории, пущенное на ложный путь гнусной французской революцией и ее продолжателями большевиками. И я это совершу, миссию свою выполню, в этом мир может быть уверен.

И снова в его глазах промелькнуло то опасное, бредовое, что наполняло Оскара восхищением и ужасом. Он, Оскар, был одарен только «видением». А человек, стоявший перед ним, помимо «видения», обладал еще и кулаком. Ему стоило лишь захотеть, и «увиденное» сегодня станет завтра действительностью.

— Мы, — продолжал вещать фюрер, — будем вершить кровавое дело мести не как дилетанты, не как французы и русские, мы займемся этим с железной немецкой основательностью. Головы покатаются, — снова погрузился он в свои грезы, — но гораздо, гораздо больше голов, чем у них. В семь раз больше голов. Это будет целая пирамида, огромная пирамида. — Последние слова он произнес почти шепотом, но с каким-то судорожным неистовством. Он смотрел в одну точку, лицо его выражало решимость, сладострастие.

Оскар побледнел. Почти против воли отступил он на шаг перед этим одержимым. Те опасные силы, которые

он, Оскар, развязал, по-видимому, принимают чудовищные размеры. Эта мысль вознесла его и в то же время испугала. Снова началось у него то головокружение, та дрожь, которые он испытал, когда мальчиком шел по гребню стены на опасной высоте, все дальше и дальше, от зубца к зубцу, со страхом и в то же время с затаенной радостью; Гитлер видел, какое впечатление произвели его мечты на Лаутензака. Он радовался этому впечатлению. Тон его снова стал дружелюбным, шутливым.

— Вам-то легче, мой дорогой Лаутензак, — сказал он. — Вам-то разрешается вершить месть в форме игры идей. Я бы и сам этого желал.

Оскар поблагодарил фюрера за то, что тот позволил ему заглянуть в себя. Сначала голос его был несколько глух, но постепенно Оскар разошелся. Он воздал хвалу фюреру за образность и силу, с которой тот показал значение инстинкта мести, одной из важнейших черт немецкой природы. В душе немца, перевел он слова Гитлера на свой язык, сила разрушения является не менее творческой, чем сила созидания. Для немца вожденный миг, когда он повергает в прах и растаптывает своего противника, несет в себе радость созидания.

— Я вижу, что вы меня поняли, — похвалил его Гитлер. — Итак, — сказал он, заканчивая беседу, — я освобожу этого вашего господина — как его — Крамера. — Он что-то отметил в своей записной книжке. — И желаю вам, дорогой Лаутензак, чтобы ваша месть дала вам удовлетворение.

Довольный, покинул Оскар замок Гитлера. Он дал телеграмму Кэтэ: «Фюрер распорядился освободить Крамера» — и, счастливый, поехал в Гейдельберг.

Огромная фигура доктора Кадерейта как будто заполнила весь тесный кабинет Проэля в «Колумбияхауз»; когда Кадерейту захотелось по своей привычке походить по комнате, он так быстро натолкнулся на стену, что снова уселся на неудобный стул. И опять машинально делал все новые попытки пройти по комнате, — уж очень он был раздражен, хотя старался гово-

рить в обычном для него игривом, насмешливо-пренебрежительном тоне.

Проэль слушал его с интересом. Сердцем он был со своими штурмовиками: когда наступит неизбежный и окончательный бой между ландскнехтами и «аристократами», он и Кадерейт очутятся по разные стороны баррикады. И все же он с симпатией относился к Кадерейту; он сам по происхождению и воспитанию принадлежал к «аристократам» и предпочитал манеры Кадерейта манерам своих товарищей по партии.

Во всяком случае, глупо без какой-либо необходимости задевать такого могущественного человека, как делали уже не раз. Что это за новый афронт, на который Кадерейт уже в третий раз намекает? Кадерейт, видно, думает, что Проэлю известно об этом афронте; но тот ничего не знает. В конце концов Проэль спросил своего гостя напрямик.

Оказалось, что доктор Кадерейт хотел обсудить с господином Гитлером некоторые экономические вопросы величайшей важности, вопросы вооружения, но у господина рейхсканцлера не нашлось для него времени. Это не было бы так обидно, если бы господин Гитлер не потратил время на прием господина Оскара Лаутензака.

— Я вполне понимаю, — сказал Кадерейт, — что оккультные науки имеют большое значение для тысячелетнего рейха. Но на ближайшее десятилетие вопросы экономики и вооружения, по-моему, являются более неотложными. Если господин Гитлер находит время только для господина Лаутензака, то мне, к величайшему сожалению, придется, минуя его, обсудить свои дела непосредственно с господином рейхспрезидентом.

— Я и сам изумлен, дорогой Кадерейт, — ответил Проэль, барабанив по письменному столу пальцами белой мясистой руки.

Он действительно был изумлен. Только вчера говорил он по телефону с Адольфом, и тот ни словечка не проронил ни об отказе Кадерейту, ни о приеме Лаутензака.

— И вы совершенно уверены, — спросил Проэль, — что он принял Лаутензака?

— Я узнал это от самого пророка, — решительно ответил Кадерейт. — Я позвонил ему в Гейдельберг; ведь сейчас там его облачают в докторскую мантию, да еще с какой помпой — звон колоколов, торжественный хор и все такое. Вот я его и поздравил; вы понимаете, никак из нашего брата не вытравишь врожденную вежливость. И что, вы думаете, ответил мне его святейшество на мои поздравления? «Надо нам повидаться, дорогой доктор Кадерейт. Но я эти дни так занят; сначала пришлось съездить к фюреру в Бергхоф, а теперь вот — Гейдельберг. Но как только я вернусь в Берлин, я постараюсь освободить полчаса для такого доброго старого друга».

Хитрые, светлые глаза Проэля встретились с хитрыми затуманенными глазами Кадерейта. Проэль спрашивал себя, чего, собственно, Оскар добивался от Адольфа. Вероятно, дело касалось этой дурацкой академии. Как всегда, было очень неприятно, что какой-то новичок вкрался в доверие к Адольфу. И столь успешно, что самому Адольфу неловко; иначе он не утаил бы от Проэля визит этого молодчика. В сущности, Проэль был рад, что теперь затронуты его интересы и поэтому у него есть объективная причина для расправы с пророком.

Фриц Кадерейт, со своей стороны, именно потому, что он никак не хотел себе признаться, насколько глубоко его задела любовная связь Ильзы с Лаутензаком, всегда делал вид перед самим собой, что он относится к этому субъекту с холодным, скептическим любопытством опытного сердцевода. Когда Лаутензак с наивной алчностью завладел прекраснейшим произведением искусства, принадлежавшим господину фон Обристу, чтобы выставить его напоказ в своем ужасном паноптикуме, Кадерейт спустил это ясновидцу. Поддерживал с ним приятельские светские отношения, позвонил в Гейдельберг, чтобы поздравить его. Но когда этот тип в довершение всего пытается вмешиваться в политику и втереться в доверие к Гитлеру, это уж слишком. Посади свинью за стол, она и ноги на стол.

Кадерейт и Проэль прекрасно понимали чувства друг друга. Они улыбнулись и заключили союз против

Оскара Лаутензака, разумеется, ограничившись лишь намеками.

— Надо иметь снисхождение к слабостям великого человека,— кротко сказал Проэль.— Разве и Цезарь не вопрошал авгура, прежде чем принимать важные решения?

— Но кто сказал,— ответил Кадерейт,— что он ориентировался на его предсказания? Безусловно, нет, если эти предсказания противоречили интересам экономики.

— Положитесь на меня, дорогой Кадерейт,— сказал Проэль.— Мы, старые ландскнехты, понимаем, что такое здоровая экономика. Откуда бы брались наши доходы? Как только Адольф вернется в Берлин, вы будете первым, кого он примет. Ну, а что касается получасика, которые обещал вам господин доктор Лаутензак, тут уж я ничего не могу гарантировать.

Оба ухмыльнулись и расстались добрыми друзьями.

Это случилось утром. А днем Цинздорф показал начальнику штаба телеграмму из Берхтесгадена. Фюрер пожелал освободить Пауля Крамера, которого арестовали штурмовики.

— Вы имеете понятие, начальник,— спросил Цинздорф,— кто или что за этим кроется?

Когда Проэль утром услышал о приеме Лаутензака Гитлером, он предположил, что пророк хотел вырвать у фюрера крупный куш для своей академии или какой-нибудь жирный кусок для себя. Теперь, прочитав телеграмму, он понял истинную причину этого посещения и очень удивился. Проэль не предполагал, что Лаутензак так сильно заинтересован в судьбе Крамера, и ему становилось как-то не по себе при мысли, что сам он отказал ему в этой просьбе. Но со стороны Лаутензака было неслыханной наглостью обратиться к Гитлеру за спиной Проэля.

— Мне кажется,— сказал он, бросив телеграмму на стол,— не надо быть Талейраном, чтобы понять, в чем тут дело.

— Кто бы подумал,— размышлял вслух Цинздорф,— что этот Лаутензак пользуется таким расположением в Бергхофе?

Розовое лицо Проэля утратило свое обычное игривое выражение. Ему было досадно, что Крамера приходится выпускать из рук, но он сказал себе: если сопротивляться, то из этого легко может возникнуть целая «история».

Цинздорф сидел перед ним, спокойно-небрежный, элегантный, и смотрел на него дерзко и выжидательно.

— Ну как? Господин доктор Крамер освобожден? — спросил Проэль.

— Я хотел сначала изложить вам это дело, начальник, — ответил Цинздорф. — Полагаю, оно вас интересует.

— Полагаешь ты правильно, — отозвался Проэль. — Но чего же ты хочешь? Адольф распорядился выпустить его. Приказ ясен.

— Есть тут обстоятельства, — возразил Цинздорф, — которые позволяют вам сделать запрос. Дело Крамера стало пробой сил, поединком между теми, кто хочет руководить нашей партией на основе разумных военно-политических принципов, и некоторыми грязными, темными элементами из низов. Следовало бы предостеречь фюрера от этих грязных элементов.

— В особенности потому, что ты должен этим грязным элементам двадцать — тридцать тысяч марок, дорогой мой, — ответил Проэль, — и вполне понятно, что у тебя есть желание выступить против них в роли святого Георгия.

Цинздорф наклонился, посмотрел Проэлю прямо в глаза и сказал дерзким, интимным тоном:

— Я думаю, Манфред, мы с тобой согласны насчет того, что раздавить этого вонючего клопа Лаутензака — не только в моих интересах, но и в интересах партии.

Проэль не улыбнулся и не ответил. Этот Ульрих, который сидел перед ним и с лица которого еще не сошло фамильярно-дерзкое выражение, был ненадежным другом. Еще неизвестно, постоит ли за него Ули, когда настанет решительная минута, или же предпочтет предать штурмовиков «аристократам», а его самого — Кадерейту. Нетрудно представить себе, как его Ули в этом случае с чуть-чуть иронической миной сунет конверт

с тридцатью сребрениками себе в карман. И, сколь это ни странно, Проэль даже не особенно обижается на него.

Что же, доставить удовольствие себе и Ули и продолжить игру? Если бы стычка с Лаутензаком ограничилась делом Крамера, он, Проэль, не колебался бы. Но, насколько он изучил Оскара Лаутензака, тот теперь не успокоится. Будут неприятные последствия; он пойдет дальше. Что, например, скажет по этому поводу Гансйорг, наш Гэнсхен? Он все еще в Париже, он налаживает франко-германские отношения; для него будет пренеприятным сюрпризом, когда он, вернувшись, узнает, что между Проэлем и дорогим братцем Оскаром началась открытая борьба. Дружба между Гансом и Проэлем и без того пострадала от соперничества Ули, а теперь она подвергается новому испытанию. Стоит ли того Ули? Стоит ли того необъяснимая антипатия Проэля к ясновидцу?

— «Клоп Лаутензак», — повторил он после паузы слова Цинздорфа. — Грубо ты отзываешься о философах, Ули. Плохо понимаешь, как нуждается в религии человеческая душа. И чего ты, собственно, хочешь? Вот телеграмма Гитлера. *Roma locuta, causa finita*¹.

В глубине души Проэль понимал, что стоит ему всерьез захотеть, и все может еще обернуться по-иному. Он с самого начала помнил, что есть верное средство заставить Гитлера взять обратно свой приказ, и, быть может, лишь выжидал, чтобы сам Цинздорф посоветовал ему прибегнуть к этому средству.

И тот не преминул это сделать.

— Дело Пауля Крамера, — сказал он, — объемистое дело, но, насколько я знаю вашу добросовестность, начальник, вы его все же изучили. И уж наверняка помните одну статью этого Пауля Крамера, приложенную к делу: очерк о стиле Гитлера. Мы в свое время поберегли фюрера и не показали ему этой статьи. Теперь, думается, незачем его долгие щадить. — Он улыбнулся, его красивое лицо вдруг стало таким жестоким, что даже Проэля передернуло. — Не находите ли вы, начальник, — продолжал он, — что нельзя выпускать

¹ Рим сказал свое слово — вопрос исчерпан (лат.).

этого человека, пока мы не сделаем запрос фюреру? Если я затяну освобождение Крамера до тех пор, пока не будет получен ответ на запрос, вы меня прикроете? Рискнете откровенно поговорить с Адольфом? — спросил он лстыиво.

Прозель вздохнул.

— Каждый из нас в глубине души — свинья, — сказал он, — но ты, Ули, не то что свинья, ты целый кабан. Продувная ты бестия, мой мальчик. Ох, продувная. — И он слегка хлопнул Цинздорфа по плечу.

Когда три дня спустя Гитлер приехал в Берлин, Прозель принес ему статью Пауля Крамера о стиле Гитлера.

— Мне сообщили, — начал он, — что надо освободить Пауля Крамера. Мне сообщил это Оскар Лаутензак, он ссылается на тебя. Это довольно странно. Кажется, здесь кто-то кого-то неправильно информировал. В лучшем случае это недоразумение.

Гитлер прочел статью о стиле Гитлера. Гитлер покраснел. Он с силой выдохнул воздух через большой треугольный нос. Гитлер был очень чувствителен к критическим суждениям о своем немецком языке. Своим стилем он гордился. И считал его неповторимым.

Он швырнул журнал со статьей на стол.

— Это уж верх наглости, — сказал Гитлер, — черт знает что.

Он говорил негромко — в данном случае неуместно было бы выдавать свое бешенство криком. Он ходил взад и вперед большими шагами. Его тянуло обратно к столу; он снова взял в руки журнал. «Его фразы точно дождевые черви, это нечто длинное, извивающееся и липкое»; он тряхнул головой и прикусил губу.

— И вот этакое посмели напечатать, — с возмущением крикнул он. — Режим, допускавший к печати подобные вещи, с самого начала был обречен на гибель. Подобные червивые плоды — лишнее доказательство, что спилить это трухлявое дерево было нравственной необходимостью.

Быстрыми хитрыми глазками Прозель следил за метавшимся по комнате фюрером. Он остерегался его

прервать. Он знал, что Гитлер так скоро со статьей не расстанется.

И он в самом деле принялся сызнова изучать ее.

— Он называет мой язык ходульным,— негодовал фюрер,— напыщенным. Упрекает меня за искаженные образы, за противоречащие друг другу сравнения. Он не знает, этот чужак, этот невежда, что только скрещивание образов дает силу и размах языку оратора, который плывет по бурным волнам мысли и проносится через иногда неизбежно возникающую пустоту. Да, я люблю пышный, богатый образами язык. Мое знакомство с палитрой художника насыщает мой язык красками.

Теперь Проэль решил, что благоприятная минута наконец настала.

— Видишь ли,— сказал он, и его деловитый тон составлял странный контраст с высокопарным тоном фюрера,— я тотчас же понял, что спускать с цепи автора такой статьи — не в твоём духе.

— Да,— недовольно ответил Гитлер,— Лаутензаку следовало лучше осведомиться насчет этого мерзавца, прежде чем просить меня об его освобождении.— Он был раздражен и смотрел куда-то мимо Проэля. В неприятную он попал историю. Бросить вызов ясновидцу и силам, которые стояли за ним,— перед таким поступком он испытывал суеверный страх, но вместе с тем нестерпима была мысль, что человек, которому принадлежит эта преступная и оскорбительная писанина о его стиле, снова очутится на свободе.— Вечные осложнения,— ворчал он,— всюду трудности.

— Мне понятно,— добродушно произнес Проэль,— что ты иногда прислушиваешься к мнению твоего друга Лаутензака. Но такой пророк — он компетентен только в великом, космическом, когда же он сует свой нос в будничные политические дела, получается черт знает что.

— Этого не может быть,— отозвался Гитлер.— Постигание космического и понимание частных не исключают друг друга. У меня, например, тоже бывают «видения», однако я провожу в будничной политической работе, во всех ее мелочах последовательную линию подлинно германской хитрости.

Он вернулся к делу Крамера.

— Пусть на меня клеветают сколько душе угодно, — заявил он. — Но чтобы такой человек, как Крамер, падал на немецкий язык, пачкал благороднейшее достояние нации и в дальнейшем, — этого я не потерплю. Я, по совести, не могу отвечать за безнаказанность этого человека.

— Именно, — поддакнул Проэль, — не можешь.

— С другой стороны, — ворчливо продолжал Гитлер, — я обещал Лаутензаку освободить этого субъекта. Я дал ему слово.

— Но ведь тогда ты не знал, — возразил Проэль, — что за опасный тип Крамер. Да и сам Лаутензак, вероятно, не знал. Обы вы исходили из ложных предположений.

— Пожалуй, что и так, — ответил Гитлер, — оба мы заблуждались. Но мне не хотелось бы обижать Лаутензака. Дар его — редкостный, единственный в своем роде. Я чувствую себя морально обязанным быть покровителем и заступником этого замечательного человека.

— *A la bonne heure!* — ответил Проэль. — Покровительствуй ему, охраняй его. Создай, например, академию. Я решительно ничего против не имею, я на все сто за него. Но ведь у тебя есть в конце концов исторические обязательства и перед немецким языком. Ты не можешь допустить, чтобы его хулители разгуливали на свободе. Ведь ты сам только что так прекрасно говорил об этом.

— Верно, Манфред, верно, — подтвердил фюрер, полный тяжелых сомнений. — Я обещал освободить этого человека, а нравственный закон требует, чтобы я оставил его за решеткой. Не вылезает из таких конфликтов между одним нравственным долгом и другим, — ворчал Гитлер. Он два раза прошел по комнате широкими шагами — туда и обратно. Затем остановился и решительно заявил: — Я не могу, не имею права поступить иначе. Я обязан надеть намордник на Крамера.

— Ну, что ж, — добродушно подвел итог Проэль, — наденем на него намордник. Короче говоря, пока что я держу его за решеткой.

— Не вижу другого выхода,— меланхолически заметил фюрер.— Я обязан надеть на него намордник: Надеюсь, Лаутензак поймет мою точку зрения.

— Конечно, ты обязан, и, конечно, он поймет,— подтвердил Проэль. Он взял со стола дело Крамера с его статьей.— Значит, вопрос исчерпан,— сказал он и перешел к другим делам.

Гансйорг вернулся из Парижа. Там его чествовали, сделали кавалером ордена Почетного легиона, он был принят президентом республики, да и в делах добился успеха. Он с удовольствием представлял себе, как будет рассказывать об этом брату, который находился еще в Гейдельберге.

Он получил полную информацию о делах Оскара. К своему удивлению, он узнал, что Проэль энергично взялся за академию. Значит, предположение, будто Проэль недоволен Оскаром со времени пресловутой консультации, было неверно. Узнал он от Петермана и о поездке Оскара к Гитлеру, правда, причину и цель этого визита Гансйорг не выяснил.

Еще до возвращения Оскара из Гейдельберга Гансйоргу пришлось услышать о поездке к Гитлеру много неприятного. Проэль решил откровенно обсудить это дело с Гансйоргом. Он не хотел терять дружбу Гансли из-за глупости его брата.

Поэтому, как только Гансйорг закончил свой доклад о Париже, Проэль заговорил об Оскаре.

— У него прямо мания величия,— сказал он,— разыгрывает из себя чуть ли не исповедника фюрера. Боюсь, что долго он на такой высоте не удержится. Занился бы ты этим делом, дорогой.

Гансйорг побледнел.

— Извини, Манфред,— сказал он,— но я решительно ничего не понимаю. Что он тут натворил, пока я был в Париже? Допустил какую-нибудь оплошность в Гейдельберге? Должен сказать, что я сам дал указание газетам поднять шумиху вокруг этого дела. А может быть, что-нибудь с академией? Слишком зазнался?

— Все это вздор,— насмешливо сказал Проэль.—

Гейдельберг, академия. Нацепи он на себя докторские колпаки спереди и сзади, назови себя хоть далай-ламой, я и то благословил бы его. Но Адольфа пусть оставит в покое. Есть более заслуженные люди, и не скоро придет его черед лезть к фюреру. Тут он зарвался. Чтобы этого больше не было!

Гансйорг сидел как в воду опущенный, пока Проэль подробно рассказывал ему всю историю.

— Может быть, он и гений, — сказал Проэль в заключение, — но полнейший идиот. Даже грудному младенцу понятно, что обращаться к Адольфу через мою голову бесполезно! И, конечно, он ничего не достиг своей назойливостью. Наоборот, Гитлер не может теперь без ярости вспомнить о Крамере. Он поручил мне надеть на него прочный намордник. И это всё Лорелея сделала пенем своим. Не строй такое несчастное лицо, мой мальчик, — продолжал он; Гансйорг был еще бледнее обычного. — Ты ведь в конце концов тут бессилен. Но я знаю, как ты к нему привязан, поэтому мне и хочется по-дружески предостеречь тебя. Поговори, что ли, со своим братцем. Его дело — чистая оккультная наука и ничего больше. Вправь ему мозги. Поговори с ним решительно. Пусть хорошенько зарубит это себе на носу.

Оставшись один, Гансйорг долго сидел в полном изнеможении, без единой мысли в голове. Затем попытался разобраться в услышанном. Конечно, за всем этим опять кроется Кэтэ Зеверин. Помешанный он, этот Оскар. Корчит из себя невесть что перед своей девкой, из-за дурацкого тщеславия делает невероятные глупости. Хоть надевай на него смирительную рубашку.

В душе Гансйорга поднялась горячая волна ненависти. Всю жизнь он из кожи лез ради брата. Он создал ему положение, такое положение, каким не может похвалиться ни один телепат во всем мире, а этот негодяй, этот невыносимый дурак ни о чем не помышляет, кроме баб. Если на его девчонку нашел сентиментальный стих, он готов на рожон лезть. А Гансйорг — расхлебывай кашу.

Пусть Оскар — гений. Ладно. Гитлер и Оскар — единственные люди, которых Гансйорг признает гени-

альными. Но Гитлер, кроме того, прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, а Оскар попросту глупая скотина. Гений, мошенник и дурак.

Сумел-таки испортить отношения с Проэлем этот болван! Должно быть, во время консультации натворил несусветные глупости. Проэль его ненавидит, это чувствуется в каждом слове. Сначала Оскар повздорил с Цинздорфом, наперекор всем наставлениям, а теперь еще и Проэля ухитрился взбесить.

Манфред поступил очень порядочно, предупредив его, Гансйорга. «Надо вправить Оскару мозги», — сказал он. И Гансйорг вправит ему мозги, Манфреду не придется напоминать еще раз. Он его отчитает, этого Оскара. Не постесняется. Пусть только приедет из Гейдельберга этот болван.

Несколько молодчиков в коричневых рубашках волокут по коридорам «Колумбахауз» какой-то стонущий мешок мяса и костей.

Заключенный — в грязном и измятом темно-сером костюме, зовут его № 11783. Прежде его звали Пауль Крамер.

Полумертвого Пауля Крамера втаскивают в один из кабинетов. Здесь сидит человек в парадной форме, на его воротнике нашито нечто вроде листика, по-видимому, это важная шишка в армии ландскнехтов. Раньше Пауль знал, что означает этот листик: ему досадно, что он не может вспомнить. Человек в парадной форме корректен, даже вежлив. Называет заключенного «господин доктор Крамер». Просит его сесть и, когда оказывается, что тот сидеть не может, так как все валится на бок, приказывает тем, кто его втащил, уложить Пауля на диван.

— Господин доктор Крамер, как видно, неважно себя чувствует, — говорит он и предлагает заключенному выпить воды и даже коньяку. Теперь Паулю вспомнилось, что означает этот листик на воротнике, он символизирует крону дуба, и человек этот среди ландскнехтов нечто вроде полковника.

Человек с дубовым листком, полковник, приказыв-

вает конвоирам удалиться, он остается с Паулем наедине и ведет с ним вежливый, хотя и несколько односторонний разговор.

— В вашем положении, господин доктор Крамер,— говорит он,— нужна некоторая сила духа, чтобы остаться объективным и правильно оценить наши побуждения. Мы стремимся лишь к одному: исправлять и вразумлять, в наше суровое время это достигается только суровыми мерами. Вы можете, конечно, обвинить нас в том, что мы применяем лекарство в лошадиных дозах, но вы должны понять, что это наш метод лечения. Вы меня слушаете, господин доктор Крамер? Вы в состоянии следить за ходом моей мысли?

— Стараюсь,— прохрипел Пауль.

— Перехожу, в частности, к вашему делу,— сказал полковник.— Я ознакомился с некоторыми вашими статьями и удивляюсь, как такой умный человек не понял с самого начала, что партия, которая хочет удержаться у власти, никоим образом не может допустить распространения некоторых теоретических положений. Для того чтобы заставить вас понять эту элементарную истину, мы берем вас, вернее, взяли на полный пансион. Я пускаюсь в подробности, господин доктор Крамер, потому что для меня важно, чтобы вы как можно отчетливее уяснили себе свое положение. Сначала мы намеревались лишь преподать вам урок. Но с тех пор обстоятельства изменились, инстанция, не терпящая никаких возражений, заинтересовалась вашим делом и предложила «надеть на вас намордник». Существует разница между «уроком» и «намордником». Тому, кому преподан урок, предоставляется время и возможность над ним поразмыслить. Тот, на кого надевают намордник, уже лишен возможности говорить. Такому хорошему стилисту, как вы, думаю, незачем объяснять, в чем тут разница. Что касается вашего намордника, господин доктор Крамер, то, согласно предписанию, он должен быть безусловно надежным.— Человек в парадной форме сделал маленькую паузу и пояснил: — Я читаю вам эту лекцию из одного лишь человеколюбия. Вам дается несколько часов на размышление. Подумайте, пожалуйста, хорошенько и сделайте выводы. Мы верим

в свободу воли и поэтому предоставляем решение вам. Хотите еще коньяку?

Пауль лежал и слушал. В теле струилось приятное обжигающее тепло от выпитого коньяка, боль не прошла, но уже не заполняла его всего, он слушал то, что говорил человек в парадной форме, слова доносились словно издалека и не все доходили до его сознания.

— Есть у вас какие-нибудь пожелания? — спросил человек в парадной форме, и этот вопрос глубоко вонзился в душу Пауля и сразу привел его в полное сознание. Он сделал глубокий вздох. — Поразмыслите, время терпит, — вежливо сказал человек в парадной форме.

Но Паулю не понадобилось много времени на размышление.

— Я хотел бы лечь в постель, — сказал он дребезжащим голосом, — и еще коньяку.

В камере, куда через некоторое время отвели Пауля, действительно стояла кровать, кроме того, в ней были еще стул и громко тикающие стенные часы. А с большого крюка, вбитого в потолок, свешивалась толстая веревка, ярко освещенная голой электрической лампочкой.

Пауль лежал на кровати, прикрыв глаза опухшими веками. Но даже сквозь сомкнутые веки он ясно видел крюк и веревку. Странно. Зачем нужно, чтобы он сам покончил с собою? Ведь им как будто должно быть все равно, они ли сунут его голову в петлю или он сам. Так или иначе, они скажут, что он покончил с собой. К чему тогда все это представление?

Но им не совсем все равно; ведь это добросовестные чиновники. Гитлер дал указание надеть намордник на Крамера, Проэль дополнил: надо, чтобы намордник был надежный. Цинздорф еще уточнил: существует лишь один-единственный надежный намордник. «Но у нас нет приказа покончить с этим человеком, — пояснил он. — Мы можем лишь намекнуть заключенному номер одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят три, чтобы он сам об этом позаботился. Чем выразительнее мы ему намекнем, тем будет лучше, чем активнее он сам будет участвовать в этом убийстве, тем лучше». Вот почему над стонущим мешком мяса и костей спустили ярко освещенную, заманчивую веревку.

Пауль видел, как тщательно, с каким знанием дела все подготовлено. Надо лишь встать на стул, сунуть голову в петлю и оттолкнуть стул ногой. Это будет стоить ему напряженных усилий, мучительных болей, но недолго будут тикать часы, если он это сделает. Если же он не покончит с собою сам, если будет лежать на кровати и дожидаться, пока другие придут и сделают это, часы будут тикать дольше и боль придется терпеть целую вечность.

Надо встать на стул. Надо это сделать. Совершенно бессмысленно не сделать этого.

И все-таки он не делает, уже потому не делает, что это, очевидно, выгодно им.

А кому польза от того, что он останется здесь лежать и целую вечность будет терпеть боль и муки ожидания? Ни ему, ни кому-нибудь другому. Никто об этом не узнает. Это героично и совершенно бессмысленно. Гитлер скажет, что этот человек погиб по-дурацки.

Пауль улыбается, вспоминая о стиле фюрера, да, несмотря на муки, улыбается разорванными, окровавленными губами. Судя по тому, что говорил человек в парадной форме, его погубила статья о стиле Гитлера, и хотя Гитлер за нее убивает его, Пауль не может не смеяться, вспоминая его стиль.

А ведь, по существу, смешон он сам. Смешно, что он не смог держать язык за зубами, смешно было настаивать на процессе и не бежать своевременно. И все же он был прав, хотя и погибает из-за этой своей правоты. Для потомков шутом будет Лаутензак, а героем и рыцарем будет он, Пауль, со своей правдой и своим темно-серым костюмом.

Что касается темно-серого костюма, то портной Вайц оказался пророком: материалец Пауль действительно проносил вплоть до своей блаженной кончины.

Его блаженная кончина. Хорошие слова. И хорошая тема для размышлений в течение того часа, что ему осталось еще прожить. Он отправится к праотцам. К каким праотцам? К еврейским или древнегерманским? К тем, которые возлежали на медвежьей шкуре и попиwali вино, или к тем, которые создали псалмы и Нагорную проповедь? У евреев есть хорошее изречение.

Вот уже две с половиной тысячи лет они восклицают в свой предсмертный час: «Слушай, Израиль, вечное едино», — а для него, Пауля, слова эти всегда имели только один смысл: идея едина, неделима и не допускает компромисса. Недурно для последнего слова.

Но тут кто-то входит в камеру, это опять человек в нарядном, хорошо сшитом военном мундире, какое-то высокое начальство.

— Вы все еще здесь? — удивленно, но вежливо спрашивает начальство. — Мы честно рекомендуем вам самому о себе позаботиться. У нас есть опыт и в этом, и в другом направлении. Уж поверьте мне, лучше сделать это самому. Я даю вам хороший совет. Подумайте-ка еще. Теперь половина двенадцатого, у вас время до трех. В три я приду опять.

Вежливый человек ушел. В камере пусто, голо, очень светло от яркой электрической лампы. И все-таки камера не пуста. В ней есть крючок и веревка, в пей звучат слова вежливого человека, они заполняют ее. Часы тикают громко, но не заглушают этих слов. «У вас время до трех. — В три я приду опять. — Поверьте мне, лучше сделать это самому. — Подумайте-ка еще раз». Слова эти были сказаны не очень громко, но они громовым раскатом отдались во всем теле Пауля.

И лишь постепенно возвращаются собственные мысли. «Значит, мне дан выбор, — думает он, — мне предоставлена свобода выбора. Свобода, свобода. Я могу сам сунуть голову в петлю или другие сунут ее. «Провозгласите свободу по всей стране». Это тоже библейские слова. Они звучат очень революционно. На втором курсе университета он немного ознакомился с древнееврейским языком, и как он обрадовался, натолкнувшись на эту фразу. «Дероор» — это слово в том месте Библии обозначает свободу. А по существу, оно значит «трубы свободы». «Дероор». Это как раскат грома. Слышишь их, эти трубы.

Значит, ему дан срок до трех. Три с половиной часа. Нет, три часа и двадцать семь минут. Тюремщики точны. Боли опять усилились. Они смывают мысли, остается только боль. Одна боль. Еще три часа.

А ведь я подойду к этой веревке. Она манит к себе,

веревка, для того она и повешена. Надо только подойти и сунуть голову в петлю. И болям конец. Она манит, петля».

Пауль приподнялся на кровати.

«Боль, боль, тик, так. Петля манит. Все так просто. Если я подойду, часы протикают еще сто раз, ну, еще двести раз и голова будет в петле, тогда конец, мукам конец.

Думать, думать. Если думать, мысли переселят боль. Петля манит. Думать. Мыслью одолеть боль. Несмотря на манящую петлю — думать. Тик, так. Не покоряйся. Несмотря на петлю — думать. Не покоряйся. Не покоряйся им... Тик, так. Петля манит. Если я поддамся, часы протикают еще двести раз. А если я устою, если я устою перед злой силой, они будут тикать и тикать — сколько еще раз? Думать. Несмотря на петлю. Один час — шестьдесят раз по шестьдесят. Значит, за час они протикают три тысячи шестьсот раз. Три часа — три раза по три тысячи шестьсот. Сколько это? Думать. Несмотря на петлю. Трижды три тысячи будет девять тысяч, трижды шестьсот, будет тысяча восемьсот.

Больше не могу. Не выдержу. Никто этого не выдержит. Это нестерпимо. Не выдержу. Нет, выдержу, досчитаю до ста. Будет на сто секунд меньше. Семьдесят семь, семьдесят восемь, семьдесят девять... девяносто два, девяносто три... так, теперь уже на сто секунд меньше. Я выдержу, надо только захотеть. Я им не покорюсь. Все пройдет. Скоро останется девять тысяч секунд. Потом только восемь тысяч. Пройдет. Петля манит, но я не покорюсь. Не буду думать «петля манит», буду думать «не покоряйся».

Как отрадно знать, что скоро все пройдет. Это как волны. Боль накатывает волнами, и я ее выдержу, после прилива всегда начинается отлив. Я выдержу.

Надо быть разумным. Надо собрать все силы ума. Я знаю, все скоро пройдет. Надо собрать все силы ума и, пока отлив, заснуть. Часы тикают. Это тиканье усыпляет. Глупо они сделали, что повесили часы, которые тикают.

А я все-таки поступил правильно. Прав я был, когда высказал Гитлеру, как лжива его немецкая речь.

И прав я был, бросив вызов Оскару Лаутензаку. Кто-нибудь должен был сказать, что все это ложь.

Все — ложь. Все — ложь. Когда думаешь об одном и том же, это помогает заснуть. Все — ложь. Вверх, вниз. Прилив, отлив. Все ложь! Сейчас я засну. Это будет здоровый сон, крепкий, заслуженный сон, это будет разумно проведенный последний час. Все — ложь. И я не покорюсь им. Я просто засну, засну надолго. Вверх, вниз. Все — ложь. Прилив, отлив, он уносит. Он унесет, убаюкает, и ты заснешь. Все — ложь. Все — ложь. Все. Я засыпаю, да, засыпаю».

Его дыхание, свистящее, стонущее, становится более равномерным, лицо разглаживается. Нечто вроде улыбки проходит по этому измученному лицу, опухшему, в кровоподтеках.

Все — ложь. Он засыпает.

Когда вежливый господин ровно в три часа входит в камеру, он видит, что заключенный № 11783, правда, неподвижен, но не в петле. Пауль все еще лежит на кровати, дыхание у него свистящее, стонущее, но равномерное. Оно похоже на храп. Это храп. Ей-богу, парень храпит. Он заснул. Он позволил себе заснуть, вместо того чтобы повеситься. «В этих проклятых интеллигентах сам черт не разберется», — недовольно говорит вежливый господин.

Кэтэ почти все время сидела в своей квартирке на Кейтштрассе и ждала. Она твердила себе, что надо известить фрау Тиршенройт о происшедшем. Но затем решила, что лучше сначала дожждаться возвращения Пауля. Она не смела выйти на улицу, боясь прозевать его приход или телефонный звонок. Ей хотелось, чтоб он, как только выйдет из тюрьмы, тотчас же, не теряя ни минуты, покинул эту страну.

Она почти не выпускала из рук телеграмму Оскара: «Фюрер распорядился освободить Крамера». В эти дни ожидания она часто перечитывала ее. Оскар постарался ради нее, Кэтэ. По-видимому, он был у Гитлера. Во всяком случае, он добился того, что враги снова выпустят Пауля на свободу. Это уже кое-что. Конечно, она

за это заплатила. Остаться с Оскаром в этом призрачном замке Зофиенбург — цена немалая.

А она-то думала, что будет жить с Паулем где-нибудь за границей и воспитывать ребенка, во всем советуясь с братом. Хорошие были дни, когда она верила в это, счастливые дни.

Она ждала. Надеялась, что Пауль вернется в первый же день после телеграммы Оскара или на второй, наконец, не позже чем на третий. И вот наступил уже четвертый день, а Пауля нет. В чем же дело? Если Гитлер приказал, — значит, все препятствия устранены. Почему же Пауль не возвращается?

В этот день Оскар позвонил из Гейдельберга, он был в превосходном настроении, очень мил и любезен, он опять превратился, как в свои лучшие часы, в мальчишку, наивно удивлялся своему успеху, гордился им, рассказывал, как его чествовали, и жалел, что она, Кэтэ, не наслаждается этим успехом вместе с ним. Кэтэ ждала, что он сообщит ей что-нибудь о Пауле или, по крайней мере, спросит о нем. И он действительно спросил: «Кстати, виделась ты с братом?» Когда она ответила, он с легким удивлением, но без особой тревоги сказал: «Ну, вероятно, он придет сегодня или завтра», — и снова начал рассказывать о Гейдельберге, а в конце разговора предупредил, что, быть может, задержится еще на некоторое время.

На следующий день Кэтэ стала подумывать, не пойти ли ей на Гроссфранкфуртерштрассе, к Альберту. Но ведь он ничего не скажет, только захочет что-нибудь узнать от нее. Тогда она решила известить обо всем ффрау Тиршенройт. Нет, надо подождать еще день.

На следующий день почта доставила ей пакет. Это был большой пакет, и Кэтэ пришлось два раза расписываться на какой-то бумажке. Она решила, что это посылка от Оскара или от ффрау Тиршенройт.

Но посылка оказалась из секретариата полиции. В ней было несколько свертков, а сверху лежало письмо. Кэтэ извещали о том, что заключенный Пауль Крамер умер в тюрьме. Ей, как самой близкой его родственнице и, вероятно, наследнице, посылаются: во-первых, сосуд, содержащий пепел умершего заключенного, во-вторых,

вещи, бывшие на нем в момент ареста. Список вещей прилагается. Сумму расходов, связанных с их пересылкой, полиция сообщит соответствующим властям, которые учтут ее при исчислении налога на наследство.

Кэтэ сидела не шевелясь. Комната казалась пустой, все, что придавало ей личный отпечаток, было уже уложено. Одинокое стоял громадный рояль, на нем лежали искусно запакованные и завязанные «вещи». Письмо она уронила на колени, конверт лежал на полу. Так она просидела некоторое время. Судорожно глотала слюну. Она должна с кем-то поговорить о случившемся. Она не может переживать это в одиночестве. Она должна поговорить об этом с Паулем.

И только теперь Кэтэ до конца осознает, что Пауля больше нет на свете. У нее вырывается короткое рыдание. И опять она сидит съежившись, потерянная, оцепеневшая. Несколько раз с какой-то странной машинальностью поднимает руку и снова роняет ее, поднимает и роняет. Вдруг она почувствовала давящую боль. Ее вырвало.

Через какое-то время она снова сидела перед увязанными «вещами». «Это надо вскрыть,— пробилась мысль.— Это пепел умершего заключенного и одежда, которая была на нем». Она хотела встать, взять ножницы, нож. Но не смогла. Она страшно устала. Не в силах была шевельнуться.

Вдруг ее охватил невыносимый страх. Она была вообще не боязлива, но сейчас не могла оставаться в одной комнате с «вещами». И вдруг она услышала голос Пауля. «Это не интересно»,— совершенно ясно сказал голос. «Бедная Кэтэ»,— сказал еще голос, и это доконало ее.

Во всем виновата она.

Кэтэ не могла больше выносить такое состояние. Она не могла оставаться в этой комнате, наедине с «вещами», не могла здесь сидеть, не могла жить в этой квартире, да и ждать ей теперь было нечего. Она покинула квартиру, дом, это было как бегство, это и было бегством. Она бежала по улицам так стремительно, что прохожие с удивлением смотрели ей вслед. Она виновата во всем, а теперь схватят и ее, надо бежать.

Внезапно она почувствовала, что мучительно голодна, выбилась из сил. Вошла в большую кондитерскую. Здесь было много людей, и это было хорошо. Она не нашла свободного столика, пришлось подсесть к другим. Надо заказать еду, и она услышала, как заказывает что-то чужим голосом. Зал был полон дыма и громкой пошлой музыки. Это ее не очень беспокоило. Она ела, ела торопливо, не знала, что ест, но ела много.

Ей ведь надо что-то сделать, что-то неотложное. Известить Марианну. Нет, не то. Известить человека на Гроссфранкфуртерштрассе. И опять не то. Вдруг она вспомнила: необходимо позвонить в Мюнхен, поговорить с ффрау Тиршенройт, сейчас же, не откладывая. Она заказала срочный разговор.

Кабина, в которую она вошла, была какая-то неудобная. Дверь не закрывалась, во всяком случае, она не могла ее закрыть. Сюда проникал шум, пошлая музыка. Кэтэ держала трубку, из аппарата доносился низкий, хриплый голос ффрау Тиршенройт, она спрашивала с интересом, но это был спокойный интерес.

— Как дела? Есть у вас известия? Вы едете наконец? Куда же вы едете?

— Да, теперь я еду,— произнесла Кэтэ чужим голосом.

— Что случилось? — спросила Тиршенройт, на этот раз с тревогой.— Говорите же,— продолжала она, и это звучало как приказание; и Кэтэ было приятно, что кто-то приказывает ей.

— Пауля здесь нет,— сообщила она.

— Уже уехал? — спросила Тиршенройт.

— Нет,— ответила Кэтэ,— он не уезжал, но его нет. Его уже нет,— пояснила она.

Наступило долгое молчание.

— Вы еще говорите? — спросила телефонистка.

— Да, мы еще говорим,— ответила Кэтэ.

— Понимаю,— сказала наконец ффрау Тиршенройт. Голос ее был более низким и хриплым, чем обычно.— Я правильно поняла? — спросила она.

— Да, вы правильно поняли,— ответила Кэтэ.

— Хотите приехать ко мне? — спросила ффрау Тиршенройт.— Или мне приехать к вам?

— Я теперь уезжаю,— ответила Кэтэ.— Вы ведь понимаете, что я теперь уеду.

— Сообщите мне адрес,— почти робко попросила Тиршенройт.

— Да,— ответила Кэтэ.— И еще раз большое спасибо.

Она пошла домой, она спешила домой, точно ее кто-то гнал. До дома было недалеко, но она взяла такси. Она уже не боялась «вещей». Войдя в комнату, она тут же, с какой-то злой решимостью принялась распаковывать свертки.

В первом были бумаги, записки, заметки, трубка Пауля, бумажник, который она подарила ему. Во втором — аккуратно вычищенный темно-серый костюм, брюки отутюжены. В третьем был четырехугольный сосуд. Вероятно, пепел.

Как он мал, этот сосуд с пеплом.

Даже странно, что от человека остается так мало пепла.

«Пепел,— думает она,— пепел, странное слово».

Значит, это и есть Пауль. Значит, он все-таки пришел, правда, в виде пепла. А Оскар до конца остался обманщиком.

Может быть, он обманывал, сам того не ведая. «Фюрер распорядился освободить». Вероятно, его самого обманули. Ведь все ложь. Они лгут друг другу. Постоянно. Но это не интересно. Вдруг для нее становится невыносимой мысль, что «вещи» лежат на рояле. Она перекладывает их на стол, но стол слишком мал... Она оставляет сосуд с пеплом на столе, остальное относит в соседнюю комнату и кладет на свою постель.

На следующее утро Кэтэ покинула Германию, взяв с собой только самое необходимое и ни разу не вспомнив об Оскаре.

В то же утро Оскар вылетел в Берлин, довольный и счастливый. Его пребывание в Гейдельберге было вереницей волшебных дней. Докторский берет, латинская речь ректора, его собственный ответ на латинском языке, факельное шествие студентов и в конце — тор-

жественно воздвигнутый костер, на котором были сожжены книги противников. Одна церемония прекраснее другой.

В Темпельхофе, на аэродроме, его встретили только Петерман и Али.

— А фрейлейн Зеверин здесь нет? — спросил Оскар; он ей телеграфировал.

Ее не было. Как она бестактна! Он из-за нее отнял столько времени у величайшего из людей, а она не может даже встретить его на аэродроме. Когда она станет его женой, ей придется научиться себя вести.

Приехав в Зофиенбург, он тотчас же позвонил Кэтэ. Никто не отвечал.

— Пошлите фрейлейн Зеверин городскую телеграмму, — приказал он Петерману. — Или нет, пошлите кого-нибудь к ней узнать, что случилось. Я хотел бы как можно скорее видеть ее.

И все же ему нравится, что она именно такая. Это лучше, чем то благоговение, которое выказывают ему другие женщины. Он рад, что увидит ее, будет с ней спорить, вновь и вновь укрощать ее.

Но прежде чем ему удалось повидаться с Кэтэ, явился Гансйорг.

Он с горечью ожидал приезда брата. Фрау фон Третнов жадно глотала сообщения о пребывании Оскара в Гейдельберге. Она сожалела, что сама туда не поехала. Очевидно, ценила «деятельность» Оскара в Гейдельберге выше, чем работу Гансйорга в Париже. Снова пришлось Гансйоргу убедиться, что уже одно имя Оскара затмевает его.

Поэтому, узнав, что Оскар вернулся, он явился сердитый, обозленный, чтобы выполнить поручение Проэля и вправить мозги брату, этому гению и идиоту. На восторженные рассказы о блестящих гейдельбергских торжествах он ответил только несколькими саркастическими замечаниями. И затем, без перехода, сухо и зло сообщил о своем разговоре с Проэлем.

Оскар ушам своим не верил.

— Значит, Крамера все еще не выпустили? — спросил он. — Проэль держит его в тюрьме, несмотря на приказание фюрера?

Он сидел с глупым видом, высоко подняв брови.

— Ты что, совсем спятил? — ответил Гансйорг. — Говорю тебе, ты достиг как раз обратного. Гитлер приказал надеть на твоего протезе надежный намордник. Насколько я знаю нравы охранной полиции, этот намордник будет очень надежным.

Лицо Оскара все еще выражало тупое удивление.

— Вы его уничтожите? — спросил он. — Фюрер обещал мне освободить его, а вы его уничтожите?

— Вы, вы, — насмешливо отозвался Гансйорг. — Мне твой Пауль Крамер нужен как прошлогодний снег. Но ты опять наглупил. Если бы ты спокойноенько дождался, пока я вернусь, и затем попросил меня уладить дело, никто бы волоса не тронул на голове твоего Крамера. Так нет. Он собственным умишком раскидывает. Этому ослу, видите ли, понадобилось связываться с Манфредом Проэлем. И не пришло тебе в голову, что ты против него — при всех обстоятельствах — жалкая козявка. Или ты в самом деле вообразил, что Гитлер ради тебя откажется от своего Проэля? — Сколько насмешки и презрения было в этом «ради тебя».

Но Оскар думал только об одном.

— А Кэтэ, — боязливо спросил он, — что с Кэтэ?

Гансйорг пожал плечами.

— А я почему знаю? — ответил он, чуть не задохнувшись от негодования. — Что я, сторож твоим бабам? Он, видите ли, бредит своей Кэтэ, этот осел, этот сумасшедший, — продолжал Гансйорг с ожесточением. — До тебя, видно, все еще не доходит, что поставлено на карту. Твоя шкура. Проэль предложил мне вправить тебе мозги. Это последнее предупреждение.

Оскар вместо ответа вызвал к себе Петермана.

— Есть у вас какие-нибудь вести?

Да, у Петермана были вести. Кэтэ уехала. В Чехословакию, сообщили посланному. Больше никто ничего не знает.

Значит, все, что рассказал здесь Малыш, правда. Пауля Крамера не выпустили — его укокошили, а Кэтэ подумала, что он, Оскар, ей нагал, и бежала от него, бежала с его ребенком, и все рухнуло, все разбилось вдребезги.

Его лицо выражало бешенство и отчаяние. Гансйорг прикрикнул на него:

— Пожалуйста, не разыгрывай Фауста, потерявшего свою Гретхен. Я здесь с официальным поручением. Я должен тебя предостеречь. Опомнись. Пойми наконец, что, если ты не возьмешь себя в руки, тебе — крышка.

Оскар, полный злобы, сидел перед большим письменным столом; высокомерно и насмешливо взирала на него маска. Он был уже совсем у цели, в Гейдельберге он был у цели, он достиг и внешнего блеска, и внутреннего расцвета, и вот все рухнуло.

— А все ты виноват, — вдруг обрушился он на Малыша тихо, но мрачно, с безмерной ненавистью. Ты втянул меня во все это. Если бы не ты, я остался бы в Мюнхене. Работал бы как порядочный человек и заключил бы договор с Гравличеком. Если бы не ты, у меня была бы моя Кэтэ, эта или другая. Все было бы хорошо, если бы не ты.

Гансйорг умел владеть собой, но когда человек несет такой бесстыдный вздор, как этот соплик Оскар, то даже у святого может лопнуть терпение.

— Попридержжи свой гнусный язык, — ответил он тихо, но с необычайной резкостью. — Мне это надоело. Все, что тебя окружает, доставил тебе я, всем, чем ты стал, ты обязан мне. Кровью и потом это мне досталось, а в награду я слышу только идиотскую брань.

— Плевка не стоит все, что ты мне дал, — возразил Оскар. — И ты это прекрасно знаешь. А за всю эту дребедень ты отнял у меня самое дорогое. Отнял у меня «видение». К этому ты стремился с самого начала, пес ты, негодяй.

— Слышали мы эту музыку, — со злобой и презрением ответил Гансйорг. — Ты всегда был таков — при малейшей неудаче все сваливал на меня. Кто поджег мельницу в Дегенбурге, кому пришлось красть черную краску? Мне. А кто получил от этого удовольствие? Ты. А кому достались побои? Мне. И так было всегда. Ты не мог себе отказать даже в самом маленьком, самом подлом желании, а я должен был тебе помогать. Из-за какого-нибудь дрянного пустяка ты всегда готов был

прозевать главное, а мне приходилось поправлять то, что ты напортил. И в благодарность ты плевал мне в лицо. Подлец. Когда я одолжил тебе двадцать пфеннигов — ты был тогда у Ланцингера в третьем классе, — мне была дана торжественная клятва, что в пятницу деньги будут возвращены. А ты не только не вернул их, но еще напал на меня, отколотил. И все потому, что ты на десять сантиметров выше меня, в этом все твое величие. Я обещал Терезе Лайхтингер, что пойду с ней на каток, и вот у меня не было двадцати пфеннигов, чтобы заплатить за вход, и я остался дома, и она тоже, и вся наша любовь кончилась. А что ты сделал с двадцатью пфеннигами? Ты их прожрал. Купил себе жевательной резины.

Оскар все это отлично помнил, он вспоминал сотни подобных случаев, важных и не важных, но, по существу, не важных не было, и на минуту в нем шевельнулось легкое чувство вины. Но он тотчас же подавил его. Так уж повелось на свете: один велик, а другой мал, один из породы господ, и ему все дозволено, а другой — ничтожество.

— Теперь все ясно, — торжествуя, ответил Оскар. — Теперь ты сам себя разоблачил. Ты неудачник, тебе с самого начала не везло с женщинами, поэтому ты и зол. Мне эти двадцать пфеннигов не нужны были, Тереза Лайхтингер бегала за мной и без двадцати пфеннигов. Ты мне завидуешь. Вот ты и сваливаешь свои неудачи на меня; вот ты и бранишься и брызжешь ядовитой слюной.

— Скажу тебе одно, — ответил Гансйорг, — несмотря на все твои громкие слова, ты проиграл. Весь этот вздор, все это очковитирательство уже не действуют. Ни на Прозю, ни на меня. Впредь я твою наглость сносить не намерен. Говорю тебе раз навсегда, если ты еще хоть раз будешь так нагл со мной, я перестану тебя поддерживать. И тебе крышка. А ты уже видел, чего ты можешь достигнуть, когда предоставлен самому себе.

Братья стояли друг против друга, бледные, их лица были искажены бешенством, глаза сверкали. Странно было смотреть, как эти элегантные господа, государст-

венный советник и почетный доктор, видные члены самой могущественной партии Германии, стоят друг против друга в нелепой, роскошно обставленной комнате, непристойно бранясь, забывая свой с таким трудом приобретенный литературный язык и переходя на грубые баварские ругательства.

— И подумать только,— тихо, коварно, с затаенной злобой процедил Гансйорг,— что все это ты натворил из-за Кэтэ, из-за самонадеянной, капризной девчонки. Важный господин решил преподнести ей подарок, важный господин не мог ответить отказом на просьбу, не в силах был заявить своей плюшке: нет уж, хватит, точка.

Оскар проговорил так же тихо, но с угрозой в голосе:

— Говорю тебе, перестань.

— И не подумаю,— ответил Гансйорг.— Повторяю еще и еще раз. Своим идиотским тщеславием ты испакостишь карьеру и себе и мне. На твою шлюшку нашел sentimentalный стих. Она требует, чтобы ты достал ей луну с неба...

Оскар уже не слышал того, что говорит Гансйорг. Слова «sentimentальный стих» снова напомнили ему о том, что он потерял. Этот жалкий дурак Гансйорг даже не понимает, о чем идет речь. Ведь он туп как бревно, он во всем виноват, этот заморыш, этот злой дух, этот искуситель. И вот он стоит, маленький, невзрачный, бледный, бесстыдный, да еще смеется над его горем. Оскар посмотрел на него бешеным взглядом. Он сжал в кулаки свои большие руки с такой силой, что толстое кольцо больно врезалось в ладонь.

Гансйоргу стало страшно. Но он преодолел этот страх.

— Что ты смотришь на меня какими-то глупыми глазами,— сказал он,— я ведь отлично знаю, что за этим взглядом ничего нет. Меня ты не запугаешь. Мне страх неведом.

Но тут бешенство окончательно захлестнуло Оскара, перед глазами поплыли черные и красные круги; он бросился на брата, как бывало в детстве, когда не мог найти другого довода, и стал его избивать. Это было

огромным облегчением, но от каждого удара, который он наносил, ему было больно самому.

Гансйорг съежился, но не сопротивлялся. Вдруг Оскар увидел, что из большого пореза на лице брата сочится кровь. Как видно, Оскар поранил его кольцом. Это сразу отрезвило старшего, вся его ярость угасла. «Малыш,— подумал он,— как это недостойно, почетный доктор, академик, а дерусь с ним, как мальчишка. Но это его вина. Нет, моя. А впрочем, не все ли равно, кто виноват?»

Он отошел от брата.

— Плохо мне, Ганслъ,— проговорил он тихо, жалобно, искренне.— Я очень страдаю. Ты ведь задел самое больное место.— И он открылся ему.— Дело в том, что у этой женщины от меня будет ребенок, и я безмерно этому радовался. А вы уколошили ее брата. И она ушла от меня. И вы все у меня отняли.

Гансйорг сидел перед ним измотанный, щуплый, и кровь струилась по его лицу. Он машинально вытер его носовым платком, но платок тотчас же пропитался кровью, она каплями стекала на костюм. Однако Гансйорг не обращал на это ни малейшего внимания, ибо он вдруг понял душевное состояние Оскара. Значит, и его настигло горе, этого хвастуна, гениального пророка. Значит, и он испытал то, что Гансйорг испытывал сам всю жизнь. У него есть все, чего только можно пожелать, но эта женщина ему не достанется. А ведь он уже завоевал ее, он уже сделал ей ребенка. У него есть сто других, сколько душе угодно, еще красивее, еще лучше, но ему нужна именно эта, но именно этой он не получит, она от него ускользнула. Гансйоргу стало жалко брата, но он тут же подумал: поделом ему. Чего ради он втюрился в эту гордячку, в эту дуру Кэтэ? Ему, Гансйоргу, она всегда была противна, и он не понимает, почему Оскар с ней так долго возится, раз она мучает его.

Между тем Оскар, увидев, как разукрасил брата, испугался, он был полон раскаяния и жалости.

— Идем в ванную,— позвал он Гансйорга.— Надо вымыться. Я пошлю к тебе на квартиру или позвоню, чтобы тебе принесли костюм и белье. Тебе

больно? — спросил он озабоченно. — Может быть, вызвать врача?

Гансйоргу не было больно, и он не хотел звать врача. Но он отправился в ванную в сопровождении Оскара и разрешил позвонить насчет белья и костюма.

Он стоял в ванной под душем. Оскар в который раз с презрением и состраданием рассматривал тщедушное тело этого заморыша. Нет, не надо быть героем, чтобы избить его. Но зачем Гансль доводит его до такого состояния?

Гансйорг тоже размышлял. Начала она хитро, эта Кэтэ, эта высокомерная девка, дразнившая брата своей холодностью. Заставила дурака Оскара сделать себе ребенка в расчете на то, что он на ней женится. Но она перегнула палку и осталась на бобах. Оскар пока еще не понимает, как ему, в сущности, повезло, даже и на этот раз, хотя он и оплакивает свою утрату, но все сложилось очень удачно. Да, везенья у него больше, чем ума. Проэль и Цинздорф против воли оказали ему огромную услугу, избавив его на всю жизнь от связи с этой девчонкой. Да, дуракам счастье.

Эти мысли текут, но в то же время Гансйоргом овладевает подсознательный страх: Оскар, этот подлый, грубый, неистовый Оскар, с его глупым, дерзким взглядом, может ведь своим «видением» проникнуть в его, Гансйорга, мысли. Гансйорг боится брата. Но ведь, пока он стоит здесь под душем, тот не может заглянуть ему в глаза, здесь он в безопасности. И Гансйорг усердно продолжает смывать кровь, которую давно уже смыл; что касается девчонки, он выразит брату сочувствие и не пожалеет утешений.

Затем он садится на белую табуретку. Оскар заботливо вытирает брата, дает ему какое-то кровеостанавливающее средство. Гансйорг уже острит:

— Это будет похоже на рубец от удара шпагой. Подумают, что я дрался на дуэли. А ведь, пожалуй, так оно и было.

Затем они возвращаются в библиотеку. Гансйорг надевает один из халатов Оскара. Халат ему велик, в этом роскошном одеянии Малыш напоминает озябшую

обезьянку. Он начинает осторожно утешать брата. Но тот глубоко удручен.

— Мы живем среди разбойников и убийц,— жалуется Оскар.— Послушал бы ты, как ласково говорил со мной фюрер, точно брат с братом. А эти свиньи как ни в чем не бывало убивают Крамера наперекор приказу фюрера.

— Будь же благоразумен, Оскар,— говорит Гансль.— Принимай жизнь такой, какая она есть. Я верю, что Гитлер твой друг и хочет тебе добра. Но он не может обойтись без такого человека, как Проэль. Ведь тот в конечном счете управляет всей этой машиной, всем партийным аппаратом. Уж поверь мне, никто с ним ничего не может сделать, ни ты, ни я, ни сам Гитлер. Я-то ведь тебе, во всяком случае, желаю добра, Оскар. Будь благоразумен. Эти люди не мелочны, пока им не станешь поперек дороги. Ведь то, что ты получил,— не шуточки. Зофиенбург, солидный счет в Дрезденском банке, докторская степень. И президентом академии ты станешь — это только вопрос времени. А бабы — бери любую. Да и Кэтэ твоя к тебе вернется.

— Кэтэ никогда не вернется,— жалобно ответил Оскар,— ты ее не знаешь. С этим — кончено.— Он сидел печальный, сумрачный.— Все кончено. Я это не в упрек тебе говорю. Оба мы под угрозой, я понимаю. То, что сегодня сделали с Крамером, могут завтра сделать со мной или с тобой. Если Проэлю или Цинздорфу пришлось не по вкусу мои глаза, а они им не по вкусу, то стоит им только захотеть, и меня укокошат, как этого Крамера.

Гансйоргу стало не по себе. Слова Оскара ложились на него почти физической тяжестью: ведь то, что видел и говорил Оскар, так часто сбывалось. Гансйорг мысленно защищался, силился взять себя в руки.

— Некоторое время ты был сверхоптимистом,— сказал он,— а теперь ударился в противоположную крайность. Это бывает. Нам обоим пришлось вести ожесточенную борьбу. Бывает, что пока борешься — ничего, а как только очутишься у цели, нервы сдают. Будь благоразумен, Оскар,— уговаривал он его, со всей сердечностью, на какую был способен.— Мы свое взяли. Про-

бились наверх. Теперь держись потише две-три недели, пусть все это порастет травой, в такое время трава растет очень быстро. А затем ты поедешь в Прагу — или где там обретается твоя Кэтэ — и заберешь ее обратно. Ведь ты с любой женщиной справлялся. Ну, не делай такой кислой физиономии, это тебе не идет. Мы, братья Лаутензак, теперь наверху, и если мы будем держаться друг друга, никому не удастся столкнуть нас вниз. Никакая сила в мире не столкнет нас.

Оскар в эти дни бродил опустошенный, измотанный, все радости жизни для него померкли.

Разумеется, предположение Гансйорга, что Кэтэ вернется, — вздор. Никогда она не вернется. Он было и сам хотел поехать в Прагу, чтобы уговорить ее вернуться. Но знал, что это бесполезно. Теперь ему стало ясно, как все произошло. Обещание Кэтэ выйти за него и жить с ним было лишь платой за спасение брата. Уже задолго до этого она приняла сторону Крамера и, значит, была против него.

Не менее тяжела была мысль, что он обманулся и в Гитлере. Оскар не был моралистом, он не обиделся на Гитлера за то, что тот не сдержал слова. Но Оскар верил, что между ним и Гитлером существует глубокое сродство, дружба, идущая от единства крови, от праматерей; оказывается, Гитлер только притворялся перед ним.

Оскар находился в состоянии глубокой подавленности, когда ему подали письмо из рейхсканцелярии. Гитлер поздравлял его с получением степени почетного доктора и сообщал, что он распорядился ускорить открытие академии оккультных наук. Он собственноручно приписал, что рад будет вскоре увидеться с Оскаром.

Оскар просиял. Тучи рассеивались. В глубине души он всегда был уверен, что фюрер по-прежнему остался его другом. Не он, а другие, вопреки слову фюрера, лишили его жены и ребенка. Это были его старые враги, все те же «аристократы», фальшивые, как подаренная Оскару жемчужина. Кадерейты, Проэли, Цинздорфы.

Но нет, на этот раз они просчитались. Кое в чем они добились успеха: отняли у него женщину, к которой он был привязан. Но из сердца фюрера они его не вытеснили.

Он берет письмо Гитлера. Смотрит на его почерк — нескладный, нестройный, крупный детский почерк. Буквы словно срываются с бумаги, они стоят перед Оскаром, как нечто осязаемое, материальное, из них струятся мысли, чувства, желания фюрера. Оскар чувствует, что фюрер его друг, и этот его друг Гитлер зовет его, нуждается в нем.

В сердце Оскара оживают слова фюрера о прекрасном свойстве немецкого характера — мстительности, и с неистовой силой вспыхивает ненависть к «аристократам», которые всю жизнь давили его — как и Гитлера. Вешать их надо, и их будут вешать — на каждом дереве Тиргартена будут они висеть. Самые сокровенные чувства Гитлера — это Оскару известно — те же, что и его собственные, но только самые сокровенные. «Аристократы» преследуют фюрера еще ожесточеннее и успешнее, чем Оскара. Они не только интригуют в его приемной, но посягают и на его сердце. Оскар ведь знает, что делается в душе Гитлера, он это видел, и письмо ясно вызвало перед ним все виденное. Снова встает перед ним картина: «аристократы» набросили лассо на сердце фюрера, и тянут, и дергают. Он, Оскар, нужен Гитлеру, он должен разорвать эти путы. Письмо фюрера — крик о помощи. Отомстить «аристократам», снести их высокомерно поднятые головы — вот задушевное желание Гитлера; но ему нужен толчок, ему нужна помощь, ему нужен он — Оскар.

В комнате, обставленной с причудливой роскошью, перед огромным письменным столом сидит Оскар, в его больших руках с массивным кольцом на пальце — письмо Гитлера. На губах играет глупо-восторженная, детская улыбка. Гитлер зовет его не напрасно. Оскар выведал тайное желание Прозля, человека бездарного и своего врага, — как же не угадать ему желаний Гитлера, этого гения, дружественного и родственного ему великого человека?

Фюрер и на этот раз не стал откладывать свидания с ним. Оскару было назначено явиться в рейхсканцелярию на следующий же день.

Гитлер с дружеской откровенностью заговорил о том событии, которое могло омрачить отношения между ним и его ясновидцем, — о смерти Пауля Крамера.

— Вероятно, вы уже слышали, мой дорогой Лаутензак, — сказал он, — что судьба помешала исполнить ваше желание. Тот, кого я обещал освободить, все испортил своей трусостью. Этот чуждый нам по крови человек покончил с собой, прежде чем его выпустили. Кроме того, дело осложнилось тем, что он совершил преступление не только против нас, но и против германского духа, и прежде всего против немецкого языка, представителем которого я являюсь. Я убежден, что если бы вы знали, то не просили бы меня об его освобождении. Во всяком случае, говорить тут о борьбе духовным оружием не приходится. Это было бы большим промахом. Но что обещано — то обещано, и я, разумеется, пытаюсь примирить данное вам слово с моими обязательствами перед немецким народом и немецким языком, надев намордник на этого молодца. Но ваш господин Крамер коварно опередил нас. Я здесь ни при чем и весьма сожалею, что не сумел оказать услугу такому другу, как вы.

Оскар был очень взволнован тем, что фюрер перед ним оправдывается. Во всем виноват он сам, Оскар, уверял он Гитлера. Ему следовало раньше обо всем разузнать. Он не имел права просить фюрера об освобождении этого человека. И, разумеется, он даже в сокровенных глубинах души не назвал поведение фюрера грубым терпимом «нарушение слова».

— Очень рад, — продолжал Гитлер. — Вы один из тех немногих, кто понимает, что моя миссия иногда связана с необходимостью обидеть друга. В жестких рамках неизбежного развития политики — слова и дела не всегда совпадают. Историю творит рок, но слова и фразы произносят наши уста, они творятся языком, зубами, небом, и грош цена этим словам, когда встает вопрос о выполнении обещания. Лишь в том случае, когда слова произносятся нашим внутренним голосом,

может идти речь о верности данному обещанию или о его нарушении.

И он продолжал распространяться о существе верности. Положение, в котором он оказался перед своим другом Лаутензаком в результате смерти Крамера, к сожалению, повторялось в его жизни нередко. У него на каждом шагу возникали ситуации, когда он, фюрер, якобы оказывался нарушителем верности по отношению к испытанным друзьям, людям с золотым, но суровым сердцем, — и все это только потому, что он сохранял верность своему высшему долгу: верность судьбам Германии.

— Пусть мещане, — сказал он, — хвастают тем, что они строго придерживаются формальных обещаний, несут окопешу о вероломстве. Вы же, дорогой Лаутензак, понимаете меня.

Да, Оскар понимал его и был искренне благодарен фюреру, который снова почтил его своим доверием и дал возможность глубоко заглянуть в самую суть вечно волновавшей Гитлера проблемы. Ибо фюрер говорил, — и в этом Оскар не сомневался, — о том, что неизменно занимало самого Оскара: чьи головы в конце концов велит снести Гитлер. Пожертвует ли он «аристократами», которые импонируют ему и стилем управления, и манерами, или же отдаст на закланье шумливых и беспокойных друзей своих?

Оскара переполняла фанатическая преданность этому человеку, самому сильному на свете, столь бесстрашно открывшему свои глубочайшие тайны ему, другу. Эта дружба была не меньшим даром, чем дружба, которой одарил Рихарда Вагнера баварский король, блестящий Людвиг Второй. Оскар любил фюрера с какой-то сладострастной угодливостью.

— Мой фюрер, — заявил он восторженно, — вам не зачем бояться неудач, ни внешних, ни внутренних, если только вы будете слушаться своего внутреннего голоса. Он надежен, он непогрешим.

И так как Гитлер задумчиво и испытующе взглянул на него, он добавил с фанатической страстностью:

— Если бы вы, мой фюрер, сейчас заявили: «Лаутензак, на вас лежит вина, которая может быть искуп-

лена только смертью», я без всякого внутреннего протеста принял бы этот приговор, даже не зная, за что я должен умереть.

И в это мгновение Оскар верил в искренность своих слов.

Гитлер, взволнованный такой преданностью, обнял Оскара за плечи и вместе с ним стал ходить по комнате, погруженный в мрачные раздумья.

— Власть и дружба, — сказал он, — это полюсы, порой они порождают смертельные искры. Если бы все были так же мудры, как вы, дорогой Лаутензак, тогда и посетелю власти было бы легко. Но есть друзья, которые, несмотря на верность, перечат в своем ослеплении моему внутреннему голосу, и что же мне остается, как не заставить их в конце концов умолкнуть? Когда дело идет о национальной революции, я не имею права останавливаться даже перед самыми суровыми мерами. Может быть, это и трагедия, но ничего не поделаешь, колебаний тут быть не может.

Рассуждения фюрера были несложны, однако от этого не менее опасны. В них звучала решимость, и Оскар понял: кто станет добровольно или невольно фюреру поперек дороги, должен погибнуть. Но именно опасность, которой веяло от этого человека, притягивала Оскара.

— Вы многого требуете от своих друзей, — сказал он, — но еще больше — от самого себя.

— Путь в Валгаллу — это не автострада, — ответил Гитлер. — Быть немцем — значит жить среди опасностей. Быть немцем — значит стремиться все добывать кровью, а не потом. Вот вам в двух словах мое мировоззрение.

Он подвел Оскара к своему письменному столу, открыл ящик и указал на револьвер.

— Вот он лежит, — сказал фюрер. — Заряжен. Лежит, как вечное напоминание, что каждый час полон решимости: победить или умереть.

Резким движением он снова задвинул ящик.

Оскар видел в душе фюрера грозовую тучу, всегда готовую разрядиться молнией, вопрос лишь в том — против кого. Но теперь только от него, Оскара, зависело

направить эту молнию на истинных врагов, на «аристократов». Гитлер был в подходящем настроении: чем примитивнее Оскар будет говорить, тем вернее достигнет цели.

— Да, — начал он, — каждый час полон новых опасностей. Враги не дремлют, они только ждут случая. Они бесстыдны и даже не скрывают своих злых замыслов. — И он рассказал о том, как прежний рейхсканцлер в примерочной портного Вайца кричал, что эту банду он больше терпеть не намерен и скоро ее уничтожит.

Оскар весьма удачно коснулся чувствительной струнки Гитлера. Фюрер ненавидел бывшего рейхсканцлера. Из-за этого человека его восхождение на вершину власти затянулось на месяцы, на годы. В распоряжении бывшего рейхсканцлера имелись документы, из которых было видно, сколько заплачено рейхсвером агенту номер 1077, Адольфу Гитлеру, за его работу. Этот человек не из числа осторожных, он всегда ругал Гитлера, издевался над ним, Лаутензак не первый рассказывал об этом Гитлеру.

Но угрожающие возгласы, о которых сообщил ему Оскар, были особенно подлы и правдоподобны. Гитлер побледнел, кровь отлила от его плоских щек, большой треугольный нос стал совсем белым. Им овладело слепое бешенство. Оскар с приятным удивлением увидел, что на губах у фюрера выступила пена.

— Эта собака, — кричал он, — этот подлый, низкий завистник! Я растопчу его, уничтожу, поставлю к стенке за государственную измену!

Гитлер с трудом пришел в себя. Но когда он заговорил деловым тоном, в котором все еще слышался зубовой скрежет, этот тон яснее, чем бешеные крики, показал Оскару, что он достиг цели.

— Да, это похоже на него, — заявил фюрер спокойно и энергично. — Узнаю птицу по полету; даже место, где произносились эти бессильные угрозы, говорит за себя. В примерочной портного, в одних кальсонах, брызжет слюной этот бывший человек. Там он исходит желчью от зависти, оттого что я сижу здесь, а он в примерочной у Вайца. Уничтожит! Посмотрим еще, кто кого уни-

чтожит. Эти господа обнаглели благодаря моему долготерпению. Но теперь я принял решение и жду только подходящей минуты — минуты, которую мне подскажет мой внутренний голос. Тогда я уже не отступлю перед тем, чтобы отрубить преступные головы, даже причесанные камердинерами и возомнившие, что сидят на плечах как железные и что вековая принадлежность к не по праву привилегированному классу обеспечивает им неприкосновенность...

С удовлетворением видел Оскар, что он снова оказался стрелочником судьбы и направил волю Гитлера по нужным рельсам. Бывший рейхсканцлер был предводителем и опорой «аристократов». Если он падет, с ним неизбежно падут и другие, падут многие, например, господа Прозель и Цинздорф.

Хотя гордость распирала Оскара, он никому не сказал ни слова о разговоре с фюрером. В его ушах еще звучало предостережение Гансйорга. Он будет сдержан. Лишь наступив ногой на своих врагов, он посмеется над ними: «Это я растоптал вас».

Все снова и снова помимо воли думал он о судьбе Кэти и ребенка. Он узнал, что она в Праге. Несколько раз он писал ей длинные телеграммы, но не решался посылать их. Это было бессмысленно. Затем ему пришлось в голову поехать в Прагу на гастроли, но он отказался от этой мысли, перед тем как подписать контракт.

К счастью, у него оставалось не слишком много времени на размышления. Приходилось напряженно работать для академии, кроме того, он каждый вечер выступал, давал консультации, много сил отнимали светские обязанности, и его дни и ночи были заполнены.

Однажды он встретился в обществе с графом Цинздорфом. Отрадно видеть врага, когда знаешь, что в крематории его уже ожидает печь.

Живой труп — Цинздорф — раскланялся с Оскаром как ни в чем не бывало и завел с ним вежливый разговор. Он учтиво и нагло спросил Оскара, сможет ли публика и в будущем увидеть его на эстраде или же

сан президента академии не позволит ему выступать публично.

— Разве публичные выступления — позор? — высокомерно спросил Оскар.

— Я бы на вашем месте, — дружелюбно предложил Цинздорф, — непременно посоветовался об этом с фюрером. Ведь вы у него свой человек.

— Фюрер оказывает мне честь, — сдержанно отозвался Оскар, внутренне насмехаясь над Цинздорфом, — спрашивая иногда моего совета.

— И следует ему?

Оскар ничего не ответил Цинздорфу, только взглянул на него. Чуть заметно, но очень надменно дрогнули уголки его красных губ. Эта скотина скоро на собственной шкуре узнает, следует ли фюрер советам Оскара. У него гладкая, красивая рожа, этого нельзя отрицать, и женщины за ним бегают, но все это не поможет. Сегодня он еще на коне...

— Послушайте, Оскар, — продолжал Цинздорф, — помнится, вы недавно прислали мне записку с предупреждением. Обычно я таких записок не читаю, бросаю их в корзину, но так как на этом письме был ваш автограф, то я ее пробежал. И нахожу, что это нелюбезно с вашей стороны разыгрывать Шейлока в отношении меня, бедного маленького чиновника. Вы же знаете, сколько мне приходится работать для партии. Ну, а для гешефтов не остается ни минуты. Охранять безопасность рейха — утомительная задача. И не очень благодарная. Каждый вмешивается в это дело. А когда хочешь отсечь гнилое мясо, на тебя нападает целая орда слюнявых гуманистов и начинает кричать караул.

Этот сопливый мальчишка еще смеет бросать ему вызов! Этот мальчишка еще смеет напоминать ему о подлой истории с Паулем Крамером! Этот мальчишка над ним издевается!

— На вашем месте, Ульрих, — ответил Оскар, — я не расписывал бы так свою работу. Работа палача нужна, но особенно афишировать ее не следует.

— Вы ошибаетесь относительно моей должности, Оскар, — ответил Цинздорф. — Я не веду овец на бойню — я только мечу их.

Ульрих ничуть не старался скрыть, какое удовольствие доставляет ему дразнить своего собеседника.

Оскар был уже не в силах таить гневную радость, видя, как слепо этот наглец идет навстречу своей судьбе.

— Иные думают, что они ставят метку,— сказал он,— а сами они уже давно отмечены.

— Звучит апокалипсически,— отозвался Цинздорф.— Это изречение из Библии или ваше собственное?

Оскар с возрастающим веселым гневом ответил:

— Это не из Библии и только наполовину мое. Это сказано человеком, имеющим власть претворять свои слова в дела. Можете понять и так: иные хотят уничтожать, а будут сами уничтожены.

— В вашем собрании цитат есть, по-видимому, немало жемчужин, мой милый,— кротко сказал Цинздорф.— И все они настоящие?

Оскар с трудом сдержался, чтобы не ударить его по красивому, наглому, высокомерному лицу.

— Есть человек,— ответил он,— который в данный момент не отступит перед тем, чтобы кое-кому снести головы, даже если они причесаны камердинерами и возомнили, что вековая принадлежность к привилегированным классам обеспечивает им безопасность. Вот это, например, безусловно, подлинная цитата, и тем, кого она касается, следовало бы, пожалуй, посбавить спеси, граф Цинздорф.

— Да,— ответил Цинздорф,— похоже, что эта цитата подлинная.

Он пытался сохранить прежний задорный тон, но это ему не удавалось. Впервые Оскар увидел на дерзком лице Цинздорфа нечто вроде растерянности.

Оскар покинул его. Он чувствовал себя удовлетворенным. Наконец-то он дал щелчок этому сопливному мальчишке.

И в самом деле, слова Гитлера, переданные Оскаром, поразили Ульриха Цинздорфа. Но только на мгновение. Ведь еще далеко до последней схватки между аристо-

кратами и чернью, да и не ясно, на чью сторону в окончательной борьбе станет истерический клоун Гитлер.

Ясно одно: перед этим фокусником фюрер держал торжественные речи. Не подлежит сомнению, что приведенные Лаутензаком слова принадлежат Гитлеру, — нельзя не узнать его напыщенной манеры.

Но, уж во всяком случае, эти слова Гитлера не подлежат оглашению, — при этой мысли лицо Цинздорфа прояснилось. «Вы меня щелкнули по носу, милый мой Оскар, это так. Но, пожалуй, этот триумф — величайшая из глупостей, совершенных вами».

Цинздорф удобно сидел в кресле, закинув ногу на ногу, прикидывал, соображал. Эти цитаты надо опубликовать. Пусть их прочтут люди, которых это касается, — Кадерейт, бывший рейхсканцлер. Они зашевелиятся, подымут шум. Если человек не умеет бережно обращаться с тем, что ему доверил фюрер, то он совершил государственную измену, а Гитлер быстро расправляется с теми, кто обвинен в государственной измене. Да, вот это и есть решение.

Задача нелегкая — напечатать статью, в которой ничего не сказано и сказано все, статью, которая содержит неоспоримо подлинные цитаты. Но когда Цинздорф чего-нибудь по-настоящему хочет, он не только любезен, но и ловок.

Статья появилась. Статью поняли. Аристократы возмущались.

С напускной гримасой сожаления Цинздорф положил статью на стол начальника штаба. Проэль прочел. Проэль задумался.

— Я все понимаю, — сказал он, подводя итог своим размышлениям, — но я не понимаю одного: как это попало в газету. Наш циркач — гений и, следовательно, глуп. Но не настолько же он глуп, чтобы выкрикивать такие вещи и распространять их в количестве пятисот тысяч экземпляров.

— Господин начальник агентства печати, — невинно доложил Цинздорф, — тоже не понимает, как это случилось. Он в панпке позвонил мне и потребовал, чтобы я посадил в концлагерь редактора, пропустившего статью. Я, разумеется, сделал это.

Прозель пристально взглянул на своего Цинздорфа. Взял его руку, узкую, сильную, холеную руку.

— Эта рука тоже участвовала в игре, Ульрих? — спросил он. — Ведь все это ты состряпал. Разве нет?

— Да что вы, начальник! — ответил Цинздорф, но таким тоном, чтобы Прозель понял: Ульрих солгал, а вся эта история доставляет ему глубочайшее, жестокое удовольствие.

— Оскар Лаутензак, по-видимому, рехнулся, — продолжал он. — Кадерейт объявил мне, что он больше таких вещей терпеть не станет, да и «покойник» канцлер вне себя. О случившемся будет доложено Гинденбургу. Зигфрид проболтался. Боюсь, что Зигфрида нельзя будет спасти.

— Я тоже этого боюсь, — ответил Прозель.

Смотрите-ка, этот мальчик стал остроумным. Вот, значит, насколько он ненавидит Оскара?! Лицо Прозеля стало серьезным. Он постукивал карандашом по лысине. Ему было жаль Гансйорга — он потеряет брата, и жаль Гитлера — он лишится друга и прорицателя. Но этот Оскар Лаутензак слишком простодушен. Он слишком неосторожно обращается с даром, которым наделен. Создает себе слишком много врагов. Сначала он замахнулся на него, Прозеля, а теперь разглашает тайны, доверенные ему Адольфом Гитлером. Он может доставить партии неприятности. Нет, его не спасти.

В душе Прозеля, когда он взвешивал все эти обстоятельства, ожил отголосок того неприятного чувства, которое охватило его, когда он сидел против Лаутензака и этот человек, держа его руку, заглянул в тайники его души. А теперь вот как обернулось дело. Скоро, очень скоро этот человек раз и навсегда лишится возможности заглядывать ему в душу. И на мгновение Прозель возликовал: этот человек, враг, теперь в его руках. Им овладела буйная, неукротимая радость: он его уничтожит, сотрет с лица земли.

Но это не дошло до его собственного сознания и тем более не было показано Цинздорфу. Напротив, тот видел перед собой лишь высокопоставленного сановника, обдумывающего важное решение. Очевидно, это решение было Манфреду труднее принять, чем он, Цинздорф,

предполагал; ему даже казалось, что Манфред на него сердится. Но Цинздорф знал, что в конце концов Проэль даст свое согласие.

Проэль положил карандаш.

— У тебя злое, злое сердце, мой милый Ульрих. Мне, я вижу, ничего не остается, как пойти к Адольфу.

Манфред Проэль показал фюреру статью.

Статья Гитлеру понравилась.

— Неплохо, — сказал он. — Эта грозовая туча висит теперь над «аристократами», как дамоклов меч.

— Прости, Адольф, — заметил Проэль, подавляя легкое раздражение. — Я не докучал бы тебе такими пустяками, как чтение статьи, если бы ее можно было оценивать только с точки зрения эмоций. Пойми, прошу тебя, что эта статья — дело политическое.

— Я нахожу, — настаивал Гитлер, — что повесить такой дамоклов меч над «аристократами» только полезно.

— Это им полезно, — ответил Проэль своим скрипучим голосом, — но совсем в другом смысле. Мы с ними в союзе. Мы связаны соглашениями. Эти угрозы — нарушение заключенного с ними договора. Доктор Кадерейт созвал нечто вроде военного совета. «Покойный» канцлер и его присные заявили, что ни в коем случае не будут больше мириться с такими вещами.

— С чем это они не будут мириться, эти наглецы, эти свиньи? — мрачно спросил канцлер.

— С твоими угрозами, — ответил начальник штаба. — Пожалуйста, не обманывай себя насчет серьезности этого дела, Адольф. Господа «аристократы» стучат кулаком по столу и кричат, что мы во всеуслышание заявили о своем намерении нарушить слово. Они могут использовать Гинденбурга.

— Мое имя же не названо в статье, — недовольно сказал Гитлер.

— Имя Лаутензака тоже не названо, — ответил Проэль. — Но фразы, содержащие угрозы, и твой неповторимый немецкий язык — с головой выдают автора. Не может быть никаких сомнений и в том, что разгла-

сил их Лаутензак. Адольф, ты от этого не отвяжешься, тебе придется сделать недвусмысленное заявление.

— Что это значит «недвусмысленное»? — высокомерно и неприязненно спросил Гитлер. — «Недвусмысленное» — это нечто чуждое немецкому языку. Заявления Гете не были недвусмысленными.

— Так ведь он был поэт, — нетерпеливо сказал Проэль.

— Он был и министр, — настаивал канцлер.

— Адольф, — ласково уговаривал его Проэль, — не обманывай себя. Вникни в суть дела. Ты должен отречься от этого болтуна. Решительно. Раз и навсегда.

Фюреру было не по себе. Болтать — это со стороны Лаутензака безответственно, и сделай это кто-нибудь другой, разговор с ним был бы короткий. Но Лаутензак — ясновидец. От него нельзя требовать, чтоб он был нем как могила. Видения и высокопарные речи неразрывно связаны друг с другом — это он сам знает лучше, чем кто-либо. Когда сердце полно, уста глаголят. То, что для другого было бы государственной изменой, для ясновидца Лаутензака простительный грех. И из-за таких пустяков «отречься» от друга? Вечно у него хотят отнять то, что его радует. Нет, не выйдет. Он не пожертвует другом и ясновидцем молоху отечества.

— Я провел с Лаутензаком часы возвышенного созерцания, — упрямо сказал он. — Ему ясно во мне многое, что скрыто для других.

— Мне понятно, что ты ему симпатизируешь, — отозвался Проэль. — В нем что-то есть, я сам это испытал. Но он чудовищно наивен, и его дружба для государственного деятеля — тяжелая обуза. Ты же видишь, он не в состоянии держать язык за зубами, этот Зигфрид, — повторил он довод Цинздорфа. — Ты должен от него отречься.

В душе Гитлера шла жестокая борьба. Сравнение с Зигфридом понравилось ему; он наслаждался трагической ситуацией, в которую снова попал. Но и мучился ею. Он тяжело дышал, потел.

— Я готов, — заявил он наконец, — отвернуться от Лаутензака, хотя он этого не заслужил. Я готов заявить господину Кадерейту, что тут произошло недоразумение.

— Полусловами тут не отделаешься, — сказал Проэль. — Сам Гинденбург потребует от тебя объяснений и новых торжественных заверений. Будут настаивать, чтобы все это происходило публично, открыто, при свете прожектора. Если ты намерен спасти Лаутензака, тебе не обойтись без неприятной сцены со стариком.

Гитлер — а этого и добивался Проэль — вспомнил тот час унижения, когда он, как побитый пес, стоял перед Гинденбургом. Нет, во второй раз он этого не вынесет.

— Оставьте меня в покое, — разразился он. — Каждому батраку дают передышку. А меня вы терзаете день и ночь. Это не жизнь, это какое-то вечное жертвоприношение. На куски вы меня рвете.

Проэль видел, как страдает его друг. Он подошел к нему, положил руку ему на плечо.

— Тебе тяжело, Адольф, — сказал он, — я знаю. Но ведь подумай, если даже ты унизишься перед Гинденбургом ради этого Лаутензака, он через два-три месяца снова впутается в какую-нибудь глупую историю. Ты должен заставить себя ради партии. Весь этот шум нам сейчас совершенно не к стати, об этом мне незачем тебе говорить. Существует только *одно* решение. Этот человек должен исчезнуть. Только его исчезновение может тебя обелить. Он должен быть стерт с лица земли. Вместе с ним сама собой забудется и вся эта неприятная история.

Гитлер отлично знал, что подразумевалось под словом «отречься». У него было честное намерение спасти друга. Но Проэль привел неопровержимые доводы. И даже если он унижится и спасет его — тут Проэль прав, — союз между ним и Лаутензаком навсегда расторгнут. Сам Лаутензак расторгнул его своей болтливостью. И разве он сам не дал ему, фюреру, отпущения? «Если вы меня осудите, то осудите справедливо», — сказал он. «Ваше сердце принадлежит волкам», — сказал он. Ясновидец предсказал свою собственную судьбу, предсказал, какую жертву судьба возложит на него, фюрера. Какая трагическая ирония судьбы!

Проэль тихонько снял руку с плеча Гитлера. Он смотрел на мрачно размышлявшего друга, видел, как

тот себя перебарывает. По-видимому, он разыгрывает теперь целую трагическую оперу. В таких случаях самое правильное оставить его в покое. Но вдруг Проэль померещилось, что в этой трагической опере героем является уже не ясновидец, а он сам. Он сердито отогнал от себя эту мысль. Проклятый Лаутензак. Уже от одного имени его в душе поднимается что-то темное, жуткое.

— Что ж, Адольф, человек этот должен исчезнуть? — повторил он свой вопрос.

Гитлер не смотрел на него; медленно взял он со стола маленький черепаховый ножик, им он вскрывал письма, не спеша нажал на него большими пальцами холеных, сильных, грубых рук. Черепаховый нож с противным звуком сломался.

— Благодарю,— сказал Проэль.

Когда Гансйоргу доложили, что Проэль просит его к телефону, он испугался, хотя ждал этого звонка.

С тех пор как он прочел ту статью, ему было ясно: случилась беда! Успокаивающий, вежливо-сочувственный, насмешливый тон, которым тогда говорил по телефону Цинздорф о «неприятном деле», только подтвердил его догадку, что зачинщиком этой губительной шутки был Ульрих.

Оскар погиб. Пытаться спасти его бессмысленно; что бы ни предпринял Гансйорг, ему не одолеть Проэля, который, безусловно, будет выгораживать своего Ули,— это значило бы лишь повредить себе самому. Говорить с Оскаром теперь тоже нет смысла. Гансйорга мучило, что он вынужден предоставить Оскара его собственной судьбе, и в то же время он втайне ликовал, что отныне ему не придется жить в тени своего гениального брата.

В таком настроении, встревоженный, взволнованный, ждал он звонка Проэля. Но, позвонив ему, Проэль все-таки оставил его в мучительной неизвестности. Он болтал о всяких пустяках своим обычным игривым тоном. В конце разговора пригласил его поужинать и пообещал: «Мы будем с тобой наедине, мой ангел».

За ужином Проэль был любезно-развязен, его скептическая речь, в которой отражалось знание мира и людей, блистала и переливалась всеми красками.

Он старался показать себя Гансйоргу с лучшей стороны. Пусть Гансйорг поймет, что Проэль ни в малейшей степени не возлагает на него ответственности за глупые выходки Оскара. Но он хочет, чтобы Гансйорг дал ему обещание, как мужчина мужчине, что не будет мстить за гибель Оскара. Пусть сам Гансйорг сделает выбор, за кого ему стоять,— за брата или за друга.

После ужина Проэль повел его в кабинет, куда подали кофе и коньяк. На письменном столе лежал номер журнала, открытый на злополучной статье. Проэль указал на него чуть заметным движением руки.

— Да, мой дорогой,— сказал он,— тут мне ничего другого не остается, как выразить тебе соболезнование по поводу приступа безумия, приключившегося с твоим братцем.— И он положил ему руку на плечо.

— Что ты решил с ним сделать, Манфред? — спросил Гансйорг. Его голос звучал резко и сухо.

— Я-то ничего не решил,— с напускной развязностью ответил Проэль.— Ты знаешь, он мне нравится, это был удивительный человек в своей области, единственный в своем роде. Однажды он даже оказал мне значительную услугу. Адольфу он тоже был по душе.

Бледные губы Гансйорга дрогнули. Манфред говорил об Оскаре, как о покойнике. Оскар уже человек конченный, Гансйорг понял это. И все-таки не хотел верить.

— Он должен умереть? — как-то по-детски спросил Гансйорг и судорожно глотнул.

— Адольфу нелегко было сломать черепаховый нож,— ответил Проэль.

— Сломать что? — удивился Гансйорг.

— Ты знаешь Адольфа,— ответил Проэль.— Он ничего не сказал, только сломал черепаховый нож. Это была песня без слов.

Гансйорг сидел против Проэля, щедедушный, несчастный, подступала тошнота. Эти минуты показались

ему наиболее ужасными в его жизни. У него были самые лучшие намерения, но он повел брата неправильным путем.

— Неужели нет другого средства? — спросил он жалобно.

Проэль налил в кофе коньяку, выпил.

— Гитлер сломал черепаховый нож, — сказал он.

— Оскар — гений, — с усилием произнес Гансйорг после паузы. — Гений и безумие родственны друг другу. Нельзя разве на некоторое время поместить его в лечебницу для наблюдения за ним?

Проэль курил, пил. Пил, курил. Теперь он нашел средство поставить Гансйорга перед выбором. Он молчал так долго, что Гансйоргу стало казаться, будто Проэль рассержен его предложением и вообще больше не произнесет ни слова.

Но тут Проэль неожиданно встал. Гансйорг тоже хотел встать.

— Сиди, сиди, мой мальчик, — сказал Проэль.

Этот полный человек с розовой холеной кожей и круглой лысой головой подошел к своему гостю, он встал так близко, что его тихое, губительное дыхание как бы окутало Гансйорга. Эти светло-серые хитрые глаза показались Гансйоргу самым жестоким из всего, что он когда-либо видел в своей жизни, а жестокостей он перевидал немало.

— Слушай, дорогой мой, — сказал Проэль, его скрипучий голос звучал совсем тихо. — Я справедлив, и, признаюсь тебе, твое предложение можно было бы осуществить, я и в самом деле мог бы послать твоего братца в лечебное заведение. Но я не сторонник половинчатых решений, ты это знаешь. Я не могу взять на себя ответственность и оставить тебя — брата такого опасного, беспокойного человека, как Оскар, — в партии, на высоком посту. Пока Оскар жив, он будет сбивать тебя с пути, где бы он ни был. И вот, либо мы сделаем так, как ты предлагаешь, и он отправится в лечебницу, но тогда и ты отправишься туда же, для ухода за ним — из партии тебе придется уйти, — либо он погибнет, и тогда ты можешь остаться самим собою. Выбор в твоих руках, мой мальчик. Да, тебе придется сделать выбор, —

и после короткой паузы он почти неслышно закончил,— между ним и мной.

Быстрые бесцветные глазки Гансйорга пытались уклониться от властного взгляда Проэля, улыбка отчаяния исказила его остренькое бледное лицо.

— В нелегкое положение вы ставите меня, Манфред,— прошептал он.

— Выпей.— Проэль налил ему копыяку.— Да, я ставлю тебя в нелегкое положение,— согласился он.

Гансйорг выпил. Он представил себе, насколько проще и лучше станет его жизнь, когда он сбросит со своих плеч бремя, именуемое «Оскар». Теперь, после испытания дружбы, которому подверг его сегодня Проэль, ему нетрудно будет раз навсегда вытеснить Цинздорфа. А для Хильдхен Оскар будет впредь всего лишь исторической фигурой, и никаких преград на пути Гансйорга к успеху не останется.

Он набрался духу.

— Я остаюсь с тобой, Манфред,— сказал Гансйорг. Но не успел он произнести эти слова, как уже картины будущего, которые он нарисовал, чтобы подбодрить себя, исчезли; вместо них он увидел дерзкие темносиние глаза брата и почти физически почувствовал, как проникает в него взгляд этих глаз. И ему стало нестерпимо больно.

Проэль легко положил руку ему на плечо.

— Этого я не забуду,— сказал он.

— Я его увижу еще раз? — с трудом выговорил Гансйорг после минутного молчания.

— А почему бы и нет? — сказал Проэль.— По мне — пусть еще несколько дней порадуется приготовлению к открытию академии. От нас он не уйдет, и спешить нам незачем.— Проэль налил себе еще коньяку.— Талантливый был парень. Будь у него, кроме таланта, хотя бы капля здравого смысла, он бы далеко пошел.

Оскар, как и фюрер, прочитав статью, прежде всего почувствовал удовлетворение. Ему понравилась мрачная похвала, которая воздавалась ему, мрачные угрозы против «аристократов».

Но затем, проглядев статью вторично, он ясно понял, что она попала в печать только по чьей-то злой воле. За этим стоял, конечно, не кто иной, как Цинздорф. И добром это не кончится. В партии у него будут неприятности из-за того, что он без разрешения предал огласке слова фюрера. И опять ему придется оправдываться перед Гансйоргом.

Он почти жаждал телефонного звонка брата. Ему еще не было ясно, какие последствия повлечет за собой статья. Лишь после объяснения с Гансйоргом он сможет ясно представить себе размеры постигшей его беды.

Но Гансйорг не звонил. И никто не говорил с ним о статье.

К счастью, у него в тот день было много работы. Утром его принял министр просвещения, и они обсуждали вопросы, связанные с открытием академии, днем у него была трудная консультация, вечером — выступление. После выступления он поехал в ресторан с очень красивой итальянкой. Времени для тревожных мыслей не осталось.

Однако ночью он не мог заснуть, его все же одолевала тревога. Как примет историю со статьей партия и, главное, фюрер? Он еще раз перебрал в памяти отдельные места, он даже встал среди ночи, пошел в библиотеку, разыскал статью и снова перечел ее. И вдруг ему стало до ужаса ясно, что это не может кончиться добром, что это самая опасная из всех шуток, какие сыграли с ним «аристократы».

Он был рад, когда наступило утро и можно было взяться за работу. Дневная суeta поглотила все его мысли. Он забыл о статье, и в этот вечер лег в постель такой усталый, что тотчас же заснул. Спал он хорошо и наутро почувствовал себя отдохнувшим, бодрым. Работал с удовольствием, да и вечера ждал с радостью. Предстояло новое свидание с итальянкой, и он надеялся, что оно кончится победой.

Но позже, когда он прилег, чтобы отдохнуть перед выступлением и встречей с дамой, им снова овладело беспокойство. Он злился на себя, пробирал, бранил себя. Все это глупая игра воображения. Нужно раз и

навсегда покончить с идиотским страхом. И для этого есть только одно средство: поговорить с Гитлером. Он тотчас же сел, написал письмо, просил фюрера принять его.

После выступления он встретился с итальянкой, и все произошло так, как он ожидал. Эта женщина была красива, обворожительна, она понимала толк в любви; и сам Оскар, и его слава увлекли ее. Она была с ним нежна, он отвечал ей тем же, он спал с ней. Но за всем этим стояли тревога и страх: чем кончится разговор с фюрером?

Это происходило в то самое время, когда Прозль поставил Гансйорга перед выбором.

На следующее утро Оскар получил ответ из канцелярии Гитлера. Ему сообщали в изысканно вежливых выражениях, что господин рейхсканцлер в настоящее время очень занят. Господин доктор Лаутензак будет уведомлен, когда у господина рейхсканцлера найдется для него свободное время.

Прочитав письмо, Оскар побледнел. Но он убеждал себя, что такой ответ ровно ничего не доказывает. Было бы нелепо воображать, что фюрер им недоволен, только на том основании, что у него в первый же день не нашлось времени для Оскара. Он уцепился за эту мысль, вновь и вновь повторял себе одно и то же, но успокоиться не мог. Он знал, что фюрер вынес ему приговор и апелляции быть не может. Он сам заверил фюрера, что не возмутится, если тот его осудит. Он сам убеждал его слушаться, не рассуждая, своего внутреннего голоса. Гитлер так и сделал. Теперь он, Оскар, погиб. «Теперь крышка», — сказал он вслух на языке своей юности.

Какая чепуха! Это уже патология. Сумасшествие. Надо взять себя в руки. Никому не нужно рассказывать об этих нелепых страхах. Иначе его попросту сочтут помешанным. Надо взять себя в руки. Но десять минут спустя он поймал себя на том, что прокрался мимо маски, боязливо отвернувшись. Ему было стыдно, что теперь, накануне гибели, его живое лицо меньше чем когда-либо похоже на этот бронзовый лик. Накануне гибели. Вздор. Нельзя так распускаться. Нельзя так

отдавать себя во власть бессмысленного страха. Надо во что бы то ни стало отвлечься.

Он с головой погрузился в работу. Но в самом ее разгаре его охватила тоска по Альме. У нее он успокоится. У нее он избавится от тревоги, которая его так изматывает и в конце концов действительно сведет с ума.

Он тотчас же поехал к пей. Ходил взад и вперед по ее уютной комнатке, чувствовал себя хорошо, говорил об академии, о предстоящем торжественном открытии ее. Вдруг он умолк и после короткой паузы сказал, даже не сознавая, что говорит вслух:

— Доживу ли я до этого?

Портниха Альма взглянула на него с изумлением.

— Но это же будет через две недели,— произнесла она.

— Что будет через две недели? — спросил он. — Что я сказал?

Она видела, как он расстроен.

— Да что с тобой? — испуганно спросила она.

Он провел рукой по лбу.

— Ничего, ничего,— пробормотал он,— просто глупая шутка.

«Так продолжаться не может,— приказал он себе.— Если я сошел с ума, то, по крайней мере, другие не должны этого замечать. Выдуманные страхи,— повторял он про себя.— Пройдет. Возьми себя в руки. Сдерживайся, пока это не пройдет».

Все же на следующий день, в разговоре с Алоизом, снова прорвалось то, что он называл сумасшествием.

Алоиз был зол на академию. Он опасался, что, когда Оскар станет президентом академии, их совместная работа кончится. Он отпускал грубые шутки по поводу научной деятельности Оскара, ухмыляясь, напоминал, что Оскар и сам много раз потешался над сухой и бесплодной ученостью. Но сегодня Оскар не отвечал на иронические замечания друга с обычным высокомерием.

— Да,— согласился он,— много безответственного говорил я в своей жизни. Но у меня неприятности,

Алоиз, и, пожалуй, не следовало бы еще и тебе на меня нападать.

— А что такое? — с удивлением спросил Алоиз. — Что это за уныние?

Однако Оскар продолжал в том же тоне, он был так угнетен, что Алоиз, не выдержав, озабоченно произнес:

— Да скажи же наконец, что с тобой сегодня?

Оскар вместо ответа задумчиво взглянул на друга.

— Собственно говоря, тебе всю жизнь приходилось быть в тени, которую я отбрасывал. Хорошо, что ты, со своей стороны, все же всегда оставался мне верен.

Алоиз смущенно ответил:

— Это звучит как некролог. — И недоверчиво продолжал: — А... ты, вероятно, хочешь избавиться от меня ввиду открытия твоей знаменитой академии. Обыкновенный иллюзионист уже недостаточно хорош для тебя. Что ж, тебе не придется повторять это дважды. Считаю наш договор расторгнутым. Такой договор я могу заключить с кем угодно.

Оскар с непривычной мягкостью возразил:

— Не говори чепухи, Алоиз. Я не брошу друга на произвол судьбы.

Оскар сделал едва заметное ударение на слове «я», с болью и горечью думал он о фюрере, предавшем его. Он не мог больше сдерживаться.

— Я открою тебе тайну, — доверился он другу. — Я взял на заметку. Вот, сижу с тобой... и спрашиваю себя, не в последний ли это раз?

Сначала Алоиз думал, что Оскар разыгрывает одну из своих глупых зловещих шуток, но потом понял, что ему не до этого. Испуганно, с притворной бодростью начал его уговаривать:

— Ты бредишь. Переутомился. Всему виной эта дурацкая академия.

Но Оскар ответил:

— Нет, нет. Говорю тебе, я обречен. Они не оставят меня в покое.

— Кто «они»? — с возрастающей тревогой спросил Алоиз.

— Нацисты, конечно, — зло ответил Оскар, — наши старые друзья.

Говорить такие вещи теперь, когда все газеты трезвонят об академии, которую нацисты создают для Оскара, было явным безумием. Совершенно ясно — Оскар заболел манией преследования. Но, может быть, это и хорошо, может быть, теперь он и Оскар раз навсегда развяжутся с этой гнусной бандой, с нацистами. Алоиз схватил друга за рукав.

— Так давай попросту уедем, Оскар,— сказал он настойчиво, ласково, таинственным тоном заговорщика.— Ведь я тебе всегда говорил, что с нацистами ты не уживешься. Теперь ты видишь: Гансль и вся его идиотская политика только сводят тебя с ума. Давай уедем за границу. Пусть сами делают свое грязное дело. Контрактов у нас будет сколько душе угодно. Манц устроит их нам в два счета. Уедем за границу и будем заниматься нашим старым ремеслом.

Он говорил сбивчиво, горячо, с дружеской настойчивостью: он видел, как страдает Оскар.

Оскара взволновала мысль о том, что Алоиз ради него отказывается от своего Мюнхена. Он улыбнулся, растроганный и смущенный. Неужели Алоиз так плохо знает нацистов? Да разве они выпустят за границу человека, которого уже обрekli на смерть? Но он не стал пускаться в длинные объяснения.

— Да вознаградит тебя бог, Алоиз,— сказал он.— Не так уж плохи мои дела. Ничего, все утрясется.

Он ушел.

Алоиз долго еще сидел, подперев рукой длинное, худое лицо; еще задумчивее, чем всегда, смотрели карие, печальные, насмешливые глаза. «Черт-черт»,— сказал он про себя, скорее ворчливо, чем сердито. Глупым речам своего друга он не придавал особого значения, но то, что Оскар был так тих и кроток, наполняло его сердце заботой и недобрыми предчувствиями.

На людях Оскару иногда удавалось отогнать страх, когда же он оставался в одиночестве, этот страх ложился на душу почти физическим грузом. Порою он чувствовал себя как бы в пустоте, ему мерещилось, что

он уже находится по ту сторону жизни. Он еще мог двигаться, мог говорить, но звук его голоса был уже почти не слышен. Оскару казалось, что он накрыт стеклянным колпаком.

Не было ничего осязаемого, ничего такого, что могло бы дать основание для страха. А Оскара все больше и больше мучили подозрения против всех и всего. Какой-то парень возился в его саду.

— Что вам здесь надо? — напустился на него Оскар. — Это частное владение.

Оказалось, что парень — помощник садовника и выполняет порученную ему работу.

Оскару звонил по телефону министр просвещения, газеты только и говорили о предстоящем открытии академии. Все шло своим чередом. Но Оскара это не обманывало. Они оставались незримыми, его стражи, его убийцы. Но его не проведешь. Он чувствовал их всевидящее око. Он знал, что петля незаметно затягивается все туже, хоть ее и не видно.

Не в силах дольше терпеть, он отправился к Гансйоргу. Это было на третий день после разговора между Гансйоргом и Проэлем.

— Я должен с тобой поговорить, сейчас же, наедине, — сказал Оскар.

— А что случилось? — спросил Гансйорг. — Что с тобой? Это по поводу академии? Трубить еще громче, по-моему, нет возможности.

Он усиленно затянулся сигаретой, стараясь прикрыть свое беспокойство развязным тоном.

— Что случилось, — горько и растерянно повторил Оскар, — тебе должно быть известно лучше, чем мне. Ведь ты меня предупредил, что мне головы не сносить, значит, ты должен знать, когда падет топор.

— Ты бредишь, ты переутомился, — сказал Гансйорг точно так же, как и Алоиз.

Но Оскар уловил нотку неуверенности, что-то судорожное в словах Гансйорга, во всем его поведении. Да, он, Оскар, обречен. Где-то в книгах «аристократов» уже записана дата его гибели, час его смерти. А этот Малыш заодно с «аристократами» и отлично знает, что затевается.

— Значит, ты ничего не хочешь сказать мне,— жалобно произнес он, и в его голосе было такое отчаяние, что Гансйорг почувствовал вину и сострадание.

— Не надо нервничать,— просительно сказал он.— Я понимаю, тебя лихорадит: выступать в роли президента академии нелегко. Но ты великолепно справился с процессом. И я уверен, что открытие академии ты тоже проведешь блестяще. Играючи.— Он курил. Он улыбался.

Оскар не ответил на его улыбку. Он только поглядел на Гансйорга, даже не очень пристально, даже не очень выразительно, и все же Гансйорг не мог вынести этого взгляда,— Малыш чувствовал, что он, Оскар, знает все.

И Оскар начал жаловаться. Он не кричал, не бранился — Гансйоргу было бы гораздо приятнее, если бы он бранился. Оскар говорил тихо, без обычного высокомерия, и каждое его слово было проникнуто горькой безнадежностью.

— Зачем ты меня предал, Гансль? — сказал он.— Ведь предал? Или нет? Ты что-то знаешь? Очень многое знаешь. Почему не сказал мне ни слова об этой статье? Ты же знал, что она задумана, чтобы меня погубить. И должен был вовремя предупредить меня. Должен был спасти. Ты мог. Безусловно, мог. Почему ты этого не сделал, Гансль, брат мой. Я иногда низко поступал с тобой, согласен, и ты имел право мне отомстить. Но погубить меня — нет, это слишком. Ведь человеку дается только одна жизнь, а мне еще нет и сорока пяти. Я прошел через войну, через сто тысяч смертей, а теперь вот ты сидишь и куришь сигарету, и тебе безразлично, что я околею. А ведь мы связаны, орфически, еще водами глубин, и, окажись ты в пестле, уж я не дал бы тебя повесить, не предал бы тебя, Гансль, брат мой.

— Не болтай чепухи,— ответил Гансйорг.— Может быть, отложить открытие и ты поедешь на несколько дней к морю или в горы, чтобы отдохнуть,— предложил он, но это были вымученные слова, в них не чувствовалось убежденности. «Еще это надо выдержать,— думал он,— надо как-нибудь вытерпеть. Ведь уже нет ника-

кого смысла идти к Проэлю и говорить, что я все-таки предпочитаю отправить его в сумасшедший дом. Проэль теперь на это не пойдет, я только погублю вместе с ним и себя».

— Ты дьявольски умен,— говорил между тем Оскар,— ты всегда был умнее меня. И ты, вероятно, не по злобе оставляешь меня в петле. Своя рубашка ближе к телу. Тут ты прав. Я и сам так думал. Но только в таких случаях, когда мы, например, крали яблоки. А если бы дело коснулось твоей жизни, Гансль, я бы не сказал: «Поезжай к морю или в горы»,— тогда я заслонил бы тебя, ты это отлично знаешь. Ну, да что толку говорить об этом. Все кончено. И я рад, что не так дьявольски умен, как ты.

Он говорил медленно, тягучим голосом, будто извлекал из себя слова, точно находясь в трансе. Ганс-йорг ничего не ответил, даже не взглянул на брата.

Вскоре Оскар ушел. Гансйорг слышал, что он уходит, но не поднял глаз, не шевельнулся. Целых две-три минуты после ухода Оскара сидел он неподвижно, тщедушный, мертвенно-бледный.

В течение последних четырех дней, какие еще осталось прожить Оскару, был ли он один или на людях, его не покидал мучительный страх. Страх тяжело наваливался ему на грудь, давил, душил. Встречая штурмовика, Оскар думал: «Может быть, вот этот завтра или послезавтра хватит меня топором по голове». Катаясь на яхте по озеру, он думал: «Здесь, может быть, утопят меня». Гуляя в лесу, вблизи своего замка Зофиенбург, он думал: «Не здесь ли меня зароят». И все время боялся — вот они придут сейчас, сию минуту.

Оскар принимал снотворное, но спал плохо. Как-то он проснулся ошеломленный, подавленный, весь в поту. Он ясно слышал шаги, он крикнул в темноту: «Кто там?» Шаги затихли. Но кто-то побывал в комнате, он был в этом уверен. Мороз пробежал у него по коже, он перекрестился, как в детстве.

На следующий день вечером, открывая калитку своего сада, Оскар вспомнил, что в его связке ключей есть

ключик от квартиры Кэтэ, завоеванный им после долгой борьбы. Он ощутил непреодолимое желание побыть у нее в квартире. «Там,— думал Оскар,— я, может быть, почувствую раскаяние и избавлюсь от страха».

Он поехал туда, открыл квартиру. Она не была пуста, но Оскару показалась более чем пустой. Кэтэ оставила все, что он подарил ей, и все, что имело какое-нибудь отношение к нему.

Свет уличного фонаря ярко освещал комнату. Оскар стоял в опустевшей квартире, прислонившись к огромному роялю. Этот обычно столь уверенный в себе человек опирался на рояль неуклюже, неловко, словно обмякнув.

В это же время фрау Тиршенройт сидела в комнате Кэтэ в Праге. Она просматривала оставленные Паулем рукописи,— Альберт нелегально переслал их Кэтэ. Тут была статья «Рихард Вагнер как пример и предостережение», тут были статьи по вопросам языкознания и меткие очерки, по-новому освещающие события немецкой истории и политической жизни Германии. Несколько раз упоминалось имя Оскара Лаутензака.

— Вот несколько строк об Оскаре,— произнесла Анна Тиршенройт и подала Кэтэ рукопись.— Пауль был храбр и умен,— сказала она,— но беспристрастием не отличался. Да и нельзя требовать от человека так много.

Кэтэ взяла лист, но не читала. Выражение лица у нее было замкнутое, почти злое.

Первое время после отъезда из Берлина она ощущала страшную пустоту. Воспоминание об Оскаре вызвало в ней странное чувство: будто бы в ее душе имелось какое-то помещение, сначала битком набитое ветошью и хламом, а теперь опустевшее. Так, вероятно, чувствует себя человек, у которого ампутировали руку или ногу, а он продолжает ощущать боль в том месте, где они были. Но затем это прошло. Теперь она не питала к Оскару ни любви, ни ненависти, у нее не было времени для него. Да и ни для чего другого не было ни

времени, ни мыслей,— только для ребенка, которого ей предстояло произвести на свет. Она теперь даже не могла понять, как ей пришла в голову мысль избавиться от ребенка.

Анна Тиршенройт видела, что Кэтэ держит в руке лист и не читает. Она защищается от воспоминаний об Оскаре, думала Анна, вероятно, она иначе не может. Она несправедлива к Оскару. Все к нему несправедливы. Ребенку Кэтэ рада, но отстраняет от себя мысль, что Оскар — его отец. А ведь все-таки в нем было «что-то», в нем было то, что вложено в «маску». Он всегда напыщенно говорил о судьбе и считал себя ее баловнем. А ведь он только пасынок ее. Порой Оскар был близок к тому, чтобы схватить дарованное ему, овладеть им. И если бы ему больше везло, он, быть может, и добился бы этого.

Кэтэ положила лист на стол.

— Вы, конечно, понимаете, ффрау Анна,— сказала она,— что я не хочу иметь ничего общего со всем этим. Я хочу думать только о ребенке.— Она смотрела прямо перед собой решительно, уверенно, радостно.

На другой день вечером Оскар сидел в роскошном ресторане, заполненном посетителями. Вдруг он увидел двух мужчин и понял: это они. Он вспомнил, что видел их уже вчера, да и сегодня днем. Он вышел в вестибюль. Один из них последовал за ним. Оскар ушел из ресторана, поехал в другой, но они оказались и там.

Оскар не решался вернуться домой. Гансйоргг проводил его — ждать помощи от брата не приходится. Но ему необходимо еще раз повидать его. Ему необходимо за кого-нибудь уцепиться, когда придут палачи. Он поехал к Гансйорггу.

Господина государственного советника не было дома. Когда Оскар стал настойчиво спрашивать, где же брат, ему нерешительно ответили, что господин государственный советник поехал к ффрау фон Третнов.

Оскар отправился к баронессе. Была поздняя ночь. Дверь ему открыл заспанный швейцар. Узнав его,

швейцар как будто удивился и смутился. Оскар заявил, что здесь его брат, с которым ему надо срочно повидаться. Швейцар, все еще смущенный, попросил его подождать и исчез. Некоторое время спустя он вернулся и доложил, что господин государственный советник был здесь, но уже уехал.

Гансйорг отступился от него. Оскар растерялся, как еще никогда в жизни. Они, конечно, ждут его на улице. Выходя из машины, он заметил неподалеку другую машину. Здесь, у баронессы, он в безопасности. Оскар не хотел уходить. Это произойдет сегодня, но пока его отделяет от тех людей вот эта дверь, ему еще разрешается дышать. Неправда, что Гансйорг уехал. Он здесь, под этой крышей, его брат Ганслъ, покинувший его в час смертельной опасности.

Смущенный и недовольный швейцар все еще стоял перед ним, ожидая, пока странный посетитель уйдет. Оскар тоже стоял, грузный, во фраке, и не собирался уходить.

— Я неважно себя чувствую,— сказал он наконец,— принесите мне водки.— И он сунул кредитку в руку швейцара.

Тот, помедлив, удивленно ответил:

— Если так, господин Лаутензак...— и удалился.

Оскар сидел в высоком, дорогом, старинном кресле, цилиндр он поставил возле себя на пол. Швейцар вернулся с коньяком.

— Не мог достать ничего лучше, господин Лаутензак, повсюду уже закрыто,— сказал он.

— Теперь это уже не имеет значения,— отозвался Оскар и выпил.

— Извините, господин доктор,— вдруг обратился к нему швейцар,— я ведь читал, что вы стали почетным доктором. Я видел в «Иллюстрированной газете» ваши портреты и снимки вашей академии. Это замечательно. Я вас сердечно поздравляю.

— Спасибо, спасибо,— сказал Оскар.— А теперь я, пожалуй, пойду.

— Может быть, хотите остаться? — спросил швейцар.— Может быть, переночуете здесь? Не позвать ли врача?

Оскар размышлял. Если ему притвориться больным, то здесь, в доме баронессы фон Третнов, в присутствии врача, они вряд ли нападут на него, а если даже нападут, если его прикончат на глазах у Гансля, то поделом ему, этому Иуде, этому братоубийце, пусть воспоминание о смерти брата преследует его всю жизнь.

Но какой смысл оставаться? Ведь все равно уйти в конце концов придется. Если остаться, надо брать себя в руки, надо лгать, разыгрывать роль. И какой прок от того, что ему будет подарена еще одна ночь или, быть может, еще один день со всей его ложью, отвратительным притворством и жестоким, давящим сердце страхом.

— Спасибо,— сказал Оскар.— Нет, пожалуй, я лучше поеду домой.

Тяжело шагая, вышел он из дома баронессы фон Третнов, так и не повидав брата.

А те все еще тут? Кажется, да. Оскар не был в этом уверен. Он сел в машину. Но куда же ехать? Опять в какой-нибудь ночной ресторан? Ему были противны свет, музыка, шум, были противны смеющиеся, веселящиеся, куда-то спешащие люди. Но еще страшнее Зофиенбург, большой пустынный дом с его бессмысленной роскошью. Там уж его наверняка схватят. Некоторое время Оскар бесцельно ездил по улицам. Затем направился в ресторан «Табарин». Встретил здесь знакомых, женщин, пил.

Когда он вышел из ресторана,— швейцар уже распахнул дверцу его машины,— те двое подошли к нему.

— Я думаю, господин доктор Лаутензак,— сказал один из них,— что теперь вам лучше сесть в нашу машину.

Другой чуть заметным движением указал на нескольких молодчиков, стоявших поблизости. Была ночь, но чувствовалось, что скоро настанет утро. Оскар огляделся вокруг. Улица была пустынна. Швейцар, чуя недоброе, незаметно ушел: как будто испарился. Оскару хотелось кричать, громко кричать о своей загубленной жизни. Но тогда они его сейчас же прикончат, а если он будет вести себя тихо, то проживет еще несколько минут.

— Прошу вас,— сказал человек, и в его тоне звучали и насмешка, и угроза, и приказание,— сам Оскар не мог бы произнести эти слова лучше. Он сел в машину, на которую ему указали. Это была удобная машина. Кроме него, в ней сидело четверо.

— Куда мы поедem? — спросил Оскар.

Ему не ответили.

Машина быстро неслась по безлюдным улицам. Оскар хорошо знал эти улицы, он часто проезжал по ним в такой же предрассветный час; они были населены видениями — немало он пережил на этих улицах, это был тот Берлин, который он завоевал. В нем пробудилось множество воспоминаний, и еще больше — страхов, и еще больше — бешено несущихся мыслей. Возможно ли спасение? Существует ли оно? Но все эти воспоминания, страхи, мысли заслонил один вопрос: увижу ли я утро, хотя бы первый рассветный луч?

Машина ехала на запад, все дальше и дальше, в район Зофиенбурга.

Промчались и через этот район. Выехали к лесу и свернули на узкую дорогу. Оскар знал эти места. А вот еще более узкая — машина шла здесь с трудом. И вот остановилась.

— Вылезай,— приказал один из сопровождающих.

Оскар сидел. Рассвет еще не забрезжил. Он чувствовал страшную слабость, его знобило.

— Вылезай,— повторил человек тем же холодным, насмешливо-угрожающим тоном.

— А шляпу и пальто взять с собой? — глупо, по-детски спросил Оскар. «Выиграть время, время, время выиграть», — думал он. Все четверо сидевших в машине ухмыльнулись.

— Шляпу и пальто можешь взять с собой,— сказал один из них.

Оскар неуклюже вылез из машины. Посреди реденькой рощи стоял он во фраке, пальто и цилиндре. Дорога здесь копчалась, вокруг был лес; тонкий, бледный полумесяц едва светил и висел на небе уже очень низко, так что был едва виден сквозь деревья. Оскар очень ослабел, его трясло, хотя было не холодно.

— Пошли,— сказал штурмовик.

— Нельзя ли подождать до утра? — заикаясь, жалобно спросил Оскар и дрожащей рукой достал бумажник.

— А ну, пошли,— вместо ответа повторил сопровождающий. Оскара окружили, заставили идти. Вели все глубже в лес. Шли, натыкаясь на кусты, на корни деревьев. Остановились.

— Теперь беги,— услышал он приказ,— беги туда.— И ему указали на лесную чащу.

Оскар оглядел своих палачей одного за другим долгим молящим, тоскующим взглядом. На их лицах не было ничего похожего на чувство, ничего, кроме холодного, деловитого стремления выполнить приказ. Утро еще не наступило, но надежды не было. Он направил всю свою волю на то, чтобы дотянуть до утра, но, увидев эти холодные лица, понял: его последнее желание, последняя воля бессильны — снова осечка.

Он отвел глаза от этих людей. Еще раз посмотрел вокруг. Увидел деревья, слабо освещенное небо, бледный низкий месяц, темноту. Надел цилиндр и повернулся лицом к лесу — к дороге.

Ему очень хотелось, чтобы в нем зазвучала музыка, какая-нибудь торжественная мелодия. Но и это желание было тщетным. Никакой музыки в нем не звучало, когда он отправился в свой последний путь,— лишь обрывки свиста и грохота, который стоял в «Табарине».

Он поднял ногу в лаковом ботинке. Пошел. Тяжело шагая по роще во фраке, пальто и цилиндре, шел во тьму, ожидая, что вот-вот щелкнет выстрел и все кончится.

За день до открытия академии оккультных наук все газеты поместили на первой странице под жирными заголовками сообщение о том, что Оскар Лаутензак зверски убит. При нем было большое кольцо, знакомое сотням тысяч людей, побывавших на его выступлениях, были драгоценности и деньги, но его не ограбили. Очевидно, убийство совершено по политическим мотивам. Оскар Лаутензак был для «красных» представителем

национал-социалистской идеологии: они убили его из-за угла.

Фюрер распорядился устроить своему ясновидцу торжественные похороны за государственный счет. Гроб провожала огромная толпа, несли много знамен и штандартов, оркестр исполнял траурные мелодии.

Сам Гитлер произнес речь на могиле Оскара Лаутензака.

— Это был один из тех, — провозгласил он взволнованным голосом, — кто колокольным звоном — музыкой души своей — возвещал становление создаваемой мною новой Германии.

ПРИМЕЧАНИЯ

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Третья книга трилогии об Иосифе, написанная в эмиграции, впервые появилась в 1942 г. в Нью-Йорке, в английском переводе под названием «Josephus and the Emperor» — «Иосиф и император» (издательство «The Viking Press»). По-немецки роман вышел только в 1945 г., в стокгольмском издательстве Берман-Фишера, под названием, принятым ныне. В 1952 г., в первом полном издании всей трилогии (Frankfurter Verl. Anst.), роман получает название «Земля обетованная». Однако в Собрании сочинений, выпускаемом издательством «Aufbau» и положенном в основу настоящего Собрания, вновь принято название «Настанет день». В русском переводе роман публикуется впервые.

Стр. 7. ...*Саул, хотя его и предупреждали, что он умрет... все же решительно пошел в бой.*— Библейская «Первая Книга Царств» (главы XXVIII и XXXI) рассказывает, что первый царь Израиля Саул (современная наука датирует его правление XI в. до н. э.), боясь войны с филистимлянами, вызвал дух умершего пророка Самуила, некогда помазавшего его на царство.

Составитель примечаний к трилогии об Иосифе Флавии считает своей приятной обязанностью выразить признательность доктору исторических наук И. Д. Амосину и М. И. Занду, оказавшим ему большую помощь в работе.

Самуил возвестил ему, что он более не угоден богу и что «Господь предаст Израиля вместе с тобою в руки филистимлян». См. также т. 7, стр. 475 (примечание к слову: *Саул*). Следующая пикча цитата из Флавия — «Иудейские древности», VI, 14, 4 (Фейхтвангер называет это сочинение «Всеобщей историей иудейского народа»).

«Ревнители грядущего дня» — zeloty, самая радикальная политическая группировка в Палестине I в н. э. (см. послесловие к «Иудейской войне», т. 7, стр. 448). В первом романе об Иосифе Флавии они названы «Мстителями Израиля».

Стр. 10. *Кислев* — третий месяц еврейского календаря; соответствует концу ноября — началу декабря.

Стр. 12. *Даки перешли Дунай и вторглись в пределы империи.* — Дакийское царство находилось на нижнем Дунае. В правление Домициана даки неоднократно вторгались в римские владения. Мирный договор с ними был заключен в 89 г. н. э. ценою значительных уступок со стороны Рима.

Стр. 15. *...триумфальное одяние Юпитера...* — Триумфатор въезжал в Рим на позолоченной колеснице, запряженной четверкою белых коней, в таком же точно одянии, в каком изображали верховного бога Юпитера: затканная пальмами (символ победы) туника, расшитая золотом тога, на голове лавровый венок.

Стр. 17. *Двойная драхма* — дидрахм, монета достоинством в две драхмы (драхма — греческая серебряная монета, имевшая хождение и в Римской империи и по стоимости равная римскому денарию).

Стр. 25. *Фронтин* — Секст Юлий Фронтин (ок. 40 г. н. э. — ок. 106 г. н. э.), римский государственный и военный деятель, автор дошедшего до нас сочинения «Военные хитрости». В 75—78 гг. н. э. он командовал римским войском в Британии. В романе Фейхтвангер допускает неточность: известно, что во времена Домициана Фронтин держался вдали от двора и ни в каких делах участия не принимал.

...торжественно надел тогу взрослого гражданина. — Дети полноправных римских граждан носили белую тогу с широкой красной каймой, а достигая совершеннолетия, меняли ее на гладкобелую. Торжественная церемония, связанная с совершеннолетием, изображается во второй части романа (см. стр. 253—255).

...посещать один из греческих университетов.— Речь идет о школах красноречия и философии, которые держали в Риме приезжие риторы-греки.

Стр. 26. *Диурпан* (или Диурпаней) возглавлял даков на самой ранней стадии войны с римлянами, затем его сменил Децебал, и все, что говорится здесь и далее о Диурпане, следует относить к Децебалу. Однако это не просто ошибка Фейхтвангера: долгое время ученые считали, что Децебал — это прозвище Диурпана.

Стр. 31. ...в Германии, в Британии.— При Домициане был проведен успешный поход против германского племени хаттов и создана система крепостей, надежно охранявшая римские территории по Рейну. В Британии римляне под командованием Юлия Агриколы покорили больше половины острова.

Стр. 33. ...его прадед держал откупную контору...— Прадед Домициана был мелким начальником в войске Помпея. После победы Цезаря и гибели Помпея «он вернулся домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах» (Светоний, Жизнь двенадцати Цезарей, Божественный Веспасиан, I. Перевод М. Л. Гаспарова).

Стр. 34. *Гельвидия Старшего* убрал еще старик Веспасиан.— См. т. 8, стр. 486 (примечание к словам: *Гельвидий Приск*).

Стр. 35. ...он устранил ее любимца Париса и... заставил ее нет сослать ее на остров Пандатариию.— Луция Домиция Лонгина находилась в связи с танцовщиком по имени Парис. Домициан казнил артиста и развелся с женой, но, как сообщает Светоний («Домициан», III), «не вытерпел разлуки с нею и спустя недолгое время, якобы по требованию народа, снова взял ее к себе». Домиция была удалена от двора (видимо, в 82—84 гг. н. э.), но ссылка на Пандатариию — вымысел Фейхтвангера. Пандатариия — небольшой островок у западного берега средней Италии.

Стр. 36. ...со знаками императорской власти.— К их числу принадлежали: расшитая золотом тога или пурпурный плащ, лавровый венок (позднее сменившийся золотой диадемой), а также постоянный почетный эскорт из двадцати четырех слуг-жителей-ликторов.

У ног его вытянулся волк, дятел... уселся на... щит.— Волк был священным животным, а дятел священной птицею римского бога войны Марса.

Стр. 37. *Великий Александр* — Александр Македонский.

Стр. 41. *Так как он состоял в родстве с поэтом Катуллом...* — Действительно, слепого доносчика, «главного клеветника» при Домициане, звали Катулл Мессалип. Но был ли он в родстве с великим римским поэтом Валерием Катуллом (ок. 84—54 гг. до н. э.), никто не знает.

Стр. 43. *...тени высокопоставленных изгнанниц... Агриппины, Нероновой Октавии, Августовой Юлии.* — Агриппина Старшая (17 г. до н. э.— 33 г. н. э.) — внучка императора Августа, супруга знаменитого полководца Германика, племянника императора Тиберия. Германик, пользовавшийся громадной популярностью в войске и в народе, был отравлен (возможно, с согласия Тиберия). Оппозиционно настроенные сенаторы демонстративно скорбели об умершем и столь же демонстративно выражали уважение и сочувствие его вдове. Тиберий сослал Агриппину на остров Пандатария, где она и умерла. Октавия (42—62 г. н. э.) — дочь императора Клавдия и супруга императора Нерона, с которой он развелся, чтобы жениться на Пoppее. Нерон приказал вскрыть Октавии вены, и она умерла на Пандатарии. Юлия (39 г. до н. э.— 14 г. н. э.) — дочь императора Августа, уличенная в супружеской неверности и грубейшем разврате. Она провела в ссылке на Пандатарии пять лет.

Стр. 46. *Стаций* — Папиний Стаций, придворный поэт Домициана, автор поэмы «Фиваида», неоконченной поэмы «Ахиллеида» и сборника разнообразных стихотворений под названием «Сады». Из этого сборника, полного самой грубой лести императору и его приближенным, и выбраны Фейхтвангсом приводимые ниже строки.

Стр. 47. *...несло благовониями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи.* — Мертвое тело перед сожжением обильно напхивали благовониями.

Стр. 48. *...зловонную шутку, которую недавно позволил себе император...* — Эта шутка описана Ювеналом в сатире четвертой.

Стр. 49. *Палатинские игры.* — Игры с таким названием среди римских празднеств неизвестны.

Стр. 53. *Меценат*, Гай Цильний (69—3 г. до н. э.) — приближенный Августа, друг и покровитель Горация, Вергилия и других поэтов. Его имя стало нарицательным.

Стр. 61. *Публий Корнелий* — великий писатель и историк Древнего Рима Публий Корнелий Тацит (ок. 55—ок. 120 гг.).

Стр. 70. *...Домициан приказал отпереть храм Януса...*— См. т. 7, стр. 466 (примечание к словам: *Император... запер храм Януса...*).

Стр. 74. *Великий галлель*.— См. т. 7, стр. 468 (примечание к слову: *Галлель*).

Стр. 78. *«Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились...»* — Таких слов в «Книге Юдифь» разумеется, нет: это «псевдоцитата». «Книга Юдифь» — один из библейских апокрифов (т. е. сочинений, не вошедших в еврейский канон, но христианскою церковью признанных за священные или полусвященные), дошедший до нас в греческом переводе. Ее тема — нашествие врагов на Иудею и чудесное спасение страны благодаря храбрости вдовы Юдифи, которая под видом перебежчицы проникла в стан противника, очаровала полководца Олоферна и убила его. Факты и хронология перепутаны до крайности (скорее всего умышленно). Невозможно даже понять, кто враги иудеев: в Палестину вторгается войско Навуходоносора (первая половина VI в. до н. э.), который назван, однако, царем Ассирийским (вместо Вавилонского), а командует войском Олоферн, военачальник персидского царя Артаксеркса III Оха, возглавлявший поход 350 г. до н. э. против Финикии и Египта. Вполне возможно, что во время этого похода персы побывали и в Иудее. Написана книга, вероятно, во II в. до н. э.

«Горе народам, восстающим против рода моего...» — «Книга Юдифь», XVI, 17.

В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль...— В библейской «Книге судей Израилевых» (гл. IV—V) рассказывается о пророчице Деборе, которая возглавила борьбу евреев против ханаанского военачальника Сисары. После битвы Сисара бежал к шатру некоего Хевера и просил спрятать его. Жена Хевера Иаиль накрыла беглеца ковром, а когда он уснул, взяла кол от шатра и молот и пригвоздила голову Сисары к земле. Дебора сложила в честь победы восторженную песнь, где в особенности прославлялась Иаиль. Песнь Деборы считается одною из древнейших частей Ветхого завета и одним из лучших образцов древнееврейской торжественной лирики. Наука датирует Дебору примерно XIII в. до н. э.

Стр. 79. *Он... тоже рассказывал в своем историческом труде об этой Иаили.*— См. «Иудейские древности», V, 6.

Стр. 80. *«Вот голова Олоферна...»* — «Книга Юдифь», XIII, 15.

«Не от юношей пал сильный их...» — «Книга Юдифь», XVI, 6.

Стр. 81. *...провозгласили императором в четырнадцатый раз.*— См. т. 7, стр. 483 (примечание к словам: *...армия обычно провозглашала своего полководца императором*).

Стр. 83. *Себаста* — древняя Самария, столица Израильского царства. Переименовал ее Ирод Великий — в честь императора Августа, подарившего ему этот город («*Sebaste*» по-гречески — то же, что «*Augusta*» по-латыни: «достойная благоговения»).

Стр. 88. *Веспасиан разрушил второе царство...*— Хотя Иудея потеряла политическую самостоятельность задолго до Веспасиана — в 63 г. до н. э., во время восточных походов Помпея, — номинально ею продолжали управлять цари, потомки и наследники Ирода Великого.

Стр. 90. *Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя...*— См. т. 8, стр. 381 и сл., а также т. 7, стр. 470 (примечание к словам: *Восемнадцать молений*).

Стр. 92—93. *...это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее.*— Слово «Ваал» (Баал, Бел) было у древних евреев общим именем для различных древнесемитских богов, которым поклонялись их соседи и чей культ получил распространение и среди самих евреев, когда они приобрели оседлость в Палестине. Борьба против Ваалов — одна из главных тем проповеди пророков.

Стр. 95. *...нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змий.*— «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» — из наставлений Христа своим апостолам («Евангелие от Матфея», X, 16).

Стр. 101. *...Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы.*— Такие угощения богов назывались лектистергиями и устраивались регулярно особой, специально для этого избранною коллегией. Люди в этих пиршествах участия не принимали.

«Черепаша» (*testudo*) — особый боевой порядок в римском войске: солдаты шли на приступ тесно сомкнутым строем, держа сдвинутые щиты над головой и таким образом защищая

себя от стрел и камней, которые сыпались на них со стен осажденной крепости.

Стр. 102. *...вернул ей совиные очи...*— Сова была священной птицей Афины (у римлян Минервы), а первоначально тотемом, с которым человеческий облик богини всегда оставался связанным неразрывно. Недаром одним из постоянных прозвищ Афины было «Совоокая».

...Изобретательница звучных флейт...— Среди прочих божественных обязанностей Афины-Минервы было покровительство музыкантам. Греки считали ее изобретательницей духовых инструментов.

Стр. 108—109. *...народ Израиля вынесет третий переход через пустыню...*— Первый переход — исход из Египта; под вторым подразумевается возврат евреев на родину после «Вавилонского пленения». См. т. 7, стр. 463 (примечание к словам: *Уважаемые ученые в... Вавилонии*), и т. 8, стр. 500 (примечания к словам: *Ездра и Неемия*).

Стр. 118. «*Рапакс*». — Варах по-латыни: «Хищный» (или «Неудержимый»). Это имя носил Двадцать первый легион, сформированный еще в правление императора Августа.

Стр. 126. *...который из трехсот шестидесяти пяти заповедей этой поездкой нарушен, и каким из двухсот сорока восьми повелений они вынуждены были пренебречь.*— См. т. 7, стр. 468 (примечание к словам: *Шестьсот тринадцать заповедей Моисея*).

Эдом.— См. примечание к этому слову в т. 7, стр. 471.

Стр. 130. *В том царстве, которое он должен основать...*— Реминисценция из пророка Исаяи («Книга пророка Исаяи», II, 4 и XI, 6—8).

Стр. 131. *«Будет некогда день, и погибнет священный Троя»* — Гомер, «Илиада», VI, 448 (перевод Н. И. Гнедича).

«От Сиона выйдет закон, и слово господне от Иерусалима...» — «Книга пророка Исаяи», II, 3—4.

Стр. 132. *«Мало того, что ты будешь рабом моим...»* — «Книга пророка Исаяи», XLIX, 6.

«И будет он судить многие народы и обличит многие племена в дальних странах» — «Книга пророка Михея», IV, 3.

А как же понять слова о Гоге и Магоге...— См. «Книга пророка Иезекииля», XXXVIII—XXXIX.

Стр. 139. *...что вы... думаете о судьбе Цезариона, сына Юлия Цезаря и Клеопатры.*— В 30 г. до н. э. Октавиан (будущий

император Август) взял Александрию, последний оплот сопротивления Марка Антония. Среди захваченных в плен сторонников Антония был Цезарион, которого Октавиан приказал казнить.

Стр. 141. *Примерно в эпоху Троянской войны...*— В действительности Троянская война датируется концом XIII в. до н. э., а правление Давида — концом XI в. до н. э.

А наша, римская, начинается только с бегства Энея из горящей Трои.— По преданию, Рим был основан потомками Энея, одного из героев Троянской войны, переселившегося после падения Трои за море, в Италию.

...он и сам немножко похож на того Давида, который играл на арфе царю Саулу...— Библейская «Первая Книга Царств» (гл. XVI, 14—23) повествует, что Саула «возмущал злой дух от господа», и царь приказал своим слугам найти человека, «искусного в игре на гуслях», чтобы он успокаивал его своею игрой. К нему привели юношу Давида, «и когда дух от бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл,— и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».

Стр. 142. *...как мог сенат оставить его убийцу Эпафродита безнаказанным.*— Эпафродит был вольноотпущенником Нерона и его секретарем. Он оставался верен своему бывшему хозяину до конца, и когда тот, сознавая безвыходность своего положения, решился наконец убить себя, Эпафродит помог ему воззить меч в горло. При Домициане Эпафродит занимал должность императорского советника по делам прошений. Незадолго до собственной гибели Домициан приказал казнить его, «чтобы дать понять... что даже с добрыми намерениями преступно поднимать руку на патрона» (Светоний, Домициан, XIV. Перевод М. Л. Гаспарова).

Стр. 144. *...и еще в писаниях минеев...*— Эпизод с искушением Христа «от диавола» — «Евангелие от Матфея», IV, 1—11, и «Евангелие от Луки», IV, 1—13. Греческое слово *diabolos* означает «клеветник».

Стр. 149. *...сплав, возникший при сожжении города Коринфа...*— Во время покорения Греции римляне разрушили и сожгли дотла город Коринф, а всех жителей продали в рабство (149 г. до н. э.).

Пола — важный торговый порт на Адриатическом море; ныне Пула в Югославии.

Стр. 150. *...из шести весталок...*— Коллегия весталок, девственных жриц богини домашнего очага Весты, состояла из шести человек: две младшие весталки проходили своего рода стажировку, две другие исполняли обряды, а две старшие обучали первых и наблюдали за действиями вторых. Служба богине начиналась в очень раннем возрасте (шести — десяти лет) и длилась тридцать лет. Затем весталке предоставлялось право начать частную жизнь и выйти замуж.

...после отнюдь не блестящего Сарматского похода?— Война с даками названа Сарматским походом потому, что союзниками даков, часто тревожившими римские владения по Дунаю, были соседние племена сарматов, занимавшие земли от Дуная до Дона.

...после мятежа Сатурнина...— В 89 г. н. э. войско в провинции Верхняя Германия провозгласило императором наместника (легата) Антония Сатурнина. Мятеж успеха не имел, но Домициан поспешил воспользоваться им как предлогом для репрессий против недовольных в самом Риме.

Стр. 151. *Пифия* — жрица-пророчица в святилище Аполлона в Дельфах. Опьяняясь ядовитыми испарениями, выходившими из расселины скалы, она впадала в экстаз и выкрикивала бессвязные слова, которые затем толковались другими жрецами как изъявление воли бога.

Стр. 154. *Она была дочерью того самого Пета...*— Тразей Пет, убежденный стоик и республиканец, демонстративно покинул заседание сената, когда сенаторам предстояло одобрить новое злодеяние Нерона — убийство матери. Нерон приказал Пету умереть (66 г. н. э.).

Дециан — лицо историческое; ему посвящена вторая книга, эпиграмм Марциала, восхваляющего его осторожность и умеренность его стоических принципов.

Стр. 155. *...на празднике Доброй Богини...*— Эта богиня (Вона Деа) была, по-видимому, древним италийским божеством плодородия. Настоящее ее имя, так же как и мало-мальски достоверные сведения об ее культе, до нас не дошли: и то и другое было тайной, известной только женщинам. Ежегодное празднество в ее честь справлялось в доме одного из высших должностных лиц — консула или претора — под руководством хозяйки дома и при участии всей коллегии весталок.

Стр. 156. ...*в моем сочинении*...— Книга Тацита, изображавшая правление Флавиев, называлась «История». К сожалению, сохранилась лишь первая ее треть — описание гражданских войн после убийства Нерона.

Стр. 159. ...*в колонном зале Минуция*...— Имеется в виду Минуциев портик, стоявший к западу от Капитолийского холма, недалеко от реки, и возведенный в конце II в. до н. э.

Стр. 161. *Вода и огонь Италии были ему запрещены*.— Так звучала традиционная формула приговора к изгнанию.

Стр. 163. ...*к Коллинским воротам*...— Эти ворота в степе Сервия Туллия, возведенной в VI в. до н. э., назывались еще Квиринальскими и находились на северо-восточной окраине города, у подошвы Квиринальского холма.

Стр. 164. *Так же поступил некогда и Клодий*...— В декабре 62 г. до н. э. Публий Аппий Клодий Пульхр, в скором будущем знаменитый смутьян, а тогда известный всему Риму прожигатель жизни, пробрался, переодевшись женщиной, в дом Цезаря, где справлялся праздник Доброй Богини (Цезарь был претором того года). Он был схвачен, уличен в кощунстве и попал под суд, но народ единодушно поддерживал Клодия, и процесс приобрел политическую окраску. Судьи, боясь гнева толпы, оправдали Клодия.

Стр. 172. *Палладий* — изображение божества — хранителя города.

Стр. 175. ...*решила, что это уцелевшая амазонка*.— Название мифического племени амазонок, состоявшего из одних женщин-воительниц, греки толковали как «безгрудые»: по преданию, амазонки выжигали девочкам левую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука.

Стр. 177. ...*как некогда удалось весталке Тукции*...— По преданию, сохраненному несколькими римскими авторами, весталка по имени Тукция (вторая половина III в. до н. э.) была ложно обвинена в нарушении обета целомудрия. Она молила о защите самое Весту, и богиня сотворила чудо: в подтверждение своей невинности Тукция зачерпнула решетом воду из Тибра и принесла в храм.

...*первого марта, обновляя огонь богини*.— Как обновлялся или возобновлялся вечный огонь в святилище Весты, сведения не сохранились.

Стр. 179. ...ему, новому Прометею...—Титан Прометей, по одному из вариантов мифа о нем, был создателем человеческого рода (вылепил первых людей из глины).

Стр. 184. ...цитировал Горация.—Гораций, «Оды», IV, 5, 21—24. Перевод Г. Ф. Церетели.

Стр. 186. *Юбилейные игры* — так называемые секулярные (от «saeculum» — «столетие»), или столетние, игры. Они справлялись каждые сто—сто десять лет с величайшей торжественностью и продолжались три дня и три ночи. Начинались они праздничным шествием, за ним следовали состязания в цирке, гладиаторские бои и травля диких зверей. Днем и ночью приносились жертвы на алтарях различных богов. Заключением игр был «юбилейный гимн», исполнявшийся хором из двадцати семи мальчиков и двадцати семи девочек в храме Аполлона на Авентинском холме. Домициан отпраздновал столетние игры в 88 г. н. э.

Стр. 187. *Возле курии*...—Курией называлось здание, где заседал сенат.

Стр. 191. ...во время постановки «Гекубы» Еврипида...—Тема трагедии «Гекуба» (точнее «Гекаба»), впервые поставленной в Афинах около 423 г. до н. э.,—страдания троянской царицы, которую война лишила всех ее детей. Цитированный стих относится к дочери Гекубы, Поликсене, принесенной ахейскими вождями в жертву тени Ахилла.

«Парис и Энона».—Гекубе, супруге троянского царя Приама, приснилось, будто она родила огонь, который спалил всю Трою. Вскоре она родила сына Париса, и по совету прорицателей мальчик был брошен на соседней с Троей горе Иде, но, хранимый богами, не погиб; его выкормила своим молоком медведица, а потом подобрал и вырастил пастух. Пася стада на Иде, Парис женился на Эноне, дочери речного бога, а затем расстался с нею, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Светоний («Домициан», X) сообщает, что пьеса «Парис и Энона» принадлежала Гельвидию Младшему, который и поплатился за нее жизнью.

Стр. 199. ...несколько речей по такому же поводу...—Имеются в виду знаменитые пять речей Цицерона против Верреса — наместника Сицилии, с крайней жестокостью управлявшего этой провинцией и дотла ограбившего ее.

Стр. 209. *Понт* (или Понт Эвксинский) — греческое название Черного моря.

Стр. 211. *Гем* — древнее название Балкан. По этой горной цепи проходила граница между провинциями Фракией и Нижней Мезией.

Стр. 218. *...загадочные прорицания Сивилл.* — Сивиллами древние греки и римляне называли вещих женщин, прорицательниц будущего; как правило, они бродили с места на место, нигде не оставаясь подолгу и всюду встречая чуть ли не божеские почести. Веру в святость и пророческую силу сивилл сохраняли и ранние христиане, как это явствует хотя бы из сочинений отца западной церкви святого Иеронима (IV—V вв.). Даже в знаменитом католическом гимне «*Dies irae*» («День гнева»), сложенном в XIII в., одним из двух главных свидетельств неизбежности Страшного суда назывались прорицания сивиллы.

Стр. 223. *...законом об ограничении виноградарства.* — См. о нем т. 7, послесловие, стр. 437. *Виа Домициана* (*Via Domitiana*) — Домицианова дорога, проходившая почти строго с севера на юг вдоль западного берега Италии.

Стр. 225. *...прочитывал он слова Ахилла у Гомера.* — «Одиссея», XI, 489—491. Перевод В. А. Жуковского.

«Нет, не весь я умру!..» — Гораций, «Оды», III, 30, 5—9. Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского.

Стр. 229. *Брундизий* — порт в Южной Италии, на Адриатическом море. Путешествие из Италии в Иудею начиналось обычно отсюда.

Стр. 236. *...это его камень в праще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана.* — Намек на библейское предание об отроке Давиде, который вступил в единоборство с филистимским великаном Голиафом и сразил его камнем, пущенным из пращи («Первая Книга Царств», XVII).

Стр. 239. *Уже больше года назад Маттафий отпраздновал бар-мицва...* — «Бар-мицва» (буквально: «сын заповеди» или «сын обязанностей») называют мальчика, достигшего совершеннолетия (тринадцати лет), а затем и самый обряд вступления в число взрослых и полноправных членов еврейской религиозной общины. Обыкновенно в первую субботу после дня рождения нового «сына заповеди» его вызывают к амвону синагоги читать главу из Писания, приходящуюся на эту неделю, и между тем как он читает, отец произносит следующее славословие: «Благословен тот, кто снял с меня

ответственность за это дитя». Что бар-мицва отмечался уже в I в. н. э., сомнений не вызывает, но каким образом это происходило, судить трудно. Надо иметь в виду, что достижение тринадцатилетнего возраста означало полную дееспособность не только религиозную, но и юридическую и гражданскую.

Стр. 246. *...ваша книга не горяча и не холодна, это теплая книга...*— Намек на знаменитые два стиха (III, 15—16) из новозаветной книги «Откровение святого Иоанна Богослова» («Апокалипсис»), современницы событий, изображаемых в романе. «Знаю твои дела — ты ни холоден, ни горяч! О, если бы ты был холоден или горяч! Но смотри: ты теплый — ни холодный, ни горячий, — и я извергну тебя из уст моих».

Стр. 251. *Он прочел ей историю Иаили, Иезавели, Гофолии.*— Об Иаили см. примечание на стр. 747. Иезавель, дочь царя финикийского города Сидона, была супругою израильского царя Ахава (конец X — начало IX в. до н. э.). Библия («Третья Книга Царств», XVI, 31; «Четвертая Книга Царств», XI, 9) изображает ее страшной преступницей, врагом бога и справедливости, гонительницей великого пророка Илии. По приказу пророка Елисея, преемника Илии, она была выброшена из окна царского дворца, и тело ее растерзали и сожрали псы. Гофолия (IX в. до н. э.) — мать иудейского царя Охозии. Узнав о смерти сына и всех его единокровных братьев — сыновей умершего ее супруга от разных жен и наложниц, — она решила сама завладеть престолом и для этого истребила всех из царского рода, кто мог бы притязать на власть, в том числе и собственных внуков. Один из них, однако же, был тайно спасен; шесть лет жрецы прятали его в Иерусалимском храме, а на седьмой провозгласили царем, и Гофолия была убита («Четвертая Книга Царств», XI).

Стр. 252. *...о необузданных, гордых и честолюбивых женщинах, которые окружили Ирода и от одной из которых происходил он, Иосиф.*— Царь Ирод I Великий, правивший Иудеей с 40 по 4 г. до н. э., был вторым браком женат на Мариам (Мариамене), внучке князя-первосвященника Гиркана (из рода Хасмонеев). Он так любил свою жену, что дважды, отлучаясь из Иерусалима по срочным делам, тайно приказывал умертвить Мариам, в случае если бы он не вернулся. Тем не менее сестра Ирода Саломея, ненавидевшая невестку, сумела се окло-

ветать, и Мариам была казнена. Был казнен и муж Саломей, которого она обвинила перед Иродом в связи с Мариам, и другой ее муж — тоже по ее доносу. Когда же возмужали сыновья Ирода от Мариам, Саломея принялась интриговать и против них; в результате оба были убиты отцом. Не менее опасной, хотя и менее удачливой интриганкой была теща Ирода, мать Мариам. С династией князей-первосвященников Хасмонеев Иосиф Флавий был в родстве с материнской стороны.

Стр. 253. *В его доме не было алтаря домашних богов...*— Домашние боги римлян — это лары, покровители дома и всех его обитателей, и пенаты, семейные боги.

...не носил на шее золотого амулета...— Речь идет о так называемой «булле», плоском золотом медальоне, который сперва носили только знатные, а потом и все свободнорожденные дети в Риме. При достижении совершеннолетия «булла» вместе с детскою тогой посвящалась богам.

Стр. 254. *...посетил храм Юности...*— Римская богиня юности звалась Ювента и отождествлялась с греческой Гебой, дочерью Зевса; на пирах богов она обносила небожителей-олимпийцев нектаром и амброзией.

Стр. 257. *...свет, как известно, во тьме светит, и мгла не обмыт его* — «Евангелие от Иоанна», I, 5 (цитата не вполне точна).

...книга под названием «Иудейская война».— Как в точности назывался несохранившийся труд Юста об Иудейской войне, неизвестно.

Стр. 268. *...философ Дион был предан суду...*— См. т. 8, стр. 488 (примечание к словам: *Дион из Прусы*).

Стр. 269. *«Если он чувствовал угрозу...»* — «Иудейские древности», XVI, 11, 8 (цитата не вполне точна).

Стр. 273. *...рассказал ей про Апиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера.*— Апион — см. т. 7, стр. 476 (примечание к этому слову). «Еврейским» Апион мог быть назван только в насмешку. Правда, как сообщает Иосиф Флавий, какая-то болезнь заставила Апиона в конце жизни подвергнуться обрезанию, которое он так злобно осмеивал.

Стр. 275. *...этих огречившихся египтян, Манефонов...*— Манефон — см. т. 7, стр. 476 (примечание к этому слову).

Стр. 276. *За тысячу лет до Гомера Троянской войны у него уже был свой великий законодатель.*— Речь идет о Моисее, которому традиция приписывала авторство первых пяти книг Библии. Современная наука датирует Гомера VIII в. до н. э., Троянскую войну — рубежом XIII и XII, а исход евреев из Египта — примерно XVI в. до н. э.

...мы составили канон...— См. т. 7, стр. 482 (примечание к словам: *Двадцать четыре книги*). Число двадцать два действительно названо Иосифом в памфлете («Против Апиона», I, 8); то же число называют и некоторые раннехристианские авторы, ссылаясь на евреев, которые указывают, что число книг Библии равно числу букв в еврейском алфавите. Противоречие объясняется скорее всего тем, что во времена Иосифа формирование канона еще не завершилось.

Стр. 277. *...как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою «Историю».*— Многие древние писатели сообщают, что «отец истории» с громадным успехом читал свое сочинение в разных местах Греции, и в том числе — перед участниками и зрителями Олимпийских игр. На одном из таких чтений якобы присутствовал второй великий историк Греции, Фукидид, в ту пору еще совсем юный.

Стр. 279. *И если Иаков подарил своему сыну пышное облачение...*— «Израиль (другое имя Иакова.— С. М.) любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно» («Бытие», XXXVII, 3—4). Позже, окончательно ожесточившись, братья продали Иосифа в рабство в Египет.

Стр. 282. *...на плечах вышколенных носильщиков-каппадокийцев.*— Рабы из Каппадокии, горной области в центре Малой Азии, славились выносливостью и храбростью.

...от второго мильного камня...— Мильные камни на римских дорогах соответствуют нашим километровым столбам. Римская миля — тысяча (mille) двойных шагов, 1478,7 метра.

Стр. 300. *...всего тридцать девять плетров...*— Плетр — греческая мера площади, равная примерно 0,1 гектара. Впрочем, современник Иосифа Флавия, Плутарх, называет плетром римский югер, равный примерно четверти гектара.

...девять тысяч денариев.— См. выше, стр. 744 (примечание к словам: *Двойная драхма*).

Стр. 309. ...очаг с неугасимым огнем в атрии...— Атрий — часть римского дома, первое помещение после входа. В императорскую эпоху это была парадная приемная, часто роскошно отделанная, но в старинном доме атрий представлял собою крытый по краям внутренний двор с очагом и почернелыми от копоти стенами (отсюда его название: *ater* по-латыни «черный»). Священный очаг и часовенка ларов сохранялись в атрии и в позднейшее время.

Стр. 321. *Город Массилия* — ныне Марсель.

Стр. 322. *Пифей Массильский* — греческий путешественник и писатель IV в. до н. э. Ему принадлежали два не дошедших до нас сочинения — своего рода путевые заметки, — одно из которых посило название «Об Океане».

Стр. 328. *Нептуналии* — праздник в честь римского бога морей Нептуна; его справляли в конце июня.

Стр. 329. *Остия* — морская гавань Рима в устье реки Тибр.

Стр. 332. *Боги открывают истину только в мистериях...*— Мистериями назывались тайные религиозные обряды; в них могли принимать участие только посвященные, которые клялись не разглашать того, что происходило во время мистерий. Самыми знаменитыми в древности мистериями были Элевсинские (Элевсин — городок близ Афин), связанные с культом Деметры и Персефоны. Считалось, что те, кто посвящен в таинства, находят под особым покровительством божества. Важной составной частью мистерий было изъяснение вновь посвященным (неофитам) «подлинного», «сокровенного» смысла священных сказаний о божестве.

Стр. 337. *Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына...*— Очень древний еврейский обычай предписывал переворачивать кровати в доме умершего и так спать в течение семи траурных дней.

Стр. 339. *И как некогда возвестили Иакову...*— Продав Иосифа купцам, которые держали путь в Египет, братья «взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью; и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф» («Бытие», XXXVII, 31—33).

Стр. 342—343. *Со времени патриархов... погребенных в пещере Махпела...*— По библейскому рассказу, Авраам после

смерти своей супруги Сарры купил в земле Израэля (которая тогда звалась Ханааном) пещеру против знаменитой дубравы Мамре (в своем шатре под сенью этой дубравы Авраам принимал троих вестников божьих — сюжет иконы «Троица»). Пещера Махпела стала местом погребения всех патриархов; даже останки Иакова, умершего в Египте, его потомки, спасенные от египетского рабства, принесли с собою и положили рядом с костями Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки. В средние века возникла легенда, что в Махпеле похоронены и Адам с Евою.

Стр. 346. *...для него отбивает такт офицер...*— На каждом судне был особый начальник над гребцами, который регулировал равномерность движения весел либо голосом, либо ударами деревянного молотка.

...ответ этого древнего мудреца, проповедника, Когелета.— Название библейской книги «Когелет» (по имени автора) было неправильно прочтено и понято греческими переводчиками: они решили, что это имя нарицательное, означающее «проповедующий перед народом» — по-гречески «эκκλησιастῆς». Отсюда и русское название этой знаменитой книги — «Екклесиаст». Эта книга, приписываемая традицией царю Соломону, была создана, вероятно, в начале II в. до н. э. Канонизация ее была предметом долгих споров между богословами и имела место не раньше 120 г.

«И познал я...» — Цитата из «Екклесиаста» — комбинированная («сборная») и местами неточная.

Стр. 347. *«Все суета и затеи ветренные».*— Эти слова рефреном проходят через всю книгу «Екклесиаст»; впервые — глава II, стих 11.

Стр. 351. *Катилина бежал, скрылся, исчез.*— Луций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.) — римский сенатор; авантюрист и преступник, он дважды организовал заговор против государства, демагогическими лозунгами привлекая на свою сторону как разорившихся и честолюбивых аристократов, так и низшие слои населения — от городской и сельской бедноты до отъявленных головорезов. Главным противником Катилины был Цицерон, занимавший в 63 г. н. э. должность консула. Ему и принадлежат приведенные выше слова — из второй речи против Катилины (I, 1), произнесенной на форуме перед народом 9 ноября 63 г. н. э., когда Катилина вынужден был бежать из Рима и от подпольной деятельности перейти к прямому мятежу.

Стр. 356. *«Неомраченным храни в несчастьях дух».*— Гораций, «Оды», II, 3, 1—2.

Стр. 359—360. *...императора Отона, врага Флавиев.*— Марк Сальвий Отон — один из императоров эпохи гражданской войны 68—69 гг. н. э., отделяющей конец династии Юлиев-Клавдиев (смерть Нерона) от начала правления Флавиев. Отона провозгласили императором преторианцы в Риме, и в тот же день (15 января 69 г. н. э.) были убиты законный, утвержденный сенатом император Гальба и его приемный сын. Но еще до того легпоны в Верхней Германии выбрали собственного императора — Авла Вителлия. Войска обоих претендентов встретились в битве при Бедриаке (близ Кремоны) 14 апреля 69 г. н. э., Отон был разбит и покончил с собой. Таким образом, строго говоря, он не может быть назван врагом или конкурентом Флавиев, потому что Веспасиан был провозглашен императором только 1 июля 69 г. н. э.

Стр. 363. *...пусть сперва принесет жертву подаемым богам* — то есть богам преисподней, чтобы они приняли благосклонно его тень.

Стр. 366. *...Сириус Звездный Пес, навел на меня слепоту.*— Звезда Сириус называлась по-латыни: «Canicula» («Собачка») и входила в созвездие Большого Пса. Многие древние писатели говорят о злом, болезнетворном влиянии Сириуса на людей.

Селинунт — городок на юго-западном берегу Сицилии.

Стр. 373. *...в вашем Тибурском парке.*— Тибур — маленький город в нескольких десятках километров к востоку от Рима. В окрестностях Тибура, очень живописных и богатых проточной водою, многие знатные римляне держали летние дома.

Стр. 378. *...большой восточный поход, который готовит воинственный император Траян...*— Марк Ульпий Траян, преемник Нервы, правивший империей с 98 по 117 г., после разгрома и присоединения к Риму Дакии (106 г.) стал готовиться к походу на Парфию. Военные действия начались в 113 г. и успешно длились до 116 г.

Стр. 380. *...италийское вино даже и при таких условиях не становится лучше...*— Политика покровительства италийскому сельскому хозяйству продолжалась и при императорах новой династии.

Стр. 386. *...к доктору Акавье.*— Создавая этот образ, Фейхт-

вангер прибегнул к приему, которым он часто пользуется в своих исторических романах: он взял малоизвестную фигуру и наделил ее чертами и свойствами других лиц из других времен, равно как и вымышленными чертами. Из Талмуда известен таннай (т. е. учитель устного закона — см. т. 7, стр. 482, примечание к словам: *Комментарий ученых*) первого поколения Акавь бен Махалалель, живший между 10 и 80 гг. н. э. Он отличался необыкновенной твердостью убеждений: подвергшись отлучению за недостаточно уважительное высказывание о двух великих богословах прошлого, он отказался покаяться и взять свои слова обратно и так и умер отлученным от общины. От исторического Акави Фейхтвангер берет упорство, граничащее с фанатизмом. Рисуя великого ученого, идейного вдохновителя близкого восстания, Фейхтвангер, по-видимому, видел перед собою и крупнейшего из таннаев рабби Акибу бен Иосифа (ок. 50—ок. 132 гг.), предтечу последнего восстания евреев — восстания Бар-Кохбы (132—135). Пламенный и в высшей степени конкретный политический мессианизм фейхтвангеровского Акави принадлежит Акибе, провозгласившему Бар-Кохбу мессией. От исторического Акибы досталось персонажу романа и незнатное происхождение, и профессия пастуха в молодости, и многое в мироощущении и нравственном облике.

Стр. 387. *...прочел им агаду...*— Агада (по-еврейски: «рассказ») составляла основную часть пасхального ритуала. Ее читал хозяин дома в ответ на четыре вопроса, которые задавал младший за столом (первоначально четверо младших, изображавшие четырех сыновей — мудреца, нечестивца простака и невежду). Обычай такого чтения-рассказа восходит, видимо, еще ко времени существования Иерусалимского храма.

Стр. 388. *...это в первую очередь заслуга доктора Акави...*— В действительности составление «молитвенного чина» пасхального вечера традиция приписывает Гамалиилу (Гамалиилу II Ямнинскому).

...«чин» этого вечера, его «седер»...— Еврейское слово «седер» означает: «строй», «порядок».

...где лежали всевозможные кушанья...— Кроме опресноков, обязательными компонентами пасхальной трапезы были: «харосет», то есть густая смесь из тертых яблок, толченого миндаль, орехов, инжира — в память о глине, из которой еврей-рабы лепили кирпичи в Египте, лук и горькая трава — в память о горести рабства, салат, вареное яйцо, изжаренное на углях

куриное крылышко. И еде и питью — чуть ли не каждому глотку за пасхальным столом — был придан символический смысл.

Стр. 388. *...напоминавшие о поспешности, с какою евреи некогда покидали враждебную страну.*— Когда фараон отказался освободить евреев от рабства и выпустить их из Египта, бог стал насылать на страну «казнь» за «казню». Но фараон все упорствовал. Лишь после десятой «казни» — истребления первенцев, «от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника в темнице», «встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет; и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего...» И понуждали египтяне сынов Израилевых, чтобы скорее выслать их из земли той. Ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес парод тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их... И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки...» («Исход», XII, 29—39).

Стр. 389. *Они приготовили кубок пророку Илии, величайшему патриоту прошедших времен.*— Пророк Илия назван патриотом потому, что боролся против культа Ваала, который насаждала царица Иезавель (см. стр. 756, примечание к словам: *Он прочел ей историю Иаили, Иезавели...*). В начале нашей эры сложилось твердое представление об Илие-пророке как о предтече и провозвестнике мессии. Он появится за три дня до пришествия мессии, разъяснит все трудные места в Писании и разрешит все противоречия в законе, так что все споры и несогласия сразу утихнут. В первый день он будет оплакивать запустение в земле Израеля, во второй и третий — утешать народ. За пасхальной трапезой посреди стола ставят большой бокал с вином для пророка Илии, потому что пасха — не только напоминание о былом избавлении, но и предвестие грядущей свободы в царстве мессии. Когда ужин окончен, участники трапезы встают со своих мест, отворяют дверь на улицу и произносят приветствие Илие, словно он входит в дом в этот миг. Происхождение обычая и время его возникновения неизвестны.

Стр. 390. *Моисей, а потом пророк Илия не чинились с богом...*— Действительно, судя по Библии, и Моисей, и особенно

Илия говорили с богом достаточно вольно и бесцеремонно. «И говорил господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» («Исход», XXXIII, 11). «Моисей сказал ему: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводи нас отсюда» (там же, стих 15). А Илия прямо укоряет бога, когда у вдовы, приютившей его, умирает сын: «И воззвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой! Неужели ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» («Третья Книга Царств», XVII, 20). Бог услышал этот призыв и возвратил жизнь умершему.

Стр. 391. *...неделях между пасхой и пятидесятницей...*— Пятидесятницы (по-еврейски: «шабуот», то есть «праздник неделя») — один из главных еврейских праздников, справлявшийся через семь недель, то есть на пятидесятый день после пасхи. Первоначально это был земледельческий праздник жатвы пшеницы, но со временем трансформировался в праздник дарования Израилю божественного закона после исхода из Египта.

Стр. 395. *Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту!* — Иаков служил за свою невесту Рахиль у отца ее Лавана семь и еще раз семь лет («Книга Бытия», 29).

Стр. 410. *Таммуз* — десятый месяц еврейского календаря, соответствует июню—июлю. *Аб* — одиннадцатый месяц еврейского календаря, соответствует июлю — августу.

«И никто не знает места погребения его...» — «Второзаконис», XXXIV, 6.

С. Маркиш

Б Р А Т Ъ Я Л А У Т Е Н З А К

Роман написан Фейхтвангером в Америке и впервые опубликован в английском переводе в 1943 г. издательством «The Viking Press» под названием «Double, double, toil and trouble» (слова припева песни ведьм из «Макбета» Шекспира). В рукописи роман назывался «Чудотворец», однако уже в первом немецком издании, вышедшем в 1944 г. в Лондоне (издательство Гампльтон), книга носит заглавие «Братья Лаутензак». В русском переводе роман появился в журнале «Иностранная литература» №№ 1, 2, 3 за 1957 г.

Стр. 425. *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — шведский мистик, автор ряда книг, посвященных «окультурным» наукам.

Стр. 434. *Моабит* — квартал в Берлине, где находится большая тюрьма.

Стр. 435. *...во время последних выборов партия нацистов выдвинулась на второе место...* — На парламентских выборах 16 июля 1930 г. нацистская партия набрала 6,4 миллиона голосов, заняв, таким образом, второе место после социал-демократов, собравших 8,6 миллиона голосов.

Стр. 459. *«Тангейзер»* — опера Рихарда Вагнера.

Стр. 462. *Ленбах* Франц (1836—1904) — немецкий художник-реалист, известный, главным образом, своими портретами.

Мольке-старший, Хельмут Карл Бернард (1800—1891) — немецкий генерал, видный стратег, руководивший прусской армией во время австро-прусской и франко-прусской войны.

Принц-регент Луитпольд — опекун Людвига II Баварского, в 1886 г. объявленного сумасшедшим.

Стр. 465. *...телячьим филе а-ля Россини...* — Великий композитор Джакомо Россини (1792—1868) был топким гастрономом и «автором» ряда изысканных блюд.

Стр. 466. *«Аллилуйя»* — возмужали... пилигримы. — Имеется в виду хор пилигримов из оперы Вагнера «Тангейзер» (третий акт, первая сцена).

...празднества в «Мейстерзингерах». — Сцена праздника — состязания певцов, — вторая сцена третьего акта оперы Вагнера.

Стр. 470. *«Шестнадцать было нас знамен».* — Шиллер, «Орлеанская девственница», действие I, явление 10.

Стр. 475. *Пилоти* Карл (1826—1886) — немецкий исторический живописец, долгие годы преподававший в Мюнхенской академии искусств. «Зени над трупом Валленштейна» (1855) — первая картина, принесшая ему славу.

Стр. 510. *...стихи о Гильдебранде и Гадубранде.* — Древнейший из дошедших до нас памятников героической поэзии германцев (IX в.).

Стр. 530. *...волшебный замок Клинзгора.* — В опере Вагнера «Парсифаль» — замок злого волшебника, где подвергались соблазну рыцари святого Грааля (чаши, в которую якобы была собрана кровь Христовая).

Стр. 546. *Доктор Эйзенбарт* Иоган Андреас (1661—1729) — немецкий глазной врач, выдававший себя за мага и чудотворца. Его имя стало в немецком языке синонимом шарлатана.

Агриппа Неттесгеймский (1486—1533) — немецкий естествоиспытатель, считавшийся великим магом и прорицателем.

Стр. 560. *Зенга* — героиня оперы Вагнера «Летучий голландец» («Моряк-скиталец»). *Елизавета* — героиня «Тангейзера» Вагнера. Обе жертвуют своей любовью во имя долга.

Стр. 573. *Идти в Каноссу* — выражение, пущенное в ход Бисмарком и означающее позорную капитуляцию. Основано оно на историческом факте: в итальянском городке Каноссе император Генрих IV униженно молил о снисхождении папу Григория VII (1073—1085), победившего его.

Стр. 592. *Норны* — богини судьбы у древних германцев.

Стр. 618. *Калхас* — в «Илиаде» Гомера — прорицатель в войске ахейцев.

Стр. 631. «*Хойотохо!*» — Припев арии Брунгильды из оперы Вагнера «Валькирия» (второй акт, первая сцена).

Стр. 641. *Валгалла* — в древней скандинавской и германской мифологии — обиталище богов.

Стр. 680. *Авгуры* — в Древнем Риме — жрецы, ведавшие предсказаниями.

Стр. 681. ...*в роли святого Георгия*... — Святой Георгий, по преданию, победил и уничтожил вредоносного дракона.

Стр. 687. *И это все Лорелея сделала пенем своим* — цитата из знаменитого стихотворения Гейне, ставшего народной песней.

Стр. 710. *Людовиг Второй* (Баварский) — был страстным поклонником Вагнера; он сделал его придворным музыкантом и построил для него специальный театр в Байрейте.

Р. Миллер-Будницкая

СОДЕРЖАНИЕ

НА СТАНЕТ ДЕНЬ

Книга первая. Домициан. <i>Перевод В. Станевич</i>	7
Книга вторая. Иосиф. <i>Перевод С. Маркиша</i>	227

БРАТЯ ЛАУТЕНЗАК

Часть первая. Мюнхен. <i>Перевод В. Станевич</i>	413
Часть вторая. Берлин. <i>Перевод В. Станевич и Р. Розенталь</i>	472
Часть третья. Зоффиенбург. <i>Перевод Р. Розенталь</i>	614
Примечания <i>С. Маркиша и Р. Миллер-Будницкой</i>	743

Лион Фейхтвангер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
том десятый

Редакторы
С. Ошеров и И. Березенцева
Художественный редактор
Д. Ермоленко

Технический редактор
М. Позднякова

Корректоры
Д. Эткина и В. Широ

Сдано в набор 16/IV 1966 г. Подпи-
сано к печати 23/IX 1966 г. Бумага
типографская № 1 84×108¹/₃₂—24 печ.
л. = 40,3 усл. печ. л. 37,4 уч.-изд. л.
Тираж 300 000 (1—150 000) экз.
Заказ № 4035. Цена 1 р. 45 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата
Москва, Краснопролетарская, 16.

115.43x.